

Ги де Мопассан Пышка (сборник)



Ги де Мопассан

Анри-Рене-Альбер-Ги де Мопассан родился в Нормандии 5 августа 1850 года.

Он происходил из обедневшего дворянского рода, переселившегося из Лотарингии в Нормандию в XVIII веке. Дед писателя, Жюль де Мопассан, умерший в 1875 году, владел поместьем в Невиль-Шан-д'Уазель, но, не умея вести сельское хозяйство, продал свое имение и впоследствии совершенно разорился. Отец писателя, Гюстав де Мопассан (1821–1899), женившийся в 1840 году на своей подруге детства – Лоре Ле Пуатвен (1821–1903), происходившей из старинной и культурной нормандской буржуазной семьи, вынужден был поступить на службу и стал биржевым маклером в Париже. Он любил искусство, писал акварели, водил дружбу с художниками. У него была репутация изысканного дворянина, щеголя и мота. Его легкомысленный нрав мало

соответствовал характеру жены, сосредоточенной и вдумчивой. После рождения второго сына, Эрве (1856–1889), родители Мопассана разошлись, и мать поселилась с обоими сыновьями в приморском городе Этрета на принадлежавшей ей вилле Верги.

Детские годы Мопассана прошли в Нормандии. Пользуясь полной свободой, он бегал по полям и лесам, лазал по прибрежным утесам, ходил с рыбаками в море, научился ловить рыбу и управлять парусами, знал все местные достопримечательности и обычаи, овладел нормандским наречием. Уже тогда он хорошо ознакомился с мелкопоместным бытом и жизнью фермеров, крестьян, рыбаков, матросов.

Когда мальчику исполнилось тринадцать лет, мать отдала его в духовную семинарию городка Ивето. Юному Ги оказалась не по нраву здешняя суровая дисциплина. Он не раз убегал домой, всячески бунтовал и озорничал. В конце концов его исключили, предлогом к чему послужило его шутивное послание в стихах «Давно от мира отрешенный», в котором юный поэт объявлял своей кухне, выходявшей замуж, что он вовсе не намерен отречься от всех радостей жизни в семинарской «прижизненной могиле».

В 1866 году Лора де Мопассан определила сына в руанский лицей. Это было тоже закрытое учебное заведение, но здесь он все же пользовался большей свободой и никто не преследовал его за писание стихов. А среди его преподавателей оказался поэт-парнасец Луи Буйле, его первый наставник в литературе.

В июне 1869 года Мопассан окончил руанский лицей со званием бакалавра и поступил на юридический факультет в нормандском городе Канне. Летом 1870 года вспыхнула франко-прусская война, и Мопассан был призван на военную службу. Он принимал участие в походах, находился в осажденном Париже, сначала в форте Венсен, а затем был переведен в Главное интендантство. Где был Мопассан во время Парижской коммуны, пока не установлено.

После войны, сопровождавшейся экономическим кризисом, имущественное положение родителей Мопассана резко ухудшилось. Мопассан уже не имеет возможности закончить высшее образование и вынужден поступить на службу. С 1872 года до ноября 1878 года он служит в Морском министерстве, ведя трудную, полунищенскую жизнь.

Жалованья не хватало на покрытие самых насущных расходов. Мопассан сводил концы с концами только потому, что получал маленькую помощь от отца.

Службу в Морском министерстве Мопассан возненавидел и без обиняков называл ее своей «тюрьмой». В министерстве было известно, что молодой человек мечтает стать писателем; литературные интересы, отдалявшие его от сослуживцев, вызывали к нему подозрительное и неприязненное отношение со стороны начальства. Служебные аттестации Мопассана, первоначально вполне благоприятные, стали под конец совсем иными. «Боюсь, как бы его таланты не отдалили его от административных работ», – ехидствовал шеф в одной из последних аттестаций.

«Воскресные прогулки парижского буржуа», «В лоне семьи», «Наследство» и ряд других новелл полны безрадостных впечатлений Мопассана о службе в Морском министерстве. Писатель воссоздал здесь мирок пошлых чинуш, мелких интриганов, карьеристствующих подхалимов и пролаз, изводящих насмешками какого-нибудь забитого писца, но трепещущих перед начальством – перед карикатурным громовержцем вроде г-на де Торшбефа.

После долгих хлопот, в которых немалое участие принимал Флобер, Мопассану удалось перевестись в декабре 1878 года в Министерство народного образования, где он и пробыл до конца 1880 года, исхлопотав себе после успеха «Пышки» полугодовой отпуск по болезни.

В 70-х годах все свое внеслужебное время Мопассан посвящал двум страстям – гребному спорту и литературе. В летнее время он жил в предместье Парижа и вставал с зарею, чтобы прокатиться по Сене; в десять утра – он на службе, вечером – опять на реке.

Поэзия реки, ночные туманы Сены, ее тенистые зеленые берега, гонки, рыбная ловля, любовные похождения и весь бесшабашный быт гребцов – все это широко отразилось в новеллистике Мопассана. Еще в 70-х годах он мечтал создать цикл новелл «Лодочные рассказы». Сюжеты этого цикла, возможно, переработаны затем в его новеллах «На реке», «Подруга Поля», «Поездка за город», «Иветта», «Са-Ира», «Мушка» и других.

Помимо гребного спорта, Мопассан любил путешествовать; хотя служба не давала ему для

этого больших возможностей, он все же порою предпринимал длительные пешеходные экскурсии. В августе 1877 года он ездил в Швейцарию, а в 1879 году путешествовал пешком по Бретани.

Все время, свободное от службы, от гребного спорта и от любовных авантур, Мопассан отдавал литературе. «Поросенок! Постоянно женщины!» – ворчал на него Флобер, с которым он виделся часто, порою каждое воскресенье. Флобер требовал от своего ученика ежедневной регулярной творческой работы, которой все прочее должно быть принесено в жертву: «От пяти часов вечера и до десяти утра все ваше время должно быть посвящено музе... Для художника существует только один принцип – жертвовать всем для искусства».

Советы Флобера не прошли даром: литературная работа Мопассана в 70-х годах отличалась большой интенсивностью. «В течение семи лет, – вспоминает он, – я писал стихи, писал повести, писал новеллы, написал даже отвратительную драму». В эти годы накопился и его громадный запас новеллистических сюжетов.

Ранние произведения Мопассана опубликованы до сих пор не полностью. Так, например, неизданным остается эротический фарс «Турецкий дом», написанный Мопассаном в сотрудничестве со своими друзьями по гребному спорту и дважды разыгранный с участием авторов в узком кругу писателей и художников. Сюжетом фарса были комические приключения новобрачных, которые во время своего свадебного путешествия по недоразумению попали вместо гостиницы в публичный дом. В эту же пору Мопассан написал немало эротических стихотворений, не включаемых в полное собрание его сочинений.

Флобер долгое время запрещал Мопассану печататься, находя это преждевременным и не желая «делать из него неудачника». Точно так же он препятствовал работе Мопассана в журналистике, которую ненавидел, хотя его ученика и толкала к этому простая материальная нужда; в конце концов Флобер сменил гнев на милость и сам пытался связать его в конце 1876 года с газетой «Насьон», но сотрудничество Мопассана в ней ограничилось публикацией двух статей.

В 1875 году Мопассан опубликовал под псевдонимом Жозефа Прюнье свою первую новеллу «Рука трупа» (впоследствии переработанную и вторично напечатанную под названием «Рука»); публикация эта произошла, вероятно, без ведома Флобера. Но в марте 1876 года и уже с благословения учителя в журнале «Литературная республика» появилась первая поэма Мопассана «На берегу», подписанная псевдонимом Ги де Вальмон. Под тем же псевдонимом Мопассан 22 октября 1876 года поместил в «Литературной республике» свою первую статью – очерк о творчестве Флобера.

Поэма «На берегу» была перепечатана в ноябре 1879 года уже под именем Мопассана, но с произвольным заглавием «Девка» журналом «Современное и натуралистическое обозрение», и это обстоятельство неожиданно подало повод к судебному преследованию автора по обвинению в порнографии. Мопассан был вызван 14 февраля 1880 года в прокуратуру Этампа (в этом городе печатался указанный журнал). Событие это крайне взволновало его: в качестве правительственного чиновника он опасался быть уволенным и потерять заработок, единственный пока источник его существования. Его переписка этого времени с Флобером полна возмущения и тревоги. Благодаря Флоберу, напечатавшему 21 февраля в газете «Голуа» открытое письмо Мопассану и защищавшему его как писателя, когда-то тоже привлеченный к суду по такому же обвинению – за «Госпожу Бовари», – судебное преследование было прекращено. После смерти Флобера Мопассан перепечатал это письмо в третьем издании сборника «Стихотворения».

Сотрудничество в «Литературной республике» дало возможность Мопассану познакомиться с группой молодых писателей – Леоном Энником, Ж. К. Гюисмансом, Анри Сеаром, Полем Алексисом, Октавом Мирбо. Сближение с молодыми последователями Золя, прозаиками по преимуществу, отвечало все более определявшемуся к концу 70-х годов переходу Мопассана от поэзии к прозе.

Шумный успех «Пышки» сопровождался приглашением Мопассана к сотрудничеству в газете «Голуа», где вскоре появился цикл его новелл-очерков «Воскресные прогулки парижского буржуа». В сентябре и октябре 1880 года Мопассан совершает путешествие по Корсике, впечатления которого отразились в ряде его очерков и новелл, а также в одной из глав романа «Жизнь». В 1881 году он путешествует по Алжиру, где происходили в то время восстания туземного населения

против французского колониального гнета; путевые очерки Мопассана были в 1884 году изданы в виде книги «Под солнцем». Летом 1882 года писатель вторично путешествовал по Бретани.

В 1881–1883 годах Мопассан особенно тесно сближается с Тургеневым, дает ему на просмотр свои новые произведения, состоит с ним вместе членом комитета по сооружению памятника Флоберу, навещает его, больного, в последние недели жизни.

Вполне разделяя мнение Флобера и Тургенева о том, что публике принадлежат лишь книги писателя, Мопассан всячески старался скрывать от назойливого любопытства газетчиков свою личную жизнь, возмущался сплетнями о себе, попадавшими в печать, запрещал опубликовывать свои портреты и переписку. Когда однажды некий журналист упомянул в печати в связи с именем Мопассана одно женское имя, дело чуть не кончилось дуэлью.

Женщины играли очень большую роль в жизни Мопассана, у него было множество романов и случайных связей, известны имена многих его возлюбленных, известно и то, что в 1883 году он серьезно подумывал о женитьбе, но дело расстроилось, и он остался холостяком. Подробнее об этой стороне его жизни можно узнать из книги его слуги Франсуа

Тассара «Воспоминания о Ги де Мопассане» (1911), изданной в русском переводе в 1915 году. Эта скромная, неприязнительная и очень точная книга сдержанно приподнимает завесу над личной жизнью писателя, о которой ходило столько самых несусветных сплетен и легенд. Благородство этой книги особенно ясно по сравнению с «трудами» некоторых «биографов», любителей сенсации и скандалов, вроде, например, Пьера Бореля, предельно надругавшегося над памятью писателя в своей зловонной книжке «Мопассан и андрогина», изданной в пору оккупации Франции гитлеровцами в угодливом расчете на их пристрастие к эротической психопатологии.

Большой интерес представляет анализ общественно-политических связей Мопассана – вопрос совсем еще не изученный и нелегкий для изучения, потому что Мопассан старался всячески охранять независимость своих взглядов и высказываний. Отказываясь в 1876 году вступить в франкмасонскую ложу, Мопассан писал Катюлю Мендесу: «... я никогда не свяжу себя ни с какой политической партией, какова бы она ни была, ни с какой религией, сектой, школой; никогда не войду ни в одно общество, исповедующее какие-либо доктрины, не склонюсь ни перед какой догмой, ни перед какой выгодой, ни перед каким принципом – и все это единственно из-за того, чтобы сохранить за собою право на свободу отрицательных оценок».

«Независимая» позиция, о которой мечтал писатель, была, конечно, делом утопическим и, в сущности, отражала только его колебания, определявшиеся настроением момента. Все это хорошо видно в его очеркистике. Несмотря на явно отрицательное отношение к высшим классам, на вечную боязнь писателя оказаться «вопреки своей воле затронутым со всех сторон их убеждениями, их мыслями, их суевериями, их традициями, их предрассудками... их обычаями, их законами и их моралью, которые поражают лицемерием и подлостью», – мы постоянно видим, что Мопассан то борется с буржуазной идеологией, то поддается ее давлению, высказываясь, например, против равноправия женщин. Тем не менее, когда Тэн в 1881 году стал упрекать Мопассана за пристрастие к изображению общественных низов, пытаясь внушить ему мысль, что «чувство чести и ум всегда в большей или меньшей степени – тепличные растения», Мопассан решительно отвергнул эту «аристократическую доктрину», заявив, что «в низах общества неподдельно-благородные, честные чувства встречаются чаще, чем в верхах».

Мопассан не выражал сочувствия революционному движению и иной раз, совершенно в буржуазном духе, заявлял, что революции враждебны искусству. В очерке «Общественная опасность» он выступил, по сути дела, против революционно-демократического лагеря, который резко протестовал против постановки пьесы Коппе «Патер», дававшей тенденциозное и искаженное представление о Парижской коммуне. Однако в очерке «Война» Мопассан с большим уважением высказался о Жюле Валлесе, восхищаясь цельностью облика этого писателя-коммунара, и довольно неожиданно пришел, на свой лад, к признанию закономерности гражданской войны. Ход его рассуждений был таков, что если уж несчастное человечество не может избавиться от навязываемых ему войн, то «единственная война логична – гражданская: тут я по крайней мере знаю, за что сражаюсь».

Какие были у Мопассана отношения с революционным лагерем? Не случайно же гедистская

газета начала в 1887 году перепечатывать его «Милого друга». Какие-то связи у Мопассана с гедистами должны были быть, но откуда они взялись? Через посредство Поля Алексиса? Или посредником между Мопассаном и гедистами был родственник Мопассана, муж его тетки, Шарль Корд'ом? Революционер 1848 года, последователь Бланки и член I Интернационала, Корд'ом в 1871 году, в дни Парижской коммуны, был главою заговора, подготовлявшего провозглашение Коммуны в Руане. Полиция успела раскрыть руанский заговор и арестовать его участников, но они были судимы не военным, а гражданским судом и благодаря этому отделались сравнительно легким приговором: Корд'ом получил два года тюрьмы, а после заключения эмигрировал в Бельгию. Мы не знаем, каковы были в точности его отношения с Мопассаном: французские буржуазные биографы не говорят об этом.

Регулярный труд, завещанный Флобером, стал в 80-х годах первейшим условием творчества Мопассана. Работая каждое утро с семи до двенадцати часов, Мопассан успевал в среднем написать шесть страниц, а по вечерам записывал свои дневные впечатления. Напряженной работой Мопассан доводил себя до хронического переутомления. Долгое время писатель давал себе единственный ежегодный отдых – участие в охотничьем сезоне, открывавшемся в сентябре. Он снова попадал в Нормандию, к своей многочисленной родне и знакомым. Впечатления от охоты отразились во многих его новеллах («Любовь», «Ржавчина», «Петух пропел», «Вальдшнеп» и др.).

Биографы высчитали, что за 1885 год Мопассан написал 1500 печатных страниц. Этого не удавалось достигнуть ни Бальзаку, ни Диккенсу, ни даже Дюма-отцу. Но тут сосчитаны только страницы художественной прозы и не приняты во внимание те «хроники» – очерки и фельетоны, – которые Мопассан еженедельно печатал в газетах.

Литературный успех Мопассана возрастал от одной книги к другой. В 1882 году он издал сборник новелл «Мадемуазель Фифи»; в 1883 году – сборник «Рассказы вальдшнепа» и роман «Жизнь», высоко оцененный И. С. Тургеневым и Львом Толстым и выдвинувший Мопассана в первый ряд современных французских писателей. В 1884 году выходят сборники «Лунный свет», «Сестры Рондоли», «Мисс Гаррнет» и книга «Под солнцем». В 1885 году изданы сборники «Иветта», «Сказки дня и ночи» и «Туан», а одновременно с ними – роман «Милый друг», принесший Мопассану мировую известность.

Прежде чем объединять свои новеллы в книгу, Мопассан печатал их в газетах, обыкновенно в «Жиль Блас» и в «Голуа». Первая из этих газет носила бульварно-обывательский характер, не имела определенного политического лица, кроме самой общей республиканской позиции, но платила высокие гонорары и сумела привлечь лучшие литературные силы; Мопассан печатался здесь под псевдонимом Мофриньёз – по имени легкомысленной и фривольной бальзаковской герцогини. Газета «Голуа» была органом монархистов, бонапартистов и ориентировалась на своего рода читательскую аристократию; здесь Мопассан печатался под своим именем, помещая новеллы более объемные и серьезные по тону. Сотрудничество в двух таких несхожих газетах отвечало стремлению писателя не примыкать ни к какому определенному литературно-политическому лагерю. Изредка Мопассан печатался в «Фигаро» и в «Эко де Пари». Имя его появлялось и в журналах, но первая публикация новеллы в журнале была у Мопассана делом редким. Еженедельные журналы обычно перепечатывали его новеллы – после их первой публикации в газете или даже после появления в сборнике. Особенно много таких перепечаток было в «Политических и литературных анналах», в «Эхо недели», в «Народной жизни», в «Воре», причем новеллы печатались иногда под измененным заглавием.

Можно было ожидать, что после смерти Флобера и Тургенева усилится связь Мопассана с Золя, но этого не случилось, хотя Мопассан высоко ставил автора «Ругон-Маккаров» как художника и лишь не разделял его натуралистических теорий. Отношения Мопассана с Альфонсом Доде и с Эдмоном де Гонкур были довольно далекими и зачастую неприязненными, так как он не раз убеждался в недоброжелательном и вероломном отношении к себе со стороны этих писателей.

Тем не менее круг литературных связей Мопассана был очень обширен. Многие его новеллы посвящены либо писателям, с которыми он вместе входил в литературу (Полю Алексису, Леону Эннику, Анри Сеару, Ж. К. Гюисмансу, Октаву Мирбо, Полю Бурже), либо поэтам-парнасцам (Леону Дьерксу, Х. М. Эредиа, Катюлю Мендесу), либо другим писателям (Дюма-сыну, Эдуарду

Роду, Жоржу де Порто-Ришю, Полю Жинисти, Гюставу Тудузу, Полю Арно и др.), либо людям из кружка Флобера (Каролине Комманвиль, г-же Брэнн, Жоржу Пуше), либо художникам (Луи Ле Пуатвену, Камиллу Удино, Морису Лелуару, Гилеме), либо друзьям юности (Роберу Пеншопу, Леону Фонтену, А. де Жуанвиллю и другим). Хотя Мопассан был человеком, способным на преданную дружбу, что и доказал своей защитой памяти Флобера, настоящих, близких друзей, с которыми постоянно общаешься, у него почти не было. Возможно, что чувством этого одиночества и объяснялась его попытка сблизиться во второй половине 80-х годов со светскими кругами, где, однако, он не нашел тех людей высокой духовной культуры, которых, может быть, предполагал найти.

Напряженная творческая работа первого пятилетия 80-х годов сильно расшатала здоровье Мопассана. Из-за плохой наследственности он жаловался уже в 70-х годах на недомогания, связанные, в частности, с болезнью глаз. Во второй половине 80-х годов, на почве постоянного и все возрастающего переутомления, здоровье писателя резко ухудшилось: он страдает постоянными головными болями, а болезнь глаз все прогрессирует.

С каждым годом Мопассан проводит все больше времени в разъездах. В январе – марте 1885 года он ездит по Италии; летом того же года живет в Оверни и лечится на курорте Шатель-Гюйон; летом 1886 года ненадолго посещает Англию; в октябре – декабре 1887 года путешествует по Алжиру и лечится на местных минеральных водах; в июле 1888 года пользуется водами курорта Экл-Бей в Савойе; в сентябре – октябре 1889 года путешествует по морю вдоль побережья Италии, заезжая во Флоренцию и в Пизу; в апреле 1890 года – вторая поездка на несколько дней в Англию; в июле того же года – новый курс лечения в Савойе; в июне – июле 1891 года – путешествие по югу Франции. Нельзя не упомянуть о полете Мопассана 8 июля 1887 года на воздушном шаре «Орля»: шар опустился в Бельгии около устья Шельды. Потребность отдохнуть от парижского шума, от всех связей, находиться в полном одиночестве побудила Мопассана купить зимою 1885/86 года небольшую яхту, которой он дал имя «Милый друг». На этой яхте он совершил немало поездок по Средиземному морю близ французских берегов, а в январе 1888 года приобрел другую, более вместительную яхту, которой было дано то же имя.

В 1886 году выходят роман Мопассана «Монт-Ориоль» и два сборника новелл: «Маленькая Рок» и «Господин Паран». В последующие годы творческая продуктивность писателя слабеет и он выпускает уже только по одному сборнику в год: «Орля» (1887), «Избранник г-жи Гюссон» (1888), «С левой руки» (1889) и «Бесполезная красота» (1890).

Чем больше возрастала известность Мопассана, чем более ухаживало за ним светское общество, тем злорадней враги писателя принимались толковать о его «снобизме». Однако в романах «Сильна как смерть», «Наше сердце», в книге «На воде», в ряде рассказов и писем Мопассан дал множество уничтожающих характеристик светским людям – представителям титулованной знати и разноплеменной финансовой аристократии. За внешним лоском, за внешней утонченностью, за кастовым высокомерием и неприступностью этого замкнутого и в то же время космополитического мирка острый взгляд Мопассана разглядел духовное убожество, пошлость и паразитизм. О представительницах светского общества, претендовавших на интеллектуальность, он говорил, например: «Этот род женщин украшает себя мыслями точно так же, как они носят серьги и как стали бы носить кольцо в носу, будь это модно».

Книги Мопассана расходились хорошо. При этом писатель энергично защищал свои авторские права. Летом 1891 года одна нью-йоркская газета совершила литературный подлог, напечатав на своих страницах за подписью Мопассана целый роман – переделку его рассказа «Завещание». «Прежде всего это плагиат; кроме того, моим именем подписали книгу, сюжет которой у меня украли», – писал своему поверенному Мопассан, возмущенный этой «сложнейшей гнусностью». И он решил начать судебное преследование: «Это чистейшее мошенничество и подлог... я научу этих американских мошенников уважать мое имя». Но хотя к 1891 году имя Мопассана было известно во всем мире, а книги его разошлись только во Франции в огромном для того времени тираже, приближавшемся к четыремстам тысячам экземпляров, американские судьи отказались рассматривать иск Мопассана, объявив его «малоценным, малоизвестным и малооплачиваемым писателем».

В ноябре 1889 года умер брат Мопассана, Эрве, сошедший с ума; эта смерть подавляюще подействовала на писателя. По-видимому, именно со времени сумасшествия брата им овладевает предчувствие такого же конца, и он с отчаянием убеждается в невозможности улучшить состояние своего здоровья.

В течение двух последних лет сознательной жизни Мопассан мучительно переживает утрату прежней работоспособности. Романы «Сильна как смерть» и особенно «Наше сердце» дались ему с величайшим трудом. В 1891 году его творческая деятельность совершенно угасла. В августе этого года, встретившись с поэтом Огюстом Доршеном и показывая ему рукопись нового романа, Мопассан сказал:

– Вот первые пятьдесят страниц моего романа «Анжелюс». В течение целого года я не мог написать больше ни строчки. Если через три месяца книга не будет написана, я покончу с собой!

Но больше этих пятидесяти страниц он так и не смог написать. Все раздражало его, тяготило, выводило из себя. Буржуазные газеты, жадные до сенсаций, не щадя больного писателя, подняли шумиху. Однажды в какой-то газете он увидел заголовок: «Ухудшение здоровья г-на Мопассана; предстоящее заключение его в психиатрическую больницу». Эта газетная сенсация не была единичным случаем. Французская желтая пресса ненавидела Мопассана за его «Милого друга». Дом писателя был неотступно осажден репортерами, писатель «по ошибке» получал газеты, где на первой странице обсуждалось, не сошел ли он с ума.

1 января 1892 года, когда Мопассан посетил свою мать, жившую на вилле близ Канн, им овладел бред, и, возвратясь к себе домой, писатель ночью, в приступе безумия, нанес себе глубокую рану ножом в горло.

Первый биограф Мопассана, Альберт Лумброзо, сохранил трогательный рассказ о надежде друзей писателя возвратить ему сознание: «Они подумали, что зрелище любимой яхты, может быть, пробудит его угаснувшую память, подстегнет его сознание, некогда столь ясное и исчезнувшее теперь. Связанного, с руками, стянутыми смиренной рубашкой, несчастного повели на берег. „Милый друг“ тихо покачивался в море... Синее небо, ясный воздух, изящные очертания любимой яхты – все это, казалось, успокоило его... Его взгляд смягчился... Он долго рассматривал свой корабль меланхолическим и нежным взором... Губы его зашевелились, но не произнесли ни слова. Его увели. Он много раз оборачивался взглянуть на „Милого друга“. У всех, кто тогда окружал Ги, на глазах были слезы».

7 января 1892 года Мопассан был привезен в Париж. Его поместили в психиатрическую лечебницу. Первое время надежда на его выздоровление не покидала близких. Многие друзья навещали больного, но он был в бреду и не приходил в сознание. Смерть наступила 6 июля 1893 года.

Мопассан погребен в Париже, на кладбище Монпарнас.

Монт-Ориоль¹ Роман

Часть первая

ГЛАВА I

Первые посетители водолечебницы, ранние пташки, уже успели принять ванну и медленно прогуливались парами или в одиночку под высокими деревьями по берегу ручья, бежавшего из Анвальского ущелья. Другие только еще пришли из села и торопливо, с озабоченным видом входили в ванное заведение. Оно помещалось в просторном здании, нижний этаж которого предназначался для лечения теплыми водами, а в верхнем расположились казино, кофейная и бильярдная.

Несколько лет тому назад доктор Бонфиль открыл в глуши Анваля большой источник, окре-

¹ MONT-ORIOLE, 1886 Перевод Н. Немчиновой

стив его своим именем – источник Бонфиля, и тогда местные землевладельцы, робкие коммерсанты, соблазнились барышами и построили в этой красивейшей долине, дикой и все же веселой, среди ореховых и каштановых рощ большой дом, предназначив его для двойной цели – для лечения и для развлечения больных: внизу торговали минеральной водой, душами и ваннами, а наверху – пивом, крепкими напитками и музыкой.

Огородив часть долины по берегам ручья, превратили ее в парк, необходимую принадлежность каждого курорта; проложили в этом парке три аллеи – одну почти прямую, а две с поворотами и извивами; отвели воду из основного источника, и она забурилась в конце главной аллеи в большом цементном водоеме под сенью соломенной кровли и под надзором флегматичной женщины, которую все запросто называли Марией. Спокойная, невозмутимая овернка, в белоснежном чепчике и в широком, всегда опрятном фартуке, почти совсем закрывавшем ее форменное платье, неторопливо поднималась, заметив приближающегося больного. Разглядев, кто идет, она отыскивала в стеклянном шкафчике-вертушке нужный стакан и осторожно наполняла его, зачерпнув воды цинковым ковшиком, насаженным на палку.

Уныло улыбнувшись ей, больной выпивал воду и, возвращая стакан, говорил: «Спасибо, Мария»; затем поворачивался и уходил. Мария снова садилась на соломенный стул и поджидала следующего.

Впрочем, народу на Анвальском курорте было немного. Он открылся для больных только шесть лет тому назад, но и на седьмом году своего существования насчитывал их не больше, чем в начале первого года. Приезжало сюда человек пятьдесят, да и тех главным образом привлекала красивая местность, очаровательное селенье, приютившееся под огромными деревьями с кривыми стволами в три обхвата, и прославленные ущелья в начале этой необычайной долины, которая выходит на широкую равнину Оверни, а другим концом упирается в горный кряж, вздымающийся бугры потухших вулканов, и превращается там в дикую, великолепную расселину, где громоздятся обвалившиеся гранитные глыбы, а другие угрожающе нависают, где бежит быстрый ручей, низвергаясь с исполинских камней и разливаясь маленьким круглым озерком перед каждой из этих преград.

Свою деятельность курорт начал, как и всякий курорт, брошюрой, в которой автор ее, доктор Бонфиль, всячески прославлял свой источник. Во вступительной части он воспевал в пышном и чувствительном стиле альпийские красоты Анваля, употребляя только высокопарные, трескучие и пустые эпитеты. Все окрестности именовались живописными, изобиловали грандиозно-величественными видами или очаровательно-мирными пейзажами. Все ближайшие места прогулок носили на себе печать изумительного своеобразия, могли поразить воображение художников и туристов. И вдруг, без всякого перехода, начиналось восхваление целительных свойств источника Бонфиля, насыщенного углекислым газом, содержащего двууглекислую соду, смешанные соли, литиевые и железистые соединения, и так далее и так далее, способного излечивать всевозможные болезни. И доктор Бонфиль тут же перечислял их под рубрикой: «Хронические и острые заболевания, специально излечиваемые в Анвале»; длиннейший список этих недугов, врачующих в Анвале, отличался удивительным разнообразием и был утешителен для больных всех категорий. Брошюра заканчивалась полезными сведениями об условиях жизни в Анвале: о ценах на квартиры, на съестные припасы и на номера в гостиницах. В Анвале уже было три гостиницы, появившиеся одновременно с увеселительно-лечебным заведением: новенький «Сплендид-отель», построенный на склоне долины, повыше здания ванн, гостиница «Горячие ключи» – бывший постоялый двор, заново оштукатуренный и побеленный, и гостиница «Видайе», устроенная очень просто: содержатель ее купил три смежных домика и, пробив в них стены, соединил в одно целое.

А затем вдруг в один прекрасный день в Анвале оказались два новых врача, неизвестно откуда взявшихся, как будто выскочивших из источника, наподобие пузырьков газа, – как обычно и появляются врачи на курортах; это были доктор Онора, коренной овернец, и парижанин доктор Латон. Между доктором Латоном и доктором Бонфилем сразу же возгорелась лютая вражда, а доктор Онора, толстый, опрятный, гладко выбритый человек, всегда улыбающийся и покладистый, протягивал одному своему коллеге правую руку, другому левую и жил с обоими в добром согласии. Однако хозяином положения был доктор Бонфиль, носивший звание инспектора источ-

ников и главного врача курорта «Анвальские теплые воды».

Это звание было его силой, а ванное заведение – его вотчиной. Он проводил там целые дни и, по слухам, даже ночи. По утрам он раз сто бегал из своего дома, находившегося на ближнем краю села, в свой врачебный кабинет, устроенный в лечебнице справа от входа, в самом начале коридора. Засев там, как паук в паутине, он подстерегал всех входящих и уходящих, надзирая за своими больными строгим взором, а за чужими – свирепым. Он всех окликал и допрашивал властным тоном капитана в океанских широтах и на новичков нагонял страх или же вызывал у них усмешку.

И вот однажды утром, когда он, по обыкновению, мчался в лечебницу так стремительно, что длинные полы его потертого сюртука развевались, как два крыла, его внезапно остановил чей-то голос:

– Доктор!

Бонфиль обернулся. Его испитое лицо, изрытое неприятными морщинами, такими глубокими, что они казались черными, окаймленное запущенной бородой с проседью, дрогнуло, слясая изобразить улыбку; он торопливо снял шелковый цилиндр, потрепанный, засаленный цилиндр, весь в пятнах, прикрывающий длинные косицы черных седоватых волос – грязноватых волос, как ехидничал доктор Латон, – и, сделав шаг, пробормотал с низким поклоном:

– Доброе утро, маркиз. Как вы себя чувствуете сегодня?

Выхоленный пожилой господин небольшого роста, маркиз де Равенель, протянул врачу руку и ответил:

– Очень хорошо, доктор, хорошо или, во всяком случае, неплохо. Поясница еще ноет, но мне уже лучше, гораздо лучше, а я ведь принял пока только десять ванн. В прошлом году действие лечения сказалось лишь после шестнадцатой ванны. Вы помните?

– Как же, как же!

– Но я не об этом хотел с вами поговорить. Сегодня утром приехала моя дочь, и я решил сразу же посоветоваться с вами, потому что моему зятю, господину Андермату... Вильям Андермат – банкир, слышали?

– Да, конечно.

– Так вот, моему зятю дали рекомендательное письмо к доктору Латону. Но я доверяю только вам одному и прошу вас оказать мне любезность зайти в отель, пока еще... Ну, вы понимаете? По-моему, лучше сказать все откровенно... Вы сейчас свободны?

Доктор Бонфиль, взволнованный, встревоженный, надел цилиндр и ответил:

– Да, я свободен. Вам угодно, чтоб я сейчас пошел с вами?

– Разумеется.

И, повернув вспять от лечебницы, они быстрым шагом пошли по закругленной аллее к «Сплендид-отелю», построенному на горе для привлечения приезжих широким видом, открывавшимся оттуда.

Поднявшись на второй этаж, они вошли в гостиную, смежную с комнатами двух семейств – Равенелей и Андерматов; маркиз оставил там врача одного и отправился за дочерью.

Вскоре он вернулся вместе с нею. Это была совсем еще молоденькая белокурая женщина, миниатюрная, бледная и очень хорошенькая; в чертах ее лица было что-то детское, но голубые глаза смотрели на людей открыто и смело, и этот твердый, решительный взгляд придавал необыкновенную привлекательность и своеобразие всему ее изящному, хрупкому облику. Ничего серьезного у нее не было: неопределенное недомогание, приступы тоски, иногда беспричинные слезы, беспричинная раздражительность – словом, малокровие.

А главное, ей хотелось иметь ребенка, но ребенка не было, хотя она уже третий год была замужем.

Доктор Бонфиль заверил, что анвальские воды обладают всемогущими свойствами, и тотчас принялся строчить предписание.

Все рецепты доктора Бонфиля имели грозный вид обвинительного акта. Перечень лекарств, разбитый на многочисленные параграфы, по две, по три строчки в каждом, выстраивался на большом листе линованной бумаги, исписанной его торопливым почерком, чернея рядами колючих,

как пики, остроконечных букв.

Микстуры, пилюли, порошки, которые предписывалось принимать утром натошак, в полдень или вечером, следовали друг за другом свирепыми отрядами.

Казалось, они возглашали: «Ввиду того, что г-н Имярек страдает хронической, неизлечимой, смертельной болезнью, он обязан принимать:

1) Сернокислый хинин, от которого он оглохнет и потеряет память.

2) Бромистый калий, от которого у него испортится желудок, ослабеют умственные способности, по лицу пойдут прыщи, а дыхание станет зловонным.

3) Йодистый калий, который иссушит все железы внутренней секреции, необходимые как для деятельности мозга, так и для прочих функций организма, и очень быстро превратит больного в слабоумного импотента.

4) Салициловый натрий, целительное действие которого еще не доказано, зато он, по видимому, обеспечивает больному скоропостижную кончину.

А помимо сего, прописывается ему:

Хлорал, приводящий к сумасшествию, белладонна, вызывающая слепоту, всякого рода растительные настои, всякого рода минеральные смеси, кои портят кровь, подтачивают все органы, разъедают кости и убивают тех, кого пощадила болезнь».

Он строчил долго, исписал одну сторону листа, потом другую и наконец поставил свою подпись, как судья, вынесший смертный приговор.

Молодая женщина, сидя напротив доктора Бонфиля, смотрела на него, и губы ее морщились от еле сдерживаемого смеха.

Как только он вышел, отвесив низкий поклон, она схватила измаранный чернилами лист, скомкала, бросила в камин и дала наконец волю веселому смеху:

– Ах, папа, где ты нашел это ископаемое? Какое чучело, настоящее огородное пугало! Нет, это только ты можешь... Разыскал где-то лекаря прошлого века. Ох, до чего ж он уморительный!.. А грязный какой, грязный!.. Право, страшно будет взять ручку, которой он писал! Наверно, он ее испачкал...

Вдруг отворилась дверь, раздался голос Андермата:

– Пожалуйста, доктор, – и появился доктор Латон. Высокий, сухощавый, подтянутый, неопределенного возраста, одетый по моде, с высоким шелковым цилиндром в руке – отличительным признаком врачей на овернских курортах, – этот парижский доктор с гладко выбритым лицом напоминал актера, приехавшего на дачу.

Растерявшийся маркиз де Равенель не знал, что делать, что сказать, а дочь его, прикрыв рот платком, внезапно закашлялась, чтобы не расхохотаться в лицо этому второму доктору. Латон непринужденно поклонился и сел по безмолвному приглашению молодой хозяйки. Андермат, который вошел вслед за ним, пространно описал состояние здоровья своей жены, все ее недомогания со всеми симптомами, изложил мнение парижских врачей и свое собственное, подкрепляя его особыми соображениями и с легкостью жонглируя медицинскими терминами.

Это был совсем еще молодой человек, еврей, крупный делец. Дела он вел всякого рода и во всем проявлял поразительную ловкость, сообразительность и верность суждений. Низенький, уже толстый не по росту, лысеющий, с пухлыми, розовыми, как у младенца, щеками, с жирными ручками, короткими ножками, он цвел какой-то нездоровой свежестью, а говорил с ошеломляющей быстротой.

На дочери маркиза де Равенеля он женился по расчету, чтобы найти в высшем свете, для него недоступном, поддержку своим спекуляциям. Правда, у маркиза было около тридцати тысяч годового дохода и только двое детей, но Андермат ко времени женитьбы нажил уже пять-шесть миллионов, хотя ему не было еще и тридцати лет, и успел подготовить почву для будущего урожая в десять-двенадцать миллионов. Де Равенель, человек нерешительный, бесхарактерный, слабый и непостоянный, сначала с негодованием отверг его предложение, переданное через третьих лиц, не допускал и мысли, чтобы его дочь могла стать женой какого-то иудея, полгода сопротивлялся, а потом уступил под давлением груды золота и лишь поставил условием, чтобы его внуки воспитывались в католической вере.

Но внуков все не было и как будто не предвиделось. Тогда маркиз, который два года подряд приезжал на анвальские воды и был от них в восторге, вспомнил, что брошюра доктора Бонфиля в числе прочих чудес обещала исцеление от бесплодия.

Маркиз вызвал дочь, и зять сам привез ее в Анваль, чтобы устроить жену как должно и, по совету своего парижского врача, поручить заботам доктора Латона. Приехав, он немедленно побежал за рекомендованным ему врачом и теперь подробно описывал симптомы недомоганий, наблюдавшихся у его супруги. В заключение он сказал, как огорчительно для него обмануться в своих надеждах стать отцом.

Доктор слушал, не прерывая, а когда Андермат кончил, обратился к молодой женщине с вопросом:

– Не желаете ли вы, сударыня, добавить что-нибудь?

Она ответила, приняв серьезный вид:

– Нет, ровно ничего.

– В таком случае будьте любезны переодеться: снимите дорожное платье, корсет и наденьте простой белый пеньюар, но только совершенно белый.

Госпожа Андермат удивилась; доктор с живостью принялся разъяснять свою систему:

– Боже мой, сударыня, это очень просто. Раньше существовало убеждение, что все болезни вызывает или испорченная кровь, или какой-нибудь органический порок, а теперь мы пришли к весьма простому предположению, что во многих случаях, а в особенности таком, как ваш, те неопределенные недомогания, которым вы подвержены, да и не только они, а даже серьезные расстройства, весьма серьезные, смертельные, могут проистекать лишь оттого, что какой-нибудь орган под воздействием легко устанавливаемых причин ненормально увеличивается в ущерб соседним органам и разрушает всю гармонию, все равновесие в строении человеческого тела, изменяет или приостанавливает его функции, тормозит деятельность всего организма.

Достаточно вздутия желудка, чтобы появились симптомы болезни сердца, ибо сердце в этом случае, будучи приподнято и стеснено в движениях, работает неправильно, иной раз даже с перебоями. Увеличение печени или некоторых желез может вызвать угрожающие последствия, которые малонаблюдательный врач припишет совершенно иным причинам.

Итак, нам прежде всего необходимо установить, имеют ли органы больного нормальный объем и не смещены ли они. Зачастую какой-нибудь пустяк может совершенно подорвать здоровье человека. И поэтому я, сударыня, с вашего позволения, самым тщательным образом исследую вас и набросаю на вашем пеньюаре линии, обозначающие границы, размеры и положение ваших органов.

Он положил цилиндр на стул и говорил с жаром. Большой рот его открывался и закрывался, на бритых щеках западали две глубокие складки, и это придавало ему вид проповедника.

Андермат пришел в восторг:

– Вот это я понимаю! Поразительно! Как умно! Очень ново, очень современно!

«Очень современно» было высшей похвалой в его устах.

Молодую женщину все это страшно забавляло; она покорно поднялась, пошла к себе в спальню и через несколько минут вернулась, переодетая в белый пеньюар.

Доктор Латон уложил ее на кушетку, вынул из кармана карандаш с тремя графитами – черным, красным и синим – и принялся выстукивать и выслушивать свою новую пациентку, отмечая каждое свое наблюдение мелкими пестрыми штрихами на белом пеньюаре. Через четверть часа такой обработки пеньюар стал похож на географическую карту, где обозначены материки, моря, мысы, реки, государства, города со всеми их наименованиями, так как над каждой пограничной линией доктор надписывал два-три латинских слова, понятных ему одному.

Старательно исследовав г-жу Андермат, выслушав все внутренние шумы, все глухие или ясные тоны, получающиеся при выстукивании полостей тела, он вытащил из кармана записную книжку-алфавит в красном кожаном переплете с золотым тиснением, заглянул в таблицу и, раскрыв книжку, написал: «Наблюдение 6347. Г-жа А. 21 год».

Затем он перенес на соответствующую страничку все свои наблюдения, окидывая взглядом пациентку с головы до ног и читая разноцветные отметки на ее пеньюаре, как египтолог расшиф-

ровывает иероглифы.

Закончив запись, он объявил:

– Ничего тревожного, все в норме, есть только одно незначительное, совершенно незначительное отклонение, от которого вас легко излечат углекислые ванны, не больше тридцати ванн. А кроме того, вам надо пить каждое утро до полудня три раза по полстакана минеральной воды. И больше ничего. Дней через пять я вас навещу.

Затем он встал, поклонился и вышел так стремительно, что поверг всех в изумление. Этот внезапный уход был театральным приемом собственного его изобретения, особым шиком, признаком оригинальности. Доктор Латон считал, что это манера очень хорошего тона и производит большое впечатление на пациентов.

Госпожа Андермат подбежала к зеркалу и, поглядевшись в него, вся затряслась от веселого детского хохота.

– Ох, до чего они смешные, просто уморительные! Неужели их только два? Наверно, есть еще третий. Покажите мне его скорее! Виль, сходи за ним, приведи, я хочу на него посмотреть.

Муж спросил удивленно:

– Как так «третий»? Почему «третий»?

Маркизу пришлось объясниться и извиниться: он немного побаивался своего зятя. Он сказал, что доктор Бонфиль был у него сегодня с визитом и он, воспользовавшись этим, привел его к Христиане, желая узнать мнение такого опытного врача, которому он вполне доверяет, к тому же коренного жителя Анваля, человека, открывшего источник.

Андермат, пожав плечами, заявил, что его жену будет лечить только доктор Латон; и озадаченный маркиз стал обдумывать, как бы уладить дело, чтобы не обиделся его сердитый врач.

Христиана спросила о своем брате:

– Гонтран здесь?

Отец ответил:

– Да, приехал четыре дня тому назад со своим другом, Полем Бретињи, о котором, помнишь, он часто нам говорил. Они вместе путешествуют по Оверни. Побывали уже в Мон-Доре и в Бурбуле, а в конце будущей недели поедут отсюда в Канталь.

Затем он спросил у дочери, не хочет ли она отдохнуть до завтрака после ночи, проведенной в поезде, но она ответила, что прекрасно выспалась в спальном вагоне и только просит дать ей часок на то, чтобы помыться и переодеться, а после этого ей хочется посмотреть село и ванное заведение. В ожидании, когда она будет готова, отец и муж ушли в свои комнаты.

Вскоре она позвала их, и все трое вышли из гостиницы на прогулку. Г-жу Андермат сразу же восхитило селение, спрятавшееся в лесу, в глубине долины, и, казалось, со всех сторон замкнутое каштановыми деревьями высотой с гору. Эти вековые великаны волею случая разбросаны были повсюду – росли у ворот, во дворах, на улицах; кроме того, повсюду били родники, на каждом шагу высились черные камни, а оттуда, из просверленного маленького отверстия, вырывалась светлая струя воды и, изгибаясь в воздухе дугой, падала в каменную колоду. Под сводами ветвей разливался свежий запах листвы и хлеба; овернки важной поступью медленно двигались по улицам или же стояли у порога и пряли черную шерсть, проворными пальцами ссучивая кудель с прялки, заткнутой за пояс. На них были короткие юбки, не закрывавшие худых лодыжек, обтянутых синими чулками, корсажи с помочами и холщовые рубашки с рукавами, из которых высывались жилистые и сухие, костлявые руки.

Вдруг откуда-то донеслась музыка – странные, скачущие, прерывистые и хриплые звуки, как будто заиграла старая, разбитая шарманка.

– Что это такое? – воскликнула Христиана.

Отец засмеялся:

– Оркестр курортного казино. Всего четыре музыканта, а шуму сколько!

И он подвел дочь к стене деревенского дома, где наклеена была ярко-красная афиша. Жирными черными буквами на ней значилось:

АНВАЛЬСКОЕ КАЗИНО

Директор г-н Петрюс Мартель из Одеона
Суббота 6 июля

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ

Играет оркестр под управлением маэстро Сен-Ландри, лауреата консерватории, удостоенного второй премии. Партию рояля исполнит г-н Жавель, удостоенный первой премии консерватории. Флейта – г-н Нуаро, лауреат консерватории. Контрабас – г-н Никорди, лауреат Брюссельской королевской академии.

После концерта большое представление

ЗАБЛУДИЛИСЬ В ЛЕСУ

Комедия в одном действии г-на Пуантиле.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Пьер де Лапуант – г-н Петрюс Мартель из Одеона.

Оскар Левейе – г-н Птинивель из Водевиля.

Жан – г-н Лапальм из Большого театра в Бордо.

Филиппина – мадмуазель Одлен из Одеона.

Во время спектакля играет оркестр под управлением маэстро Сен-Ландри.

Христиана читала вслух, хохотала и удивлялась. Отец сказал ей:

– погоди, они еще не так тебя позабавят. Пойдем посмотрим на них.

Они двинулись дальше и, повернув направо, вошли в парк. Больные степенно, чинно прогуливались по трем аллеям, подходили к источнику, выпивали предписанный им стакан воды и опять начинали шагать. Некоторые сидели на скамейках, чертили по песку тросточкой или кончиком зонта. Они не разговаривали и как будто ни о чем не думали, все были какие-то полумертвые, зачарованные сонной одурью и курортной скукой. Только странные звуки музыки, неведомо откуда долетавшие, неведомо кем порожденные, сотрясали теплый, застывший воздух, проносились под деревьями, и, казалось, лишь они и приводили в движение уныло бродившие фигуры.

Кто-то крикнул:

– Христиана!

Она обернулась и увидела брата. Он подбежал, поцеловался с ней, пожал руку Андермату, потом взял сестру под руку и быстро повел ее по аллее, опередив отца и зятя.

Между братом и сестрой начался веселый разговор. Гонтран, высокий и элегантный молодой человек, был так же смешлив, как сестра, так же подвижен, как отец, и равнодушен ко всему на свете, но вечно поглощен одной заботой – где бы достать тысячу франков.

– Я думал, ты спишь, – говорил он, – а то бы уж давно прибежал поцеловать тебя. Да еще этот Поль утащил меня сегодня утром на прогулку – посмотреть на замок Турноэль.

– Кто это – Поль? Ах да, твой друг.

– Поль Бретины. Да, ты ведь с ним незнакома. Он сейчас принимает ванну.

– Он болен?

– Нет, но все-таки лечится. Недавно был адски влюблен.

– И поэтому принимает углекислые ванны! Так они, кажется, называются – углекислые? Хочет таким способом излечиться от любви.

– Да. Он делает все, что я ему велю. У него рана, понимаешь, глубокая сердечная рана! Такой уж он бешеный, неистовый. Чуть не умер. И ее хотел убить. Она актриса, известная актриса. Он ее любил безумно! Ну, а она, разумеется, изменила ему. Была ужасная драма. Вот я и увез его сюда. Сейчас он немного оправился, но все еще думает о ней.

Сестра перестала улыбаться и сказала уже серьезным тоном:

– Интересно будет на него посмотреть.

Впрочем, слово «любовь» для нее почти не имело смысла. Иногда она думала о любви так же, как бедная женщина, живя в скудости, думает о жемчужном ожерелье, о бриллиантовой диа-

деме и на минуту загорается желанием иметь эти драгоценности, для нее такие далекие, но кому-то другому вполне доступные. Представление о любви она почерпнула из немногих романов, прочитанных от нечего делать, но не придавала ей большого значения. Она не отличалась мечтательностью и от природы была наделена душой жизнерадостной, уравновешенной и всем довольной. Замужество – а она уже была замужем два с половиной года – не нарушило той дремоты, в которой живут наивные девушки, дремоты сердца, мыслей и чувств, – для иных женщин этот сон длится до самой смерти. Жизнь казалась ей простой и приятной, никаких сложностей она не видела в ней, не доискивалась ее смысла и цели. Она жила безмятежно, спокойно спала, одевалась со вкусом, смеялась, была довольна. Чего еще могла она желать?

Когда ей представили Андермата в качестве искателя ее руки, она сначала отказала ему с ребяческим негодованием. Что?! Выйти замуж за еврея! Отец и брат, разделявшие ее отвращение, ответили так же, как и она, решительным отказом. Андермат исчез с горизонта, притаился. Но спустя три месяца он дал займы Гонтрану свыше двадцати тысяч франков, да и у маркиза, по другим причинам, стало изменяться мнение. Он по самому существу своему не мог сопротивляться упорному натиску и всегда уступал из эгоистической любви к покою. Дочь говорила о нем: «Ах, папа, папа! Какая у него путаница в мыслях!» Это было верно. У него не было ни твердых взглядов, ни верований, а только восторженные, постоянно менявшиеся увлечения. То он проникался минутным поэтическим преклонением перед старыми родовыми традициями и желал короля, но короля разумного, просвещенного, идущего в ногу с веком; то, прочитав книгу Мишле² или какого-нибудь другого мыслителя-демократа, с жаром говорил о равенстве людей, о современных идеях, о требованиях бедняков, угнетенных и обездоленных. Он мог уверовать во что угодно, смотря по настроению, и когда старая его приятельница г-жа Икардон, имевшая связи в еврейских кругах, пожелала посодействовать браку Христианы с Андерматом, она знала, как подойти к маркизу и какими доводами его убедить.



Она утверждала, что для евреев, угнетенных так же, как был угнетен французский народ до революции, настал час мщения и теперь они будут угнетать других могуществом золота. Маркиз де Равенель, человек совсем не религиозный, был, однако, убежден, что идея бога очень полезна как законополагающая идея, что она крепче может держать в узде боязливых глупцов и невежд,

² Мишле (1798–1874) – французский историк.

нежели неприкрашенная идея справедливости, и поэтому с одинаково равнодушной почтительностью относился ко всем религиозным догмам, питал одинаково искреннее уважение к Конфуцию, Магомету и Иисусу Христу. Распятие Иисуса на кресте он отнюдь не считал наследственным грехом евреев, а только грубой политической ошибкой. Поэтому г-же Икардон достаточно было нескольких недель, чтоб внушить ему восторг перед непрестанной скрытой деятельностью евреев, повсюду преследуемых и всемогущих. И вдруг он стал другими глазами смотреть на их торжество, считая его справедливой наградой за долгое унижение. Он видел теперь в евреях властителей, которые повелевают королями – повелителями народов, поддерживают или низвергают троны, могут разорить и довести до банкротства целую нацию, точно какого-нибудь виноторговца, гордо посматривают на приниженных государей и швыряют свое нечистое золото в приоткрытые шкатулки самых правоверных католических монархов, а получают от них за это грамоты на дворянство и железнодорожные концессии.

И он дал согласие на брак своей дочери Христианы де Равенель с банкиром Вильямом Андерматом.

Христиана поддалась осторожному воздействию со стороны г-жи Икардон, подруги маркизы де Равенель и ближайшей своей советницы после смерти матери; к этому прибавилось воздействие отца, корыстное равнодушие брата, и она согласилась выйти за этого толстяка-банкира, который был очень богат, молод и не безобразен, но совсем не нравился ей, – так же согласилась бы она провести лето в какой-нибудь скучной местности.

А теперь она находила, что он добродушный, внимательный, неглупый человек, приятный в близком общении, но частенько смеялась над ним, болтая с Гонтраном, проявлявшим черную неблагодарность к зятю.

Гонтран сказал ей:

– Муж у тебя стал совсем лысый и розовый. Он похож на больной, разбухший цветок или на молочного поросенка... Откуда у него такие краски берутся?

– Я тут ни при чем, уверяю тебя! Знаешь, мне иногда хочется наклеить его на коробку с конфетами.

Они уже подходили к ванному заведению.

У стены, по обе стороны двери, сидели на соломенных табуретках два человека, покуривая трубки.

– Посмотри-ка на них, – сказал Гонтран. – Забавные типы! Сначала погляди на того, который справа, на горбуна в греческой шапочке. Это дядюшка Прентан, бывший надзиратель в риомской тюрьме, а теперь смотритель и почти директор анвальского водолечебного заведения. Для него ничего не изменилось: он командует больными, как арестантами. Каждый приходящий в лечебницу – это заключенный, поступающий в тюрьму; кабинки – одиночные камеры; зал врачебных душей – карцер, а закоулок, где доктор Бонфиль производит своим пациентам промывание желудка при помощи зонда Барадюка, – таинственный застенок. Мужчинам он не кланяется в силу того принципа, что все осужденные – презренные существа. С женщинами он обращается более уважительно, но смотрит на них с некоторым удивлением: в риомской тюрьме содержались только мужчины. Это почтенное убежище предназначалось для преступников мужского пола, и с дамами он еще не привык разговаривать. А второй, слева, – это кассир. Попробуй попроси его записать твою фамилию – увидишь, что получится.

И, обратившись к человеку, сидевшему слева, Гонтран медленно, отдельно произнес:

– Господин Семинуа! Вот моя сестра, госпожа Андермат; она хочет записаться на двенадцать ванн.

Кассир, длинный, как жердь, тощий и одетый по-нищенски, поднялся, вошел в свою будку, устроенную напротив кабинета главного врача, открыл реестр и спросил:

– Как фамилия?

– Андермат.

– Как вы сказали?

– Андермат.

– По слогам-то как будет?

– Ан-дер-мат.

– Так, так, понял.

Он медленно стал выводить буквы. Когда он кончил писать, Гонтран попросил:

– Будьте добры, прочтите, как вы записали фамилию моей сестры.

– Пожалуйста. Госпожа Антерпат.

Христиана, смеясь до слез, заплатила за абонемент, потом спросила:

– Что это за шум там, наверху?

Гонтран взял ее под руку.

– Пойдем посмотрим.

Они поднялись по лестнице; навстречу им неслись сердитые голоса. Гонтран отворил дверь, они увидели большую комнату с бильярдом посередине. Двое мужчин без пиджаков стояли друг против друга с длинными киями в руках и вели яростный спор через зеленое поле бильярда:

– Восемнадцать!

– Нет, семнадцать!

– А я вам говорю, у меня восемнадцать!

– Неправда, только семнадцать!

Это директор казино Петрюс Мартель из Одеона, как обычно, сражался на бильярде с комиком Лапальмом из Большого театра в Бордо.

Петрюс Мартель, тучный мужчина с необъятным животом, который колыхался под рубашкой и нависал над поясом брюк, державшихся на честном слове, лицедействовал во многих местах, потом обосновался в Анвале и, получив в управление казино, проводил все дни своей жизни в истреблении напитков, предназначенных для курортных гостей. Он носил огромные офицерские усы и с утра до вечера увлажнял их пивной пеной или сладкими, липкими ликерами, пылал неумеренной страстью к бильярду и, заразив ею старого комика своей труппы, завербовал его себе в партнеры.

С утра, не успев протереть глаза, они уже принимались сражаться на бильярде, переругивались, грозили друг другу, стирали записи, начинали следующую партию, едва решались урвать время для завтрака и никого не подпускали к зеленому полю.

Они распугали всех посетителей, но нисколько этим не смущались и были довольны жизнью, хотя Петрюса Мартеля в конце сезона ждало банкротство.

Удрученная кассирша с утра до вечера созерцала их бесконечную партию, с утра до вечера слушала их нескончаемые споры и с утра до вечера подавала двум неутомимым игрокам кружки пива и рюмочки спиртного.

Гонтран увел сестру.

– Пойдем в парк. Там прохладнее.

Обогнув здание водолечебницы, они увидели китайскую беседку и игравший в ней оркестр.

Белокурый молодой человек исполнял роль скрипача и дирижера и, отбивая такт для трех диковинного вида музыкантов, сидевших напротив него, неистово дергал смычком, мотал головой, встряхивал длинной шевелюрой, сгибался, выпрямлялся, раскачивался направо и налево, превратив собственную свою особу в дирижерскую палочку. Это был маэстро Сен-Ландри.

Маэстро и его помощники: пианист, для которого ежедневно инструмент выкатывали на колесах из вестибюля ванного заведения в беседку, огромный флейтист, который, словно спичку, сосал свою флейту, перебирая клапаны толстыми, пухлыми пальцами, и чахоточный контрабасист – все они в поте лица своего превосходно воспроизводили звуки испорченной шарманки, поразившие Христиану, когда она еще проходила по селу.

В то время как она остановилась посмотреть на них, какой-то господин поздоровался с ее братом:

– Доброе утро, дорогой граф!

– Здравствуйте, доктор.

И Гонтран познакомил с ним сестру:

– Моя сестра. Доктор Онора.

Христиана едва удерживалась от смеха: значит, нашелся и третий доктор.

– Надеюсь, вы не больны, сударыня? – с поклоном спросил ее доктор Онора.

– Немножко нездорова.

Он не стал расспрашивать и заговорил о другом:

– Знаете, дорогой граф, сегодня вам предстоит увидеть интереснейшее зрелище.

– Какое же, доктор?

– Старик Ориоль взорвет свой знаменитый «Чертов камень» в конце долины. Ах, вам это ничего не говорит, но для нас это – целое событие!

И он пояснил. Старик Ориоль – первый богач во всей округе (известно, что у него дохода больше пятидесяти тысяч в год), владеет всеми виноградниками, расположенными в том месте, где начинается равнина. Но лучшие его виноградники насажены по склонам небольшой горы, вернее, высокого холма, поднимающегося у самого села, в наиболее широком месте лощины. И посреди одного из этих виноградников, напротив дороги и в двух шагах от ручья, торчит исполинский камень, скорее, утес, который мешает возделывать почву и затеняет значительную часть этого клочка земли.

Уже лет десять дядюшка Ориоль каждую неделю все грозился, что взорвет свой Чертов камень, но никак не мог решиться на это.

Всякому парню, отправлявшемуся отбывать военную службу, он говорил:

– Как придешь на побывку, принеси малость пороха для моего Чертова камня.

И каждый молодой солдат приносил в своем ранце горсточку-другую краденого пороха для Чертова камня дядюшки Ориоля. Он набил целый сундучок этим порохом, а камень все стоял на своем месте.

Но вот уже целую неделю люди видели, как он долбит утес вместе со своим сыном, долговязым Жаком, по прозвищу Великан. А нынче утром они насыпали пороху в пустое теперь нутро огромной глыбы, потом замазали отверстие, пропустив в него фитиль-трут, который продается для курильщиков в табачной лавке. Подожгут его в два часа. Взрыв произойдет минут через пять, через десять после этого, потому что фитиль очень длинный.

Христиана слушала рассказ с интересом, и ей захотелось посмотреть, как будут взрывать утес. Это напомнило ей какую-то детскую игру и показалось очень занятным ее наивному воображению.

Они дошли до конца парка.

– А куда дальше ведет лощина? – спросила Христиана.

– На «Край света», сударыня, – так называется прославленное у нас в Оверни ущелье. Это одно из любопытнейших чудес природы в наших краях.

Но в это время зазвонил колокол. Гонтран удивился:

– Смотрите, уже завтрак!

И они повернули обратно. Навстречу им по аллее шел какой-то высокий молодой человек. Гонтран сказал:

– Ну, милая сестренка, позволь представить тебе господина Поля Бретины.

Потом повернулся к своему другу.

– Это моя сестра, дорогой.

Христиана нашла, что приятель брата очень некрасив. У него были черные, коротко остриженные невьющиеся волосы, слишком круглые глаза с почти суровым выражением, и голова тоже была совершенно круглая и большая; такие головы напоминают почему-то пушечное ядро, да при этом еще у него были плечи Геркулеса и во всем облике что-то тяжеловесное и грубое, дикое. Но от его пиджака, от его сорочки и, может быть, от самой кожи исходил тонкий, нежный аромат духов, незнакомых Христиане, и она подумала: «Что это за духи?»

– Вы приехали только сегодня, сударыня? – спросил Бретины. Голос у него был несколько глухой.

– Да, сегодня, – ответила Христиана.

Гонтран заметил вдали маркиза и Андермата, которые знаками торопили их идти завтракать.

Доктор Онора простился с ними и спросил, действительно ли они намереваются посмотреть на взрыв утеса.

Христиана ответила, что пойдет непременно, и, потянув брата за руку, торопливо направилась к отелю.

– Я голодна, как волк, – тихонько сказала она, наклоняясь к Гонтрану. – Мне неловко будет есть при твоём друге.

ГЛАВА II

Завтрак тянулся бесконечно, как это водится за общим столом в гостиницах. Для Христианы все лица были незнакомы, и она разговаривала только с отцом и с братом, а после завтрака поднялась в свою комнату отдохнуть до прогулки к месту взрыва.

Она была готова задолго до назначенного часа и торопила всех, боясь пропустить любопытное зрелище.

За селом, в конце долины, поднимался высокий холм, скорее, даже небольшая гора; под знойным солнцем взобрались на него по узкой тропинке, змеившейся меж виноградниками, и, как только очутились на вершине, Христиана вскрикнула от восторга – такой широкий кругозор внезапно открылся перед ней. Во все стороны раскинулась равнина, беспредельная, бескрайняя, словно океан. Она простиралась ровная, гладкая, вся затянутая голубой, мягкой туманной дымкой, и где-то далеко-далеко, километров за пятьдесят-шестьдесят, чуть виднелись горы. Сквозь тонкую, прозрачную пелену, реявшую над этими просторами, глаз различал города, села, леса, большие желтые прямоугольники созревшей пшеницы, зеленые прямоугольники лугов, фабрики с высокими красными трубами и черные островерхие колокольни, выстроенные из лавы угасших вулканов.

– Обернись, – сказал ей брат.

Она обернулась и увидела горный кряж, усеянный вулканическими буграми. Ближе пролегла Анвальская лощина – широкая волна зелени, где смутно чернели узкие входы глубоких ущелий. Буйная лесная поросль карабкалась по уступам крутого склона до первого гребня, заслонявшего верхние отроги. Холм стоял как раз на границе равнинной и горной местности, и с него видно было, как горы цепью тянутся влево, к Клермон-Феррану, и как, удаляясь, вырисовываются в небе их странные усеченные вершины, похожие на чудовищные волдыри; это были вулканы, потухшие, мертвые вулканы. И в самом конце их гряды, между двумя горами, виднелась третья, еще дальше и выше их, округлая, величественная, увенчанная причудливыми зубцами каких-то руин.

Это был Пюи-де-Дом, король овернских гор, грузный и мощный великан, еще сохранивший на своей вершине развалины римского храма, словно венец, возложенный на его главу величайшим из народов.

Христиана воскликнула:

– О, как мне тут будет хорошо!

И в самом деле, ей уже было хорошо, тело и душу ее охватило то блаженное чувство, когда дышишь так вольно, когда движешься так легко и свободно, когда всего тебя пронизывает радость жизни оттого, что ты вдруг очутился в милом, как будто созданном для тебя краю и он ласкает, очаровывает, пленяет твой взгляд.

Кто-то крикнул:

– Госпожа Андермат! Госпожа Андермат!

Христиана увидела вдали доктора Онора, приметного по высокому цилиндру. Он подбежал и повел все семейство на другой склон, поросший травой, к опушке молодой рощицы, где уже собралось человек тридцать крестьян и приезжих господ.

Оттуда крутой откос спускался к риомской дороге, обсаженной тенистыми ивами, укрывавшими узкую речку; на берегу этой речки, посреди виноградников, возвышался остроконечный утес, а перед ним стояли на коленях, точно молились ему, двое мужчин. Это и был Чертов камень дядюшки Ориоля.

Ориоли, отец и сын, укрепляли фитиль. На дороге сгрудилась толпа любопытных, впереди выстроилась низенькая беспокойная шеренга мальчишек.



Доктор Онора выбрал для Христианы удобное место, она села, и сердце у нее так билось, как будто через минуту вместе с утесом должны были взлететь на воздух и все люди, теснившиеся внизу. Маркиз, Андермат и Поль Бретињи легли на траву возле нее, а Гонтран смотрел стоя. Он заметил насмешливо:

– Доктор! Очевидно, вы меньше заняты, чем ваши почтенные коллеги; они не решились потерять хотя бы часок даже ради такого праздника.

Онора благодушно ответил:

– Я занят не меньше, только вот больные меня занимают меньше, чем их... По-моему, лучше развлекать пациентов, а не пичкать их лекарствами.

Он сказал это с лукавым видом, который очень нравился Гонтрану.

На холм карабкались и другие зрители, их соседи по табльдоту: две вдовы Пайль – мать и дочь, г-н Монею с дочерью и г-н Обри-Пастер, низенький толстяк, который пыхтел, как надтреснутый паровой котел; в прошлом он был горным инженером и нажил себе состояние в России.

Маркиз уже успел подружиться с ним. Обри-Пастер с величайшим трудом уселся на землю, старательно проделав столько обдуманых подготовительных движений, что Христиане стало смешно. Гонтран отошел поглядеть на других любопытных, взобравшихся на холм.

Поль Бретињи показывал и называл Христиане видневшиеся вдали города и села. Ближе всех был Риом, выделявшийся на равнине красной полосой черепичных крыш, за ним – Эннеза, Маренг, Лезу и множество еле заметных деревень, черными пятнышками испещривших зеленую гладь. А далеко, очень далеко, у подножия Форезских гор, Бретињи видел Тьер и все старался, чтобы и Христиана его разглядела.

Бретињи говорил, оживившись:

– Да вот он, вот он! Смотрите вон туда, прямо по направлению моей руки. Я-то его хорошо вижу.

Христиана ничего не видела, но не удивлялась, что он видит, – его круглые глаза смотрели пристальным, неподвижным взглядом хищной птицы, и, казалось, он все различал вдали, как в морской бинокль.

Он сказал:

– А посреди равнины перед нами течет Алье, но ее не увидишь, уж очень это далеко – километров тридцать.

Но Христиана и не пыталась разглядеть то, что он показывал: взгляд ее и все мысли притягивал к себе утес. Она думала о том, что вот сейчас этот утес исчезнет, разлетится прахом и боль-

ше его не будет на свете, и в ней шевелилось смутное чувство жалости, – так маленькой девочке жалко бывает сломанную игрушку. Утес стоял тут так долго, был такой красивый, так был у места в этой долине! А оба Ориоля уже поднялись на ноги и стали сбрасывать в кучу у его подножия мелкие камни, проворно и по-крестьянски ловко подхватывая их лопатами.

На дороге толпа все разрасталась и теперь придвинулась ближе, чтобы лучше было видно. Мальчишки облепили обоих крестьян, возившихся возле утеса, бегали и прыгали вокруг, словно разыгравшиеся щенки, а с вершины холма, где сидела Христиана, все эти люди казались совсем маленькими, какими-то букашками, суетливыми муравьями. Шум толпы долетал до нее еле слышным гулом, а то вдруг поднимался смутной разноголосицей криков, глухим топотом, дробился, таял и рассеивался в воздухе какой-то пылью звуков. Вверху толпа также прибывала, люди все шли и шли из деревни и уже заняли весь склон напротив обреченной скалы.

Зрители перекликались, подзывали друг друга, собирались кучками – по случайному соседству в гостиницах, по общественным рангам, по кастам. Самой шумной была кучка актеров и музыкантов, которой предводительствовал и командовал антрепренер Петрюс Мартель из Одеона, оторвавшийся ради такого события от азартной партии в бильярд.

Усатый актер стоял, надвинув на лоб панаму, в легком пиджаке из черного альпага, и между полами горбом выпирало его обширное чрево, обтянутое белой рубашкой, так как он считал излишним носить жилет в деревенском захолустье; приняв повелительную осанку, он указывал, объяснял и комментировал каждое движение Ориолей. Директора окружали и слушали подчиненные: комик Лапальм, первый любовник Птинивель и музыканты – маэстро Сен-Ландри, пианист Жавель, слоноподобный флейтист Нуаро и чахлый Никорди, игравший на контрабасе. Впереди сидели на траве три женщины, раскрыв над головами зонты – белый, красный и синий, сверкавшие яркими красками в ослепительных лучах солнца, как своеобразный французский флаг. Под этими зонтами расположились молодая актриса мадемуазель Одлен, ее мамаша – мамаша напрокат, как острил Гонтран, – и кассирша кофейни, их неизменная спутница. Подобрать зонтики по цветам национального флага придумал Петрюс Мартель: заметив в начале сезона, что у мамыши Одлен синий зонтик, а у дочки белый, он преподнес кассирше красный.

Неподалеку собралась другая кучка, не менее привлекавшая внимание и взгляды, – восемь поваров и поварят из гостиниц, все облаченные в белые полотняные одеяния: по причине конкуренции, чтобы произвести впечатление на придиричивых приезжих, содержатели ресторанов нарядили так всю кухонную прислугу, даже судомоек. Солнце играло на накрахмаленных колпаках, и эта группа походила не то на диковинный штаб белых улан, не то на делегацию кулинару.

Маркиз спросил у доктора Онора:

– Откуда набралось столько народу? Вот уж не думал, что Анваль населен так густо.

– Отовсюду сбежались – из Шатель-Гюйона, Турноэля, из Рош-Прадьера, из Сент-Ипполита. По всем окрестностям давно шли разговоры об этом событии. К тому же дядюшка Ориоль – наша местная знаменитость, особа влиятельная, богач и настоящий овернец: он все еще крестьянствует, сам работает в поле, бережет каждый грош, все копит, копит, набивает кубышку золотом и раскидывает умом, как ему получше устроить детей.

Торопливо подошел Гонтран и, весело блестя глазами, вполголоса позвал:

– Поль, Поль! Идем скорее. Я тебе покажу двух прехорошеньких девочек. Ну до того милы, до того милы, просто чудо!

Бретины лениво поднял голову.

– Нет, дорогой мой, мне и здесь хорошо. Никуда я не двинусь.

– Напрасно, ей-богу. Такие красотишки!

И Гонтран добавил уже громче:

– Да вот доктор нам сейчас скажет, кто они такие. Доктор, слушайте: две юные особы, лет восемнадцати-девятнадцати, две брюнеточки, должно быть, деревенские аристократки; одеты очень забавно: обе в черных шелковых платьях, с узкими рукавами в обтяжку, как у монашенок...

Доктор Онора прервал его:

– Все ясно! Это дочери дядюшки Ориоля. В самом деле, обе они прелестные девочки и, знаете ли, воспитывались в Клермонском пансионе у «черных монахинь»... Наверняка обе сделают

хорошую партию... Характером они не похожи друг на друга, но обе типичные представительницы славной овернской породы. Я ведь коренной овернец, маркиз. А этих девушек я вам непременно покажу...

Гонтран перебил его ядовитым вопросом:

– Вы, доктор, вероятно, домашний врач семейства Ориоль?

Онора понял насмешку и с веселой хитрецей ответил:

– А как же!

– Чем же вы завоевали доверие этого богатого пациента?

– Прописывал ему побольше пить хорошего вина.

И он рассказал забавные подробности домашнего быта Ориолей, давнишних своих знакомцев и даже дальних родственников. Старик отец – большой чудак и страшно гордится своим вином. У него отведен особый виноградник на потребу семьи и гостей. Обычно удается без особого труда опорожнить бочки с вином от этих заветных лоз, но в иные урожайные годы бывает нелегко с ним справиться.

И вот в мае или в июне старик, убедившись, что вина остается еще много, начинает подготавливать своего долговязого сына Великана: «А ну-ка, сынок, приналяжем!» Тогда оба принимаются за работу: с утра до вечера дуют литрами красное вино. За каждой едой отец раз двадцать подливает из кувшина в стакан своему Великану и приговаривает: «Приналяжем!» Винные пары горячат кровь, по ночам ему не спится; он встает, надевает штаны, зажигает фонарь, будит Великана, и оба спускаются в подвал, захватив из шкафа по горбушке хлеба; в подвале наливают в стаканы прямо из бочки, пьют и закусывают хлебом. Выпив как следует, так что вино булькает у него в животе, старик постукивает по гулкой пузатой бочке и по звуку определяет, насколько понизился в ней уровень вина.

Маркиз спросил:

– Это они копошатся около утеса?

– Да, да. Совершенно верно.

Как раз в эту минуту оба Ориоля отскочили от утеса, начиненного порохом, и быстро зашагали прочь. Толпа, окружавшая их, бросилась врассыпную, словно разбитая армия: кто в сторону Риома, кто к Анвалю. Утес остался в одиночестве, угрюмо возвышаясь на каменистом бугре, покрытом дерном, перерезая пополам виноградник, как ненужная помеха, не дававшая возделывать землю вокруг нее.

Наверху вторая толпа, теперь не менее густая, чем нижняя, всколыхнулась в радостном нетерпении, и зычный голос Петрюса Мартеля возвестил:

– Внимание! Фитиль подожгли!

Христиана вздрогнула и замерла в ожидании. Но позади нее доктор пробормотал:

– Ну, если они пустили в дело весь фитиль, который покупали при мне, нам еще минут десять придется ждать.

Все смотрели на утес, как вдруг откуда-то выскочила собака, маленькая черная собачонка, деревенская шавка. Она обежала вокруг камня, обнюхала его, очевидно, учуяла подозрительный запах и – шерсть дыбом, хвост трубой – принялась лаять изо всей мочи, упираясь в землю лапами и наострив уши.

В толпе пробежал смех, жестокий смех: там надеялись, что собака не успеет убежать вовремя. Потом раздались крики, ее пытались отогнать, мужчины свистели, швыряли камнями, но камни, не долетая до нее, падали на полпути. А собачонка стояла как вкопанная и, глядя на скалу, заливалась яростным лаем.

Христиану стала бить дрожь от страха, что собаку разорвет в клочья, все удовольствие пропало, ей хотелось уйти, убежать, и она нервно лепетала:

– Ах, боже мой! Ах, боже мой! Ее убьет! Не хочу этого видеть! Не хочу! Не хочу! Уйдемте...

Вдруг ее сосед, Поль Бретины, поднялся и, не сказав ни слова, бросился вниз по склону, делая своими длинными ногами огромные прыжки.

У всех вырвался крик ужаса; поднялся переполох. А собака, увидев подбегающего к ней высокого человека, отскочила за скалу. Поль Бретины побежал за ней вдогонку; собака вынырнула с

другой стороны, и минуты две человек и собака бегали вокруг камня, поворачивая то вправо, то влево, исчезая и вновь появляясь, как будто играли в прятки.

Убедившись наконец, что ему не удастся поймать собаку, Бретины стал подниматься на холм, а собака снова залилась неистовым лаем.

Возвращение запыхавшегося смельчака было встречено сердитыми возгласами: люди не прощают тому, кто до смерти перепугал их. Христиана еле дышала от волнения, сердце у нее колотилось, она прижимала руки к груди. Совсем потеряв голову, она испуганно спросила у Бретины:

– Боже мой, вы не ранены?

А Гонтран, разозлившись, кричал:

– Вот сумасшедший! Скотина этакая! Всегда какие-нибудь глупости выкидывает. В жизни еще не видел подобного идиота!..

Но вдруг земля дрогнула, приподнялась. Оглушительный взрыв потряс всю окрестность, ухнуло в горах эхо и долго грохотало, словно пушечные залпы.

Христиана увидела, как взметнулись камни, градом падая во все стороны, и взлетел столб черной пыли, медленно оседая на землю.

И тотчас толпа с торжествующим воплем хлынула вниз. Батальон поварят кубарем скатился по склону, обогнав отряд актеров с Петрюсом Мартелем во главе.

Сине-красно-белую троицу зонтов чуть было не унесло несущейся лавиной.

Мчались все: мужчины и женщины, крестьяне и приезжие буржуа. Люди падали, поднимались и снова бежали вприпрыжку, а на дороге две человеческие волны, в страхе отхлынувшие в разные стороны, неслись теперь навстречу друг другу и, столкнувшись, смешались на месте взрыва.

– Подождем немного, пока уляжется любопытство, – сказал маркиз, – а потом тоже пойдем посмотрим.

Инженер Обри-Пастер поднялся с величайшим трудом и запыхтел:

– А я пойду тропинками в деревню. Мне тут больше делать нечего.

Он пожал всем руки, откланялся и ушел.

Доктор Онора исчез. Оставшиеся заговорили о нем. Маркиз пожурил сына:

– Ты с ним знаком всего-навсего три дня, а постоянно отпускаешь шуточки, все время подтруниваешь над ним. Он в конце концов обидится.

Гонтран пожал плечами:

– Не беспокойся. Он мудрец, добродушный скептик. Когда мы с ним разговариваем с глазу на глаз, он сам высмеивает всех и всё, начиная со своих пациентов и здешних вод. Обещаю наградить тебя почетным билетом на пользование анвальскими ваннами, если ты хоть раз заметишь, что он рассердился на мои шутки.

Тем временем на месте исчезнувшего камня поднялось невообразимое волнение. Огромная толпа колыхалась, толкалась, кричала. Очевидно, там произошло что-то неожиданное. Суетливый и любопытный Андермат твердил:

– Что такое? Да что же там такое?

Гонтран сказал, что пойдет посмотреть, и стал спускаться с косогора. А Христиану все это уже не интересовало, и она думала о том, что окажись фитиль немного короче, и этот высокий человек, ее сумасбродный сосед, наверно бы, погиб, его раздавило бы осколками утеса, а все только потому, что она испугалась за жизнь какой-то собачонки. Должно быть, он и в самом деле безумец, человек необузданных страстей, если мог броситься навстречу смертельной опасности в угоду едва знакомой женщине.

А внизу, на дороге, люди побежали к деревне.

Теперь и маркиз спрашивал: «Что случилось?» Андермат не выдержал и побежал вниз. Гонтран знаками звал их.

Поль Бретины сказал Христиане:

– Позвольте предложить вам руку.

Христиана оперлась на его руку и почувствовала, что эта рука точно железная. Спускаться

по опаленной солнцем низкой траве было скользко, но, ощущая такую крепкую опору, она шла уверенно.

Гонтран, торопливо шагая им навстречу, крикнул издали:

– Источник! От взрыва забил источник!

Они стали пробираться сквозь толпу. Поль и Гонтран шли впереди и, раздвигая, расталкивая тесные ряды любопытных, не обращая внимания на их ропот, прокладывали дорогу Христиане и маркизу де Равенель.

Вокруг грудами валялись осколки камня с острыми, рваными краями, почерневшими от пороха. Через этот хаос они прошли к яме, где бурлила грязная вода и, переливаясь через край, стекала к речке под ногами любопытных. Андермат уже стоял у источника, протиснувшись сквозь толпу со свойственной ему способностью «всюду втираться», по выражению Гонтрана, и с глубоким вниманием смотрел, как бил из земли и разливался родник.

Напротив него, по другую сторону ямы, стоял доктор Опора и тоже смотрел в нее с удивленным и скучающим видом. Андермат сказал ему:

– Надо бы попробовать воду на вкус. Может быть, она минеральная.

Доктор ответил:

– Ну, конечно, минеральная. Тут вся вода минеральная. Скоро уж источников будет больше, чем больных.

Андермат настаивал:

– Совершенно необходимо попробовать на вкус.

Доктору Опора это совсем не улыбалось.

– Да хоть подождите, пока грязь осядет.

А вокруг каждому хотелось посмотреть. Задние ряды напирали на передние, толкали их прямо в грязь. Какой-то мальчишка шлепнулся в лужу; все захохотали.

Оба Ориоля, отец и сын, с важным видом рассматривали нежданно забивший родник, еще не зная, как к этому отнестись. Отец был очень высокий тощий старик с костлявым бритым лицом, степенным лицом крестьянина. Сын был такой же худой, но еще выше ростом – настоящий великан, носил длинные усы и походил не то на солдата, не то на виноградаря.

Вода прибывала, все больше бурлила и уже начинала светлеть.

Вдруг толпа зашевелилась, раздалась, и появился доктор Латон со стаканом в руке. Он примчался весь в поту, тяжело дыша, и ошеломлен от ужаса, увидев, что его коллега, доктор Опора, стоит возле нового источника, поставив ногу на край ямы, словно полководец, первым ворвавшийся в неприятельскую крепость.

И доктор Латон спросил, задыхаясь:

– Вы пробовали воду?

– Нет, жду, когда очистится.

Латон мгновенно зачерпнул воды и с глубокомысленным видом отпил из стакана глоток, словно дегустатор, пробуящий вино. Потом сказал:

– Превосходная вода! – что ни к чему его не обязывало, и протянул стакан своему сопернику: – Не угодно ли?

Но доктор Опора, очевидно, совсем не любил минеральных вод; он ответил, улыбаясь:

– Спасибо, увольте. Достаточно того, что вы ее оценили. Я знаю вкус этих вод.

Он знал вкус всех анвальских вод и тоже оценивал их, но по-своему. Повернувшись к Ориолю, он сказал:

– Ваше красное вино куда приятнее.

Старик был польщен.

Христиане уже надоело глядеть, ей захотелось домой. Брат и Поль Бретиныи опять проложили ей дорогу в толпе. Она шла вслед за ними под руку с отцом. Вдруг она поскользнулась и чуть не упала; поглядев под ноги, она увидела, что наступила на окровавленный и запачканный липкой грязью кусок мяса, обросший черной шерстью, – это был клочок тела маленькой собачонки, растерзанной взрывом и затоптанной толпой.

Христиана так взволновалась, что не могла сдержать слезы. Утирая глаза платком, она шеп-

тала:

– Бедная собачка! Бедная!

Ей хотелось теперь не видеть, не слышать ничего, хотелось убежать отсюда, остаться одной, запереться от всех. День начался так хорошо, и вот чем все кончилось. Что это? Неужели дурное предзнаменование? И сердце ее щемила тоска.

Они шли теперь одни, и вдруг на дороге перед ними замаячили высокий цилиндр и развевавшиеся, словно черные крылья, длинные полы сюртука. Доктор Бонфиль, узнав новость последним, опрометью бежал им навстречу со стаканом в руке, как и доктор Латон.

Увидев маркиза, он остановился:

– Что там такое, маркиз? Мне сказали... источник... минеральный источник...

– Да, представьте себе.

– Обильный?

– Да, да.

– А скажите... они уже там?

Гонтран ответил серьезным тоном:

– Ну, конечно, оба там, и доктор Латон уже успел сделать анализ...

И доктор Бонфиль во всю прыть побежал дальше. Встреча эта отвлекла Христиану от грустных мыслей и немного развеселила ее.

– Я передумала, не стоит возвращаться в гостиницу, – сказала она, – пойдемте посидим в парке.

Андермат остался у источника смотреть, как бежит вода.

ГЛАВА III

В тот вечер за обедом в «Сплendid-отеле» против обыкновения было шумно и оживленно. Разговоры шли о взрыве утеса и новом источнике. За столом обедало немного народу – человек двадцать, не больше, и все люди обычно молчаливые, тихие – больные, тщетно лечившиеся на многих водах и пытавшие счастья на всех новых курортах. Ближайшими соседями семейства Равенель и Андермат были седой шуплый старичок г-н Монею с дочерью, высокой зеленовато-бледной девицей, которая иногда вставала из-за стола и торопливо уходила, оставив на тарелке почти нетронутое кушанье. Тут же сидели Обри-Пастер, бывший инженер, и супруги Шофур, всегда одетые в черное, весь день бродившие по аллеям парка вслед за колясочкой, в которой няня возила маленького уродца, их ребенка; затем вдовствующая г-жа Пайль со своей дочерью, тоже вдовой, обе рослые, пышногрудые, широкобедрые. «Вот видите, – говорил Гонтран, – они съели своих мужей, и бог наказал их несварением желудка».

Вдовицы действительно лечились от желудочной болезни.

Рядом с ними сидел г-н Рикье, человек с кирпично-красным лицом, тоже страдавший расстройством пищеварения, а дальше расположились бесцветные, незаметные фигуры из тех курортных обитателей, что входят в столовую гостиницы неслышными шагами – жена впереди, муж позади, – делают у двери общий поклон и с робким, скромным видом садятся на свои места.

Другой конец стола пустовал, хотя там были расставлены тарелки и приборы, ожидающие будущих гостей.

Андермат говорил с большим одушевлением. До обеда он несколько часов провел с Латоном, и доктор в потоке слов изливал перед ним свои замыслы, сулившие Анвалю блестящее будущее.

С пламенной убежденностью он воспевал поразительные целебные свойства анвальских вод, с которыми не могли сравниться источники Шатель-Гюйона, хотя этот курорт окончательно утвердил свою репутацию за последние два года.

Итак, справа от Анваля находился Руайя, когда-то захолустная дыра, а теперь процветающий курорт; слева – такая же дыра Шатель-Гюйон, с недавних пор завоевавший известность. А какие чудеса можно сотворить в Анвале, если умеючи взяться за дело!

И, обращаясь к инженеру, Андермат говорил:

– Да, сударь, надо только умеючи браться за дело. В этом вся суть. Ловкость, такт, гибкость и смелость решают все. Чтобы создать курорт, нужно ввести его в моду, а чтобы ввести его в моду, надо заинтересовать в деле парижских светил медицинского мира. В своих предприятиях, сударь, я не знаю неудачи, потому что всегда ищу и нахожу практическое средство, гарантирующее полный успех, особое в каждом отдельном случае, а пока я не найду этого средства, я ничего не предпринимаю – я жду. Открыть воду – этого еще мало, надо найти для нее потребителей, а чтобы найти их, еще недостаточно поднять шум в газетах и самим кричать повсюду: «Наша вода бесподобна, она не имеет себе равной!» Надо, чтобы об этом сказали спокойно и веско люди, имеющие бесспорный авторитет в глазах этих самых потребителей, в глазах больных, публики на редкость доверчивой, которая нужна нам, которая хорошо платит за лекарства, – словом, надо, чтобы похвалы исходили от врачей. Не вздумайте сами выступать в суде, предоставьте говорить адвокатам, ибо судьи только их одних слушают и понимают, – так и с больными говорите только через докторов, иначе вас и слушать не станут.

Маркиз, всегда восхищавшийся практической сметкой и безошибочным чутьем своего зятя, воскликнул:

– Ах, как это верно! Как умно! Впрочем, у вас, друг мой, во всем удивительно правильный прицел.

Андермата подстегнул этот комплимент.

– А что ж! Здесь можно нажать большое состояние. Местность чудесная, климат превосходный. Только одно меня беспокоит: будет ли у нас достаточно воды? Дело надо поставить широко: если станешь жаться, всегда провалишься. Нам нужно создать большой курорт, очень большой, а следовательно, нужно иметь столько воды, чтоб действовало двести ванн одновременно и чтобы вода поступала в них быстро и бесперебойно. А новый источник вместе со старым может дать воды только для пятидесяти ванн, что бы там ни говорил доктор Латон...

Обри-Пастер перебил его:

– О, насчет воды не беспокойтесь. Воды я вам предоставлю сколько угодно.

Андермат опешил:

– Вы?

– Да, я. Это вас удивляет? Сейчас объясню. В прошлом году, как раз в это время, я был здесь на курорте: я нахожу, что анвальские воды мне очень помогают. Однажды утром, когда я отдыхал в своей комнате, ко мне явился какой-то полный господин. Оказалось, председатель правления курорта. Он был в большой тревоге и вот отчего: источник Бонфиля оскудел настолько, что даже возникло опасение, как бы он не иссяк совсем. Зная, что я горный инженер, председатель пришел спросить, не могу ли я найти какой-нибудь способ спасти их лавочку от разорения.

Тогда я стал изучать геологическую структуру этой местности. Вам, конечно, известно, что древние катаклизмы повлекли за собой всевозможные пертурбации и различное расположение подпочвенных пород в разных уголках этого края.

Мне нужно было установить, откуда, по каким трещинам идет минеральная вода, определить направление, происхождение и особенности этих трещин.

Прежде всего я тщательно осмотрел водолечебницу, и, найдя в одном углу старую, уже негодную трубу для подводки воды в ванну, я обнаружил, что почти вся она забита известковыми отложениями. Значит, растворенные в воде соли оседали на стенки трубы и в короткий срок закупорили ее. Несомненно, то же самое происходило и в естественных трубах – в трещинах подпочвенных гранитов, – здесь везде гранитные породы. Итак, источник Бонфиля закупорили осадки. Вот и все.

Надо было поискать, где это произошло. Всякий стал бы, конечно, искать выше того места, где источник выходит на поверхность земли. А я после целого месяца обследований, наблюдений и размышлений стал искать и нашел для него новый выход на пятьдесят метров ниже. И вот почему.

Я уже вам сказал, что первой моей задачей было определить происхождение, особенности и направление трещин в граните, по которым течет вода. Мне нетрудно было установить, что трещины направлены от равнины к горе, а не от горы к равнине и идут наклонно, как скаты крыши, –

вероятно, тут произошло оседание, равнина опустилась и увлекла за собой нижние отроги гор.

Итак, вода, вместо того чтобы стекать вниз, поднимается вверх по всем пустотам между пластами гранита. Я открыл и причину этого удивительного явления.

В далекие времена наша Лимань, эта огромнейшая равнина, образованная глинистыми и песчаными отложениями, лежала на уровне первого горного плато, но вследствие геологической структуры нижних слоев она опустилась, увлекая за собой, как я уже указывал, и ближайшие предгорья. А это грандиозное оседание вызвало как раз на границе между рыхлыми и каменными породами образование на огромной глубине гигантской и непроницаемой для воды плотины из уплотнившихся глинистых пластов.

И вот происходит следующее.

Минеральные источники берут свое начало в очагах потухших вулканов. Если они бегут издалека, то в пути охлаждаются и выходят на поверхность земли ледяными родниками, как обычные ключи; а если вода течет из ближних вулканических очагов, то из земли она бьет еще теплой или горячей струей – температура ее зависит от удаленности очага. Но какими путями она проходит в земле? Она спускается вниз, на неизвестную глубину, пока не натолкнется на плотину из глинистых пород Лимани. Пробриться сквозь эту преграду она не может и, находясь под большим давлением, ищет выхода. Встретив наклонные щели в граните, она врывается туда и начинает подниматься, пока не выйдет на поверхность земли. А тогда она возвращается к естественному, первоначальному своему направлению, то есть течет вниз, пролагая себе русло, как и всякий ручей. Добавлю еще, что мы видим лишь сотую часть минеральных источников этих долин. Мы открываем лишь те воды, которые пробились на поверхность земли. А сколько их теряется, дойдя до конца своего гранитного канала, – их поглощает толстый слой насыщенной перегноем и возделанной почвы!..

Из всего этого можно сделать следующий вывод:

Во-первых, для того чтобы получить минеральную воду, ее нужно искать, следуя наклону и направлению гранитных пород, лежащих многоярусными пластами.

Во-вторых, для того чтобы не иссякали источники, достаточно лишь не допускать закупорки трещин отложениями солей, а для этого надлежит бурить и держать в порядке скважины – маленькие колодцы.

В-третьих, для того чтобы украсть у соседа источник, надо перехватить его ниже выхода на поверхность посредством буровой скважины, доведенной до трещины в граните, производя, конечно, бурение выше глиняной плотины, принуждающей воду подниматься вверх.

С этой точки зрения открытый сегодня источник расположен великолепно – всего лишь в нескольких метрах от естественной плотины. Если вы желаете основать новую водолечебницу, ее надо строить именно здесь.

Когда он кончил, слушатели не сказали ни слова.

Один лишь Андермат восторженно воскликнул:

– Замечательно! Стоит заглянуть за кулисы – и вся таинственность исчезнет. Господин Обри-Пастер, вы драгоценный человек!

Только Андермат, маркиз и Поль Бретиньи поняли разъяснения, и только Гонтран не слушал их. Остальные слушали, развесив уши, уставясь в рот инженеру и остолебенев от изумления. Особенно поражены были две вдовы Пайль и, как особы глубоко благочестивые, задавались вопросом, нет ли кощунства в таких попытках объяснить явление, совершающееся по воле и таинственным предначертаниям Господа Бога? Мать даже сочла нужным высказать свое мнение:

– Пути господни неисповедимы.

Дамы, сидевшие в середине стола, одобрительно закивали головами: их тоже встревожили мудреные, непонятные речи инженера.

Рикье, человек с кирпично-красным лицом, заявил:

– Пусть они текут, откуда угодно, эти ваши анвальские воды, – хоть из вулканов, хоть с луны, мне все равно... Я уже десять дней их пью, а толку никакого!

Супруги Шофур запротестовали, указав на то, что их ребенок уже начал шевелить правой ножкой, а этого еще не случалось за все шесть лет, что они лечат его.



Рикье возразил:

– Ну, и что же это доказывает? Только то, что у нас с ним не одинаковая болезнь. Это отнюдь не доказательство, что анвальские воды излечивают желудочные болезни.

И по его лицу было видно, как он негодует, как он возмущен новой неудачей своих попыток.

Но и Монеку заступился за анвальские воды, сообщив, что уже неделю желудок его дочери переваривает пищу и теперь она не выбегает из-за стола посреди обеда.

Тощая, длинная девица вся вспыхнула и уткнулась носом в тарелку.

Оказалось, что и две вдовы Пайль тоже чувствовали себя лучше.

Рикье рассвирепел и, повернувшись к ним, спросил:

– У вас, сударыни, болезнь желудка?

– Да, да, – в один голос ответили обе дамы. – Мы совершенно не перевариваем никакой пищи.

Рикье дернулся так, что чуть не упал со стула, и завопил:

– Это вы-то? Вы-то не перевариваете? Да стоит только посмотреть на вас... Это у вас-то больной желудок? Попросту говоря, вы слишком много едите.

Госпожа Пайль-старшая смерила его разъяренным взглядом:

– Зато относительно вас, сударь, можно не сомневаться. По вашему характеру сразу видно, что у вас неизлечимо больной желудок. Не напрасно сложилась пословица: «Съешь, переваришь – добрым бываешь!»

Старая и очень худая дама, фамилии которой никто не знал, авторитетным тоном сказала:

– Я думаю, что анвальские воды всем помогали бы, если бы повар в гостинице хоть немного помнил, что он готовит не для здоровых, а для больных. Ну разве можно переварить кушанья, которыми нас тут угощают?

И сразу же все пришли к согласию: всех объединило негодование против содержателя гостиницы, который подавал к столу лангусту, колбасы, угря по-татарски, капусту – да, да, капусту и сосиски, – словом, самые неудобоваримые блюда, и кому же? Людям, которым три доктора – Бонфиль, Латон и Онора – предписали есть только легкие кушанья: нежное, нежирное белое мясо, свежие овощи и молочные продукты.

Рикье весь дрожал от гнева:

– А разве на водах врачи не обязаны наблюдать за питанием больных! Как они смеют оставлять этот важнейший вопрос на усмотрение какой-нибудь тупой скотины? Вот, например, нам каждый день подают в качестве закуски крутые яйца, анчоусы и ветчину...

– Нет, простите, – перебил его Монеку, – у моей дочери желудок переваривает только ветчину, и позвольте вам сказать, что Ма-Руссель и Ремюзо специально предписали ей ветчину.

Рикье завопил:

– Ветчина! Ветчина! Да ведь это отравка!

И сразу стол разделился на два лагеря: одни переваривали, другие не переваривали ветчину.

Пошел бесконечный, ежедневно возобновлявшийся спор о пользе и вреде тех или иных продуктов.

Даже молоко вызвало ожесточенные прения. Рикье заявлял, что стоит ему выпить хоть маленький, лафитный стаканчик молока, как у него начинается ужаснейшее несварение.

Обри-Пастер, рассердившись, что порочат его любимые молочные продукты, воскликнул раздраженным тоном:

– Черт возьми, послушайте, сударь, если у вас диспепсия, а у меня гастрит, то для нас с вами нужен совершенно различный пищевой режим, так же как различны должны быть стекла очков, прописываемые близоруким и дальновзорким, хотя у тех и других зрение испорчено. – И добавил: – А я вот нахожу, что самое вредное на свете – это вино. Стоит мне выпить стакан столового красного вина, и я уже задыхаюсь. Кто не пьет вина, проживет до ста лет, а мы...

Гонтран, смеясь, прервал его:

– Пошадите! Ей-богу, без вина и без... брака жизнь была бы скучна.

Обе вдовицы Пайль потупили глаза. Они в изобилии употребляли бордоское вино лучшей марки и пили его без малейшей примеси воды, а их раннее вдовство вызывало мысль, что и в браке они применяли ту же систему – дочери было двадцать два года, а матери не больше сорока.

Андермат, обычно весьма говорливый, сидел молча, погружившись в задумчивость. Вдруг он спросил у Гонтрана:

– Вы знаете, где живут Ориоли?

– Знаю. Мне сегодня показывали их дом.

– Можете проводить меня к ним после обеда?

– Ну, конечно, и даже с удовольствием. Я не прочь взглянуть еще разок на обеих дочек.

Как только кончился обед, они отправились в деревню, а Христиана, чувствовавшая себя утомленной, маркиз и Поль Бретиньи поднялись в гостиную, чтобы скоротать там вечер.

Было еще совсем светло: на курортах обедают рано.

Андермат взял шурина под руку.

– Ну-с, дорогой мой. Если мне удастся столкнуться с этим стариком и если результаты анализа оправдают надежды доктора Латона, я, вероятно, затею здесь большое дело – создам курорт. Прекраснейший курорт.

Он остановился посреди улицы и, ухватив своего спутника за лацканы пиджака, заговорил в каком-то вдохновении:

– Эх, вам всем не понять, как это увлекательно – ворочать делами, не какими-нибудь торгашескими, купеческими делами, а настоящими, крупными, предпринимательскими – словом, теми делами, какими занимаюсь я! Да, дорогой мой, когда понимаешь в этом толк, в них находишь как бы сгусток всех видов деятельности, которые во все времена захватывали и влекли людей, тут и политика, и война, и дипломатия. Все, все! И дремать тут нельзя: надо всегда, всегда искать, находить, изобретать, угадывать, предвидеть, комбинировать и дерзать! Великие битвы нашего времени – это битвы, в которых сражаются деньгами. И вот я вижу перед собой свои войска: монеты по сто су – это рядовые в красных штанах, золотые по двадцать франков – блестящие молодые лейтенанты, стофранковые кредитки – капитаны, а тысячные билеты – генералы. И я сражаюсь. Да еще как, черт возьми! Каждый день, с утра до вечера, дерусь со всеми и против всех! Вот это, моему, жизнь! Широкий размах, не хуже чем у властелинов давних веков. А что ж – мы и есть властелины нового времени! Подлинные, единственные властелины. Вот поглядите на эту деревню, на эту убогую деревушку. Я превращу ее в город. Да, да, именно я. Здесь будет город, великолепный город с белыми домами, здесь вырастут шикарные, переполненные приезжими отели, с лифтами, с целой армией лакеев, с экипажами; толпу богачей будет обслуживать толпа бедняков – и все это только потому, что в один тихий летний вечер мне захотелось сразиться с Руайя, что находится справа отсюда, с Шатель-Гюйоном, который прячется слева, с Мон-Дором, Бурбулем, Шатонефом, Сен-Нектером, расположенным позади, и с Виши, который стоит прямо перед нами!

И я одержу победу, потому что у меня в руках средство к успеху, единственное верное средство. Я сразу его увидел, как великий полководец видит слабую сторону неприятеля. Ведь и в нашем деле надо уметь командовать людьми, увлекать их за собою, покорять своей воле. Ах, как весело жить, когда можешь ворочать такими делами! Мне теперь на три года будет потехи с этим городом! И скажите, пожалуйста, какая удача: попался мне этот инженер! Интереснейшие вещи он рассказывал. Интереснейшие! Его рассуждения ясны, как день. Благодаря ему я разорю старое акционерное общество, мне даже не понадобится покупать их заведение.

Они двинулись дальше и стали не спеша подниматься по дороге, поворачивавшей влево, к Шатель-Гюйону.

Гонтран не раз говорил: «Когда я иду рядом со своим зятем, я слышу, ну, право же, ясно слышу, как в голове его звякают золотые монеты, точно в Монте-Карло: так вот и кажется – бросают их, подбирают, рассыпают, сгребают, выигрывают, проигрывают!»

Андермат и в самом деле производил странное впечатление человека-автомата, предназначенного для подсчетов, расчетов и всяких денежных манипуляций. Но сам он весьма гордился своей житейской практичностью и любил похвастать, что с первого взгляда может определить точную цену любой вещи. Где бы он ни был, он поминутно брал в руки то один, то другой предмет, внимательно его рассматривал, поворачивал во все стороны и заявлял: «Стоит столько-то». Его жену и шурина забавляла эта привычка, они для потехи подсовывали ему какую-нибудь диковинную вещь и просили оценить ее, а когда их невероятные находки ставили его в тупик, оба хохотали как сумасшедшие. Иной раз Гонтран останавливал его на какой-нибудь парижской улице перед витриной первого попавшегося магазина и просил определить общую сумму стоимости всех выставленных в ней товаров, а то предлагал оценить проезжающий мимо потрепанный извозчий фиакр с хромоногой клячей или же огромный фургон вместе с нагруженной в него мебелью.

Однажды на званом обеде у Андерматов он попросил зятя сказать, сколько приблизительно стоит Обелиск,³ и когда банкир назвал какую-то сумму, Гонтран осведомился о стоимости моста Сольферино и Триумфальной арки на площади Звезды; в заключение он сказал с самым серьезным видом:

– Вы могли бы внести весьма ценный вклад в науку, произведя оценку главнейших монументов земного шара.

Андермат никогда не сердился на эти шутки и выслушивал их как человек, знающий себе цену, уверенный в своем превосходстве.

Как-то раз Гонтран спросил:

– А я сколько стою?

Вильям Андермат уклонился от ответа, но шурин пристал к нему:

– Ну скажите! Допустим, что меня поймали разбойники и держат в плену, какой бы выкуп вы дали за меня?

Андермат ответил:

– Ну что ж... Я бы выдал вексель, дорогой мой.

И его улыбка была так красноречива, что Гонтран обиделся и больше не настаивал.

Впрочем, Андермат любил и художественные безделушки – тут он отличался тонким вкусом, был большим знатоком и, коллекционируя их, проявлял чутье ищейки, как и в своих коммерческих операциях.

Они подошли к дому солидной постройки, похожему на городской. Гонтран остановил зятя и сказал:

– Вот и пришли.

У тяжелой дубовой двери висел чугунный молоток. Они постучались; им открыла тощая служанка.

Банкир спросил:

– Господин Ориоль дома?

³ Обелиск. – Речь идет о находящемся в Париже египетском обелиске эпохи фараона Сезостриса (XIII в. до н. э.), вывезенном из Луксора.

Служанка ответила:

– Входите.

Они вошли в кухню, просторную, как всюду на фермах; в очаге под котлом еще тлел слабый огонь; из кухни их провели в комнату, где собралась вся семья Ориоль. Отец спал, откинувшись на спинку стула и вытянув ноги на другом стуле. Сын, навалившись локтями на стол, читал *Пти журнал*, шевеля губами и, видимо, напрягая весь свой скудный ум, чтобы уловить смысл напечатанных слов, а обе дочери сидели в нише окна за вышиванием, начатым с двух концов.

Девушки встали первыми, обе разом, и изумленно глядели на неожиданных гостей, потом поднял голову долговязый Жак, весь красный от напряжения, утомившего его мозг; наконец проснулся старик Ориоль и подобрал сначала одну свою длинную ногу, потом другую.

Стены в комнате были голые, выбеленные известкой, пол выложен плитками, все убранство состояло из стола, стульев с плетеными из соломы сиденьями, комода красного дерева, четырех лубочных картин под стеклом и широких белых занавесок на окнах.

Хозяева смотрели на гостей, гости – на хозяев, а служанка в подоткнутой до колен юбке, сгорая от любопытства, смотрела с порога на них на всех.

Андермат представился, назвал себя и своего шурина, графа де Равенеля, и отвесил глубокий поклон девушкам, склонившись в самой изящной светской манере; потом преспокойно уселся и сказал:

– Господин Ориоль! Я пришел к вам с деловым предложением. Не стану говорить обиняками, а объяснюсь откровенно. Вот в чем дело. Вы у себя на винограднике открыли источник. Через несколько дней будут известны результаты анализа. Если эта вода ничего не стоит, я, разумеется, отступлюсь, но если анализ оправдает мои ожидания, я предлагаю следующее: продайте мне этот клочок земли и прилегающие к нему участки.

Имейте в виду, что, кроме меня, никто не сделает вам такого предложения, никто! Старое акционерное общество не сегодня-завтра вылетит в трубу, где уж ему помышлять о новых затеях, а его банкротство отобьет и у других предпринимателей всякую охоту к новым попыткам.

Не давайте мне сегодня ответа, подумайте, посоветуйтесь со своей семьей. Когда результаты анализа будут известны, вы назначите цену. Если она подойдет мне, я скажу «да», не подойдет, скажу «нет» и распрощусь с вами. Я никогда не торгуюсь.

Дядюшка Ориоль, человек на свой лад деловой, а хитростью способный заткнуть за пояс кого угодно, учтиво ответил, что он подумает, посмотрит, что ему все это очень лестно, и предложил выпить по стаканчику вина.

Андермат согласился, и так как уже смеркалось, старик Ориоль сказал дочерям, которые снова принялись за вышивание и не отрывали от него глаз:

– Засветите-ка огоньку, дочки.

Они встали обе разом, вышли в соседнюю комнату и вскоре вернулись: одна принесла две зажженные свечи в подсвечниках, а другая – четыре стакана, грубые деревенские стаканы из толстого стекла. Свечи были разубраны розовыми бумажными розетками и зажжены, несомненно, в первый раз – должно быть, они стояли в виде украшения на камине в комнате девушек.

Ориоль-младший поднялся со стула: в подвал, где хранилось вино, всегда ходили только мужчины.

Андермата осенила удачная мысль:

– Я бы с удовольствием взглянул на ваш винный погреб. Вероятно, он у вас превосходный: ведь вы лучший винодел во всем крае.

Банкир задел самую чувствительную струнку старика Ориоля, тот засуетился и сам повел парижан, захватив одну из свечей. Прошли через кухню, спустились по ступенькам крылечка на широкий двор, где в сгущавшихся сумерках смутно виднелись поставленные стоймя пустые винные бочки; огромные гранитные жернова, которые откатили в угол, напоминавшие колеса какой-то исполинской античной колесницы; разобранный пресс для винограда с деревянными винтами, с темно-коричневой станиной, залоснившейся от долгого употребления, заигравшей вдруг бликами света; мотыги, плуги, у которых лемеха, отшлифованные землей, засверкали от огонька свечи, как сталь оружия. Все это одно за другим выступало из темноты, когда старик проходил мимо, держа

свечу в одной руке и заслоняя ее другой рукою.

Уже и во дворе пахло виноградным вином, виноградными выжимками, сушеным виноградом. Подошли к двери, запертой на два замка. Ориоль отпер ее и, войдя, поднял свечу над головой; огонек слабо осветил длинные ряды пузатых бочек и стоявшие на них бочонки размером поменьше. Сначала Ориоль обратил внимание Андермата на то, что подвал глубоко уходит в гору, потом рассказал, какие вина налиты в бочках, сколько лет они выдержаны, из каких сортов винограда сделаны, каковы их качества, и наконец подвел к семейной бочке и, похлопав ее ладонью по широкому боку, словно любимую лошадь, горделиво сказал:

– Ну-ка, отведайте этого винца. Никакое вино бутылочного разлива с ним не сравнится, никакое! Хоть бордо возьмите, хоть любое другое.

Как и все крестьяне-виноделы, он считал, что разлив по бутылкам – только порча вина и ба-ловство.

Великан, следовавший за ним с кувшином в руке, наклонился, отвернул кран у бочки; отец старательно светил ему, как будто сын выполнял сложную и деликатную работу.

Свеча ярко освещала их лица, и старик был похож на прокурора давних времен, а сын не то на солдата, не то на землепашца.

Андермат шепнул на ухо Гонтрану:

– Посмотрите, великолепный Тенирс!⁴

Молодой парижанин ответил:

– Дочки мне больше по вкусу.

Потом все вернулись в дом. Пришлось пить вино, пить много, в угоду Ориолям.

Обе девушки сели поближе к столу, но не отрывались от вышивания, как будто в комнате никого посторонних не было. Гонтран поминутно на них поглядывал, сравнивал и думал: «Не близнецы ли они, уж очень похожи друг на друга». Впрочем, одна была немного полнее и меньше ростом, другая более изящна. Волосы у обеих были не черные, как ему сперва показалось, а темно-каштановые, густые, гладко причесанные на прямой пробор, и отливали шелком при каждом движении головы. Подбородок у обеих был тяжеловат, лоб слишком крутой, как у большинства жителей Оверни, скулы слегка выдавались, но рот был очаровательный, глаза дивные, тонкие брови на редкость красивого рисунка и восхитительно свежий цвет лица. Глядя на них, сразу чувствовалось, что они воспитывались не в деревенском доме, а в каком-нибудь монастырском пансионе для девиц, куда овернские богачи и знать посылают своих дочерей, и что там они приобрели сдержанные манеры благовоспитанных барышень.

Однако Гонтрану противно было красное вино, стоявшее перед ним в стакане, он толкал ногой Андермата, торопя его уйти поскорее. Тот наконец поднялся, и они энергично пожали руки обоим крестьянам, потом снова отвесили церемонный поклон девушкам, а те в ответ, не вставая, грациозно склонили головки.

На улице Андермат сказал:

– Что, дорогой, любопытная семейка, а? Как здесь ясно ощущается переход от народа к образованному обществу! Сын был нужен в крестьянском хозяйстве, и его оставили дома обрабатывать виноградники, чтобы сберечь деньги и не нанимать лишнего батрака, дурацкая экономия! Но, как бы то ни было, он остался крестьянином, а дочери почти уже светские барышни. А там, глядишь, они сделают хорошие партии и будут нисколько не хуже наших дам, даже лучше большинства из них. Одно удовольствие видеть таких людей: для меня это не менее приятная находка, чем для геолога какое-нибудь ископаемое животное третичного периода!

Гонтран спросил:

– Вам которая больше понравилась?

– Как это «которая»? Вы про кого говорите?...

– Про дочек.

– Ах, вот что. Право, не могу сказать! Я не приглядывался к ним, не сравнивал. Да вам-то не

⁴ Тенирс. – Имеется в виду один из двух фламандских живописцев: Старший (1582–1649) или его сын – Младший (1610–1690).

все ли равно? Надеюсь, вы не собираетесь похитить одну из них?

Гонтран засмеялся:

– О нет! Я просто люблюсь, я в восторге: хоть раз в жизни встретил такую юную девическую свежесть, настоящую, неподдельную свежесть, у наших светских барышень такой не бывает. Мне всегда приятно смотреть на прелестное женское личико, так же как вам – на какое-нибудь полотно Тенирса. Ах, хорошенькие девушки! К какому бы классу они ни принадлежали, где бы я их ни встретил, для меня всегда удовольствие смотреть на них. Это мои безделушки. Я не коллекционирую их, но люблюсь ими, люблюсь с страстным восторгом, как художник, – да, друг мой, как художник, убежденно и бескорыстно. Что поделаешь, люблю их! Кстати, не можете ли вы одолжить мне пять тысяч франков?

Андермат резко остановился и буркнул:

– Опять без денег?

Гонтран ответил спокойно:

– Всегда.

И они пошли дальше.

Банкир спросил:

– И куда вы, черт подери, деньги деваете?

– Тратчу.

– Конечно, тратите. Но уж вы никакой меры не знаете.

– Дорогой мой! Я так же люблю тратить деньги, как вы любите наживать их. Понимаете?

– Допустим. Но вы совсем не умеете наживать.

– Верно, не умею. Нельзя все уметь. Вы вот, например, умеете наживать деньги, а тратить совсем не умеете. Что для вас деньги? Только средство наживать еще и еще. А я вот наживать не умею, зато отлично умею тратить. Деньги доставляют мне множество удовольствий, о которых вы знаете лишь понаслышке. Мы с вами дополняем друг друга, мы были созданы для того, чтобы породниться.

Андермат заворчал:

– Вот ветрогон! Нет, пяти тысяч вы не получите, а полторы тысячи так и быть дам... потому что... ну, потому что вы мне, пожалуй, понадобятся на днях.

Гонтран спокойно произнес:

– Прекрасно. Тогда будем считать эти полторы тысячи задатком.

Андермат молча похлопал его по плечу.

Они вошли в парк, иллюминированный фонариками, развешанными на деревьях. Оркестр играл медлительную классическую арию, и она как будто спотыкалась и все куда-то проваливалась – столько в ней было пауз, и так ее исполняли все те же четыре музыканта, которым, должно быть, тошно было играть с утра до вечера в безлюдном парке для листвы и ручья, стараться производить шум за двадцать оркестровых инструментов и думать о том, что денег нет, а в конце месяца почти ничего не придется получить, так как Петрюс Мартель выдает им в счет жалованья корзинки вина и бутылки ликеров за отсутствием потребителей крепких напитков в пустующем казино.

А сквозь звуки музыки из бильярдной долетало щелканье костяных шаров и громкие выкрики: «Двадцать, двадцать один, двадцать два!»

Андермат и Гонтран поднялись в казино. Там сидели за столиком, неподалеку от музыкантов, только Обри-Пастер и доктор Онора; оба пили кофе. Петрюс Мартель и Лапальм по обыкновению яростно сражались на бильярде, кассирша дремала и, проснувшись, спросила:

– Что прикажете подать, господа?

ГЛАВА IV

Отец и сын Ориоли еще долго разговаривали, когда девушки легли спать. Взволнованные, возбужденные предложением Андермата, они старались придумать какой-нибудь способ, не нанеся ущерба своим интересам, еще больше разжечь желание этого парижанина купить их землю.

С крестьянским здравомыслием, практичностью и расчетливостью они взвешивали все шан-

сы, прекрасно понимая, что в их краю минеральные источники бьют на каждом шагу и, если запросить слишком дорого, отпугнешь нежданного покупателя, а другого такого, пожалуй, не сыщешь. И вместе с тем им не хотелось отдать источник в полную его собственность, ибо оттуда в один прекрасный день могут волной хлынуть деньги, чему примером служили Руайя и Шатель-Гюйон.

И вот они ломали себе головы, как и чем раззадорить банкира, измышляли всякие комбинации, фиктивные акционерные общества, якобы предлагающие более заманчивые условия, придумали целый ряд неуклюжих хитростей, сами чувствовали, что все шито белыми нитками, но ничего более искусного изобрести не могли. Спали они оба плохо, а утром отец, проснувшись первым, вдруг перепугался, не пропал ли за ночь источник. Ведь это возможно: появился и опять ушел под землю – попробуй найди его там! Старик встал, терзаясь муками скупца, растолкал сына и рассказал о своих опасениях. Великан откинул простыню из небеленого холста, спустил ноги, оделся и пошел с отцом посмотреть, цел ли источник.

Во всяком случае, не мешало сходить туда, все почистить, прибрать камни, навести красоту, чтобы и поле и источник имели приманчивый вид, как скотина, которую хочешь продать.

Захватив с собой кирки и заступы, они двинулись в путь, бок о бок, широко шагая враскачку.

Они шли, ни на что не глядя, поглощенные мыслями о своих делах, рассеянно отвечая «Здорово!» на приветствия встречавшихся соседей и друзей. Выйдя на риомскую дорогу, они заволновались, жадно вглядываясь в даль, не блеснет ли под утренним солнцем бурлящая в источнике вода. Пустынная дорога, припорошенная известковой пылью, тянулась белой лентой по самому берегу речки, бежавшей в тени старых ив. Под одной ивой Ориоли заметили две вытянутые ноги, а сделав еще несколько шагов, увидели, что там сидит на травке у обочины дороги старик Кловис, положив рядом с собой костыли.

Этого старого калеку, похожего на нищего с гравюры Калло,⁵ знали во всей округе – он уже лет десять бродил там, с трудом передвигаясь на «дубовых лапах», как он называл свои костыли. Когда-то он браконьерствовал в лесах и на речках, не раз попадался и сидел в тюрьме, нажил жесточайший ревматизм на охоте, лежа по ночам в засаде на сырой траве, простуживаясь на рыбной ловле, бредя по пояс в холодной воде, и теперь стонал, охал и еле-еле ползал, как краб с оторванными клешнями. Переставляя костыли, он тащился по дорогам, волоча по земле правую ногу, висевшую, как тряпка, и держа на весу скрюченную, согнутую в колене левую ногу. Но деревенские парни, гонявшиеся в сумерках за девушками или за зайцами, утверждали, что и в кустах и на полянках им встречался старик Кловис, быстроногий, как олень, увертливый, как уж, а своим ревматизмом он просто-напросто морочит голову стражникам. Особенно упорно поддерживал эту молву долговязый Жак Ориоль: он прямо заявлял, что раз пятьдесят, не меньше, видел, как Кловис расставляет силки, преспокойно держа свои костыли под мышкой.

Поравнявшись со старым бродягой, дядюшка Ориоль остановился: в мозгу у него забрезжила пока еще смутная идея – в головах тяжелодумов-овернцев мысли ворочаются медленно.

Он поздоровался с Кловисом, тот ему ответил. Они поговорили о погоде, о цветении виноградников, о том о сем, но, видя, что Великан далеко ушел вперед, отец широким шагом пустился догонять его.

Источник никуда не пропал, но был теперь уже чистым, прозрачным, а дно в яме покрылось темно-красным налетом красивого пурпурового оттенка – несомненно, в осадках было много железистых солей.

Ориоли поглядели друг на друга с улыбкой и принялись расчищать поле, подбирать камни и складывать их в кучу. Найдя последние останки растерзанной взрывом собаки, они, перекидываясь шутками, зарыли ее. И вдруг старик Ориоль выронил из рук заступ. В уголках его тонкогубого рта и хитрых глаз заиграли морщины, все лицо светилось выражением торжества, и он сказал сыну:

– Пойдем-ка попытаем.

Сын покорно последовал за ним. Они снова вышли на дорогу и повернули назад, к деревне.

⁵ Калло (1592–1635) – французский гравер и рисовальщик.

Старик Кловис все еще грел на солнышке ноги и костыли.

Ориоль остановился напротив него и спросил:

– Хочешь заработать сотенную?

Бродяга из осторожности промолчал.

Ориоль повторил:

– Ну? Сотенную, говорю. Сто франков.

Бродяга набрался духу и пробормотал:

– Ишь ты! Чего спрашивать-то!

– Ладно. Слушай, вот что надо сделать.

И дядюшка Ориоль долго, пространно, обиняками, с лукавыми недомолвками и бесконечными повторениями втолковывал бродяге, что если он согласится сидеть ежедневно по часу, с десяти до одиннадцати утра, в воде их источника, в яме, которую он, Ориоль, и его сын Великан выроют около источника, а через месяц выздоровеет от всех своих недугов, то ему дадут за это сто франков звонкой монетой.

Паралитик слушал с тупым видом, а потом сказал:

– Никакие зелья меня не вылечили, так где уж вашей воде вылечить.

Великан вдруг разозлился:

– Брось ты, старый жулик! Нечего сказки рассказывать! Я-то знаю, какой ты больной. Расскажи-ка лучше, что ты делал в прошлый понедельник в Комберомбском лесу в одиннадцать часов ночи?

– Неправда! – сердито сказал старик.

Великан разгорячился:

– Ах, неправда? Черррт ты этакий! А кто ж, как не ты, перепрыгнул через канаву с огорода Жана Манеза и побежал Жеребьячьей ложиной?

Бродяга энергично мотал головой:

– Неправда это!

– Неправда? А помнишь, я тебе крикнул: «Эй, Кловис, стражники!» – и ты разом махнул в сторону, на тропинку, что идет в Мулине.

– Неправда!

Долговязый Жак рассвирепел и стал кричать, почти угрожающе:

– Ах, неправда? Ну погоди, трехногий бородач, я тебе покажу! Как увижу тебя ночью в лесу или на речке – раз, раз и поймаю! Не убежишь, у меня ноги-то подлинней твоих. Сцапаю тебя и привяжу к дереву. А утром мы придем всей деревней и отведем тебя куда следует!

Ориоль остановил сына и сказал вкрадчиво:

– Слушай, Кловис, попробовать-то все-таки можно. Мы с Великаном выроем для тебя ванну. Ты будешь приходить каждый день – один месяц. И дам я тебе за это не сто, а двести франков. А как месяц пройдет и ты выздоровеешь, получай еще пятьсот франков. Слышишь? Пятьсот франков чистоганом да еще те двести! Всего, значит, семьсот. Понял? Двести франков за то, чтобы один месяц по часу сидеть в ванне, да особо пятьсот за то, что выздоровеешь. И еще вот что не забудь: ревматизм-то, бывает, отпустит да опять схватит. Если осенью тебе снова станет худо, мы уж тут ни при чем будем, вода-то все-таки свое дело сделала.

Старик спокойно ответил:

– Ну что ж. Коли так, я согласен. А не пойдет на лад, тогда посмотрим.

И три хитреца ударили по рукам, чтобы скрепить заключенную сделку. Потом Ориоли вернулись к источнику и принялись рыть ванну для Кловиса.

Поработав минут пятнадцать, они услышали на дороге голоса.

К источнику шли Андермат и доктор Латон. Крестьяне подмигнули друг другу и бросили копать.

Банкир подошел, пожал им руки, и все четверо молча усталились в воду. Она как будто кипела ключом на жарком огне, вся в пузырьках газа, и стекала к речке по узенькому мелкому ложу, которое уже успела себе проложить. Ориоль с горделивой улыбкой сказал:

– Железа-то в ней сколько! Железа!

В самом деле, уже все дно в яме стало красным, и даже мелкие камешки, которые вода омывала на пути к речке, казалось, были покрыты как бы налетом пурпурной плесени.

Доктор Латон заметил:

– Железо – это еще не все: важны другие свойства. Надо установить, есть ли они.

Крестьянин забеспокоился:

– Как не быть! Мы вчера вечером с Великаном выпили для почину по стаканчику, и уж оно сегодня заметно... Так по всему телу и пошла бодрость этакая. Верно, сынок?

Долговязый Жак ответил убежденно:

– Ну, понятно. Бодрость этакая по всему телу пошла.

Андермат стоял, не шевелясь, у края ямы. Он обернулся и сказал доктору:

– Для того, что я задумал, воды надо в шесть раз больше, чем дает этот источник, не так ли?

– Да, приблизительно.

– А как вы думаете, найдем мы новые источники?

– Ну, этого я не знаю.

– Вот в том-то и дело. Значит, с купчей на землю не следует спешить, подождем, что покажет бурение. Пока что, когда будет известен результат анализа, надо составить у нотариуса продажную запись и указать в ней, что окончательная сделка состоится лишь в случае благоприятных результатов разведки.

Дядюшка Ориоль встревожился, он не понимал, о чем идет речь. Андермат объяснил ему, что одного источника для задуманного предприятия мало и, пока не найдены новые источники, покупать землю нет расчета. Но искать новые источники он может только после составления запродажной записи.

Оба Ориоля с самым искренним видом принялись уверять, что на их земле источников, поди, не меньше, чем виноградных лоз. Чего там! Копнешь – и готово. Вот увидите, увидите.

Андермат сухо ответил:

– Увидим.

Дядюшка Ориоль поспешно окунул руку в воду источника и заявил:

– А горяча-то как! Можно яйцо сварить! Куда горячее, чем в Бонфильском источнике.

Латон тоже обмакнул палец в воду и сказал, что, пожалуй, это верно.

Крестьянин опять заговорил:

– Да она и на вкус лучше, куда приятнее. И запаху скверного нет. Как хотите, а я за эту воду могу поручиться. Хорошая вода. Мне ли не знать здешних вод? Пятьдесят лет на моих глазах текут. Но уж такой хорошей никогда и не было. Никогда, никогда!

Помолчав немного, он снова принялся убеждать:

– Я зря говорить не буду. Разве я товар какой продаю? Вот, если угодно, так ее испытать можно, по-настоящему испытать на ваших глазах, а не по-докторски, не по-аптечному. На каком-нибудь больном человеке ее можно испробовать. Готов побиться об заклад, что моя вода и параличного вылечит, – такая она горячая и хорошая на вкус! Готов об заклад побиться!

Он умолк и, казалось, что-то припоминал, потом не спеша окинул взглядом ближние вершины гор, как будто искал, не появится ли там нужный для опыта паралитик. Не обнаружив его в поднебесных высотах, он опустил взгляд долу, на дорогу.

В двухстах метрах от источника, на краю дороги, виднелись недвижимые ноги бродяги Кловиса, а туловище его было скрыто стволом ивы.

Ориоль приложил руку ко лбу щитком и, вглядываясь, спросил у сына:

– Кто это там? Неужто Кловис? Гляди-ка, еще не ушел!

Долговязый Жак, засмеявшись, ответил:

– Он самый и есть. Сидит старый, в ногах-то заячьей прыти нету.

Ориоль шагнул к Андермату и степенно, веско произнес:

– Вот послушайте-ка меня, сударь, что я вам скажу. Видите, вон там сидит параличный? Доктор его хорошо знает. Ноги у него уже лет десять как отнялись, не может шагу ступить. Верно я говорю, доктор?

Латон подтвердил:

– Да, да. Ну уж если вам удастся вылечить такого калеку вашей водой, я согласен платить за нее по франку за стакан. – И, обращаясь к Андермату, пояснил: – Это ревматик и подагрик. Левую ногу у него свело в колене – судорожная контрактура мышц, а правая совершенно парализована. Случай, по-моему, неизлечимый.

Ориоль выждал, пока он выскажется, и неторопливо продолжал:

– Ну что ж, господин доктор, испытайте на нем мою воду – хотя бы один месяц. Я не говорю, что удастся вылечить, я ничего не говорю, а только прошу: испробуйте на нем. Вот мы тут с Великаном начали копать яму для камней. Ну что ж, пусть она будет для деда Кловиса. Пусть сидит там в воде по часу каждый день. И тогда посмотрим, посмотрим.

Доктор пробормотал:

– Ну, пожалуйста, пробуйте, если угодно. Ручаюсь, что ничего не выйдет.

Но Андермат, соблазнившись возможностью почти чудесного исцеления, с радостью ухватился за мысль, подсказанную крестьянином, и все четверо направились к бродяге, который сидел все так же неподвижно, греясь на солнышке.

Разгадав хитрость, старый браконьер стал притворно отказываться, долго упрямылся, но наконец согласился с тем условием, что за каждый час, который он проведет в воде, Андермат будет платить ему по два франка.

Сделка была тотчас заключена. Решили даже, что первую свою ванну Кловис примет в этот же день, как только будет вырыта яма. Андермат обязался предоставить ему одежду, чтобы он мог «перемениться», выбравшись из воды, а дядюшка Ориоль и Великан обещали притащить стоявшую у них во дворе переносную пастушескую сторожку, чтобы калеке было где переодеться.

Затем банкир и доктор пошли обратно к деревне. У въезда в нее они расстались. Один направился в свой врачебный кабинет принимать больных, а другой в парк, чтобы подождать жену, собиравшуюся пойти на ванну в половине десятого.

Вскоре появилась Христиана. Вся в розовом с головы до ног, в розовой шляпе, под розовым зонтиком, с розовым личиком, она была словно утренняя заря. Для сокращения пути она спустилась из гостиницы по крутому косоугору, легкая, быстрая, как птичка, когда та, сложив крылышки, перепрыгивает с камня на камень. Завидев мужа, она еще издали крикнула ему:

– Какие здесь чудесные места! Мне тут ужасно нравится!

Немногие больные, уныло бродившие по маленькому тихому парку, оборачивались, когда она проходила, а Петрюс Мартель, который стоял без куртки, с трубкой в зубах, у открытого окна казино, подозвал своего приятеля Лапальма, сидевшего в уголке за стаканом белого вина, и, причмокнув, воскликнул:

– Эх, черт! Хороша куколка!

Христиана вошла в водолечебницу, приветливо улыбнулась кассиру, сидевшему слева от входа, весело сказала: «Здравствуйте» – бывшему тюремному надзирателю, сидевшему справа, отдала билетик на ванну служительнице, одетой, как и та, что сидела в парке у источника, и пошла вслед за нею по коридору, куда выходили двери кабинок.

Одну из этих дверей открыли для нее, и она переступила порог довольно просторной комнаты с голыми стенами, где вся обстановка состояла из стула, зеркала и скамеечки для ног, а в желтом цементном полу было устроено овальное углубление, выложенное таким же цементом и служившее ванной.

Женщина, которая привела ее, отвернула кран, похожий на краны водоразборных колонок на улицах, и из маленького решетчатого отверстия на дне ванны забила вода, быстро наполнила ее, но не переливалась через край, а вытекала в трубку, проложенную в стене.

Христиана оставила свою горничную в отеле, а от услуг овернки отказалась и отослала ее, сказав, что разденется сама и позвонит, когда нужно будет подать простыню или что-нибудь понадобится.

Оставшись одна, она не спеша разделась, глядя, как в светлом бассейне еле заметно кружится понизу и волнуется вода. Раздевшись, она кончиком ноги попробовала воду, и тотчас приятное ощущение тепла побежало по всему телу; тогда она опустила в воду всю ногу, потом вторую и осторожно села, погрузившись в мягкую, ласковую теплоту прозрачной воды источника, который

наполнял этот водоем, струился по ней самой и вокруг нее, покрывая маленькими пузырьками газа все ее тело – и ноги, и руки, и грудь. Она с удивлением смотрела, как эти бесчисленные воздушные пузырьки всю ее одевают панцирем из крошечных жемчужинок. А жемчужинки непрестанно отрываются от ее белой кожи, взлетают на поверхность воды и исчезают в воздухе, выталкиваемые другими, которые возникают на ней. Они возникали мгновенно, словно легкие, неуловимые и прелестные мелкие ягодки, плоды ее стройного, юного и розового тела, обладающего волшебной силой обращать капельки воды в жемчужины.

Христиане было так хорошо, так мягко касались, так ласково обнимали, обтекали ее струйки воды, трепещущие, живые, переливчатые струйки источника, бурлившего в водоеме у ее ног и убежавшего сквозь маленькое отверстие у края ванны, что ей хотелось навсегда остаться тут, не двигаться, не шевелиться, ни о чем не думать. Теплота, какая-то особая, восхитительная теплота согревала ее, на душе было покойно, безмятежно, и всю ее наполняло блаженное ощущение здоровья, мирной радости и тихой веселости. Журчание воды, вытекавшей из ванны, убаюкивало, и в дремотной неге она лениво думала то о том, то о другом: что будет делать сейчас и что будет делать завтра, на какие прогулки здесь можно ходить, думала об отце, о муже, о брате и о том высоком молодом человеке, который бросился спасать собаку, – после этого ей как-то было неловко с ним, она не любила порывистых людей.

Да, в этой теплой воде было хорошо, спокойно, и никакие желания не тревожили ее сердца, разве только смутная надежда иметь ребенка; в душе не возникало ни тени стремления изведать какую-то иную жизнь, волнение или страсть. Ей ничего не надо было, она чувствовала себя счастливой и довольной.

Вдруг она испугалась: кто-то открыл дверь; но оказалось, это овернка принесла простыню и халат. Двадцать минут уже истекли, пора было одеваться. Пробуждение было грустным, почти горестным; хотелось попросить, чтоб ей позволили побыть в ванне еще несколько минут, но потом она подумала, что впереди еще много дней, много таких же приятных минут; она с сожалением вышла из воды и закуталась в халат, нагретый так сильно, что он даже обжигал ее немножко.

Когда она уходила, доктор Бонфиль отворил дверь своего кабинета и, церемонно кланяясь, попросил ее войти. Он справился, как она себя чувствует, пощупал ей пульс, велел высунуть язык, осведомился о ее аппетите и пищеварении, спросил, хорошо ли она спит, затем проводил до самого выхода и все время повторял:

– Что ж, ничего, ничего, все благополучно, благополучно. Будьте так любезны передать вашему батюшке мой нижайший поклон. Он один из самых почтенных людей, какие мне встречались на моем поприще.

Наконец она избавилась от его назойливых забот, немного испортивших ей настроение, вышла и у дверей водолечебницы увидела отца в обществе Андермата, Гонтрана и Поля Бретины.

Ее муж, у которого всякая новая мысль все жужжала, жужжала в голове, словно муха, залетевшая в бутылку, рассказывал о паралитике и предлагал пойти посмотреть, принимает ли бродяга свою первую ванну.

Чтобы доставить ему удовольствие, все пошли к источнику.

Но Христиана тихонько удержала брата и, когда они отстали от других, сказала:

– Знаешь что, я хотела поговорить с тобой о твоём друге; он мне что-то не очень нравится. Расскажи мне о нём. Какой он?

И Гонтран, близко знакомый с Полем уже несколько лет, описал ей эту натуру, страстную, необузданную, искреннюю и способную на добрые порывы.

Поль Бретины, говорил Гонтран, – умный человек, но какой-то неистовый и все переживает слишком бурно. Он поддается каждому своему желанию, не умеет ни владеть, ни управлять собою, подавлять чувство рассудком, руководствоваться в жизни методически обдуманном планом и повинуетя всем своим увлечениям, прекрасным или постыдным, едва только какая-нибудь мысль, какое-нибудь желание или страстное волнение потрясет его экзальтированную душу.

Он уже семь раз дрался на дуэли и так же способен в запальчивости оскорбить человека, как и стать после этого его другом, он влюблялся бешено, пылко в женщин всех классов и одинаково их обожал, начиная от модистки, встреченной у порога магазина, и кончая актрисой, которую он

похитил, – да, буквально похитил в вечер первого представления, когда она вышла из театра и уже ступила ногой на подножку экипажа, чтобы ехать домой, – схватил ее на глазах остолбеневших прохожих, унес на руках, бросил в карету и умчал, пустив лошадей таким галопом, что похитителя не могли догнать.

И Гонтран сказал в заключение:

– Вот он какой! Славный малый и, кстати сказать, очень богат, но сущий безумец. Когда теряет голову, на все, положительно на все способен.

Христиана сказала:

– У него какие-то необыкновенные духи. Дивный запах! Что это такое?

– Не знаю. Он не хочет говорить. Кажется, из России привезены. Подарок его актрисы, той самой, от которой я его теперь лечу. А запах в самом деле чудесный.

Вдали виднелась куча крестьян и больных – на курорте вошло в обычай гулять до завтрака по риомской дороге.

Христиана и Гонтран догнали маркиза, Андермата и Поля, и вскоре на том месте, где накануне высился утес, перед ними предстало странное зрелище: из земли торчала человеческая голова в изодранной войлочной серой шляпе и всклокоченная седая борода – голова, как будто отрубленная или выросшая тут, словно какой-то кочан. Вокруг стояли люди; крестьяне смотрели изумленно и молча (овернцы совсем не зубоскалы), а три толстых господина, по виду постояльцы второразрядной гостиницы, отпускали плоские шуточки.

Оба Ориоля стояли около ямы и сосредоточенно смотрели на бродягу, сидевшего там на камешке по горло в воде. Картина напоминала средневековую казнь преступника, обвиненного в колдовстве и чародействе; старик не выпускал из рук костылей, и они мокли в воде рядом с ним.

Андермат пришел в восторг:

– Bravo, bravo! Вот пример, которому должны последовать все местные жители, страдающие ревматизмом!

И, наклонившись к Кловису, он громко крикнул, словно тот был глухой:

– Ну как? Хорошо вам?

Старый бродяга, видимо, совсем одуревший от горячей ванны, ответил:

– Черррт бы ее взял, эту воду! До чего ж горяча! Того и гляди сварисься.

Но дядюшка Ориоль заявил:

– Чем горячей, тем для тебя полезительней.

Позади маркиза кто-то спросил:

– Что это тут происходит?

И Обри-Пастер, возвращавшийся с ежедневной своей прогулки, пыхтя и отдуваясь, подошел к яме.

Андермат объяснил ему свой план исцеления паралитика.

Но старик все твердил:

– До чего ж горяча пррроклтая!

Он пожелал вылезти из воды, жалобно охал, просил вытащить его.

Банкир с трудом успокоил его, пообещав надбавить по франку за каждую ванну.

Зрители кольцом обступили яму, где плавали в воде бурые лохмотья, облекавшие тело старика.

Кто-то сказал:

– Ну и похлебка! Неаппетитный навар!

А другой подхватил:

– Да и говядина-то не лучше!

Маркиз заметил, что в этом новом источнике гораздо больше пузырьков углекислоты, чем в ваннных водолечебницы, а сами пузырьки крупнее и подвижнее.

Действительно, все рубище бродяги было покрыто пузырьками, и они взлетали на поверхность в таком изобилии, что казалось, в воде мелькают бесчисленные цепочки, бесконечные четки из крошечных круглых прозрачных алмазов, сверкавших на солнце ослепительным блеском.

Обри-Пастер засмеялся.

– Ну еще бы! – сказал он. – Вы послушайте, что вытворяют в здешнем ванном заведении. Известно, что минеральный источник надо поймать в силок, как птицу, или, вернее, засадить его под колокол. Это называется каптаж. Однако с источником, который подводят к ваннам в Анвале, произошла такая история. Углекислота легче воды и, выделяясь из нее, собиралась под верхушкой колокола, а когда ее накапливалось там слишком много, она устремлялась в трубы, проникала через них в ванны, насыщала воздух, и больные чувствовали удушье. За два месяца было три довольно тяжелых случая. Тогда опять обратились ко мне, и я изобрел очень простое приспособление: две трубы подводят из-под колокола воду и углекислый газ порознь и вновь соединяют их под ваннами, восстанавливая тем самым нормальный состав источника и не допуская опасного избытка углекислоты. Однако надо было потратить тысячу франков, чтоб сконструировать мое приспособление! И знаете, что сделал бывший тюремный надзиратель? Ни за что не угадаете. Прodelал дыру в колоколе, чтобы отделаться от газа, и он, разумеется, стал улетучиваться. Таким образом, вам продают углекислые ванны без углекислоты или же с таким ничтожным ее количеством, что пользы от этих ванн немного. Зато здесь, посмотрите-ка!

Все пришли в негодование. Никто уже больше не смеялся, на нищего паралитика смотрели теперь с завистью. Каждый готов был схватить лопату и вырыть для себя ванну в земле рядом с ямой бродяги.

Андермат взял инженера под руку, и они пошли по дороге, о чем-то беседуя. Время от времени Обри-Пастер останавливался и чертил тростью в воздухе, как будто намечая направление чего-то, указывал узловые точки, а банкир делал пометки в записной книжке.

Христиана и Поль Бретиньи разговорились. Он рассказывал ей о своем путешествии по Оверни, описывал свои впечатления и чувства. Он любил природу безотчетной, пылкой любовью, в которой сквозило нечто звериное. Природа доставляла ему сладострастное наслаждение, от которого трепетали его нервы, все его тело.

Он говорил Христиане:

– Знаете, мне кажется, что я словно раскрываюсь, вбираю в себя все, и каждое впечатление пронизывает меня с такой силой, что я плачу, скриплю зубами. Ну вот, смотрите, перед нами зеленая круча, широкий кряж, и по нему карабкаются в гору полчища деревьев; мои глаза вбирают этот лес, он проникает в меня, заполняет, бежит по моим жилам, и мне даже кажется, что я его ем, глотаю, сам становлюсь лесом.

Он говорил все это смеясь и устремлял круглые широко открытые глаза то на лес, то на Христиану, а она слушала, удивленная, смущенная, но понимала его впечатлительной душой, и ей казалось, что этот жадный взгляд расширенных зрачков пожирает и ее вместе с лесом.

Поль продолжал:

– А если б вы знали, какие радости приносит мне обоняние! Вот этот воздух, которым мы с вами дышим сейчас, я пью, опьяняюсь им и слышу все запахи, разлитые в нем, все, решительно все. Ну вот послушайте. Во-первых, самое главное. Когда вы приехали сюда, заметили вы, какой здесь аромат? Нежный, ни с чем не сравнимый аромат, такой тонкий, такой легкий, что он кажется... ну, как бы это сказать... почти невещественным. Он везде, везде, и никак не можешь разгадать, что же это такое, уловить, откуда он исходит. А между тем никогда ни один аромат на свете не давал мне такого наслаждения. И что ж – это запах цветущих виноградников! Ах, я только на пятый день открыл его! Какая прелесть! И разве не восхитительно думать, что виноград, дарящий нам вино – вино, которым по-настоящему, как знатоки, могут наслаждаться лишь избранные, дарит нам и нежнейшее, волнующее благоухание, различимое лишь для самых изощренных чувственных натур. А улавливаете ли вы в этом воздухе струю мощного запаха каштанов, приторно-сладкое благоухание акаций, аромат горных лугов и аромат травы – она пахнет так хорошо, так хорошо, и ведь никто этого и не замечает.

Она слушала его с изумлением – не потому, что слова его были каким-то поразительным открытием, но они совсем не походили на то будничное, обыденное, что всегда говорилось вокруг нее, и потому захватывали ее, волновали, вносили смятение в привычный строй ее мыслей.

А он все говорил голосом несколько глухим, но теплого тембра:

– И потом, скажите, заметили ли вы, что над дорогами, когда бывает жарко, в воздухе есть

легкий привкус ванили? Замечали, да? И знаете, что это такое? Нет, я не решаюсь сказать...

Он расхохотался и вдруг, протянув руку вперед, сказал:

– Посмотрите.

По дороге тянулись вереницей возы с сеном, и каждый тащила пара коров. Медлительные, широколобые, они грузно переступали ногами, склонив под ярмом голову с крутыми рогами, привязанными к деревянной перекладине, и видно было, как под кожей движутся у них мослаки. Впереди каждого воза шел человек в сборчатой рубашке и безрукавке, в черной шляпе и прутом подгонял свою упряжку. Время от времени он оборачивался, но не бил корову, а только касался прутом ее плеча или лба, и она, мигая большими и глупыми глазами с поволокой, покорно повиновалась его жесту.

Христиана и Поль посторонились, чтобы дать им дорогу.

Бретињи спросил:

– Вы чувствуете запах?

Она удивилась:

– Какой? Сейчас пахнет хлевом.

– Ну да, хлевом. Все эти коровы (лошадей совсем нет в здешних местах) рассеивают по дограм запах коровника, и в сочетании с мельчайшей пылью он придает ветру привкус ванили.

Христиана брезгливо сказала:

– Фу!

Он возразил:

– Позвольте, я же делаю химический анализ, и только. Это отнюдь не мешает мне утверждать, что мы с вами, сударыня, находимся в дивном уголке Франции, пленяющем мягкой, успокаивающей красотой. Нигде я не видел такой природы. Мы перенеслись в золотой век. А Лимань! Ах эта Лимань! Нет, не буду о ней рассказывать, я хочу показать ее вам. Вы должны ее посмотреть!

Их догнали маркиз и Гонтран. Взяв дочь под руку, маркиз шутливо повернул ее и повел обратно, к деревне, напомнив, что пора идти завтракать.

Дорогой он сказал:

– Слушайте, детки, это касается вас, всех троих. Вильям совершенно сходит с ума, когда какая-нибудь мысль засядет ему в голову, и теперь он ни о чем думать не может, кроме своего будущего курорта. Он бредит им и для своих целей вознамерился пленить семейство Ориоль. Он хочет, чтобы Христиана познакомилась с девочками и посмотрела, приемлемы ли они в хорошем обществе. Но знакомство должно состояться так, чтобы отец и не подозревал о наших хитростях. И вот меня осенила идея: устроим благотворительный праздник. Ты, милочка, наведишь здешнего священника, и вы с ним выберете двух его прихожанок, которые будут собирать вместе с тобой пожертвования во время службы. Конечно, ты сумеешь подсказать ему, кого следует выбрать, и он их пригласит якобы по своему почину. А на вас, молодые люди, возлагается обязанность устроить в казино лотерею при содействии Петрюса Мартеля, его труппы и его оркестра. Если девицы Ориоль милы и благовоспитанны – говорят, их хорошо вышколили в монастырском пансионе, – Христиана несомненно покорит их.

ГЛАВА V

Целую неделю Христиана с увлечением занималась приготовлениями к празднику. Священник действительно нашел, что из всех его прихожанок только сестры Ориоль достойны чести собирать пожертвования вместе с дочерью маркиза де Равенеля, и, обрадовавшись возможности сыграть роль, стал хлопотать, все уладил, все устроил и пригласил обеих девушек, как будто ему первому пришла эта мысль.

Весь приход был взбудоражен; даже угрюмые обитатели курорта отвлеклись от разговоров о своих болезнях и обменивались за табльдотом различными соображениями по поводу возможной суммы сборов с двух празднеств, церковного и мирского.

День начался удачно. Стояла прекрасная летняя погода, жаркая и ясная; солнце заливало

равнину, а в тени под деревьями веяло прохладой.

Служба была назначена в девять часов утра, краткая, но с органом. Христиана, придя до начала обедни, чтобы взглянуть, как убрана церковь цветочными гирляндами, заказанными в Руайя и в Клермон-Ферране, услышала шаги за своей спиной, – вслед за ней явился аббат Литр с сестрами Ориоль; аббат представил их Христиане, и она тотчас пригласила обеих девушек к завтраку. Они, краснея, с почтительными реверансами, приняли приглашение.

Начали собираться верующие.

Христиана и сестры Ориоль заняли почетные места – на стульях, поставленных для них впереди, а напротив них сели три принарядившихся молодых человека: сын мэра, сын его помощника и сын муниципального советника – их избрали для сопровождения сборщиц, чтобы польстить местным властям.

Все сошло очень хорошо.

Служба кончилась быстро. Сбор дал сто десять франков, к этому присоединили пятьсот франков, пожертвованных Андерматом, пятьдесят – маркизом де Равенелем, сто франков от Поля Бретиньи, и в итоге получилось семьсот шестьдесят франков – сумма небывалая в анвальском приходе.

После обедни сестер Ориоль повели завтракать в отель. Обе казались несколько смущенными, но держали себя очень мило, и, хотя почти не принимали участия в разговоре, видно было, что это не робость, а скорее скромность. Они завтракали за табльдотом и понравились всем мужчинам, всем без исключения.

Старшая была степеннее, младшая – живее; старшая – благовоспитаннее в обыденном смысле этого слова, младшая – милее, приветливее; и вместе с тем они были похожи друг на друга, как могут только быть похожи сестры.

После завтрака все отправились в казино, где в два часа был назначен розыгрыш лотереи.

Парк уже заполнила пестрая толпа крестьян и больных, и он напоминал ярмарку.

В китайской беседке музыканты играли сельскую симфонию – произведение самого Сен-Ландри. Поль, который шел с Христианой, вдруг остановился.

– Ого! – воскликнул он. – Недурно! Право, недурно! Маэстро Сен-Ландри несомненно талантлив. Если б это играл настоящий оркестр, впечатление было бы большое.

И он спросил Христиану:

– Вы любите музыку?

– Очень.

– А меня она мучает. Когда я слушаю любимую вещь, то первые же звуки как будто срывают с меня кожу, вся она тает, растворяется, словно и нет ее на моем теле; все мои мышцы, все нервы обнажены и беззащитны перед натиском музыки.

Право же, оркестр играет на моих обнаженных нервах, и они вздрагивают, трепещут, отзываясь на каждую ноту. Я воспринимаю музыку не только слухом, я ощущаю ее всем телом, и оно вибрирует с ног до головы. Музыка! Сколько она дает мне наслаждения, вернее – счастья! Ничто с ним не может сравниться.



Христиана улыбнулась:

– Какие у вас бурные чувства!

– Ах, боже мой, да стоит ли жить, если нет этих бурных чувств! Не завидую тем людям, у которых сердце обросло кожей бегемота или покрыто щитом черепахи. Счастлив только тот, у кого ощущения так остры, что причиняют боль, кто воспринимает их как потрясения и наслаждается ими, как изысканным лакомством. Ведь надо осознавать все переживания, и радостные и горькие, наполнять ими душу до краев и, упиваясь ими, испытывать самое острое блаженство или самые мучительные страдания.

Она подняла на него глаза, удивленная его речами, как и всем, что слышала от него за неделю их знакомства.

И правда, этот новый друг – он сразу же стал ее другом, несмотря на первое неприятное впечатление, – уже целую неделю непрестанно смущал покой ее души, поднимая в ней волнение, как будто бросал камни в чистое, прозрачное озеро. И немало больших камней он кидал в эту мирную глубину.

Отец Христианы, как это свойственно отцам, все еще смотрел на нее как на маленькую девочку, с которой незачем говорить о серьезных вещах; брат умел ее посмешить, но не способен был натолкнуть на какие-то размышления; мужу даже и в голову не приходило, что с женой можно разговаривать о чем-либо, выходящем за пределы житейских интересов совместной жизни, и до сих пор Христиана жила в какой-то безмятежной сладкой дремоте.

И вот пришел человек, который ударами мысли, подобными ударам топора, пробил стену, замыкавшую ее узкий кругозор. Да еще человек этот принадлежал к тому типу мужчин, которые нравятся женщинам, всем женщинам, самим своим складом, силой и остротой переживаний. Он умел говорить с женщинами, все передать, все заставить понять. Богато одаренный, но неспособный к длительным усилиям, всегда одержимый страстной любовью или ненавистью, обо всем говоривший с неподдельной искренностью и яростной убежденностью переменчивой и восторженной натуры, он в избытке обладал женскими чертами – впечатлительностью, обаянием, душевной гибкостью, сочетавшимися с более широким, деятельным и проницательным мужским умом.

К ним быстрым шагом подошел Гонтран.

– Обернитесь, – сказал он. – Взгляните на любопытную супружескую пару.

Они обернулись и увидели доктора Онора под руку с толстой старой женщиной в голубом платье и в шляпе, похожей на клумбу из ботанического сада, – столько на ней было насажено разнообразнейших цветов и растений.

Христиана удивленно спросила:

– Неужели это его жена? Да ведь она старше его лет на пятнадцать?

– Угадала, ей шестьдесят пять лет. Бывшая повивальная бабка. Подцепила себе доктора в мужья на каких-нибудь родах. Впрочем, их супружеская жизнь проходит в постоянных стычках.

Услышав громкие возгласы и гул толпы, они повернули обратно, к казино. Перед входом на больших столах были разложены выигрыши лотереи, а Петрюс Мартель при содействии мадемуазель Одлен из Одеона, миниатюрной темноволосой особы, вытаскивал и громогласно объявлял номера, потешая при этом столпившуюся публику балаганными шутками. Подошел маркиз вместе с Андерматом и сестрами Ориоль.

– Ну как? – спросил он. – Останемся или уйдем? Уж очень тут шумно.

Решили прогуляться в горы по дороге в Ла-Рош-Прадьер.

На дорогу поднялись гуськом, через виноградники, по узкой тропинке. Впереди всех быстрым, упругим шагом шла Христиана. С первых же дней приезда в Анваль она чувствовала, что живет как-то по-новому: самые обычные удовольствия приобрели неожиданную яркость, и никогда еще она не испытывала такой радости жизни. Быть может, причина была в том, что от ванн ее здоровье укрепилось, организм избавился от недомоганий, которые всегда угнетают человека и вызывают как будто беспричинное уныние; теперь она свободнее могла воспринимать впечатления и наслаждаться природой. А может быть, она была так радостно возбуждена просто оттого, что теперь рядом с нею постоянно был загадочный для нее человек, открывавший ей в своих пылких речах столько нового.

Она шла, вдыхая воздух полной грудью, и вспоминала, что он говорил ей об ароматах, которые несет с собою ветер. «А ведь правда, – думала она, – он научил меня различать их в воздухе». Теперь она и сама различала все эти ароматы, особенно благоухание цветущих виноградников, такое легкое, тонкое, ускользающее.

Наконец все выбрались на дорогу и пошли по ней парами. Андермат и Луиза, старшая из сестер Ориоль, ушли вперед, беседуя о доходности овернских земель. Юная овернка, истая дочь своего отца, унаследовавшая его практичность, знала до мелочей, как ведется в Оверни сельское хозяйство; она рассказывала о нем ровным, спокойным голосом, серьезно и скромно, с интонациями благовоспитанной барышни, усвоенными в пансионе.

Андермат слушал, поглядывая на нее сбоку и находил очаровательной эту девицу, такую молоденькую и такую положительную, уже прекрасно знакомую с деловой стороной жизни. Иногда он выражал некоторое удивление:

– Как! В Лимани, вы говорите, цены на землю доходят до тридцати тысяч за гектар?

– Да, если она засажена хорошо привитыми яблонями, которые дают лучшие десертные сорта яблок. Ведь почти все фрукты, которые съедает Париж, поставляют наши края.

Тут Андермат обернулся и с уважением посмотрел на равнину Лимани – с горной дороги был виден ее бескрайний простор, как всегда затянутый мгlistой голубоватой дымкой.

Христиана и Поль тоже остановились, залюбовавшись этими нежно затуманенными далями, и не могли наглядеться на них.

Дорогу теперь осеняли огромные ореховые деревья, и в их густой тени стояла приятная прохлада. Подъем уже кончился, дорога извивалась по склону, покрытому виноградниками, а ближе к вершине – низкой травой; все было зелено до самого гребня горного кряжа, не очень высокого в этом месте.

Поль тихо сказал:

– Какая красота! Скажите, ведь правда красиво? Почему так захватывает этот пейзаж, почему он так мил сердцу? Какое-то удивительное, глубокое очарование исходит от него, а главное, что за ширь! Глядишь отсюда на равнину, и кажется, что мысль расправляет крылья и взмывает ввысь, парит, кружит в поднебесье, а потом пронесется над этой гладью и летит далеко-далеко, в волшебную страну наших мечтаний, которую мы не увидим никогда. Да, это прекрасно, потому что больше походит на сказку, на грезу, а не на осязаемую, зримую действительность.

Христиана слушала молча, исполненная смутных ожиданий, какой-то надежды, непонятного волнения, и жадно ловила каждое его слово. Ей и в самом деле чудились вдали иные, неведомые

края, лазурные, розовые, чудесные, сказочные края, недостижимые, но всегда манящие, прекраснее всех стран земных.

Он сказал еще:

– Да, это прекрасно, потому что прекрасно. Много есть пейзажей, более поражающих взгляд, но нет в них такой гармонии. Ах, красота, гармоническая красота! Это – самое важное в мире! Вне красоты ничего, ровно ничего не существует. Но лишь немногие понимают ее. Линии человеческого тела или статуи, очертания горы, колорит картины или вот этой шири, нечто неуловимое в улыбке Джоконды, слово, пронизывающее душу волнением, маленькая черточка, которая художника обращает в творца, равного Богу, – кто же, кто из людей замечает это?

Нет, я должен прочесть вам две строфы Бодлера:

Ты вестница небес иль ада – все равно,
О красота, фантом, прелестный и ужасный!
Твой взор, твой лик, твой шаг откроют мне окно
В любимый мною мир, безвестный, но прекрасный.

Ты ангел или зверь, ты бог иль сатана –
Не все ли мне равно, волшебное виденье!
С тобой, о свет и ритм, о ветер и волна,
Не так уродлив мир и тяжелы мгновенья.⁶⁷

Христиана смотрела на него с недоумением, удивляясь его восторженности, и глаза ее спрашивали: «Что ж необыкновенного находишь ты в этих стихах?»

Он угадал ее мысли и, рассердившись на себя за то, что не сумел приобщить ее к своим восторгам, – а ведь он так хорошо прочитал эти стихи, – сказал с легким оттенком презрения:

– Какой я, право, глупец! Вздумал читать женщине стихи самого утонченного поэта! Но, я надеюсь, настанет день, когда вы все это почувствуете, поймете, как и я. Женщины все воспринимают больше чувством, чем сознанием, они постигают сокровенную тайну искусства лишь в ту пору своей жизни, когда голос его находит сочувственный отклик в их душе.

И, поклонившись, он добавил:

– Я постараюсь вызвать в вас этот сочувственный отклик.

Слова его не показались ей дерзкими, а только странными.

Да она уж и не пыталась больше понять его – ее поразило открытие, которое она сделала только сейчас: она обнаружила, что он очень изящен и одет с тонким, изысканным вкусом, но это в нем не сразу заметно, потому что он слишком высок ростом, широкоплеч, облик у него слишком мужественный.

Да и в чертах лица у него было что-то грубое, незавершенное, усиливавшее на первый взгляд впечатление тяжеловесности. Но вот теперь, когда черты эти стали для нее привычными, она увидела, что в нем есть обаяние властной силы, а минутами у него в ласковых интонациях всегда глуховатого голоса сквозит мягкость.

Впервые заметив, как тщательно он одет с головы до ног, Христиана подумала: «Удивительные бывают люди – все, что в них есть привлекательного, открывается лишь постепенно, одно за другим. Вот и он такой».

Вдруг они услышали, что их догоняет Гонтран. Он весело кричал:

– Христиана! Стой, погоди!

И, догнав их, он, смеясь, заговорил:

– Ах, идите скорей, послушайте младшую сестрицу! До чего она забавная, остроумная! Прелесть! Папа в конце концов ее приручил, и она нам рассказывает преуморительные истории. По-

⁶ Перевод И. Миримского.

⁷ Ты вестница небес... – цитата из стихотворения Шарля Бодлера (1821–1867) «Гимн красоте».

дождем их.

И они остановились, дожидаясь маркиза, который шел с Шарлоттой Ориоль.

Она с детским увлечением и лукавством рассказывала смешные деревенские истории, рисуя и простодушие и хитрость овернцев. Она подражала их жестам, повадкам, медлительной речи, их выговору и черноты ханью, уснащающему их споры, комически изображала их мимику, от которой ее хорошенькое личико становилось еще милее. Живые глаза ее блестели, рот, довольно большой, красиво приоткрывался, сверкали белые ровные зубы, немного вздернутый носик придавал ей задорный вид, и вся она была такая очаровательная, дышала такой свежестью едва распустившегося цветка, что хотелось ее расцеловать.

Маркиз почти всю жизнь прожил в своем поместье, Христиана и Гонтран выросли в родовой усадьбе, хорошо знали дородных и важных нормандских фермеров, которых, по старинному обычаю, иногда приглашали в господский дом к столу; вместе с их детьми они ходили к первому причастию, играли вместе и обращались с ними запросто, и теперь им нетрудно было найти нужный тон с этой крестьяночкой, почти уже барышней, говорить с ней по-дружески просто, с ласковой непринужденностью, и она расцвела доверчивостью и весельем.

Андермат и Луиза дошли до села и, повернув обратно, присоединились к остальным.

Все сели на траву под высоким деревом на откосе дороги и пробыли тут долго, тихо беседуя обо всем и ни о чем, в ленивой неге блаженного спокойствия. Иногда по дороге медленно тянулась телега, с двумя коровами в упряжке, сгибавшими голову под ярмом; как всегда, впереди шел сухопарый крестьянин в широкополой черной шляпе и, помахивая прутом, словно дирижерской палочкой, управлял своей упряжкой.

Крестьянин снимал шляпу, здоровался с сестрами Ориоль, и звонкие девичьи голоса приветливо отвечали ему: «Добрый вечер!»

Домой вернулись уже в сумерках.

Когда подходили к парку, Шарлотта воскликнула:

– Ах, бурре! Танцуют бурре!

В самом деле, в парке танцевали бурре под звуки старинной овернской мелодии.

Крестьяне и крестьянки то выступали плавным шагом, то подпрыгивали, кружились и жеманно кланялись друг другу, при этом женщины подхватывали юбку на боках двумя пальчиками, а мужчины опускали руки, как плети, или подбоченивались.

Однообразная, но приятная мелодия тоже как будто кружилась в прохладном вечернем воздухе; скрипка без конца пела одну и ту же музыкальную фразу, выводила ее тоненьким, пронзительным голоском, а прочие инструменты скандировали ритм, придавая мелодии плясовую игривость. Простая крестьянская музыка, веселая и безыскусственная, очень подходила к этому незатейливому деревенскому меню.

Приезжие городские господа тоже пытались танцевать бурре. Петрюс Мартель скакал перед миниатюрной мадемуазель Одлен, а она манерничала, как фигурантка в балете; комик Лапальм выписывал ногами кренделя и вертелся волчком вокруг кассирши казино, явно взволнованный воспоминаниями о балах в зале Бюлье.

Вдруг Гонтран заметил доктора Онора, который отплясывал от души, не жалея ног, и, как чистокровный овернец, танцевал настоящее, классическое бурре.

Оркестр смолк. Все остановились. Доктор, тяжело дыша и отирая лоб платком, подошел поздороваться с маркизом.

– Хорошо иногда вспомнить молодость, потряхнуть стариной, – сказал он.

Гонтран положил ему руку на плечо и сказал с ехидной улыбкой:

– А вы мне и не говорили, что вы женаты!

Доктор перестал утираться и ответил угрюмо:

– Да, женат, и неудачно.

Гонтран переспросил:

– Что вы сказали?

– Неудачно, говорю, женат. Никогда не делайте такой глупости, молодой человек. Не жени-тесь.

– Почему?

– Да вот почему... Я, знаете ли, уже двадцать лет женат и все никак не могу к этому привыкнуть. Придешь домой вечером и всегда думаешь: «Как! Эта старуха все еще тут? Что ж, она так никогда и не уйдет?»

Все засмеялись – с таким серьезным, убежденным видом он это сказал.

В отеле зазвонил колокол – зывали к обеду.

Праздник кончился. Луизу и Шарлотту Ориоль проводили всей компанией до родительского дома и, когда распрощались с девушками, стали говорить о них. Все находили, что они обе очаровательны. Но Андермату все же больше понравилась старшая. Маркиз сказал:

– Сколько гибкости в женской натуре! Одного лишь соседства с отцовским золотом, которым эти девочки еще и пользоваться-то не умеют, оказалось достаточно, чтобы из крестьянок они стали барышнями.

Христиана спросила у Поля Бретиньи:

– А вам которая больше нравится?

– Мне? Да я даже и не смотрел на них. Мне нравится другая.

Он сказал это очень тихо; Христиана ничего не ответила.

ГЛАВА VI

Для Христианы Андермат настали счастливые дни. На душе у нее всегда было теперь легко и радостно. Каждое утро начиналось восхитительным удовольствием – ванной, в которой нежилось тело; полчаса, проведенные в теплой струящейся воде источника, словно подготавливали Христиану к ощущению счастья, длившемуся ведь день, до самого вечера. Да, она была счастлива, все стало радужным – и мысли и желания. Чья-то нежность, облаком окутывавшая ее, упоение жизнью, молодость, трепетавшая в каждой жилке, а также новая обстановка, этот чудесный край, словно созданный для покоя и грез, широкие просторы, благоуханный воздух, ласка природы – все будило в ней неведомые прежде чувства. Все, что ее окружало, все, с чем она соприкасалась, поддерживало это ощущение счастья, которое давала утренняя ванна; широкая и теплая волна счастья омывала ее, и вся она, душой и телом, погружалась в нее.

Андермат, решивший проводить в Анвале только две недели в месяц, уже уехал в Париж, поручив жене последить за тем, чтобы паралитик не прекращал лечения.

И каждое утро перед завтраком Христиана с отцом, братом и Полем Бретиньи ходила смотреть, как «варится суп из бродяги», по выражению Гонтрана. Приходили и другие больные и, обступив яму, где сидел Кловис, разговаривали с ним.

Старик утверждал, что «ходить-то он еще не ходит», но чувствует, как у него бегают мурашки по ногам. И он рассказывал, как они бегают, эти мурашки. Вот бегут, бегут по ногам выше колена, потом побежали вниз, спускаются до пальцев. Даже и ночью бегают, щекочут, кусают и не дают ему спать.

Приезжие господа и крестьяне, разделившись на два лагеря – маловеров и верующих, с одинаковым интересом следили за этим новым курсом лечения.

После завтрака Христиана обычно заходила за сестрами Ориоль, и они вместе отправлялись на прогулку. Из всего женского общества на курорте только с этими девочками ей было приятно поболтать и провести время, только к ним она чувствовала дружеское доверие и от них одних могла ждать теплой женской привязанности. Старшая сестра сразу понравилась ей своим положительным умом, рассудительностью и спокойным благодушием, а еще больше понравилась младшая, остроумная, по-детски шаловливая, и теперь Христиана искала сближения с ними не столько в угоду мужу, сколько для собственного удовольствия.

Прогулки совершали то пешком, то в ландо, в старом шестиместном дорожном ландо, нанятом в Риоме на извозном дворе.

Самым любопытным местом прогулки была дикая лошинка близ Шатель-Гюйона, которая вела в уединенный грот Сан-Суси.

Шли туда узкой дорожкой, извивавшейся по берегу речки под высокими елями, шли парами

и разговаривали. Дорожку то и дело пересекал ручей, приходилось перебираться через него; тогда Поль и Гонтран, встав на камни в быстрой воде, протягивали руку дамам, и те одним прыжком перескакивали на другой берег. После каждой переправы порядок, в котором шли, менялся.

Христиана оказывалась то в одной паре, то в другой, но всегда находила предлог побыть наедине с Полем Бретины, уйдя вперед или отстав от остальных.

Теперь он держал себя с ней иначе, чем в первые дни, меньше смеялся и шутил, исчезла его резкость, товарищеская непринужденность, появилась почтительная заботливость.

Разговоры их приняли оттенок интимности, и в них большое место занимали сердечные дела. Поль говорил о них как человек многоопытный, изведавший женскую любовь, которая дала ему много счастья, но не меньше принесла и страданий.

Христиана слушала с некоторым смущением, но со жгучим любопытством и сама искусно вызывала его на откровенность. Все, что она знала о нем, пробудило в ней горячее желание узнать еще больше, проникнуть мыслью в загадочную, лишь смутно знакомую по романам мужскую жизнь, полную бурь и любовных тайн.

И он охотно шел навстречу этому любопытству, каждый день рассказывал что-нибудь новое о своей жизни, о своих романах и горестях любви; пробуждавшиеся в нем воспоминания вносили в слова пламенную страстность, а желание понравиться – затаенное коварство.

Он открывал перед глазами Христианы неведомый ей мир, он так красноречиво умел передать все переходы чувства, томление ожидания, растущую волну надежды, благоговейное созерцание бережно хранимых мелочей – засохшего цветка, обрывка ленты, – боль внезапных сомнений, горечь тревожных догадок, муки ревности и неизъяснимое, безумное блаженство первого поцелуя.

Но он рассказывал обо всем этом с большим тактом, не нарушая приличий, накидывая на все прозрачный покров, рассказывал поэтически и увлекательно. Как всякий мужчина, обуреваемый неотвязной мыслью о женщине, он, весь еще трепеща от любовной лихорадки, но с деликатными умолчаниями говорил о тех, кого любил. Он вспоминал множество обаятельных черточек, волнующих сердце, множество трогательных минут, от которых слезы навертываются на глаза, и все те милые мелочи, которые украшают ухаживание и для людей изысканных чувств и тонкого ума придают столько прелести любовным отношениям.

Эти волнующие откровенные беседы велись каждый день, с каждым днем все дольше и западали в сердце Христианы, как семена, брошенные в землю. И красота необъятных далей, ароматы, разлитые в воздухе, голубая Лимань, ее просторы, от которых как будто ширилась душа, угасшие вулканы на горном кряже – бывшие очаги земли, теперь согревающие лишь воду для больных, прохлада под тенистыми деревьями, журчание ручьев, бегущих по камням, – все это тоже проникало в молодую душу и тело, словно тихий теплый дождь, размягчающий девственную почву, летний теплый дождь, после которого вырастают цветы из посеянных в нее семян.

Христиана чувствовала, что этот человек немного ухаживает за ней, считает ее хорошенькой и даже больше чем хорошенькой, ей приятно было, что она нравится, возникало желание пленить и покорить его, подсказывавшее ей уйму хитрых и вместе с тем простодушных уловок.

Если его глаза выдавали волнение, она внезапно уходила от него; если чувствовала, что вот-вот начнутся признания в любви, она останавливала его на полуслове, бросив на него быстрый и глубокий взгляд, один из тех женских взглядов, которые огнем палят сердце мужчины.

Как тонко, немногими словами или совсем без слов, легким кивком, мнимо небрежным жестом или же грустным видом, который быстро сменялся улыбкой, она умела показать, что его усилия не пропадают даром!

Но чего же она хотела? Ничего. Чего ждала от этой игры? Ничего. Она тешилась этой игрой просто потому, что была женщина, что совсем не сознавала опасности, ничего не предчувствовала и только хотела посмотреть, что же он будет делать.

В ней вдруг вспыхнул огонек врожденного кокетства, тлеющий в крови всех женщин. Вчера еще наивная девочка, погруженная в дремоту, вдруг пробудилась и стала гибким и зорким противником в поединке с этим мужчиной, постоянно говорившим ей о любви. Она угадывала все возраставшее его смятение, когда он был возле нее, видела зарождающуюся страсть в его взгляде,

понимала все интонации его голоса с той особой чуткостью, которая развивается у женщины, когда она чувствует, что мужчина ищет ее любви.

За ней не раз ухаживали в светских гостиных, но ничего не могли добиться от нее, кроме насмешек шаловливой школьницы. Пошлые комплименты поклонников забавляли ее, унылые мины отвергнутых воздыхателей казались уморительными, на все проявления нежных чувств она отвечала задорными шутками.

Но теперь она вдруг почувствовала, что перед ней опасный, обольстительный противник, и превратилась в искусную кокетку, вооруженную природной прозорливостью, смелостью, хладнокровием; в соблазнительницу, которая, пока в ней не заговорило сердце, подстерегает, захватывает врасплох и накидывает невидимые сети любви.

В первое время она казалась ему глупенькой. Привыкнув к женщинам-хищницам, искушенным в любовных делах, как старый вояка искушен в боевых маневрах, женщинам, опытным во всех приемах кокетства и тонкостях страстей, он счел слишком пресной эту сердечную простоту и даже относился к Христиане с легким презрением.

Но мало-помалу сама эта нетронутость, эта чистота заинтересовали его, потом пленили, и, следуя своей увлекающейся натуре, он начал окружать молодую женщину нежным вниманием.

Он знал, что лучшее средство взволновать чистую душу – это беспрестанно говорить ей о любви, делая вид, что думаешь при этом о других женщинах; и, ловко пользуясь ее разгоревшимся любопытством, которое сам же и пробудил в ней, он под предлогом доверчивых излияний души принялся читать ей в тени лесов настоящий курс любовной страсти.

Для него, так же как и для нее, это была увлекательная забава; всевозможными маленькими знаками внимания, которые мужчины умеют изобретать, он показывал, что она все больше нравится ему, и разыгрывал роль влюбленного, еще не подозревая, что скоро влюбится не на шутку.

Для них обоих вести эту игру во время долгих, медлительных прогулок было так же естественно, как естественно для человека, оказавшегося в знойный день на берегу реки, искупаться в прохладной воде.

Но с того дня, когда в Христиане пробудилось настоящее кокетство, когда ей вдруг открылись все женские хитрости обольщения и вздумалось повергнуть к своим стопам этого человека бурных страстей, как захотелось бы выиграть партию в крокет, наивный искуситель попался в сети этой простушки и полюбил ее.

И тогда он стал неловким, беспокойным, нервным; она же играла с ним, как кошка с мышью.

С другой он не подумал бы стесняться, дал бы волю смелым признаниям, покорила бы ее захватывающей пылкостью своего темперамента; с нею он не решался на это: она была так не похожа на других женщин, которых он знал раньше.

Всех этих женщин уже обожгла жизнь, им можно было все сказать, с ними он мог осмелиться на самые дерзкие призывы страсти, дрожа, шептать, склоняясь к их губам, слова, от которых огонь бежит в крови. Он знал себя, знал, что бывает неотразимым, когда может открыться свободно в томлящем его бурном желании и взволновать душу, сердце, чувственность той, которую любит.

Но возле Христианы он робел, словно она была девушка, – такую неопытность он угадывал в ней, и это сковывало все его искусство обольстителя. Да и любил он ее по-новому, как ребенка и как невесту. Он желал ее и боялся коснуться, чтобы не загрязнить, не осквернить ее чистоты. У него не возникало желания до боли сжать ее в своих объятиях, как других женщин, ему хотелось стать перед ней на колени, коснуться губами края ее платья, с тихой, бесконечной нежностью целовать завитки волос на ее висках, уголки губ и глаза, закрывшиеся в неге голубые глаза, чувствовать под сомкнутыми веками трепетный взгляд. Ему хотелось взять ее под свою защиту, оберегать от всех и от всего на свете, не допускать, чтоб она соприкасалась с грубыми, пошлыми людьми, видела уродливые лица, проходила близ неопрятных людей. Ему хотелось убрать всю грязь с улиц, по которым она проходит, все камешки с дорог, все колючки в лесу, сделать так, чтобы вокруг нее все было красивым и радостным, носить ее на руках, чтобы ножки ее никогда не ступали по земле. Его возмущало, что ей надо разговаривать с соседями в отеле, есть дрянную стряпню за табльдотом, переносить всякие неприятные и неизбежные житейские мелочи.

Близ нее он не находил слов, – так он был полон мыслями о ней; и оттого, что он был бесшутлив, не мог излить свое сердце, не мог осуществить ни одного своего желания и хоть чем-нибудь выразить сжигающую его властную потребность всего себя отдать ей, он смотрел на нее взглядом дикого зверя, скованного цепями, и вместе с тем ему почему-то хотелось плакать, рыдать.

Она все это видела, хотя и не совсем понимала, и потешалась над ним со злорадством кокетки.

Если они оказывались одни, отстав от других, и она чувствовала, что вот-вот в нем прорвется что-то опасное для нее, она вдруг пускалась бегом догонять отца и, подбежав к нему, весело кричала:

– Давайте сыграем в четыре угла!

Впрочем, все их путешествия обычно заканчивались игрой в четыре угла. Отыскивали полянку или широкую полосу дороги и играли, как школьники на загородной прогулке.

Обеим сестрам Ориоль и даже Гонтрану большое удовольствие доставляла эта забава, удовлетворявшая желанию побегать, свойственному всем молодым существам. Только Поль Бретиньи хмурился и ворчал, одержимый совсем иными мыслями, но мало-помалу и его увлекала игра, он принимался догонять и ловить с еще большим пылом, чем другие, стремясь поймать Христиану, коснуться ее, внезапно положить ей руку на плечо, дотронуться до ее стана.

Маркиз, человек беспечный и равнодушный по природе, покладистый во всем, лишь бы не нарушали его безмятежного душевного покоя, усаживался под деревом и смотрел, «как резвится его пансион». Он находил, что эта мирная сельская жизнь очень приятна и все на свете превосходно.

Однако поведение Поля вскоре стало внушать Христиане страх. Однажды она даже по-настоящему испугалась его.

Как-то утром они пошли вместе с Гонтраном на «Край света» – так называли живописное ущелье, из которого вытекала анвальская речка.

Это извилистое ущелье, все более сужаясь, глубоко врежется в горный кряж. Надо пробираться между огромными глыбами, переправляться через ручей по крупным булыжникам, а когда обогнешь скалистый выступ горы высотой больше пятидесяти метров, перегородивший всю теснину, вдруг попадаешь в какой-то каменный ров с исполинскими стенами, лишь вверху поросшими кустарником и деревьями.

Ручей разливается здесь маленьким, совершенно круглым озерком; и какой же это дикий, глухой уголок, странный, фантастический, неожиданный; такой чаще встретишь в книжных описаниях, чем в природе.

И вот в то утро Поль, разглядывая высокий уступ скалы, который всем преграждал путь на прогулке, заметил на гранитном барьере следы, доказывавшие, что кто-то карабкался на него.

Он сказал:

– А ведь можно пройти и дальше!

И, не без труда взобравшись на отвесную стену, крикнул:

– О-о! Вот прелесть! Рожица в воде! Взбирайтесь!

Он лег ничком на вершущке глыбы, протянул руки и стал подтягивать Христиану, а Гонтран, поднимаясь вслед за ней, поддерживал ее и ставил ее ноги на каждый едва заметный выступ.

Позади этой преграды на каменную площадку упала когда-то земля, обвалившаяся с вершины горы, и там разросся дикий ветвистый садик, где бежал между стволами деревьев ручей.

Немного подальше гранитный коридор был перегорожен вторым уступом; они перелезли и через него, потом через третий и очутились у подножия непреодолимой кручи, откуда с высоты двадцати метров ручей падал отвесным водопадом в вырытый им глубокий водоем, укрытый сплетениями лиан и ветвей.

Расщелина стала такой узкой, что два человека, взявшись за руки, могли бы достать до обеих ее стенок. Вверху, высоко, виднелась полоска неба, в теснине слышался шум водопада; они оказались в одном из тех сказочных тайников природы, которые латинские поэты населяли нимфами из античных мифов. Христиане казалось, что они дерзостно ворвались во владения какой-нибудь феи.

Поль Бретины молчал. Гонтран воскликнул:

– Ах, как было бы красиво, если б в этом водоеме купалась белокурая женщина с нежно-розовым телом!

Они пошли обратно. С первых двух уступов спускаться было довольно легко, но третий напугал Христиану – такой он был высокий и отвесный: казалось, некуда поставить ногу.

Бретины соскользнул по гранитной стене, протянул руки и крикнул:

– Прыгайте!

Христиана не решалась – не оттого, что боялась упасть, – ее страшил он сам, особенно его глаза.

Он смотрел на нее жадным взглядом голодного зверя, и в этом взгляде была какая-то злобная страсть; руки, протянутые к ней, звали ее так властно, что ее охватил безумный страх, ей хотелось с пронзительным воплем кинуться прочь, вскарабкаться на отвесную скалу, только бы спастись от этого непреодолимого призыва.

Брат, стоявший позади нее, крикнул: «Да ну же, прыгай!» – и подтолкнул ее; Христиана в ужасе закрыла глаза и полетела куда-то в пропасть, но вдруг нежные и крепкие объятия подхватили ее, и, ничего не сознавая, ничего не видя, она скользнула вдоль большого сильного тела, ощутив на своем лице жаркое прерывистое дыхание. Но вот уже ноги ее коснулись земли, страх прошел, она открыла глаза и, улыбаясь, стала смотреть, как спускается Гонтран.

Однако пережитое волнение сделало ее благоразумной, несколько дней она остерегалась оставаться наедине с Полем Бретины, а он, казалось, бродил теперь вокруг нее, как волк из басни бродит вокруг овечки.

Но как-то раз задумали совершить дальнюю прогулку. Решили взять с собою провизию и поехать в шестиместном ландо вместе с сестрами Ориоль на Тазенатское озеро, которое местные жители называли «Тазенатский чан», пообедать там на траве и вернуться домой ночью, при лунном свете.

Выехали в знойный день после полудня, когда солнце жгло нещадно и накалило гранитные утесы, как стенки жарко натопленной печи.

Тройка мокрых от пота лошадей, тяжело поводя боками, медленно тащила в гору старую коляску; кучер клевал носом на козлах; по краям дороги между камней шныряли зеленые ящерицы. Горячий воздух, казалось, был насыщен тяжелой огненной пылью; порой он как будто застывал плотной неподвижной пеленой, которую нужно было прорывать, а иногда чуть колыхался, обдавая лицо дыханием пожара и густым запахом нагретой солнцем смолы, разливавшимся из длинных сосновых перелесков по обеим сторонам дороги.

В ландо все молчали. Три дамы, помещавшиеся на заднем сиденье, прикрывались зонтиками и жмурились в розовой их тени, спасаясь от жгучих лучей, слепивших глаза; маркиз и Гонтран спали, закрыв лицо носовым платком; Поль смотрел на Христиану, и она тоже следила за ним взглядом из-под опущенных ресниц.

Оставляя за собой столб белой пыли, коляска все ехала и ехала по бесконечному подъему.

Но вот выбрались на плоскогорье. Кучер встрепенулся, выпрямился, лошади взяли рысью, и коляска покатила по гладкой дороге, пролегавшей среди широкой, волнистой, распаханной равнины, где были разбросаны рощи, деревни и одинокие дома. Вдалеке, слева, виднелись высокие усеченные конусы вулканов. Тазенатское озеро – цель прогулки – образовалось в кратере самого дальнего вулкана, на краю овернской горной гряды.

Они ехали уже три часа. Вдруг Поль сказал:

– Смотрите, лава!

У края дороги землю прорезали причудливо изогнутые коричневые глыбы и застывшие каменные потоки. Справа выросла какая-то странная, приплюснутая гора с плоской верхушкой, казалось, пустой внутри. Свернули на узкую дорогу, как будто врезающуюся треугольником в эту гору. Христиана приподнялась, и вдруг перед ее глазами в большом и глубоком кратере заблестело озеро, чистое, совершенно круглое, сверкавшее на солнце, как новенькая серебряная монета. Склоны кратера, справа лесистые, слева голые, окружали его высокой ровной оградой. В спокойной воде, отливавшей металлическим блеском, справа отражались деревья, слева – бесплодный

гранитный склон; отражались так четко, так ярко, что берега нельзя было отличить от их отражений, и только в середине этой огромной воронки виднелся голубой зеркальный круг, в который гляделось небо, и он казался сияющей бездной, провалом, доходившим сквозь землю до другого небосвода.

Дальше в экипаже нельзя было проехать. Все вылезли и пошли лесистым берегом по дороге, огибавшей озеро на середине склона. Дорога эта, по которой ходили только дровосеки, вся заросла травой, на ней было зелено, как на лугу, а сквозь ветви деревьев виднелся другой берег и вода, искрившаяся в этой горной чаше.

Через поляну вышли на самый берег и устроились под тенистым дубом на откосе, поросшем травой. Все вытянулись на мягкой, густой траве с каким-то чувственным наслаждением. Мужчины катались по ней, зарывались в нее руками. Женщины, спокойно лежа, прижимались к ней щекою, как будто искали ласки свежих, сочных ее стеблей.

После палящей жары в дороге все испытывали такое приятное, такое отрадное ощущение прохлады и покоя, что оно казалось почти счастьем.

Маркиз снова заснул, а вскоре и Гонтран последовал его примеру. Поль тихо разговаривал с Христианой и девушками. О чем? О всяких пустяках. Время от времени кто-нибудь произносил какую-то фразу. Другой, помолчав, отвечал; лень было думать, лень говорить, и мысли и слова, казалось, замирали в дремоте.

Кучер принес корзину с провизией. Сестры Ориоль, с детства приученные к домашним заботам и еще сохранившие привычку хлопотать по хозяйству, тотчас принялись немного поодаль распаковывать корзину и готовить все для обеда.

Поль остался один с Христианой; она задумалась о чем-то и вдруг услышала еле слышимый шепот, такой тихий, как будто ветер прошелестел в ветвях слова, которые прошептал Поль: «В моей жизни не было лучшего мгновения».

Почему эти туманные слова взволновали ей всю душу? Почему они так глубоко растрогали ее?

Она по-прежнему смотрела в сторону и сквозь деревья увидела маленький домик-хижину охотников или рыболовов – совсем маленький, наверно, в нем была только одна комната. Поль заметил, куда она смотрит, и спросил:

– Случалось ли вам когда-нибудь думать о том, как хорошо было бы жить в такой вот хижине двум любящим, безумно любящим людям? Одни, совсем одни в целом мире – только он и она!.. И если возможно такое блаженство, разве не стоит ради него все бросить, от всего отказаться?... Счастье... Ведь оно приходит так редко, и такое оно неуловимое, краткое. А разве наши будни – это жизнь? Какая тоска! Вставать утром, не ведая пламенной надежды, смиренно тянуть лямку все одних и тех же занятий и дел, пить, есть, соблюдать во всем умеренность и осторожность да спать по ночам крепким сном с невозмутимым спокойствием чурбана.

Христиана все смотрела на домик, и к горлу у нее подступили слезы: она вдруг поняла, что есть в жизни опьяняющее счастье, о существовании которого она никогда и не подозревала.

Теперь и она тоже думала, что в этом домике, приютившемся под деревьями, хорошо было бы укрыться вдвоем и жить вот тут, на берегу чудесного, игрушечного озера, сверкающего, как драгоценность, настоящего зеркала любви. Вокруг была бы такая тишина – ни звука чужих голосов, ни малейшего шума жизни. Только любимый человек возле нее. Они вместе часами смотрели бы на голубое озеро, а он бы еще смотрел в ее глаза, говорил бы ласковые, нежные слова, целуя ей кончики пальцев.

Они жили бы здесь в лесной тиши, и этот кратер стал бы хранителем их страсти, как хранит он в своей чаше глубокое прозрачное озеро, замкнув его высокой ровной оградой своих берегов; пределом для взгляда были бы эти берега, пределом мыслей – счастье любви, пределом желаний – тихие бесчисленные поцелуи.

Выпадает кому-нибудь в мире на долю такое счастье? Наверно. Почему же не быть ему на свете? И как же это она раньше даже и не думала, что могут быть такие радости?

Сестры Ориоль объявили, что обед готов. Было уже шесть часов. Разбудили маркиза и Гонтрана, и все уселись по-турецки перед тарелками, скользкими по траве. Сестры Ориоль по-

прежнему исполняли обязанности горничных, и мужчины преспокойно принимали их услуги. Ели медленно, бросая в воду куриные кости и кожуру фруктов. Принесли шампанское, и, когда хлопнула пробка первой бутылки, все поморщились – таким здесь казался неуместным этот звук.

День угасал; в воздухе посвежело; с вечерним сумраком на озеро, дремавшее в глубине кратера, спустилась смутная печаль.

Солнце закатывалось, небо на западе запылало, и озеро стало огненной чашей; потом солнце скрылось за горой, по небу протянулась темно-красная полоса, багряная, как потухающий костер, и озеро стало кровавой чашей. И вдруг над гребнем горы показался почти полный диск луны, совсем еще бледный на светлом небе. А потом по земле поползла тьма, луна же все поднималась и засияла над кратером, такая же круглая, как он. Казалось, она вот-вот упадет в него. И когда луна встала над серединой озера, оно превратилось в чашу расплавленного серебра, а его спокойная, недвижная гладь вдруг подернулась рябью, то пробегавшей стремительной змейкой, то медленно расплывавшейся кругами. Как будто горные духи реяли над озером, задевая воду своими невидимыми покрывалами.

Это выплыли из глубины озера большие рыбы – столетние карпы, прожорливые щуки – и принялись играть при лунном свете.

Сестры Ориоль уложили в корзину всю посуду и бутылки; кучер унес ее. Пора было отправляться домой.

Пошли по лесной дорожке, где сквозь листву дождем падали на траву пятнышки лунного света; Христиана шла предпоследней, впереди Поля, и вдруг услышала почти у самого своего уха прерывистый тихий голос:

– Люблю вас!.. Люблю!.. Люблю!..

Сердце у нее так заколотилось, что она чуть не упала. Ноги подкашивались, но она все-таки шла, совсем обезумев; ей хотелось обернуться, протянуть к нему руки, броситься в его объятия, принять его поцелуй. А он схватил край косынки, прикрывавшей ее плечи, и целовал его с каким-то неистовством. Она шла, почти теряя сознание, земля ускользала у нее из-под ног.

Внезапно темный свод ветвей кончился, все вокруг было залито светом, и Христиана сразу овладела собой. Но прежде чем сесть в коляску, прежде чем скрылось из виду озеро, она обернулась и, прижав к губам обе руки, послала ему воздушный поцелуй; и тот, кто шел вслед за нею, все понял.

Всю дорогу Христиана сидела не шевелясь, не в силах ни двигаться, ни говорить, ошеломленная, разбитая, словно она упала и ушиблась. Как только подъехали к отелю, она быстро поднялась по лестнице и заперлась в своей комнате. Она заперла дверь и на задвижку и на ключ – таким неотвязным было это ощущение преследующего ее, стремящегося к ней страстного мужского желания. Вся замирая, стояла она посреди полутемной пустой комнаты. На столе горела свеча, и по стенам протянулись дрожащие тени мебели и занавесок. Христиана бросилась в кресло. Мысли ее путались, ускользали, разбегались, она не могла связать их. А в груди накалились слезы – так ей почему-то стало горько, тоскливо, такой одинокой, заброшенной чувствовала она себя в этой пустой комнате, и так страшно было, что в жизни она заблудилась, точно в лесу.

Куда же она идет? Что делать?

Ей было трудно дышать. Она встала, отворила окно, толкнула ставни и оперлась на подоконник. Потянуло прохладой. Одинокая луна, затерявшаяся в высоком и тоже пустом небе, далекая и печальная, поднималась теперь к самому зениту синеватого небесного свода и лила на листья и на горы холодный, жесткий свет.

Весь край спал. В глубокой тишине долины порой разносились только слабые звуки скрипки: Сен-Ландри всегда до позднего часа разучивал свои арии; Христиана почти не слышала их. Дрожащая, скорбная жалоба трепещущих струн то смолкала, то вновь звучала в воздухе.

И эта луна, затерявшаяся в пустынном небе, и эта еле слышная песня скрипки, терявшаяся в безмолвии ночи, пронизывали душу такой болью одиночества, что Христиана разрыдалась. Она вся содрогалась от рыданий, ее бил озноб, мучительно щемило сердце, как это бывает, когда к человеку подкрадывается опасная болезнь, и она вдруг поняла, что она совсем одинока в жизни.

До сих пор она этого не сознавала, а теперь тоска одиночества так овладела ею, что ей каза-

лось, будто она сходит с ума.

Но ведь у нее были отец, брат, муж! Она же все-таки их любила, и они любили ее! А вот вдруг она сразу отошла от них, они стали чужими, как будто она едва была знакома с ними. Спокойная привязанность отца, приятельская близость брата, холодная нежность мужа теперь казались ей пустыми, ничтожными. Муж! Да неужели этот румяный болтливый человек, равнодушно бросавший: «Ну как, дорогая, вы хорошо себя чувствуете сегодня?» – ее муж? И она принадлежит этому человеку? Ее тело и душа стали его собственностью в силу брачного контракта? Да как же это возможно? Она чувствовала себя совсем одинокой, загубленной. Она крепко зажмурила глаза, чтобы заглянуть внутрь себя, чтобы лучше сосредоточиться.

И тогда все они, те, кто жил возле нее, прошли перед ее внутренним взором: отец – беспечный себялюбец, довольный жизнью, когда не нарушали его покой; брат – насмешливый скептик; шумливый муж – человек-автомат, выщелкивающий цифры, с торжеством говоривший ей: «Какой я сегодня куш сорвал!» – когда он мог бы сказать: «Люблю тебя!»

Не он – другой прошептал ей эти слова, все еще звучавшие в ее ушах, в ее сердце. Он, этот другой, тоже встал перед ее глазами, она чувствовала на себе его пристальный, пожирающий взгляд. И если бы он очутился в эту минуту возле нее, она бросилась бы в его объятия!

ГЛАВА VII

Христиана легла очень поздно, но лишь только в незатворенное окно потоком красного света хлынуло солнце, она проснулась.

Она поглядела на часы – пять часов – и снова вытянулась на спине, нежась в тепле постели. На душе у нее было так весело и радостно, как будто ночью к ней пришло счастье, какое-то большое, огромное счастье. Какое же? И она старалась разобраться, понять, что же это такое – то новое и радостное, что всю ее пронизывает счастьем. Тоска, томившая ее вчера, исчезла, растаяла во сне.

Так, значит, Поль Бретины любит ее! Он казался ей совсем другим, чем в первые дни. Сколько ни старалась она вспомнить, каким видела его в первый раз, ей это не удавалось. Теперь он стал для нее совсем иным человеком, ни в чем не похожим на того, с кем ее познакомил брат. Ничего в нем не осталось от прежнего Поля Бретины, ничего: лицо, манера держаться и все, все стало совсем другим, потому что образ, воспринятый вначале, постепенно, день за днем, подвергался переменам, как это бывает, когда человек из случайно встреченного становится для нас хорошо знакомым, потом близким, потом любимым. Сами того не подозревая, мы овладеваем им час за часом, овладеваем его чертами, движениями, его внешним и внутренним обликом. Он у нас в глазах и в сердце, он проникает в нас своим голосом, своими жестами, словами и мыслями. Его впитываешь в себя, поглощаешь, все понимаешь в нем, разгадываешь все оттенки его улыбки, скрытый смысл его слов; и наконец кажется, что весь он, целиком принадлежит тебе, настолько любишь пока еще безотчетной любовью все в нем и все, что исходит от него.

И тогда уж очень трудно припомнить, каким он показался нам при первой встрече, когда мы смотрели на него равнодушным взглядом.

Так, значит, Поль Бретины любит ее! От этой мысли у Христианы не было ни страха, ни тревоги, а только глубокая благодарная нежность и совсем для нее новая, огромная и чудесная радость – быть любимой и знать это.

Только одно беспокоило ее: как же теперь держать себя с ним, как он будет держаться? Этот щекотливый вопрос смущал ее совесть, и она отстраняла подобные мысли, полагаясь на свое чутье, свой такт, решив, что сумеет управлять событиями. Она вышла из отеля в обычный час и увидела Поля – он курил у подъезда папиросу. Он почтительно поклонился.

– Доброе утро, сударыня! Как вы себя чувствуете сегодня?

– Благодарю вас, – ответила она с улыбкой, – очень хорошо. Я спала прекрасно.

И она протянула ему руку, опасаясь, что он задержит ее руку в своей. Но он лишь слегка пожал ее, и они стали дружески беседовать, как будто оба все уже позабыли.

За весь день он ни словом, ни взглядом не напомнил ей о страстном признании у Тазенатского озера. Прошло еще несколько дней, он был все таким же спокойным, сдержанным, и у нее вер-

нулось доверие к нему. «Конечно, он угадал, что оскорбит меня, если станет дерзким», – думала она. И надеялась, твердо верила, что их отношения навсегда останутся на том светлом периоде нежности, когда можно любить и смело смотреть друг другу в глаза, не мучась укорами совести, ничем ее не запятнав.



Все же она старалась не удаляться с ним от других.

Но вот в субботу вечером, на той же неделе, когда они ездили к Тазенатскому озеру, маркиз, Христиана и Поль возвращались в десятом часу в отель, оставив Гонтрана доигрывать партию в экарте с Обри-Пастером, Рикье и доктором Онора в большом зале казино, и Бретињи, заметив луну, засеребрившуюся сквозь ветви деревьев воскликнул:

– А хорошо было бы пойти в такую ночь посмотреть на развалины Турноэля!

И Христиану тотчас увлекла эта мысль – лунный свет, развалины имели для нее то же обаяние, как и почти для всех женщин.

Она сжала руку отца:

– Папа, папочка! Пойдем туда!

Он колебался, ему очень хотелось спать. Христиана упрашивала:

– Ты только подумай: Турноэль и днем необыкновенно красив, – ты ведь сам говорил, что никогда еще не видел таких живописных развалин. Этот замок и эта высокая башня... А ты представь себе, как же они должны быть прекрасны в лунную ночь!

Маркиз наконец согласился:

– Ну хорошо, пойдемте. Только с одним условием: полюбуемся пять минут и сейчас же обратно. В одиннадцать часов мне полагается уже лежать в постели.

– Да, да. Мы сейчас же вернемся. Туда и идти-то всего двадцать минут.

И они направились втроем к Турноэлю. Христиана шла под руку с отцом, а Поль рядом с нею.

Он рассказывал о своих путешествиях по Швейцарии, по Италии и Сицилии, описывал свои впечатления, восторг, охвативший его на гребне Монте-Роза, когда солнце взошло над грядой покрытых вечными снегами исполинов, бросило на льдистые вершины ослепительно яркий белый

свет и они зажглись, словно бледные маяки в царстве мертвых. Он говорил о том волнении, которое испытал, стоя на краю чудовищного кратера Этны, почувствовав себя ничтожной букашкой на этой высоте в три тысячи метров, среди облаков, видя вокруг лишь море и небо – голубое море внизу, голубое небо сверху, и когда, наклонившись над кратером, над этой страшной пастью земли, он чуть не задохнулся от дыхания бездны.

Он рисовал то, что видел, широкими мазками, сгущая краски, чтобы взволновать свою молодую спутницу, а она жадно слушала его и, следуя мыслью за ним, как будто сама видела все эти величественные картины.

Но вот на повороте дороги перед ними вырос Турноэль. Древний замок на островерхой скале и высокая тонкая его башня, вся сквозная от расселин, пробоин, ото всех разрушений, причиненных временем и давними войнами, вырисовывались в призрачном небе волшебным видением.

Все трое в изумлении остановились. Наконец маркиз сказал:

– В самом деле, очень недурно. Словно воплощенный фантастический замысел Гюстава Доре. Посидим тут пять минут.

И он сел на дерновый откос дороги.

Но Христиана, не помня себя от восторга, воскликнула:

– Ах, папа, подойдем к нему поближе! Ведь это так красиво, так красиво! Умоляю тебя!

На этот раз маркиз отказался наотрез:

– Ну уж нет, дорогая. Я сегодня нагулялся, больше не могу. Если хочешь посмотреть поближе, ступай с господином Бретињи, а я вас здесь подожду.

Поль спросил:

– Хотите, сударыня?

Она колебалась, не зная, как быть, – боялась остаться с ним наедине и боялась оскорбить этим недоверием порядочного человека.

– Ступайте, ступайте! – повторил маркиз. – Я вас здесь подожду.

Тогда она подумала, что отцу ведь будут слышны их голоса, и сказала решительно:

– Идемте.

И они пошли вдвоем по дороге.

Но уже через несколько минут ее охватило мучительное волнение, смутный, непонятный страх – страх перед черными развалинами, страх перед ночью, перед этим человеком. Ноги вдруг перестали слушаться ее, как в тот вечер у Тазенатского озера, они как будто вязли в болотной топи, каждый шаг давался с трудом.

У дороги, на краю луга, рос высокий каштан. Христиана, задыхаясь, как будто она долго бежала, бросилась на землю и прислонилась спиной к стволу дерева.

– Я не пойду дальше... Отсюда хорошо видно, – невнятно сказала она.

Поль сел рядом с нею. Она слышала, как бьется ее сердце быстрыми, резкими толчками. С минуту они молчали. Потом Поль спросил:

– Вам не кажется, что мы уже жили когда-то прежде?

Ничего не понимая от волнения и страха, она прошептала:

– Не знаю. Я никогда об этом не думала.

– А я думаю иногда... вернее, чувствую это... Ведь человек состоит из души и тела, они как будто отличны друг от друга, но природа их одна и та же, и, несомненно, они могут возродиться, если элементы, составившие их в свое время, соединятся в том же сочетании. И новый человек будет не таким же точно, но очень схожим с тем, кто существовал когда-то, если тело, подобное прежнему, оживит душа, подобная прежней. Сегодня вечером я чувствую, я уверен, что я жил когда-то в этом замке. Я узнаю свое гнездо, я владел им, сражался в нем, оборонял его. Это несомненно. И я уверен также, что любил тогда женщину, очень похожую на вас, ее даже и звали так же, как вас, Христианой! Я настолько в этом уверен, что, мне кажется, я вновь вижу вас вон там, на этой башне, вы зовете меня оттуда. Ну, вспомните, постарайтесь вспомнить! Позади замка спускается в глубокую долину лес. Мы с вами часто бродили там. В теплые летние вечера на вас были легкие одежды, а на мне тяжелые доспехи, звеневшие под сводами листвы.

Неужели вы не помните, Христиана? Подумайте, постарайтесь вспомнить! Ведь ваше имя

мне так знакомо, как будто я слышал его с детских лет. А если внимательно осмотреть все камни этой крепости, на одном из них прочтешь его – оно вырезано моей рукой! Да, да, уверяю вас, я узнаю мое гнездо и мой край, так же как я узнал вас при первой же встрече, с первого взгляда!

Он говорил со страстной убежденностью, вдохновленный близостью этой женщины, красотой этой лунной ночи и развалин.

Внезапно он стал на колени перед Христианой и прерывающимся голосом сказал:

– Позвольте же мне поклоняться вам! Я так долго искал вас и наконец нашел!

Она хотела подняться, уйти, вернуться к отцу, но не было сил, не хватало мужества; ее удерживало, сковывало ее волю жгучее желание слушать его, впивать сердцем слова, восхищавшие ее. Она как будто перенеслась в волшебный мир всегда манящих мечтаний, поэтических грез, в мир лунного света и баллад.

Он схватил ее руки и, целуя ей кончики пальцев, шептал:

– Христиана!.. Христиана! Возьмите меня!.. Убейте меня!.. Люблю вас... Христиана...

Она чувствовала, как он дрожит, трепещет у ее ног. Он целовал ей колени, и из груди у него вырывались глухие рыдания. Ей стало страшно, не сошел ли он с ума, и она торопливо поднялась, хотела бежать. Но он вскочил быстрее, чем она, и, схватив ее в объятия, впился в ее губы поцелуем.

И тогда без крика, без возмущения, без сопротивления она упала на траву, как будто от этого поцелуя у нее подкосились ноги, сломилась воля. И он овладел ею так же легко, как срывают созревший плод.

Но едва он разжал объятия, она поднялась и бросилась бежать, обезумев, вся дрожа, вся похолодев, как будто упала в ледяную воду. Он догнал ее в несколько прыжков и, схватив за плечо, прошептал:

– Христиана, Христиана!.. Осторожнее – там ваш отец!

Она пошла медленнее, не отвечая, не оборачиваясь, машинально передвигая ноги, неровной походкой, спотыкаясь. Он шел следом молча, не смея заговорить с ней.

Завидев их, маркиз поднялся.

– Идемте скорее, – сказал он. – Мне уж холодно стало. Все это очень живописно, но для здоровья вредно.

Христиана прижималась к отцу, как будто искала у него защиты, искала приюта в его нежности.

Вернувшись в свою комнату, она мгновенно разделась, бросилась в постель, накрылась одеялом с головой и заплакала. Уткнувшись лицом в подушку, она плакала долго-долго, уничтоженная, обессиленная. Не было у нее ни мыслей, ни страданий, ни сожаления. Она не думала, не размышляла и сама не знала, почему плачет. Она плакала безотчетно, как случается, поют, когда на душе радостно. Измучившись, изнемогая от долгих слез и рыданий, разбитая усталостью, она наконец уснула.

Ее разбудил тихий стук в дверь, выходившую в гостиную. Было уже совсем светло, часы показывали девять. Она крикнула: «Войдите!» – и на пороге показался ее муж, веселый, оживленный, в дорожной фуражке, с неизменной дорожной сумкой через плечо, в которой он держал деньги.

Он крикнул:

– Как, ты еще спишь, дорогая! Я разбудил тебя? Нагрязнул без предупреждения. Надеюсь, ты здорова? В Париже прекрасная погода.

И, сняв фуражку, он подошел, чтобы поцеловать ее.

Она съежилась и прижалась к стене в безумном нервном страхе перед этим румяным самодовольным человеком, вытянувшим губы для поцелуя. Потом вдруг закрыла глаза и подставила ему лоб. Муж спокойно приложился к нему и сказал:

– Ты позволишь мне помыться в твоей туалетной? Меня не ждали сегодня, и в моей комнате ничего не приготовлено.

Она ответила торопливо:

– Ну, конечно, пожалуйста.

Он исчез за дверью позади кровати.

Христиана слышала, как он там возится, плещется, насвистывает. Потом он крикнул:

– Что у вас новенького? У меня очень большие новости. Результат анализа превзошел все ожидания. Мы можем излечивать на три болезни больше, чем курорт Руайя. Великолепно!

Она села в постели, едва дыша, совсем потеряв голову от неожиданного возвращения мужа, как от болезненного удара, пробудившего в ней угрызения совести. Он вышел из туалетной довольный, сияющий, распространяя вокруг себя крепкий запах вербены. Потом уселся в ногах постели и спросил:

– А что наш паралитик? Как он чувствует себя? Начал уже ходить? Невозможно, чтоб он не выздоровел: в воде обнаружено столько целебных свойств!

Христиана совсем забыла о паралитике и уже несколько дней не ходила к источнику. Она пробормотала:

– Ну да... конечно... Кажется, ему уже лучше... Впрочем, я на этой неделе не ходила туда... Мне нездоровится...

Он посмотрел на нее внимательней и заметил:

– А правда, ты что-то бледненькая... Хотя это тебе очень идет... Очень! Как ты сейчас мила! Необыкновенно мила!..

Он пододвинулся и, наклонившись, хотел просунуть руку ей под спину, чтобы ее обнять.

Но она отпрянула с таким ужасом, что он остолбенел, застыл с протянутой к ней рукой и оттопыренными для поцелуя губами. Затем он спросил:

– Что с тобой? До тебя дотронуться нельзя! Я ведь не сделаю тебе больно!..

И он опять потянулся к ней, глядя на нее загоревшимися глазами.

Она заговорила, запинаясь:

– Нет... Оставь меня... оставь меня... Потому что... потому что... Мне кажется... кажется, я беременна...

Она сказала это, обезумев от страха, наобум, думая только, как бы избежать его прикосновения, – так же могла бы она сказать, что у нее проказа или чума.

Он тоже побледнел – от глубокого, но радостного волнения – и только прошептал: «Уже?!» Теперь ему хотелось целовать ее долгими, нежными поцелуями счастливого и признательного отца семейства. Потом он забеспокоился:

– Да возможно ли это?... Как же это?... Ты уверена?... Так скоро?...

Она ответила:

– Да... возможно...

Он закружился по комнате и закричал, потирая руки:

– Вот так штука, вот так штука! Какой счастливый день!

В дверь опять постучали. Андермат открыл ее, и горничная доложила:

– Пришел доктор Латон, хотел бы поговорить с вами по важному делу.

– Хорошо. Попросите в гостиную. Я сейчас приму его.

И Андермат вышел в смежную гостиную. Тотчас появился доктор. Вид у него был торжественный, натянутый и холодный. Он поклонился, едва пожав протянутую руку банкира, с удивлением смотревшего на него, сел и приступил к объяснению тоном секунданта, обсуждающего условия дуэли:

– Многоуважаемый господин Андермат! Я попал в очень неприятную историю и должен изложить ее, для того чтобы вы поняли мое поведение. Когда вы оказали мне честь, пригласив меня к вашей супруге, я немедленно явился, но, оказывается, за несколько минут до моего прихода к ней был приглашен маркизом де Равенелем мой коллега, инспектор водолечебницы, который, очевидно, пользуется большим доверием госпожи Андермат, нежели я. И получилось так, что я, придя вторым, как будто бы хитростью отнял у доктора Бонфиля пациентку, хотя он по праву уже мог считать себя ее врачом, и, следовательно, я как будто совершил поступок некрасивый, неблагоприятный, недопустимый между коллегами. А нам, многоуважаемый господин Андермат, при исполнении наших обязанностей необходимы большой такт, большая корректность и сугубая осторожность, во избежание всяческих трений, которые могут привести к серьезным последствиям.

Доктор Бонфиль, осведомленный о моем врачебном визите к вам, счел меня виновным в неблагоприятном поступке – действительно, обстоятельства говорили против меня – и отозвался об этом в таких выражениях, что, если бы не его почтенный возраст, я бы вынужден был потребовать у него удовлетворения. Для того чтобы оправдать себя в его глазах и в глазах всей местной медицинской корпорации, у меня остается только один выход: как мне это ни прискорбно, я должен прекратить лечение вашей супруги, рассказать всю правду об этом деле, а вас просить принять мои извинения.

Андермат ответил в большом замешательстве:

– Я прекрасно понимаю, доктор, в каком затруднительном положении вы оказались. Но ни я, ни моя жена тут не виноваты, всему виной мой тесть – это он позвал доктора Бонфиля, не предупредив нас. Может быть, мне следует пойти к вашему коллеге и объяснить ему, что...

Доктор Латон перебил его:

– Это бесполезно, господин Андермат. Тут вопрос стоит о требованиях врачебной этики и чести, которые для меня непререкаемы, и несмотря на глубочайшее мое сожаление...

Андермат, в свою очередь, перебил его. Как человек богатый, как человек, который хорошо платит, которому ничего не стоит заплатить за врачебный совет пять, десять, двадцать или сорок франков, купить его, как покупают коробок спичек за три су; человек, уверенный, что все должно принадлежать ему по праву золотого мешка, знающий рыночную стоимость всего на свете, каждой вещи и каждого человеческого существа, признающий только эту стоимость и умеющий точно определить ее в денежном выражении, – он был возмущен дерзостью какого-то торговца рецептами и заявил резким тоном:

– Хорошо, доктор. На этом и покончим. Однако желаю вам, чтоб этот шаг не имел плачевных последствий для вашей карьеры. Еще посмотрим, кто больше пострадает от такого решения – вы или я.

Разобиженный доктор встал и, поклонившись с церемонной вежливостью, заявил:

– Конечно, я, милостивый государь! Нисколько в этом не сомневаюсь. Этот шаг будет мне стоить очень дорого во всех отношениях. Но если приходится выбирать между выгодой и совестью, я колебаться не привык!

И он вышел. В дверях он столкнулся с маркизом, который направлялся в гостиную, держа в руке какое-то письмо. Как только де Равенель остался с зятем один на один, он воскликнул:

– Послушайте, дорогой! Какая со мной произошла досадная неприятность, и притом по вашей вине! Доктор Бонфиль обиделся, что вы пригласили к Христиане его коллегу, и послал мне счет с весьма сухой запиской, предупреждая, чтобы я больше не рассчитывал на его услуги.

Тут Андермат совсем рассердился. Он забежал по комнате, кричал, жестикулировал, сыпал словами, взвинчивая себя все больше, в том безобидном и напускном негодовании, которого никто всерьез не принимает. Он выкрикивал свои доводы: кто во всем виноват? Кто? Только его тесть. С какой стати ему вздумалось пригласить Бонфиля, этого болвана, дурака набитого, даже не предупредив его, Андермата, тогда как он прекрасно был осведомлен через своего парижского врача о сравнительных достоинствах всех трех анвальских шарлатанов!

Да и какое право имел маркиз устраивать эту врачебную консультацию за спиной мужа? Ведь только муж может быть тут судьей, только он отвечает за здоровье своей жены! Словом, каждый день одно и то же! Вокруг него все делают глупости, одни только глупости! Он всегда, всегда об этом твердит. Но все его предупреждения – глас вопиющего в пустыне! Никто его не понимает, никто не верит его опытности и убеждаются в его правоте, когда уже все пропало.

Он выкрикивал «мой доктор», «моя опытность» тоном собственника-монополиста. Притязательные местоимения звякали в его тирадах, как монеты. А когда он восклицал: «Моя жена!» – чувствовалась полнейшая его убежденность, что маркиз потерял все права на свою дочь, поскольку он, Андермат, на ней женился, то есть купил ее, – для него это были равнозначные понятия.

В самый разгар спора в комнату вошел Гонтран и, усевшись в кресло, стал с веселой усмешкой слушать. Он ничего не говорил, он только слушал и потешался.

Когда наконец банкир умолк, чтоб перевести дух, шурин его поднял руку и сказал:

– Прошу слова! Вы оба остались без докторов? Верно? Не беда! У меня есть кандидатура.

Предлагаю доктора Онора, единственного, который имеет свое собственное мнение об анвальских водах, точное и непоколебимое. Он предписывает больным их пить, но сам их пить не станет ни за какие блага! Хотите, я приведу его? Переговоры беру на себя.

Другого выхода не было. Гонтрана попросили немедленно привести доктора Онора – маркиза беспокоила мысль о перемене режима и лечения, и он желал сейчас же узнать мнение нового врача; Андермату не терпелось посоветоваться с ним относительно Христианы.

А Христиана слышала через тонкую стенку их разговоры, но не слушала, не понимала, о чем они говорят. Как только муж вышел из ее комнаты, она соскочила с постели, отбежала от нее, точно от какого-то опасного места, и торопливо оделась без помощи горничной. После того, что произошло с ней вчера, в голове у нее все перемешалось.

Все теперь стало для нее совсем другим, все изменилось – и жизнь и люди. Снова послышался голос Андермата:

– А-а! Бретины! Здравствуйте, дорогой! Как поживаете?

Он уже не называл его «господином Бретины».

Второй голос ответил:

– Благодарю вас, очень хорошо, дорогой Андермат. Вы, что же, сегодня утром приехали?

У Христианы перехватило дыхание, когда она услышала голос Поля; она причесывалась в эту минуту и так и застыла с поднятыми руками. Она как будто видела через стену, как ее муж и Поль Бретиныжимают друг другу руки. От волнения ноги не держали ее, она села; волосы рассыпались у нее по плечам.

Теперь говорил Поль, и она вздрагивала всем телом при каждом его слове. Она не улавливала, не понимала смысла этих слов, но все они ударяли в сердце, как будто молотом били по нему.

И вдруг она произнесла почти громко: «Но ведь я люблю его... Я его люблю!» – как будто сделала вдруг неожиданное, поразительное открытие, нашла то, что могло ее утешить, спасти, оправдать перед собственной совестью. И она сразу же воспрянула духом, мгновенно приняла решение. Она снова стала причесываться и все повторяла шепотом: «У меня любовник, вот и все. У меня любовник». И, чтобы успокоить себя еще больше, избавиться от смутения и страха, она с пламенной убежденностью дала себе слово любить его всегда, беззаветной любовью, отдать ему свою жизнь, свое счастье, пожертвовать для него всем; следуя морали экзальтированных и побежденных сердец, в которых не заглух голос совести, она верила, что самоотверженная, преданная любовь все очищает.

И через стену, которая их разделяла, она посылала ему поцелуи. Все кончено, она отдает ему всю свою жизнь, как другие посвящают себя богу. Девочка, уже кокетливая, лукавая, но еще робкая и боязливая, вдруг умерла в ней – родилась женщина, созревшая для страстной любви, полная решимости и упорства, о которых до сих пор лишь смутно говорил твердый взгляд голубых глаз, придававший смелое и почти дерзкое выражение тонким чертам ее лица.

Скрипнула дверь, и Христиана, не обернувшись, не взглянув, каким-то особым, внезапно проснувшимся в ней чутьем угадала, что вошел муж.

Он спросил:

– Ты скоро оденешься? Мы хотим пойти навестить паралитика, посмотреть, действительно ли ему лучше.

Христиана ответила спокойно:

– Сейчас, дорогой Виль, через пять минут.

Из гостиной Андермата позвал Гонтран, уже успевший вернуться.

– Представьте, – рассказывал он, – встретил сейчас в парке доктора Онора, и этот болван тоже отказался лечить вас – из страха перед другими. Нес какую-то околесицу: установившиеся правила, обычаи, приличия, что скажут, что подумают... Словом, идиот, не лучше своих коллег. Вот уж, право, не думал, что он такая обезьяна!

Маркиз был потрясен. Мысль, что ему придется пользоваться водами без указаний врача, чего доброго, просидеть в ванне пять минут лишних, выпить одним стаканом меньше, чем полагается, приводила его в содрогание – он верил, что все дозы, часы, стадии лечения основаны на незыблемых законах природы, которая позаботилась о больных, создав минеральные источники, и

открыла их загадочные тайны только врачам, вдохновенным и умудренным жрецам науки.

Он закричал:

– Да что ж это! Тут и умереть недолго!.. Подохнешь, как собака, и ни один из этих господ не побеспокоится!

Он кипел гневом, яростным гневом эгоиста, испугавшегося за свое драгоценное здоровье.

– Да какое они имеют право так поступать? Ведь они берут патент на врачебную практику, как лавочники-бакалейщики на свою торговлю! Мерзавцы! Надо их заставить! Они обязаны лечить всех, кто им платит; ведь обязан же кондуктор посадить в вагон всех пассажиров с билетами. Я напишу в газеты, я предам гласности это безобразие.

В волнении он шагал по комнате и вдруг остановился перед Гонтраном:

– Послушай, надо вызвать врача из Руайя или из Клермона! Что же, нам без докторов оставаться?...

Гонтран засмеялся:

– Господам целителям из Руайя и Клермона не могут быть досконально известны свойства анвальской влаги – она воздействует на органы пищеварения и кровообращения несколько иначе, чем их местные воды. А кроме того, будь уверен, они тоже откажутся, чтобы не подумали, что они хотят урвать клочок сенца из кормушки своих собратьев.

Маркиз в ужасе забормотал:

– Как же теперь? Что с нами будет?

Андермат схватился за шляпу.

– Не волнуйтесь. Предоставьте все это мне, и ручаюсь, что нынче же вечером, – слышите, нынче же вечером! – все трое – да, да, все трое – будут юлить перед нами. А теперь пойдемте к паралитику.

Он крикнул:

– Христиана, ты готова?

Она показалась в дверях, очень бледная, напряженная. Поцеловавшись с отцом и братом, она повернулась к Полю и протянула ему руку; он взял ее, опустив глаза и дрожа от мучительной тревоги. Маркиз, Андермат и Гонтран вышли, оживленно разговаривая, не обращая на них внимания; Христиана устремила на Поля нежный, полный решимости взгляд и сказала твердо:

– Я принадлежу вам душой и телом. Теперь я вся в вашей власти.

И она вышла, не дав ему времени ответить.

Подходя к источнику Ориолей, они увидели широкополую шляпу старика Кловиса, как огромный гриб, торчавшую из ямы, где он дремал на солнышке в теплой воде. Он уже привык к своей горячей ванне, просиживал в ней теперь все утро и уверял, что от этого у него кровь играет, как у молоденького.

Андермат разбудил его:

– Ну что, дружок, идет дело?

Узнав своего хозяина, старик ослабил:

– Идет, идет, как по маслу!

– И вы уже ходить начинаете?

– Прыгаю, как кролик, хозяин, как кролик! Вот кончится месяц – в воскресенье пойду плясать буре со своей милочкой.

У Андермата забилося сердце, он повторил:

– В самом деле? Уже ходите?

Старик перестал шутить:

– Ну, еще не очень, не шибко еще хожу. А все-таки полегчало.

Банкиру захотелось сейчас же посмотреть, как ходит старый калека, и он засуетился, забегал вокруг ямы, в волнении командовал, как будто собирался поднять со дна моря затонувший корабль:

– Гонтран, возьмите его за правую руку! Бретины, берите за левую! Я буду поддерживать сзади. Ну, взяли! Раз, два, три! Дорогой тесть, тяните за ногу. Да нет, не за эту, а за ту, которая в воде. Ох, скорей, пожалуйста! Больше не могу! Ну, дружно! Раз, два, три – готово! Ух!

Старика вытащили и посадили на землю, а он смотрел на господ с насмешливым видом и нисколько не помогал их усилиям.

Потом его опять подняли, поставили на ноги, подали костыли, которыми он теперь пользовался для опоры, как палками, и он зашагал, согнувшись под прямым углом, волоча ноги и страдальчески охая. Он тащился по дороге, как улитка, оставляя за собою длинную мокрую полосу на белой пыли.

Андермат от восторга захлопал в ладоши и закричал, как кричат в театре, вызывая актеров:

– Браво! Браво! Великолепно! Браво!!!

Но старик как будто уже совсем изнемог, и Андермат бросился поддержать его, обхватил обеими руками, хотя с лохмотьев Кловиса стекала вода, и взволнованно заговорил:

– Довольно, довольно, не утомляйтесь! Мы сейчас опять посадим вас в ванну.

Четыре господина взяли бродягу за руки и за ноги, понесли бережно, как драгоценный, хрупкий предмет, и снова погрузили в воду.

Тогда паралитик возгласил из ямы убежденным тоном:

– Что ни говори, хорошая вода! Этакой воды нигде не сыскать. Не вода, а сущий клад.

Андермат вдруг повернулся к тестю:

– Не ждите меня к завтраку. Я пойду сейчас к Ориолям и не знаю, когда освобожусь. Такие дела затягивать нельзя!

И он пошел торопливым шагом, почти побежал, весело помахивая тросточкой.

Остальные уселись напротив ямы старика Кловиса, под ивами, окаймлявшими дорогу. Христиана сидела рядом с Полем и смотрела на высокий холм, откуда она не так давно видела взрыв утеса. Тогда она сидела вон там, на этой порыжевшей траве. Недавно, месяц тому назад. Только месяц! Ей вспомнилось все до мелочей: и трехцветные зонтики, и повара, и кто что говорил – каждое слово. И собака, бедная собачонка, растерзанная взрывом. И тот почти незнакомый высокий человек, который по одному ее слову бросился спасти собаку. А теперь он ее любовник! Ее любовник! А она его любовница, любовница! И она все повторяла про себя: «Любовница, любовница!» Какое странное слово! Вот этот человек, что сидит рядом с ней и обрывает былинки, стараясь прикоснуться к ее платью, этот человек теперь связан с нею близостью телесной и душевной, таинственными узами, о которых нельзя, стыдно говорить, теми узами, которыми природа соединяет мужчину и женщину.

И мысленно, тем немим, внутренним голосом, который кажется душе таким громким в безмолвном ее смятении, она без конца повторяла: «Я его любовница! Его любовница! Как все это странно, неожиданно».

«А люблю ли я его?» Она бросила на него быстрый взгляд. Глаза их встретились, и она почувствовала в его взгляде такую страстную, такую теплую ласку, что вся затрепетала. И вдруг у нее явилось желание дотронуться до его руки, игравшей травинками, неодолимое желание крепко сжать ему руку и все, все передать этим пожатием. Ее рука тихонько соскользнула с платья на траву и замерла, разжав пальцы. И тогда она увидела, как его рука осторожно приближается к ней, словно влюбленный зверек к своей подруге. Рука продвигалась все ближе и мизинцем дотронулась до ее мизинца. Кончики пальцев коснулись друг друга, чуть-чуть, едва заметно, отодвинулись, снова сблизились, словно губы в робком поцелуе. Но эта никому не видная ласка, эти легкие прикосновения врывались в нее такой бурной волной, что она изнемогала, как будто он снова сжимал ее в объятиях.

И она вдруг поняла, что значит «принадлежать» любимому человеку, ибо любовь все отдала во власть ему, и он завладел всем твоим телом, душой, мыслями, волей, всей кровью в жилах, всеми нервами – всем, всем, словно ширококрылый ястреб, схвативший в свои когти пичужку.

Маркиз и Гонтран с увлечением разговаривали о будущем курорта, заразившись энтузиазмом Вильяма Андермата. И оба восхищались банкиром: какой точный ум, какая деловая сметка, безошибочность в спекуляциях, смелость действий и удивительно ровный характер! Тесть и шурин, уверенные в успехе нового предприятия, в один голос воспевали Андермата и радовались такому родству.

Христиана и Поль Бретины, поглощенные друг другом, как будто и не слышали их.

Маркиз сказал дочери:

– А знаешь, детка, ты, пожалуй, в один прекрасный день будешь одной из самых богатых женщин во всей Франции, твоя фамилия будет известна, как фамилия Ротшильдов. Виль – в самом деле замечательный, выдающийся человек, человек большого ума!

Странное, ревнивое чувство вдруг шевельнулось в душе Поля.

– Ах, оставьте, – сказал он. – Знаю я, что за ум у всех этих дельцов. У них только одно в голове – деньги! Все мысли, которые мы отдаем прекрасному, всю энергию, которую мы растрачиваем на прихоти, все часы, которые мы теряем на развлечения, все силы, которые мы расточаем на удовольствия, весь страстный, могучий жар души, который поглощает у нас любовь, дивное чувство любви, они употребляют на погоню за золотом и думают только о золоте, загребают золото! Человек тонкого ума живет бескорыстными, высокими интересами, его радости – это искусство, любовь, наука, путешествия, книги, а если он добивается и денег, то лишь потому, что они облегчают возможность духовных наслаждений и даже сердечного счастья. А эти люди? Что у них в сердце и в уме? Ничего, кроме гнусной страсти к наживе! Эти стяжатели так же похожи на «выдающихся людей», как барышник, промышляющий картинами, похож на художника, как делец-издатель похож на писателя, а директор театра – на драматурга.

Но вдруг он оборвал свою тираду, поняв, что в увлечении позабыл о приличиях, и сказал уже спокойным тоном:

– Я это не про Андермата говорю, его я считаю весьма приятным человеком, во сто раз лучше других деловых людей. Он мне очень нравится...

Христиана убрала руку. Поль опять умолк.

Гонтран захохотал и ехидным, издевательским тоном, которым он в минуту откровенности мог выпалить что угодно, сказал:

– Как бы там ни было, милый мой, а у этих господ есть редкое достоинство, большое достоинство: они женятся на наших сестрах и производят на свет богатых дочерей, на которых женимся мы.

Маркиз поднялся в негодовании:

– Ах, Гонтран! Ты иной раз бываешь просто невыносимым!

А Поль, повернувшись к Христиане, прошептал:

– Способны ли эти люди умереть за женщину или хотя бы отдать ей все свое состояние... все, ничего не оставив себе?

Слова эти так ясно говорили: «Все, что у меня есть, даже моя жизнь, принадлежит вам», – что Христиана была растрогана и ловко нашла предлог, чтобы взять его за руки.

– Встаньте и помогите мне подняться. У меня затекли ноги, пошевелиться не могу.

Он вскочил и, потянув ее за руки, поставил у края дороги, почти вплотную к себе. Она видела, как губы его шепчут: «Люблю вас», – и быстро отвернулась, чтобы не повторить в ответ те же слова, которые неудержимо рвались из ее груди в порыве нежности, повлекшей ее к нему.

Потом все вернулись в отель.

На ванны уже было поздно идти. Стали дожидаться завтрака. Зазвенел колокол, созывая к столу, но Андермат все не возвращался. Прогулялись по парку и решили сесть за стол без него. Завтрак, как всегда, тянулся очень долго, но и к концу его банкир не появился. Все опять спустились в парк посидеть под деревьями. Проходил час за часом, солнце скользило по листве, склоняясь к горам, день уже был на исходе, а Вильям Андермат все не возвращался.

Вдруг он появился на дорожке. Он шел быстрым шагом, держа в одной руке шляпу, а другой вытирая лоб носовым платком; галстук у него съехал набок, жилет расстегнулся, и весь вид был, точно он вернулся после долгого пути, рукопашной схватки, какого-то длительного и тяжкого напряжения сил.

Увидев тестя, он закричал:

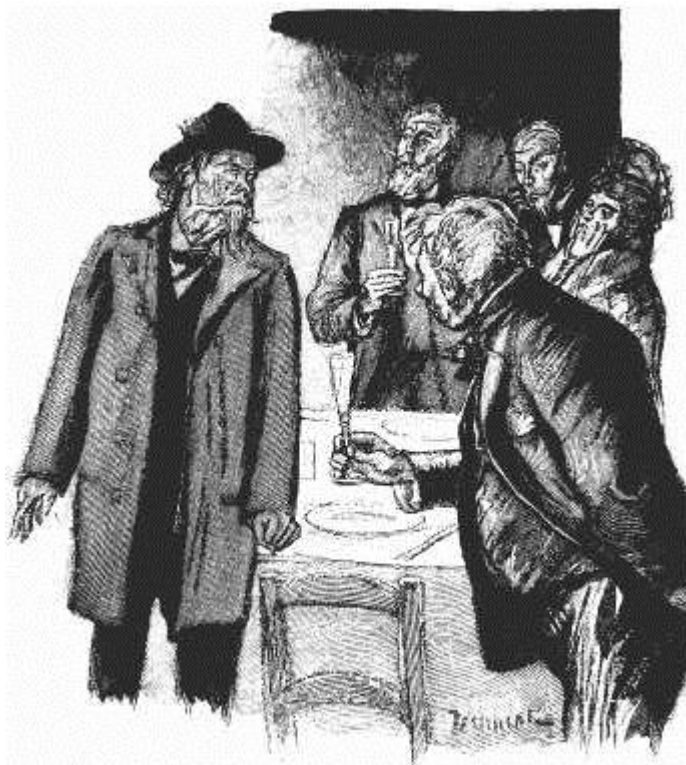
– Победа! Скрутил старика! Но что это был за день, друзья мои, что за день! Помаяла меня эта старая лисица!

И он принялся рассказывать о своем сражении и подвигах.

Ориоль-отец сперва предъявил такие непомерные требования, что он, Андермат, прервал пе-

реговоры и ушел. Тогда его вернули. Продавать землю Ориоль не соглашался, а хотел передать ее в пользование акционерному обществу с правом получить обратно в случае неудачи. В случае же успеха давайте ему половину прибылей!

Банкиру пришлось подсчитывать на бумаге, набрасывать план земельных участков, доказывать, что все вместе они стоят не больше восьмидесяти тысяч франков, меж тем как акционерное общество с самого начала должно затратить миллион.



Старый овернец возразил, что он стоимость своих участков исчисляет иначе, цена им будет огромная, когда на них построят лечебницу и гостиницы, и он свою выгоду знает; считать надо не по теперешней стоимости, а по той, которую участки приобретут в дальнейшем.

Тогда Андермат сказал, что возможная большая прибыль бывает пропорциональна большому риску, и припугнул его опасностью убытков.

В конце концов пришли к такому соглашению: Ориоль-отец передает акционерному обществу в качестве своего пая все участки по берегам ручья, то есть как раз те, где есть надежда найти минеральные источники, а кроме того, вершину холма, где предполагается построить казино и отель, и еще несколько виноградников по склону холма, которые надо будет разбить на мелкие участки и преподнести виднейшим парижским врачам.

За этот пай, оцененный в двести пятьдесят тысяч франков, то есть почти в четыре раза дороже его действительной стоимости в настоящее время, крестьянину будут выплачивать четвертую часть всех прибылей общества. А так как земли у него еще остались в десять раз больше и вся она расположена вокруг будущего ванного заведения, то в случае успеха курорта хитрый овернец, несомненно, наживет целое состояние, продавая клочками эту землю, которую он, по его словам, предназначил в приданое своим дочерям.

Как только договорились на таких условиях, Вильяму Андермату пришлось потащить отца и сына к нотариусу – составить запродажную с оговоркой, что сделка аннулируется, если минеральная вода не будет найдена в достаточном количестве.

Составление запродажной, придирчивое обсуждение каждого пункта, бесконечные повторения, пережевывание одних и тех же доводов – словом, нудная канитель тянулась до вечера.

Но теперь все было кончено. Банкир мог строить курорт. Однако он досадовал:

– Придется ограничиться водой, а земельные операции ухнули! Поймал меня этот хитрец.

Но тут же сообразил:

– Погодите! А старое общество? Вот на чем можно отыграться... Но это потом, а сегодня вечером надо ехать в Париж.

Маркиз удивленно воскликнул:

– Как! Сегодня же вечером?

– Ну конечно, мой дорогой. Надо ведь подготовить все документы для окончательной сделки, пока Обри-Пастер будет вести здесь разведывательное бурение. Да еще надо устроить так, чтобы через две недели, не позже, можно было приступить к работам. Нельзя терять ни одного часа. Кстати, предупреждаю: вы член правления моего общества, мне надо иметь подавляющее большинство. Даю вам десять акций. И вам, Гонтран, десять акций.

Гонтран засмеялся:

– Покорнейше благодарю. Позвольте продать их вам обратно. За вами, значит, пять тысяч.

Но Андермат нахмурился – что за шутки в важных делах? – и сухо сказал:

– Бросьте дурачиться. Если не хотите, я к другим обращусь.

Гонтран присмирел:

– Ну что вы, дорогой! Вы же знаете, я всецело в вашем распоряжении.

Банкир повернулся к Полю:

– Дорогой господин Бретины, не согласитесь ли оказать мне дружескую услугу? Прошу и вас принять десяток акций и тоже войти в правление.

Поль, поклонившись, ответил:

– Разрешите отказаться от вашего лестного предложения и по-настоящему вступить в дело. Я считаю ваше начинание блестящим и охотно вложу в него сто тысяч франков. Это будет любезность не с моей, а с вашей стороны.

Вильям Андермат в бурном восторге пожимал ему руки: такое доверие совсем покорило его сердце. Впрочем, он всегда готов был кинуться на шею каждому, кто вносил деньги в его предприятия.

Но Христиана вся вспыхнула, покраснела до корней волос, так ей было неприятно. Ей показалось, что сейчас состоялась сделка купли-продажи: один купил ее, другой продал. Разве Поль предложил бы ее мужу сто тысяч франков, если бы не любил ее? Нет, конечно! И хоть бы он сделал это не при ней...

Позвонили к обеду. Все направились к гостинице. Как только сели за стол, г-жа Пайль-старшая сказала Андермату:

– Так вы основываете новый курорт?

Новость уже разнеслась по всему Анвалю, стала предметом всех разговоров, взбудоражила всех больных.

Вильям Андермат ответил:

– Боже мой, ну разумеется! Существующий курорт из рук вон плох.

И, повернувшись к Обри-Пастеру, сказал:

– Извините, пожалуйста, многоуважаемый господин Обри-Пастер, что я за столом буду говорить с вами о делах, но время не терпит: я сегодня вечером уезжаю в Париж, а у меня есть к вам предложение. Не согласитесь ли вы руководить разведывательными работами, чтобы найти максимальное количество минеральной воды?

Польщенный инженер согласился, и среди всеобщего молчания они в несколько минут договорились, в каких местах и как производить разведку, которая должна была начаться немедленно. Все было обсуждено и решено с той четкостью и точностью, какие Андермат всегда вносил в свои дела. Потом заговорили о паралитике. Днем многие видели, как он проходил через парк, опираясь только на одну палку, тогда как утром еще пользовался двумя. Банкир восклицал:

– Да это чудо! Настоящее чудо! Излечение пошло гигантскими шагами!

Поль в угоду мужу Христианы подхватил:

– Нет, это сам папаша Кловис пошел гигантскими шагами.

За столом пробежал одобрителный смехок. Все глаза были устремлены на Андермата, из всех уст неслись лстивые возгласы. Официанты теперь подносили кушанье ему первому, с рабoлeпной почтительностью в лице и в движениях, мгновенно исчезающей, когда они подавали блюдо его соседям.

Один из официантов принес ему на тарелке визитную карточку. Андермат взял ее и прочел

вполголоса: «Доктор Латон из Парижа был бы счастлив побеседовать несколько минут с господином Андерматом до его отъезда».

– Передайте, что у меня сейчас нет времени, но через неделю или дней через десять я вернусь.

И тут же Христиане принесли огромный букет цветов от доктора Онора.

Гонтран смеялся:

– Двое готовы. Только старикашка Бонфиль еще не сдается.

Обед подходил к концу. Андермату доложили, что его ждет ландо. Он поднялся к себе за дорожной сумкой, а когда вышел из гостиницы, увидел, что у крыльца собралась половина села. Петрюс Мартель подскочил позвать Андермату руку и с актерской фамильярностью зашептал ему на ухо:

– У меня есть замечательное, потрясающее предложение, очень выгодное для вашего дела.

Вдруг появился доктор Бонфиль, как всегда спешивший куда-то. Он прошел мимо Андермат, отвесив ему низкий поклон, каким до сих пор удостаивал только маркиза, и сказал:

– Счастливого пути, барон!

– Проняло! – пробормотал Гонтран.

Андермат, торжествуя, пыжился от радости и гордости, пожимал направо и налево руки, восклицал: «До свидания! До свидания!» – и чуть было не позабыл проститься с женой, настолько все его мысли были заняты делами. От этого равнодушия Христиане стало легче на душе, и, когда она увидела, как пара лошадей подхватила коляску и понесла ее крупной рысью по дороге, в сумеречную даль, ей показалось, что теперь уж до конца жизни никого не надо будет бояться.

Весь вечер она провела на скамейке перед гостиницей, сидя между отцом и Полем Бретины; Гонтран, по своему обыкновению, отправился в казино.

Христиане не хотелось ни двигаться, ни говорить; она сидела, не шевелясь, сложив руки на коленях, и глядела в темноту, томная и слабая, немного настороженная и все же счастливая; она почти ни о чем не думала, даже не мечтала, и, когда минутами ее тревожили смутные укоры совести, она отгоняла их все одним и тем же заклинанием: «Я люблю его! Люблю его! Люблю!»

Она рано ушла к себе, чтобы побыть одной и помечтать. Закутавшись в широкий пеньюар, она села в кресло у открытого окна и стала смотреть на звезды, а в раме окна перед ее внутренним взором поминутно вставал образ того, кто завладел ею. Она так ясно видела его, доброго, нежного и необузданного, такого сильного и такого покорного перед нею. Да, этот человек завладел ею навсегда, на всю жизнь – она чувствовала это. Теперь она уже не одинока, их двое – два сердца, слившиеся воедино, две слившиеся воедино души. Где он был сейчас, она не знала, но хорошо знала, что и он думает, мечтает о ней. Она как будто слышала, как на каждое биение ее сердца где-то отвечает другое сердце. Она чувствовала, как вокруг нее, словно птица, задевая ее крылом, реет желание, страстное желание, она чувствовала, как проникает в окно это пламенное желание, исходящее от него, ищет ее, молит в ночной тишине. Как хорошо, как сладко, как ново было для нее чувствовать, что она любима! Как радостно было думать о ком-то с такой глубокой нежностью, что слезы навертывались на глаза, и плакать от умиленного счастья! Ей хотелось открыть объятия тому, кого не было перед нею, послать ему призыв, открыть объятия навстречу его образу, возникавшему перед глазами, навстречу поцелуям, которые он непрестанно слал ей где-то вдали или вблизи, сгорая в лихорадке ожидания.

И она протянула руки в откинувшихся белых рукавах пеньюара ввысь, к звездам. Вдруг она вскрикнула. Большая черная тень, перешагнув через перила балкона, внезапно появилась в окне.

Она вскочила, замирая от страха. Это был он! И, даже не подумав о том, что их могут увидеть, она бросилась к нему на грудь.

ГЛАВА VIII

Отсутствие Андермат затянулось. Обри-Пастер вел изыскания. Он нашел еще четыре источника, которые могли дать новому акционерному обществу вдвое больше воды, чем требовалось. Весь округ был в волнении от этих разведок, от этих открытий, от важных новостей, мгنو-

венно перелетавших из уст в уста, от неожиданных блестящих перспектив; все суетились, восторжались, только и говорили что о будущем курорте, только о нем и думали. Даже маркиз и Гонтран проводили целые дни около рабочих, буривших гранитные породы, и со все возраставшим любопытством слушали объяснения инженера и его поучительные рассказы о геологическом строении Оверни. Теперь Поль и Христиана могли совершенно свободно, спокойно любить друг друга: никто ими не интересовался, никто ничего не подозревал, никому и в голову не приходило шпионить за ними, – все любопытство, все внимание людей, все их чувства поглощены были будущим курортом.

С Христианой происходило то же, что бывает с юношей, впервые опьяневшим от вина. Первый глоток – первый поцелуй – обжег, одурманил ее. Второй бокал она выпила залпом и нашла, что он лучше, а теперь она пила жадными большими глотками и была пьяна любовью.

С того вечера, когда Поль проник в ее комнату, она жила, как в утаре, не сознавая того, что происходит вокруг. Время, вещи, люди теперь не существовали для нее. На земле и в небе был только один-единственный человек – тот, кого она любила. Глаза ее видели только его, все мысли были только о нем, все надежды устремлялись только к нему. Она жила, двигалась, ела, одевалась, как будто слушала, что ей говорят, отвечала, но ничего не понимала, не сознавала, что делает. И ничто теперь ее не страшило: никакое несчастье не могло ее сразить – она ко всему стала нечувствительна! Никакая телесная боль не могла затронуть тело, подвластное только трепету любви. Никакие душевные страдания не могли коснуться замороженной души.

А он любил ее с той восторженностью, какую вносил во все свои страстные увлечения, и доводил ее чуть не до безумия. Часто в конце дня, зная, что маркиз и Гонтран пошли к источнику, он говорил:

– Пойдемте навестим наш небесный уголок.

Он называл их «небесным уголком» еловую рощицу, зеленевшую на горном склоне, над самым ущельем. Они поднимались туда через молодой лес по крутой тропинке и шли так быстро, что Христиана задыхалась, но им надо было спешить, так как времени было мало. Чтобы ей легче было идти, он поддерживал ее за талию, подхватывал, приподнимал; и, положив ему руку на плечо, она опиралась на него, а иногда, обняв за шею, приникала поцелуем к его губам. Они всходили все выше, выше, воздух свежел, ветер овеивал им лица, и, когда они достигали елей, их обдавало запахом смолы, живительным, как дыхание моря.

Они садились под темными деревьями – она на мшистом бугорке, он ниже, у ее ног. Ветер пел в ветвях. Стволы звенели под ветром тихою песней, всегда чем-то похожей на кроткую жалобу, а бескрайний простор Лимани, уходивший в невидимые дали, затянутые легкой дымкой тумана, действительно создавал впечатление океана. Да, конечно, там внизу простиралось море, никакого сомнения быть не могло, – они чувствовали его дуновение на своем лице!

Поль ласкался к ней и по-детски шаловливо говорил:

– Дайте-ка мне ваши пальчики. Я их съем, это мои любимые конфеты.

Он брал в рот один ее палец за другим и делал вид, что ест их, млея от наслаждения, как жадный лакомка.

– Ах, какие вкусные! В особенности мизинчик. Ничего на свете не может быть вкуснее.

Потом он становился на колени и, опираясь локтями о ее колени, шептал:

– Лиана, посмотрите на меня.

Он звал ее Лианой, потому что она обвивала его руками, как лиана обвивает ствол дерева.

– Посмотрите на меня. Я хочу заглянуть вам в душу.

Они смотрели друг на друга неподвижным, пристальным взглядом, и в нем как будто сливались воедино. Он говорил:

– Настоящая любовь – это когда вот так принадлежишь друг другу, все остальное – только игра в любовь.

Сблизив лица так, что дыхание их смешивалось, они искали друг друга в прозрачной глубине глаз.

Он шептал:

– Я вижу вас, Лиана. Любимая, я вижу ваше сердце!

Она отвечала:

– И я вас вижу, Поль, я тоже вижу ваше сердце!

И они действительно видели друг друга, проникали в самую глубину души и сердца, потому что у обоих в душе и сердце была только любовь, исступленный порыв любви друг к другу.

Он говорил:

– Лиана, у вас глаза, как небо! Такие же голубые, ясные, чистые, и столько в них света! Мне кажется, я вижу, как в них проносятся ласточки! Это, наверно, ваши мысли, Лиана. Да?

Они долго-долго смотрели друг на друга, а потом придвигались еще ближе, обменивались тихими поцелуями и после каждого поцелуя снова смотрели друг на друга. Иногда он брал ее на руки и бежал по берегу ручья, стекавшего к Анвальскому ущелью и водопадом низвергавшегося в него. В этой узкой долине чередовались луга и перелески. Поль бежал по траве и, поднимая на вытянутых сильных руках свою ношу, кричал:

– Лиана, улетим!

Восторженная, страстная любовь рождала в них это упорное, непрестанное, мучительное желание улететь прочь от земли. И все вокруг обостряло в них это стремление души: и прозрачный легкий воздух – крылатый воздух, как говорил Поль, и голубоватые широкие дали, куда им хотелось унести вдвоем, держась за руки, и исчезнуть в высоте над этой беспредельной равниной, когда ее покроет ночная тьма. Улететь бы вдвоем в мгlistое вечернее небо и никогда, никогда не возвращаться! Куда улететь? Они не знали. Но как их манила эта мечта!

Он бежал, держа ее на руках, пока хватало дыхания, потом опускал на выступ утеса и становился перед нею на колени. Он целовал ей ноги, он поклонялся ей, шептал детские, нежные слова.

Если б они любили друг друга в городе, страсть их была бы, вероятно, иной – более осторожной, более чувственной, не такой воздушной и романтической. Но здесь, в этом зеленом краю, среди просторов, где душа ширилась и рвалась куда-то, одни, вдали от всего, что могло бы отвлечь их от захватившего их безрассудного чувства, они очертя голову ринулись в это поэтическое безумие страсти. И вся природа вокруг них, теплый ветер, леса, ароматный вольный воздух днем и ночью пели им песню любви, и мелодия эта сводила их с ума, как звуки бубна и пронзительный визг флейты приводят в исступление дервиша, который неистово кружится во власти навязчивой мысли.

Однажды вечером, когда они вернулись в отель к ужину, маркиз вдруг сказал им:

– Через четыре дня возвращается Андермат. Он уже уладил все дела. А после этого, на следующий день, мы уедем. Мы что-то зажились здесь. Не полагается чересчур затягивать курортный сезон.

Они были ошеломлены этими словами, как будто им возвестили, что завтра настанет конец света. За столом оба молчали, в растерянности думая, что же теперь будет. Значит, через несколько дней надо расстаться и уж больше нельзя будет встречаться свободно. Это казалось им таким невероятным, таким нелепым, что они не могли себе представить, как же это возможно.

Действительно, Андермат приехал в конце недели. Он телеграфировал, чтобы к первому утреннему поезду выслали два экипажа. Христиана не спала всю ночь, взволнованная каким-то странным, новым для нее чувством – страхом перед мужем и вместе с тем гневом, необъяснимым презрением к нему и желанием бросить ему вызов. Она поднялась с постели на рассвете, оделась и стала его ждать. Он подъехал в первой коляске, в ней сидело еще трое – какие-то весьма приличные, хорошо одетые господа, державшиеся, однако, очень смиренно. Во второй коляске приехало еще четверо, по виду рангом пониже. Маркиз и Гонтран удивились. Гонтран спросил:

– Что это за люди?

Андермат ответил:

– Мои акционеры. Мы сегодня учредим акционерное общество и тут же выберем правление.

Он поцеловал жену, не сказав ей ни слова, едва взглянув на нее, так он был озабочен, и, повернувшись к семерым приезжим, стоявшим у крыльца в почтительном молчании, скомандовал:

– Велите подать себе завтрак, а потом прогуляйтесь. Встретимся здесь в полдень.

Все семеро двинулись разом, без слов, как солдаты по команде офицера, поднялись парами по ступенькам крыльца и исчезли в дверях гостиницы.

Гонтран, следивший за их шествием, спросил с серьезным видом:

– Где вы откопали этих статистов?

Банкир улыбнулся:

– Вполне приличные люди. Биржевики, капиталисты.

И, помолчав, добавил, улыбаясь уже во весь рот:

– Занимаются моими делами.

Затем он поспешил к нотариусу, чтобы еще раз проглядеть документы и акты, хотя заранее прислал их совершенно готовыми.

В нотариальной конторе он встретился с доктором Латоном, с которым за время своего отсутствия успел обменяться несколькими письмами, и они долго шептались в углу, пока писцы царапали перьями по бумаге, как будто по ней бегали и шуршали какие-то проворные насекомые.

Учредительное собрание акционеров было назначено в два часа.

В кабинете нотариуса сделали приготовления, словно для концерта. Напротив стола, где должен был восседать нотариус Ален вместе со старшим письмоводителем, были выстроены в два ряда стулья для акционеров. Ввиду важности события Ален нарядился во фрак, уморительно облежавший его круглую, как шарик, фигурку. Этот низенький, шамкающий старичок похож был на фрикадельку из белого куриного мяса.

Как только пробило два часа, в кабинет вошел Андермат в сопровождении своего тестя, шурина, Поля Бретиньи и свиты из семерых приезжих, которых Гонтран назвал статистами. У Андермата был вид полководца. Вскоре после этого прибыл старик Ориоль со своим Великаном – у обоих вид был встревоженный, недоверчивый, как и у всех крестьян, когда им надо подписывать бумаги. Последним явился доктор Латон. Он помирился с Андерматом, принес ему в искусно закругленных фразах почтительные извинения, за которыми последовали изъявление полной, безоговорочной, беспрекословной покорности и предложение услуг.

В ответ банкир, чувствуя, что держит его в руках, пообещал ему завидную должность главного врача на новом курорте.

Когда все собрались, наступило глубокое молчание. Наконец нотариус сказал:

– Прошу садиться, господа.

Он прошамкал еще несколько слов, которых никто не расслышал в шуме передвигаемых стульев.

Андермат вытащил для себя из шеренги один стул и устроился напротив своего отряда, чтобы можно было следить за ним, а когда все уселись, взял слово.

– Господа! Нет необходимости подробно излагать вам цель настоящего собрания. Прежде всего нам нужно учредить новое акционерное общество, в которое вы пожелали вступить пайщиками. Следует, однако, упомянуть о некоторых затруднениях, доставивших нам немало хлопот. Прежде чем предпринимать что-либо, я должен был иметь уверенность, что мы добьемся необходимого разрешения для основания нового общественно полезного учреждения. Эта уверенность у меня теперь есть. Все, что еще остается сделать в этом смысле, я беру на себя. Я уже заручился обещанием министра. Но меня останавливает другая трудность. Нам, господа, придется вести борьбу со старым акционерным обществом Анвальских минеральных вод. Я не сомневаюсь, что борьба эта принесет нам победу – победу и богатство. Но как в битвах прежних времен воинам нужен был боевой клич, так и нам в современном сражении нужен свой клич – название нашего курорта, название звучное, заманчивое, удобное для рекламы, действующее на слух, как звук фанфары, и на глаз, как блеск молнии. Однако мы, господа, находимся в Анвале и не можем произвольно окрестить по-новому этот край. Нам остается только один выход: дать новое наименование курорту, только курорту.

И вот что я предлагаю.

Наша лечебница будет построена у подножия холма, который является собственностью господина Ориоля, присутствующего здесь; наше будущее казино мы воздвигнем на вершине того же самого холма. Итак, с полным правом можно сказать, что этот холм, вернее эта гора, – ибо это настоящая, хоть и небольшая гора, – представляет собою основу нашего предприятия, ведь мы владеем ее подножием и ее гребнем. А посему я считаю вполне естественным, чтобы мы назвали

наше предприятие «Источники Монт-Ориоля», и таким образом название нашего курорта, который станет одним из знаменитейших курортов мира, будет связано с именем первого его владельца. Воздадим кесарево кесарю.

И заметьте, господа, что это наименование звучит великолепно. Будут говорить: «Монт-Ориоль», так же как говорят: «Мон-Дор».⁸ Начертание его радует глаз, звучание ласкает слух, его видишь, его слышишь, оно врезается в память: Монт-Ориоль! Монт-Ориоль! Источники Монт-Ориоля!..

И Андермат то произносил это название нараспев, то бросал его скороговоркой, как мячик, напряженно вслушиваясь, как оно звучит. Он даже разыгрывал диалоги в лицах:

«– Вы едете на воды в Монт-Ориоль?»

– Да, сударыня. Говорят, воды Монт-Ориоля бесподобны!

– О да, в самом деле превосходные воды! И к тому же Монт-Ориоль – дивная местность».

Он улыбался, менял интонации, изображая дамский разговор, помахивал пухлой рукой, изображая приветственный жест мужчины. Потом сказал уже естественным голосом:

– Есть у кого-нибудь возражения?

Акционеры хором ответили:

– Нет, нет! Никаких возражений!

Трое из статистов даже зааплодировали.

Старик Ориоль, взволнованный, покоренный, польщенный в своей тайной гордости разбогатевшего крестьянина, смущенно вертел в руках шляпу, улыбался и невольно кивал головой, словно говорил: «Да, да!» – выдавая свою радость, и Андермат, как будто и не смотревший на него, прекрасно это подметил.

Великан сидел с виду равнодушный, бесстрастный, но доволен был не меньше отца.

Андермат сказал нотариусу:

– Огласите, пожалуйста, устав, мэтр Ален.

Нотариус повернулся к письмоводителю:

– Начинайте, Марине.

Марине, чахоточный заморыш, кашлянул и с интонациями проповедника, с декламаторскими потугами начал читать пункты и параграфы устава акционерного общества «Водолечебное заведение Монт-Ориоль» в Анвале с учредительным капиталом в два миллиона.

Старик Ориоль перебил его:

– Погоди, погоди малость!

И вытащил из кармана засаленную тетрадку, за одну неделю побывавшую в руках всех нотариусов, всех ходатаев по делам, всех поверенных департамента. Это была копия устава, которую сам Ориоль и его сын почти уже затвердили наизусть.

Старик не спеша нацепил на нос очки, откинул голову, отодвинул от глаз тетрадку, отыскивая расстояние, с которого буквы лучше видны, и сказал:

– Валяй, Марине.

Великан пододвинул стул и стал следить по тетрадке вместе с отцом.

Марине опять начал читать сначала. Старик Ориоль, которого сбивала с толку необходимость и читать и слушать одновременно, терзаясь страхом, как бы не подменили какое-нибудь слово другим, пытаясь следить, не делает ли Андермат каких-нибудь знаков нотариусу, на каждой строчке по десять раз останавливал письмоводителя и срывал все его ораторские эффекты.

Он поминутно говорил:

– Ты что сказал? Как ты сказал? Я не расслышал. Помедленней читай.

И, слегка обернувшись к сыну, спрашивал:

– Так он, что ль, читает. Великан? Правильно?

Великан, лучше владевший собой, успокаивал его:

– Так, так, отец. Оставь. Все правильно!

Однако старик овернец не мог успокоиться. Он водил по строчкам крючковатым пальцем,

⁸ «Мон-Дор» – название французского курорта в Оверни.

бормотал себе под нос, но внимание его не могло раздваиваться: если он слушал, то не в состоянии был читать, если читал, то не слышал, что говорит письмоводитель. Он пыхтел, как будто поднимался в гору, и обливался потом, как будто мотыжил виноградник в палящую жару; время от времени он требовал остановки, чтобы вытереть мокрый лоб и перевести дух, словно борец в рукопашной схватке.

Андермат нетерпеливо постукивал ногой об пол. Гонтран, заметив на столе нотариуса номер *Вестника Пюи-де-Дом*, взял его и рассеянно пробежал глазами. А Поль, сидя верхом на стуле, опустив голову, с болью в сердце думал о том, что вот этот румяный человечек с круглым брюшком, сидящий напротив него, завтра увезет женщину, которую он, Поль Бретины, любит всей душой, — Христиану, его Христиану, его белокурую Христиану, хотя она принадлежит ему, Полю Бретины, всецело принадлежит ему, только ему. И он задавался вопросом, не похитить ли ее сегодня же вечером?

Семеро статистов сидели смирно, с серьезным и важным видом.

Через час чтение кончилось. Устав подписали.

Нотариус составил акт капиталовложений, затем обратился с вопросом к казначею Аврааму Леви, и тот подтвердил, что получил все вклады. Затем акционерное общество объявлено было законно существующим, и тут же открылось общее собрание акционеров-учредителей для выбора правления и председателя.

Председателем единодушно был избран Андермат — всеми голосами против двух. Двое отколовшихся — старик овернец и его сын — предлагали выбрать в председатели Ориоля-отца. Бретины был выбран ревизором.

Затем правление, составленное из Андермата, маркиза де Равенеля, графа Гонтрана де Равенеля, Поля Бретины, обоих Ориолей, доктора Латона, Авраама Леви и Симона Зидлера, попросило остальных акционеров, а также нотариуса и письмоводителя удалиться, и началось обсуждение наиболее важных, неотложных мероприятий.

Андермат вновь поднялся:

— Господа! Теперь мы вплотную подошли к самому животрепещущему вопросу: каким путем добиться успеха, который мы с вами должны завоевать во что бы то ни стало? Минеральные воды — такой же товар, как и прочие. Хотите найти на них потребителей — надо, чтобы о них говорили, говорили везде и очень веско.

Господа! Реклама — важнейшая проблема нашего времени. Реклама — это бог современной торговли и промышленности. Вне рекламы нет спасения. Однако реклама — это искусство весьма нелегкое, сложное, требующее большого такта. Пионеры этого двигателя деловой жизни применяли очень грубые приемы, привлекали внимание публики, так сказать, барабанным боем и пушечной пальбой. Но ведь знаменитый Манжен был только зачинателем. А в наши дни шумиха кажется подозрительной. Кричащие афиши вызывают теперь усмешку, имена, о которых трубят на всех перекрестках, скорее пробудят недоверие, чем любопытство. А между тем нам так или иначе надо привлечь внимание публики — сначала поразить ее, потом убедить. Искусство рекламы как раз в том и состоит, чтобы найти единственно верный для этого способ, различный для каждого вида товара. Мы с вами, господа, собираемся торговать минеральной водой. Следовательно, мы можем покорить, завоевать больных только через докторов.

Врачи, даже самые знаменитые, — такие же люди, как и мы, грешные, с такими же слабостями. Я не хочу сказать, что их можно купить. Репутация знаменитостей медицинского мира, которые нам нужны, безупречна, никто не посмеет их заподозрить в продажности. Но существует ли на свете такой человек, которого нельзя было бы прельстить, — конечно, если взяться за дело умючи. Ведь попадают женщины, которых невозможно купить, — ну что ж, их можно обольстить!

Вот, господа, какое я вношу предложение, тщательно обсудив его с доктором Латоном.

Прежде всего мы разбили на три основные группы болезни, подлежащие излечению на нашем курорте. Первая группа — все виды ревматизма, лишаи, артриты, подагра и так далее. Вторая группа — болезни желудка, кишечного тракта и печени. Третья группа — все недомогания, вызванные неправильным кровообращением, так как совершенно бесспорно, что наши углекислые ванны оказывают самое благотворное действие на кровообращение.

Заметьте, господа, что чудесное исцеление старика Кловиса обещает нам чудеса.

Итак, определив болезни, излечиваемые нашими водами, мы обратимся к крупнейшим врачам, специалистам по этим болезням, со следующим предложением: «Господа, – скажем мы им, – приезжайте, убедитесь сами, убедитесь воочию, приезжайте с вашими пациентами, понаблюдайте за действием наших вод. Мы предлагаем вам погостить у нас. Местность у нас красивейшая, вам надо отдохнуть после тяжких трудов, утомивших вас в зимние месяцы. Приезжайте, милости просим. И знайте, господа профессора, вы приедете, собственно говоря, не к нам, а к себе домой, на свои дачи. Стоит вам пожелать, и вы приобретете их в полную собственность на самых сходных условиях».

Андермат остановился, перевел дух и продолжал свою речь уже более спокойным, деловым тоном:

– Вот как я думаю осуществить этот план. Мы выбрали шесть участков, каждый по тысяче квадратных метров. Бернское акционерное общество сборных швейцарских домиков обязуется построить на всех этих участках однотипные дачи. Мы бесплатно предоставим эти уютные и красивые жилища в распоряжение приглашенных нами врачей. Если им понравится там, они купят при желании эти дома у Бернского акционерного общества – только дома, а землю мы безвозмездно преподнесем им в собственность... Они нам заплатят за это... больными. Мероприятие, господа, выгодное во всех отношениях: на территории курорта вырастут нарядные виллы, которые ничего нам не будут стоить, мы привлечем к себе светил медицинского мира и полчища их пациентов, а главное, убедим крупных врачей в целительном действии наших вод, и эти знаменитости в самом скором времени станут здесь дачевладельцами. Переговоры, которые должны привести нас к таким результатам, я берусь осуществить не как делец-спекулянт, а как светский человек.

Старик Ориоль перебил Андермата. Вся его овернская скарденность восстала против даровой раздачи земли.

Андермат вознесся на вершины красноречия, он противопоставил разумного землепашца, который щедрой рукой бросает семена в плодородную почву, хозяину-скопидому, который считает каждое зернышко и поэтому всегда собирает лишь самый скудный урожай.

Разобиженный крестьянин заупрямился, тогда Андермат поставил вопрос на голосование, и результаты его заткнули рот Ориолю. Шесть голосов против двух.

Затем Андермат извлек из большого сафьянового портфеля планы новой водолечебницы, отеля и казино, сметы и контракты с подрядчиками, заготовленные для утверждения и подписи на настоящем заседании. Работы должны были начаться уже на следующей неделе.

Только отец и сын Ориоли потребовали рассмотрения и обсуждения всех этих документов. Андермат раздраженно воскликнул:

– Разве я прошу у вас денег? Ведь нет? Ну так оставьте меня в покое! А если вы недовольны, давайте голосовать.

Ориолям пришлось подписаться вместе с остальными членами правления, и заседание было закрыто.

Все население Анваля столпилось на улице у дверей конторы, взволнованно ожидая выхода новых предпринимателей. Все им почтительно кланялись. Когда Ориоли собрались уже повернуть к себе домой, Андермат сказал им:

– Не забудьте, мы сегодня обедаем все вместе в отеле. И обязательно приведите с собой своих девчуток. Я привез им из Парижа маленькие подарки.

Решено было встретиться в семь часов вечера в гостиной «Спленидид-отеля».

Банкир устроил парадный обед, на который были приглашены самые именитые из курортных гостей и местные власти. Христиана сидела на почетном месте, по правую руку от нее посадили приходского священника, по левую – мэра.

Говорили за обедом только о новом курорте и блестящем будущем Анваля. Сестры Ориоль нашли у себя под салфетками по футляру с браслетом, осыпанным жемчугом и изумрудами; обе были в восторге от подарков, оживились и превесело болтали с Гонтраном, которого посадили между ними; даже старшая сестра от души смеялась его шуткам; молодой парижанин, воодуше-

вившись, всячески развлекал их, а про себя производил им оценку, вынося о них то дерзкое тайное суждение, которое чувство и чувственность подсказывают мужчине близ каждой привлекательной женщины.



Поль ничего не ел, ничего не говорил... Ему казалось, что этот вечер – конец его жизни. И вдруг ему вспомнилось, как ровно месяц тому назад они ездили на Тазенатское озеро. Сердце его щемила тоска, скорее от предчувствия, чем от совершившегося несчастья, – тоска, знакомая только влюбленным, когда на душе так тяжело, нервы так напряжены, что вздрагиваешь от малейшего шума, когда одолевают горькие мысли и каждое слово, которое слышишь, как будто полно зловещего значения, связано с этими неотвязными мыслями.

Лишь только встали из-за стола, он подошел в гостиной к Христиане.

– Нам надо встретиться сегодня вечером, сейчас же, – сказал он. – Бог знает, когда еще удастся нам побыть вдвоем. Знаете, ведь сегодня ровно месяц, как...

Она ответила:

– Знаю.

– Слушайте. Я буду ждать вас на дороге в Ла-Рош-Прадьер, не доходя деревни, возле каштанов. Сейчас никто не заметит, что вас нет. Приходите на минутку, проститься, ведь завтра мы расстаемся.

Она прошептала:

– Через четверть часа.

И он ушел: ему нестерпимо было оставаться среди всех этих людей.

Он прошел через виноградники той самой тропинкой, по которой они поднимались, когда впервые ходили полюбоваться равниной Лимани. Вскоре он вышел на большую дорогу. Он был

один, чувствовал себя одиноким, совсем одиноким на свете. Огромная, невидимая во мраке равнина еще усиливала это чувство одиночества. Он остановился на том месте, где читал ей стихи Бодлера о красоте. Как уже далек этот день! И час за часом Поль вспомнил все, что случилось с того дня. Никогда еще он не был так счастлив, никогда! Никогда не любил с такой безумной страстью и вместе с тем такой чистой, благоговейной любовью! И в памяти его встал вечер на Тазенатском озере – ровно месяц прошел с тех пор; ему вспомнилось все: лесная прохлада, поляна, залитая мягким лунным светом, серебряный круг озера и большие рыбы, тревожившие рябью его поверхность; вспомнилось возвращение: он видел, как она идет впереди него то в голубоватом сиянии, то в темноте, и капельки лунного света дождем падают сквозь листву на ее волосы, плечи, руки. Какие это были прекрасные минуты, самые прекрасные в его жизни!

Он обернулся посмотреть, не идет ли она, но не увидел ее. На горизонте поднималась луна; та самая луна, которая поднималась в небе в час первого признания, светила теперь – в час первой разлуки.

Озноб пробежал у него по всему телу. Близилась осень – предвестница зимы. До сих пор он не замечал ее первых ледяных прикосновений, а теперь холод пронизал его насквозь, как мрачная угроза.

Пыльная белая дорога извивалась перед ним, словно река. На повороте вдруг выросла человеческая фигура. Он сразу узнал ее, но не двинулся, ждал, весь трепеща от блаженного сознания, что она приближается, идет к нему, идет ради него.

Она шла мелкими шажками, не смея его окликнуть и беспокоясь оттого, что все еще не видит его, – он стоял под деревом; шла, взволнованная глубокой тишиной, светлой пустыней земли и неба, и перед нею двигалась ее тень, непомерно большая тень, которая вытянулась далеко впереди, как будто торопилась скорее принести ему какую-то частицу ее существа.

Христиана остановилась, и тень ее неподвижно легла на дороге.

Поль быстро сделал несколько шагов до того места, где на дороге вырисовывалась тень головы. И, словно боясь потерять хоть что-нибудь, исходящее от нее, он стал на колени и, нагнувшись, прильнул губами к краю темного силуэта. Как собака, томясь жаждой, подползает на животе к берегу ручья и пьет из него воду, так жадно целовал он в пыли очертания любимой тени. Он передвигался на коленях и на руках и все целовал, целовал контуры тени, как будто впивал в себя смутный дорогой ему образ, простертый на земле.

Удивленная, немного испуганная, она ждала, не решаясь заговорить с ним, и, только когда он подполз к ее ногам и, обхватив ее обеими руками, поднял к ней голову, она спросила:

– Что с тобой сегодня?

Он ответил:

– Лиана, я теряю тебя!

Она перебирала пальцами густые волосы своего друга и, запрокинув ему голову, поцеловала его в глаза.

– Почему теряешь? – спросила она, доверчиво улыбаясь ему.

– Завтра мы расстанемся.

– Расстанемся? Ненадолго, милый, совсем ненадолго.

– Кто знает! Не вернутся дни, прожитые здесь.

– Будут другие дни, такие же прекрасные.

Она подняла его, увлекла под дерево, где он ждал ее, усадила рядом с собой, чуть пониже, чтобы гладить и перебирать его волосы, и стала говорить серьезно и спокойно, как женщина рассудительная, твердая и пламенно любящая, которая все уже предусмотрела, чутьем угадала, что надо делать, и решила на все:

– Слушай меня, милый. В Париже я чувствую себя совершенно свободно. Вильям не обращает на меня никакого внимания. Ему важны только его дела, а меня он и не замечает. Ты не женат, значит, я могу приходить к тебе. Я буду приходить каждый день, каждый день в разное время: то утром, то днем, то вечером – ведь прислуга начнет сплетничать, если я буду уходить из дому в одни и те же часы. Мы можем встречаться так же часто, как здесь, и даже чаще, – не надо будет бояться любопытных.

Но он повторял, крепко обнимая ее за талию и положив голову ей на колени:

– Лиана! Лиана! Я потеряю тебя! Я чувствую, что потеряю тебя!

Она немножко рассердилась на него за эту неразумную, детскую печаль, не вязавшуюся с его мощным телом; рядом с ним она, такая хрупкая, была полна уверенности в себе, уверенности, что никто и ничто не может их разлучить.

Он зашептал:

– Лиана, согласись, бежим вместе, уедем далеко-далеко, в прекрасную страну, полную цветов, и будем там любить друг друга. Скажи только слово, и мы сегодня же вечером уедем. Ты согласна?

Но она досадливо пожала плечами, недовольная, что он не слушает ее. Разве можно в такую минуту предаваться мечтаниям и ребяческим нежностям? Сейчас надо проявить волю и благоразумие, придумать средство, чтоб можно было всегда любить друг друга и не вызывать подозрений.

Она сказала:

– Послушай меня, милый. Нам надо все обдумать и договориться, чтобы не допустить какой-нибудь неосторожности или ошибки. Во-первых, скажи: ты уверен в своих слугах? Больше всего надо бояться доноса, анонимного письма моему мужу. Сам он ни за что не догадается. Я хорошо знаю Вильяма...

Но это имя, которое она произнесла уже два раза, вдруг болезненно задело Поля. Он сказал с раздражением:

– Ах, не говори о нем сегодня!

Она удивилась:

– Почему? Ведь надо же... О, уверяю тебя, он совсем не дорожит мною!

Она угадала его мысли. Смутная, еще безотчетная ревность проснулась в нем. И вдруг, став на колени, он сказал, сжимая ее руки:

– Слушай, Лиана!..

И умолк, не решаясь высказать свое беспокойство, возникшее вдруг постыдное подозрение, не находя слов, как выразить его.

– Слушай, Лиана... Как у тебя с ним?...

Она не поняла:

– Что «как»?... Очень хорошо...

– Да, да... Я знаю... Но послушай... пойми меня хорошенько... Ведь он твой муж... словом... Ах, если б ты знала, сколько я думал об этом последние дни! Как это меня мучает!.. Как это терзает меня!.. Ты поняла?. Да?

Она на миг задумалась и вдруг, поняв его вопрос, вскрикнула с искренним негодованием:

– Ах, как ты можешь?... Милый, как ты мог подумать?... Зачем ты так!.. Я же вся твоя, слышишь?... Только твоя... Ведь я люблю тебя, Поль...

Он снова уронил голову ей на колени и тихо сказал:

– Лиана, маленькая моя!.. Но ведь он твой муж... Муж... Как же ты будешь? Ты подумала об этом?... Скажи... Как будет сегодня вечером или завтра? Ты же не можешь... всегда, всегда говорить ему «нет»...

Она прошептала еле слышно:

– Я его уверила, что я беременна... и он успокоился. Ему это не очень важно... право... Не будем говорить об этом, милый, не надо. Если бы ты знал, как мне это обидно, как горько! Верь мне, ведь я люблю тебя...

Он больше не двигался, молча целовал ее платье, вдыхая аромат ее духов, а она тихо гладила его лицо своими легкими, нежными пальцами.

Вдруг она сказала:

– Пора. Надо идти, а то могут заметить, что нас обоих нет.

Они простились, крепко, до боли сжав друг друга в долгом объятии, и она ушла первая, почти побежала, чтобы вернуться поскорее. Он смотрел ей вслед, пока она не исчезла, смотрел с такой печалью, как будто все его счастье, все надежды исчезли вместе с нею.

Часть вторая

ГЛАВА I

Через год, к первому июля, Анвальский курорт стал неузнаваем.

На вершине холма, поднимавшегося посреди долины, меж двух ее выходов, выросло строение в мавританском стиле, и на фронтоне его блестело золотыми буквами слово «Казино».

Молодой лес по склону, обращенному к Лимани, превратился в небольшой парк. Перед казино, возвышаясь над широкой Овернской равниной, протянулась терраса с каменной балюстрадой, которую из конца в конец украшали большие вазы поддельного мрамора.

Пониже, в виноградниках, мелькали крытые лаком фасады шести разбросанных в них швейцарских домиков.

На южном склоне сверкал белизной громадный «Гранд-отель Монт-Ориоль», привлекая взоры путешественников еще издали, как только они выезжали из Риома. А внизу, у подошвы того же самого холма, стояло теперь квадратное здание без всяких вычур в архитектуре, но просторное, окруженное садом, где пробегал ручей, вытекавший из ущелья, — это была водолечебница, и там больных ожидали чудеса исцеления, которые сулила им брошюра, написанная доктором Латоном. Надпись на фасаде гласила: «Лечебные ванны Монт-Ориоль», на правом крыле буквами помельче сообщалось: «Гидротерапия. Промывание желудка. Бассейны с проточной водой»; на левом крыле: «Институт механизированной врачебной гимнастики».

Все было новенькое, ослепительно белое. Повсюду еще работали маляры, кровельщики, водопроводчики, землекопы, хотя ванное заведение уже месяц было открыто для больных.

С первых же дней успех превзошел все ожидания основателей. Три виднейших парижских врача, три знаменитости, профессора Ма-Руссель, Клош и Ремюз, взяли новый курорт под свое покровительство и согласились пожить некоторое время в виллах, построенных Бернским обществом сборных домов и предоставленных в их распоряжение дирекцией курорта.

Доверяясь авторитету парижских светил, больные хлынули в Монт-Ориоль. «Гранд-отель» был переполнен.

Хотя водолечебница начала действовать в первых числах июня, официальное открытие курорта отложили до первого июля, чтобы привлечь побольше народу. Праздник решено было начать в три часа дня освящением источников. А вечером предполагалось большое представление, фейерверк и бал, который должен был объединить всех больных Монт-Ориоль и соседних курортов, а также именитых особ из населения Клермон-Феррана и Риома.

Казино на вершине горы уже расцветилось флагами, со всех сторон реяли голубые, красные, белые, желтые полотнища, окружавшие все здание пестрым трепещущим облаком, а в парке вдоль аллей водрузили гигантские мачты с длинейшими вымпелами, извивавшимися, как змеи, в голубом небе.

Петрюс Мартель, получивший звание директора нового казино, воображал себя под сенью этих бесчисленных флагов всемогущим капитаном какого-то фантастического корабля; он выкрикивал приказания слугам в белых фартуках грозным, громовым голосом, словно адмирал в разгар морского боя, и ветер доносил раскаты его баса до самого села.

На террасе появился Андермат, уже запыхавшийся от суеты. Петрюс Мартель выбежал ему навстречу, приветствуя его широким и величавым жестом.

— Ну как? Все хорошо? — спросил банкир.

— Превосходно, господин председатель.

— Если я понадобится, найдете меня в кабинете главного врача. У нас сейчас заседание.

И он спустился с холма. У дверей водолечебницы встречать хозяина бросились смотритель и кассир, которых, как и директора казино, переманили от старого акционерного общества, жалкого, бессильного соперника, обреченного на гибель. Бывший тюремный надзиратель отдал банкиру честь по-военному, кассир согнулся в низком поклоне, как нищий, который просит милостыню.

Андермат спросил:

– Главный врач здесь?

Смотритель отрапортовал:

– Так точно, господин председатель. Господа члены правления все прибыли.

Банкир прошел через вестибюль, мимо почтительно кланявшихся служителей и горничных, повернул направо, отворил дверь и очутился в просторной комнате, обставленной очень строго, с книжными шкафами, с бюстами деятелей науки; тут собрались все находившиеся в Анвале члены правления: тесть Андермата маркиз де Равенель, шурин Гонтран де Равенель, Поль Бретиньи, доктор Латон и оба Ориоля – отец и сын, постаравшиеся одеться, как господа, но такие длинные, сухопарые, в таких долгополых черных сюртуках, что оба напоминали факельщиков с рекламы бюро похоронных процессий.

Обменявшись торопливыми рукопожатиями, все сели, и Андермат произнес речь:

– Нам остается решить весьма важный вопрос: как назвать источники? Тут я совершенно не согласен с главным врачом, господином Латоном. Он предлагает дать трем нашим основным источникам имена трех светил медицины, являющихся нашими гостями. Разумеется, этот лестный знак внимания тронул бы их и еще больше привлек к нам. Но будьте уверены, господа, что это навсегда оттолкнуло бы от нас их знаменитых собратьев, еще не откликнувшихся на наше приглашение, а между тем мы должны ценой любых усилий, любых жертв убедить их в замечательном действии наших вод. Да, господа, человеческая природа всюду одна, надо ее знать и уметь ею пользоваться. Никогда профессора Плантюро, де Ларенар и Паскалис – укажу хотя бы только на этих трех специалистов по заболеваниям желудка и кишечника – не пошлют к нам своих пациентов, цвет своей клиентуры, украшенной именами принцев и эрцгерцогов, светских львов и львиц, которым они обязаны своим состоянием и своей славой, никогда они не пошлют таких больных лечиться водами источника Ма-Русселя, источника Клоша или источника Ремюзо. Ведь тогда у этих пациентов, у всей публики будут некоторые основания думать, что именно профессора Ремюзо, Клош и Ма-Руссель открыли наши источники и все целебные их свойства. Несомненно, господа, что имя Гюблера, которым окрестили первый источник Шатель-Гюйона, надолго восстановило против этого курорта многих видных врачей, тогда как они могли взять его под свою опеку с самого начала, и он скорее достиг бы нынешнего своего процветания.

Поэтому я предлагаю просто-напросто дать источнику, открытому первым, имя моей жены, а двум другим – имена дочерей господина Ориоля. Таким образом, у нас будут источники Христианы, Луизы и Шарлотты. Это звучит очень мило, очень поэтично. Что вы на это скажете?

Все согласились с его мнением, даже доктор Латон, который только добавил:

– В таком случае следовало бы попросить профессоров Ма-Русселя, Клоша и Ремюзо быть крестными отцами и в процессии вести под руку крестных матерей.

– Отлично! Отлично! – воскликнул Андермат. – Бегу к ним. Они согласятся, ручаюсь! До свидания! Встретимся в три часа в церкви, шествие двинется оттуда.

И он выбежал из кабинета.

Вслед за ним ушли маркиз и Гонтран. Затем Ориоли, надев на головы цилиндры, важно зашагали рядышком: две черные, мрачные фигуры на белой дороге; а Полю Бретиньи, приехавшему только накануне, к торжеству открытия курорта, доктор Латон сказал:

– Нет, нет, я вас не пущу, господин Бретиньи. Я хочу показать вам мое детище, от которого я жду настоящих чудес. Пойдемте посмотрим Институт механизированной врачебной гимнастики.

Он подхватил Поля Бретиньи под руку и потащил его с собой. Но когда они вышли в вестибюль, служитель остановил доктора:

– Господин Рикье ждет промывания.

В прошлом году доктор Латон злословил по поводу промываний желудка, апостолом коих был доктор Бонфиль, щедро применявший их в водолечебнице старого курорта, где он состоял главным врачом. Но времена меняются, а с ними изменилось и мнение доктора Латона – зонд Барадюка стал теперь важнейшим орудием пытки в руках главного врача нового курорта, и он с детской радостью засовывал его в пищеводы всех больных.

Он спросил у Поля Бретиньи:

– Вы когда-нибудь присутствовали при этой небольшой операции?

– Нет, никогда, – ответил Бретины.

– Так пойдемте, дорогой. Вы посмотрите – это весьма любопытно.

Они вошли в залу врачебных душей, где в ожидании доктора уже сидел в деревянном кресле Рикье, человек с кирпично-красным лицом, искавший в этом году исцеления у новых источников Монт-Ориоля, ибо он каждое лето пробовал действие вод в каком-нибудь вновь открытом курорте.

Словно преступник в застенке Средневековья, он был крепко связан, стянут неким подобием смирительной рубашки из клеенки, чтобы предохранить его платье от брызг и пятен. Вид у него был жалкий, испуганный и страдальческий, как у больного, приготовленного к опасной хирургической операции.

Как только доктор вошел, служитель схватил длинную резиновую кишку с двумя ответвлениями посередине, похожую на тонкую двухвостую змею. Конец одного отвода служитель насадил на отверстие крана, сообщавшегося с источником, конец второго опустил в стеклянную банку, куда должна была стекать жидкость, извергаемая желудком больного, а главный врач взял бестрепетной рукой среднюю, основную, трубку этого приспособления, с любезной улыбкой протянул ее к широко открытому рту Рикье и, грациозно направляя кишку большим и указательным пальцами, ловко засунул ее в горло больному, вводя все глубже, глубже и благодушно приговаривая:

– Так, так, так, великолепно! Идет, идет, идет. Превосходно!

У несчастного Рикье лицо стало лиловым, глаза выкатились, на губах пузырилась пена, он задыхался, всхлипывал, икал и, уцепившись руками за локотники кресла, делал мучительные и тщетные попытки извергнуть из своего желудка заползавшую в него резиновую змею.

Когда он проглотил с полметра трубки, доктор сказал:

– Ну, довольно! Пускайте воду.

Служитель повернул кран, и вскоре живот у больного начал заметно вздываться, наполняясь теплой водой источника.

– Покашляйте, – сказал врач, – покашляйте, чтобы начал действовать сифон.

Но у бедняги вместо кашля вырывался только хрип, он судорожно дергался, и казалось, глаза у него вот-вот выскочат из орбит. Вдруг на полу рядом с креслом что-то забулькало, зажурчало – сифон двухвостой трубки начал наконец выкачивать жидкость из желудка в стеклянную банку, а доктор внимательно рассматривал ее, отыскивая в ней признаки катара и приметные следы несварения.

– Никогда больше не ешьте зеленого горошка! – восклицал он. – И салата тоже! Ох, этот салат! Вы совсем его не перевариваете! И земляники не ешьте! Я вам десять раз говорил: забудьте о землянике!

Рикье, видимо, рассвирепел; он ерзал в кресле, не в силах произнести ни слова, так как трубка заткнула ему горло. Но лишь только промывание кончилось и доктор осторожно вытащил зонд из его утробы, он завопил:

– А разве я виноват, что меня каждый день пичкают всякой дрянью, губят мое здоровье?! Чье это дело – следить, чем кормят в здешней проклятой харчевне? Это ваша обязанность! Я переехал в новую гостиницу, потому что в старой меня отравляли мерзкой стряпней, но на этом огромном постоялом дворе, именуемом «Гррранд-отель Монт-Ориоля», меня совсем доконали. Честное слово!

Доктору пришлось его успокаивать и повторить несколько раз подряд, что он возьмет под свое наблюдение питание больных в отеле.

Затем он опять подхватил Поля Бретины под руку и увел его, разъясняя по дороге:

– Я изложу вам вкратце весьма разумные основы созданного мною специального лечения механизированной гимнастикой, которую я вам сейчас продемонстрирую. Вы слышали, конечно, о моей системе органометрической терапии? Не так ли? Я утверждаю, что большинство болезней, которыми мы страдаем, вызывается исключительно непомерным развитием какого-либо органа за счет других. Этот орган теснит своих соседей, мешает их функциям и вскоре разрушает общую гармонию всего организма, из чего проистекают весьма плачевные последствия.

Однако физические упражнения в сочетании с душами и теплыми минеральными ваннами

самым действенным образом помогают восстановить нарушенное равновесие и сократить до нормальных размеров органы, захватившие чужое место.

Но как заставить больного заниматься физическими упражнениями? Ходьба, верховая езда, плавание или гребля требуют, помимо значительного физического усилия, еще и волевого усилия, а это особенно важно. Воля – вот что увлекает, вынуждает тело к действию и поддерживает его силы. Недаром же люди энергичные всегда отличаются подвижностью. Но источник энергии – душа, а не мышцы. Тело повинует сильной воле.

Нечего и думать, дорогой мой, труса наделить смелостью, а слабодушного человека решимостью. Но мы можем достигнуть другого, можем сделать нечто большее – мы можем исключить храбрость, умственную энергию, волевые усилия, оставив лишь усилия телесные. Волевые усилия я с успехом заменяю чисто механическим внешним воздействием. Понятно вам? Не очень? Ну вот, посмотрите.

Доктор Латон отворил дверь, и они вошли в просторный зал, где выстроились рядами какие-то странные приспособления: большие кресла на высоких деревянных подставках, топорно сделанные из ели подобия лошадей, сооружения из планок, скрепленных шарнирами, подвижные брусья, укрепленные перед стульями, привинченными к полу. Все эти предметы были снабжены сложной системой шестеренок и зубчатых колес, которые приводились в движение при помощи рукояток.

Доктор продолжал разъяснения:

– Вот взгляните. Существуют четыре главных вида физических упражнений, которые я называю естественными упражнениями: ходьба, верховая езда, плавание и гребля. Каждое из этих упражнений развивает особую группу наших органов, оказывает специфическое воздействие на человеческое тело. И вот здесь мы искусственным способом воспроизводим все эти четыре вида. Самому больному ничего не надо делать, ни о чем не надо думать – он может целый час бегать или ездить верхом, плавать или грести, и ум его не будет принимать ни малейшего участия в этой чисто мышечной работе.

Как раз при этих словах вошел Обри-Пастер в сопровождении служителя с засученными рукавами, из-под которых выступали мощные бицепсы. Инженера еще больше разнесло с прошлого года. Он шел, задыхаясь, широко расставляя тучные ноги, растопырив руки.

Доктор сказал Полю Бретины:

– Вот вы сейчас во всем убедитесь *de visi*.⁹ – И обратился к своему пациенту: – Ну что, дорогой, чем мы сегодня займемся? Ходьбой или поскачем на коне?

Обри-Пастер, пожимая руки Полю Бретины, ответил:

– Дайте-ка мне сегодня немножко сидячей ходьбы. Она меня меньше утомляет.

Доктор Латон пояснил:

– У нас, видите ли, имеется ходьба сидячая и ходьба стоячая. Стоячая ходьба действует сильнее, но это довольно трудное упражнение. Оно производится при помощи педалей: больной встает на них, педали приводят его ноги в движение, и он удерживает равновесие, держась за кольца, вделанные в стену. А вот тут у нас сидячая ходьба.

Инженер рухнул в кресло-качалку и опустил ноги на две деревянные суставчатые подставки, прикрепленные к этому креслу. Ляжки, икры и щиколотки ему стянули ремнями так, что он не мог сделать ни одного произвольного движения; затем служитель с засученными рукавами ухватился за рукоятку и стал вертеть ее изо всей силы. Кресло сначала закачалось, как гамак, а потом ноги инженера вдруг пришли в движение, они вытягивались, сгибались, поднимались, опускались с необыкновенной быстротой.

– Видите, бежит, – пояснил доктор и приказал: – Тише, пустите шагом!

Служитель стал вертеть рукоятку медленнее, пуская толстые ноги инженера более умеренным аллюром, отчего движения стали комически расслабленными.

В зале появились двое других больных – две огромные туши, за которыми следовали двое служителей с обнаженными руками.

⁹ Воочию (лат.).

Толстяков взгромоздили на деревянных коней, завертели рукоятки, и тотчас «лошади» за-скакали на одном месте, встряхивая своих всадников самым безжалостным образом.

– Галопом! – крикнул доктор.

Деревянные лошади запрыгали, закачались, как лодки по волнам бурного моря, и до того из-мучили обоих пациентов, что они, задыхаясь, жалобно закричали в один голос:

– Довольно! Довольно! Сил больше нет! Довольно!

Доктор скомандовал:

– Стоп! – и добавил: – Передохните немного. Через пять минут продолжите.

Поль Бретиныи, едва удерживаясь от хохота, сказал доктору, что всадникам, кажется, совсем не жарко, зато вертельщики все в поту.

– Не поменяться ли им ролями? – спросил он. – Пожалуй, так будет лучше.

Доктор важным тоном ответил:

– Ну что вы, дорогой! Нельзя же смешивать упражнения и утомительную работу. Вращать рукоятку колеса вредно для здоровья, а упражнять мышцы ходьбой или верховой ездой чрезвычай-но полезно.

Поль заметил дамское седло.

– Да, да, – сказал доктор, – вечерние часы отведены для дам. Мужчины после полудня сюда не допускаются. Пойдемте теперь посмотрим «сухое» плавание.

Сложная система подвижных дощечек, скрепленных винтами в середине и по краям, вытяги-вавшихся ромбами, сдвигающихся квадратами, как детская игрушка с марширующими деревян-ными солдатиками, позволяла привязать и распластать на них одновременно трех «пловцов».

Доктор пояснил:

– Мне нет необходимости указывать на преимущества «сухого» плавания – они и так ясны: тело при этом увлажняется только от испарины, и, следовательно, при таком воображаемом купа-нии пациентам не грозит опасность ревматических заболеваний.

Но тут явился служитель и подал доктору визитную карточку.

– Извините, дорогой, прибыл герцог де Рамас. Я удаляюсь, – сказал доктор.

Оставшись один, Поль огляделся вокруг. Два всадника снова скакали; Обри-Пастер все еще упражнялся в сидячей ходьбе, а трое овернцев, у которых ломило руки, ныли спины от усталости, все вертели и вертели рукоятки, встряхивая своих клиентов. Казалось, они мололи кофе.

Выйдя из лечебницы, Бретиныи увидел доктора Онора с женой, которые смотрели на приго-товления к празднику. Они поговорили немного, глядя на вершину холма, осененную ореолом флагов.

– Откуда двинется шествие? – спросила докторша.

– Из церкви.

– В три часа?

– В три часа.

– А профессора тоже пойдут?

– Да, они сопровождают крестных матерей.

Затем его остановили две вдовы Пайль, потом Монеку с дочерью. А потом Поль начал мед-ленно подниматься на холм, так как уговорился со своим другом Гонтраном позавтракать в ко-фейне курортного казино, – он приехал накануне, еще не успел побеседовать с глазу на глаз со своим приятелем, с которым не виделся месяц, и теперь хотел пересказать ему множество буль-варных новостей о кокотках и всяких зланных местах.

Они болтали до половины третьего, пока Петрюс Мартель не явился предупредить их, что все уже идут к церкви.

– Зайдем за Христианой, – сказал Гонтран.

– Зайдем, – согласился Поль.

Они встретили ее на крыльце нового отеля. Теперь у Христианы были впалые щеки, темные пятна на лице, как у многих беременных женщин; большой живот выдавал, что она по меньшей мере на седьмом месяце.

– Я поджидаю вас, – сказала она. – Вильям уже ушел, у него сегодня много хлопот.

И, подняв на Поля Бретины взгляд, полный нежности, она взяла его под руку.

Они тихо двинулись по дороге, обходя камни. Христиана повторяла:

– Какая я стала тяжелая! Ужасно тяжелая! Совсем разучилась ходить. Все боюсь упасть!

Поль осторожно вел ее, не отвечая ни слова, избегая встречаться с нею взглядом, а она беспрестанно поднимала глаза, чтобы посмотреть на него.

Перед церковью уже собралась густая толпа.

Андермат крикнул:

– Наконец-то, наконец-то! Идите скорей! Порядок шествия такой: впереди двое служек, двое певчих в стихарях, крест, святая вода, священник. Потом Христиана в паре с профессором Клошем, мадмуазель Луиза под руку с профессором Ремюзом и мадмуазель Шарлотта с профессором Ма-Русселем. Далее идут члены правления, медицинский персонал, а за ним публика. Поняли? Становитесь.

Из церкви вышел священник со своим клиром, и они заняли место во главе процессии. Затем высокий господин с длинными седыми волосами, откинутыми назад – классический тип ученого академического образца, – подошел к г-же Андермат и отвесил глубокий поклон.

Выпрямившись, он пошел рядом с ней, не надевая цилиндра, чтобы щегольнуть своей прекрасной шевелюрой ученого мужа; прижимая к бедру головной убор, он выступал так величаво, как будто учился у актеров Французской комедии этой поступи и умению выставить для обозрения публики орденскую розетку Почетного легиона, слишком большую для скромного человека.

Он заговорил с Христианой:

– Ваш супруг, сударыня, только что беседовал со мной о вас и о вашем положении, которое внушает ему некоторое беспокойство как заботливому мужу. Он рассказал мне о ваших сомнениях и неуверенности в сроке разрешения от бремени.

Христиана вся залилась краской и тихо сказала:

– Да, мне преждевременно показалось, что... я стану матерью... А теперь я уж не знаю, когда... право, не знаю...

От смущения она не знала, что говорить.

Позади них раздался голос.

– У этого курорта большое будущее. Я уже наблюдаю на своих пациентах поразительные результаты.

Так профессор Ремюз занимал свою спутницу Луизу Ориоль. Это второе светило отличалось малым ростом, растрепанной рыжей гривой, дурно сшитым сюртуком и неопрятным видом, являя собою другой тип – ученого-замарашки.

Профессор Ма-Руссель, который шел под руку с Шарлоттой Ориоль, был благообразен, выхолен и дороден, не носил ни бороды, ни усов, гладко причесывал свои седеющие волосы, а в его бритом приветливом лице не было ничего поповского и актерского, как у доктора Латона.

За этой парой следовала группа членов правления во главе с Андерматом, и над ней покачивались высоченные цилиндры обоих Ориолей.

Позади шел еще один отряд цилиндроносцев – медицинская корпорация Анваля, где неоставало только доктора Бонфиля; впрочем, его отсутствие восполнили два новых врача: доктор Блек, низенький старик, почти карлик, поразивший всех с первого дня приезда своей набожностью, и стройный, щеголеватый красавец, единственный из всех врачей носивший мягкую шляпу, – доктор Мадзелли, итальянец, состоявший при особе герцога де Рамас или, как утверждали некоторые, при особе герцогини де Рамас.

Далее шла публика, целый поток больных, крестьян и жителей соседних городов.

С обрядом освящения источников покончили очень быстро. Аббат Литр поочередно окропил их святой водой, и доктор Онора сострил, что теперь они получили новые свойства благодаря примеси хлористого натра. Затем все приглашенные направились в просторный читальный зал, где было подано угощение. Поль сказал Гонтрану:

– Как похорошели сестрицы Ориоль!

– Да, дорогой, они просто очаровательны.

– Вы не видели господина председателя? – спросил молодых парижан бывший тюремный

надзиратель.

– Вон он, в углу.

– А то, знаете, старик Кловис мутит народ у самых дверей.

Когда процессия направлялась к источникам, она прошла мимо старого калеки, в прошлом году излечившегося, а теперь совсем лишившегося ног; он останавливал на дороге приезжих, преимущественно только что прибывших, и рассказывал свою историю:

– Никуда их вода не годится, как есть никуда. Вроде как вылечит поначалу, а потом болезнь сызнова заберет, да еще пуще, хоть ложись и помирай. У меня раньше только ноги не ходили, а теперь и руки отнялись – вот до чего долечили! А ноги у меня теперь, как кувалды чугунные, ничуть не гнутся.

Андермат в отчаянии уже пытался засадить его в тюрьму, подавал на него в суд за клевету, наносящую ущерб акционерному обществу минеральных вод Монт-Ориоля, и за попытку шантажа, но ничего не добился и никак не мог заткнуть рот этому нищему бродяге.

Лишь только ему сообщили, что старик болтает у дверей водолечебницы, он бросился унимать его.

На краю большой дороги собралась толпа, и из середины ее раздавались разъяренные голоса. Любопытные останавливались, теснились, чтобы послушать и посмотреть. Дамы спрашивали: «Что там такое?» Мужчины отвечали: «Да вот больного доконали здешние воды». Некоторые уверяли, что на дороге раздавили ребенка. А другие говорили, что с какой-то несчастной женщиной случился припадок падучей.

Андермат протиснулся сквозь толпу с обычной своей ловкостью, раздвигая круглым, как шар, брюшком ряды чужих животов. «Он доказывает, – говорил Гонтран, – преимущество шарообразных тел над остроконечными».

Старик Кловис сидел у придорожной канавы и плакался на свою горькую участь, рассказывал о своих страданиях, хныкал, а перед ним, загораживая его от публики, стояли возмущенные Ориоли, грозили ему, ругались и кричали во всю глотку.

– Врет он все, – вопил Великан, – врёт! Кто он такой! Обманщик, лодырь, браконьер! Всякую ночь по лесам бегает.

Но старик, нисколько не смущаясь, причитал пронзительным фальцетом, так что его хорошо было слышно, несмотря на зычную ругань Ориолей.

– Убили они меня, добрые люди, убили своей водой. Прошлый год они меня силком в ней купали. И вот до чего довели. Куда я теперь гожусь, куда?

Андермат велел всем замолчать и, наклонившись к калеке, сказал, пристально глядя ему в глаза:

– Если вам стало хуже, это ваша вина. Понятно? Но если вы будете меня слушаться, я ручаюсь, что вылечу вас – двумя десятками ванн, самое большее. Приходите через час в лечебницу, когда все уйдут, и мы все уладим, дядюшка Кловис. А пока что помолчите.

Старик сразу понял. Он умолк и, сделав паузу, ответил:

– Я, что ж, я не против. Можно еще попробовать. Поглядим.

Андермат подхватил под руки Ориолей и живо увел их, а старик Кловис, щурясь от солнца, остался сидеть на траве у обочины дороги между своими костылями.

Вокруг него теснилась заинтересованная толпа зрителей. Хорошо одетые господа расспрашивали его, но он не отвечал, как будто не слышал или не понимал их, а в конце концов, когда ему надоело это бесполезное теперь любопытство, во все горло запел пронзительным и фальшивым голосом бесконечную песню на своем непонятном наречии.

Толпа мало-помалу начала расходиться. Лишь несколько ребятишек еще долго стояли перед Кловисом и, ковыряя в носу, глазели на него.

Христиана очень устала и вернулась в отель отдохнуть. Поль и Гонтран прогуливались в новом парке среди гостей. Вдруг они заметили компанию актеров, которые тоже изменили старому казино, связав свою карьеру с нарождающейся славой нового курорта.

Мадемуазель Одлен, теперь очень нарядная, прохаживалась под руку с раздобревшей, важной мамашей. Птидивель из Водевиля увивался около них, а позади дам шел Лапальм из Большого

театра в Бордо, споря о чем-то с музыкантами – с неизменным маэстро Сен-Ландри, пианистом Жавелем, флейтистом Нуаро и контрабасистом Никорди.

Завидев Поля и Гонтрана, Сен-Ландри бросился к ним.

Зимой он написал крошечную музыкальную комедию в одном акте, поставленную в маленьком второстепенном театре, но газеты отозвались о ней довольно благосклонно, и теперь маэстро свысока говорил о Массне, Рейере¹⁰ и Гуно.

Он по-приятельски протянул обе руки Полю и Гонтрану и тотчас принялся пересказывать свой спор с музыкантами оркестра, которым дирижировал:

– Да, дорогой мой, со всеми песенниками старой школы покончено. Крышка им, крышка! Мелодисты отжили свой век. Вот чего они не желают понять. Музыка – новое искусство. А мелодия – ее младенческий лепет. Неразвитому, невежественному слуху приятны были ригурнели. Они доставляли ему детское удовольствие, как ребенку, как дикарю. Добавлю еще, что простонародью, людям неискушенным, примитивным, всегда будут нравиться песенки, арии. Мещанские вкусы, вкусы завсегдатаев кафешантанов!

Я прибегну к сравнению, чтобы вы лучше меня поняли. Глаз деревенщины привлекают резкие краски, аляповатые картины; глаз образованного горожанина, лишенного, однако, художественного вкуса, радуют наивные, слащавые цвета и трогательные сюжеты; но художник с изощренным глазом любит, понимает и различает неуловимые нюансы, тончайшие переходы одного и того же тона, таинственные модуляции, аккорды оттенков, которых непосвященные не видят.

То же самое происходит и в литературе: швейцарцы любят приключенческие романы, буржуа – романы умильные, а утонченные люди любят только такие книги, которые недоступны пониманию толпы.

Когда буржуа говорит со мной о музыке, мне хочется его убить. И если он заговаривает о музыке в Опере, я его спрашиваю: «Способны вы сказать мне, сфальшивила или нет третья скрипка в увертюре к третьему акту? Нет? Ну так молчите. У вас нет слуха... Раз человек не может одновременно слушать весь оркестр в целом и каждый инструмент в отдельности, у него нет слуха, он не музыкант. Вот что! До свидания!»

Он повернулся на каблуках и опять заговорил:

– Для артиста вся музыка в аккорде. Ах, дорогой, иные аккорды сводят меня с ума, врываются в самое мое нутро потоком неизъяснимого блаженства. Теперь у меня слух настолько изощрен, настолько выработан, настолько искушен, что мне уж стали нравиться даже некоторые фальшивые аккорды: ведь у знатоков утонченность вкуса иной раз доходит до извращенности. Я уже становлюсь распутником, ищу возбуждающих слуховых ощущений. Да, друзья мои. Иные фальшивые ноты – какое это наслаждение! Наслаждение извращенное и глубокое! Как они волнуют, какая это встряска нервам, как это царапает слух!.. Ах, как царапает, как царапает!..

Потирая в восторге руки, он запел:

– Вот услышите мою оперу, мою оперу, мою оперу! Вот услышите мою оперу!

Гонтран спросил:

– Вы пишете оперу?

– Да, уже заканчиваю.

Но тут раздался повелительный голос Петрюса Мартеля:

– Все поняли, да? Значит, решено: желтая ракета – и вы начинаете!

Он отдавал распоряжения относительно фейерверка. Гонтран и Поль подошли к нему. Он принялся разъяснять диспозицию и, вытягивая руку, как будто грозя вражескому флоту, указывал на белые деревянные шесты, расставленные по склону горы, над ущельями, по ту сторону долины.

– Вот оттуда будут пускать. Я приказал своему пиротехнику быть на месте к половине девятого. Как только спектакль кончится, я подам из парка сигнал желтой ракетой и тогда он зажжет первую фигуру.

Появился маркиз.

– Пойду к источнику выпить стакан воды, – сказал он.

¹⁰ Рейер (1823–1909) – французский музыкант и композитор.

Поль и Гонтран проводили его и спустились с холма. Подходя к лечебнице, они увидели, как в нее вползает старик Кловис, которого поддерживали отец и сын Ориоли, а за ними следуют Андермат и доктор Латон; паралитик еле волочил ноги и при каждом шаге страдальчески охал и корчился.

– Пойдем посмотрим, – сказал Гонтран. – Забавно будет.

Калеку усадили в кресло, потом Андермат сказал ему:

– Вот мое предложение, старый плут: предлагаю вам немедленно выздороветь, принимая по две ванны в день. Как только начнете ходить, получите двести франков...

Паралитик заохал:

– Да ноги-то у меня, как чугунные, господин хороший.

Андермат прикрикнул на него и продолжал:

– Слушайте хорошенько... Каждый год до самой вашей смерти – слышите? – до самой смерти вы будете получать по двести франков, если согласитесь продолжать пользоваться целебным действием наших вод.

Старик был озадачен. Выздоровление на длительный срок шло вразрез с его планами.

Он спросил неуверенным голосом:

– А зимой... когда ваша лавочка закроется... вдруг меня опять схватит?... Я-то что же могу поделаться... раз у вас закрыто... ванны-то где брать?

Доктор Латон перебил его и сказал, обращаясь к Андермату:

– Превосходно!.. Превосходно!.. Мы его будем подлечивать каждое лето... Так даже лучше будет: наглядное доказательство необходимости ежегодно повторять курс лечения во избежание рецидива. Превосходно!.. Вопрос решен.

Но старик опять затянул:

– Да где уж там... теперь ничего не выйдет, господа хорошие... Ноги-то у меня стали, как чугунные, как чугунные кувалды...

Доктора Латона осенила новая идея:

– А что, если я назначу ему несколько сеансов сидячей ходьбы? Это усилит действие минеральных вод, ускорит эффект. Надо испробовать.

– Превосходная мысль! – одобрил Андермат и добавил: А теперь ступайте домой, папаша, и помните наше с вами условие.

Старик потащился по дороге со стонами и охами; вся администрация Монт-Ориоля отправилась обедать, так как уже вечерело, а в половине восьмого назначено было театральное представление.

Спектакль устроили в большом зале нового казино, рассчитанном на тысячу человек.

Зрители, не имевшие нумерованных мест, начали собираться с семи часов.

К половине восьмого зал был переполнен. Подняли занавес, и начался водевиль в двух актах; за ним должна была последовать оперетта Сен-Ландри в исполнении певцов, приглашенных для такого торжества из Виши.

Христиана сидела в первом ряду между отцом и мужем. Она очень страдала от духоты и по минутно жаловалась:

– Не могу больше, право, не могу!

После водевиля, когда уже началась оперетта, ей чуть не стало дурно, и она сказала мужу:

– Виль, дорогой! Я уйду. Не могу больше. Я совсем задыхаюсь!

Банкир был в отчаянии. Ему так хотелось, чтобы праздник с начала до конца прошел блестяще, без малейшей заминки. Он ответил Христиане:

– Ну как-нибудь потерпи. Умоляю тебя! Если ты уйдешь, все будет испорчено. Тебе ведь надо пройти через весь зал.

Гонтран, сидевший рядом с Полем, позади их кресел, услышал этот разговор. Он наклонился к сестре.

– Тебе жарко? – спросил он.

– Да, я задыхаюсь.

– Хорошо. Подожди чуточку. Сейчас мы с тобой посмеемся.

Неподалеку было окно. Гонтран пробрался к нему, влез на стул и выпрыгнул. Почти никто этого не заметил.

Потом он вошел в совершенно пустую кофейню, сунул руку под конторку, куда на его глазах Петрюс Мартель спрятал сигнальную ракету, вытащил ее, побежал в парк, спрятался в кустах и зажег ракету.

Описав дугу, в небо взлетела желтая комета, дождем рассыпая огненные брызги. Тотчас же на соседней горе раздался оглушительный треск и в ночном мраке засверкал целый сноп ярких звезд.

В зрительном зале, где трепетали аккорды творения Сен-Ландри, кто-то крикнул:

– Фейерверк пускают!

В рядах, ближайших к двери, зрители вскочили и, стараясь не шуметь, отправились взглянуть, верно ли это. Остальные повернулись к окнам, но ничего не увидели, так как окна выходили на равнину Лимани.

Загудели голоса:

– Правда это? Правда?

Толпа, всегда падкая на нехитрые развлечения, волновалась. Из дверей кто-то крикнул:

– Правда! Пускают!

В одно мгновение поднялся весь зал. Все бросились к выходу, толкались, кричали тем, кто застрял в дверях:

– Да скорее вы, скорее! Дайте пройти!

Все высыпали в парк. Маэстро Сен-Ландри в отчаянии продолжал отбивать такт перед рассеянным оркестром. А на горе трещали взрывы, вертелось одно огненное солнце за другим, взвивались римские свечи.

И вдруг громовой голос трижды огласил воздух неистовым криком:

– Прекратить, черт подери! Прекратить! Прекратить!

В это мгновение запылало зарево бенгальского огня, озарив огромные утесы и деревья фантастическим светом, направо багряным, налево голубым, и все увидели Петрюса Мартеля, который взобрался на одну из ваз поддельного мрамора, украшавших террасу казино, и, стоя на ней с непокрытой головой, в отчаянии простирал к небесам руки, жестикулировал и орал.

И вдруг зарево угасло, в небе замерцали только настоящие звезды. Но тотчас же зажглось новое огненное колесо, а Петрюс Мартель спрыгнул на землю, восклицая:

– Какое несчастье! Какое несчастье! Боже мой, какое несчастье!

С широкими трагическими жестами он прошел сквозь толпу, грозно потрясая кулаками, гневно топая ногой, и все выкрикивал:

– Какое несчастье! Боже мой, какое несчастье!

Христиана, взяв под руку Поля, вышла посидеть на свежем воздухе и с восторгом смотрела на ракеты, взлетающие в небо.

Вдруг к ней подбежал Гонтран.

– Ну что, удачно вышло? Правда, забавно, а?

Она шепнула:

– Как! Это ты подстроил?

– Конечно, я. Здорово вышло, верно?

Она расхохоталась, находя, что вышло в самом деле забавно. Но тут подошел удрученный, подавленный Андермат. Он не мог догадаться, кто нанес ему такой удар. Кто мог украсть из-под конторки ракету и подать условленный сигнал? Подобную гнусность мог совершить только шпион, подосланный старым акционерным обществом, агент доктора Бонфиля!

И он твердил:

– Какая досада! Это просто возмутительно! Ухлопали на фейерверк две тысячи триста франков, и все пропало зря. Совершенно зря!

Гонтран сказал:

– Нет, дорогой мой, подсчитайте хорошенько, – убытки не превышают четвертой, ну, самое большее третьей части стоимости фейерверка, то есть семисот шестидесяти шести. Значит, ваши

гости насладились ракетами на тысячу пятьсот тридцать четыре франка. Это не так уж плохо, право.

Гнев банкира обратился на шурина. Он схватил его за плечо:

– Вот что, я должен с вами поговорить самым серьезным образом. Раз вы уж мне попались, пойдемте-ка походим по аллеям. Впрочем, минут через пять я вас отпущу.

И, обернувшись к Христиане, он сказал:

– А вас, дорогая, я поручаю нашему другу, господину Бретињи. Только долго не оставайтесь тут, берегите свое здоровье: не дай бог вы простудитесь. Вам надо быть осторожной, очень осторожной!

Христиана тихо ответила:

– Ничего, друг мой, не бойтесь.

И Андермат увел с собой Гонтрана.

Как только они немного удалились от толпы, банкир остановился.

– Я хотел поговорить с вами о ваших финансовых делах.

– О моих финансовых делах?

– Да! Вы знаете, каковы они у вас?

– Нет. Зато вы, конечно, знаете – ведь вы ссужаете меня деньгами.

– Совершенно верно, я-то знаю! Вот почему я и решил поговорить с вами.

– Ну, мне кажется, момент для этого выбран неудачно... в самый разгар фейерверка!..

– Напротив, момент выбран очень удачно. Не в разгар фейерверка, а перед балом...

– Перед балом?... Что это значит? Не понимаю.

– Ничего, сейчас поймете. Вот каково ваше положение: у вас одни долги и никогда ничего не будет, кроме долгов...

Гонтран сказал резким тоном:

– Вы что-то уж слишком откровенны.

– Ничего не поделаешь, так надо. Слушайте внимательно! Вы промотали наследство, доставшееся вам после матери. Не будем о нем говорить.

– Не будем.

– У вашего отца тридцать тысяч годового дохода, то есть около восьмисот тысяч капитала. Позднее ваша доля в наследстве составит четыреста тысяч франков. А сколько у вас долгов? Только мне вы должны сто девяносто тысяч. Да еще ростовщикам...

Гонтран бросил высокомерным тоном:

– Скажите лучше-евреям.

– Хорошо, евреям, если отнести к этим самым евреям церковного старосту собора Святого Сульпиция, у которого посредником был некий священник... но к подобным пустякам я придираюсь не стану. Итак, вы должны различным ростовщикам, иудеям и католикам, почти столько же, сколько мне.

Ну, скинем немного, будем считать сто пятьдесят тысяч. Итого, долгов у вас на триста сорок тысяч; с этой суммы вы платите проценты, для чего опять занимаете деньги, – за исключением вашего долга мне, по которому вы ничего не платите.

– Правильно, – подтвердил Гонтран.

– Итак, у вас ничего нет.

– Верно, ничего... Кроме зятя.

– Кроме зятя, которому уже надоело давать вам займы.

– Что из этого следует?

– Из этого следует, дорогой мой, что любой крестьянин, живущий в одном из этих вот домишек, богаче вас.

– Прекрасно... а дальше что?

– А дальше... дальше... Если ваш отец завтра умрет, у вас не будет куска хлеба, понимаете вы это? Вам останется только одно: поступить на какое-нибудь место в мою контору, да и это будет лишь замаскированным пособием, которое мне придется платить вам.

Гонтран заметил раздраженным тоном:

– Дорогой Вильям! Мне надоел наш разговор. Я все это знаю, не хуже вас и повторяю: вы неудачно выбрали момент, чтобы напомнить мне о моем положении так... так... недипломатично.

– Нет, уж позвольте мне докончить. Для вас одно спасение – выгодная женитьба. Однако вы неважная партия: имя у вас хоть и звучное, но не прославленное. Оно не из тех имен, за которое богатая наследница, даже иудейского вероисповедания, согласится заплатить своим состоянием. Итак, вам надо найти невесту, приемлемую для общества и богатую, а это нелегко...

Гонтран перебил:

– Говорите уж сразу, кто она. Так лучше будет.

– Хорошо. Одна из дочерей старика Ориоля. Любая – на выбор. Вот почему я и решил поговорить с вами перед балом.

– А теперь объяснитесь подробнее, – холодным тоном сказал Гонтран.

– Все очень просто. Видите, какого успеха я сразу же добился с этим курортом. Однако, если бы у меня в руках – вернее, у нас в руках – была вся та земля, которую оставил за собой хитрый мужик Ориоль, я бы золотые горы тут нажил. За одни только виноградники, расположенные между лечебницей и отелем и между отелем и казино, я бы завтра же, ни слова не говоря, выложил миллион – так они мне нужны.

А все эти виноградники и еще другие участки вокруг холма пойдут в приданое за девочками. Старик сам мне это заявлял, а недавно еще раз повторил, может быть, с определенным намерением. Ну, что скажете?... Если бы захотели, мы с вами могли бы завернуть тут большое дело.

Гонтран протянул задумчиво:

– Что ж, пожалуй. Я подумаю.

– Подумайте, подумайте, дорогой. Только не забудьте: я на ветер слов не бросаю, и уж если сделал какое-нибудь предложение, значит, все обдумал, все взвесил, знаю все его возможные последствия и верную выгоду.

Но Гонтран вдруг поднял руку и воскликнул, как будто вмиг позабыв все, что сказал ему зять:

– Посмотрите! Какая красота!

В небе вдруг запыхал фейерверк, изображавший ослепительно сверкающий замок, над ним горело знамя, на котором огненно-красными буквами начертано было «Монт-Ориоль», и в это мгновение над долиной выплыла такая же красная луна, как будто и ей захотелось полюбоваться красивым зрелищем. Замок горел в небе несколько минут, потом внезапно вспыхнул, взлетел вверх пылающими обломками, как взорвавшийся корабль, раскидывая по всему небу фантастические звезды; они тоже рассыпались градом огней, и все угасло, только луна, спокойная, круглая, одиноко сияла на горизонте.

Публика бешено аплодировала, кричала:

– Ура! Bravo! Bravo!

Андермат сказал:

– Ну, пойдемте, дорогой. Откроем бал. Угодно вам танцевать первую кадрили напротив меня?

– Разумеется, с удовольствием, дорогой Вильям.

– Кого вы думаете пригласить? Я уже получил согласие от герцогини де Рамас.

Гонтран ответил равнодушным тоном:

– Я приглашу Шарлотту Ориоль.

Они пошли вверх, к казино. Проходя мимо того места, где Христиана осталась с Полем Бретиньи, и увидев, что их уж нет там, Андермат пробормотал:

– Вот и хорошо, послушалась моего совета, пошла спать. Она очень утомилась сегодня.

И он торопливо направился в зал, который во время фейерверка служители казино уже успели приготовить для бала.

Но Христиана не ушла к себе в комнату, как думал ее муж.

Лишь только ее оставили одну с Полем Бретиньи, она сжала его руку и сказала еле слышно:

– Наконец-то ты приехал! Я ждалась тебя. Целый месяц каждое утро думала: «Может быть, сегодня увижу его...» А вечером успокаивала себя: «Значит, приедет завтра...» Что ты так

долго не приезжал, любимый мой?

Он ответил смущенно:

– Да, знаешь, занят был. Дела всякие.



Прильнув к нему, она шепнула:

– Нехорошо, право, нехорошо! Оставил меня одну с ними, когда я в таком положении.

Он немного отодвинул свой стул:

– Осторожнее. Нас могут увидеть. Ракеты очень ярко освещают все кругом.

Христиана совсем не беспокоилась об этом; она сказала ему:

– Я так люблю тебя! – И, радостно встрепенувшись, прошептала: – Ах, какое счастье, какое счастье, что мы снова здесь вместе! Подумай только, Поль, как чудесно! Опять мы будем тут любить друг друга.

Тихо, тихо, точно дуновение ветерка, слышался ее шепот:

– Как мне хочется поцеловать тебя! Безумно... безумно хочется поцеловать тебя. Мы так давно не видались!

И вдруг с властной настойчивостью страстно любящей женщины, считающей, что все должно перед ней склониться, она сказала:

– Послушай, пойдем... сейчас же пойдем... на то место, где мы простились в прошлом году! Помнишь его? На дороге в Ла-Рош-Прадьер.

Он ответил изумленно:

– Что ты? Какая нелепость! Тебе не дойти. Ты ведь целый день была на ногах. Это безумие! Я не позволю тебе.

Но она уже поднялась и повторила упрямо:

– Я так хочу. Если ты не пойдешь со мной, я одна пойду.

И, указывая на поднимавшуюся луну, сказала:

– Смотри. Совсем такой же вечер был тогда! Помнишь, как ты целовал мою тень?

Он удерживал ее:

– Христиана, не надо... это смешно... Христиана!..

Она, не отвечая, шла к спуску, который вел к виноградникам. Он хорошо знал ее спокойную

и непреклонную волю, какое-то кроткое упрямство, светившееся во взгляде голубых глаз, крепко сидевшее в ее изящной белокурой головке, не признававшей никаких препятствий; и он взял ее под руку, чтобы она не оступилась.

– Христиана, что, если нас увидят?

– Ты так не говорил в прошлом году. Да и не увидит никто. Все на празднике. Мы быстро вернемся, никто не заметит.

Вскоре начался подъем в гору по каменистой тропинке. Христиана тяжело дышала и всей тяжестью опиралась на руку Поля; на каждом шагу она говорила:

– Ничего. Так хорошо, хорошо, хорошо помучиться из-за этого!

Он остановился, хотел вести ее обратно, но она и слушать ничего не желала:

– Нет, нет. Я счастлива... Ты не понимаешь этого. Послушай... Я чувствую, как шевелится наш ребенок... твой ребенок... Какое это счастье!.. Погоди, дай руку... чувствуешь?...

Она не понимала, что этот человек был из породы любовников, но совсем не из породы отцов. Лишь только он узнал, что она беременна, он стал отдаляться от нее, чувствуя к ней невольную брезгливость. Когда-то он не раз говорил, что женщина, хотя бы однажды выполнившая назначение воспроизводительницы рода, уже недостойна любви. В любви он искал восторгов какой-то крылатой страсти, уносящей два сердца к недостижимому идеалу, бесплотного слияния двух душ – словом, того надуманного, неосуществимого чувства, какое создают мечты поэтов. В живой, реальной женщине он обожал Венеру, священное лоно которой всегда должно сохранять чистые линии бесплодной красоты. Мысль о том маленьком существе, которое зачала от него эта женщина, о том человеческом зародыше, что шевелится в ее теле, оскверняет его и уже обезобразил его, вызывала у Поля Бретины непреодолимое отвращение. Для него материнство превратило эту женщину в животное. Она была теперь уже не редкостным, обожаемым созданием, волшебной грезой, а самкой, производительницей. И к этому эстетическому отвращению примешивалась даже чисто физическая брезгливость.

Но разве могла она почувствовать, угадать все это, она, которую каждое движение желанного ребенка все сильнее привязывало к любовнику? Тот, кого она обожала, кого с мгновения первого поцелуя любила все больше, не только жил в ее сердце, он зародил в ее теле новую жизнь, и то существо, которое она вынашивала в себе, толчки которого отдавались в ее ладонях, прижатых к животу, то существо, которое как будто уже рвалось на свободу, – ведь это тоже был он. Да, это был он сам, ее добрый, родной, ее ласковый, единственный ее друг, возродившийся в ней таинством природы. И теперь она любила его вдвойне – того большого Поля, который принадлежал ей, и того крошечного, еще неведомого, который тоже принадлежал ей; любила того, которого она видела, слышала, касалась, обнимала, и того, кого лишь чувствовала в себе, когда он шевелился у нее под сердцем.

Она остановилась на дороге.

– Вот здесь ты ждал меня в тот вечер, – сказала она.

И потянулась к нему, ожидая поцелуя. Он, не отвечая ни слова, холодно поцеловал ее.

А она спросила:

– Помнишь, как ты целовал мою тень? Я вот там тогда стояла.

И в надежде, что та минута повторится, она побежала по дороге, остановилась и ждала, тяжело дыша от бега. Но в лунном свете на дороге широко распластался неуклюжий силуэт беременной женщины. Поль смотрел на эту безобразную тень, протянувшуюся к его ногам, и стоял неподвижно, оскорбленный в своей поэтической чувствительности, негодуя на то, что она не знает этого, не угадывает его мыслей, что ей недостает кокетства, такта, женского чутья, чтобы понять все оттенки поведения, которого требуют от нее изменившиеся обстоятельства, и он сказал с нескрываемым раздражением:

– Перестань, Христиана. Что за ребячество! Это смешно.

Она подошла к нему, взволнованная, опечаленная, протягивая к нему руки. И припала к его груди.

– Ты теперь меньше меня любишь. Я чувствую это! Уверена в этом!

Ему стало жаль ее. Он взял обеими руками ее голову и долгим поцелуем поцеловал ее в гла-

за.

И они молча двинулись в обратный путь. Поль не знал, о чем теперь говорить с ней, а оттого, что она, изнемогая от усталости, опиралась на него, он ускорял шаг, – ему неприятно было чувствовать прикосновение ее отяжелевшего стана.

Возле отеля они расстались, и она поднялась к себе в спальню.

Из казино неслась танцевальная музыка, и Поль зашел туда посмотреть на бал. Оркестр играл вальс, все вальсировали: доктор Латон с г-жой Пайль-младшей, Андермат с Луизой Ориоль, красавец доктор Мадзелли с герцогиней де Рамас, а Гонтран с Шарлоттой Ориоль. Он что-то нашептывал девушке с тем нежным видом, который свидетельствует о начавшемся ухаживании. А она, прикрываясь веером, улыбалась, краснела и, казалось, была в восторге.

Поль услышал за своей спиной:

– Вот тебе на! Господин де Равенель волочится за моей пациенткой!

Это сказал доктор Онора, стоявший у дверей и с удовольствием наблюдавший за танцорами.

– Да, да, – добавил он, – вот уже полчаса, как ведется атака. Все заметили. И девчурке как будто это нравится.

И, помолчав, он сказал:

– А какая она милая – просто сокровище! Добрая, веселая, простая, заботливая, искренняя. Вот уж, право, славная девушка. Во сто раз лучше старшей сестры. Я их обеих с малых лет знаю... Но, представьте, отец больше любит старшую, потому что... потому что она вся в него... та же мужицкая складка. Нет той прямоты, как в младшей, она расчетливее... хитрее и завистливее... Конечно, я ничего дурного не хочу о ней сказать... она тоже хорошая девушка, а все-таки невольно сравниваешь, а как сравнишь... так и оценишь их по-разному.

Вальс уже заканчивался. Гонтран подошел к своему другу и, заметив доктора Онора, сказал:

– Доктор, поздравляю! Медицинская корпорация Анваля, кажется, приобрела весьма ценных новых членов. У нас появился доктор Мадзелли, который бесподобно танцует вальс, и старичок Блек – тот, по-видимому, в большой дружбе с небесами.

Но доктор Онора ответил очень сдержанно. Он не любил высказывать суждения о своих коллегах.

ГЛАВА II

Вопрос о докторах был теперь самым животрепещущим в Анвале. Доктора вдруг завладели всем краем, всем вниманием и всеми страстями его обитателей. Когда-то источники текли под строгим надзором одного только доктора Бонфиля, среди безобидной вражды между ним, шумливым доктором Латоном и благодушным доктором Онора.

Теперь все пошло по-другому.

Как только ясно обозначился успех, подготовленный зимою Андерматом и получивший могучую поддержку профессоров Клоша, Ма-Русселя и Ремюзю, причем каждый из них привлек на воды Монт-Ориоля не меньше чем по двести-триста больных, доктор Латон, главный врач нового курорта, стал важной особой, тем более что пользовался высоким покровительством профессора Ма-Русселя, учеником которого он был и которому подражал в осанке и в манерах.

О докторе Бонфиле уже и речи не было. Исполненный ярости и отчаяния, понося Монт-Ориоль на чем свет стоит, старый врач не высовывал носа из старой водолечебницы, где осталось лишь несколько старых пациентов. По мнению этих немногих, только он один знал по-настоящему все свойства источников и, так сказать, владел их тайной, поскольку официально вел ими со дня основания курорта.

У доктора Онора остались теперь только местные пациенты, коренные овернцы. Он довольствовался своей скромною долей и жил в добром согласии со всеми, находя утешение в картах и белом вине, ибо предпочитал их медицине.

Однако благодушие его не доходило до братской любви к коллегам.

Доктор Латон так и остался бы верховным жрецом Монт-Ориоля, если бы в один прекрасный день там не появился крошечный человечек, почти карлик, с большущей головой, ушедшей в

плечи, с круглыми глазами навывкате, короткими толстыми ручками – словом, существо, на вид весьма странное и смешное. Этот новый доктор, г-н Блек, привезенный в Анваль профессором Ремюзо, сразу же привлек к себе всеобщее внимание своей чрезмерной набожностью. Почти каждое утро между врачебными визитами он забегал помолиться в церковь и почти каждое воскресенье причащался. Вскоре приходский священник доставил ему несколько пациентов – старых дев, бедняков, которых он лечил бесплатно, а также благочестивых дам, советовавшихся со своим духовным руководителем, прежде чем позвать к себе служителя науки, и наводивших тщательные справки о его воззрениях, такте и профессиональной скромности.

Затем стало известно, что в отель «Монт-Ориоль» прибыла престарелая немецкая принцесса Мальдебургская, ревностная католичка, и в первый же вечер пригласила к себе доктора Блека, рекомендованного ей римским кардиналом.

После этого доктор Блек сразу же вошел в моду. Лечиться у него считалось хорошим тоном, хорошим вкусом, большим шиком. О нем говорили, что среди докторов это единственный вполне приличный человек, единственный врач, которому может довериться женщина.

И теперь этот карлик с головой бульдога, всегда говоривший шепотом, бегал с утра до вечера из отеля в отель и шушукался там со всеми по углам. Казалось, ему постоянно надо было сообщить или выслушать какие-то важные тайны, его то и дело встречали в коридорах, занятого секретными беседами с содержателями гостиниц, с горничными его пациентов, со всеми, кто имел касательство к его больным.

Как только он замечал на улице кого-нибудь из своих знакомых, он сразу направлялся к нему мелкими, быстрыми шажками и тотчас начинал давать пространственные советы, указания и, излагая их, бормотал себе под нос, как священник на исповеди.

Старые дамы его просто обожали. Он терпеливо выслушивал длинные истории их недугов, записывал в книжечку все их наблюдения, все вопросы, все пожелания.

Каждый день он то увеличивал, то уменьшал дозы минеральной воды, которые назначал своим больным, и это внушало им уверенность, что он неусыпно печется об их здоровье.

– На чем мы вчера остановились? Два и три четверти стакана, не так ли? – говорил он. – Прекрасно! Сегодня мы выпьем только два с половиной стакана, а завтра три... Не забудьте: завтра три стакана!.. Это очень, очень важно!

И все больные проникались убеждением, что это действительно очень, очень важно.

Чтобы не запутаться во всех этих целых числах и дробях, ни разу не ошибиться, он записывал их в книжечку. Пациент ни за что не простит ошибки на полстакана.

С такой же тщательностью он устанавливал или изменял длительность ежедневной ванны, основываясь на соображениях, известных ему одному.

Доктор Латон, завидуя и негодуя, с презрением пожимал плечами и восклицал:

– Вот шарлатан!

Ненависть к доктору Блеку доводила его до того, что иной раз он порочил даже свои минеральные воды:

– Поскольку мы еще сами-то плохо знаем, какое действие они оказывают, это ежедневное изменение дозировки – совершеннейшая нелепость, его нельзя обосновать никакими законами терапии. Такие недостойные приемы роняют авторитет медицины.

Доктор Онора только улыбался. Он всегда старался через пять минут после врачебной консультации выкинуть из головы, сколько стаканов воды предписал пить своему пациенту.

– Двумя стаканами больше, двумя меньше, – говорил он Гонтрану в веселую минуту, – это только источник заметит, да и ему-то все равно.

Он позволил себе лишь одну ехидную шутку относительно своего благочестивого коллеги, сказав, что тот врачует с благословения папского седалища.¹¹ Зависть у него была осторожная, ядовитая и спокойная.

Иногда он добавлял:

¹¹ В подлиннике игра слов: le medecin de Saint-Bain du Siede, основанная на двойном смысле слова Siege, которое означает и «седалище», и «престол» римского папы.

– О, это молодец! Он знает больных, как свои пять пальцев... а для нашего брата это важнее, чем знать их болезни.

Но вот как-то утром в отель «Монт-Ориоль» прибыла чета высокородных испанцев – герцог и герцогиня де Рамас-Альдаварра, которые привезли с собою своего домашнего врача, доктора Мадзелли из Милана.

Это был молодой человек лет тридцати, высокий, стройный, весьма приятной наружности, без бороды, но с пышными усами.

С первого же дня он покори́л всех обедавших за общим столом; герцог, особа унылая, страдавший чудовищным ожирением, не выносил одиночества и пожелал обедать вместе со всеми. Доктор Мадзелли уже знал по фамилии почти всех завсегдатаев табльдота, сумел сказать комплимент каждой даме, любезность каждому мужчине, улыбался каждому лакею.

За столом он сидел по правую руку от герцогини, эффектной дамы лет тридцати пяти – сорока, с матовой бледностью лица, с черными глазами, с густыми волосами цвета воронова крыла, и перед каждым блюдом говорил ей: «Чуть-чуть», или «Нет, этого нельзя», или: «Да, да, кушайте». Он сам наполнял ее бокал, чрезвычайно заботливо соразмеряя пропорцию вина и воды.

Он наблюдал и за питанием герцога, но с явной небрежностью. Впрочем, пациент не принимал в расчет его указаний, ел с животной прожорливостью, выпивал за едой по два графина красного вина, не разбавляя его водой, а затем выходил отдышаться на свежий воздух и, рухнув на стул у дверей отеля, принимался страдальчески охать и жаловаться на плохое пищеварение.

После первого же обеда доктор Мадзелли, успев с одного взгляда произвести всем оценку, подошел на террасе казино к Гонтрану, кутившему сигару, представился и повел с ним разговор.

Через час они уже были приятелями. На следующее утро Мадзелли попросил представить его Христиане, когда она выходила из дверей водолечебницы, завоевал в десятиминутном разговоре ее симпатию и вечером познакомил с ней герцогиню, которая, как и герцог, не любила одиночества.

Он ведал решительно всем в доме этого испанского семейства, давал превосходные кулинарные рецепты повару, делал ценные указания горничной, как ей ухаживать за волосами хозяйки, чтобы они сохранили свой великолепный цвет, блеск и пышность, кучеру сообщал полезные сведения по ветеринарии, помогал герцогской чете приятно скоротать вечерние часы, придумывал всевозможные развлечения и умел подобрать из случайных знакомых в отелях приличное общество.

Герцогиня говорила о нем Христиане:

– Ах, дорогая, он настоящий чародей, все знает, все умеет! Я обязана ему своей фигурой.

– Как так «фигурой»?

– Ну да. Я начала полнеть, а он спас меня режимом и ликерами.

Мадзелли умел сделать интересной даже медицину, говорил о ней непринужденно, весело и с поверхностным скептицизмом, тем самым показывая слушателям свое превосходство.

– Все это весьма просто, – заявлял он, – я не очень верю в лекарства, вернее, совсем не верю. В старину медицина исходила из того принципа, что на всякую болезнь есть лекарство. Люди верили, что бог в неизреченном своем милосердии сотворил целебные снадобья от всякого недуга и лишь предоставил смертным, может быть, не без умысла, заботу самим их открыть. И врачи открыли бесчисленное множество снадобий, но так и не узнали, от каких именно болезней они помогают. В действительности лекарств нет, а есть болезни. Когда болезнь определится, надо, по мнению одних, тем или иным способом прервать ее, а по мнению других – ускорить ее течение! Сколько в медицине школ, столько и методов лечения. В одном и том же случае применяются совершенно противоположные средства: одни назначают лед, другие – горячие припарки, одни предписывают строжайшую диету, другие – усиленное питание. Я уж не говорю о бесчисленных ядовитых лекарствах, которыми одарила нас химия, извлекая их из растений и минералов. Конечно, все это оказывает действие, но какое – неизвестно: иногда спасает, иногда убивает.

И он смело заявлял, что до тех пор, пока медицина не пойдет по новому пути, взяв исходной точкой химию органическую, химию биологическую, с уверенностью полагаться на нее невозможно, ибо она лишена научной основы. Он рассказывал анекдоты о чудовищных промахах круп-

нейших врачей в доказательство того, что вся их хваленая наука – сущий вздор и надувательство.

– Поддерживайте вместо всего этого энергичную деятельность тела, – говорил он, – кожи, мышц, всех органов, а главное, желудка, ибо он наш отец-кормилец, питающий весь организм, его регулятор, средоточие жизненных сил.

Он утверждал, что по своему желанию, одним только режимом может сделать людей веселыми или печальными, способными к физическому или к умственному труду – в зависимости от назначаемого питания. Может даже воздействовать на самый интеллект – на память, на воображение, на всю работу мозга. И в заключение он шутливо заявлял:

– Я все недуги лечу массажем и кюрасо.

О массаже он говорил с благоговением и называл голландца Амстранга волшебником, чудотворцем, богом. Показывая свои белые тонкие руки, он восклицал:

– Вот чем можно воскрешать мертвых!

И герцогиня подтверждала:

– В самом деле, он массирует дивно!

Он считал также превосходным средством, возбуждающим действие желудка, употребление спиртных напитков небольшими дозами и сам составлял мудреные смеси, которые герцогиня должна была пить в определенные часы – одни перед едой, другие после еды.

Каждое утро, в половине десятого, он приходил в кофейню казино и требовал свои бутылки; ему приносили эти бутылки, запечатые серебряными замочками, – ключ от них он держал при себе. Он наливал понемногу из каждой в очень красивый голубой бокал, который почтительно держал перед ним на подносе вышколенный лакей, а затем отдавал приказание:

– Ну вот, отнесите это герцогине в ванную комнату, пусть выпьет, как только выйдет из воды, еще не одеваясь.

Любопытные спрашивали:

– А что вы туда наболтали?

Он отвечал:

– Ничего особенного – крепкая анисовая, чистейший кюрасо и превосходная горькая.

Через несколько дней красавец доктор стал центром внимания всех больных, и они пускались на всяческие уловки, чтобы добиться от него советов.

В часы прогулок, когда он прохаживался по аллеям парка, со всех стульев, где сидели красивые молодые дамы, отдыхая меж двумя предписанными стаканами воды из источника Христианы, раздавались возгласы: «Доктор!» Он останавливался с любезной улыбкой, и его увлекали ненадолго на узенькую дорожку, проложенную по берегу реки.

Сначала с ним беседовали о том о сем, потом деликатно, ловко и кокетливо переходили к вопросам здоровья, но говорили таким безразличным тоном, словно речь шла о ком-то постороннем.

Ведь он не был достоянием публики, ему нельзя было заплатить, пригласить его к себе: он принадлежал герцогине, только герцогине. Но как раз это исключительное его положение и подстегивало дам, усиливало их старания. А так как все шепотком говорили, что герцогиня ревнива, страшно ревнива, между дамами началось отчаянное соперничество – каждой хотелось добиться врачебного совета от прекрасного итальянца.

Впрочем, он давал советы без особых упрасиваний.

И тогда между женщинами, которых он осчастливил своими указаниями, началась другая игра: они обменивались откровенными признаниями, желая доказать его особую заботливость.

– Ах, душечка, какие вопросы он мне задавал!

– Нескромные? Да?

– Ах, что там нескромные. Ужасные! Я не знала, что и отвечать... Он осведомлялся о таких вещах... о таких.

– Представьте, со мной было то же самое. Он все расспрашивал меня о моем муже...

– Да, да, и меня тоже... И с такими интимными подробностями... Право, я чуть не сгорела со стыда. Отвечать на такие вопросы... Хотя и понимаешь, что они необходимы.

– О, совершенно необходимы! От этих мелочей зависит здоровье. Знаете, он обещал масси-

ровать меня зимой в Париже. Мне это очень нужно, чтобы дополнить лечение водами.

– А скажите, милочка, как вы думаете отблагодарить его? Ведь ему нельзя заплатить.

– Бог мой, конечно, нельзя. Я думаю подарить ему булавку для галстука. Он, должно быть, любит булавки: я у него заметила уже две или три, и очень красивые...

– Ах, что же мне делать! Какая вы, душечка, нехорошая! Перехватили мою мысль. Ну ничего, я подарю ему кольцо.

Дамы составляли заговоры, придумывали сюрпризы, чтобы ему угодить, изящные подарки, чтобы его растрогать, всяческие милые знаки внимания, чтобы его пленить.

Он стал «гвоздем сезона», главной темой разговоров, единственным предметом всеобщего любопытства: но вдруг распространился слух, что граф Гонтран де Равенель ухаживает за Шарлоттой Ориоль и собирается на ней жениться. Весь Анваль загудел шумными пересудами.

С того вечера, как Гонтран открыл с Шарлоттой бал на празднестве в казино, он ходил за нею, как пришитый; у всех на глазах он был необыкновенно внимателен к ней, как всякий мужчина, стремящийся понравиться девушке и не скрывающий своих намерений; отношения их приняли характер веселого и откровенного флирта, который постепенно и так естественно приводит к более глубокому чувству.

Они виделись почти ежедневно, потому что обе девочки влюбились в Христиану и очень дорожили ее дружбой, в чем немалую роль играло, конечно, польщенное тщеславие. Гонтран же стал вдруг неразлучен с сестрой. По утрам он устраивал прогулки, по вечерам игры, к великому удивлению Христианы и Поля. Потом они заметили, что он как будто увлекается Шарлоттой. Он весело поддразнивал ее, но в шутках его сквозили тонкие комплименты, выказывал ей множество изящных, едва заметных знаков внимания, связывающих нежной близостью два молодых существа. Привыкнув к непринужденно-фамильярным манерам этого великосветского шалопая-парижанина, девушка вначале ничего не замечала и по природной доверчивости простодушно смеялась и дурачила с ним, как с братом.

Но однажды, когда сестры возвращались домой, проведя весь вечер в отеле за всяческими играми, в которых Гонтран несколько раз пытался поцеловать Шарлотту под предлогом выкупа «фанта», Луиза, за последние дни чем-то недовольная и угрюмая, вдруг сказала резким тоном:

– Не мешало бы тебе подумать о своем поведении. Господин Гонтран держит себя с тобой неприлично.

– Неприлично? А что он такого сказал?

– Ты прекрасно понимаешь! Нечего притворяться дурочкой. Много ли надо, чтобы скомпрометировать девушку? Раз ты не умеешь вести себя, я поневоле обязана напомнить тебе о приличиях.

Шарлотта, смущенная и пристыженная, растерянно лепетала:

– Да что же было?... Уверяю тебя... Я ничего не заметила...

Сестра строго сказала:

– Послушай, так дольше продолжаться не может! Если он хочет на тебе жениться, пусть поговорит с папой; тут уж будет решать папа. А если он хочет только позабавиться, надо это немедленно прекратить.

Шарлотта вдруг рассердилась, сама не зная, на что и почему. Ей показалось ужасно обидным, что сестра взяла на себя роль наставницы и делает ей выговоры; дрожащим голосом, со слезами на глазах она потребовала, чтобы Луиза не вмешивалась в чужие дела, которые нисколько ее не касаются. Она разгорячилась и говорила, заикаясь. Смутный, но верный инстинкт подсказывал ей, что в самолюбивой душе Луизы проснулась зависть.

Они отправились спать, не поцеловавшись на прощанье, и Шарлотта долго плакала в постели, размышляя о многом таком, что раньше ей и в голову не приходило.

Потом она перестала плакать и задумалась.

Ведь и в самом деле Гонтран держит себя с нею совсем иначе, чем прежде. Она это сама чувствовала, но только не понимала. А теперь вот поняла. Он то и дело говорит ей что-нибудь милое, приятное. Один раз даже поцеловал ей руку. Чего ж он добивается? Она нравится ему, но очень ли нравится? А что, если он хочет на ней жениться? И тотчас ей послышалось, что в ночной тишине,

где уже реяли над нею сны, чей-то голос крикнул: «Графиня де Равенель!»

От волнения она села в постели, потом нащупала ночные туфли под стулом, на который бросила платье, встала и, подойдя к окну, бессознательно распахнула его, словно мечтам ее тесно было в четырех стенах.

Из окна нижней комнаты слышался гул разговора, потом раздался громкий голос Великана:

– Оставь, оставь! Успеется! Посмотрим, что будет. Отец все уладит. Дурного-то пока ничего нет. Отец знает, что к чему.

На стене противоположного дома светлым прямоугольником вырисовывалось окно, отворенное под ее окном. И Шарлотта подумала: «Кто это там? О чем они говорят?» По освещенной стене промелькнула тень. Это была ее сестра. Как, значит, она еще не ложилась! Почему? Но свет погас, и Шарлотта вернулась к мыслям, смутившим ее сердце.

Теперь уж ей ни за что не уснуть. Неужели он ее любит? Ах нет, нет, пока еще не любит! Но может полюбить, раз она ему нравится. А если он полюбит ее, сильно, безумно, страстно, как любят в светском обществе, он, конечно, женится на ней.

Дочка крестьянина-винодела, хоть и получила воспитание в Клермонском монастырском пансионе, сохранила, однако, смиренную приниженность крестьянки. Она думала, что может выйти замуж за нотариуса или за адвоката, за врача, но никогда у нее и желания не возникало стать знатной дамой, носить фамилию с дворянским титулом. Лишь изредка, закрыв прочитанный роман, она несколько минут предавалась такого рода туманным мечтаниям, но грезы тотчас же улетали, как фантастические химеры, едва коснувшись ее души. И вдруг от слов сестры все это несбыточное, немыслимое стало как будто возможным, приблизилось, словно парус корабля, гонимого ветром.

И, глубоко вздыхая, она беззвучно шептала: «Графиня де Равенель».

Она лежала с закрытыми глазами, и в темноте перед ней проплывали видения: залитые светом красивые гостиные, красивые дамы, улыбающиеся ей, красивая карета, ожидающая ее у подъезда старинного замка, рослые лакеи в шитых золотом ливреях, сгибающие спину в поклоне, когда она проходит мимо.

Ей стало жарко в постели, сердце у нее колотилось. Она еще раз встала, выпила стакан воды и несколько минут постояла босая на холодном каменном полу.

Потом она мало-помалу успокоилась и заснула. Но на рассвете она уже открыла глаза: мысли, взволновавшие ее, не давали ей покоя.

Она оглядела свою комнатку, и ей стало стыдно, что все тут такое убогое: и стены, выбеленные известкой, – работа бродячего маляра-стекольщика, и дешевенькие ситцевые занавески на окнах, и два стула с соломенными сиденьями, никогда не покидавшие назначенного для них места по сторонам комода.

Среди этой деревенской обстановки, так ясно говорившей о ее происхождении, она чувствовала себя простой крестьянкой, полна была смирения, казалась себе недостойной этого красивого белокурого насмешника-парижанина, а меж тем его улыбающееся лицо неотступным видением вставало перед ней, стушевывалось, снова выступало и мало-помалу покоряло ее, запечатлевалось в сердце.

Шарлотта соскочила с постели и побежала к комоду за своим зеркалом, круглым туалетным зеркальцем величиной с доньшко тарелки; потом снова легла и, держа в руках зеркало, стала рассматривать свое собственное личико, выделявшееся на белой подушке в рамке рассыпавшихся темных волос.

Порой она откладывала этот кусочек стекла, отражавший ее лицо, и задумывалась, – расстояние между графом де Равенелем и ею представлялось ей огромным, а брак этот – немыслимым. И сердце у нее сжималось. Но тотчас же она снова смотрелась в зеркало, улыбалась, чтобы понравиться себе, находила, что она хорошенькая, и все препятствия рассеивались, как дым.

Когда она сошла вниз к завтраку, сестра с раздраженным видом спросила:

– Ты что сегодня думаешь делать?

Шарлотта без колебаний сказала:

– Мы же едем сегодня в Руайя с госпожой Андермат. Ты разве забыла?

Луиза ответила:

– Можешь ехать одна, если хочешь... Но лучше бы ты вспомнила, что я тебе говорила вчера!..

Младшая сестра отрезала:

– Я у тебя не спрашиваю советов, не вмешивайся... Это тебя не касается.

И они уж больше не разговаривали друг с другом.

Пришли отец и брат и сели за стол. Старик тотчас спросил:

– Ну, дочки, что нынче делать будете?

Шарлотта, не дожидаясь ответа сестры, заявила:

– Я поеду в Руайя с госпожой Андермат.

Отец и сын хитро переглянулись, у главы семейства промелькнула благодушная улыбка, всегда появлявшаяся на его лице, когда речь заходила о выгодном дельце.

– Ладно, ладно, поезжай, – сказал он.

Скрытое удовольствие, сквозившее во всех повадках отца и брата, удивило Шарлотту еще больше, чем откровенное раздражение Луизы, и она с некоторым смущением подумала: «Может быть, они уже говорили об этом между собой?»

Как только завтрак кончился, она поднялась к себе в комнату, надела шляпку, взяла зонтик, перекинула на руку легкую мантильку и пошла в отель, потому что выехать решено было в половине второго.

Христиана удивилась, что не пришла Луиза.

Шарлотта, краснея, ответила:

– Ей нездоровится, голова болит.

Все сели в ландо, в большое шестиместное ландо, в котором всегда совершали дальние прогулки. Маркиз с дочерью сидели на заднем сиденье, а Шарлотте оставили место на передней скамейке между Полем Бретињи и Гонтраном.

Проехали Турноэль, потом свернули на живописную дорогу, извивавшуюся под горой, обсаженную ореховыми и каштановыми деревьями. Шарлотта несколько раз замечала, что Гонтран прижимается к ней, но он делал это так осторожно, что она не могла оскорбиться. Он сидел справа от нее и, когда разговаривал с ней, едва не касался лицом ее щеки; отвечая ему, она не смела повернуться, боясь его дыхания, которое она уже чувствовала на своих губах, боясь его глаз, взгляд которых смущал ее.

Он говорил ей всякий милый ребяческий вздор, забавные глупости, шутливый комплименты.

Христиана почти не принимала участия в разговоре, ощущая недомогание во всем своем отяжелевшем теле. Поль казался грустным, озабоченным. Один лишь маркиз поддерживал беседу, болтая невозмутимо и беззаботно, с обычной своей живой непринужденностью избалованного старого дворянина.

В Руайя вышли из коляски послушать в парке музыку; Гонтран, подхватив под руку Шарлотту, убежал вперед. В открытой беседке играл оркестр, дирижер помахивал палочкой, подбадривая то скрипки, то медные инструменты, а вокруг расселось на стульях целое полчище курортных обитателей, разглядывая гуляющих. Дамы демонстрировали свои туалеты, свои ножки, вытягивая их на перекладину переднего стула, свои воздушные летние шляпки, придававшие им еще больше очарования.

Шарлотта и Гонтран, бродя на кругу, отыскивали среди сидящей публики смешные физиономии и потешались над ними.

За их спиной то и дело раздавались возгласы:

– Смотрите, какая хорошенькая!

Гонтран был польщен, ему хотелось знать, за кого принимают Шарлотту: за его сестру, жену или за любовницу?

Христиана сидела между отцом и Полем Бретињи, следила глазами за этой парочкой и, находя, что они слишком «расшалились», подозвала их, чтобы унять. Но они, не вняв ее наставлениям, опять отправились бродить в толпе гуляющих и забавлялись от души.

Христиана тихонько сказала Полю Бретињи:

– Кончится тем, что он ее скомпрометирует. Когда вернемся домой, надо поговорить с ним.

Поль ответил:

– Я тоже подумал об этом. Вы совершенно правы.

Обедать поехали в Клермон-Ферран, так как, по мнению маркиза, любителя хорошо поесть, рестораны в Руайя никуда не годились; в обратный путь отправились уже в темноте.

Шарлотта вдруг стала серьезной, – когда вставали из-за стола, Гонтран, передавая ей перчатки, крепко сжал ее руку. Девичья совесть забила тревогу. Ведь это было признание в любви! Намеренное! В нарушение приличий! Что теперь делать? Поговорить с ним? Но что же ему сказать? Рассердиться было бы смешно. В таких обстоятельствах нужен большой такт! А если ничего не сделать, ничего не сказать, ему покажется, что она принимает его заигрывания, готова стать его сообщницей, отвечает «да» на это пожатие руки.

И, взвешивая все, она корила себя за то, что чересчур разошлась, была в Руайя чересчур развязна, теперь ей уже казалось, что сестра была права, что она скомпрометировала, погубила себя! Коляска катилась по дороге, Поль и Гонтран молча курили, маркиз дремал, Христиана смотрела на звезды, а Шарлотта с трудом сдерживала слезы – в довершение всего она выпила за обедом три бокала шампанского.

Когда приехали в Анваль, Христиана сказала отцу:

– Какая темень! Папа, ты проводишь Шарлотту?

Маркиз предложил девушке руку, и они тотчас скрылись из глаз.

Поль схватил Гонтрана за плечи и шепнул ему:

– Зайдем-ка на пять минут к твоей сестре. У нее, да и у меня тоже, есть к тебе серьезное дело.

И все трое поднялись в маленькую гостиную, смежную с комнатами Андермата и его жены. Как только они уселись, Христиана сказала:

– Вот что, Гонтран, мы с господином Бретињи хотим сделать тебе внушение.

– Внушение? А в чем я грешен? Я веду себя паинькой за отсутствием соблазнов.

– Не шути, пожалуйста. Неужели ты не видишь, что поступаешь очень неосторожно и просто некрасиво? Ты компрометируешь эту девочку.

Гонтран сделал удивленное лицо:

– Какую девочку?... Шарлотту?

– Да, Шарлотту.

– Я компрометирую Шарлотту?...

– Да, компрометируешь. Здесь все об этом говорят. А сегодня вечером в парке Руайя вы вели себя очень... очень... легкомысленно. Правда, Бретињи?

Поль ответил:

– Да, да. Я вполне с вами согласен.

Гонтран повернул стул, сел на него верхом, достал новую сигару, закурил и расхохотался:

– Ах, вот как! Я, оказывается, компрометирую Шарлотту Ориоль!

Он сделал паузу, чтобы усилить эффект своих слов, и отчеканил:

– А почему вы думаете, что я не хочу жениться на ней?

Христиана вздрогнула от изумления:

– Жениться на ней?... Что ты!.. Ты с ума сошел!

– А отчего бы и не жениться?

– На ней?... На этой крестьяночке?...

– Та-та-та!.. Предрассудки!.. Откуда ты их набралась? От своего супруга?

Христиана ничего не ответила на этот недвусмысленный намек, и тогда он произнес целую речь, задавая вопросы и сам отвечая на них:

– Хорошенькая она? – Да. – Благовоспитанная? – Да. И к тому же чистосердечная, милая, искренняя, естественная – не то, что светские барышни. Образование же у нее не хуже, чем у них: говорит по-английски и по-овернски, а это уже целых два иностранных языка. Состояние у нее будет не меньше, чем у любой дворянской наследницы из бывшего Сен-Жерменского предместья,

которое следовало бы окрестить «Пустокарманным предместьем».¹² Она дочь мужика? Ну что ж, значит, у нее здоровая кровь, и она народит мне прекрасных ребятишек. Вот вам!..

Так как он излагал все эти доводы по-прежнему шутливым, насмешливым тоном, Христиана спросила нерешительно:

– Послушай, ты серьезно говоришь?

– Да еще как серьезно! Девчурка – само очарование. Сердце доброе, личико прелестное, характер веселый, настроение всегда прекрасное, щечки розовые, глаза ясные, зубки белые, губки алые, косы длинные и густые, блестящие, шелковистые. Пускай ее папаша – мужик, зато он будет богат, как Крез, благодаря твоему супругу, дорогая сестрица! Дочь мужика! Подумаешь? Да неужели дочь мужика хуже, чем дочери всяких грабителей-дельцов, которые так дорого платят за сомнительные герцогские гербы, или дочери титулованных кокоток, которыми наградила нас Империя, или же дочери двух отцов, каких мы так часто встречаем в обществе? Да если я женюсь на Шарлотте, это будет первый разумный поступок в моей жизни!..



Христиана молчала, погрузившись в размышления: потом, покоренная, убежденная этими доводами, радостно воскликнула:

– А ведь он верно говорит! Все, все верно! Он совершенно прав!.. Так ты женишься на ней, миленький мой Гонтран?...

Тогда он принялся охлаждать ее восторг:

– Ну, не спеши, не спеши!.. Дай мне поразмыслить. Я только высказываю несомненную истину: если я женюсь на Шарлотте, это будет первый разумный, рассудительный поступок в моей жизни. Но это еще не значит, что я женюсь на ней. Я подумываю об этом, приглядываюсь,

¹² «Пустокарманный предместье» – намек на обнищание старинного французского дворянства, которое в конце XIX века по традиции проживало в аристократическом Сен-Жерменском предместье Парижа.

немножко ухаживаю за ней, чтоб посмотреть, понравится ли она мне по-настоящему. Словом, я не говорю ни «да», ни «нет», но скорее готов сказать «да», чем «нет».

Христиана спросила:

– А что вы об этом думаете, господин Бретињи? – Она звала Поля то господин Бретињи, то просто Бретињи.

Поля всегда пленяли поступки, в которых он усматривал душевное благородство, неравные браки, если он предполагал в них какие-нибудь рыцарские побуждения, всякий пышный покров, украшающий человеческие чувства. Он ответил:

– Я также считаю теперь, что он совершенно прав. Если она ему по душе, пусть женится. Лучшей невесты ему не найти...

Но тут явились маркиз и Андермат – пришлось заговорить о другом. Поль и Гонтран отправились в казино посмотреть, открыт ли еще игорный зал.

С того дня Христиана и Поль начали явно покровительствовать открытому ухаживанию Гонтрана за Шарлоттой.

Девушку чаще стали приглашать, оставляли обедать, обращались с нею так, словно она уже была членом семьи.

Шарлотта все это прекрасно видела, понимала и была без ума от радости. Головка у нее кружилась, она строила воздушные замки. Правда, Гонтран ничего еще не сказал ей, но все его обращение, все его слова, тон, которым он говорил с нею, более почтительный оттенок ухаживания, ласковый взгляд ежедневно, казалось, говорил ей: «Вы моя избранница. Вы будете моей женой».

А у нее во всем сказывалось теперь нежное доверие к нему, кроткая покорность, целомудренная сдержанность, как будто говорившие: «Я все знаю, и, когда вы попросите моей руки, я отвечу „да“».

В семье у нее шушукались. Луиза говорила с ней только для того, чтобы рассердить ее обидными намеками, ехидными колкостями. Но старик Ориоль и Жак, видимо, были довольны.

Однако Шарлотта ни разу не спросила себя, любит ли она этого красивого поклонника, чьей женой она, несомненно, будет. Он ей нравился, она непрестанно думала о нем, находила, что он очень мил, остроумен, изящен, но больше всего думала о том, что она будет делать, когда выйдет за него замуж.

В Анвале все позабыли о злобном соперничестве докторов и владельцев источников, о предполагаемом романе герцогини де Рамас с ее домашним врачом, о всех сплетнях, которых на курортах не меньше, чем воды в источниках, и заняты были только одной сенсационной новостью: граф Гонтран де Равенель женится на младшей дочке Ориоля.

Тогда Гонтран решил, что пора действовать, и однажды утром, когда встали из-за стола, взял Андермата под руку и сказал ему:

– Дорогой мой! Вспомним пословицу: «Куй железо, пока горячо». Дело обстоит так. Девочка ждет моего предложения, хотя я еще ничем не связал себя, и, будьте уверены, она не отвергнет меня. Однако надо прощупать намерения ее папаши, чтобы ни вы, ни я не остались внакладе.

Андермат ответил:

– Не беспокойтесь. Я возьмусь за это. Сегодня же отправлюсь на разведку и, ничем вас не компрометируя, не называя вашего имени, все узнаю. А как только положение станет совершенно ясным, сосватаю вас.

– Великолепно.

Помолчав немного, Гонтран добавил:

– Послушайте, может быть, это последний день моей холостяцкой жизни. Я поеду сейчас в Руайя – там я в прошлый раз видел кое-кого из знакомых. Я вернусь ночью и постучусь к вам, спрошу о результатах.

Он велел оседлать лошадь и поехал верхом горной дорогой, с наслаждением вдыхая чистый, живительный воздух, иногда поднимая лошадь в галоп, чтобы почувствовать, как быстрые, ласковые дуновения ветра приятно холодят лицо и щекочут его, забираясь в усы.

Вечер в Руайя прошел весело. Гонтран встретил приятелей, приехавших в сопровождении

кокоток. Ужинали долго, и он вернулся очень поздно. В «Гранд-отеле Монт-Ориоля» все давно уже спали, когда Гонтран принялся стучать в дверь Андермата.

Сначала никто не отзывался, но, когда он забарабанил изо всей силы, из комнаты послышался сонный, сиплый голос, сердито спросивший:

– Кто там?

– Это я, Гонтран.

– Подождите, сейчас отопру.

И на пороге появился Андермат в ночной сорочке, с заспанным лицом, с включенной бородкой, с шелковым платком на голове. Потом он снова забрался в постель, сел и вытянул руки на одеяле.

– Ну, милый мой, не клеится дело! Я прощупал намерения этого старого хитреца Ориоля, не упоминая вашего имени, – сказал, что одному из моих друзей (можно было подумать, что Полю Бретины) подошла бы та или другая его дочка, и спросил, какое он дает за ними приданое. А он в ответ спросил: «Какое состояние у жениха?» Я сказал: «Триста тысяч франков да еще надежды на наследство».

– Но у меня же ничего нет, – пробормотал Гонтран.

– Я вам дам взаймы, дорогой. Если мы с вами обделаем это дельце, ваши участки принесут мне достаточно, чтобы возместить такую сумму.

Гонтран усмехнулся:

– Великолепно! Мне – жену, вам – деньги.

Но Андермат рассердился:

– Ах, так! За мои хлопоты да меня же оскорбляете! Довольно! Кончим на этом...

Гонтран извинился:

– Не гневайтесь, дорогой, простите меня. Я знаю, что вы вполне порядочный человек, безупречно честный в делах. Будь я вашим кучером, я бы не попросил у вас на водку, но будь я миллионером, я доверил бы вам свое состояние...

Вильям Андермат успокоился и продолжал:

– Мы еще поговорим об этом, а теперь давайте покончим с главным вопросом. Старик ловко вывернулся, он ответил: «Приданое... Это смотря, о ком речь. Если о старшей, о Луизе, так вот какое у ней приданое...» И он перечислил все участки вокруг наших построек – те самые, что соединяют водолечебницу с отелем и отель с казино, – словом, все те, которые нам необходимы, которым для меня цены нет. А за младшей он что ж дает? Другой склон горы. Позднее и та земля, конечно, тоже будет дорого стоить, да мне-то она не нужна. Уж я на все хитрости пускался, чтобы он поделил по-иному и дал за младшей то, что задумал дать старшей. Но куда там! Не убедишь этого упрямого осла... Уперся на своем. Поразмыслите-ка и скажите, что вы об этом думаете.

Гонтран, до крайности смущенный и озадаченный, ответил:

– А вы сами-то что думаете? Как вам кажется, он меня имел в виду, принимая такое решение?

– Несомненно. Хитрый мужик сообразил: «Раз девчонка ему нравится, побережем добро». Он надеется выдать за вас свою дочку, но лучшие земли не выпускать из рук... А может быть, он хлопочет о старшей дочери. Кто его знает!.. Она его любимица... Больше на него походит... куда хитрее, пронырливее, практичнее младшей... По-моему, она девица с головой. Я бы на вашем месте взял другой прицел...

Гонтран растерянно бормотал:

– Как же это! Ах, черт, ах, черт! А те земли, которые за Шарлоттой дают... Вам они совсем не подходят?

Андермат воскликнул:

– Мне?... Нет! Ни в какой мере! Мне нужны участки, соединяющие мою водолечебницу, мой отель и мое казино. Это же проще простого. Другие участки можно будет продавать клочками дачникам, но значительно позднее, а сейчас я за них ни гроша не дам...

Гонтран все твердил:

– Ах, черт!.. Ах, черт!.. Чепуха какая получается!.. Так вы, значит, советуете мне...

– Я ничего вам не советую. Я только говорю: подумайте хорошенько и тогда уж выбирайте между двумя сестрами.

– Да, да, правильно!.. Я подумаю... А сейчас пойду спать... Утро вечера мудренее...

Он поднялся. Андермат удержал его:

– Простите, дорогой, еще два слова – о другом. Я хоть и делаю вид, что не понимаю, но на самом деле прекрасно понимаю ваши непрестанные колкие намеки и больше их выслушивать не намерен. Вы корите меня за то, что я еврей, то есть умею наживать деньги, за то, что я скуп, что спекуляции мои, по-вашему, близки к мошенничеству. Однако, милый мой, я только и делаю, что ссужаю вас этими самыми деньгами, даю их вам займы без отдачи, а они достаются мне не так уж легко. Ну хорошо, это все неважно. Но есть одно обвинение, которое я решительно отмечаю, решительно! Скупым меня назвать нельзя. Кто делает вашей сестре подарки по двадцать тысяч франков? – Андермат. Кто купил за десять тысяч картину Теодора Руссо¹³ и преподнес ее вашему отцу, потому что ему хотелось ее иметь? – Андермат. А кто подарил вам здесь, в Анвале, лошадь, на которой вы сегодня ездили в Руайя? – Все тот же Андермат. Так в чем же проявляется моя скупость? В том, что я не позволяю себя обкрадывать? Ну что ж, это чисто еврейская черта, и вы правы, милостивый государь. Я сейчас выскажусь по этому поводу раз и навсегда. Нас считают скупцами потому, что мы всему знаем цену. Для вас рояль – это рояль, стул – это стул, брюки – это брюки. И для нас, конечно, тоже, но вместе с тем для нас – это товар, имеющий определенную рыночную стоимость, и практический человек должен уметь с одного взгляда точно ее установить – не из скупости, а чтобы не потакать жульничеству.

Что бы вы сказали, если б в табачной лавке с вас запросили четыре су за коробок восковых спичек или за марку в три су? Вы вознегодовали бы, вы побежали бы за полицейским, милостивый государь, – из-за одного су, из-за одного су! И все только потому, что вы случайно знаете цену этих двух предметов. А вот я знаю цену любых предметов, которые можно продать и купить. Вы преисполнитесь возмущения, если с вас потребуют четыре су за марку в три су, а я возмущаюсь, когда с меня запрашивают двадцать франков за дождевой зонт, стоящий пятнадцать франков. Понятно? Я протестую против гнусного воровства, укоренившегося в обычаях торговцев, слуг, кучеров. Я протестую против коммерческой непорядочности вашей нации, которая нас презирает. Я даю на чай в соответствии с оказанной мне услугой, а не так, как вы, ибо у вас во всем фантазия, и вы швыряете то пять франков, то пять су, смотря по настроению. Понятно вам?

Гонтран поднялся и с тонкой иронической усмешкой, так подходившей к его лицу, ответил:

– Понятно, все понятно, дорогой. Вы правы, вы совершенно правы, тем более что мой дед, старый маркиз де Равенель, почти ничего не оставил моему бедненькому папе, потому что имел дурную привычку не брать сдачи у купцов, если платил им за что-нибудь. Он считал это недостойным дворянина и всегда давал круглую сумму и полновесной монетой.

И Гонтран вышел с очень довольным видом.

ГЛАВА III

На следующий день, в обеденный час, когда все уже собрались перейти из гостиной в отдельную столовую, отведенную для семейства Андермат и Равенель, Гонтран распахнул дверь и с порога возвестил:

– Сестры Ориоль!

Они вошли, стесняясь, краснея, а Гонтран, шутливо подталкивая их, объяснял:

– Вот и они! Похитил обеих среди бела дня, на глазах у возмущенных прохожих. Привел их силой, потому что желаю объясниться с мадемуазель Луизой и, конечно, не могу это сделать при посторонней публике.

Он отобрал у девушек шляпки, зонтики – они возвращались с прогулки, – усадил их, поцеловал сестру, пожал руки отцу, зятю и Полю Бретины, затем снова подошел к Луизе.

– Ну-с, мадемуазель, извольте сказать, что вы имеете против нас с некоторых пор?

¹³ Теодор Руссо (1812–1867) – художник-пейзажист барбизонской школы.

У Луизы был испуганный вид, словно у птицы, пойманной в сети и попавшей в руки птицелова.

– Ничего, сударь! Право же, ничего! Кто вам это сказал?

– Я сам вижу – по всему вижу! Вы к нам теперь не заглядываете, не катаетесь с нами в Ноевом ковчеге (так он окрестил дряхлое ландо). При встрече со мною, при моих робких попытках заговорить с вами вы смотрите на меня суровым взглядом.

– Да нет же, вы ошибаетесь, сударь! Уверю вас!

– Нет, не ошибаюсь. Я утверждаю истину. Однако дольше я это терпеть не намерен и желаю сегодня же заключить мир. Прошу мне не перечить! Я дьявольски упрям. Сколько вы ни хмурьтесь, а я сумею отучить вас от таких повадок, и вы будете с нами приветливы, как ваша сестрица, сей ангел доброты!

Доложили, что обед подан, все направились в столовую. Гонтран повел к столу Луизу. Он расточал знаки внимания обеим сестрам, с удивительным тактом распределяя между ними свои любезности. Младшей он говорил:

– Вы наш старый товарищ, а поэтому я несколько дней буду менее внимателен к вам. С друзьями не церемонятся, как вам известно.

А старшей он говорил:

– Мадемуазель! Я решил вас пленить и, как честный противник, предупреждаю вас о своем намерении заранее. Я даже буду усиленно ухаживать за вами. Ах, вы краснеете? Хороший признак. Вы увидите, как я бываю неотразим, когда захочу. Не правда ли, мадемуазель Шарлотта?

Обе девушки краснели, а Луиза смущенно и степенно говорила:

– Ах, сударь!.. Какой вы ветреник!

Он восклицал:

– Полноте! То ли вы еще услышите в обществе, когда станете замужней дамой, что, несомненно, случится очень скоро. Боже! Сколько вам будут говорить комплиментов!

Христиана и Поль втайне одобряли его за то, что он привел Луизу; маркиз улыбался, забавляясь его вычурными любезностями; Андермат думал: «Молодчик-то, оказывается, неглуп!» А Гонтран злился, что ему приходится из корысти изображать вздыхателя старшей сестры, тогда как его влечет к младшей, и, улыбаясь Луизе, мысленно грозил ей, стискивая зубы: «Ну, погоди! Твой папаша, старый мошенник, вздумал надуть меня, так ты у меня попляшешь, ты у меня, деточка, будешь как шелковая!»

Он переводил взгляд с одной сестры на другую и сравнивал их. Конечно, младшая гораздо милее – ему все нравилось в ней: задорная живость, чуть вздернутый носик, блестящие глаза и узкий лоб, прекрасные, несколько крупные зубы и алый, довольно большой рот.

Однако и старшая тоже очень недурна, хотя она холоднее, не такая веселая. Никогда она не позабавит остроумием, не очарует в интимной жизни, но если у дверей балльной залы лакей возвестит: «Графиня де Равенель» – не стыдно будет войти с ней под руку, она, пожалуй, лучше, чем младшая сестра, сумеет поставить себя в свете, особенно когда попривыкнет и приглядится. И все-таки он был взбешен, он затаил злобу против них обеих, против их отца, против брата и давал себе слово отплатить им всем за свою неудачу – позднее, когда будет хозяином положения.

После обеда он подсел в гостиной к Луизе и попросил ее погадать ему на картах – она слыла хорошей гадалкой. Маркиз, Андермат и Шарлотта внимательно слушали, поддаваясь невольному влечению к неведомому, к невероятному, которое вдруг да станет возможным, той неискоренимой вере в чудесное, которая так крепко сидит в человеке, что иной раз даже самый трезвый ум смущают глупейшие измышления шарлатанов.

Поль и Христиана разговаривали в нише отворенного окна.

С некоторых пор Христиана была сама не своя, чувствуя, что Поль уже не любит ее так, как раньше. И разлад с каждым днем углублялся по вине их обоих. В первый раз она догадалась о своем несчастье в вечер праздника, когда повела Поля на дорогу в Ла-Рош-Прадьер. Она видела, что уже нет прежней нежности в его взглядах, прежней ласки в голосе, исчезло страстное внимание к ней, но не могла угадать причину такой перемены.

А началось это уже давно, с того часа, когда она, придя на ежедневное свидание, сияющая,

счастливая, сказала ему: «А знаешь, я, кажется, в самом деле беременна». У него от этих слов холод побежал по спине – такое неприятное чувство они вызвали.

И с тех пор она при каждой встрече говорила с ним о своей беременности, переполнявшей радость ее сердце, но постоянные разговоры о том, что Поль считал досадным, противным и каким-то неопытным, коробили его, мешали его восторженному преклонению перед обожаемым кумиром.

Позднее, замечая, как она изменилась, похудела, осунулась, какие у нее некрасивые желтые пятна на лице, он стал думать, что ей следовало бы избавить его от такого зрелища, исчезнуть на несколько месяцев, а потом предстать перед ним, блистая свежестью и новой красотой, предав забвению неприятное происшествие или же умело сочетая с обольстительной прелестью любовницы иное обаяние – тонкое обаяние умной, неназойливой молодой матери, показывающей своего ребенка лишь издали в ворохе розовых лент.

И ведь у нее был на редкость удобный случай проявить тактичность, которой он ждал от нее: она могла уехать на лето в Монт-Ориоль, а его оставить в Париже, чтоб он не видел ее поблекшего лица и обезображенной фигуры. Он очень надеялся, что она сама это поймет.

Но лишь только Христиана приехала в Овернь, она стала звать его в бесчисленных письмах, звала так настойчиво, с таким отчаянием, что он поддался слабости, жалости и приехал к ней. И теперь его тяготила неуклюжая, слезливая нежность этой женщины, ему безумно хотелось бросить ее, никогда больше не видеть, не слышать ее раздражающего, неуместного любовного воркования. Ему хотелось выложить все, что накопилось на сердце, объяснить, как неловко и глупо она ведет себя, но сделать это было нельзя, а уехать тоже было неудобно, и нетерпеливая досада невольно прорывалась у него в желчных, обидных словах.

Она страдала от этого, страдала тем сильнее, что постоянно чувствовала теперь недомогание, тяжесть, что ее мучили все страхи беременных женщин, и она так нуждалась в утешении, в ласке, в нежной привязанности. Ведь она любила его всем своим существом, каждой жилкой, каждым движением души, любила беззаветной, беспредельной, жертвенной любовью. Теперь она уже считала себя не любовницей его, а его женой, подругой жизни, преданной, верной, покорной его рабой, его вещью. Теперь уж для нее речи быть не могло о каких-то ухаживаниях, ухищрениях женского кокетства, о непрестанных стараниях нравиться и прельщать – ведь она вся, вся принадлежала ему, они были связаны такими сладостными и могучими узами – у них скоро должен был родиться ребенок.

Как только они уединились в нишу окна, Христиана принялась за обычные свои нежные селования:

– Поль, милый мой, родной мой, скажи, ты по-прежнему любишь меня?

– Да, да. Послушай, нельзя же так: каждый день одно и то же! Это в конце концов становится утомительным.

– Прости, но мне теперь уже не верится, мне так нужно, чтоб ты успокоил меня, так хочется услышать от тебя дорогое слово. А ты ведь не часто говоришь его теперь, вот и приходится выпрашивать его, выклянчивать, как милостыню.

– Ну хорошо, я тебя люблю! Но, ради бога, поговорим о чем-нибудь другом. Умоляю!

– Какой ты жестокий!

– Нет, неправда. Я совсем не жестокий. Только... только... Как ты не можешь понять, что...

– Ах, я все понимаю... прекрасно понимаю, что ты разлюбил меня. Если бы ты знал, как мне больно!

– Перестань, Христиана, прошу тебя, пощади мои нервы! Если б ты знала, до чего неумно ты себя ведешь!

– Боже мой! Если бы ты любил меня, ты никогда бы этого не сказал.

– Да черт возьми, если бы я тебя разлюбил, так ни за что бы сюда не приехал!

– Ну, не сердись. Ведь ты мой, такой мне близкий, и я тоже вся принадлежу тебе. Наш ребенок связывает нас нерасторжимыми узами. А все-таки... если когда-нибудь... если придет такой день, что ты разлюбишь меня, ты скажешь мне это? Обещаешь?

– Обещаю.

– Поклянись.

– Клянусь.

– Но даже и тогда мы останемся друзьями. Ведь правда?

– Разумеется, останемся друзьями.

– В тот день, когда ты почувствуешь, что уже не любишь меня настоящей любовью, ты придешь ко мне и скажешь: «Милая моя Христиана, я очень тебя люблю, но это уже не то, что прежде. Будем друзьями, только друзьями».

– Ну конечно, обещаю тебе.

– Даешь слово?

– Даю.

– И все же мне будет очень, очень горько! Как ты любил меня в прошлом году!

У дверей раздался голос лакея:

– Герцогиня де Рамас-Альдаварра!

Она пришла запросто, по-соседски; Христиана каждый вечер принимала у себя курортную знать, как владетельные особы принимают заезжих гостей в своем королевстве.

За прекрасной испанкой следовал с покорной улыбкой доктор Мадзелли. Хозяйка и гостя пожали друг другу руки, сели и завели разговор.

Андермат позвал Поля:

– Дорогой друг, идите к нам! Мадемуазель Ориоль замечательно гадает на картах. Она столько мне тут предсказала!

И, взяв его под руку, Андермат добавил:

– Удивительный вы человек! В Париже мы вас видели раз в месяц, и того реже, несмотря на усердные приглашения моей жены. Чтобы вытащить вас сюда, нам пришлось бомбардировать вас письмами. А с тех пор, как вы приехали, у вас такой унылый вид, словно вы ежедневно теряете по миллиону. Что с вами? Вас беспокоит какая-нибудь неприятность? Скажите, не скрывайте! Может быть, удастся помочь вам.

– Ну что вы, дорогой, никаких неприятностей у меня нет. Если я не часто бывал у вас в Париже... так ведь это Париж... сами понимаете!

– Еще бы! Конечно, понимаю... Ну хоть здесь-то встряхнитесь, будьте повеселее. Я тут затеваю два-три праздника. Надеюсь, они пройдут удачно.

Лакей доложил:

– Госпожа Барр и профессор Клош.

Клош пришел со своей дочерью, молодой и вызывающе кокетливой рыжеволосой вдовушкой. И тотчас же лакей выкрикнул:

– Профессор Ма-Руссель.

Со вторым профессором явилась его жена, бледная перезрелая дама с гладкими начесами на висках.

Профессор Ремюзо накануне уехал, купив дачу, в которой он жил, и, как говорили, на очень выгодных условиях. Двум его коллегам очень хотелось узнать, что это за условия, но Андермат ответил только:

– О, мы очень легко договорились к обоюдной выгоде! Если вы пожелаете последовать его примеру, – пожалуйста, можно будет столкнуться... Когда надумаете, сообщите мне, и мы побеседуем.

Затем явился доктор Латон, а за ним доктор Онора без супруги – он никогда не показывался с ней в обществе.

В гостиной раздавался теперь разноголосый гул разговоров. Гонтран не отходил от Луизы, тихо говорил ей что-то, наклоняясь к ее плечу, и время от времени, смеясь, пояснял тем, кто проходил мимо них:

– Стараюсь покорить своего врага!

Мадзелли подсел к дочери профессора Клоша, он уже несколько дней ходил за ней по пятам, и бойкая вдовушка кокетничала с новым поклонником напропалую.

Герцогиня искоса следила за ними, раздувая ноздри, еле скрывая раздражение. Вдруг она

встала, прошла через всю гостиную и, прервав уединенную беседу своего врача с рыжеволосой красоткой, властно заявила:

– Мадзелли, не пора ли нам домой?... Мне что-то нездоровится.

Лишь только они ушли, Христиана, подойдя к Полю, сказала:

– Бедняжка! Как она, должно быть, страдает!

Он опрометчиво спросил:

– Кто страдает?

– Герцогиня! Разве вы не заметили, что она ревнует?

Поль резко ответил:

– Ну, если вы приметесь оплакивать всех назойливых любовниц, у вас и слез не хватит.

Христиана отошла от него, готовая в самом деле заплакать, – такими жестокими были для нее эти слова, и, сев подле Шарлотты Ориоль, оставшейся в одиночестве, удивленно и растерянно смотревшей на Гонтрана, она высказала горькую, непонятную для этой девочки мысль:

– Бывают дни, когда хочется умереть.

Андермат в кружке медиков рассказывал о необыкновенном исцелении старика Кловиса, у которого парализованные ноги уже начали оживать. Он говорил с таким жаром, что никто не мог бы усомниться в его искренности.

С тех пор, как он разгадал уловку двух Ориолей и мнимого паралитика, и понял, что в прошлом году его обвели вокруг пальца, воспользовавшись его страстным желанием уверовать в целительное действие источника, и особенно с тех пор, как ему пришлось откупиться деньгами от коварных причитаний старика, он превратил папашу Кловиса в могущественное средство рекламы и теперь сам великолепно разыгрывал комедию.

Вернулся Мадзелли, освободившись от своей пациентки, которую он проводил домой.

Гонтран подхватил его под руку:

– Доктор-обольститель, прошу совета! Которая из двух девочек Ориолей лучше, а? Вы бы которую выбрали?

Красавец врач шепнул ему на ухо:

– В любовницы – младшую, в жены – старшую.

Гонтран рассмеялся:

– Смотрите-ка! Мы сошлись во мнении. Очень рад!

Затем он подошел к сестре, разговаривавшей с Шарлоттой.

– Знаешь что? Я придумал хорошую прогулку. Поедьте в четверг на Пюи-де-ла-Нюжер. Это самый красивый вулкан во всей цепи. Все согласны. Поедем?

Христиана сказала равнодушным тоном:

– Мне все равно. Как вы хотите.

Но тут подошли проститься профессор Клош со своей дочерью, и Мадзелли, предложив проводить их, вышел вслед за вдовушкой.

Через несколько минут разошлись и остальные гости, так как Христиана ложилась спать в одиннадцать часов.

Маркиз, Поль и Гонтран пошли проводить сестер Ориоль. Гонтран и Луиза шли впереди, а Бретиньи в нескольких шагах от них вел под руку Шарлотту и чувствовал, что рука ее слегка дрожит.

Прощаясь с девушками, им напомнили:

– Не забудьте, в четверг к одиннадцати часам! Завтракать будем все вместе в отеле.

На обратном пути встретили Андермата, которого профессор Ма-Руссель задержал в уголке сада.

– Так, значит, решено, – говорил врач. – Если не помешаю вам, я зайду завтра утром побеседовать относительно дачки.

Вильям Андермат отправился домой вместе с молодыми людьми и, поднявшись на цыпочки, чтобы дотянуться до уха своего шурина, шепнул ему:

– Поздравляю, голубчик! Вы, оказывается, молодец!

Гонтрана уже два года терзало безденежье, отравлявшее ему существование. Пока он прома-

тывал состояние матери, ничто его не беспокоило, ничто не омрачало его врожденной беспечности, унаследованной от отца, его беспечальной жизни в среде золотой молодежи, богатых, пресыщенных и распутных хлыщей, чьи имена каждое утро упоминаются газетами в хронике светской жизни, ибо эти повесы принадлежат к большому свету, хотя и бывают в нем нечасто, предпочитая ему общество продажных женщин, у которых они перенимают и нравы и весь душевный склад.

Компания его состояла из дюжины таких же фатов; каждую ночь, между полночью и тремя часами утра, их можно было встретить на бульварах, в одной и той же кофейне. Элегантные, всегда во фраке и в белом жилете, с великолепными запонками ценою в двадцать луидоров, которые покупались у лучших ювелиров и сменялись каждый месяц, эти молодые люди не ведали в жизни иных забот, кроме непрестанной погони за удовольствиями, любовными утехами, за дешевой известностью и деньгами, добывая их всяческими средствами.

Ничто их не занимало, кроме свеженьких скандальных историй, сплетен об альковных делах и о конюшнях ипподрома, дуэлей и подвигов в игорных домах, – весь их умственный кругозор замыкался этими интересами. Они обладали всеми женщинами, высоко котиравшимися на рынке продажной любви, передавали, уступали, одалживали их друг другу и беседовали между собой об их любовных качествах, словно о статьях скаковой лошади. Бывали они также и в том шумном кругу титулованных особ, о котором много говорят и где почти у всех женщин есть любовные связи, ни для кого не составляющие тайны, проходящие на глазах у мужей, равнодушных, снисходительных или же близоруких до слепоты; о таких светских дамах эти молодые люди судили точно так же, как о кокотках, и в своей оценке делали лишь легкое различие из-за их происхождения и социального ранга.

Им столько приходилось изворачиваться, чтобы раздобывать деньги на свою веселую жизнь, обманывать кредиторов, занимать направо и налево, выпроваживать поставщиков, с наглым смехом встречать портных, предъявляющих каждые полгода счет, всякий раз возрастающий на три тысячи франков, выслушивать от кокоток, этих пожирательниц состояний, столько историй об их ловких проделках, столько подмечать шулерских плутней в клубах, знать и чувствовать, что и самих-то их надувают и обкрадывают на каждом шагу – слуги, торговцы, содержатели шикарных ресторанов, все, кому не лень, – проникать опытным взором в некоторые биржевые махинации и подозрительные делишки и даже прикладывать к ним руку, чтобы получить несколько луидоров, что их нравственное чувство в конце концов притупилось, стерлось, и единственным правилом чести было для них драться на дуэли при малейшем подозрении, что они способны на те мерзости, которые они совершали или могли совершить.

Все они, или почти все, через несколько лет должны были кончить такое существование или выгодным браком, или громким скандалом, или самоубийством, или же загадочным исчезновением, полным исчезновением, подобным смерти.

Но все они, конечно, рассчитывали на богатую невесту. Одни надеялись, что ее подыщут для них заботливые родственники, другие сами искали втихомолку и составляли списки наследниц, как составляют списки домов, назначенных к продаже. Особенно охотились они на иностранок – на заморских невест из Северной и Южной Америки – и ослепляли их своим ореолом блестящих прожигателей жизни, очаровывали шумной славой своих успехов, изяществом своей особы. Кредиторы тоже рассчитывали на их выгодную женитьбу.

Но эта охота за богатой невестой могла затянуться. И, во всяком случае, она требовала поисков, утомительных трудов по обольщению, скучных визитов – словом, слишком большой затраты энергии, на что Гонтран по своему беспечному характеру совсем не был способен.

А безденежье с каждым днем донимало его все больше, и он уже давно говорил себе: «Надо бы все-таки придумать какой-нибудь фортель». Но никакого фортеля придумать не мог.

Ему уже приходилось прибегать к весьма сомнительным уловкам, пускаться во все тяжкие, чтобы раздобыть хоть самые мелкие суммы, – в такой крайности он очутился; а теперь он вынужден был подолгу жить в своей семье, и вдруг Андермат подсказал ему мысль жениться на одной из сестер Ориоль.

Сначала он из осторожности промолчал, хотя на первый взгляд ему показалось, что эти девушки настолько ниже его, что он не может согласиться на такой неравный брак. Но, поразмыслив

немного, он сразу изменил свое мнение и тотчас решил приступить к уходу, вполне допустимому на водах, шутивому уходу, которое его решительно ничем не свяжет и позволит, если понадобится, отступить.

Прекрасно зная своего зятя, он понимал, что Андермат все обдумал, взвесил, подготовил почву и, уж если сделал такое предложение, значит, случай действительно заманчивой и другой такой вряд ли представится.

Да и трудов никаких не надо: протяни руку и подхвати прехорошенькую девушку, — младшая сестра очень ему нравилась, и он не раз думал, что позднее, когда она выйдет замуж, весьма приятно было бы с ней встретиться.

Итак, он выбрал Шарлотту Ориоль и в короткий срок довел уход до того момента, когда уже можно было сделать официальное предложение.

И что же! Вдруг оказалось, что надо или совсем отказаться от женитьбы, или же выбрать старшую сестру, потому что землю, на которую зарился Андермат, отец дает в приданое за ней.

В первый момент Гонтран до того разозлился, что решил было послать зятя ко всем чертям и остаться холостяком до другого подходящего случая.

Однако он в это время крепко сидел на мели, ему даже не с чем было заглянуть в казино, и пришлось попросить у Поля взаймы двадцать пять луидоров, а он уж немало перебрал у своего друга золотых монет, никогда их не возвращая. И кроме того, как хлопотно было бы искать новую невесту, а подыскав, прельщать ее. Может быть, еще надо будет бороться против ее враждебной родни. А тут невеста под рукой, стоит только поухаживать, полюбезничать несколько дней, и он покорит старшую сестру так же легко, как покорил младшую. Женившись на ней, он в лице своего зятя обеспечит себе покладастого банкира, касса которого всегда будет для него открыта, потому что он возложит на Андермата всю ответственность за этот брак и вечно будет осыпать его упреками.

А жена? Ну что ж, он увезет ее в Париж, представит в обществе как дочь компаньона Андермата. Кстати, она носит имя этого курорта, и уж сюда-то он никогда, никогда с нею не вернется в силу того непреложного закона, что реки не текут вспять, к своим истокам! У нее миленькое личико, стройная фигура, достаточно изящества, чтобы стать вполне изысканной дамой, достаточно ума, чтобы усвоить правила света, уметь в нем держаться, занять видное место и даже сделать честь своему мужу. Все будут говорить: «Проказник женился на прелестной девушке и, кажется, преспокойно ее надувает». И, разумеется, он будет ее надувать, в карманах у него опять появятся деньги, и он заживет на стороне холостяцкой жизнью.

Итак, он предпочел ухаживать за Луизой. И, пользуясь, сам того не ведая, ревностью, закравшейся в ее завистливое сердце, пробудил в ней еще дремавшее кокетство и смутное желание отбить у сестры красивого поклонника, носившего графский титул.

Она себе в этом не признавалась, даже не думала об этом, не лелеяла коварных замыслов — встреча с Гонтраном и «похищение» были для нее полной неожиданностью. Но, видя, как он с ней любезен и ласков, угадала по его манерам, по его взглядам, по всему его поведению, что он вовсе не влюблен в Шарлотту, и, не заглядывая далеко, была в тот вечер счастлива, радостно возбуждена, а отходя ко сну, чувствовала себя почти победительницей.

В четверг утро было пасмурное и душное, серое небо грозило дождем, и вопрос о поездке на Пуи-де-ла-Нюжер обсуждали очень долго. Но Гонтран так горячо настаивал, что увлек всех колебавшихся.

Завтрак прошел скучно. Поль и Христиана накануне поссорились, казалось, без всякой причины; Андермат опасался, как бы не сорвалась женитьба Гонтрана, потому что в то утро старик Ориоль отзывался о нем очень двусмысленно. Гонтран, узнав об этом от зятя, пришел в ярость и решил добиться своего. Шарлотта, ничего не понимая в поведении Гонтрана, но предчувствуя торжество сестры, хотела было остаться дома, ее с трудом уговорили поехать.

Ноев ковчег повез своих обычных седоков, оказавшихся в полном сборе, к высокому плоскогорью, поднимающемуся над Вольвиком.

Луиза Ориоль вдруг стала очень говорлива и всю дорогу развлекала своих спутников. Она объясняла, что из черного вольвикского камня, который представляет собою не что иное, как за-

стывшую лаву окрестных вулканов, построены все церкви и все дома в этих краях, и поэтому овернские города кажутся такими мрачными и как будто обгорелыми. Она показывала выемки в горе, где обтесывали этот камень, и массивы лавы, служившие каменоломнями, откуда его добывали; приглашала всех полюбоваться огромной черной Богородицей, покровительницей Вольвика, стоявшей на вершине горы и как будто вознесшейся над городом.

С нижнего плоскогорья поднялись к верхнему, где высились бугры былых вулканов. Лошади плелись шагом по длинному трудному подъему. По обеим сторонам дороги зеленели леса. В коляске все умолкли.

Христиана вспоминала о поездке на Тазенатское озеро. Та же коляска и теперь, и те же в ней люди, но сердца уже не те!.. Все как будто похоже, а совсем, совсем не то... Но что же изменилось? Почти ничто!.. Она любит немного больше... он немного меньше!.. Не изменилось почти ничего. Только та и разница, что тогда желание зарождалось, а теперь угасает!.. Почти ничто... Невидимая трещина. Любовь наскучила – вот и все... Ничто, почти ничто!.. Но вот уже и взгляд любимых глаз изменился. Глаза те же самые, но уже по-иному видят то же самое лицо. А что такое взгляд?... Почти ничего!

Кучер остановил лошадей и сказал:

– Приехали. Сверните направо и ступайте лесом по тропинке. Идите все прямо, прямо и дойдете.

Все вылезли из коляски, кроме маркиза: ему не хотелось двигаться в такую жару. Луиза и Гонтран ушли вперед, а Шарлотта осталась с Полем и Христианой, которая шла с трудом. Лесная дорожка, показавшаяся им длинной-длинной, вывела на гребень, поросший высокой травой, и они стали подниматься к кратеру потухшего вулкана.

Луиза и Гонтран уже взобрались на самую верхнюю точку, остановились там, и оба, высокие, стройные, как будто парили в облаках. Когда все поднялись туда, впечатлительную душу Поля Бретины охватил лирический восторг.

Вокруг них – позади, справа, слева – высились какие-то странные усеченные конусы – одни устремленные вверх, другие приземистые, но все они сохраняли угрюмый облик мертвых вулканов. Эти грузные горы-обрубки с плоской, срезанной вершиной тянулись с юга на запад по огромному унылому плоскогорью, которое поднималось на тысячу метров над Лиманью, нависало над нею карнизом с востока и севера и уходило к невидимому горизонту, всегда затуманенному голубоватой дымкой.

Справа поднимался Пюи-де-Дом, выше всех своих братьев, семидесяти или восьмидесяти вулканов, давно уже спящих непробудным сном; подальше виднелись Гравнуар, Круэль, Педж, Со, Ношан и Ваш; ближе всех вырисовывались вершина Париу, Ком, Жюм, Трессу, Лушадьер. Огромное кладбище вулканов.

Всех поразила эта картина. А внизу зеленела травяным своим покровом большая и глубокая воронка – кратер Нюжера, на дне которого еще сохранились три исполинские темно-коричневые глыбы – лава, извергнутая последним вздохом чудовища, упавшая обратно в мертвую его пасть и навсегда застывшая в ней много веков назад.

Гонтран крикнул:

– Я спущусь на дно кратера! Хочу посмотреть, как эти зверюги умирали. Ну, кто со мной? Побежим под горку!

И, схватив за руку Луизу, он помчался, увлекая ее за собой. Шарлотта побежала было за ними, потом вдруг остановилась, посмотрела, как они несутся вприпрыжку, держась за руки, и, резко повернувшись, поднялась на верхушку ската, где сели на траву Поль и Христиана. Дойдя до них, она упала на колени и, зарывшись лицом в складки платья Христианы, разрыдалась.

Христиана все поняла: в последнее время чужое горе причиняло ей такую же боль, как свое собственное, и, обняв девушку за плечи, она тоже заплакала и тихонько шептала:

– Бедная моя девочка! Бедная моя девочка!

Шарлотта все плакала, уронив голову ей на колени, а руками бессознательно вырывала из земли пучочки травы.

Бретины отошел в сторону, делая вид, что ничего не заметил, но это детское горе, это про-

стодушное отчаяние вдруг возбудило в нем гнев против Гонтрана. Он, кого глубокие страдания Христианы только раздражали, был искренне растроган первым разочарованием этой девочки.

Он вернулся и, опустившись на колени возле Шарлотты, сказал:

– Ну не надо, не плачьте, умоляю вас! Они сейчас вернутся. Успокойтесь, не нужно плакать при них.

Она вскочила, испугавшись мысли, что сестра застанет ее в слезах. Но рыдания все подступали к горлу, и оттого, что она их сдерживала и глотала слезы, на сердце у нее было еще тяжелее. Она лепетала, всхлипывая:

– Да... да... не надо... Я больше не буду плакать. Все уже прошло... Ничего... Все прошло... Посмотрите, ничего уже не заметно. Правда?... Ведь не заметно?

Христиана вытерла ее мокрые от слез щеки, потом провела платком по своему лицу и сказала Полю:

– Пойдите посмотрите, что они там делают. Куда они девались? Их совсем не видно за этими глыбами. А я побуду с девочкой и постараюсь утешить ее.

Бретины поднялся и дрожащим от негодования голосом ответил:

– Хорошо... Я пойду... Я их приведу. Но ваш братец будет иметь дело со мной... Сегодня же. Пусть объяснит свое поведение... Это просто гнусно, после того что он нам недавно сказал!

И он начал бегом спускаться на дно кратера.

Гонтран стремглав бежал по крутому скату и тянул за собой Луизу, чтобы ее подхватывать, поддерживать, ошеломить, испугать, чтобы у нее занялось дыхание. Он увлекал ее насильно, она пыталась остановиться, растерянно вскрикивала:

– Ах, тише! Тише, ради бога!.. Я упаду!.. Да вы с ума сошли!.. Я упаду!

Наконец они добежали до темных глыб и остановились, еле переводя дыхание. Потом обошли вокруг них, заглянули в широкую расселину, похожую на сквозную пещеру.

Когда вулкан, в котором уже иссякала жизнь, извергнул последнюю струю лавы, у него не хватило сил метнуть ее в небо, как прежде, он только чуть подбросил ее своим угасающим дыханием, загустевшую, почти холодную, и она окаменела на его мертвых устах.

– Посмотрим, что там делается, – сказал Гонтран.

И, подталкивая впереди себя Луизу, он вошел под темный свод. Как только они очутились в пещере, Гонтран воскликнул:

– Ну вот, мадемуазель, минута самая подходящая! Сейчас вам придется выслушать признание.

Она изумилась:

– Признание?... Мне?...

– Именно вам. И всего в двух словах: вы очаровательны!

– Скажите это моей сестре.

– Ах, вы прекрасно знаете, что вашей сестре я этого не стал бы говорить!

– Неужели?

– Послушайте: значит, вы не настоящая женщина, если не поняли, что я ухаживал за вашей сестрой только для того, чтобы посмотреть, какое впечатление это произведет на вас, какими глазами вы будете смотреть на меня... А глазки ваши стали ужасно сердитыми! Ах, как я был доволен! Тогда я постарался дать вам понять, со всею должною почтительностью, что я на самом деле думаю о вас!..

С Луизой никогда еще никто так не говорил. Она была преисполнена радостного смущения, восторга и гордости.

Гонтран продолжал:

– Я знаю, что очень дурно поступил с вашей сестрицей. Но что поделаешь! Впрочем, она насколько не обманывалась в моих чувствах. Право, право! Вы же видите: она осталась с Христианой, не захотела пойти с нами. О, она все поняла, прекрасно поняла!..

Он схватил руку Луизы и, тихонько, деликатно целуя ей кончики пальцев, шептал:

– Какая вы прелестная! Какая прелестная!

Луиза стояла, прижавшись к каменной стене, и слушала его молча, с замиранием сердца. Од-

на-единственная мысль всплывала в ее затуманенной голове: она победила сестру, восторжествовала над ней.

Вдруг у входа выросла большая тень. На них смотрел Поль Бретиньи. Гонтран непринужденно отпустил маленькую девичью ручку, которую держал у своих губ, и сказал:

– Ах, это ты!.. Ты один?

– Да. Дамы удивляются, что вы исчезли.

– Мы сейчас вернемся, дорогой. Мы осматривали этот грот. Довольно любопытный, не правда ли?

Луиза, красная от смущения, вышла первой и стала подниматься в гору, а Поль и Гонтран шли вслед за нею, разговаривая между собою вполголоса.

Христиана и Шарлотта, держась за руки, смотрели на них сверху.

Потом все направились к коляске, где их поджидал маркиз, и Ноев ковчег покатиł обратно, в Анваль.

И вдруг, когда въехали в сосновый лесок, лошади остановились, а кучер принялся ругаться: дорогу перегородил труп старого осла.

Все вышли из коляски, чтобы посмотреть. Осел лежал в темной, почти черной пыли, сам такой же темный и такой худой, что, казалось, его кости, обтянутые истертой шкурой, прорвали бы ее, если бы он не успел издохнуть; все ребра четко вырисовывались под облезлой шерстью, а голова казалась огромной, но у этой жалкой головы с закрытыми глазами было какое-то умиротворенное, довольное выражение, – она тихо, спокойно лежала на ложе из битого щебня и как будто удивлялась новому для нее, блаженному отдыху. Длинные, вялые теперь уши повисли, как тряпки. На коленках алели две свежие раны, говорившие о том, что он не однажды падал в тот день, пока не рухнул в последний раз. Еще одна рана была в боку – в том месте, куда хозяин долгие годы колол его железным острием, насаженным на палку, подгоняя его отяжелевший шаг.

Ухватив мертвое животное за задние ноги, кучер потащил его в придорожную канаву; длинная шея осла вытянулась, словно он хотел в последний раз испустить свой жалобный крик. Сбросив его в высокую траву, кучер сердито заворчал:

– Вот скоты! Оставили падаль посреди дороги!

Никто не отзывался на эти слова; все снова сели в коляску.

Христиана, удрученная, расстроенная, представила себе всю жалкую жизнь несчастного осла, закончившуюся на краю дороги. Веселый, большеголовый и глазастый ослик, смешной и славный ослик с жесткой шерсткой и торчащими ушами, прыгал на воле, бежал около матери, путаясь у нее под ногами; потом первая упряжка, первая телега, первый подъем в гору, первые побои! А потом... потом... непрестанные мучительные переходы по бесконечным дорогам. И побои, побои! Непосильный груз, палящее солнце, вся пища – клочок соломы или сена, иногда несколько веточек, сорванных с куста, а кругом, по обеим сторонам каменистой дороги, манящие зеленые луга!

А потом пришла старость; гибкий прут заменили палкой с острым железным наконечником, началась жестокая пытка изнуренного животного; надрываясь, осел тащил в гору тяжелую поклажу, чувствуя мучительную боль в каждой косточке, во всем своем старом теле, изношенном, как рубище нищего. А потом смерть, благодетельная смерть в трех шагах от зеленой, сочной травы, в которую, ругаясь, сбросил его проезжий человек, чтобы освободить дорогу.

И в первый раз Христиана поняла страдания живых существ, обреченных рабству, поняла, что смерть порой бывает блаженным избавлением.

Но вот они проехали мимо тележки, которую, выбиваясь из сил, тащили полуголый мужчина, женщина в отрепьях и тощая собака.

Видно было, что люди эти обливаются потом, что им трудно дышать. Облезлая, шелудивая собака была привязана между оглоблями и плелась, высунув язык. В тележке навалены были дрова, подобранные повсюду, вероятно, и краденые, – пеньки, сучья, хворост, сломанные ветки, – и казалось, что под ними что-то спрятано; на ветках было разостлано какое-то тряпье, а на нем сидел малыш – виднелась только его головенка, выступавшая из бурых лохмотьев: маленький шарик с глазами, носом и ртом.

Это была семья, человеческая семья! Замученный осел пал на дороге, и человек без жалости к своему мертвому слуге оставил его там, не потрудившись хотя бы сбросить в канаву, чтобы он не мешал проезжающим экипажам. А сам он и жена его впряглись в оглобли и потащили телегу, как тащил ее прежде осел. Куда они шли? Куда? Зачем? Было ли у них хоть несколько медяков? А эта тяжелая тележка?... Неужели они всегда будут ее тащить, потому что им не на что купить дру-гого осла? Чем они будут жить? Где остановятся? Умрут, верно, на краю дороги, как умер их осел.

Кто они, эти нищие, – муж и жена или только «сожители»? И ребенок их, этот бесформен-ный зверек, закутанный в грязные тряпки, верно, будет жить такой же жизнью, как они.

Христиана с грустью думала обо всем этом, и потрясенная душа подсказывала ей совсем но-вые мысли. Она смутно угадывала теперь страшную участь бедняков.

Гонтран вдруг сказал:

– Не знаю почему, мне вспомнилось сейчас Английское кафе. Хорошо было бы пообедать там сегодня всем вместе! С удовольствием бы взглянул на бульвар!

Маркиз пробурчал:

– Ну и здесь очень недурно. Новый отель гораздо лучше старого...

Проехали мимо Турноэля. Христиана узнала свой каштан, и сердце у нее забилося от воспо-минаний. Она поглядела на Поля, но он сидел с закрытыми глазами и не увидел ее смиренного призыва.

Вскоре впереди коляски показались два крестьянина, возвращавшиеся с виноградников; наработавшись за день, они шли усталым шагом, держа на плече мотыгу.

Сестры Ориоль покраснели до корней волос, узнав отца и брата; оба они, как и прежде, рабо-тали на виноградниках, поливая своим потом обогатившую их землю, с утра до вечера перекапы-вали ее, подставляя спины жгучим лучам солнца, меж тем как их прекрасные сюртуки, тщательно сложенные, покоились в комод, а высокие цилиндры спрятаны были в шкафу. Оба они поклони-лись, с дружелюбной улыбкой сняли шляпы, а из коляски все в ответ замахали им руками.

Когда подъехали к отелю, Гонтран выскочил из Ноева ковчега и отправился в казино; Брети-ньи пошел вместе с ним и, едва они сделали несколько шагов, остановил приятеля.

– Послушай, милый мой. Ты поступаешь нехорошо, и я обещал твоей сестре поговорить с тобою.

– О чем поговорить?

– О том, как ты ведешь себя за последние дни.

Гонтран спросил высокомерно:

– Как я себя веду? По отношению к кому?

– По отношению к этой девочке, которую ты бросил. Это подло.

– Ты так думаешь?

– Да, думаю... и имею для этого основания.

– Скажите, пожалуйста! Давно ли ты стал жалеть брошенных женщин?

– Ну, знаешь!.. Ты ведь имеешь дело не с кокоткой, а с молоденькой девушкой.

– Я это прекрасно понимаю. Я и не соблазнил ее. Разница большая.

Они зашагали дальше. Тон Гонтрана возмущал Поля, и он сказал:

– Если б ты не был мне другом, я бы сказал тебе пару теплых слов.

– А я не позволил бы тебе их сказать.

– Ах, оставь! Слушай. Мне жаль эту девочку. Она плакала сегодня.

– Вот как! Плакала? Очень лестно для меня!

– Перестань шутить. Скажи: что ты намерен делать?

– Я? Ничего.

– Как это «ничего»? Ты зашел так далеко, что скомпрометировал ее. А ведь ты же сам на днях говорил своей сестре и мне, что думаешь жениться на ней...

Гонтран остановился и насмешливым тоном, в котором сквозила угроза, сказал:

– Лучше бы вам с моей сестрой не вмешиваться в чужие любовные дела. Я сказал тогда, что эта девочка мне нравится, и если б я женился на ней, то впервые в жизни поступил бы разумно и рассудительно. Вот и все. А теперь вот мне больше нравится старшая сестра! Чувство мое измени-

лось. Это со всяким случается. – И, глядя Полю прямо в глаза, добавил: – Скажи, а ты что делаешь, когда женщина перестает тебе нравиться? Ты щадишь ее?

Поль растерянно смотрел на него, стараясь проникнуть в затаенный смысл его слов. Кровь бросилась ему в голову, и он резко сказал:

– Я тебе еще раз повторяю: ты имеешь дело не с какой-нибудь продажной тварью и не с замужней женщиной, а с невинной девушкой, и ты обманул ее если не обещаниями, то, по крайней мере, всем своим поведением. Слышишь? Порядочный человек, честный человек так не поступает!..

Гонтран побледнел и срывающимся голосом ответил:

– Замолчи!.. Ты и так уж слишком много наговорил... Довольно! Я тебе тоже скажу: не будь ты мне другом, я бы тебе показал, как меня оскорблять! Еще одно слово, и между нами все будет кончено. Навсегда!

И затем, отчеканивая каждое слово, он бросил Полю в лицо:

– Не тебе требовать от меня объяснений... Скорее я имею право потребовать их от тебя... Есть такого рода неделикатность, которая действительно недостойна порядочного человека... честного человека... Она проявляется в разных... в разных формах... Дружба должна бы предостеречь от нее, и любовь не может служить ей оправданием... – Но вдруг, переменив тон, весело, почти проказливо добавил: – А если эта девчурка так уж тебя растрогала и нравится тебе, возьми ее себе, женись на ней. Женидьба иной раз бывает лучшим способом распутать узел. Это одновременно удобный выход и крепость, в которой можно забаррикадироваться от навязчивости. Девочка очень мила и богата!.. Ведь все равно придется тебе когда-нибудь проститься со своей свободой. Забавно было бы, если б мы оба с тобой повенчались здесь в один и тот же день, – я ведь женюсь на старшей. Только никому не говори, это пока секрет... И смотри не забывай, что ты меньше, чем кто-либо, имеешь право говорить о честности и щепетильности в любовных историях. А теперь довольно. Ступай по своим делам, а я пойду по своим. Всего лучшего!

И, круто повернувшись, он стал спускаться на дорогу, ведущую в деревню. Поль Бретины, в полном смятении ума и сердца, медленным шагом направился к отелю «Монт-Ориоль».

Он старался припомнить каждое слово, сказанное Гонтраном, чтобы понять хорошенько его намеки, разгадать их смысл, и удивлялся, как ловко некоторые люди прячут от всех постыдную изнанку своей души.

Христиана спросила его:

– Что вам ответил Гонтран?

Поль, запинаясь, сказал:

– Бог мой!.. Ему... ему теперь больше нравится старшая сестра... Думаю даже, что он собирается жениться на ней... Я несколько резко упрекнул его., но он заткнул мне рот... он позволил себе намеки... неприятные для нас с вами.

Христиана тяжело опустилась на стул и прошептала:

– Боже мой!.. Боже мой!..

Но в эту минуту вошел Гонтран, возвратившийся к обеду, поцеловал сестру в лоб и весело спросил:

– Ну как, сестренка? Как ты себя чувствуешь? Не очень устала?

Затем он пожал руку Полю и, повернувшись к Андермату, который вошел в комнату вслед за ним, воскликнул:

– О зять мой! Лучший из всех зятьев, мужей и друзей, можете ли вы сказать мне точную цену старого осла, издохшего на дороге?

ГЛАВА IV

Андермат и доктор Латон прогуливались перед казино по террасе, украшенной большими вазами поддельного мрамора.

– Он мне уж и не кланяется теперь, – жаловался доктор на своего собрата Бонфиля. – Засел в своем логове, как дикий кабан! Если б он мог, то, наверное, отравил бы наши источники.

Андермат шагал, заложив руки за спину и сдвинув на затылок серый фетровый котелок, обнаживший его лоб с залысинами. Он молчал, сосредоточенно размышляя о чем-то, наконец окзал:

– Пустяки! Через три месяца старое общество запросит пощады. Они торгуются из-за десяти тысяч. Дурак Бонфиль их подзуживает, уверяет, что я соглашусь. Ошибается.

Главный врач подхватил:

– Вы знаете, они вчера закрыли свое казино. Никто туда не ходил.

– Знаю. Да и у нас народу не густо. Все сидят по своим гостиницам. А в гостиницах скучно, дорогой мой. Надо забавлять, развлекать больных, устроить им такую приятную жизнь, чтобы сезон показался слишком коротким. А вы посмотрите, кто тут бывает по вечерам – только те, кто живет в отеле «Монт-Ориоль», потому что он рядом. Остальным не хочется выползть из гостиниц. А какая тому причина? Дороги. Весь вопрос в дорогах. Вообще успех всегда зависит от незаметных, как будто ничтожных причин. Только надо найти их. Дороги к месту приятного времяпрепровождения сами должны быть приятными, быть, так сказать, вступлением к ожидающим тебя удовольствиям.

А что за дороги ведут к нашему казино? Отвратительные дороги! Камни, бугры, ямы! Это до того утомительно. Ведь если у человека мелькнет мысль: «Пойду туда-то», и дорога к этому месту ровная, широкая, днем тенистая, вечером не беспокоит крутизной, – на нее невольно потянет и в другой раз. Если б вы знали, как крепко хранит тело воспоминания о множестве ощущений, которые ум не считает нужным запечатлеть! Мне думается, именно так создается память у животных! Идете вы, например, в знойный день по дороге, не укрытой деревьями, натрудили себе ноги, шагая по плохо утрамбованному щебню, поднимаясь по крутому откосу, – и у вас возникает непреодолимое, чисто физическое отвращение к такому пути, хотя вы шли по нему, думая совсем о другом. Вы весело болтали с приятелем, не огорчались мелкими неудобствами дороги, ни на что не смотрели, ничего не отмечали в памяти, но ваши ноги, мышцы, легкие, все ваше тело не забыло этих тягостных ощущений, и когда ум пожелает направить вас по той же дорожке, тело сразу скажет ему: «Нет, не пойду, мне там было очень неприятно». И голова без рассуждений подчинится протесту своих сотоварищей, которые несут ее.

Итак, нам нужны хорошие дороги, и, стало быть, нам нужны участки этого упрямого осла, дядюшки Ориоля. Но погодите... Да, кстати, Ма-Руссель купил дачу на тех же условиях, что и Ремюзо. Пришлось пойти на эту маленькую жертву, зато она окупится сторицей. Постарайтесь узнать намерения Клоша.

– Клош от своих коллег не отстанет, – заметил Латон. – А вот меня другое беспокоит. Я уже несколько дней об этом думаю. Мы забыли о важнейшем деле – о метеорологическом бюллетене!

– Что, что? О каком бюллетене?

– О бюллетене в парижских газетах! Необходимейшая вещь! Надо показать, что Монт-Ориоль превосходит все соседние курорты, что температура в нем ровная, жара умеренная, нет резких перемен погоды. Абонируйте для метеорологического бюллетеня местечко в самых ходовых органах прессы, руководительницы общественного мнения, и я каждый вечер буду посылать по телеграфу данные об атмосферном давлении и прочем. Я их так препарирую, эти данные, что в конце года, когда печатают средние цифры, Монт-Ориоль забьет своими «средними» все окрестные курорты. Что прежде всего бросается в глаза, когда разворачиваешь большие газеты? Температура в Виши, температура в Руайя, в Мон-Доре, в Шатель-Гюйоне и так далее и так далее. Это в летний сезон, а в зимний – температура в Канне, в Ментоне, в Ницце, в Сен-Рафаэле. На знаменитых курортах, дорогой директор, всегда должно быть тепло, всегда должна быть великолепная погода, – пусть парижане читают и думают: «Черт побери! Какие счастливы те, кто ездит туда!» Андермат воскликнул:

– Так, так, так! Вы правы! Как же я-то до сих пор об этом не подумал! Сегодня же займусь этим. Да, кстати, вы писали профессорам Ларенару и Паскалису? Как мне хочется залучить их обоих сюда!

– Неприступны, дорогой председатель, неприступны!.. Если только... если только сами на многочисленных опытах не убедятся, что наши воды действительно хороши. Но средствами...

предварительного убеждения их не возьмешь... Нечего и думать.

Они поравнялись со столиком, за которым Поль и Гонтран пили после завтрака кофе; на террасе собрались уже и другие обитатели курорта, главным образом мужчины, так как женщины, выйдя из-за стола, обычно проводят час-другой в своих комнатах. Петрюс Мартель надзирал за лакеями и командовал: «Кюммелю! Рюмку коньяку! Графинчик анисовой!» – на тех же басистых, раскатистых нотах, которые каждодневно звучали в его голосе часом позднее, когда он выкрикивал указания на репетиции и давал тон примадонне.

Андермат остановился на минутку около столика молодых людей, перекинулся с ними несколькими словами и пошел дальше рядом с главным врачом. Гонтран развалился на стуле, запрокинул голову на спинку, вытянул ноги, скрестил на груди руки и, погрузившись в полное блаженство, смотрел в небо, держа в зубах дымившуюся сигару.

Вдруг он спросил:

– Хочешь, пойдем сейчас прогуляться в долину Сан-Суси? Сестрички тоже пойдут.

Поль замялся было, но, подумав, согласился:

– С удовольствием. – Затем добавил: – А как твои дела?... Успешны?

– Еще как! Поймал, держу крепко! Теперь уж не сорвется.



Гонтран взял своего приятеля в наперсники и день за днем рассказывал ему о своих успехах и завоеваниях. Он даже обратил его в пособника и брал с собой на свидания с Луизой, которые устраивал очень ловко.

После поездки к кратеру Ньюжера Христиана прекратила всякие прогулки, почти не выходила из комнаты, и Гонтрану было трудно видаться с Луизой.

Сначала затворничество сестры привело его в замешательство, но он нашел выход из положения.

Воспитанный в нравах Парижа, где мужчины его типа обычно смотрят на женщин, как охотники на дичь, и знают, что такая охота бывает сопряжена с трудностями, он был искушен в хитроумных способах сближаться с приглянувшимися ему дамами. Он мог бы научить любого, как пользоваться для этой цели простодушным посредничеством или же корыстными услугами, и с одного взгляда угадывал, кто из мужчин и женщин пригодится ему для его замыслов.

Лишившись бессознательной помощи Христианы, он для замены ее принялся искать среди окружающих необходимую ему союзницу – «сердобольную натуру», как он выражался, – и очень скоро остановил свой выбор на супруге доктора Онора. Для этого было много оснований. Во-первых, ее муж дружил с Ориолями, так как лечил все семейство лет двадцать; младшие дети родились и выросли на его глазах; каждое воскресенье он обедал у них в доме и сам приглашал их к себе по вторникам. Толстую докторшу, полуобразованную, вульгарную особу с большими претен-

зиями, легко было приманить, пользуясь ее тщеславием, — она, конечно, из кожи будет лезть, чтобы всячески угодить графу де Равенелю, шурина самого владельца Монт-Ориоля.

Вдобавок Гонтран, не раз имевший дело с парижскими своднями, сразу распознал в ней женщину, весьма пригодную для этой роли; как-то раз, встретив ее на улице, он решил: «По виду она настоящая сводня, а значит, и душа у нее такая же».

И вот однажды он проводил доктора до дома и заглянул к ним. Он уселся, принялся болтать, наговорил толстухе всяких любезностей, а когда в отеле зазвонили к обеду, сказал, вставая:

— Как у вас вкусно пахнет! В вашем доме готовят, несомненно, куда лучше, чем в гостинице.

Госпожа Онора, раздувшись от гордости, залепетала:

— Ах, боже мой!.. Если бы я посмела... если бы посмела, граф...

— Что посмели, сударыня?

— Пригласить вас к нашему скромному столу.

— А что ж... я бы не отказался.

Доктор встревоженно бормотал:

— Да у нас ничего нет, совершенно ничего... Суп, говядина, курица — вот и все.

Гонтран хохотал:

— Ну и вполне достаточно! Принимаю приглашение!

И он остался обедать у супругов Онора. Толстая хозяйка, вскакивая со стула, выхватывала блюдо из рук горничной, чтоб та не пролила соус на скатерть, и, к явной досаде мужа, сама прислуживала за столом.

Граф расхвалил ее стряпню, ее уютный домик, ее радушие, и она преисполнилась пылким восхищением.

Он повторил свой гастрономический визит, опять напросился на обед и стал после этого постоянным гостем в доме г-жи Онора, куда то и дело забегали сестры Ориоль по долготелней привычке, по соседству и давней дружбе.

Гонтран проводил в обществе трех дам целые часы, был очень любезен с обеими сестрами, но с каждым днем оказывал все больше предпочтения Луизе.

Ревность, разъединившая сестер, когда Гонтран начал было ухаживать за Шарлоттой, приняла у старшей сестры характер воинственной ненависти, а у младшей — спокойного презрения. В скромных манерах Луизы, в ее недомолвках, в сдержанном обращении с Гонтраном сквозило больше умелого кокетства и заигрывания, чем в беспечной и шаловливой непосредственности младшей сестры. Шарлотта, скрывая из гордости свою сердечную рану, как будто ничего не замечала и с удивительной выдержкой, с полным, казалось бы, равнодушием присутствовала при частых встречах у г-жи Опора. Она не хотела оставаться дома, чтобы не подумали, что она страдает и плачет, что она покорно уступила место старшей сестре.

Гонтран так гордился своей хитростью, что не мог удержаться и все рассказал Полю. А Поль нашел этот маневр забавным и весело расхохотался. К тому же он дал себе слово больше не вмешиваться в интриги своего приятеля, помня его двусмысленные намеки, и не раз думал с тревогой: «Известно ему что-нибудь обо мне и Христиане?»

Прекрасно зная Гонтрана, он считал его вполне способным закрыть глаза на любовную связь сестры. Но почему же он раньше ничем решительно не показывал, что догадывается или знает об этой связи? А все дело было в том, что Гонтран принадлежал к числу тех шалопаев, по мнению которых светской женщине даже полагается иметь одного или нескольких любовников, так как семья, по их глубокому убеждению, не что иное, как общество взаимопомощи в житейских делах, нравственность — покров, накинутый на тайные влечения, вложенные в человека природой, а светские приличия — фасад, за которым следует скрывать приятные пороки. Он толкнул Христиану на брак с Андерматом если не с определенными намерениями, то, во всяком случае, со смутной мыслью, что этот еврей будет поживой для всего семейства, и, пожалуй, презирал бы сестру, если бы она хранила верность мужу, как презирал бы самого себя, если бы не черпал денег из кошелька своего зятя.

Поль думал обо всем этом, и все это смущало его душу, душу современного Дон Кихота, склонного, однако, к сделкам с совестью. Теперь он стал очень осторожным в отношениях со сво-

им загадочным приятелем.

Итак, когда Гонтран рассказал ему, для каких целей он пользуется знакомством с г-жой Онора, Поль расхохотался, а немного погодя согласился сопровождать его и очень охотно болтал с Шарлоттой.

Докторша с величайшей готовностью выполняла роль, для которой ее избрали, принимала гостей весьма радушно и в пять часов, в подражание парижским дамам, угощала их чаем и сдобными булочками собственного приготовления.

В первый же раз, как Поль появился в ее доме, она встретила его, словно старого друга, усадила, чуть не силой отобрала у него шляпу и положила ее на полку камина, рядом с часами. Потом засуетилась, захлопотала, перебегала от одного к другому, огромная, с выпяченным животом, и все спрашивала:

– Не угодно ли закусить?

Гонтран говорил всякие забавные глупости, шутил, смеялся, держал себя весьма непринужденно. Потом он уединился с Луизой в глубокой нише окна, а Шарлотта с волнением смотрела на них.

Госпожа Онора, развлекавшая разговором Поля, сказала ему материнским тоном:

– Милые детки! Они приходят ко мне побеседовать несколько минут. Ведь это вполне невинно, не правда ли, господин Бретињи?

– О, вполне невинно, сударыня!

Во второе посещение Бретињи она уже запросто называла его «господин Поль» и держалась с ним запанибрата.

С тех пор Гонтран с обычным своим веселым ехидством сообщал приятелю о всех услугах, которые угодливо оказывала ему эта дама. Накануне он сказал ей:

– Отчего вы никогда не ходите с барышнями Ориоль на прогулку по дороге в Сан-Суси?

– Мы пойдем, граф, непременно пойдем!

– Вот пошли бы, например, завтра в три часа.

– Пойдем завтра в три часа. Обязательно!

– Как вы любезны, многоуважаемая госпожа Онора!

– Всегда рада услужить вам, граф!

И Гонтран объяснил Полю:

– Ты же понимаешь, у нее в гостиной мне неудобно приударить за Луизой как следует, на глазах младшей сестры. А в лесу мы можем уйти с ней вперед или отстать немножко. Ну как, пойдешь?

– С удовольствием.

– Пойдем.

Они поднялись и не спеша пошли по большой дороге, потом за деревней Ла-Рош-Прадьер свернули влево и, продираясь сквозь густые заросли кустов, спустились в лесистую долину. Перебравшись через узенькую речку, они сели на краю тропинки и стали ждать.

Вскоре показались все три дамы, они шли гуськом: Луиза впереди, г-жа Онора замыкала шествие.

Обе стороны выразили удивление: какая неожиданная встреча!

Гонтран воскликнул:

– Какая хорошая мысль пришла вам прогуляться в эту долину!

Докторша ответила:

– Это я придумала!

Дальше отправились уже вместе.

Луиза и Гонтран, постепенно ускоряя шаг, ушли далеко вперед и порой исчезали из виду за поворотами узкой дорожки.

Докторша шумно отдувалась и бормотала, провожая их снисходительным взором:

– Ах, молодость, молодость! Вот быстроногие! Где уж мне за ними угнаться!

Шарлотта воскликнула:

– Погодите, я сейчас их позову!

И она бросилась бежать по дорожке. Докторша окликнула ее:

– Не мешай им, детка! Пусть поболтают на свободе, если им хочется. Зачем расстраивать разговор? Они и сами вернутся.

Обмахиваясь платком, она села на траву в тени большой сосны. Шарлотта бросила на Поля жалобный взгляд, полный мольбы и отчаяния.

Он понял и сказал:

– Ну что ж, мадмуазель Шарлотта, пусть госпожа Онора посидит, отдохнет, а мы с вами догоним вашу сестру.

Она радостно воскликнула:

– Да, да, пойдете!

Госпожа Онора ничего не имела против этого.

– Идите, детки, идите. Я вас здесь подожду. Только не очень долго гуляйте.

И они отправились. Сначала шли очень быстро, надеясь догнать Луизу и Гонтрана, но через несколько минут, не видя их на дорожке, решили, что они свернули в лес, направо или налево, и Шарлотта негромко позвала их дрожащим голосом. Никто не откликнулся.

Она сказала тихо:

– Господи! Где же они?

Поля снова охватило то чувство глубокой жалости к ней и грустного умиления, которое он уже испытал у кратера Ньюжера.

Он не знал, что сказать этой огорченной девочке. Хотелось отечески обнять ее, поцеловать, найти какие-нибудь ласковые, утешительные для нее слова. Но какие? А она тревожно озиралась, вглядывалась в зеленую чащу безумными глазами и, прислушиваясь к малейшему шороху, говорила:

– Наверно, они вон туда пошли... Нет, наверно, сюда... Вы ничего не слышите?...

– Нет, ничего не слышу. Лучше всего нам здесь подождать их.

– Ах, боже мой!.. Нет... Надо их найти...

Он помолчал немного, потом нерешительно спросил:

– Так вам это очень больно?

Она подняла голову, взглянула на него с отчаянием, а глаза ее уже подернулись прозрачной влагой, и на темных длинных ресницах задрожали слезинки. Она хотела что-то сказать и не могла, не решалась, а между тем стесненному сердцу, переполненному горем, долго таившему его, так нужно было открыться.

Поль сказал:

– Значит, вы очень любите его?... Не стоит он вашей любви, право!

Она больше не в силах была сдерживаться и, закрыв лицо руками, чтобы не видны были слезы, заговорила:

– Нет... нет... Я не люблю его... Он так гадко поступил со мной!.. Он играл мною... это очень гадко... это низко... и все-таки мне тяжело... очень тяжело... потому что обидно... очень обидно... А больше всего тяжело из-за сестры... сестра тоже меня не любит теперь... Она еще хуже со мной поступает... Я чувствую, что она теперь не любит меня... совсем не любит... ненавидит... а у меня только она одна и была... теперь у меня никого нет... За что? Что я ей сделала?...

Ему видны были только маленькое ее ухо и полоска гибкой шеи, уходившая под воротник платья из легкой ткани к более округлым линиям девичьего стана. Он был глубоко взволнован жалостью, нежностью, охвачен бурным желанием взять ее под свою защиту, как это всегда с ним бывало, когда женщина затрагивала его душу. И его быстро загоравшаяся душа прониклась восторженным умилением перед этой детской скорбью, такой наивной и полной такого мучительного очарования.

Он протянул руку и безотчетно, не размышляя, как успокаивают плачущего ребенка, обнял ее за плечи. И вдруг рука его ощутила, что ее сердце бьется быстро-быстро, словно у пойманной птички.

Непрестанные торопливые толчки передавались по руке его собственному сердцу, и оно тоже забилося быстрее. Он чувствовал, как стучит ее сердце, и этот быстрый стук отзывался во всем

его теле, в мышцах, в нервах, как будто два сердца слились воедино, страдали одним и тем же страданием, трепетали в едином биении и жили одной жизнью, словно часы, соединенные стальной нитью, так что их ход совпадает секунда за секундой.

Вдруг она отвела руки от покрасневшего, но по-прежнему милого личика и, быстро отирая слезы, сказала:

– Ах, зачем это я?! Вот глупая! Не надо было говорить об этом. Пойдемте скорее обратно, к госпоже Онора. А про это забудьте, пожалуйста... Обещаете?

– Обещаю.

Она протянула ему руку.

– Вам-то я верю. Мне кажется, вы очень честный человек!

Они пошли обратно. Он подхватил ее на руки и перенес через ручей, как нес Христиану год тому назад. Сколько раз он приходил сюда с Христианой этой же самой тропинкой в прежние дни, когда боготворил ее! И он подумал, удивляясь перемене в себе: «Как коротка была эта страстная любовь!»

Шарлотта потянула его за рукав и прошептала:

– Госпожа Онора уснула, сядем возле нее тихонько.

Толстуха действительно спала, прислонившись к стволу сосны, прикрыв лицо носовым платком, и мирно похрапывала, сложив руки на животе. Они опустились на траву в нескольких шагах от нее и сидели молча, чтоб не разбудить ее.

И тогда глубокая лесная тишина, царившая вокруг, стала для них тягостной, томительной. Слышалось только, как быстро журчит по камешкам вода, чуть-чуть шуршат в траве насекомые, гудит в воздухе рой мошкар и большие черные жуки шелестят сухими листьями.

Где же Луиза и Гонтран? Что они делают? Вдруг вдалеке зазвучали их голоса: они возвращались. Г-жа Онора проснулась и удивленно посмотрела вокруг.

– Ах, вы уже вернулись? А я и не слышала, как вы подошли!.. А где же остальные? Нашли вы их?

Поль ответил:

– Вот они. Идут.

Донесся смех Гонтрана. И от этого веселого смеха с души Шарлотты как будто свалился камень. Она не могла бы сказать, почему ей стало легче.

Вскоре они показались на дорожке. Гонтран шел быстро, почти бежал и тянул за руку Луизу, красную, как пион. Ему не терпелось рассказать забавное приключение, и он еще издали закричал:

– Послушайте-ка! На кого мы сейчас наткнулись!.. Ни за что не угадаете!.. Застали на месте преступления обольстителя Мадзелли и рыжеволосую красотку-вдовушку, дочку профессора Клоша, знаменитого профессора Клоша, как сказал бы Виль. О, ужас!.. Мадзелли, мошенник эдакий, целовал ее, да еще как!.. Как целовал!..

Госпожа Онора с видом оскорбленной добродетели прервала его игривый рассказ:

– Ах, граф!.. Подумайте, что вы говорите... При девушках!..

Гонтран склонился в глубоком поклоне.

– Вы совершенно правы, многоуважаемая госпожа Онора. Благодарю вас, что вы напомнили мне о приличиях. Все ваши побуждения всегда возвышенны.

Затем все двинулись в обратный путь, но, чтоб не возвращаться вместе, молодые люди простились с дамами и пошли лесом.

– Ну как? – спросил Поль.

– Объяснился. Сказал, что обожаю и буду счастлив назвать ее своей супругой.

– А что она сказала?

– Сказала очень мило и пристойно: «Поговорите с моим отцом. Я отвечу через него».

– И что же теперь? – спросил Поль.

– Немедленно уполномочу Андермата передать официальное предложение. А если старый мужлан Ориоль заартачится, скомпрометирую его дочку какой-нибудь выходкой.

Андермат все еще разговаривал с доктором Латоном на террасе казино. Гонтран отвел зятя в сторону и изложил ему положение дел.

Поль пошел по риомской дороге. Ему хотелось побыть одному, разобраться в хаосе взволнованных мыслей и чувств, в том смятении, которое охватывает нас на пороге любви.

Уже давно он бессознательно поддавался пленительному и чистому очарованию этой покинутой девочки. Он угадывал в ней милое, доброе существо, простое, искреннее, прямодушное, и сначала чувствовал к ней жалость, ту теплую, ласковую жалость, которую вызывает в нас женское горе. Но участились встречи, и как-то незаметно в сердце дало ростки зернышко нежности – ведь женщина может заронить его в нас так легко, а ростки его поднимаются так буйно. И теперь, особенно за последний час, он чувствовал, что его заполонило и преследует ощущение ее близости, хотя ее нет с ним, – первый признак любви.

Он шел по дороге, переполненный неотступными воспоминаниями о ее взгляде, о звуке ее голоса, о складочке в уголках губ, расцветающих улыбкой или скорбно опущенных в слезах, о ее походке, даже о цвете и шелесте ее платья.

И он думал: «Кажется, попался! Я знаю себя. Вот досада! Лучше бы мне вернуться в Париж. Ах, черт! Ведь это молоденькая девушка. Не могу же я сделать ее своей любовницей!»

Потом он стал мечтать о ней, как мечтал в прошлом году о Христиане. Да, эта девушка тоже совсем не похожа на женщин, какие встречались на его пути, женщин, родившихся и выросших в городах; не похожа она и на девушек, с детства впитавших в себя кокетство, перенявших его уловки и от матерей и от своих знакомых. В ней не было ничего сделаного, никаких ужимок, предназначенных для обольщения, ничего заученного в словах, ничего искусственного в движениях, ничего лживого во взгляде.

И она была не только нетронутым и чистым существом, но происходила из среды почти первобытной, была истой дочерью земли и только еще вступила в период превращения в городскую даму.

Он взвинчивал себя, стараясь подавить смутное сопротивление, минутами поднимавшееся в нем. В памяти его возникали поэтические образы, созданные Вальтером Скоттом, Диккенсом и Жорж Санд, и они еще более воспламеняли его воображение, вечно подстегиваемое женщиной.

Гонтран говорил о нем: «Поль? О, это норовистый конь, который мчит на своем хребте любовь; лишь только сбросит одну, на него вскочит другая».

Бретињи шел долго; наконец, заметив, что уже темнеет, он повернул обратно.

Проходя мимо нового ванного заведения, он увидел, что неподалеку бродят по виноградникам и обмеряют землю Андермат и оба Ориоля. По их жестам он понял, что у них идет горячий спор.

Час спустя Вильям Андермат вошел в гостиную, где собралась вся семья, и сказал маркизу:

– Дорогой тесть! Довожу до вашего сведения, что ваш сын Гонтран через полтора-два месяца женится на девице Луизе Ориоль.

Маркиз де Равенель был ошеломлен.

– Гонтран?! Что вы говорите!!

– Говорю, что, с вашего согласия, Гонтран через полтора-два месяца женится на девице Ориоль. Она будет очень богата.

Тогда маркиз сказал самым естественным тоном:

– Ах, боже мой, пусть женится, если ему так уж хочется. Я не возражаю...

И банкир рассказал, как он сосватал Гонтрану дочку старика-крестьянина.

Узнав от графа, что девушка готова дать согласие, он решил, не теряя ни минуты, вырвать согласие и у ее отца, чтобы хитрый винодел не успел придумать еще какую-нибудь ловушку.

Банкир побежал к Ориолям и застал старика за подведением счетов: с большим трудом он выводил цифры на засаленном клочке бумаги и складывал их с помощью Великана, который считал по пальцам.

Андермат присел к столу и сказал:

– С удовольствием бы выпил стаканчик вашего винца.

Как только Ориоль-младший принес стаканы и полный жбан красного вина, банкир осведомился, дома ли Луиза, попросил позвать ее и, едва она подошла к нему, поднялся, отвесил глубокий поклон и произнес:

– Мадемуазель Луиза! Надеюсь, вы считаете меня своим другом, которому все можно сказать? Не правда ли? Так вот, я взял на себя очень деликатное поручение, которое касается вас. Мой шурин, граф Рауль-Оливье-Гонтран де Равенель, полюбил вас – выбор его я вполне одобряю, – и он поручил мне спросить у вас в присутствии ваших родных, согласны ли вы стать его женой.

Луиза, захваченная врасплох, вскинула смущенный взгляд на отца; старик Ориоль испуганно смотрел на Великана, всегдашнего своего советчика. Великан на Андермата, а тот снова заговорил с некоторой надменностью:

– Примите во внимание, мадемуазель, что, взяв на себя это поручение, я пообещал моему шурину принести ответ немедленно. Он прекрасно понимает, что, возможно, не имел счастья понравиться вам, а в таком случае он завтра же уедет и больше никогда не вернется в эти края. Я полагаю, вы уже достаточно хорошо его знаете и можете смело сказать мне, ведь я только посредник: «Да, я согласна» или «Нет, я не согласна».

Она склонила голову, вся покраснела, но твердым тоном сказала:

– Да, я согласна.

И, повернувшись, выбежала из комнаты так стремительно, что ударилась о косяк двери.

Андермат снова сел и, без церемоний налив себе стакан вина, сказал:

– Ну а теперь поговорим о делах.

И, как будто даже не допуская возможности малейших колебаний со стороны отца, он заговорил о приданом, опираясь на то, что старик Ориоль сообщил ему три недели тому назад. Состояние Гонтрана он определил в триста тысяч франков плюс будущее наследство и дал понять, что если такой жених, как граф де Равенель, просит руки девицы Ориоль, особы, впрочем, очаровательной, то уж семья ее, бесспорно, должна в знак признательности за такую честь пойти на некоторые материальные жертвы.

Крестьянин, расстроенный, но польщенный, почти обезоруженный, все же попытался защитить свое добро. Торг шел очень долго. Впрочем, Андермат с самого начала сделал заявление, облегчавшее сделку:

– Мы не требуем денег ни наличными, ни в ценных бумагах, а только землю – те самые участки, которые вы, как уже было сказано вами, предназначили в приданое мадемуазель Луизе, и еще кое-какие, на которые я укажу.

Возможность не выкладывать из кошелька денег, драгоценных денег, накопленных за долгие годы, входивших в дом франк за франком, су за су, не отдавать серебряных или золотых кружочков, стершихся в руках, в кошельках, в карманах, на трактирных столах, в глубоких ящиках старых шкафов, не отдавать этой звонкой летописи стольких забот, огорчений, усталости, трудов; монеток, таких милых сердцу, глазам и мужицким пальцам; денег, которые дороже, чем корова, чем виноградник, поле, дом, которыми иной раз труднее пожертвовать, чем собственной своей жизнью, – возможность не расставаться с ними, расставаясь с родной дочерью, сразу внесла в душу Ориоля, как и его сына, великое успокоение, наполнила примирительными чувствами и тайной, сдерживаемой радостью.

Однако оба они упорно торговались, чтобы выгадать несколько клочков земли. На столе разложили подробный межевой план холма Монт-Ориоль и крестиками отметили участки, назначавшиеся в приданое Луизе. Андермату понадобился целый час, чтобы отбить последние два квадрата. Затем, во избежание всяких подвохов с той и с другой стороны, отправились на место, захватив с собою план. Тщательно проверили в натуре все участки, отмеченные крестиками, и еще раз их переметили.

Андермат все же тревожился, подозревая, что Ориоли вполне способны при следующем свидании отречься от сделанных уступок и отхватить в свою пользу полоски виноградников, необходимые ему для его замыслов, и он старался придумать какое-нибудь практическое и надежное средство, чтобы закрепить достигнутое соглашение.

И вдруг банкиру пришла мысль, сначала показавшаяся ему забавной, а затем, при всей ее смехотворности, превосходной.

– Если желаете, – сказал он, – мы все это запишем, чтоб потом чего-нибудь не забыть.

На обратном пути, проходя через село, он купил в табачной лавке два листа гербовой бумаги. Он знал, что опись земель, составленная на гербовой бумаге, примет в глазах обоих крестьян характер чего-то незыблемого, потому что гербовые листы представляют закон – вездесущий, невидимый, но грозный закон, охраняемый стражниками, штрафами и тюрьмой.

И вот он на одном листе написал, а на другом переписал в копии следующее обязательство:

«Ввиду обещания вступить в брак, коим обменялись между собою граф Гонтран де Равенель и девица Луиза Ориоль, г-н Ориоль, отец невесты, дает за нею в приданое нижеследующие владения...»

И он подробно обозначил все участки, указав их номер в реестре поземельной переписи анвальской коммуны.

Потом, поставив дату и подписавшись, он заставил подписаться и старика Ориоля, который, в свою очередь, потребовал, чтобы в обязательство вписано было и состояние жениха; и, наконец, Андермат отправился к себе в отель с этой бумагой в кармане.

Все смеялись, слушая его рассказ; Гонтран хохотал веселее всех.

Потом маркиз сказал сыну с большим достоинством:

– Вечером мы с тобой нанесем визит этому семейству, и я сам повторю предложение, сделанное предварительно моим зятем. Чтоб все было, как полагается.

ГЛАВА V

Гонтран оказался примерным женихом, любезным и внимательным. Он сделал всем подарки (на деньги Андермата) и поминутно бегал повидаться с невестой то у нее в доме, то у г-жи Онора. Почти всегда его теперь сопровождал Поль, чтобы встретиться с Шарлоттой, хотя после каждой встречи давал себе слово больше не видеться с ней.



Шарлотта мужественно примирилась с предстоящим браком сестры, говорила о нем просто, непринужденно и, казалось, не затаила в душе никакой обиды. Только характер у нее как будто немного изменился: она стала более сдержанной, не такой непосредственной, как прежде. Пока Гонтран вполголоса вел в уголке нежные разговоры с Луизой, Поль беседовал с Шарлоттой спокойно и серьезно, постепенно погружаясь в эту новую любовь, поднимавшуюся в его сердце, как морской прилив. Он это понимал, но не боролся с ней, успокаивая себя мыслью: «Пустяки, в критическую минуту спасусь бегством, вот и все» А расставшись с Шарлоттой, он шел к Христиане,

которая теперь целые дни лежала на кушетке. Уже у дверей в нем накопало нервное раздражение, появлялась воинственная готовность к мелким ссорам, порождавшимся усталостью и скукой. Его заранее сердило все, что она говорила, все, что она думала; ее страдальческий вид, ее покорное смирение, ее молящий и укоризненный взгляд вызывали в нем только злобу, и лишь как человек воспитанный, он сдерживал желание наговорить ей обидных слов; близ Христианы его не оставляла мысль о другой; перед глазами всегда стоял образ девушки, с которой он только что расстался.

Христиана мучилась оттого, что теперь почти не видела его, и донимала его расспросами, что он делал, где был; в ответ он сочинял всякие басни, а она внимательно слушала, пытаясь угадать, не влечет ли его к какой-нибудь другой женщине. Она чувствовала свое бессилие, знала, что не может удержать его, не может вызвать в нем хоть каплю той любви, которой терзалась сама, понимала, что она физически бессильна пленить его, вновь завоевать его хотя бы страстью, ласками, если уж не может вернуть его нежность, и страшилась всего, не зная еще, где таится опасность.

Но она уже ощущала, что какая-то страшная, неведомая беда нависла над ней, и ревновала его беспочвенной ревностью ко всему и ко всем, даже к женщинам, случайно проходившим мимо ее окна, – все они казались ей очаровательными и опасными, хотя она и не знала, говорил ли с ними хоть раз Поль Бретиньи.

– Вы заметили очень хорошенькую, довольно высокую брюнетку? Проходила мимо моего окна. Я ее раньше не видела, должно быть, она только на днях приехала.

А когда он отвечал: «Нет, не заметил», – она подозревала, что он лжет, и, бледнея, говорила:

– Ну как это возможно! Как вы могли ее не заметить? Такая хорошенькая, ну просто красавица!

Он удивлялся ее настойчивости.

– Уверю вас, что я ее ни разу не встречал. Постараюсь встретить.

И Христиана думала: «Это она, наверно, она». А иногда ей приходило в голову, что у него есть тайная связь, что он вызвал сюда какую-нибудь любовницу, может быть, свою актрису. И она начинала выпытывать у отца, у брата, у мужа, какие появились в Анвале молодые и привлекательные женщины.

Если бы ей хоть можно было ходить, самой посмотреть, последить за ним, она бы немного успокоилась, но почти полная неподвижность, которую ей предписали, делала ее мучение нестерпимой пыткой. И когда она говорила с Полем, уже в самом звуке ее голоса сквозило страдание, и это только раздражало охладевшего к ней любовника.

Спокойно он мог говорить с ней только об одном – о близкой женитьбе Гонтрана, потому что тогда он мог произносить имя Шарлотты и вслух думать о ней. И ему даже доставляло какое-то смутное, загадочное, необъяснимое удовольствие слышать, как Христиана произносит ее имя, расхваливает миловидность и душевные качества этой девушки, жалеет ее, бранит брата за то, что он пренебрег ею, и выражает пожелание, чтоб нашелся хороший человек, который оценил бы ее, полюбил и женился на ней.

Он подтверждал:

– Да, да. Гонтран сделал ужасную глупость. Такая чудесная девушка!

И Христиана без малейшего подозрения повторяла за ним:

– Действительно чудесная! Просто сокровище, само совершенство!

Ни на одно мгновение не возникала у нее мысль, что такой человек, как Поль, может полюбить такую девушку и жениться на ней. Она боялась только его любовниц.

И такова удивительная особенность мужского сердца: похвалы Шарлотте в устах Христианы приобретали для Поля какую-то особую значимость, воспаляли его любовь и влечение к этой девушке, придавали ей неотразимую прелесть.

Но вот однажды, когда Поль с Гонтраном пришли к г-же Онора, чтобы встретиться там с сестрами Ориоль, они застали в гостиной доктора Мадзелли, расположившегося, как у себя дома.

Мадзелли протянул им обе руки, просияв чисто итальянской улыбкой, от которой казалось, что в каждое слово, в каждый жест он вкладывает все свое сердце.

С Гонтраном его связывали фамильярные и поверхностные приятельские отношения, основанные скорее на сродстве натур, на скрытом сходстве наклонностей, на своего рода сообщничестве, чем на истинной дружеской симпатии и доверии.

Граф спросил:

– Ну как ваша прелестная блондинка, с которой вы прогуливались в роще Сан-Суси?

Итальянец улыбнулся:

– О! Мы охладели друг к другу! Она из тех женщин, которые только манят и ничего не дают.

И они принялись болтать. Красавец врач расточал любезности обеим девушкам, но особенно Шарлотте. Когда он говорил с женщинами, то непрестанно выражал голосом, жестами, взглядом преклонение перед ними. Вся его фигура, каждая поза как будто говорили: «Обожаю вас», и так красноречиво, что он неизменно покорял сердца.

У него была грация актрисы, порхающая походка балерины, гибкие движения фокусника, врожденный дар и выработанные тонкие приемы обольщения, которыми он пользовался непрестанно.

Возвращаясь с Гонтраном в отель, Поль угрюмо ворчал:

– Зачем втерся сюда этот шарлатан!

Граф ответил равнодушно:

– Разве узнаешь, что на уме у таких авантюристов? Эти молодцы всюду пролезут. А нашему красавцу, должно быть, надоели и бродячая жизнь, и капризы его испанки, при которой он состоит скорее в роли лакея, чем домашнего врача, а может быть, и в какой-нибудь другой роли. Он ищет. Думал, верно, поймать дочку профессора Клоша, да промахнулся, судя по его словам. Младшая девица Ориоль для него была бы добычей не менее ценной. Вот он и пробует нащупать почву, вынюхивает, закидывает удочку. Чем плохо? Он стал бы совладельцем курорта, постарался бы спихнуть этого дурака Латона и уж, во всяком случае, каждое лето приобретал бы себе здесь выгодных пациентов на зиму... Ей-богу, к этому он и гнет!.. Можно не сомневаться.

В сердце Поля Бретины зашевелился глухой гнев, ревнивая враждебность.

Чей-то голос крикнул:

– Эй, погодите!

Их догонял Мадзелли.

Бретины спросил с злобной иронией:

– Куда вы так быстро бежите, доктор? Гонитесь за фортуной?

Итальянец улыбнулся и, не останавливаясь, только повернувшись к ним лицом, сделал несколько прыжков, грациозным жестом арлекина засунул руки в карманы, вывернул их, вытянул двумя пальцами, чтобы показать, что в них пусто, и крикнул, смеясь:

– Увы! Еще не поймал ее!

И, сделав изящный пируэт, помчался дальше, как будто ему было очень некогда.

После этого приятели еще несколько раз встречали его в доме доктора Онора; он сумел угодить всем трем дамам и оказывал им множество мелких приятных услуг, проявляя ту же ловкость и изобретательность, которыми, вероятно, угождал и герцогине. Он все умел делать в совершенстве – и говорить комплименты, и готовить макароны, да и не только макароны: он вообще был прекрасный повар и, повязав в защиту от пятен синий фартук кухарки, смастерив себе из бумаги поварской колпак, охотно занимался стряпней, распевая на итальянском языке неаполитанские песенки, все делал изящно, ни в чем не был смешным, всех забавлял и пленял, вплоть до придурковатой служанки, которая говорила про него:

– Ну чисто ангелок!

Вскоре его замыслы стали совершенно явными, и Поль уже не сомневался, что красавец Мадзелли старается влюбить в себя Шарлотту.

И казалось, это ему удастся. Он так ловко умел польстить, был так услужлив, обладал таким искусством нравиться, что, когда он появлялся, у девушки лицо озарялось улыбкой удовольствия.

А Поль, не давая себе в этом отчета, занял позицию влюбленного соперника. Как только Мадзелли начинал увиваться около Шарлотты, Поль подходил к ней и совсем по-иному, прямее и

откровеннее, старался завоевать ее расположения. Он выказывал ей грубоватую братскую нежность, преданность, говорил ей: «Право, я очень вас люблю», – но так открыто, с такой простотой и искренностью, что никто не мог бы счесть это признанием в любви.

Удивившись неожиданному соперничеству, Мадзелли пустил в ход все свое умение, и когда Бретиньи, уязвленный ревностью, той инстинктивной ревностью, которая жалит мужчину, даже если он еще не любит женщину, а она ему только нравится, когда Бретиньи по своей природной пылкости нападал, становился резким и надменным, противник, более изворотливый и никогда не терявший самообладания, отвечал ему остротами, колкостями и хитрыми, насмешливыми любезностями.

Борьба возобновлялась каждый день, соперники вели ее с ожесточенным упорством, хотя ни у того, ни у другого, может быть, и не было вполне определенной цели. Ни тот, ни другой не желал отступать, как два пса, ухвативших одну и ту же добычу.

К Шарлотте вернулась прежняя ее веселость, но теперь в ней сквозило какое-то новое, более пронизательное лукавство, появилось что-то необъяснимое, затаенное в улыбке и во взгляде. Казалось, измена Гонтрана многому ее научила, подготовила к возможности других разочарований, сделала ее более гибкой, вооружила опытом. Она непринужденно лавировала между двумя воздыхателями, каждому говорила то, что следовало сказать, чтобы не вызвать столкновения между ними, никогда не оказывала одному предпочтения перед другим, с каждым в отдельности подтрунивала над его соперником, предоставляла обоим вести борьбу на равных условиях, но как будто ни того, ни другого даже и не принимала всерьез. И во всем этом совсем не было кокетства, а только шаловливый, мальчишеский задор, который иногда придает молоденьким девушкам необыкновенное очарование.

Но вот Мадзелли как будто добился предпочтения. Казалось, между ним и Шарлоттой установилась какая-то близость, какое-то тайное согласие. Разговаривая с нею, он играл ее зонтиком или концом широкой ленты, перехватывавшей ее талию, а Поль, видя в этом своего рода моральное обладание, приходил в ярость и готов был дать итальянцу пощечину.

Однажды, когда все они собрались в доме Ориoley и Бретиньи разговаривал с Луизой и Гонтраном, искоса поглядывая на Мадзелли, который вполголоса рассказывал Шарлотте что-то вызывавшее у нее улыбку, он вдруг заметил, что она вся вспыхнула и страшно смутилась; сомнения не было: соперник объяснился в любви. Она потупила глаза, перестала улыбаться, но слушала, слушала внимательно, и тогда Поль, чувствуя, что не в силах сдержать себя, сказал Гонтрану:

– Послушай, дорогой! Выйдем на минуту, прошу тебя.

Граф извинился перед невестой и последовал за своим другом.

Как только они вышли на улицу, Поль взволнованно сказал:

– Милый мой, надо во что бы то ни стало помешать этому итальянцу соблазнить бедную девочку. Она совсем беззащитна перед таким мерзавцем.

– А что, по-твоему, я должен сделать?

– Предупреди ее, что он авантюрист.

– Э, милый мой, это меня не касается.

– Как! Она ведь будет твоей родственницей!

– Да, да, конечно. Но какие у нас основания думать, что у Мадзелли преступные виды на нее? Он совершенно так же любезничает со всеми женщинами и еще никогда не сделал и не сказал ничего неприличного.

– Хорошо! Если ты не желаешь взять эту обязанность на себя, я сам разделаюсь с ним, хотя меня это, несомненно, касается гораздо меньше, чем тебя.

– Ты что ж, влюблен в Шарлотту?

– Я?... Нет... Но я прекрасно вижу, что за игру ведет этот негодяй.

– Знаешь, дорогой, ты собираешься вмешаться в очень деликатное дело... и если только ты не влюблен в Шарлотту, то...

– Да не влюблен я... Но прохвостов надо гнать...

– И что ж ты намерен сделать?

– Дать мерзавцу пощечину...

– Вот умно! Лучшее средство, чтобы она влюбилась в него. Вам придется драться, и ты ли будешь ранен или Мадзелли – все равно в ее глазах он станет героем.

– А что, например, сделал бы ты?

– На твоём месте?

– Да, на моем.

– Я поговорил бы с девчуркой как друг. Она очень тебе доверяет. Так вот, я бы ей без обиняков рассказал, что собой представляют эти проходимцы. У тебя такое обличие здорово получилось бы. Ты умеешь говорить с жаром. И я бы дал ей понять: во-первых, почему он прилип к испанке, во-вторых, почему он повел атаку на дочку профессора Клоша, в-третьих, почему он, потерпев поражение, обхаживает теперь девицу Шарлотту Ориоль.

– Но отчего ж ты сам не хочешь это сделать? Подумай, ты ведь скоро будешь ее близким родственником.

– Да видишь ли... видишь ли... После того, что было между нами... Мне неудобно... Понимаешь?

– Верно, тебе неудобно. Я сам с ней поговорю.

– Хочешь, я сейчас же устрою тебе разговор с ней наедине?

– Ну, разумеется, хочу.

– Прекрасно. Пойди погуляй минут десять, а я тем временем уведу Луизу и Мадзелли, и, когда ты вернешься, Шарлотта будет одна.

Поль Бретины пошел в сторону Анвальского ущелья, обдумывая, как начать этот щекотливый разговор.

Он действительно застал Шарлотту одну в холодной гостиной отцовского дома, выбеленной известкой, и, сев около нее, сказал:

– Это я, мадмуазель, попросил Гонтрана устроить мне встречу с вами наедине.

Она посмотрела на него своим ясным взглядом.

– А для чего?

– О, конечно, не для того, чтобы угощать вас пошлыми любезностями на итальянский лад, а чтобы поговорить с вами как искренний, преданный друг, дать вам совет.

– Говорите.

Он начал издали, сослался на свой жизненный опыт, указал на ее неопытность, а затем в осторожных, но ясных словах рассказал ей об авантюристах, которые повсюду ищут себе поживы, с профессиональной ловкостью обирают добрых и простодушных людей, и мужчин и женщин, завладевают их кошельками и сердцами.

Шарлотта немного побледнела и слушала его настороженно и внимательно.

– Я и понимаю, и не совсем понимаю. Вы, должно быть, имеете в виду какого-то определенного человека. Кого именно?

– Доктора Мадзелли.

Она потупилась и, помолчав немного, сказала тихим, неуверенным голосом:

– Вы так со мной откровенны, что и я должна отплатить вам тем же... Я вам признаюсь, что со времени... со времени помолвки моей сестры я уж не такая глупая, как раньше... поумнела немножко! Ну, так вот... Я и сама догадывалась о том, что вы мне сейчас сказали, и посмеивалась втихомолку... Я видела, к чему он клонит.

Она подняла голову, и в улыбке, озарившей ее личико, в хитром взгляде и во вздернутом носике, во влажном блеске зубов, сверкнувших между приоткрытыми губами, было столько свежей, юной прелести, веселого задора, милой шаловливости, что Бретины охватил бурный порыв такого же страстного влечения, который бросил его год тому назад к ногам покинутой им теперь женщины. А сердце его было полно ликующей радости: значит, она вовсе не оказала предпочтения Мадзелли. Победа досталась ему!

Он спросил:

– Так вы его не любите?

– Кого? Мадзелли?

– Да.

Она ничего не ответила, только посмотрела на него таким грустным взглядом, что у него вся душа перевернулась, и он с мольбой спросил:

– И никого... никого не любите?

Она потупилась:

– Не знаю... Люблю тех, кто меня любит.

Он схватил обе ее руки и принялся целовать то одну, то другую в каком-то исступлении, в том сладком безумии, когда в голове человека туман и слова, срывающиеся с уст, подсказывает ему не разум, куда-то вдруг исчезнувший, а взбудораженные чувства. И между поцелуями он лепетал:

– Шарлотта... маленькая моя!.. Так ведь это я... я люблю вас!

Она вырвала одну руку и, закрывая ему рот, испуганно зашептала:

– Молчите... Не надо... Молчите... Прошу вас. Мне будет так больно, если и это ложь.

Она встала, встал и он и, сжав ее в объятиях, крепко поцеловал в губы.

Внезапно раздался какой-то шум, они отпрянули друг от друга, – в комнату вошел старик Ориоль и с ужасом уставился на них. Вдруг он закричал:

– Ах, пррроклый!.. пррроклый!.. Черррт пррроклый!

Шарлотта убежала. Мужчины остались одни, лицом к лицу. Прошло несколько секунд тяжелого молчания, потом Поль попытался объяснить:

– Ах, боже мой... Я, конечно, виноват... Я повел себя, как...

Но старик его не слушал. Распалившись гневом, он двинулся на Поля и, сжимая кулаки, рычал:

– Ах, пррроклый!.. Черррт, прроклый!..

И, подойдя к Полю вплотную, схватил его за шиворот жилистыми мужицкими руками. Но Поль, такой же рослый и превосходивший овернца силой и ловкостью спортсмена, отбросил его плечом и, прижав к стене, сказал:

– Послушайте, дядюшка Ориоль. Не стоит нам драться. Лучше давайте договоримся. Ну, я поцеловал вашу дочь. Это правда... Даю честное слово, в первый раз поцеловал... И даю честное слово, что хочу на ней жениться.

Жажда физической расправы стихла в старике от увесистого толчка противника, но гнев его не остыл, и он, заикаясь, бормотал:

– Ага, вот оно как! Приманил девку, да еще деньги ему подавай. Жулик пррроклый!..

И все, что накопело у него на сердце, вырвалось в потоке многословных горьких жалоб. Он не мог утешиться, что обещал дать за старшей дочерью виноградники, что они попадут в руки парижан. Он уже догадывался теперь, что Гонтран нищий, что Андермат надул его, и, забывая о неожиданном богатстве, которое принес ему банкир, изливал теперь свою желчь и затаенную ненависть к этим злодеям, из-за которых он теперь все ночи глаз не смыкает.

Можно было подумать, что Андермат со всей своей родней, со всеми друзьями-приятелями каждую ночь приходят грабить его, крадут его виноградники, его минеральные источники, его дочерей.

Он бросал в лицо Поля Бретины злобные упреки, обвинял этого парижанина в коварных намерениях завладеть его добром, обзывал его мошенником, кричал, что он хочет жениться на Шарлотте только затем, чтобы заполучить ее землю.

Бретины, потеряв наконец терпение, закричал:

– Ах ты, старый осел! Да я богаче тебя. Я еще тебе самому могу дать денег!..

Старик умолк, выслушав это недоверчиво, но внимательно, потом опять, но уже не с прежней яростью, принялся обвинять и жаловаться.

Поль теперь возражал ему, объяснял, доказывал и, считая себя связанным неожиданным происшествием, в котором он один был виноват, заявлял, что женится на Шарлотте без всякого приданого.

Старик Ориоль мотал головой, притворялся глухим, переспрашивал, не верил, ничего не мог понять. Он все еще считал Поля нищим проходимцем.

Бретины в отчаянии закричал во весь голос:

– Да ведь у меня доходу больше ста двадцати тысяч франков в год, старый болван! Слышишь ты?... У меня капиталу три миллиона!

Старик вдруг спросил:

– А бумагу выправите? Напишите, сколько у вас?

– Напишу.

– И подпишетесь?

– Подпишусь.

– На гербовой бумаге?

– На гербовой!

Тогда дядюшка Ориоль вылез из угла, отпер шкаф, извлек оттуда два листа гербовой бумаги, вытащил обязательство, которое Андермат потребовал от него несколько дней назад, и по этому образцу сам составил диковинное брачное обещание с гарантированной женихом наличностью в три миллиона франков и заставил Бретиньи подписаться под ним.

Когда Поль вышел на улицу, ему показалось, что вся земля перевернулась. Итак, он жених, помимо своей воли, помимо ее воли, просто случайно, только оттого, что коварное стечение обстоятельств не оставило ему иного выхода.

Он пробормотал:

– Вот безумие!

А затем подумал: «Да нет! Лучше Шарлотты мне, пожалуй, во всем мире не найти». И в глубине души порадовался ловушке, которую поставила ему судьба.

ГЛАВА VI

На следующий день с самого утра на Андермата посыпались несчастья. Придя в ванное заведение, он узнал, что ночью в «Сплэндид-отеле» умер от апоплексического удара Обри-Пастер. Помимо того, что инженер приносил большую пользу своими знаниями, бескорыстным рвением и любовью к Монт-Ориолью, который он считал почти своим детищем, было очень неприятно, что больной, приехав на воды лечиться от полнокровия, грозившего апоплексией, умер именно от удара в середине курса лечения, да еще в разгар сезона и на заре нарождающейся славы курорта.

Банкир нервно ходил по кабинету отсутствующего главного врача и старался измыслить иную причину этой злополучной смерти – какой-нибудь несчастный случай, падение с горы, неосторожность или хотя бы разрыв сердца. Он с нетерпением поджидал доктора Латона, чтобы научить его, как поумнее составить медицинский акт, не вызывая ни малейших подозрений об истинной причине смерти.

Латон влетел в кабинет бледный, взбудораженный и, едва переступив порог, спросил:

– Слышали печальную новость?

– Слышал. Умер Обри-Пастер.

– Да нет, не то! Доктор Мадзелли бежал с дочерью профессора Клоша!

У Андермата мурашки побежали по спине.

– Что?... Что вы говорите!..

– Ах, дорогой директор, какое несчастье! Какое ужасное несчастье! Просто катастрофа!..

Он сел и, вытирая мокрый лоб, принялся рассказывать подробности события, которые узнал от Петрюса Мартеля, а тот выведal их от профессорского камердинера.

Мадзелли усиленно волочился за рыжеволосой красоткой-вдовой, отчаянной кокеткой, недавно похоронившей мужа, который умер от чахотки, – говорят, в результате слишком нежного супружества. Однако г-н Клош догадался о планах итальянца и, не желая иметь зятем этого авантюриста, весьма решительно выгнал его, застав его однажды на коленях перед своей дочерью.

Господина Мадзелли выставили за дверь, а он пролез в окно по шелковой лестнице влюбленных. О том, как это случилось, ходили разные слухи. По одной версии, он влюбил в себя профессорскую дочь до безумия, возбудив в ней ревность, а по другой – втайне продолжал с нею встречаться, хотя для отвода глаз оказывал внимание другой женщине; но, узнав от любовницы, что профессор неумолим, увез ее нынче ночью, и теперь уж, после такого скандала, брак неизбе-

жен.

Доктор Латон вскочил, прислонился к камину и, глядя на ошеломленного Андермата, шагавшего по комнате, воскликнул:

– Подумайте только! Ведь он врач, член медицинской корпорации!.. Какая распущенность!..

Удрученный Андермат взвешивал последствия события, распределял их по рубрикам, как будто подводил итог убытков:

1. Весьма неприятные слухи. Распространятся по соседним курортам, дойдут и до Парижа. Впрочем, если взяться за дело с умом, романтическое похищение может даже послужить рекламой. Тиснуть десятка полтора хлестких хроникерских заметок в газетах с большим тиражом – и к Монт-Ориоллю будет привлечено внимание широкой публики.

2. Отъезд профессора Клоша – огромный убыток.

3. Отъезд герцога и герцогини де Рамас-Альдаварра – второй неизбежный и совершенно невозместимый убыток.

В итоге катастрофа. Доктор Латон прав.

И, повернувшись к Латону, банкир заторопил его:

– Идите сейчас же в «Сплендид-отель». Надо составить акт о смерти Обри-Пастера. Поосторожнее составьте, чтоб и намека не было на апоплексию.

Латон взялся за шляпу и уже у дверей сказал:

– Ах да, еще одна новость! Говорят, ваш друг Бретины женится на Шарлотте Ориоль. Правда это?

Андермат даже вздрогнул от удивления.

– Бретины?! Полноте!.. Кто это вам сказал?

– Да все тот же Петрюс Мартель, а он узнал от самого дядюшки Ориоля.

– От Ориоля?

– Да, да. Старик хвастался, что у его будущего зятя трехмиллионное состояние.

Андермат не знал, что и думать. Он пробормотал:

– А впрочем, что ж... Возможно... За последнее время он явно ухаживал за ней. Но в таком случае... Послушайте... ведь в таком случае весь холм в наших руках. Ого! Надо мне поскорее самому разузнать.

И он торопливо вышел вслед за доктором, чтобы поговорить до завтрака с Полем Бретины.

Как только Андермат вошел в гостиницу, ему сообщили, что жена уже несколько раз спрашивала его. Он застал Христиану еще в постели; она разговаривала с отцом и братом, который рассеянно пробегал газеты.

Она чувствовала себя плохо, очень плохо и тревожно. Она чего-то боялась, сама не зная чего. И потом уже несколько дней ее преследовало, не давало ей покоя одно желание, прихоть беременной женщины. Ей хотелось посоветоваться с доктором Блеком. Окружающие так часто вышучивали доктора Латона, что она потеряла к нему всякое доверие и хотела услышать мнение другого врача, мнение доктора Блека, который все больше входил в славу. А ее с утра до вечера мучили черные мысли, обычные у женщин к концу беременности. Прошлой ночью ей приснился страшный сон, и она вообразила, что у ребенка неправильное положение, что она сама не разрешится и надо будет прибегнуть к кесареву сечению. И она все думала об этом, мысленно представляя себе, как ей будут делать операцию. Ей рисовалось, как она лежит на спине, живот у нее разрезан, кровать вся залита кровью и из комнаты уносят что-то красное, недвижимое, немое – мертвое. Она даже нарочно закрывала глаза, чтоб сосредоточиться и яснее вообразить себе ужасную, мучительную пытку. И вот она решила, что один только доктор Блек скажет ей правду, и стала требовать, чтобы его позвали сейчас же, немедленно, сию же минуту: пусть он ее осмотрит.

Андермат рассеянно слушал, не зная, что ответить.

– Видишь ли, милая детка... Это очень сложно, из-за моих отношений с Латоном... вернее... просто невозможно. Погоди, погоди, я придумал другое. Я лучше приглашу профессора Марселя, он во сто раз больше знает, чем Блек. Он не откажется и придет к тебе, если я попрошу.

Но Христиана ничего не хотела слышать. Блек, только Блек, другого ей никого не надо! Она чувствовала непреодолимую потребность увидеть его вот тут, подле себя, увидеть его большую

бульдोजью голову. В этом упорном желании было что-то болезненное и суеверное. Ей нужен был Блек, только он.

Банкир попытался отвлечь ее от этой мысли.

– А знаешь, какая у нас новость? Интриган Мадзелли нынче ночью увез дочку профессора Клоша. Удрали вдвоем. Куда – неизвестно. Вот история!

Христиана приподнялась на подушках; глаза у нее расширились от горестного удивления, и она воскликнула:

– А что будет с герцогиней?... Бедная! Как мне ее жаль!

Она уже давно понимала сердцем муки этой страстной, уязвленной души! Ведь она сама испытывала те же страдания и плакала теми же слезами.

Но она тотчас вернулась к своей мысли:

– Виль, пожалуйста, прошу тебя, сходи за Блеком. Если он не придет, я умру. У меня предчувствие!

Андермат схватил ее руку и поцеловал с нежностью.

– Ну что ты, Христиана! Успокойся, дорогая. Будь умницей... пойми...

Увидев, что у нее глаза полны слез, он повернулся к маркизу:

– Знаете что, дорогой тесть, придется вам самому позвать его. Я не могу: мне неудобно. Блек пользуется принцессу Мальдебургскую и ежедневно приходит в отель в первом часу. Остановите его в вестибюле и приведите сюда. Христиана! Ты ведь можешь подождать часок, правда?

Она согласилась подождать час, но отказалась встать с постели к завтраку, и мужчины одни вышли в столовую.

Поль Бретины уже ждал их. Завидя его, Андермат крикнул:

– Ага, вот и он! Послушайте, что это мне сегодня рассказывали? Вы будто бы женитесь на Шарлотте Ориоль? Выдумки, конечно, да?

Бретины тревожно взглянул на запертую дверь спальни и ответил вполголоса:

– Боже мой, почему выдумки? Женюсь.

Никто из его друзей еще не знал этого, и все трое изумленно смотрели на него.

– Что это вам взбрело в голову? – воскликнул Андермат. – Зачем? При вашем-то состоянии! Привязать себя женитьбой к одной женщине, когда они все в вашем распоряжении! Да и семейство-то незавидное, манеры там далеко не светские. Для Гонтрана это еще куда ни шло, ведь у него нет ни гроша в кармане!

Бретины рассмеялся:

– Мой отец разбогател, торгуя мукой, – у него были большие мельницы. И вы, безусловно, нашли бы, что у него тоже не светские манеры. А что касается Шарлотты...

Андермат перебил его:

– О, она-то прелестна!.. Очаровательна!.. Прелесть как мила... и, знаете, она будет богата... пожалуй, богаче вас. Ручаюсь в том... ручаюсь!..

Гонтран процедил сквозь зубы:

– Да, женитьба – удобный выход... Ничему не мешает и прикрывает отступление. Только напрасно ты нас не предупредил. Как же это дело сделалось, черт побери?

Тогда Поль Бретины рассказал историю своего сватовства, несколько изменив ее. Сгущая краски, он говорил о своих колебаниях, о решении, возникшем мгновенно, когда девушка обронила слово, которое позволило ему думать, что она любит его. Особенно красочно он описал неожиданное появление дядюшки Ориоля, свою ссору с ним, сомнения жадного крестьянина, не поверившего в капиталы жениха, и рассказал про гербовую бумагу, извлеченную из шкафа.

Андермат хохотал до слез, от восторга стучал кулаком по столу.

– Ха-ха-ха! Гербовая бумага! К моему приему прибегнул! Ведь это мое изобретение.

Поль слегка покраснел и, запинаясь, сказал:

– Прошу вас пока ничего не говорить вашей жене. Мы с ней друзья, она может обидеться, если не я сам сообщу ей эту новость...

Гонтран смотрел на своего приятеля с какой-то странной и веселой улыбкой, казалось, говорившей: «Отлично! Право, отлично. Вот как надо кончать: без шума, без скандалов, без драм».

Он предложил:

– Если хочешь, дружище, мы пойдем к ней вместе после завтрака, когда она встанет, и ты ей сообщишь о своем решении.

Они посмотрели друг другу в глаза пристальным, непроницаемым взглядом и тотчас отвернулись.

Поль ответил равнодушным тоном:

– Хорошо, с удовольствием. Мы еще поговорим об этом.

Вошел коридорный доложить, что доктор Блек уже поднимается к принцессе, и маркиз поспешно вышел из комнаты, чтобы перехватить его по дороге.

Он сообщил доктору о состоянии своей дочери, разъяснив затруднительное положение зятя, сказал о желании Христианы, и Блек без всяких отговорок пошел к ней.

Как только большеголовый карлик переступил порог спальни, Христиана сказала:

– Папа, оставь нас.

Маркиз удалился. Тогда Христиана перечислила все, чего она боялась, рассказала о своих страшных снах, мучительных мыслях. Она говорила тихим, кротким голосом, как на исповеди, а доктор слушал ее, точно духовник; иногда он окидывал ее пристальным взглядом своих круглых рачьих глаз, легкими кивками показывая, что слушает внимательно, бормотал: «Так, так», – будто хотел сказать: «Да знаю я все это, знаю прекрасно и без труда вылечу вас, если захочу».

Когда она кончила, он, в свою очередь, чрезвычайно подробно стал расспрашивать о ее образе жизни, о привычках, о режиме, который ей предписан, о лекарствах. Выслушивая ответы, он, казалось, то одобрял, помахивая рукой, то протяжно восклицал: «О-о!» – с какой-то сдержанной укоризной. Когда она решилась наконец сказать, как ей страшно, что у ребенка, возможно, неправильное положение, он поднялся и с целомудрием духовного пастыря, деликатно, осторожно исследовал ее сквозь простыню и решительным тоном сказал:

– Нет, все хорошо.

Ей хотелось расцеловать его. Ах, какой он славный человек, этот доктор!

Он взял со стола листок бумаги, принялся писать рецепт, подробные указания и писал долго-долго. Потом он опять сел у постели и завел со своей пациенткой разговор, но говорил уже совсем другим тоном, словно желая показать, что свою священную врачебную миссию он уже выполнил.

Голос у этого коренастого карлика был густой и басистый, и в каждой, даже в самой обычной фразе сквозило желание что-нибудь выведать. Говорил он обо всем. По-видимому, его очень интересовала женитьба Гонтрана. Потолковав об этом, он вдруг заметил с гадкой улыбкой злого уродца:

– О женитьбе господина Бретины я считаю пока еще неудобным беседовать с вами, хотя это уже ни для кого не тайна: дядюшка Ориоль рассказывает об этом всякому встречному и поперечному.

Христиана вдруг вся похолодела, холод ледящей струей побежал от кончиков пальцев по рукам, к плечу, по груди, по животу, по икрам ног. Она еще не понимала всего смысла этих слов, но ужас охватил ее, что Блек не договорит, а значит, она ничего не узнает, и она нашла в себе силы схитрить:

– Ах, вот как! Дядюшка Ориоль рассказывает об этом всякому встречному и поперечному?

– Да, да. Он и мне рассказывал. Мы только что с ним расстались. Кажется, господин Бретины очень богат и любит эту юную Шарлотту уже давно. Впрочем, обе свадьбы устроила супруга доктора Онора. Она любезно предоставляла влюбленным парочкам и свою помощь, и свой дом для свиданий...

Глаза у Христианы закатились, она потеряла сознание.

Доктор стал звать на помощь, прибежала горничная, за нею маркиз, Андермат и Гонтран, и все бросились доставать уксус, эфир, лед и всякие другие ненужные тут средства.

Вдруг Христиана дернулась, открыла глаза и, вытягивая над головой руки, извиваясь всем телом, закричала диким голосом. Она пыталась говорить, но бросала только бессвязные слова:

– Ох, больно!.. Боже мой, как больно!.. Поясница... Все разрывает... Ох! Боже мой!..

И она опять принялась кричать. Вскоре стало ясно, что начались роды.

Андермат помчался к доктору Латону и застал его за завтраком.

– Скорей... идите скорей... С женой плохо... Скорей!..

По дороге он придумал уловку, сказал Латону, что, когда начались первые схватки, в гостиной находился доктор Блек и пришлось его позвать.

Доктор Блек поддержал перед коллегой эту выдумку:

– Я уже вошел в комнаты принцессы, как вдруг меня вызвали к госпоже Андермат, сказали, что ей дурно. Я прибежал и, слава богу, подоспел вовремя.

У Вильяма колотилось сердце, он себя не помнил от волнения и, вдруг усомнившись в обоих докторах, побежал с непокрытой головой к Ма-Русселю и стал умолять его прийти. Профессор тотчас же согласился, машинальным жестом врача, отправляющегося по визитам, застегнул сюртук и двинулся в путь твердым, быстрым шагом, широким, уверенным шагом знаменитости, одно появление которой может спасти человеческую жизнь.

Лишь только он вошел, оба доктора, почтительно поздоровавшись, принялись докладывать ему, спрашивать советов.

– Вот как это началось, дорогой профессор... Не считаете ли вы нужным, дорогой профессор? Не следует ли нам, дорогой профессор?...

Андермат совсем потерял голову от душераздирающих воплей жены и, засыпая Ма-Русселя вопросами, тоже повторял ежеминутно: «Дорогой профессор».

Христиана лежала почти голая перед всеми этими мужчинами и ничего не видела, ничего не замечала, ничего не понимала: ее терзали такие мучительные боли, что в голове не было ни единой мысли. Ей казалось, что живот, поясницу и таз ей перепиливают тупой пилой, медленно водят ею, дергают рывками, останавливаются на мгновение и снова раздирают стальными зубьями кости и мышцы.

Иногда пытка, разрывавшая на части ее тело, стихала, но тогда пробуждалась мысль, и начиналась другая пытка, еще более жестокая, терзавшая душу; эта боль была страшнее, чем физические муки: он любит другую, он женится на другой.

И, чтобы заглушить страшную мысль, сверлившую мозг, она старалась снова вызвать невыносимые муки тела, выгибалась, напрягала мышцы, опять начинались схватки, и тогда она хоть ни о чем не думала.

Роды длились пятнадцать часов, и Христиана была так измучена, разбита, истерзана физическими и душевными страданиями, что хотела только одного – умереть, умереть поскорее, лишь бы кончились нестерпимые муки. И вдруг, когда она вся содрогалась от долгой, не отпускавшей ни на секунду боли, еще более страшной, чем прежде, ей показалось, что все внутренности вырвались из ее тела! И все кончилось... Боли стихли, как успокаиваются волны. И это прекращение пытки было таким блаженством, что даже горе ее ненадолго замерло. С ней говорили, она отвечала усталым, слабым голосом.

К ее лицу склонилось лицо Андермата, и он сказал:

– Родилась девочка. Она жива... И почти доношена...

– Боже мой!..

И больше она ничего не могла сказать. Ребенок! У нее ребенок!.. Он жив, будет жить, будет расти. Ребенок Поля! И ей хотелось кричать, выть от новой боли, терзавшей сердце. У нее ребенок... Девочка. Нет, не надо!.. Никогда ее не видеть!.. Никогда не притрагиваться к ней!..

Ее заботливо уложили, укутали, гладили, целовали! Кто? Наверно, отец и муж – она никого не замечала. Где он? Что делает? Как она была бы счастлива сейчас, если б он любил ее!

Время шло, часы сменялись часами, она их не различала, не знала, ночь это или день, ее огнем жгла неотвязная мысль: он любит другую.

И вдруг забрезжила надежда: «А может быть, это неправда?... Как же я ничего не знала, пока этот доктор не сказал мне?»

Но тут же заговорил рассудок: от нее нарочно все скрыли. Поль старался, чтоб она ничего не узнала.

Она открыла глаза, посмотрела, есть ли кто в комнате. Около постели сидела в кресле какая-то незнакомая женщина. Должно быть, сиделка. Христиана не посмела расспросить ее. У кого же,

у кого можно спросить про это?

Тихо отворилась дверь. В комнату на цыпочках вошел муж. Увидев, что у нее глаза открыты, он подошел к постели.

– Ну как? Тебе лучше?

– Да, спасибо.

– Как ты нас вчера напугала! Но теперь, слава богу, опасность прошла! Только вот не знаю, как быть с тобою. Я телеграфировал нашей приятельнице госпоже Икардон – ведь она обещала приехать к твоим родам; я сообщил, что роды произошли преждевременно, умолял ее поспешить. Но, оказывается, у нее племянник болен скарлатиной, и она ухаживает за ним... А ведь нельзя тебя оставить одну... И нужна все-таки женщина, хоть сколько-нибудь приличная... И вот одна здешняя дама вызвалась ухаживать за тобой и развлекать тебя... Я, знаешь ли, согласился. Это госпожа Онора.

Христиане вспомнились слова доктора Блека. Она вздрогнула и простонала:

– Ах нет... нет... не надо... только не ее, только не ее.

Андермат не понял и принялся уговаривать:

– Ну что ты, детка! Я, конечно, знаю, что она вульгарная особа, но Гонтран ее хвалит за услужливость, она была ему очень полезна. И к тому же она, говорят, была прежде повивальной бабкой; Онора и познакомился с нею у постели роженицы. Если она будет тебе очень уж неприятна, мы ее живо отставим. Давай все-таки попробуем. Пусть она придет разок-другой.

Христиана молча думала. Ее томила потребность узнать правду, всю правду; и в надежде на болтливость этой женщины, от которой слово за словом можно будет выпытать эту страшную правду, истерзать себе сердце, ей уже хотелось ответить: «Да... приведи ее... сейчас же... сейчас же приведи».

К непреодолимому желанию все узнать примешивалась какая-то странная потребность выстрадать до конца свою боль, чтоб она острыми шипами впиалась в душу – таинственная, болезненная, неистовая жажда мученичества.

И она тихо сказала:

– Хорошо. Я согласна. Приведи госпожу Онору.

Но тут же она почувствовала, что не в силах ждать дольше, что ей надо немедленно убедиться, твердо убедиться в его измене. И она, едва дыша, почти беззвучно спросила:

– Правда, что господин Бретиньи женится?

Андермат спокойно ответил:

– Да, правда. Мы бы тебе раньше сказали, да ведь с тобой нельзя было говорить.

И она спросила:

– На Шарлотте?

– На Шарлотте.

Однако у Вильяма тоже была теперь навязчивая мысль, всецело завладевшая им, – он думал о своей дочери, еле мерцающем огоньке жизни, и поминутно ходил посмотреть на нее. Его обижало, что, очнувшись, жена не пожелала сразу же увидеть ребенка, а говорит о чем-то постороннем, и он сказал с мягким упреком:

– Разве ты не хочешь посмотреть на дочку? Знаешь, она превосходно чувствует себя.

Христиана вздрогнула, словно он коснулся открытой раны, но ей надо было пройти весь крестный путь.

– Принеси ее, – сказала она.

Он исчез за опущенным пологом в ногах кровати, затем снова вынырнуло его сияющее гордостью, счастливое лицо, и он поднес ей неловкими руками белую запеленутую куклу.

Осторожно положив ребенка на вышитую подушку возле Христианы, задыхавшейся от волнения, он сказал:

– А ну, посмотри, какая красавица у нас дочка!

Христиана взглянула.

Он отвел двумя пальцами легкое кружево, и Христиана увидела красное личико, очень маленькое и красное, с закрытыми глазками и кривившимся ротиком.

И, склонившись к этому зачатку человеческого существа, она думала: «Это моя дочь... дочь Поля... И из-за этого комочка я столько выстрадала... Этот комочек – моя дочь... моя дочь!..»

Сразу исчезло отвращение к ребенку, рождение которого истерзало ее бедное сердце и ее хрупкое женское тело. Она смотрела на него с горестным и жгучим любопытством, с глубоким изумлением молодого животного, увидавшего своего первого детеныша. Андермат, ожидавший, что она со страстной материнской нежностью станет целовать дочь, удивленно и обиженно взглянул на нее.

– Что же ты ее не поцелуешь?

Христиана тихо склонилась к красному лобку, а он как будто звал, притягивал к себе ее губы; когда же они приблизились, коснулись этого чуть влажного лобика, и мать ощутила живое тепло крошечного существа, которому она передала часть своей собственной жизни, ей показалось, что она не в силах будет оторваться от него, что она навсегда прильнула к нему.

Что-то защекотало ей щеку – это муж наклонился, чтобы поцеловать ее. Он прижал ее к себе в долгом объятии, полном благодарной нежности; потом ему захотелось приласкать и дочь, и, выпятив губы, он стал целовать ее носик осторожными мелкими поцелуями.

Христиана смотрела на них, и у нее сжималось сердце – ее ребенок и он... он!..

Потом Андермат заявил, что пора отнести дочь в колыбель.

– Нет, – сказала Христиана, – пусть еще немного побудет тут, хоть минутку, чтобы я чувствовала, что она рядом со мной. Не говори больше, не двигайся, оставь нас, подожди немного.

Она охватила рукой запеленатое тельце ребенка, прижалась лбом к его сморщенному красному личику, закрыла глаза и лежала, не шевелясь, ни о чем не думая.

Но через несколько минут Вильям осторожно тронул ее за плечо.

– Довольно, дорогая. Будь умницей. Тебе вредно волноваться!

Он взял девочку на руки, а мать следила за ней взглядом, пока она не исчезла за пологом кровати. Затем Андермат вернулся и сказал:

– Значит, решено? Завтра я пришлю к тебе госпожу Опора, пусть посидит с тобою.

Христиана ответила ему окрепшим голосом:

– Да, друг мой. Пришли ее... завтра утром.

И она вытянулась в постели, усталая, разбитая, но, быть может, уже не такая несчастная.

Вечером пришли ее навестить отец и брат и рассказали последние новости: профессор Клош поспешно уехал разыскивать дочь; герцогиня де Рамас не показывается – ходят слухи, что и она помчалась разыскивать Мадзелли. Гонтран весело смеялся по поводу этих происшествий и извлекал из них комическую мораль:

– Нет, право, на водах творятся настоящие чудеса. Курорты – это единственные волшебные уголки на нашей прозаической земле! За два месяца на них разыгрывается столько романов, сколько не случится во всем мире за целый год. Право, из земли бьют не минеральные, а какие-то колдовские источники. И везде та же самая история – в Эксе, Руайя, Виши, Люшоне и на морских купаньях: в Дьеппе, Этрета, Трувиле, Биаррице, в Канне, в Ницце. Везде!.. А какая пестрая смесь племен, сословий, характеров и рас, какие великолепные экземпляры проходимцев вы там встретите! Сколько там удивительных приключений! Женщины там выкидывают невероятные фокусы, да еще с какой очаровательной легкостью и быстротой! В Париже, посмотришь, недотрога, а тут удержу ей нет... Солидные господа вроде Андермата находят здесь богатство, другие – смерть, как Обри-Пастер, а ветрогонов подстерегает тут кое-что похуже – законный брак, как меня... и Поля. Вот глупость, правда? Ты, наверно, уже знаешь, что Поль женится?

– Да, Вильям мне говорил, – тихо сказала Христиана.

Гонтран принялся разъяснять:

– Он правильно делает, честное слово! Ничего, что она дочка мужика. Это все же куда лучше, чем девицы из подозрительных семей или девицы легкого поведения. Я Поля знаю. Он в конце концов женился бы на какой-нибудь твари, если б она месяца полтора сумела ему противиться. А ведь устоять перед ним может только прожженная шельма или воплощенная невинность. Он натолкнулся на воплощенную невинность. Тем лучше для него.

Христиана молча слушала, и каждое его слово вонзалось ей в сердце, причиняло жестокую

боль.

Она закрыла глаза.

– Я очень устала. Хочу отдохнуть немного.

Маркиз и Гонтран поцеловали ее и ушли.

Но спать она не могла: сознание работало лихорадочно и мучительно. Мысль, что он больше не любит, совсем не любит ее, была так невыносима, что, если бы она не видела возле своей постели сиделки, дремавшей в кресле, она встала бы, распахнула окно и бросилась вниз головой на каменные ступени крыльца. Между занавесками окна пробился тонкий лунный луч, и на паркет легло светлое круглое пятно. Она заметила этот голубоватый кружок, и сразу ей вспомнилось все: озеро, лес, первое, еле слышное, такое памятное признание: «Люблю вас» – и Турноэль, и их ласки в тот вечер, и темные тропинки, и дорога к Ла-Рош-Прадьер. Вдруг ясно-ясно она увидела перед собой белую ленту дороги, и звездное небо, и Поля. Но он шел теперь с другой и, склоняясь к ней на каждом шагу, целовал ее... целовал другую женщину. И она знала эту женщину. Он обнимал теперь Шарлотту! Он обнимал ее и улыбался той улыбкой, какой нет больше ни у кого на свете; шептал ей на ухо такие милые слова, каких нет ни у кого на свете; потом он бросился на колени и целовал землю у ее ног, как целовал он когда-то землю у ног Христианы. И ей стало больно, так больно, что она застонала, и, повернувшись, зарылась лицом в подушку и разрыдалась. Она рыдала громко, еле сдерживая крик отчаяния, терзавшего душу.

Она слышала, как неистово билось в груди сердце; каждое его биение отдавалось в горле, в висках и без конца выстукивало: Поль... Поль... Поль... Она затыкала уши, чтоб не слышать этого имени, прятала голову под одеяло, но все равно с каждым толчком сердца, не находившего успокоения, в груди отзывалось: Поль... Поль.

Сиделка сонным голосом спросила:

– Вам нехорошо, сударыня?

Христиана повернулась к ней лицом, залитым слезами, и сказала, задыхаясь:

– Нет, я спала... Мне приснился страшный сон.

И она попросила зажечь свечи, чтобы померк в комнате лунный свет.

Под утро она забылась сном.

Она дремала уже несколько часов, когда Андермат привел к ней г-жу Онора. Толстуха сразу повела себя очень развязно, уселась у постели, взяла Христиану за руки, принялась расспрашивать, как врач, и, удовлетворенная ее ответами, заявила:

– Ну что ж, ну что ж. Все идет хорошо.

Потом она сняла шляпу, перчатки, шаль и сказала сиделке:

– Можете идти, голубушка. Если вы понадобится, я позвоню.

Христиана, уже чувствуя к ней отвращение, сказала мужу:

– Принеси ненадолго маленькую.

Как и накануне, Андермат принес ребенка, умиленно его целуя, и положил на подушку. И так же, как накануне, мать прижалась щекой к закутанному детскому тельцу, которого она еще не видела, и, ощущая сквозь ткань его теплоту, сразу прониклась блаженным спокойствием.

Вдруг малютка завозилась и принялась кричать тоненьким, пронзительным голоском.

– Грудь хочет, – сказал Андермат.

Он позвонил, и в комнату вошла кормилица, огромная, краснощекая, большеротая женщина, ослабив в улыбке широкие блестящие зубы. Эти людоедские зубы даже испугали Христиану. Кормилица расстегнула кофту, выпростала тяжелую и мягкую грудь, набухшую молоком, точно коровье вымя. И когда Христиана увидела, как ее малютка присосалась губами к этой мясистой фляге, ей захотелось схватить свою дочку на руки, отнять ее у этой женщины; она смотрела на кормилицу с чувством ревности и брезгливости.

Госпожа Онора надавала кормилице всяких советов, и та, покормив ребенка, унесла его.

Вслед за ней ушел и Андермат. Женщины остались одни.

Христиана не знала, как заговорить о том, что грызло ей душу, боялась, что от волнения потеряется, заплачет, выдаст себя. Но г-жа Онора принялась болтать, не дожидаясь приглашения. Пересказав все местные сплетни, она добралась до семейства Ориоль.

– Славные люди, – говорила она, – очень славные. А если б вы знали, какая у них была мать! Уж такая работающая, такая хорошая женщина! Десятерых стоила. Дочки обе в нее пошли.

Она собиралась было перейти к другой теме, но Христиана спросила:

– А вам которая больше нравится: Луиза или Шарлотта?

– Я-то больше люблю Луизу, невесту вашего братца, она серьезнее, хозяйственнее, у нее во всем порядок. А моему мужу больше по душе младшая. У мужчин, знаете ли, другие вкусы, не такие, как у нас.

Она умолкла. Христиана, чувствуя, что мужество ее слабеет, с трудом выговорила:

– Мой брат часто встречался у вас со своей невестой?

– Ну еще бы, сударыня, очень часто, чуть не каждый день. Все у меня и сладилось, все. Я не мешала им беседовать. Что ж, молодость! И, знаете, как мне было приятно, что и младшая не в обиде, раз она приглянулась господину Полю.

Христиана, задышавшись, спросила:

– Он ее очень любит?...

– Ах, сударыня! Уж так любит, так любит! За последнее время совсем голову потерял. А потом, знаете ли, когда итальянец – ну вот, что увез дочь у доктора Клоша – стал увиваться вокруг Шарлотты, так, для пробы, только поглядеть, не клюнет ли у него, я думала, что господин Поль вызовет его на дуэль... Ах, если б вы видели, какими злыми глазами он смотрел на итальянца! А на нее смотрит так, будто перед ним Мадонна!.. Приятно видеть такую любовь!

И тогда Христиана стала расспрашивать обо всем, что совершилось на глазах этой женщины, что говорили влюбленные, что они делали, как ходили на прогулку в долину Сан-Суси, где столько раз Поль говорил ей когда-то слова любви. К великому удивлению толстухи, она задавала такие вопросы, какие никому не могли бы прийти в голову, потому что она непрестанно сравнивала, вспоминала тысячи подробностей истории своей любви, начавшейся прошлым летом, изящное ухаживание и тонкое внимание Поля, его изобретательность в стремлении понравиться, все милые, чарующие, нежные заботы, в которых сказывается властное желание мужчины пленить женщину. Ей хотелось знать, расточал ли он все эти соблазны перед другой, с прежним ли жаром вел новую осаду, чтоб покорить другую женскую душу непреодолимой силой страсти.

И всякий раз, как Христиана узнавала в рассказах старухи какую-нибудь знакомую черточку, волнующий сердце неожиданный порыв чувства, так щедро изливавшегося у Поля, когда им овладевала любовь, она страдальчески вскрикивала: «Ах!»

Удивленная этими странными возгласами, г-жа Онора усиленно старалась заверить, что она несколько не выдумывает.

– Истинная правда, ей-богу, как я говорю, так все и было. Никогда не видела, чтобы мужчины так влюблялся!

– Он читал ей стихи?

– А как же! Читал. И все такие красивые.

Наконец обе они умолкли, и слышалась только тихая, однообразная песенка кормилицы, убаюкивавшей ребенка в соседней комнате.

В коридоре вдруг раздались все приближавшиеся шаги. Больную пришли навестить Марсель и Латон. Оба нашли, что она возбуждена и что состояние ее несколько ухудшилось со вчерашнего вечера.

Как только они удалились, Андермат приоткрыл дверь и спросил:

– Доктор Блек хочет тебя проведать. Ты примешь его?

Христиана резким движением приподнялась на постели и крикнула:

– Нет... нет!.. Не хочу... Нет!

Вильям вошел в комнату и, изумленно глядя на нее, сказал:

– Да как же это?... Все-таки надо бы. Мы в долгу перед ним... Прими его, пожалуйста...

У Христианы было совсем безумное лицо, глаза непомерно расширились, губы дрожали, и, глядя в упор на мужа, она крикнула таким громким и таким звонким голосом, что, верно, он разнесся по всему дому:

– Нет!.. Нет!.. Никогда!.. Пусть никогда не является!.. Слышишь?... Никогда!..

И, уже не отдавая себе отчета в том, что делает, что говорит, она вытянула руку и, указывая на г-жу Онора, растерянно стоявшую посреди комнаты, закричала:

– И эту тоже... выгони ее, выгони... Не хочу ее видеть!.. Выгони ее!..

Андермат бросился к жене, крепко обнял, поцеловал ее в лоб.

– Христиана, милая! Успокойся!.. Что с тобой?... Да успокойся же!..

У нее перехватило горло, слезы полились из глаз, и она прошептала:

– Скажи, чтоб они ушли... Пусть все, все уйдут. Только ты один останься со мной.

Испуганный Андермат подбежал к толстой докторше и осторожно оттесняя ее к двери, забормотал:

– Оставьте нас одних на минутку, прошу вас. У нее лихорадка. Молоко в голову бросилось. Я ее сейчас успокою и приду за вами.

Когда он подошел к постели, Христиана уже лежала неподвижно, с застывшим, каменным лицом, по которому катились безмолвные обильные слезы. И впервые в жизни Андермат тоже заплакал.

Действительно, ночью у Христианы началась молочная лихорадка, и она стала бредить.

Несколько часов она металась в жару и вдруг заговорила громко, отчетливо.

В комнате сидели маркиз и Андермат, решившие остаться на ночь подле нее; они играли в карты и вполголоса считали взятки. Им показалось, что она зовет их, и они подошли к постели.

Но она их не видела или не узнавала. Белое, как полотно, лицо смутно выделялось на подушке, белокурые волосы рассыпались по плечам, голубые, широко открытые глаза пристально вглядывались в тот неведомый, таинственный, фантастический мир, где блуждает мысль безумных.

Руки, вытянутые на одеяле, иногда шевелились, вздрагивали, дергались в произвольных и быстрых движениях.

Сначала она не то чтобы разговаривала с кем-то, а рассказывала о том, что видит перед собою. И то, что говорила она, казалось бессвязным и непонятным. Вот она стоит на огромной каменной глыбе и не решается прыгнуть, боится вывихнуть ногу, а тот человек, что стоит внизу и протягивает к ней руки, – он ведь чужой, она мало с ним знакома. Потом она заговорила о запахах и как будто вспоминала чьи-то полузабытые слова: «Что может быть прекраснее?... Есть запахи, опьяняющие, как вино... Вино пьянит мысли, аромат опьяняет мечты... В ароматах вливаешь самую сущность природы, всего нашего земного мира... прелесть цветов, деревьев, травы на лугах... проникаешь в душу жилищ, дремлющую в старой мебели, в старых коврах, в занавесях на окнах...»

Потом у губ ее вдруг легли страдальческие складки, как будто от усталости, от долгой усталости. Она поднималась в гору медленным, грузным шагом и говорила кому-то: «Понеси меня еще раз, пожалуйста, прошу тебя... Я умру тут, больше сил нет идти! Возьми меня на руки. Помнишь, как тогда, на тропинке, над ущельем? Помнишь!.. Как ты любил меня тогда!»

А потом она вдруг испуганно вскрикнула, и ужас наполнил ее глаза. Перед нею лежало мертвое животное, и она умоляла убрать его с дороги, но осторожно, чтоб не сделать ему больно.

Маркиз тихо сказал зятю:

– Ей чудится осел, которого мы видели, когда возвращались с Ньюжера.

А она теперь говорила с этим мертвым ослом. Утешала его, рассказывала ему, что она тоже несчастна, гораздо несчастнее, чем он, потому что ее покинули.

Потом она как будто противилась кому-то, отказывалась сделать то, что от нее требовали: «Ах, только не это!.. Как? Ты велишь мне везти телегу?...»

Дыхание у нее стало тяжелым, прерывистым, словно она действительно тащила телегу, из глаз лились слезы, она стонала, вскрикивала. Больше получаса она все поднималась по крутой дороге и тащила телегу, в которую ее заставили впрячься, – должно быть, вместо околевшего осла.

И, должно быть, кто-то жестоко бил ее, потому что она жалобно молила: «Не надо, не бей! Мне больно!.. Ну, хоть не бей меня! Я повезу, повезу телегу, я все сделаю, что ты велишь... Только не бей меня больше!..»

Потом горячее возбуждение улеглось, она уже не кричала, а только тихо бормотала что-

то до самого утра. Наконец она умолкла и впала в забытие. Очнулась она только к двум часам дня и вся еще горела в лихорадке, но сознание уже вернулось к ней.

Все же до следующего утра мозг отказывался работать, мысли расплывались, ускользали. Когда она просила что-нибудь, то не сразу вспоминала нужные слова и с большим трудом подбиала их.

Ночью сон принес ей отдых, она проснулась с совершенно ясной головой.

Однако она чувствовала в себе великую перемену, как будто болезнь принесла душевный перелом. Она меньше страдала и больше думала. То, что было для нее так ужасно и совершилось так недавно, теперь словно уже отошло в далекое прошлое, и она все видела в ясном свете мысли, каким никогда еще не освещалась для нее жизнь. Свет, внезапно все озаривший, тот свет, что загорается в сознании в часы тяжкого горя, показал ей жизнь, людей, их дела, весь мир со всем в нем сущим совершенно иными, чем она видела их прежде.

И тогда она почувствовала, что она покинута и одинока в жизни, еще более одинока, чем в тот вечер, когда у себя в спальне, после возвращения с Тазенатского озера, думала о своей жизни. Она поняла, что люди идут в жизни рядом, бок о бок, но ничто не связывает истинной близостью два человеческих существа. Измена того, кому она так верила, открыла ей, что другие люди – все люди, будут для нее лишь равнодушными спутниками на переходах жизненного пути, коротких или долгих, печальных или радостных, в зависимости от грядущих дней, которые предугадать нельзя. Она поняла, что даже в объятиях этого человека, когда ей казалось, что она сливается с ним, вся проникает в него, что они душой и телом становятся единым существом, они были близки лишь настолько, чтобы коснуться той непроницаемой пелены, которой таинственная природа окутала человека, обрекая его на одиночество. Она хорошо видела теперь, что никто не может преодолеть невидимую преграду, разъединяющую людей, и они далеки друг от друга, как звезды, рассеянные в небе.

Она угадала, как напрасно извечное, непрестанное стремление людей разорвать оболочку, в которой бьется душа, навеки одинокая узница, как напрасны усилия рук, уст, глаз, нагого тела, трепещущего страстью, усилия любви, исходящей в лобзаниях лишь для того, чтобы дать жизнь новому существу, которое тоже будет одиноким, покинутым.

Ее охватило непреодолимое желание взглянуть на своего ребенка, и, когда его принесли, она попросила распеленать его: ведь она до сих пор видела только его личико.

Кормилица распеленала малютку, и хрупкое тельце новорожденной зашевелилось на глазах у матери в тех произвольных, беспомощных движениях, какими начинается человеческая жизнь. Мать робко дотронулась до него дрожащей рукой, потом губы ее сами потянулись к нему, и она осторожно стала целовать грудку, животик, красные ножки, икры, потом, устремив на ребенка неподвижный взгляд, забылась в странных мыслях.

Двое людей встретились случайно, полюбили друг друга с восторженной страстью, и от их телесного слияния родилось вот это существо. В этом существе соединились и до конца его дней будут неразрывно соединены те, кто дал ему жизнь, в нем есть что-то от них обоих, от него и от нее, и еще что-то неведомое, отличное от них. Оба они повторятся в этом существе: в строении его тела, в складе ума, в чертах лица, в глазах, в движениях, в наклонностях, в вкусах, пристрастиях, даже в звуке голоса и в походке, – и все же в нем будет что-то иное, новое.

Они теперь разлучились, расстались безвозвратно! Никогда больше их взгляды не сольются в порыве любви, которая делает бессмертным род человеческий.

И, прижимая к груди своего ребенка, она прошептала:

– Прощай! Прощай!

«Прощай», – шептала она на ухо своей малютке, и это было прощание с тем, кого она любила, мужественное и скорбное прощание гордой души, прощание женщины, которая будет страдать еще долго, быть может, всю жизнь, но найдет в себе силы скрыть от всех свои слезы.

– Ага! Ага! – закричал Вильям Андермат, приотворив дверь. – Поймал тебя! Отдавай-ка мне мою дочку!

Он подбежал к постели, схватил малютку на руки уже умелым, ловким движением и поднял над головой.

– Здравствуйте, мадемуазель Андермат! Здравствуйте, мадемуазель Андермат!.. – повторял он.

Христиана думала: «Вот это мой муж!» – и с удивлением смотрела на него, как будто впервые его видела. Вот с этим человеком ее навсегда соединил закон, сделал навсегда его собственностью. И он должен навсегда быть, согласно правилам людей, требованиям морали, религии и общества, частью ее существа, ее половиной. Нет, больше того – ее господином, господином ее дней и ночей, ее души и тела! И ей даже хотелось улыбнуться, так все это сейчас казалось ей странным, потому что между ними не было и никогда не могло возникнуть ни одной из тех связующих нитей, которые рвутся так быстро, но кажутся людям вечными и несказанно сладостными, почти божественными узами.

И не было у нее никаких укоров совести из-за того, что она обманывала его, изменяла ему! Она удивилась: почему же это? Почему?... Наверно, потому, что слишком уж чужды и далеки они были друг другу, слишком разной породы. Все в ней было непонятно ему, и ей все было непонятно в нем. А между тем он был хорошим, преданным, заботливым мужем.

Но, должно быть, только люди одного пошиба, одного и того же духовного склада могут чувствовать друг к другу нерасторжимую привязанность, соединяющую их священными узами добровольного долга.

Ребенка снова запеленали. Вильям сел у кровати.

– Послушай, милочка, – сказал он. – Я уж просто боюсь и заикнуться о ком-нибудь, после того как ты оказала доктору Блеку столь любезный прием. А все-таки сделай мне удовольствие, разреши доктору Бонфилю навестить тебя!

Христиана засмеялась – в первый раз, но вялым, равнодушным смехом, не веселившим душу.

– Доктор Бонфиль? – переспросила она. – Вот чудо! Вы помирились?

– Да, да, помирились. Скажу тебе по секрету важную новость: я только что купил старый курорт. Теперь тут все мое! Что скажешь, а? Какой триумф! Бедняга доктор Бонфиль пронюхал об этом раньше всех и пустился на хитрость: стал ежедневно наведываться сюда, справлялся о твоём здоровье, оставлял у швейцара свою визитную карточку со всякими сочувственными словами. В ответ на его заигрывания я нанес ему визит, и теперь мы с ним в прекрасных отношениях.

– Ну что ж, пусть придет, если ему хочется. Буду рада его видеть.

– Великолепно! Благодарю тебя, милочка! Я завтра же его приведу. Нечего и говорить, что Поль постоянно просит передать тебе привет, шлет наилучшие пожелания и интересуется малышкой. Ему очень хочется посмотреть на нее.

Несмотря на все мужественные решения, у нее защемило сердце. Все же она пересилила себя.

– Поблагодари его от меня.

Андермат сказал:

– Он все беспокоился, не забыли ли мы тебе сообщить о его женитьбе. Я сказал, что ты уже знаешь, и он несколько раз спрашивал, как ты на это смотришь.

Христиана напрягла всю свою волю и тихо сказала:

– Передай ему, что я вполне его одобряю.

Вильям продолжал терзать ее:

– И еще ему очень хочется знать, как ты назовешь дочку. Я сказал, что мы еще не решили, Маргарита или Женестьева.

– Я передумала, – сказала она. – Я хочу назвать ее Арлеттой.

Когда-то, в первые дни беременности, они с Полем обсуждали, как назвать будущего ребенка, и решили, если родится девочка, назвать ее Маргаритой или Женестьевой. Но теперь Христиана не могла больше слышать эти имена.

Вильям Андермат повторил за нею:

– Арлетта... Арлетта... Что ж, очень мило... ты права. Но мне хотелось бы назвать ее Христианой, как тебя. Мое любимое имя... Христиана!

Она тяжело вздохнула.

– Ах, нет! Имя распятого сулит страдания.

Андермат покраснел: такое сопоставление не приходило ему в голову; он торопливо поднялся и сказал:

– Ну что ж, Арлетта – красивое имя. До свидания, дорогая.

Когда он ушел, Христиана позвала кормилицу и велела, чтобы колыбель ребенка поставили у ее постели.

Когда легкую, зыбкую колыбель с пологом на согнутом медном пруте, похожую на зыбкую лодочку с белым парусом, поставили у широкой кровати, мать протянула руку и, дотронувшись до уснувшего ребенка, прошептала:

– Бай, бай, моя маленькая. Никто никогда не будет любить тебя так, как я!

Следующие дни она провела в тихой грусти, много думая, закаляясь душой в одинокой скорби, чтобы мужественно вернуться к жизни через несколько недель. И теперь главным ее занятием было смотреть на свою дочку: она все пыталась уловить первый луч сознания в ее глазах, но пока видела только два голубоватых кружочка, неизменно обращенные к светлому квадрату окна.

И сколько раз с глубокой печалью думала она о том, что мысль, еще спящая, проглянет в этих глазах и они увидят мир таким, каким его видела она сама: сквозь радужную дымку иллюзий и мечтаний, которые опьяняют счастьем и доверчивой радостью молодую женскую душу. Глаза дочери будут любить все то, что любила мать, – чудесные ясные дни, цветы, леса и людей тоже, на своей горе. Они полюбят одного человека среди всех людей. Они будут любить! Будут носить в себе знакомый дорогой образ; вдали от него будут видеть его вновь и вновь, будут загораться, увидев его близ себя... А потом... потом они научатся плакать! Слезы, жгучие слезы потекут по этим щечкам. И эти еще тусклые глазки, которые будут тогда синими, станут неузнаваемыми от страданий обманутой любви, заволочутся слезами тоски и отчаяния.

Она с безумной, страстной нежностью целовала свою дочь и шептала:

– Не люби никого, кроме меня, моя маленькая.

Но вот настал день, когда профессор Ма-Руссель, навещавший ее каждое утро, объявил:

– Ну что ж, можно вам сегодня встать ненадолго.

Когда врач ушел, Андермат сказал жене:

– Как жаль, что ты еще не совсем поправилась! У нас сегодня в институте гимнастики будет интереснейший опыт. Доктор Латон сотворил настоящее чудо: излечил папашу Кловиса своей механизированной гимнастикой. Представь себе, безногий-то ходит теперь, как здоровый! Улучшение заметно с каждым сеансом.

Христиана спросила, чтобы доставить ему удовольствие:

– Так у вас сегодня публичный сеанс?

– И да и нет. Мы пригласим только докторов и кое-кого из наших друзей.

– В котором часу это будет?

– В три часа.

– Господин Бретиньи приглашен?

– Ну конечно. Он обещал прийти. Все правление будет присутствовать. Для медиков это очень любопытный опыт.

– Знаешь, – сказала она, – я в это время как раз встану и могла бы принять господина Бретиньи. Попроси его навестить меня. Он составит мне компанию, пока вы все будете заняты этим опытом.

– Хорошо, дорогая.

– А ты не забудешь?

– Нет, нет, будь покойна.

И Андермат ушел собирать зрителей.

Когда-то Ориоли ловко надули его своей комедией исцеления паралитика, а теперь он вел ту же игру, пользуясь легковерием больных, жаждущих чудес от всяких новых методов лечения, и говорил об этом исцелении так часто, с таким пылом и убежденностью, что и сам уже не разбирался, верит он в это или не верит.

К трем часам все, кого ему удалось залучить, собрались у дверей ванного заведения, поджи-

дая Кловиса. Старик припнулся наконец, опираясь на две палки, все еще волоча ноги, и учтиво кланялся направо и налево.

За Кловисом следовали оба Ориоля и обе девушки. Поль и Гонтран сопровождали своих невест.

Доктор Латон, беседуя с Андерматом и доктором Онора, поджидал публику в большом зале, оснащенном приборами на шарнирах.

Как только он увидел папашу Кловиса, на его бритых губах засияла радостная улыбка.

– Ну как? Как мы чувствуем себя сегодня? – спросил он.

– Идет дело, идет!

Пришли Петрюс Мартель и Сен-Ландри: им тоже хотелось посмотреть. Первый уверовал, второй сомневался. Ко всеобщему удивлению, вслед за ними явился доктор Бонфиль, поклонился своему сопернику и пожал руку Андермату. Последним прибыл доктор Блек.

– Милостивые государи и милостивые государины! – сказал доктор Латон с легким поклоном в сторону Луизы и Шарлотты. – Сейчас вы будете свидетелями весьма любопытного опыта. Прежде всего до начала его попрошу вас отметить, что этот больной старик уже ходит, но с трудом, с большим трудом. Можете вы ходить без палок, папаша Кловис?

– Ох нет, сударь!

– Прекрасно. Начнем.

Старика взгромоздили на кресло, мигом пристегнули ему ремнями ноги к членистым подставкам, затем доктор Латон скомандовал: «Начинай! Потихоньку!» – и служитель в халате с засученными рукавами стал медленно вращать рукоятку.

Тотчас же правая нога бродяги согнулась в колене, поднялась, вытянулась, вновь согнулась, затем левая проделала те же движения, а папаша Кловис вдруг развеселился и, потряхивая длинной седой бородой, стал качать головою в такт движению своих ног.

Четыре врача и Андермат, наклонившись, следили за его ногами с важностью авгуров, а Великан хитро переглядывался с отцом.

Двери оставили открытыми, и в них беспрестанно входили все новые зрители – верующие и любопытные скептики – и теснились вокруг кресла, чтобы лучше все видеть.

– Быстрее! – скомандовал доктор Латон.

Служитель подбавил скорости. Ноги Кловиса побежали, а он принялся хохотать, закатываясь неудержимым смехом, как дети, когда их щекочут, и, захлебываясь, мотая головой, взвизгивал:

– Вот умора! Вот умора!

Это словечко он, несомненно, подслушал у кого-нибудь из курортных гостей.

Великан тоже не выдержал, разразился зычным хохотом и, топая ногой, хлопал себя по ляжкам, выкрикивая:

– Эх, черртов Кловис!.. Эх, черртов Кловис!

– Довольно! – сказал Латон служителю.

Бродягу отвязали, и врачи расступились, чтобы понаблюдать за результатами опыта.

И тогда Кловис на глазах у всех без всякой помощи слез с кресла и пошел по комнате. Правда, он шел мелкими шажками, горбился, морщился от тяжких усилий, но все же он шел без палок!

Доктор Бонфиль первым заявил:

– Случай совершенно исключительный.

Доктор Блек перешеголял в оценке своего коллегу. Только доктор Онора не вымолвил ни слова.

Гонтран прошептал на ухо Полю:

– Ничего не понимаю! Взгляни на их физиономии. Кто они: обманутые дураки или угодливые обманщики?

Но вот заговорил Андермат. Он подробно изложил весь ход лечения, с первого дня, рассказал о рецидиве болезни и, наконец, о новом, полном и окончательном выздоровлении. И весело добавил:

– Если даже в состоянии нашего больного за зимние месяцы наступит некоторое ухудшение, мы его летом подлечим.

Затем в торжественной и пышной речи он восславил воды Монт-Ориоля и все их целительные свойства, все до единого.

– Я сам, – говорил он, – на собственном опыте и на опыте дорогого мне существа убедился в их благотворном действии. Мой род теперь не угаснет, и я обязан этим Монт-Ориолю!

И тут он вспомнил вдруг, что обещал жене прислать к ней Поля Бретины. Ему стало совестно за такую забывчивость, потому что он был внимательный муж. Он огляделся по сторонам и, заметив Поля, подошел к нему:

– Дорогой мой! Я совсем забыл сказать вам: ведь Христиана ждет вас сейчас.

Бретины пробормотал:

– Меня?... Сейчас?...

– Да, да. Она сегодня в первый раз встала и хочет вас видеть раньше всех наших знакомых. Бегите скорей и передайте ей мои извинения.

Поль направился к отелю; сердце у него сильно билось от волнения.

По дороге он встретил маркиза де Равенеля, и тот сказал ему:

– Христиана уже встала и удивляется, что вас нет до сих пор.

Он ускорил шаг, но на площадке лестницы остановился, обдумывая, что сказать ей. Как она его встретит? Будет ли она одна? Если она заговорит о его женитьбе, что отвечать?

С тех пор, как у нее родился ребенок, он думал о ней, содрогаясь от мучительного волнения, краснел и бледнел при мысли о первой встрече с нею. С глубоким смущением думал он также об этом неведомом ему ребенке, отцом которого он был; его преследовало желание увидеть свою дочь, и было страшно ее увидеть. Он чувствовал, что увяз в какой-то грязи, нравственно замарал себя, совершил один из тех поступков, которые навсегда, до самой смерти, остаются пятном на совести мужчины. Но больше всего он боялся встретить взгляд женщины, которую любил так сильно и так недолго.

Что ждет его сейчас: упреки, слезы или презрение? Быть может, она позвала его лишь для того, чтобы выгнать?

И как держать себя с нею? Смотреть на нее смиренным, скорбным, молящим или же холодным взглядом? Объясниться или выслушать ее, ничего не отвечая? Можно ли сесть или надо разговаривать стоя? А когда она покажет ребенка, что сказать, как поступить? Какое чувство следует выразить?

Перед дверью он снова остановился в нерешительности, потом протянул руку, чтобы нажать кнопку электрического звонка, и заметил, что рука его дрожит.

Однако он надавил пальцем пуговку из слоновой кости и услышал задребезжавший в передней звонок.

Горничная отворила дверь и сказала: «Пожалуйста». Он вошел в гостиную и в отворенные двери спальни увидел Христиану. Она лежала в глубине комнаты на кушетке и смотрела на него.

Эти две комнаты, которые надо было пройти, показались ему бесконечными. У него подкашивались ноги, он боялся наткнуться на кресла, на стулья и не решался посмотреть себе под ноги, не смея отвести от нее глаза. Она не пошевелилась, не сказала ни слова, ждала, пока он подойдет. Правая ее рука вытянулась на платье, а левой она опиралась на край колыбели с опущенным поломом.

Он остановился в трех шагах от нее, не зная, что делать. Горничная затворила дверь. Они остались одни.

Ему хотелось упасть перед ней на колени, просить прощения.

Но она медленно подняла и протянула ему правую руку.

– Добрый день, – сдержанно сказала она.

Он не осмелился пожать ей руку и, низко склонив голову, чуть коснулся губами ее пальцев.

Она промолвила:

– Садитесь.



Он сел на низенький стул у ее ног.

Надо было что-то сказать, но он не находил слов, растерял все мысли, не решался даже посмотреть на нее. Наконец он выговорил, запинаясь:

– Ваш муж забыл мне передать, что вы ожидаете меня, а то бы я пришел раньше.

Она ответила:

– Это не имеет значения. Раньше или позже... все равно пришлось бы встретиться...

И она умолкла. Он торопливо спросил:

– Надеюсь, вы теперь хорошо себя чувствуете?

– Благодарю вас, хорошо, насколько это возможно после таких потрясений.

Она была очень бледна, худа, но красивее, чем до родов. Особенно изменились глаза; такого глубокого выражения он никогда раньше не видел в них, и они теперь как будто потемнели. Их голубизна сменилась густой синевой. А руки были восковые, как у покойницы.

Она заговорила снова:

– Да, пришлось пережить тяжелые часы. Но когда столько выстрадаешь, чувствуешь, что силы в тебе хватит до конца жизни.

Он был глубоко взволнован и тихо сказал:

– Да, это тяжелые испытания, ужасные.

Она, словно эхо, повторила:

– Ужасные.

Уже несколько секунд полог колыбельки колыхался, и за ним слышался шорох, говоривший о пробуждении спящего младенца. И Бретињи теперь не сводил глаз с колыбели, томясь все возрастающим беспокойством: ему мучительно хотелось увидеть то живое существо, которое дышало там.

И вдруг он заметил, что края полога сколоты сверху донизу золотыми булавками, которые Христиана обычно носила на своем корсаже. Он не раз когда-то забавлялся, вытаскивая и снова вкалывая в сборки платья у плеч своей возлюбленной эти изящные булавочки с головками в виде полумесяца. Он понял ее мысль, и сердце его больно сжалось при виде этой преграды из золотых точек, которая навсегда отлучала его от ребенка.

Из этой белой темницы послышался тоненький голосок, тихая жалоба. Христиана качнула легкий челнок колыбели и сказала немного резко:

– Прошу вас извинить меня, но я больше не могу уделить вам времени: моя дочь проснулась.

Он поднялся, снова поцеловал ей руку и направился к выходу. Когда он был уже у дверей, она сказала:

– Желаю вам счастья.

Новеллы Пышка

ПЫШКА

В течение нескольких дней через город проходили остатки разбитой армии. Это было уже не войско, а беспорядочная орда. Люди с длинными грязными бородами, в мундирах, превратившихся в лохмотья, плелись вяло, без знамен, растеряв свои части. Видно было, что все подавлены, измучены, утратили способность соображать и принимать какие-либо решения, – и шли они лишь по привычке, падая от усталости, как только останавливались. Здесь были, главным образом, мобилизованные запасные, миролюбивые люди, спокойные рантье, сгибавшиеся теперь под тяжестью ружья; были еще молодые солдатики подвижной гвардии,¹⁴ легко воодушевляющиеся, но и легко поддающиеся страху, одинаково готовые и к атаке и к бегству. Среди них попадались группы солдат в красных штанах – остатки какой-нибудь дивизии, разбитой в большом сражении; артиллеристы в темных мундирах, затерявшиеся в массе разномастных пехотинцев; а кое-где сверкала и каска тяжело ступавшего драгуна, с трудом поспешавшего за более легким шагом пехоты.

Проходили отряды похожих на бандитов вольных стрелков, носившие героические клички: «Мстители за поражение», «Граждане могилы», «Союзники в смерти».

Их командиры – бывшие торговцы сукном, зерном, салом или мылом, случайные воители, получившие звание офицеров кто за деньги, кто за длинные усы, – люди, обвешанные оружием, одетые в тонкое сукно, расшитое галунами, говорили громовыми голосами, обсуждали план кампании и хвастливо утверждали, что они одни держат на своих плечах погибающую Францию; а между тем они побаивались подчас даже собственных солдат, бродяг и грабителей, нередко отчаянно храбрых, и отпетых мазуриков.

Ходили слухи, что не сегодня-завтра пруссаки вступят в Руан.

Национальная гвардия, в течение двух месяцев с большой осторожностью производившая разведку в окрестных лесах, иногда подстреливая при том своих же часовых и готовясь к бою всякий раз, как где-нибудь в кустах зашевелится кролик, – теперь разошлась по домам. Сразу исчезло оружие, мундиры, все смертоносные атрибуты, еще недавно наводившие страх на межевые столбы по большим дорогам на три мили вокруг.

Наконец последние французские солдаты перешли Сену, направляясь через Сен-Север и Бур-Ашар в Понт-Одемер. Позади всех между двумя адъютантами шел пешком генерал, впавший в полное отчаяние. Он ничего не мог предпринять с этими жалкими разрозненными остатками армии, да и сам потерял голову среди полного разгрома нации, привыкшей побеждать, а теперь, несмотря на свою легендарную храбрость, терпевшей столь катастрофическое поражение.

Над городом нависла глубокая тишина, молчаливое, полное ужаса ожидание. Многие из ожиревших буржуа, обабившихся за своими прилавками, с тоскливой тревогой ожидали победителей, дрожа от страха, боясь, как бы их вертела и большие кухонные ножи не были приняты за оружие.

Жизнь словно остановилась: лавки были закрыты, улица нема и пустынна. Лишь изредка какой-нибудь обыватель, напуганный этим безмолвием, торопливо пробирался вдоль стен.

Ожидание было до того томительно, что многие желали скорейшего прихода неприятеля.

На следующий день после ухода французских войск небольшой отряд улан, неизвестно откуда явившийся, быстро промчался через город. Спустя короткое время со склонов Сент-Катрин скатилась на город черная лавина, а со стороны Дарнеталя и Буагильома показались два других потока завоевателей. Авангарды всех трех корпусов одновременно сошлись на площади у город-

¹⁴ Особый вид ополчения, созданный в франко-прусскую войну 1870–1871 гг.

ской ратуши, а из всех соседних улиц надвигалась германская армия, развертывая свои батальоны, под тяжелым и мирным шагом которых гудела мостовая.

Команда на незнакомом гортанном языке разносилась вдоль домов, которые казались покинутыми, вымершими; но из-за закрытых ставен множество глаз следило за этими победителями, которые по «праву войны» получили теперь власть над городом, над имуществом и жизнью граждан. Жители в темноте своих комнат были охвачены тем паническим ужасом, который сопутствует стихийным бедствиям, несущим гибель, великим катаклизмам, перед которыми бессильна вся человеческая мудрость и мощь. Такое ощущение появляется всегда, когда ниспровергается установленный порядок вещей, когда безопасности больше не существует, когда все, что охранялось законами людей или природы, отдано на произвол бессмысленной, жестокой и грубой силы. Землетрясение, погребавшее целое население под рухнувшими домами; вышедшая из берегов река, уносящая трупы людей вместе с тушами быков и вырванными из крыш балками; или покрытая славой армия, которая истребляет тех, кто защищается, и уводит в плен остальных, которая грабит во имя меча и под грохот орудий возносит хвалу богу, – все это одинаково грозные бедствия, подрывающие всякую веру в извечную справедливость, всю ту веру, которую внушают нам, в покровительство неба и могущество человеческого разума.

Между тем в каждый дом стучались и затем входили небольшие отряды. После вторжения началась оккупация. Теперь на побежденных возлагалась обязанность угождать победителям.

Через некоторое время первый страх прошел и восстановилось спокойствие. Во многих домах прусский офицер обедал за одним столом с хозяевами. Иногда он оказывался человеком благовоспитанным и из вежливости выражал сочувствие Франции, уверяя, что ему тяжело участвовать в этой войне. Такие чувства вызывали признательность. К тому же ведь не сегодня-завтра могло понадобиться его покровительство. Ухаживая за ним, можно было, пожалуй, избавиться от нескольких лишних солдатских ртов. Да и к чему оскорблять тех, от кого всецело зависит наша участь? Это было бы не столько смелостью, сколько безрассудством. А безрассудная отвага уже не является больше недостатком руанских буржуа, как некогда, во времена героической обороны, прославившей их город. Наконец, приводился самый убедительный довод, продиктованный французской учтивостью: быть вежливым с иностранным солдатом у себя дома вполне допустимо, лишь бы не проявлять дружеской близости по отношению к нему публично. На улице делали вид, что незнакомы с постояльцем, а дома с ним охотно беседовали, и с каждым вечером немец все дольше засиживался, греясь у общего очага.

Город мало-помалу принял свой обычный вид. Французы все еще почти не показывались, но улицы кишели прусскими солдатами. В конце концов, командиры голубых гусар, надменно волочившие по мостовой свои длинные орудия смерти, выказывали по отношению к простым гражданам не многим больше презрения, чем командиры французских стрелков, посещавшие год назад те же кафе.

И, однако, в воздухе носилось что-то неуловимое, неведомое, ощущалась какая-то невыносимо чуждая атмосфера, словно какой-то запах, разносящийся всюду запах вторжения. Он наполнял общественные места и жилища, придавал какой-то привкус пище, создавал впечатление, будто путешествуешь где-то далеко, среди диких и опасных племен.

Завоеватели требовали денег, много денег. Жители неизменно платили. Правда, они были достаточно богаты; но чем нормандский купец состоятельнее, тем тяжелее ему всякая жертва, тем сильнее он страдает, когда какая-нибудь частица его богатства переходит в руки другого.

А между тем за городом, в двух-трех лье вниз по течению, возле Круассе, Дьепдаля или Бьессара, лодочники и рыбаки не раз вылавливали с речного дна вздувшиеся трупы немцев в мундирах то убитых ударом кулака, то зарезанных, то с проломленной камнем головой, то просто сброшенных в воду с моста. Речной ил окутывал саваном эти жертвы тайной, дикой и законной мести, безвестного героизма, бесшумных нападений, более опасных, чем сражения среди бела дня, и лишенных ореола славы.

Ибо всегда найдется несколько отчаянных смельчаков, вдохновляемых ненавистью к чужеземцу и готовых умереть за идею.

Так как немцы хотя и подчинили город железной дисциплине, но не совершали вовсе тех

зверств, которые приписывала им молва на протяжении всего их победного шествия, жители Руана приободрились, и местные коммерсанты снова затосковали по своей торговле. У некоторых из них были крупные дела в Гавре, занятом французскими войсками, и они решили сделать попытку добраться до этого порта, проехав сухим путем до Дьепа, а дальше – морем.

Пустили в ход знакомства с немецкими офицерами, и от командующего армией было получено разрешение на выезд.

Для этой поездки решили воспользоваться большим четырехконным дилижансом, и десять человек заказали места у его владельца. Решено было выехать во вторник пораньше, до рассвета, чтобы избежать стечения народа.

Земля уже с некоторого времени была скована морозом, а в понедельник около трех часов дня с севера надвинулись тяжелые черные тучи и принесли снег, который шел не переставая весь вечер и всю ночь.

Утром, в половине пятого, путешественники собрались во дворе гостиницы «Нормандия», откуда отправлялся дилижанс.

Все были еще полусонные и дрожали от холода под своими пледами. В темноте трудно было разглядеть друг друга; и все эти фигуры, закутанные в тяжелые зимние одежды, напоминали тучных священников в длинных сутанах. Но вот два человека узнали друг друга, к ним подошел третий. Разговорились.

– Я еду с женой, – сказал один.

– Я тоже.

– И я.

Первый добавил:

– Мы не вернемся в Руан; если пруссаки дойдут до Гавра, мы переберемся в Англию.

У всех были одинаковые планы, так как все это были люди одного склада.

Дилижанс все еще не закладывали. По временам из темной двери конюшни показывался свет от небольшого фонаря в руках конюха и тотчас же исчезал в другой двери. В конюшне слышен был стук копыт, приглушенный раскиданной в стойлах подстилкой, а из глубины доносился чей-то голос, покрякивавший на лошадей. Слабое позвякивание бубенчиков возвестило, что расправляют сбрую. Это позвякивание скоро перешло в непрерывный, отчетливый звон, который в такт с движениями лошади то замирал, то звучал снова, внезапно и резко, сопровождаемый глухим стуком подков о землю.

Вдруг дверь конюшни захлопнулась, и шум сразу затих. Молчали и окоченевшие от холода пассажиры, застыв в неподвижных позах.

Белые хлопья снега все падали и падали на землю. Их сплошная блестящая завеса сглаживала все очертания, обволакивала предметы как бы ледяной пеной. И в глубокой тишине города, безмолвного под этим зимним саваном, слышался лишь смутный, неуловимый, трепетный шорох падающего снега, скорее ощущение, чем звук, шелест движущихся легких пушинок, наполнявших, казалось, все пространство, засыпавших весь мир.

Наконец снова появился человек с фонарем. Он вел на поводу лошадь, которая шла нехотя, с унылым видом. Поставив ее в дышло и подвязав постромки, он долго возился около нее, пока приладил сбрую, так как ему приходилось действовать только одной рукой – другая была занята фонарем. Отправляясь за второй лошадью, он заметил неподвижную группу пассажиров, уже совсем белых от снега, и сказал:

– Отчего вы не сядете в дилижанс? По крайней мере, укроетесь от снега...

Никому из них, очевидно, это раньше не приходило в голову, и теперь все поспешили к карете. Трое мужчин усадили своих жен и влезли вслед за ними; оставшиеся места заняли другие укутанные фигуры, едва видные в темноте, не обменявшись при том ни словом.

Пол дилижанса был устлан соломой, в которой утопали ноги. Дамы, сидевшие в глубине, зажгли захваченные ими с собой медные грелки с бездымным углем и в течение некоторого времени вполголоса перечисляли все их достоинства, повторяя то, что всем было давно известно.

В дилижанс впрягли ввиду трудной дороги шесть лошадей вместо обычной четверки, и наконец голос снаружи спросил:

– Все пассажиры сели?

– Все, – ответили изнутри, и дилижанс тронулся.

Ехали очень медленно, шагом. Колеса увязали в снегу; весь кузов кряхтел и глухо поскрипывал; ноги лошадей скользили, они храпели, от них поднимался пар. Огромный бич кучера беспрестанно шелкал, взлетая то с одной, то с другой стороны, свиваясь и развиваясь, как тонкая змея, и вдруг неожиданно обрушивался на один из колымавшихся впереди крупов, после чего тот напрягался в новом усилии.

Между тем незаметно наступало утро. Легкие снежные хлопья, которые один из путешественников, истый руанец, сравнил с дождем из хлопка, перестали падать. Мутный рассвет просачивался сквозь тяжелые темные облака, от мрака которых еще ослепительнее казалась снежная белизна полей, где мелькал то ряд высоких деревьев, одетых инеем, то хижина под шапкой снега.

При печальном свете занимающейся зари пассажиры в дилижансе с любопытством разглядывали друг друга.

В самой глубине, на лучших местах дремали, сидя друг против друга, супруги Луазо, оптовые виноторговцы с улицы Гран-Пон.

Луазо, бывший когда-то приказчиком, откупил у своего хозяина, когда тот разорился, его предприятие и разбогател. Он продавал мелким сельским лавочникам по очень дешевой цене очень плохое вино и слыл среди друзей и знакомых ловким пройдохой, настоящим нормандцем, плутом и весельчаком.



Репутация жулика так прочно за ним установилась, что, когда на одном вечере в префектуре местная знаменитость, г-н Турнель, сочинитель песенок и басен, человек острого и язвительного ума, видя, что дамы скучают, предложил им сыграть в «L'oiseau vole»,¹⁵ острота эта облетела залы префектуры, затем пошла гулять по всем салонам города, и еще целый месяц над ней хохотали во всей округе.

Луазо славился еще всевозможными проделками и шутками, иногда удачными, иногда плоскими. Говоря о нем, непременно добавляли: «Уморительный этот Луазо!»

Коротенький, с большим животом, он походил на шар, увенчанный багровой физиономией с седеющими бакенбардами.

Жена его, рослая, сильная, с громким голосом и решительным характером, представляла элемент порядка и точности в их торговом деле, тогда как муж оживлял его своей веселой энергией.

Рядом с четой Луазо восседал полный достоинства г-н Карре-Ламадон, представитель более

¹⁵ Игра слов: L'oiseau vole – птица летит (название игры), Loiseau vole – Луазо ворует.

высокого сословия, важное лицо, игравшее видную роль в текстильной промышленности, владелец трех бумагопрядильных фабрик, офицер ордена Почетного легиона и член Генерального совета. За все время Империи он оставался вождем благожелательной оппозиции с той единственной целью, чтобы получить поддержку со стороны того режима, с которым он, по его собственному выражению, всегда боролся лишь рыцарским оружием. Г-жа Карре-Ламадон, бывшая значительно моложе своего мужа, служила отрадой и утешением для всех офицеров из хороших семей, попадавших в руанский гарнизон.

Она сидела против супруга, прелестная, миниатюрная, вся утопая в своих мехах, и с сокрушением оглядывала убогую внутренность экипажа.

Ее соседи, граф Юбер де Бревиль с супругой, принадлежали к одной из самых старинных и знатных фамилий Нормандии. Граф, старый аристократ с величественной осанкой, старался путем разных ухищрений в туалете подчеркнуть свое природное сходство с Генрихом IV, которого славное семейное предание называло виновником беременности одной из дам рода де Бревиль. Муж ее получил за это графский титул и был сделан губернатором провинции.

Граф Юбер, как и Карре-Ламадон, был членом Генерального совета, в котором он представлял партию орлеанистов своего округа. История его женитьбы на дочери мелкого нантского судовладельца навсегда осталась загадкой. Но, так как графиня держала себя с достоинством знатной дамы, лучше всех умела принимать гостей и даже, как говорили, была некогда возлюбленной одного из сыновей Луи-Филиппа, вся знать носила ее на руках, и салон ее считался первым во всем крае, единственным, где еще сохранилась бывалая галантность и куда далеко не все имели доступ.

Состояние Бревилей, заключавшееся в землях и поместьях, приносило им, как говорили, до пятисот тысяч ливров годового дохода.

Эти шесть человек, занявшие всю глубину кареты, составляли обеспеченную, влиятельную и благонамеренную часть общества. То были люди почтенные, пользовавшиеся авторитетом, люди религии и принципов.

По странной случайности все три женщины оказались на одной скамье, и рядом с графиней де Бревиль сидели две монахини, все время перебиравшие четки и бормотавшие молитвы. У одной из них, старухи, лицо было так изрыто оспой, словно в него выпустили в упор целый заряд дроби. Другая, слабенькая и тщедушная, с красивым болезненным лицом и чахоточной грудью, казалась иссушенной всепожирающей верой, которая создает мучеников и фанатиков.

Сидевшие против монахинь мужчина и женщина привлекали к себе общее внимание.

Мужчина был хорошо известный демократ Корнюде, предмет ужаса всех почтенных людей. В течение двадцати лет он купал свои длинные рыжие усы в пивных кружках всех демократических кабачков. С компанией друзей и соратников он проел довольно большое состояние, оставленное ему отцом, бывшим кондитером, и с нетерпением ожидал республики, чтобы занять наконец подобающее положение, заслуженное столь обильными революционными возлияниями. В день 4 сентября, вероятно в результате чьей-то шутки, он вообразил, что назначен префектом; но когда он хотел приступить к исполнению обязанностей, то чиновники, оставшиеся единственными хозяевами канцелярии, отказались его признать, и ему пришлось ретироваться. В общем, Корнюде был славный малый, безбидный и услужливый. В последнее время он очень рьяно занялся организацией обороны. Он приказал рыть ямы на полях и срубить все молодые деревья в окрестных рощах, усеять западнями все дороги и, вполне удовлетворенный этими приготовлениями, при приближении неприятеля поспешно отступил к городу. Сейчас он полагал, что будет более полезен в Гавре, где, вероятно, также понадобится обнести город окопами.

Женщина, сидевшая рядом с ним, принадлежала к числу особ легкого поведения и славилась своей чрезмерной для ее возраста полнотой, за которую ее прозвали Пышкой. Маленькая, круглая, как шар, заплывшая жиром, с пухлыми, перехваченными в суставах пальцами, напоминавшими связку коротеньких сосисок, с тугой и лоснящейся кожей, с огромной грудью, выступающей под платьем, она тем не менее была весьма привлекательна и пользовалась большим успехом благодаря своей привлекательной свежести. Лицо ее походило на румяное яблоко, на готовый распуститься пион; в верхней части этого лица выделялась пара великолепных черных глаз, осененных густыми и длинными ресницами, бросающими тень на щеки, а в нижней – прелестный ротик,

маленький, влажный, словно созданный для поцелуя, с мелкими и блестящими зубками.



Как уверяли, она обладала еще и другими неоценимыми достоинствами.

Как только ее узнали, между порядочными женщинами началось шушуканье и слова «проститутка», «позор» слышались так явственно, что Пышка подняла голову. Она обвела соседей таким смелым и вызывающим взглядом, что сразу воцарилось молчание и все опустили глаза. Один только Луазо игриво поглядывал на нее.

Но вскоре между тремя дамами, которых присутствие этой особы сразу сблизило, превратив чуть ли не в интимных подруг, снова завязался разговор. Они почувствовали, что им, добродетельным супругам, следует заключить союз против этой лишенной стыда продажной твари. Ибо законная любовь всегда с презрением смотрит на свою свободную сестру.

Трое мужчин, которых инстинкт консерватизма тоже объединил при виде Корнюде, завели беседу о денежных делах, в которой звучало некоторое высокомерие по отношению к беднякам. Граф Юбер рассказывал о больших убытках, которые он потерпел из-за пруссаков, – о расхищенном скоте, погибшем урожае, но в голосе его слышалась уверенность крупного землевладельца и миллионера, которого эти потери могли стеснить разве на какой-нибудь год, не больше, г-н Карре-Ламадон, крупная величина в текстильной промышленности, позаботился на всякий случай перевести в Англию шестьсот тысяч франков, чтобы не бояться сюрпризов в это смутное время. Что касается Луазо, то он сумел сбыть французскому интендантству все оставшиеся у него в погребах простые вина, и теперь ему причиталась от казны огромная сумма, которую он и рассчитывал получить в Гавре.

Все трое дружески переглядывались. Несмотря на разницу в общественном положении, они чувствовали себя как бы братьями по богатству, членами одного великого масонского союза – союза тех, кто владеет, тех, у кого в карманах звенит золото.

Дилижанс подвигался так медленно, что к десяти часам утра они не проехали и четырех миль. Мужчинам пришлось три раза вылезать и идти в гору пешком. Пассажиры начали беспокоиться, так как они рассчитывали завтракать в Тоте, а между тем теперь уже нечего было надеяться добраться туда раньше ночи. Все смотрели на дорогу в надежде увидеть какой-нибудь кабачок, как вдруг дилижанс завяз в снежном сугробе, и понадобилось два часа, чтобы вытащить его оттуда.

Голод усиливался, портил всем настроение; а на дороге – ни одного трактира, ни одного кабачка: близость пруссаков и проходившие здесь голодные французские солдаты разогнали всех торговцев.

В поисках чего-нибудь съестного мужчины обегали все придорожные фермы, но не достали даже хлеба. Недоверчивые крестьяне, опасаясь грабежей, попрятали все запасы, так как изголодавшиеся солдаты отнимали у них силой все, что находили.

Около часу дня Луазо объявил, что у него положительно подвело живот. Другие давно уже испытывали такие же муки; голод все сильнее давал себя знать и заставил умолкнуть все разговоры.

Время от времени кто-нибудь зевал, и почти тотчас же другой следовал его примеру. Каждый зевал по-своему, в зависимости от характера, воспитания и общественного положения: кто – широко и шумно, кто – тихонько, быстро прикрывая рукой разинутый рот, из которого шел пар.

Пышка несколько раз нагибалась, как бы ища что-то на полу, под своими юбками. Но всякий раз она с минутку колебалась, взглядывала на соседей и снова выпрямлялась. Все лица вокруг побледнели и вытянулись. Луазо объявил, что он охотно заплатил бы тысячу франков за маленький окорок. Жена его сделала невольный жест, как бы собираясь протестовать, но потом успокоилась. Ей всегда было тяжело слышать, что люди сорят деньгами, и даже шуток на этот счет она не принимала.

– Должен сознаться, что я чувствую себя не особенно хорошо, – сказал граф. – Как это я не догадался захватить чего-нибудь съестного?!

Остальные мысленно упрекали себя в том же.

У Корнюде нашлась полная фляжка рому; он предложил ее спутникам, но все холодно отказались. Только Луазо отхлебнул из фляжки два раза и, возвращая ее владельцу, с благодарностью сказал:

– Это очень недурно: и согревает, и заглушает голод.

Выпитый ром привел его в хорошее настроение, и он предложил сделать так, как рассказывается в известной песне о корабле: съесть самого жирного из путешественников. Этот намек на Пышку пришелся не по вкусу благовоспитанной компании. Никто не откликнулся на шутку, один только Корнюде улыбнулся. Монахини перестали бормотать молитвы и, спрятав руки в длинные рукава, сидели неподвижно, упорно не поднимая глаз и, вероятно, вызывая к небу о помощи в ниспосланном им испытании.

Наконец в три часа, когда экипаж находился среди бесконечной равнины, где не видно было ни единой деревушки, Пышка быстро нагнулась и достала из-под скамьи корзину, покрытую белой салфеткой.

Сначала она вынула оттуда фаянсовую тарелочку и красивый серебряный бокал, затем большую миску, где лежали в застывшем соусе два цыпленка, разрезанные на куски; в корзине виднелись еще другие вкусные вещи, завернутые в бумагу: пирожки, фрукты, сласти – провизия, запасенная дня на три с таким расчетом, чтобы не было надобности пользоваться кухней постоянных дворов. Среди свертков с провизией торчали горлышки четырех бутылок. Пышка взяла из миски крылышко цыпленка, достала маленький хлебец – из тех, что в Нормандии называют «режанс», и принялась аккуратно есть.

Все взгляды устремились на нее. От аппетитного запаха раздувались ноздри, рты наполнялись слюной, и мучительно сжимались челюсти. Презрение дам к «этой девке» превратилось в яростную злобу. Казалось, они готовы были ее убить, выбросить вон из кареты в снег вместе с ее бокалом, с ее корзинкой и со всей провизией.

Между тем Луазо пожирал глазами миску с цыплятами. Он сказал:

– Вот это отлично, сударыня!.. Вы оказались предусмотрительнее нас. Есть же люди, которые всегда обо всем подумают!

Пышка, подняв голову, обратилась к нему:

– Не угодно ли и вам, сударь? Ведь нелегко поститься с самого утра.

Луазо поклонился:

– Честное слово, не откажусь; я не в силах больше терпеть. На войне – как на войне! Не правда ли, сударыня?

И, бросив на окружающих взгляд, прибавил:

– Как отрадно в такие минуты встретить услужливого человека.

Он разложил на коленях газету, чтобы не запачкать брюк, захватил ножиком, который всегда носил в кармане, цыплячью ножку, покрытую желе, вонзил в нее зубы и стал жевать с таким явным наслаждением, что по дилижансу пронесся глубокий мучительный стон.

Тогда Пышка с ласковым смирением предложила монахиням разделить с нею завтрак. Обе тотчас же согласились и, не поднимая глаз, пробормотав какую-то благодарность, стали быстро есть. Корнюде также не отказался от предложенного соседкой угощения и вместе с монахинями устроил нечто вроде общего стола, разостлав на коленях газеты.

Рты беспрестанно открывались и закрывались, жадно поглощая пищу, жевали, глотали. Луазо в своем углу старался вовсю и тихонько уговаривал жену последовать его примеру. Она долго отказывалась, но наконец, после сильного спазма в желудке, не выдержала. Тогда муж, подбирая изысканные выражения, спросил у «очаровательной попутчицы», не разрешит ли она предложить кусочек чего-нибудь г-же Луазо.

Пышка, приветливо улыбаясь, ответила:

– Ну, конечно, сударь, – и протянула ему миску с цыплятами.

Когда откупорили первую бутылку бордо, произошло некоторое замешательство: на всех имелся только один бокал. Из него пили по очереди, всякий раз вытирая его. Только Корнюде – вероятно из учтивости – прикоснулся губами к краю, еще влажному от губ своей соседки.

Окруженные жующими людьми, вдыхая запахи пищи, граф и графиня де Бревиль вместе с супругами Карре-Ламадон терпели ту ужасную пытку, которую называют «муками Тантала». Вдруг молодая жена фабриканта испустила такой глубокий вздох, что все повернулись к ней. Она была бледна как снег, расстилавшийся вокруг экипажа; глаза ее закрылись, голова склонилась на грудь; она лишилась чувств. Муж в отчаянии умолял о помощи. Все растерялись, но тут старшая из монахинь, поддерживая голову больной, поднесла к ее губам бокал Пышки и влила ей в рот несколько капель вина. Хорошенькая г-жа Карре-Ламадон зашевелилась, открыла глаза, улыбнулась и голосом умирающей объявила, что ей уже гораздо лучше. Все же монахиня, боясь, как бы обморок не повторился, заставила ее выпить целый стакан вина, заметив:

– Это от голода, только и всего.

Тогда Пышка, покрасневшая и смущенная, пролепетала, глядя на ничего еще не евших четырех пассажиров:

– Ах, боже мой, если бы только я смела, я бы предложила этим господам...

И замолчала, боясь услышать оскорбительный отказ. Но тут вмешался Луазо:

– Право же, в подобных случаях все люди братья и обязаны помогать друг другу. Да ну же, сударыни, бросьте церемонии, берите, черт возьми! Кто знает, доберемся ли еще мы до места, где можно будет получить ночлег? При такой езде мы будем в Тоте не раньше чем завтра в полдень.

Однако они все еще колебались. Ни у кого из них не хватало духу принять на себя ответственность и сказать «да».

Наконец граф положил этому конец. Обратясь к оробевшей толстухе, он сказал с величественным видом вельможи:

– Мы принимаем ваше предложение с благодарностью, сударыня.

Труден первый шаг. Лишь только Рубикон был перейден, все перестали стесняться. Корзинка Пышки быстро опорожнилась. В ней кроме цыплят был еще страсбургский пирог, паштет из жаворонков, кусок копченого языка, красанские груши, пряники, пирожные и полная банка маринованных огурчиков и лука. Пышка, как все женщины, обожала эти неудобоваримые яства.



Так как, истребляя запасы этой девушки, неудобно было ее не замечать, то с ней заговорили, сперва несколько сдержанно, потом, так как Пышка держала себя прекрасно, беседа стала более непринужденной. Графиня де Бревиль и г-жа Карре-Ламадон, обладавшие большим светским тактом, выказали по отношению к Пышке изысканную любезность. Особенно очаровательна была графиня со своей благосклонной снисходительностью знатной дамы, которой не может коснуться никакая грязь. И только толстая г-жа Луазо, грубая, как жандарм, оставалась все такой же нелюбезной: она мало говорила, но зато много ела.

Разговор шел, разумеется, о войне. Рассказывали о зверствах пруссаков, о храбрости французов; и все эти люди, бежавшие сами от врага, превозносили чужую доблесть. Затем перешли к личным делам каждого, и тут Пышка с неподдельным волнением и с той горячностью, с какой такие девушки выражают иногда свои естественные порывы, рассказала, почему она уехала из Руана.

– Сперва я думала остаться, – говорила она. – Дом у меня был полон всяких запасов, и я предпочла бы кормить нескольких солдат, чем уезжать из родных мест бог весть куда. Но как только я увидела этих пруссаков – чувствую: нет, не стерпеть! Кровь во мне так и закипела. Целый день я плакала от стыда. Эх, будь я мужчина, я бы им показала!.. Если бы моя горничная не держала меня за руки, когда я смотрела из окна на этих жирных боровов в остроконечных касках, я бы всю свою мебель перешвыряла им в спину... Потом несколько человек из них пришло ко мне на постой, но я первому же вцепилась в горло. Что ж, разве немца не так же легко задушить, как и всякого другого? Я бы его прикончила, если бы меня не оттащили за волосы. Ну а после этого пришлось прятаться... И как только представился случай, я уехала.

Пышку осыпали похвалами. Она выросла в глазах своих спутников, далеко не проявивших такой отваги. А Корнюде слушал ее с одобрительной и благосклонной улыбкой – как священник внимает верующему, который славит господа. Ведь длиннородные демократы считают патриотизм своей монополией, так же как люди в рясах – религию. Он, в свою очередь, заговорил тоном проповедника, напыщенными фразами тех воззваний, которые ежедневно расклеивались на стенах, и закончил красноречивой тирадой, в которой разносил в пух и прах «этого негодяя Баденге».¹⁶

Но тут Пышка возмутилась, так как она была бонапартисткой. Покраснев, как вишня, она

¹⁶ Насмешливая кличка, которую дали Наполеону III его противники, так как он скрывался под этой фамилией после одной из своих политических авантюр.

прокричала, заикаясь от негодования:

– Хотела бы я видеть, что бы вы сделали на его месте, вы! Могу себе представить! Ведь это вы предали его!.. Если бы нами стали управлять такие болтуны, как вы, пришлось бы всем бежать из Франции.

Корнюде невозмутимо выслушал это, усмехаясь с видом презрительного превосходства, но чувствовалось, что сейчас начнется перебранка; тогда вмешался граф, который не без труда успокоил расходившуюся девушку, заявив авторитетным тоном, что всякое искреннее убеждение достойно уважения.

Однако графиня и жена фабриканта, питавшие органическую ненависть так называемых «приличных людей» к республике и свойственную женщинам инстинктивную любовь к внешнему блеску деспотических монархий, почувствовали невольную симпатию к этой сохранившей достоинство проститутке, взгляды которой были так похожи на их собственные.

Корзина Пышки опустела. Десять человек без труда уничтожили ее содержимое, сожалея, что она не оказалась еще больших размеров. Разговор некоторое время еще продолжался, но после того, как все наелись, – уже с меньшим оживлением.

Надвигалась ночь, становилось все темнее, и, несмотря на свою полноту, Пышка дрожала от холода, который всегда ощущается нами сильнее во время пищеварения. Госпожа де Бревиль предложила ей свою грелку, которую в течение дня уже несколько раз наполняли углем, и девушка тотчас же взяла ее, так как у нее заоченели ноги. Г-жа Карре-Ламадон и г-жа Луазо дали свои грелки монахиням.

Кучер зажег у кареты фонари. Их яркий свет озарил облако пара над потными крупами коренников и снежную пелену по обеим сторонам дороги, словно развертывавшуюся под этим движущимся светом.

Внутри дилижанса уже ничего нельзя было различить. Вдруг между Пышкой и Корнюде поднялась какая-то возня. И Луазо, рыскавшему глазами в темноте, показалось, что длинноротый сосед Пышки быстро откинулся назад, как если бы его бесшумно угостили увесистым туманом.

Впереди на дороге замелькали какие-то светлые точки. Это был Тот. Путешествие продолжалось уже одиннадцать часов, а считая еще два часа, потраченные на четыре остановки, чтобы дать лошадям поест и передохнуть, – тринадцать часов. Дилижанс въехал в местечко и остановился перед «Коммерческой гостиницей».

Дверца распахнулась – и вдруг хорошо знакомый звук заставил всех пассажиров содрогнуться. То был звон волочащейся по земле сабли. Вслед за этим грубый голос что-то прокричал по-немецки.

Несмотря на то, что дилижанс остановился, никто из пассажиров не вылезал. Они как будто боялись, что их зарежут тут же, при выходе. Но появился кучер с фонарем и внезапно осветил всю внутренность кареты и два ряда ошеломленных лиц с разинутыми ртами и вытаращенными от ужаса и удивления глазами.

Рядом с кучером, ярко освещенный фонарем, стоял немецкий офицер – высокий молодой человек, очень тонкий и белокурый, затянутый в мундир, как барышня в корсет. Надетая набекрень плоская лакированная фуражка делала его похожим на рассыльного в английском отеле. Непомерно длинные прямые усы свисали по обе стороны рта, все более и более утончаясь и заканчиваясь одним белокурым шнурком, столь тонким, что конец его был совсем незаметен. Эти усы, казалось, давили на углы рта, оттягивали щеки, а у губ образовывали складку.

Офицер по-французски, но с эльзасским акцентом предложил приехавшим выйти из кареты, сказав властным тоном:

– Не угодно ли вам выйти, господа?

Первыми вышли монахини с покорным видом праведниц, привыкших к послушанию. За ними – граф и графиня, потом фабрикант с женой и Луазо, подталкивавший впереди себя свою грузную половину. Едва ступив на землю, он не столько из вежливости, сколько из осторожности сказал офицеру:

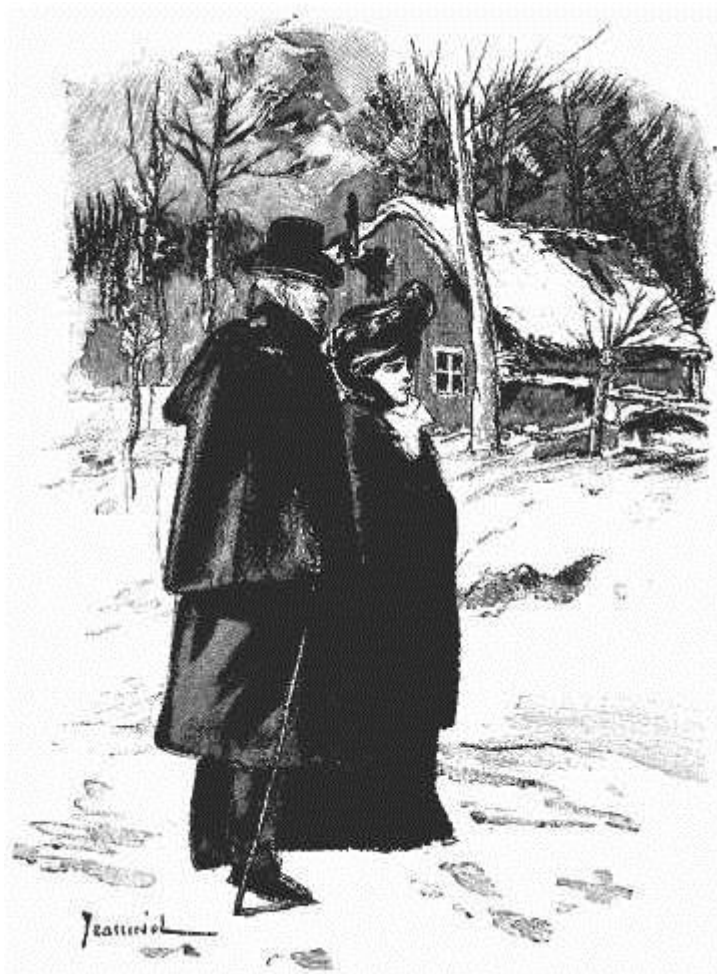
– Здравствуйте, сударь.

Но тот с дерзким высокомерием всеильного человека взглянул на него, не отвечая.

Пышка и Корнюде, несмотря на то что они сидели у самой дверцы, вышли последними, гордые и надменные перед лицом врага. Толстушка пыталась овладеть собой и казаться спокойной. Демократ трагическим движением слегка дрожавшей руки теребил свою длинную рыжую бороду. Оба старались сохранить достоинство, сознавая, что в подобных случаях каждый до некоторой степени является представителем своей родины. Оба они были возмущены приниженностью своих спутников. Пышка старалась выказать больше гордости, чем ее спутницы, эти порядочные женщины, а Корнюде, считая, что должен служить примером, всем своим видом как бы продолжал ту миссию сопротивления, которую он начал, роя на дорогах окопы.

Все приехавшие вошли в просторную кухню гостиницы, и немец потребовал, чтобы ему предъявили подписанные командующим разрешения на выезд, в которых были указаны имя, занятие и приметы каждого. Он долго рассматривал всех, сличая эти приметы, потом сказал отрывисто:

– Все в порядке, – и исчез.



Только теперь путешественники вздохнули свободно. Они были еще голодны и заказали ужин. Его обещали приготовить через полчаса, и, пока две служанки хлопотали на кухне, все общество отправилось осматривать свои комнаты. Комнаты эти выходили в длинный коридор кончавшийся дверью с выразительным номером на матовом стекле.

Когда наконец стали садиться за стол, появился сам хозяин гостиницы.

Это был страдавший одышкой толстяк, бывший лошадиный барышник; он постоянно хрипел, сипел, покашливал от скопления мокроты в груди. От отца он унаследовал фамилию Фоланви.

Он спросил:

– Кто здесь мадемуазель Элизабет Руссе?



Пышка вздрогнула и обернулась:

– Это я.

– Мадемуазель, прусский офицер желает немедленно переговорить с вами.

– Со мной?

– Да, с вами, если вы действительно Элизабет Руссе.

Она смутилась, подумала с минуту, потом решительно объявила:

– Хоть бы и так, но я к нему не пойду.

Все заволновались. Приказ обсуждали на все лады, искали объяснений. Граф подошел к Пышке.

– Вы не правы, сударыня, так как ваш отказ может навлечь серьезные неприятности не только на вас, но и на всех ваших спутников. Никогда не следует противиться людям, которые сильнее нас. И, право же, это вам ничем не грозит: вернее всего, дело идет о какой-нибудь упущенной формальности.

Все дружно поддержали графа: стали просить ее, убеждать ее, увещевать, опасаясь осложнений, которые могло вызвать ее упорство. В конце концов ее уговорили. Она сказала:

– Я это делаю только ради вас, честное слово.

Графиня пожала ей руку:

– И мы все вам за это благодарны.

Пышка вышла. Ее дожидались, не приступая к ужину. Каждый сокрушался, зачем не потребовали его вместо этой девушки, такой резкой и вспыльчивой, и мысленно готовил шаблонные фразы на случай, если бы и его вызвали к офицеру.

Через десять минут Пышка вернулась, багрово-красная, задыхаясь от гнева. Она бормотала, тяжело дыша:

– Ах, негодяй!.. Вот негодяй!..

Все окружили ее, желая узнать, в чем дело. Но она упорно отмалчивалась. Когда же граф стал настаивать, она ответила с большим достоинством:

– Нет, я не могу рассказать. Это никого не касается.

Все уселись вокруг высокой суповой миски, из которой распространялся запах капусты. Несмотря на то только что пережитую тревогу, ужин прошел весело. Сидр оказался превосходным. Но только супруги Луазо и монахини из экономии пили его. Остальные заказали вино; Корнюде потребовал пива. У него была своя особенная манера откупоривать бутылки, вспенивать жидкость и разглядывать ее, наклоня стакан, который он затем поднимал к свету, чтобы лучше определить

цвет пива. Когда он пил, его длинная борода, одного цвета с его любимым напитком, казалось, вздрагивала от наслаждения. Он скашивал глаза, не отрывая их от кружки, и имел вид человека, выполняющего свое единственное назначение в этом мире. Можно было подумать, что он в это время мысленно старался связать воедино две великие страсти своей жизни – светлое пиво и революцию. И в самом деле, он не мог наслаждаться первым, не думая о второй.

Супруги Фоланви ужинали в конце стола. Муж, хрипевший, как испорченный паровоз, настолько задыхался, что не мог разговаривать во время еды. Зато жена ни на минуту не умолкала. Она описывала все свои впечатления от прихода пруссаков, подробно рассказывала, что они делали, что говорили. Она с ненавистью говорила о них, прежде всего потому, что они ей стоили денег, а во-вторых, потому, что ее два сына были в армии. Рассказывая, она обращалась главным образом к графине, довольная тем, что может побеседовать со знатной дамой.

Потом, понизив голос, она перешла к некоторым щекотливым темам. Муж время от времени останавливал ее:

– Ты бы лучше придержала язык, мадам Фоланви...

Но она, не обращая на него внимания, продолжала:

– Да, сударыня, эти люди только и делают, что жрут картошку да свинину, свинину да картошку. И не верьте, когда вам будут говорить про их опрятность. Все это вздор. Пакостят повсюду, с позволения сказать... А посмотрели бы вы, как у них идет учение целые дни напролет. Соберутся все в поле – и давай маршировать: то вперед, то назад, то туда, то сюда. Сидели бы лучше у себя дома да землю пахали или чинили бы дороги, что ли! Но от этих военных, скажу я вам, сударыня, никому никакой пользы. Их только тому и учат, что убивать, а бедный народ корми их. Я женщина старая, необразованная, но и я, видя, как они тут из сил выбиваются, топчутся до упаду с утра до вечера, не раз думаю: вот ведь есть люди – чего только не придумают, стараясь пользу принести, а другие в это время из кожи лезут, чтобы причинить побольше вреда. Нет, разве это не мерзость – убивать людей, все равно кто бы они ни были – пруссаки, англичане, поляки или французы? Когда вы мстите кому-нибудь за зло, то считают, что это дурно, и вас за это судят. А когда наших сыновей бьют, как дичь, из ружей – это, видно, хорошо, раз награждают крестами того, кто перебил больше народу! Нет, что ни говорите, а мне этого не понять!

Раздался голос Корнюде:

– Война – варварство, когда нападают на мирных соседей. Но она – священный долг, когда защищают отечество.

Старая женщина покачала головой.

– Да, когда приходится защищаться – тогда другое дело. Но не лучше ли было бы убить всех королей, которые затевают войну для собственного удовольствия?

У Корнюде засверкали глаза.

– Браво, гражданка! – воскликнул он.

Карре-Ламадон глубоко задумался. Он был горячим поклонником знаменитых полководцев, и тем не менее здравые суждения этой крестьянки навели его на размышления о том, какое богатство могли бы принести стране все эти праздные и, следовательно, разорительные для нее руки, все эти силы, которые теперь расходуются непроизводительно; а если бы их применить в промышленности, они могли бы создать то, на завершение чего требуются века.

Луазо тем временем, встав со своего места, подсел к трактирщику и начал о чем-то с ним шептаться. Толстяк смеялся, плюясь и кашляя. Его огромное брюхо тряслось от хохота при шуточках собеседника. В заключение он заказал ему шесть бочек бордо к весне, когда пруссаки уйдут.

Как только ужин окончился, все пошли спать, так как были разбиты усталостью.

Но Луазо, кое-что заметивший, предоставил своей супруге улечься в кровать, а сам принялся прикладывать то ухо, то глаз к замочной скважине, стараясь, как он называл это, «проникнуть в тайны коридора».

Приблизительно через час он услышал шорох, поскорее прильнул глазом к скважине и увидел Пышку, казавшуюся еще полнее в голубом кашемировом пеньюаре, обшитом белыми кружевами. Со свечой в руке она направлялась к двери с круглой цифрой в конце коридора. Вслед за тем

приоткрылась одна из боковых дверей, и, когда Пышка спустя несколько минут возвращалась обратно к себе в комнату, Корнюде в подтяжках последовал за ней. Они тихо обменялись несколькими словами, потом остановились. Пышка, видимо, решительно защищала вход в свою комнату. Луазо, к своему огорчению, не мог ничего расслышать, но под конец они заговорили громче, и ему удалось уловить несколько фраз. Корнюде с жаром настаивал:

– Да ну же, оставьте глупости... Что вам стоит?

Пышка с негодующим видом возразила:

– Нет, мой милый, бывают минуты, когда подобные вещи не делаются. К тому же здесь это был бы просто срам...

Он, очевидно, ничего не понимал и спросил:

– Почему?

Тогда она вышла из себя и еще более повысила голос:

– Почему? Вам непонятно почему? Когда пруссаки здесь, в доме, может быть, даже в соседней комнате?

Корнюде замолчал. Эта стыдливость проститутки, из патриотизма не желающей предаваться ласкам, когда рядом неприятель, должно быть, вновь пробудила в его душе заснувшее чувство чести. Он только поцеловал Пышку и на цыпочках вернулся к себе.

Луазо, возбужденный этой сценой, отошел от скважины, сделал антраша, потом повязал голову на ночь шелковым платком, приподнял одеяло, под которым скрывалась мощная фигура его спутницы жизни, и разбудил ее поцелуем, прошептав:

– Ты меня любишь, дорогая?

Во всем доме наступила наконец тишина. Но скоро откуда-то – не то из погреба, не то с чердака – стал доноситься могучий храп, ровный, монотонный; протяжный и глухой звук этот напоминал пыхтение парового котла. Это храпел господин Фоланви.

Так как накануне было решено выехать в восемь часов утра, то на следующий день все общество к этому часу собралось на кухне. Однако дилижанс, занесенный снегом, торчал сиротливо посреди двора, без лошадей и без кучера. Последнего тщетно искали в конюшне, на сеновале, в каретном сарае. Тогда все мужчины решили отправиться на розыски в деревню. Выйдя из гостиницы, они очутились на площади, в конце которой виднелась церковь. По обеим сторонам тянулись ряды низеньких домов, около которых они заметили прусских солдат. Первый попавшийся им на глаза чистил картошку. Второй, подальше, убирал лавку парикмахера. Третий, обросший бородой чуть не до самых глаз, ласкал плачущего ребенка и, чтобы успокоить его, укачивал на руках. А толстые крестьянки, мужья которых были в действующей армии, знаками объясняли своим послушным победителям, что они должны сделать – наколоть ли дров, заправить ли суп или намолоть кофе. Один солдат даже стирал белье для своей хозяйки, совсем дряхлой и беспомощной.

Граф, удивленный тем, что увидел, обратился с расспросами к причетнику, выходившему из церковного дома. Старая церковная крыса ответила:

– Да, эти – народ не плохой. Говорят, это будто бы и не пруссаки: они из каких-то мест еще подальше, хорошо даже не знаю откуда. И у всех у них дома остались жены и дети. Не очень-то радует эта война, можете мне поверить! Уж верно, там, так же как здесь, плачут по мужьям. Им тоже война принесет только нищету да горе, как и нам. Здесь у нас пока не так еще худо, потому что они никого не обижают и работают, точно у себя дома. Видите ли, сударь, бедным людям приходится помогать друг другу. Это богатые затевают войны.

Корнюде был так возмущен этой картиной дружеского согласия между победителями и побежденными, что предпочел вернуться в гостиницу и больше оттуда не выходить. Луазо сострил насчет пруссаков, что они «пополняют убыль населения». Карре-Ламадон посмотрел на дело серьезнее: «Они восстанавливают то, что разрушили».

Однако кучера они все же не находили. Наконец его отыскали в кабачке, где он с денщиком немецкого офицера по-братски угощался за одним столом.

Граф спросил его:

– Разве вам не было приказано запрягать к восьми часам?

– Так-то оно так, да я получил после другой приказ.

- Какой?
- Не запрягать вовсе.
- Кто же вам это приказал?
- Прусский капитан, вот кто!
- Но почему же?
- А мне откуда знать? Подите спросите его. Мне запрещено запрягать, я и не запрягаю – вот

и все.

- Он сам вам это сказал?
- Нет, сударь, мне хозяин передал приказ от его имени.
- Когда?
- Вчера вечером, когда я собирался идти спать.

Трое путешественников возвратились в гостиницу сильно встревоженные.

Они потребовали трактирщика, но служанка ответила, что хозяин из-за своей одышки никогда не встает раньше десяти часов. Ей строго запрещено будить его до этого часа, разве только если случится пожар.

Тогда они пожелали переговорить с офицером, но оказалось, что это совершенно невозможно, несмотря на то что он жил тут же, в гостинице: только одному Фоланви было предоставлено право обращаться к нему по всяким частным делам. Оставалось ждать. Дамы разошлись по своим комнатам и занялись разными пустяками.

Корнюде расположился в кухне у большого очага, в котором пылал яркий огонь. Он попросил принести маленький столик и бутылку пива, достал свою трубку, которая пользовалась среди демократов почти таким же почетом, как и ее хозяин, как будто, служа ему, она тем самым служила и отечеству. Это была отличная пенковая трубка, замечательно обкуренная, такая же черная, как зубы ее хозяина, благоухающая, изогнутая, блестящая, как бы приспособившаяся к руке Корнюде и дополнявшая его физиономию. Он сидел неподвижно, глядя то на огонь очага, то на шапку пены в своей кружке. И, отхлебнув глоток пива, он всякий раз с довольным видом проводил своими длинными худыми пальцами по жирным волосам и обсасывал пену с усов.

Луазо под предлогом того, что ему хочется размять ноги, отправился сбывать свои вина местным торговцам. Граф и фабрикант беседовали о политике. Они пытались предугадать, что ожидает Францию. Один возлагал все надежды на Орлеанский дом, другой верил, что в минуту полного отчаяния придет неведомый избавитель, герой, новый Дюгеклен,¹⁷ или новая Жанна д'Арк, может быть, или новый Наполеон I. Ах если бы наследный принц не был так молод! Корнюде слушал разговор с усмешкой человека, посвященного в тайны судеб. Его трубка наполняла своим ароматом всю кухню.

Но вот пробило десять часов, и появился Фоланви. К нему кинулись с расспросами. Но он только повторил несколько раз одну и ту же фразу:

– Офицер мне сказал: «Господин Фоланви, запретите завтра закладывать карету для приезжих. Я не желаю, чтобы они уехали, пока я не дам им разрешения. Слышали? Это все».

Тогда путешественники решили добиться свидания с самим офицером. Граф послал ему визитную карточку, на которой и Карре-Ламадон приписал свое имя, перечислив все свои титулы. В ответ немец велел передать, что примет этих двух господ, после того как позавтракает, то есть около часу дня.

Между тем пришли сверху дамы, и, несмотря на тревожное состояние, все немного закусили. Пышка казалась больной и чем-то удрученной.

Они кончали пить кофе, когда пришел денщик за графом и Карре-Ламадоном.

К ним присоединился Луазо. Они попытались привлечь и Корнюде, чтобы придать побольше торжественности их обращению к коменданту, но Корнюде с важностью объявил, что он не намерен ни при каких условиях вступать в какие-либо сношения с немцами. После этого он вернулся на свое место у очага и потребовал новую бутылку пива.

Трое мужчин поднялись наверх и были введены в лучшую комнату гостиницы, где офицер

¹⁷ Бертан Дюгеклен – французский полководец XIV в., разбивший вторгшихся во Францию англичан.

принял их, развалился в кресле и положив ноги на камин, с длинной фарфоровой трубкой в зубах. На нем был крикливо яркий халат, захваченный, вероятно, в покинутом доме какого-нибудь буржуа с дурным вкусом. Он не встал, не поздоровался с вошедшими, даже не взглянул на них. Он являл собой великолепный образец неприкрытой грубости солдата-победителя.



Наконец через несколько минут он произнес:

– Что вам угодно?

Граф ответил:

– Мы хотим уехать, сударь.

– Нет.

– Разрешите спросить, чем вызван ваш отказ?

– Тем, что я не желаю.

– Позвольте почтительно заметить вам, сударь, что ваш главнокомандующий выдал нам разрешение на проезд до Дьепа. И я не вижу, чем вызвана такая суровость с вашей стороны.

– Я не хочу – вот и все. Можете идти.

Все трое поклонились и вышли.

День прошел печально. Никто не понимал, чем вызван каприз немца, и в голову приходили самые странные догадки. Все собрались в кухне и вели бесконечные споры, придумывая самые неправдоподобные объяснения. Уж не хотят ли их задержать в качестве заложников? Но с какой целью? А может быть, их заберут в плен? Или, пожалуй, еще потребуют у них большой выкуп? Эта мысль привела их в ужас. Больше всего испугались те, кто был богаче других. Они уже ясно представляли себе, как их заставят для спасения своей жизни отдать целые мешки золота в руки этого наглеца-солдата. Они ломали голову, придумывая, как бы поискуснее солгать, как бы скрыть свое богатство и выдать себя за неимущих, за последних бедняков. Луазо снял свою цепочку от часов и спрятал ее в карман. С наступлением темноты общее беспокойство еще усилилось. Зажгли лампу, и, так как до обеда оставалось еще два часа, г-жа Луазо предложила для развлечения сыграть в тридцать одно.¹⁸ Все согласились. Даже Корнюде, потушив из вежливости свою трубку, принял участие в игре.

Граф перетасовал колоду и сдал карты. У Пышки сразу оказалось тридцать одно очко. Очень скоро увлечение игрой заглушило мучившую всех тревогу. Корнюде заметил даже, что чета Луазо начинает плутовать.

Наступило время обеда. Только что они собрались сесть за стол, как явился Фоланви и прохрипел:

– Прусский офицер приказал спросить у мадемуазель Элизабет Руссе, не переменила ли она своего решения?

Пышка вся побледнела, затем лицо ее покрылось густым румянцем. Гнев так душил ее, что некоторое время она не могла произнести ни слова. Наконец она разразилась:

¹⁸ Карточная игра.

– Скажите этому негодяю, этому скоту, этой прусской сволочи, что я никогда не соглашусь, слышите, никогда, никогда, никогда!

Хозяин ушел. Пышку все обступили, засыпали вопросами, стараясь выведать, наконец, в чем дело. Сначала она упорно отмалчивалась, но скоро гнев развязал ей язык:

– Чего он хочет?... Чего он хочет?... Он хочет спать со мной! – закричала она.

Ее выражения даже никого не покоробили, настолько сильно было всеобщее возмущение. Корнюде с такой силой стукнул кружкой о стол, что она разбилась. Раздался общий вопль ярости против этого гнусного нахала-солдафона, поднялась буря негодования. Все объединялись для сопротивления, как будто каждому предстояло принести часть той жертвы, которая требовалась от Пышки. Граф с омерзением заявил, что эти господа ведут себя, как дикие варвары. Особенно горячее и нежное сочувствие выражали Пышке женщины. Монахини, появлявшиеся внизу лишь в часы еды, молчали, не поднимая глаз.

После того как улеглось первое волнение, все же сели обедать, но за столом говорили мало; все размышляли.



После обеда дамы рано ушли к себе, а мужчины остались покурить и составили партию в экарте. Пригласили и Фоланви, надеясь как-нибудь незаметно выведать у него, каким путем можно победить упорство офицера. Но Фоланви, занятый только картами, ничего не слышал, ничего не отвечал. Он все время только твердил:

– Давайте не отвлекаться от игры, господа!

Он с таким вниманием следил за игрой, что даже забывал откашляться, и по временам грудь его уподоблялась органу: из свистящих легких его вырывалась вся звуковая гамма астмы – от глубоких и низких нот до пронзительных, напоминавших крик молодого петушка, который учится петь.

Он даже отказался идти спать, когда за ним пришла жена, от усталости едва державшаяся на ногах. В конце концов она ушла наверх без него: она «ранняя птичка», встает всегда на заре, а муж ее, «этот полуночник», всегда рад просидеть ночь с приятелями.

Фоланви крикнул ей вслед:

– Поставь у огня мой гоголь-моголь! – и снова углубился в игру. Когда стало ясно, что от него ничего не добьешься, все объявили, что уже поздно и пора спать, и разошлись по своим комнатам.

На следующее утро все опять встали довольно рано со смутной надеждой и с еще более сильным желанием уехать. Их ужасала мысль, что еще целый день, может быть, предстоит провести в этой ужасной харчевне.

Увы! Лошади по-прежнему стояли в конюшне и кучер не показывался. От нечего делать они побродили вокруг кареты.

Завтрак прошел очень уныло. По отношению к Пышке ощущался какой-то холодок. Как известно, утро вечера мудренее, и теперь все дело представлялось уже в несколько ином свете. Они уже начинали сердиться на Пышку за то, что она не побывала тайком у пруссака и не приготовила к утру приятный сюрприз своим попутчикам. Что могло быть проще? Да и кто бы узнал об этом? Для приличия она могла сказать офицеру, что делается это из жалости к ним. Что это составляло для такой женщины, как она?

Однако этих соображений никто пока не высказывал вслух.

После полудня, так как все умирали от скуки, граф предложил прогуляться по окрестностям. Они хорошенько укутались и вышли всей компанией, за исключением Корнюде, который предпочел остаться у огня, и монахинь, проводивших все время в церкви или у священника.

Мороз, крепчавший с каждым днем, жестоко щипал нос и уши. Ноги так зябли, что каждый шаг причинял боль. И таким жутким унынием веяло на всех от расстилавшихся перед ними полей и бескрайней белизны снежного покрова, что они сразу повернули обратно со сжимавшимся от холода сердцем.

Четыре женщины шли впереди, за ними на некотором расстоянии – трое мужчин.

Луазо, уловив общее настроение, неожиданно спросил, долго ли им придется торчать в такой дыре из-за «этой девки»? Граф, как всегда, корректный, возразил, что нельзя требовать от женщины такой тяжелой жертвы и что во всяком случае это может исходить только от нее самой. Карре-Ламадон заметил, что если французы, как предполагается, пойдут в контрнаступление со стороны Дьепа, то столкновение с пруссаками, безусловно, произойдет именно здесь, в Тоте. Эта мысль встревожила обоих собеседников фабриканта.

– А не двинутся ли нам отсюда пешком? – предложил Луазо.

Граф пожал плечами:

– Мыслимо ли это? По такому снегу! Да еще с женщинами! И, кроме того, за нами сразу снарядят погоню, поймают через десять минут, и мы как пленники очутимся во власти солдат.

Это было верно; все замолчали.

Дамы тем временем беседовали о нарядах; но среди них ощущалась какая-то натянутость.

Неожиданно в конце улицы показался офицер. На фоне снега, замыкавшего горизонт, выделялась его высокая фигура в мундире с перетянутой осиной талией. Он шагал, широко расставляя ноги, той особенной походкой военных, которые боятся запачкать свои тщательно начищенные сапоги.

Проходя мимо дам, он поклонился им, мужчин же удостоил только презрительным взглядом. У тех, впрочем, хватило достоинства не поклониться ему. Только Луазо протянул было руку к своей шляпе.

При виде офицера Пышка вспыхнула до ушей. А три замужние женщины почувствовали острое унижение, оттого что этот солдат встретил их в обществе особы, по отношению к которой он позволил себе такую дерзость.

Они заговорили о нем, о его фигуре, лице. Г-жа Карре-Ламадон, зная множество офицеров и понимавшая в них толк, нашла, что этот совсем не дурен. Она даже пожалела, что он не француз, так как из него вышел бы красавец-гусар, по которому все женщины сходили бы с ума.

Возвратясь в гостиницу, они не знали, чем бы заняться. Стали даже обмениваться колкостями из-за разных пустяков. Пообедали быстро, в молчании, и после этого сразу улеглись спать, чтобы как-нибудь убить время.

На следующее утро на всех лицах была написана усталость и скрытое озлобление. С Пышкой дамы почти не разговаривали.

Послышался колокольный звон: это звонили в церкви по случаю крестин. У Пышки был ребенок, отданный на воспитание в крестьянскую семью в Ивето. Она навещала его раз в год, а то и реже, и никогда о нем не вспоминала. Но мысль о крестинах этого чужого ребенка вдруг вызвала в ее сердце прилив горячей нежности к ее собственному, и ей захотелось присутствовать на обряде.

Как только она ушла, все переглянулись и подсели ближе друг к другу, чувствуя, что пора

наконец на что-нибудь решиться. Луазо вдруг осенила мысль: предложить офицеру, чтобы он задержал одну Пышку, а всех остальных отпустил.

Фоланви и на этот раз взялся выполнить поручение, но почти тотчас же возвратился: немец выгнал его вон. Зная человеческую натуру, он решил не выпускать всю компанию до тех пор, пока его желание не будет удовлетворено.

Тут уж г-жа Луазо, не вытерпев, дала волю своей природной вульгарности.

– Не сидеть же нам здесь до самой смерти, в самом деле! Раз у нее такое ремесло, у этой потаскушки, и она проделывает это со всеми мужчинами, какое право имеет она отказывать тому или другому? Ведь путалась же она, с позволения сказать, с каждым встречным и поперечным в Руане, даже с кучерами. Да, сударыня, с кучером префекта! Мне это отлично известно, потому что он покупает у нас вино. А теперь, когда нужно вывести нас из затруднения, эта дрянь разыгрывает из себя недотрогу!.. Я нахожу, что этот офицер ведет себя еще очень прилично. Очень может быть, что он просто изголодался по женщинам. И, конечно, он предпочел бы кого-нибудь из нас трех. Но, как видите, он довольствуется той, которая доступна для всех. Он относится с уважением к замужним женщинам. Подумайте, ведь он здесь хозяин! Ему стоит только сказать «хочу» – и он может взять нас силой. Мало ли у него солдат?

Две другие дамы слегка вздрогнули. У хорошенькой г-жи Карре-Ламадон заблестели глаза, и она чуточку побледнела, как будто уже представила себе мысленно, как офицер насилует ее.

Подожли мужчины, до сих пор беседовавшие в стороне. Разъяренный Луазо готов был выдать немцу «эту негодяйку» связанной по рукам и по ногам. Но граф, насчитывавший в своем роду трех посланников и даже по наружности своей дипломат, был сторонником более осторожной и ловкой политики.

– Надо ее склонить к этому, – сказал он.

Стали вырабатывать план действий.

Дамы придвинулись ближе друг к другу и понизили голос.

Разговор стал общим, каждый высказывал свои соображения. При этом вполне соблюдалось внешнее приличие. В особенности дамы умудрялись находить для самых скабрёзных вещей тончайшие обороты и изящные выражения. Посторонний человек ничего бы не понял, настолько они были осторожны в выборе слов. Но так как броня целомудренной стыдливости, в которую облачена каждая светская женщина, является лишь тонкой поверхностной оболочкой, то наши дамы упивались этой фривольностью и безмерно веселились в душе, чувствуя себя в своей стихии, смакуя любовные делишки со сладострастием лакомки-повара, стряпающего ужин для другого.

В конце концов эта история стала казаться им такой забавной, что к ним снова вернулось веселое настроение. Шутки графа, немного рискованные, но умело сказанные, вызывали у всех улыбки. Луазо, в свою очередь, отпустил несколько более откровенных непристойностей, но и они не смутили никого. Теперь у всех была на уме одна и та же мысль, грубо выраженная г-жей Луазо: «Раз у этой девки такое ремесло, с какой стати она отказывает именно этому офицеру?» Хорошенькая г-жа Карре-Ламадон, казалось, даже находила, что на месте Пышки она меньше всего стала бы сопротивляться ему.

Долго подготавливалась эта блокада, словно дело шло об осаде какой-нибудь крепости. Договаривались, какую каждый из них возьмет на себя роль, какие доводы он будет приводить, какие маневры употребит. Выработали план атак, военных хитростей, которые следовало пустить в ход, предусмотрены были все неожиданности, могущие возникнуть при штурме этой живой крепости, которую хотели заставить впустить неприятеля.

Один лишь Корнюде оставался в стороне, не принимая никакого участия в этой затее.

Все были так поглощены своими соображениями, что и не заметили прихода Пышки. Нелегкое «тс-с», произнесенное графом, заставило всех поднять глаза. Она здесь. Все сразу замолчали. Сначала какое-то стеснение мешало заговорить с нею. Графиня, более других опытная в светском лицемерии, первая спросила:

– Ну что, интересно было на этих крестинах?

Толстушка, еще взволнованная, принялась рассказывать обо всем, что видела, описывала лица и манеры присутствовавших на крестинах и даже самую церковь. В заключение она заметила:

– Хорошо бывает иногда помолиться.

До завтрака дамы ограничились тем, что были с ней очень любезны, чтобы увеличить ее доверие и готовность следовать их советам.

Но, едва сели за стол, началось наступление. Сперва завели туманный разговор о самопожертвовании. Приводили примеры из древности: историю Юдифи и Олоферна, потом, неизвестно почему, Лукреции и Секста. Вспомнили и Клеопатру, которая, принимая на своем ложе всех вражеских полководцев, превращала их в покорных рабов. Потом пошла уже какая-то фантастическая история – плод воображения этих невежественных миллионеров – о римских гражданах, которые отправились в Капую, чтобы усыпить в своих объятиях Ганнибала, его военачальников и целые фаланги наемников. Припомнили всех женщин, которые задерживали наступление завоевателей, превращая свое тело в поле сражения, властвуя с его помощью, пользуясь им как оружием; женщин, которые своими геройскими ласками покоряли людей ненавистных или презренных, жертвуя своим целомудрием ради мести или преданности.

Рассказали даже в сдержанных выражениях об англичанке из знатной семьи, согласившейся привить себе ужасную заразную болезнь, с тем чтобы передать ее Бонапарту, который спасся каким-то чудом, почувствовав внезапную слабость в час рокового свидания.

Все это рассказывалось в приличной и осторожной форме, сквозь которую порою прорывался нарочитый энтузиазм, звучащий как призыв к подражанию.

В конце концов создавалось впечатление, что удел женщин в этом мире – постоянно жертвовать собой, предоставляя свое тело для удовлетворения грубых солдатских прихотей.

Благочестивые монахини, казалось, ничего не слышали, погруженные в глубокую задумчивость. Пышка хранила молчание.

Ее на весь остаток дня предоставили собственным размышлениям. Но теперь, обращаясь к ней, почему-то не говорили «сударыня», как бы желая несколько снизить степень уважения, которое она завоевала, дать ей почувствовать ее позорное положение.

За обедом, когда подавали суп, снова появился Фоланви и повторил тот же вопрос, что и накануне:

– Прусский офицер спрашивает мадемуазель Элизабет Руссе, не переменила ли она своего решения?

Пышка сухо ответила:

– Нет.



Во время обеда коалиция несколько ослабела. У Луазо вырвались три неосторожные фразы. Все старались привести новые примеры из истории, но не могли ничего придумать. Тут графиня, быть может, без всякой задней мысли, просто побуждаемая смутной потребностью отдать дань религии, обратилась к старшей из монахинь с каким-то вопросом о подвижничестве святых. Ведь многие из них совершали деяния, которые в наших глазах являются преступными. Но церковь охотно прощает такие преступления, когда они совершаются во славу Божию или ради блага ближнего. Это был сильный аргумент, и графиня им воспользовалась.

Было ли тут своего рода молчаливое соглашение, тайная снисходительность, которая свойственна всякому носящему церковную одежду, или просто пришедшаяся весьма кстати бестолковость и глупая услужливость, но старшая монахиня оказала заговору весьма существенную поддержку. Ее считали застенчивой, а она неожиданно проявила смелость, красноречие и страстность. Она принадлежала к числу тех, кого мало смущают казуистические тонкости. Ее убеждения были крепче железа, вера никогда не колебалась, совесть не знала сомнений. Жертва Авраама казалась ей вполне естественной: она и сама не замедлила бы убить отца и мать, если бы на то было веление свыше. По ее мнению, ничто не могло быть негодно Господу, раз оно сделано с похвальным намерением. Воспользовавшись религиозным авторитетом своей неожиданной союзницы, графиня постаралась получить от нее как бы толкование известного нравственного принципа: «Цель оправдывает средства».

Она спросила:

– Так вы, сестрица, полагаете, что Господу Богу угодны все пути и он простит всякий грех, если только побуждение чисто?

– Кто же мог бы в этом сомневаться, сударыня? Поступок, сам по себе достойный порица-

ния, часто становится даже похвальным благодаря цели, которая его внушила.

Разговор продолжался в том же духе: толковали намерения Бога, предугадывали его решения, вынуждали его интересоваться тем, что, в сущности, его совершенно не касается.

Все это делалось осторожно, искусно, в замаскированной форме. Но каждое слово благочестивой женщины в монашеском уборе пробивало брешь в сопротивлении негодующей куртизанки. Затем беседа приняла несколько иное направление. Монахиня, перебирая четки, стала рассказывать о монастырях своего ордена, о настоятельнице, о себе самой, о своей милой спутнице, дорогой сестрице из монастыря Св. Никифора. Их вызвали в Гавр, чтобы ухаживать там в госпиталях за сотнями солдат, больных оспой. Она говорила о положении этих несчастных, подробно описывала их болезнь. И вот теперь, из-за того, что по капризу этого пруссача они задержались в пути, обречены на смерть множество французов, которых они, быть может, спасли бы. Ухаживать за больными солдатами – ее специальность. Она была в Крыму, в Италии и в Австрии. В рассказах об этих кампаниях она неожиданно предстала перед слушателями как одна из тех воинственных монахинь, которые как бы созданы для того, чтобы следовать за армией, подбирать раненых в разгаре сражений и лучше иного командира усмирять одним словом самых непокорных буянов, – настоящая «полковая сестра», самое лицо которой, обезображенное, изрытое бесчисленными оспинами, казалось эмблемой опустошений, производимых войной.

Успех ее речей казался настолько несомненным, что после нее уже никто ничего не говорил.

Сразу после обеда все разошлись по своим комнатам и на другое утро собрались внизу довольно поздно.

Завтрак прошел молчаливо. Посеянному накануне зерну надо было дать время прорасти и принести плоды.

Графиня предложила прогуляться до обеда. Когда все вышли, граф, как это было заранее условлено, взял Пышку под руку и вместе с нею немного отстал от остального общества.

Он заговорил с нею тем отечески фамильярным, слегка презрительным тоном, каким солидные мужчины говорят с девицами легкого поведения, называя ее «милое дитя», снисходя к ней с высоты своего положения в обществе и своей неоспоримой порядочности. Он сразу перешел к сути дела:

– Итак, вы предпочитаете, чтобы мы оставались здесь, где нам, как и вам самой, грозят всякие насилия в случае поражения прусских войск, вместо того чтобы согласиться на одну из тех любезностей, которые вы в своей жизни так часто оказывали?

Пышка ничего не отвечала.

Он действовал на нее лаской, убеждением, чувством. Он умел, оставаясь «господином графом», проявлять себя галантным там, где это было нужно, расточать комплименты, быть, наконец, даже любезным. Он превозносил услугу, которую она им окажет, говорил о всеобщей признательности. Затем, перейдя вдруг на «ты», весело прибавил:

– И знаешь ли, милочка, он мог бы потом хвастать тем, что полакомился такой красивой девушкой, каких на его родине вряд ли много найдется.

Пышка, ничего не отвечая, догнала остальных.

После прогулки она ушла к себе в комнату и больше не показывалась. Всеобщее беспокойство дошло до крайности. Как она поступит? Если она дальше будет упрямыться, что тогда делать?

Позвонили к обеду; Пышки все не было, ее напрасно ожидали. Наконец, пришел Фоланви и сообщил, что мадемуазель Руссе нездоровится и можно садиться за стол. Все наострили уши. Граф подошел к хозяину и тихонько спросил:

– Что, согласилась?

– Да.

Из чувства приличия граф ничего не сказал остальным, а только едва заметно кивнул головой. Тотчас же у всех вырвался глубокий вздох облегчения, и лица просветлели. Луазо воскликнул:

– Тысяча чертей! Ставлю шампанское, если только оно найдется в этом заведении!

И г-жа Луазо с тоской увидела, что трактирщик вернулся, неся в руках четыре бутылки. Все вдруг стали разговорчивы и шумливы. Бурная радость наполнила сердца. Граф, кажется, только

теперь заметил, как очаровательна г-жа Карре-Ламадон. Фабрикант стал отпускать комплименты графине. Разговор оживился, засверкал остроумием и весельем.

Вдруг Луазо сделал трагическое лицо и, подняв руки, рывкнул:

– Тише!

Все умолкли, недоумевая, почти испуганные. Тогда он насторожился, протянул обе руки, как бы призывая всех к молчанию, таинственно произнес: «Тс... с... с...», потом поднял глаза к потолку, снова прислушался и возвестил уже обыкновенным голосом:

– Успокойтесь, все идет хорошо.

Сначала все как будто не поняли, потом на лицах заиграли улыбки.

Через четверть часа он снова разыграл ту же комедию и в течение вечера много раз повторял ее. Он делал вид, что обращается к кому-то в верхнем этаже, давал двусмысленные советы с остроумием настоящего коммивояжера. То он шептал с печальным видом: «Бедняжка», то гневно цедил сквозь зубы: «Ах ты, прусская каналья!» Иногда в самые неожиданные моменты он вдруг выкрикивал дрожащим голосом несколько раз подряд:

– Довольно!.. Довольно!..

И добавлял как бы про себя:

– Только бы нам довелось увидеть ее снова! Как бы он не уморил ее, этот мерзавец.

Эти шутки дурного тона забавляли всех, нисколько никого не шокируя, так как моральная безразличность, как и все прочее, зависит от обстановки, а здесь мало-помалу создавалась атмосфера скабрезных мыслей.

За десертом даже дамы позволили себе несколько остроумных и осторожных намеков. Глаза у всех блестели: было много выпито. Граф, и в минуты легкомыслия не терявший своей обычной важности, позволил себе сделать имевшее шумный успех сравнение их настроения с радостным чувством людей, потерпевших на Северном полюсе кораблекрушение, когда они видят, наконец, что зимовка кончилась и путь на юг открыт. Расходившийся Луазо встал со стаканом шампанского в руке:

– Пью за наше освобождение!

Все поднялись с возгласами одобрения. Даже обе монахини, уступив настояниям дам, согласились омочить губы в этом шипучем вине, которого они никогда еще не пробовали. Они нашли, что оно похоже на лимонад, но только гораздо вкуснее.

Луазо выразил общее настроение, сказав:

– Какая жалость, что нет фортепиано: можно было бы отхватить кадрили.

Корнюде за все это время не проронил ни слова, не сделал ни одного жеста. Он, казалось, углубился в серьезные размышления и по временам сердито теребил свою длинную бороду, словно пытаясь еще больше удлинить ее. Наконец уже около полуночи, когда все стали расходиться, Луазо, который уже пошатывался, хлопнул его вдруг по животу и, запинаясь, сказал:

– Вы что-то не в духе сегодня, гражданин! Вы все молчите.

Корнюде резко поднял голову и окинул всю компанию сверкающим от негодования взглядом:

– Заявляю вам всем, что вы учинили гнусность!

Он встал, пошел к двери, снова повторил: «Гнусность...» – и скрылся.

Сначала это внесло холодную струю в атмосферу веселья. Луазо, опешив, имел преглупый вид. Но к нему сразу вернулась его обычная самоуверенность, и он с кривлянием произнес несколько раз:

– Что, голубчик, зелен виноград?

Так как никто ничего не понял, он посвятил все общество в «тайну коридора». Последовал новый взрыв веселья. Дамы хохотали как сумасшедшие. Граф и Карре-Ламадон плакали от смеха. Они не могли поверить Луазо.

– Неужели? Вы уверены в этом? Так он хотел...

– Говорю же вам, что я видел собственными глазами.

– И она отказала?

– Да, оттого что немец был в соседней комнате.

– Не может быть!

– Клянусь вам.

Граф задыхался от смеха. Фабрикант обеими руками держался за живот. Луазо продолжал:

– Так что, понимаете, сегодня вечером ему не до шуток, совсем не до шуток.

И все трое, захлебываясь, изнемогая от хохота, продолжали твердить одно и то же.

Скоро все разошлись. Г-жа Луазо, женщина колючая, как шпилька, ложась спать, не преминула заметить мужу, что «эта злючка» Карре-Ламадон смеялась весь вечер скрепя сердце.

– Знаешь, когда женщина равнодушна к мундиру, ей безразлично, француз это или немец, честное слово. Господи боже, до чего это противно!

Всю ночь во мраке коридора слышались какие-то шорохи, легкие, едва уловимые звуки, походившие на вздохи, тихое шлепанье босых ног, слабое поскрипывание. Все заснули, должно быть, очень поздно, так как в щелях под дверьми долго мелькали полосы света. Таково действие шампанского. Говорят, оно разгоняет сон.

Наутро снег так и сверкал на ярком зимнем солнце. Дилижанс, наконец запряженный, ожидал у подъезда. Целая стая белых голубей с черными, в розовом ободке, глазами, раздувая пышное оперение, важно прохаживалась под ногами шести лошадей и рылась в дымящемся навозе, отыскивая себе корм.



Кучер в бараньей шубе уже сидел на козлах, покуривая трубку, и все пассажиры, сияя, топорпливо укладывали провизию, запасенную на остаток пути.

Ждали только Пышку. Наконец она появилась.

Она казалась немного смущенной, пристыженной и робко подошла к своим спутникам. Все как один отвернулись, словно не замечая ее. Граф с достоинством взял под руку жену, как бы оберегая ее от соприкосновения с чем-то нечистым.

Пышка остановилась пораженная. Потом, собрав все свое мужество, подошла к жене фабриканта и смиренно шепнула:

– Здравствуйте, сударыня.

Та ответила лишь легким высокомерным кивком головы, сопровождая его взглядом оскорбленной добродетели. Все делали вид, что заняты, и сторонились ее, как будто она в своих юбках принесла заразу. Затем все поспешили к карете. Пышка вошла последней и молча села на то же место, которое занимала в начале путешествия.

Ее как будто не видели, не были с ней знакомы. Г-жа Луазо, негодуя поглядывая на нее издали, вполголоса сказала мужу:

– Какое счастье, что я не сижу рядом с ней.

Тяжелая карета тронулась – и прерванное путешествие возобновилось.

Некоторое время все молчали. Пышка не решалась поднять глаза. Она негодовала на своих спутников и в то же время чувствовала себя униженной тем, что уступила, оскверненной поцелуями пруссака, в объятия которого ее с таким лицемерием толкнули.

Повернувшись к г-же Карре-Ламадон, графиня вскоре прервала тягостное молчание:

– Вы, кажется, знакомы с госпожой д'Этрель?

– Да, она моя приятельница.

– Какая обаятельная женщина!

– Да, она очаровательна! Вот подлинно избранная натура: высоко образованна и артистка до мозга костей. Она чудесно поет и рисует.

Фабрикант беседовал с графом, и сквозь дребезжание стекол слышались слова: «купон – срок платежа – премия – на срок».

Луазо, стянувший в гостинице старую колоду карт, засаленную от пятилетнего трения о плохо вытертые столы, играл с женой в безик.

Монахини, перебирая висевшие у пояса длинные четки, обе разом перекрестились и быстро зашевелили губами, все ускоряя свое невнятное бормотание, как будто состязаясь в быстроте чтения молитв. Время от времени они целовали образок, снова крестились и снова начинали быстро бормотать.

Корнюде не шевелился, о чем-то задумавшись.

Прошло три часа. Луазо, собрав карты, сказал:

– Хочется есть.

Тогда его жена достала перевязанный сверток и вынула из него кусок холодной телятины. Она аккуратно разрежала его на тонкие, но солидные ломтики, и оба принялись за еду.

– Не сделать ли и нам то же самое? – спросила графиня.

Остальные согласились, и она развернула провизию, приготовленную на обе семьи. В длинной миске с крышкой, на которой фаянсовый заяц как бы указывал, что под ней покоится напигованный заяц, лежал сочный паштет. Белые полосы сала пронизывали темное мясо дичи, начиненной различным мелко изрубленным фаршем. Завернутый в газету изрядный кусок швейцарского сыра еще хранил на своей маслянистой поверхности отпечаток слов: «Происшествия».

Монахини достали пахнущую чесноком колбасу, а Корнюде, засунув одновременно обе руки в глубокие карманы своего пальто, вытащил из одного четыре крутых яйца, из другого – горбушку хлеба. Он разбил скорлупу, бросил ее в солому под ногами и принялся уписывать яйца, роняя на свою длинную бороду крошки желтка, похожие на звездочки.

Пышка второпях и в волнении сегодняшнего утра не успела ничем запастись. И теперь она смотрела с озлоблением, задыхаясь от гнева, на всех этих людей, спокойно занятых едой. Сначала в сильном раздражении она уже открыла было рот, чтобы прокричать этим людям то, что она думала об их поступке, чтобы осыпать их градом ругательств, просившихся ей на язык. Но она не могла произнести ни слова – до такой степени душило ее возмущение.

Никто не смотрел на нее, не думал о ней. Она чувствовала, что ее словно захлестнуло презрение этих честных негодяев, которые сначала принесли ее в жертву своим интересам, а затем отшвырнули как грязную, ненужную ветошь. Потом она вспомнила о своей объемистой корзинке, полной вкусных вещей, которую они уничтожили с такой прожорливостью, о двух цыплятах, на которых блестело желе, о своих паштетах, грушах, о четырех бутылках бордо. Ее ярость внезапно

упала, подобно тому как лопается и падает туго натянутая струна: она почувствовала, что сейчас заплачет. Она делала невероятные усилия над собой, давилась слезами, как ребенок, но слезы подступали, уже блестили на ресницах, и наконец две крупные капли выкатились из глаз и медленно потекли по щекам. За ними последовали другие, катясь все быстрее, подобно струйкам, сочащимся из скалы, и падая на ее высокую грудь. Она сидела выпрямившись, неподвижно глядя в одну точку, с бледным суровым лицом, надеясь, что слез ее никто не увидит.

Но графиня заметила и знаком указала на нее мужу. Тот пожал плечами, как бы говоря: «Что поделаешь, я тут ни при чем».

Г-жа Луазо торжествующе засмеялась про себя и прошептала:

– Она оплакивает свой позор.

Монахини, завернув в бумагу остатки колбасы, снова начали молиться.

А Корнюде, переваривавший свой завтрак, вытянул длинные ноги под скамью напротив, откинулся назад, скрестив руки, и с усмешкой человека, придумавшего хорошую шутку, принялся насвистывать «Марсельезу».

Все нахмурились. Очевидно, эта народная песня не пришлась по вкусу его соседям. Она действовала им на нервы, раздражала, у них был такой вид, словно сейчас они завоюют, как собаки при звуках шарманки. Корнюде это заметил, но не перестал насвистывать. Время от времени он даже напевал вполголоса слова песни:

Любовь священная к народу,
Рукою мстителя води.
На бой, прекрасная свобода,
Своих защитников веди.

Снег стал тверже, и дилижанс теперь катился быстрее. И всю дорогу, до самого Дьепа, в течение долгих, унылых часов путешествия, на всех ухабах, сначала в сумерках, а потом и в полной темноте, Корнюде со свирепым упорством продолжал свое монотонное и мстительное насвистывание, заставлявшее его усталых и раздраженных соседей невольно следить за песней от начала до конца, припоминать в такт мелодии каждое ее слово.

А Пышка все плакала, и по временам рыдания, которых она не в силах была сдержать, слышались в темноте между строфами «Марсельезы».

ЗАВЕДЕНИЕ ТЕЛЬЕ

ГЛАВА I

Туда приходили каждый вечер, часам к одиннадцати, запросто, как в кафе.

Постоянными посетителями были человек шесть-семь – не какие-нибудь кутилы, а всё люди почтенные, коммерсанты, городская молодежь. Они попивали свой шартрез, слегка заигрывая с девушками, или вели серьезную беседу с Мадам, которая пользовалась всеобщим уважением.

Потом, около полуночи, расходились по домам. Молодежь иногда оставалась.

Дом, совсем маленький, выкрашенный в желтый цвет, похожий на любой семейный дом, стоял на углу, за церковью Св. Стефана, и из окон его был виден залив, в котором теснились разгружавшиеся корабли, большое соленое болото, носившее название Ретеню, а за ним берег Святой Девы со старой потемневшей часовней.

Мадам была из хорошей крестьянской семьи департамента Эр, и занялась она своим ремеслом совершенно так же, как занялась бы ремеслом модистики или белошвейки. В нормандских деревнях проституция не считается позором. Здесь не встретишь того предубеждения против нее, которое так сильно укоренилось в городах. Крестьянин говорит: «Это прибыльное ремесло» – и отправляет свою дочь содержать публичный дом так же просто, как отправил бы ее заведовать пансионом для благородных девиц.

Дом этот, впрочем, перешел к г-же Телье по наследству от старого дяди, его прежнего вла-

дельца. Она и ее муж, раньше содержавшие постоянный двор близ Ивето, ликвидировали его, как только получили наследство, считая более выгодным для себя предприятие в Фекане, и в одно прекрасное утро прибыли туда, чтобы взять в свои руки дело, начинавшее приходить в упадок из-за отсутствия хозяев.

Они были славные люди, и очень скоро их полюбил не только весь штат заведения, но и соседи.

Через два года муж умер от апоплексического удара. Новая профессия дала ему возможность жить в лени и праздности: он очень растолстел, и избыток здоровья задушил его.

Мадам, с тех пор как овдовела, была предметом напрасных вожделений всех завсегдатаев ее заведения; но она слыла строго добродетельной, и даже девушки «дома» ничего за ней не замечали.

Это была женщина высокая, полная, благообразная. Лицо ее, бледное от жизни в полумраке этого дома с всегда закрытыми ставнями, лоснилось, точно покрытое лаком. Мелко завитые фальшивые буколки обрамляли лоб, придавая ей молодость, не вязавшуюся со зрелостью форм. Всегда веселая, с открытым лицом, она любила пошутить, но с оттенком приличной сдержанности, которую новая профессия не успела еще в ней убить. Грубые слова всегда ее немного шокировали, и, если какой-нибудь невоспитанный малый называл ее заведение настоящим именем, Мадам закипала гневом и возмущением. Словом, она обладала утонченной душой, и хотя относилась к своим девушкам по-дружески, но повторяла часто, что она с ними «не из одного теста».

Иногда среди недели она вывозила часть своего персонала в наемной карете за город порезвиться на траве у речки, текущей в лесах Вальмона. Это было похоже на пикник вырвавшихся на свободу школьников: сумасшедший бег наперегонки, детские игры, радость узниц, опьяненных свежим воздухом. Закусывали на траве колбасой, запивая ее сидром, и с наступлением вечера возвращались домой в блаженной усталости, в тихом умилении и в карете целовали Мадам, как добрую мать, кроткую и снисходительную.

В доме было два входа. На углу открывалось по вечерам нечто вроде притона для простонародья и матросов. Для нужд этой части клиентуры были предназначены две из девушек, обслуживавших дом. С помощью слуги Фредерика – малорослого и безбородого блондина, сильного, как бык, – они подавали на расшатанные мраморные столики вино и пиво и, садясь на колени к пьющим, обнимая их руками за шею, старались заставить их пить как можно больше.

Остальные три девицы (всего их в доме было пять) представляли собой в некотором роде аристократию; их держали наверху для посетителей второго этажа и отправляли вниз только в том случае, если там в них была нужда, а второй этаж пустовал.

«Салон Юпитера», где собирались местные буржуа, был оклеен голубыми обоями и украшен большой картиной, изображавшей Леду, распростертую под лебедем. В салон вела с улицы винтовая лестница, кончавшаяся наверху узенькой, невзрачной дверью. Над этой дверью всю ночь горел за решеткой небольшой фонарь, вроде тех, какие еще до сих пор зажигаются в некоторых городах у подножия статуй Мадонны в стенных нишах.

В доме, старом и сыром, слегка пахло плесенью. Временами по коридору проносился запах одеколона, а сквозь приоткрытую дверь снизу, подобно раскатам грома, врвались, разносясь по всему дому, грубые крики мужчин, веселившихся в нижнем этаже, вызывавшие на лицах посетителей второго этажа гримасу беспокойства и отвращения.



Мадам была в большой дружбе со своими клиентами и никогда не покидала салона, интересуясь городскими новостями, которые они ей передавали. Ее степенный разговор вносил разнообразие в бессвязную болтовню трех женщин. Он был как бы отдыхом от вольных шуток тучных буржуа, которые каждый вечер разрешали себе здесь этот приличный и умеренный кутеж – выпить рюмку ликера в компании публичных женщин.

Трех девиц верхнего этажа звали: Фернанда, Рафаэль и Роза-Кляча.

Штат дома был невелик и поэтому подобран так, чтобы каждая из девушек являлась как бы образцом определенного женского типа и любой потребитель мог найти здесь хотя бы приблизительное воплощение своего идеала.

Фернанда изображала «прекрасную блондинку». Это была рослая, полная, почти тучная женщина с рыхлым телом, настоящая дочь полей, у которой никогда не сходили с лица веснушки, а короткие и светлые, бесцветные волосы, напоминавшие расчесанную паклю, едва прикрывали темя.

Рафаэль, уроженка Марселя, потаскушка приморских портов, худая, с торчащими накрашенными скулами, играла роль обязательной в каждом публичном доме «прекрасной еврейки». Ее черные волосы, намаженные бычьим мозгом, ложились завитушками на висках. Глаза были бы красивы, если бы правый не портило бельмо. Изогнутый крючком нос опускался на выдающуюся вперед челюсть, и два вставных верхних зуба резким пятном выделялись рядом с нижними, потемневшими от времени, как старое дерево.

Роза-Кляча, настоящий комок мяса, словно вся состоявшая из одного живота на крохотных ножках, с утра до вечера визгливо распевала скабрзные или чувствительные песенки, рассказывала какие-то бесконечные, никому не интересные истории и прерывала болтовню только для того, чтобы приняться за еду, а еду – чтобы опять заговорить; подвижная, как белка, несмотря на свою толщину и короткие ножки, она постоянно вертелась. Ее смех – целый каскад визгливых криков – раздавался беспрерывно и без всякого повода то тут, то там – в комнатах, на чердаке, внизу в кабачке, повсюду.

Две девушки из нижнего этажа: Луиза по прозвищу Курочка и Флора, которую называли Качалкой, потому что она немного прихрамывала, одна – неизменно одетая «Свободой» с трехцветным поясом, другая – в фантастическом костюме испанки, с медными цехинами, плясавшими в рыжих волосах при каждом ее неровном шаге, – имели вид судомоек, нарядившихся для карнавала. Эти типичные трактирные служанки, ничем – ни красотой, ни безобразием – не отличавшиеся от любой женщины из простонародья, были известны в порту под насмешливой кличкой «Два Насоса».

Между пятью женщинами царил вооруженный мир, впрочем редко нарушаемый благодаря мудрой политике Мадам и ее неистощимому благодущию.

Заведение, единственное в городке, посещалось усердно. Хозяйка сумела придать всему такой приличный тон, была так любезна, так предупредительна ко всем, так славилась своим добрым сердцем, что ее окружало известного рода уважение. Завсегдатаи заведения ухаживали за нею

и торжествовали, если удавалось заслужить какой-нибудь знак особого внимания с ее стороны. А днем, встречаясь где-нибудь на деловой почве, они говорили друг другу: «Вечером увидимся – там, где всегда», как говорят: «Встретимся в кафе после обеда – хорошо?»

Словом, дом Телье был местом, где отводили душу, и редко бывало, чтобы кто-либо из его завсегдатаев пропустил ежевечернее собрание.

И вот однажды вечером, в конце мая, г-н Пулен, лесоторговец и бывший мэр, придя первым, нашел дверь запертой. Фонарик за решеткой не был зажжен; дом точно вымер, из него не доносилось ни звука. Пулен постучал, сначала тихо, потом сильнее; никто не откликнулся. Тогда он медленно зашагал обратно по улице и, дойдя до Рыночной площади, встретил г-на Дювера, судовладельца, который направлялся туда же, откуда шел он. Они вернулись к дому вместе, постучали снова, но безуспешно. Вдруг совсем близко от них послышался страшный шум, и, обойдя дом, они увидели толпу английских и французских матросов, колотивших кулаками в закрытые ставни кабак.

Оба буржуа тотчас обратились в бегство, боясь себя скомпрометировать. Но легкий свист остановил их: это г-н Турнево, рыбосол, увидел их и окликнул. Новость, сообщенная ими, сильно огорчила Турнево, тем более сильно, что он, как человек женатый и отец семейства, находился под строгим надзором и ходил в дом Телье только по субботам, – *secuntatis causa*,¹⁹ как он говорил, намекая на периодически применяемые санитарной полицией меры, в тайну которых его посвятил приятель, доктор Борд. Сегодня был как раз его вечер – и вот теперь он оказывается лишенным удовольствия еще на целую неделю.

Трое мужчин, сделав большой крюк, дошли до набережной и по дороге встретили молодого г-на Филиппа, сына банкира, тоже завсегдатая дома, и сборщика податей, г-на Пемпес. Все вместе вернулись обратно по Еврейской улице, чтобы в последний раз попытать счастья. Но разъяренные матросы осаждали дом, швыряли камни, орали во все горло. И пятеро клиентов верхнего этажа, поскорее ретировавшись, стали бродить по улицам.

Они встретили еще г-на Дюпюи, страхового агента, потом г-на Васа, члена коммерческого суда, и началась длинная прогулка. Сперва они забрели на мол и, усевшись все в ряд на гранитный парапет, смотрели на бурлящую воду. Пена на гребнях волн вспыхивала во мраке ослепительной белизной, почти тотчас же угасая, и монотонный шум моря, бьющегося о скалы, раздавался в ночной тишине вдоль всего каменистого берега. Так, в унынии, сидели они здесь некоторое время. Наконец Турнево объявил:

– А тут невесело!..

– Да, совсем невесело, – поддержал его Пемпес.

И они медленно двинулись обратно в город.

Пройдя по улице Су-Ле-Буа, которая тянется над берегом, они по деревянному мосту перешли через Ретеню, миновали железную дорогу и снова вышли на Рыночную площадь. Здесь между сборщиком податей Пемпесом и рыбосолом Турнево неожиданно возникла ссора из-за какого-то съедобного гриба, найденного одним из них, по его уверению, в окрестностях города.

Так как скука рождает раздражение, то они от слов перешли бы, может быть, к действиям, если бы не вмешались другие. Пемпес, разозлившись, ушел, и тотчас же начались новые пререкания, на этот раз между бывшим мэром Пуленом и страховым агентом Дюпюи по поводу жалования сборщика податей и его предполагаемых побочных доходов. С обеих сторон сыпались уже оскорбительные замечания, как вдруг разразилась буря диких криков, и толпа матросов, которым надоело ожидать напрасно у запертого дома, хлынула на площадь. Взявшись попарно за руки, они шли длинной процессией и неистово горланили. Компания обывателей укрылась под воротами, и шумная орава понеслась дальше по направлению к монастырю. Долго еще доносились издали крики, постепенно затихая, подобно удаляющейся грозе. Потом наступила тишина.

Пулен и Дюпюи, кипя злобой друг против друга, разошлись в разные стороны, не попрощавшись.

Четверо остальных снова отправились бродить и невольно снова пришли к дому Телье. Он

¹⁹ Ради безопасности.

стоял по-прежнему запертый, молчаливый, недоступный. Какой-то пьяный с тихим упорством легонько постукивал в окно кабачка, а в промежутках вполголоса звал Фредерика. В конце концов, видя, что никто не отвечает, он счел за лучшее усесться на ступеньке у дверей и выжидать событий.

Добрые буржуа собирались уже уходить, когда в конце улицы снова показалась шумная ватага моряков. Французские матросы орали «Марсельезу», английские – свой гимн «Rule, Britannia». Произошел всеобщий натиск на стены дома, затем эта толпа дикарей двинулась обратно к гавани, где вспыхнул бой между матросами двух наций. В драке одному англичанину сломали руку, а французам разбили нос.

Пьяный, все еще сидевший перед дверью, плакал теперь, как плачут только пьяницы и обиженные дети.

Добрые буржуа наконец разошлись. Мало-помалу на потревоженный городок снова сошла тишина. Мгновениями то тут, то там еще поднимался шум голосов, но скоро затихал в отдалении.

Один только человек все еще продолжал блуждать по улицам – Турнево, рыбосол, глубоко опечаленный тем, что приходится дожидаться следующей субботы. Он все еще надеялся на что-то, негодуя, отказываясь понять, как это полиция позволяет ни с того ни с сего закрыть вдруг такое общественно полезное учреждение, состоящее под ее присмотром и охраной.

Он еще раз воротился к дому и, внимательно осматривая стены, доискиваясь причины, заметил, что под навесом наклеено объявление. Он поскорее зажег восковую свечку и при ее свете прочел слова, выведенные крупным неровным почерком: «Закрыто по случаю первого причастия».

Тогда он ушел, поняв, что надежды больше нет.

Пьяный уже спал, растянувшись во весь рост поперек негостеприимного порога.

На другой день все обычные посетители дома один за другим под разными предлогами ухитрились пройти по этой улице, для приличия держа бумагу под мышкой. И каждый, украдкой метнув взгляд на таинственное объявление, прочел слова: «Закрыто по случаю первого причастия».

ГЛАВА II

А дело было вот в чем. У Мадам был брат, столяр, живший в их родной деревне Вирвиль, в департаменте Эр. Еще в то время, когда Мадам была трактирщицей близ Ивето, она крестила у брата дочь, которую назвала Констанцей, Констанцей Риве (Риве – была девичья фамилия Мадам). Столяр, который знал, что дела сестры идут хорошо, не терял ее из виду, но встречались они редко, так как каждый был занят своим делом, да и жили они все-таки далеко друг от друга. Но в этом году девочке должно было исполниться двенадцать лет, ей предстояло первое причастие, и столяр, решив воспользоваться этим случаем для сближения с сестрой, написал ей, что рассчитывает на ее участие в торжестве. Стариков родителей уже не было в живых, и Мадам не могла отказать своей крестнице: она приняла приглашение. Брат ее Жозеф надеялся, что, угождая сестре, он, может быть, добьется завещания в пользу своей дочки, так как Мадам была бездетна.

Ремесло сестры ничуть его не смущало, да, впрочем, в их местах никто о нем и не знал. Упомянув о ней, говорили только: «Мадам Телье – дама, живущая в Фекане», так что можно было предположить, что она живет на доходы со своего капитала. От Фекана до Вирвиля не меньше двадцати миль, а крестьянину преодолеть расстояние в двадцать миль труднее, чем цивилизованному человеку переплыть океан. Жители Вирвиля дальше Руана никогда не ездили; феканцев же ничем не могла привлечь какая-то деревушка в пятьсот дворов, затерянная в степи и принадлежащая другому департаменту. Таким образом, здесь ровно ничего не было известно.

Время причастия приближалось, и Мадам была в большом затруднении. Помощницы у нее не было, и о том, чтобы оставить свой дом хотя бы на один день, она не могла и думать. Без нее непременно опять вспыхнут споры и соперничество между девицами верхнего и нижнего этажа; потом, конечно, напьется Фредерик, а когда он пьян, то накидывается на людей ни за что ни про что. В конце концов она решила взять с собой всех девушек, а слугу отпустить на эти два дня.

Брат, с которым она посоветовалась, ничего не имел против этого и обещал предоставить всем им на одну ночь место для ночлега. И вот в субботу утром восьмичасовой экспресс умчал в вагоне второго класса Мадам и ее спутниц.

До Безвиля они были одни и трещали как сороки. Но на этой станции в вагон вошла чета крестьян. Муж, старик в синей блузе с плиссированным воротником и широкими рукавами, стянутыми у кисти и украшенными узкой белой вышивкой, в старинном цилиндре, порыжевший ворс которого торчал щетиной, в одной руке держал огромный зеленый зонтик, а в другой – большую корзину, из которой испуганно выглядывали головы трех уток. Жена его, прямая, угловатая, в своем деревенском наряде напоминала курицу с острым, как клюв, носом. Она уселась против мужа и застыла на месте, ошеломленная тем, что очутилась в таком блестящем обществе.

В самом деле, в вагоне можно было ослепнуть от ярких, бьющих в глаза красок. Мадам, вся с головы до ног в голубом шелке, накинула на свой наряд шаль из поддельного французского кашемира, огненно-красную, слепящую, пылающую. Фернанда задыхалась в платье из клетчатой шотландской материи, корсаж которого, с трудом затянутый на ней подругами, поддерживал два ниспадающих купола ее рыхлой груди, беспрерывно колыхавшейся под одеждой, словно жидкость.

Рафаэль, в прическе с перьями, похожей на гнездо, полное птиц, была в лиловом платье, усеянном золотыми блестками. Этот туалет в восточном вкусе шел к ее лицу еврейского типа. Роза-Кляча в розовой юбке с широкими оборками имела вид чересчур разжиревшего ребенка или толстой карлицы. А оба Насоса, казалось, выкроили свои причудливые наряды из старых оконных занавесок, тех занавесок в разводах, которые были в моде в эпоху Реставрации.

Как только в купе появились пассажиры, дамы приняли серьезный вид и стали беседовать на возвышенные темы, чтобы внушить о себе хорошее мнение. Но в Больбеке в вагон вошел господин с белокурыми бакенбардами, в перстнях и с золотой цепочкой. В сетку наверху он положил несколько пакетов, завернутых в клеенку. Видно было, что это балагур и весельчак. Он поклонился, улыбнулся и спросил развязно:

– Дамы меняют гарнизон?

Этот вопрос привел всех в тягостное смущение. Наконец к Мадам вернулось самообладание, и она ответила сухо, мстя за оскорбленную честь своего отряда:

– Вам не мешало бы быть повежливее.

Он извинился:

– Извините, я хотел сказать – монастырь.

Не найдя, что возразить, или, может быть, удовлетворенная такой поправкой, Мадам с достоинством поклонилась, сжав губы. Тогда этот господин, заняв место между Розой и старым крестьянином, принялся подмигивать трем уткам, головы которых торчали из корзины. Затем, почувствовав, что ему уже удалось пленить общество, он начал щекотать птиц под клювом, обращаясь к ним с шутливыми речами, чтобы позабавить всех.

– Мы оставили нашу милую лужу!.. Кря, кря, кря... И придется нам познакомиться с вертелом!.. Кря, кря, кря...

Бедные птицы выворачивали шеи, стараясь уклониться от его ласк и делая отчаянные усилия вырваться из своей ивовой клетки. И вдруг все разом закричали, тоскливо и жалобно: «Кря, кря, кря!»

Среди женщин раздался взрыв смеха. Они нагибались, толкали друг друга, чтобы лучше видеть. Все вдруг необычайно заинтересовались утками. А господин удвоил свои старания, любезности и остроумие.

Вмешалась Роза и, перегнувшись через колени соседа, поцеловала всех трех птиц в клюв. Тотчас же и всем остальным захотелось поцеловать их. Господин усаживал каждую из девушек по очереди к себе на колени, покачивал, щипал и вдруг перешел с ними на «ты».

Крестьяне, ошавев еще больше, чем их птицы, вращали глазами, как безумные, не смея пошевелиться, и их старые морщинистые лица словно застыли и ни разу не осветились улыбкой.

Господин, оказавшийся коммивояжером, в шутку предложил дамам купить у него подтяжки и, достав один из своих свертков, развернул его. Это была хитрость: в свертке оказались дамские подвязки.

Там были шелковые подвязки всевозможных цветов – голубые, розовые, красные, фиолетовые, сиреневые, пунцовые, с металлическими пряжками в виде двух обнявшихся золотых амуров. Девушки вскрикнули от восторга, потом принялись рассматривать образцы с той серьезностью, с какой всякая женщина выбирает принадлежности туалета. Они советовались друг с другом взглядами, перешептывались, а Мадам с вождением вертела в руках пару оранжевых подвязок. Они были шире и внушительнее других – настоящие хозяйские подвязки.

Коммивояжер выжидал, смакуя одну мысль.

– Ну, мои крошечки, – сказал он, – надо их примерить.

Грянула целая буря восклицаний. Они зажимали юбки между ног, словно опасаясь насилия. А он спокойно выжидал своего. Наконец заявил:

– Не хотите? Я убираю их.

Затем с хитрым лукавством прибавил:

– Даю по паре на выбор всем, кто захочет примерить.

Но они не соглашались, выпрямившись с достоинством. Однако оба Насоса имели такой несчастный вид, что он повторил им свое предложение. Флора-Качалка, которую особенно мучило желание, явно колебалась. Он подзадоривал:

– Да ну же, девочка, смелее! Вот пара лиловых, они пойдут к твоему платью.

Тогда она решила и, подняв юбку, показала толстую ногу коровницы в плохо натянутом грубом чулке. Коммивояжер, нагнувшись, застегнул подвязку сперва под коленом, потом выше. При этом он тихонько щекотал девушку, заставляя ее вскрикивать и резко вздрагивать. Наконец дал ей пару лиловых подвязок и спросил:

– Теперь чья очередь?

Все разом закричали:

– Моя, моя!

Он начал с Розы-Клячи, открывшей нечто бесформенное, совершенно круглое, без лодыжки, «настоящий окорок», как заметила Рафаэль. Фернанда удостоилась комплимента коммивояжера, которого привели в восторг ее мощные колонны. Тощие бедра Прекрасной еврейки имели меньший успех. Луиза-Курочка в шутку накрыла голову коммивояжера своей юбкой, и Мадам была вынуждена вмешаться, чтобы прекратить это неприличие. Наконец сама Мадам протянула свою ногу, прекрасную нормандскую ногу, полную и мускулистую. И коммивояжер, изумленный и восхищенный, галантно снял шляпу, приветствуя, как подобает истому французскому рыцарю, этот образец совершенства.

Крестьяне, остолебев от изумления, посматривали на все искоса, одним глазом и были при этом так похожи на цыплят, что господин с белокурыми бакенбардами, поднявшись, пропел им прямо в лицо: «Ку-ка-ре-ку».

Это вызвало новый ураган веселья.

Старики сошли в Мотвиле со своей корзиной, утками и зонтом. И слышно было, как жена, уходя, сказала мужу:

– Потаскухи! И едут-то, верно, в этот чертов Париж!

Веселый коммивояжер и сам сошел в Руане, успев показать себя таким грубияном, что Мадам вынуждена была резко его осадить. Она прибавила в виде назидания:

– Это нас научит не вступать в разговоры с первым встречным.

В Уаселе они пересели в другой поезд, и на следующей станции их встретил Жозеф Риве с большой телегой, запряженной белой лошастью и уставленной стульями.

Столяр вежливо перецеловал всех дам и помог им взобраться на телегу. Три из них уселись на стульях сзади, Рафаэль, Мадам и ее брат – на трех передних, а Роза, которой не хватило места, кое-как уместилась на коленях у большой Фернанды. И экипаж тронулся. Тотчас же неровная рысь лошадки начала так страшно трясти телегу, что стулья заплясали, подбрасывая путешественниц, которые падали то вправо, то влево, дергаясь, как картонные паяцы, испуганно гримасничая и испуская крики ужаса, внезапно обрываемые новым сильным толчком. Они цеплялись за края телеги, шляпы их съезжали то на затылок, то на лицо, то на плечо, а белая лошадка все скакала, вытянув голову, задрав хвост – короткий, облезлый крысиный хвост, которым она время от времени

обмахивалась. Жозеф Риве, стоя на одном колене и упершись другой ногой в оглоблю, держал вожжи, высоко подняв локти, и из его горла поминутно вылетал какой-то звук, напоминающий хлопанье, при котором лошаденка настораживала уши и ускоряла бег.

По обеим сторонам дороги тянулись зеленые поля. Местами сурепка в цвету расстилалась желтой волнующейся скатертью, и от нее шел сильный свежий запах, острый и сладкий, далеко разносимый ветром. Во ржи, уже высокой, поднимали синие головки васильки, и девушкам хотелось их нарвать, но Риве отказался остановить лошадь. Иногда все поле казалось залитым кровью – так густо росли в нем маки. И среди этих полей, пестревших цветами земли, повозка с белой лошастью, везшая, казалось, букет еще более ярких цветов, неслась, то скрываясь за большими деревьями какой-нибудь фермы, то снова появляясь из-за листвы, чтобы мчаться дальше через золотые и зеленые нивы, словно расшитые алым и синим узором, ослепительную группу женщин, сверкавшую на солнце.

Пробило час, когда они подъехали к дому столяра.

Все были разбиты усталостью и бледны от голода, так как с самого отъезда они ничего не ели. Г-жа Риве бросилась им навстречу и помогла всем сойти, обнимая по очереди каждую, как только она ступала на землю. Она то и дело целовала золовку, которую ей хотелось подкупить своей любезностью.

За стол сели в мастерской, из которой вынесли верстаки по случаю завтрашнего парадного обеда.

Добрая яичница, а за ней жареная колбаса, которую запивали крепким сидром, вернули всем веселое расположение духа. Риве поднимал стакан, чокаясь со всеми, а жена его прислуживала, стряпала, подавала и уносила блюда и шептала каждой гостье на ухо:

– Досыта ль покушали?

Ряды досок, прислоненных к стенам, и стружки, сметенные в кучи по углам комнаты, распространяли запах свежеструганного дерева, характерный смолистый запах столярной мастерской, проникающий в самую глубину легких.

Гости захотели увидеть девочку, но она была в церкви и должна была вернуться только к вечеру.

После обеда вся компания вышла прогуляться по деревне.

Деревушку, совсем маленькую, пересекала большая дорога. Десяток домиков, тянувшихся вдоль этой единственной улицы, принадлежал местным торговцам и ремесленникам – мяснику, лавочнику, столяру, трактирщику, сапожнику и булочнику. В конце улицы виднелась церковь посреди небольшого кладбища. Четыре огромные липы, росшие перед папертью, укрывали ее густой тенью. Она была выстроена без всякого стиля, из тесаного камня и увенчивалась шиферной колокольней. За церковью опять начиналось поле с разбросанными тут и там рошицами, скрывавшими фермы.

Риве, несмотря на то что был в рабочем платье, церемонно взял сестру под руку и торжественно повел ее вперед. Его жена, совершенно плененная нарядом Рафаэли, украшенным блестками, шла между ней и Фернандой. Толстушка Роза семенила позади вместе с Луизой-Курочкой и Флорой-Качалкой, которая от усталости прихрамывала еще сильнее.

Жители выходили на порог, дети бросали игру, из-за приподнятой занавески выглянула чья-то голова в ситцевом чепце; какая-то полуслепая старуха на костылях перекрестилась, как перед крестным ходом; и все долго смотрели вслед этим нарядным городским дамам, прибывшим издаля по случаю первого причастия дочки Жозефа Риве. Столяр теперь внушал всем безмерное уважение.

Проходя мимо церкви, они слышали пение детей – гимн, выкрикиваемый в небо звонкими детскими голосами. Мадам никому не позволила войти в церковь, чтобы не смущать «этих херувимов».

Прогулявшись по деревне и перечислив гостям все крупные усадьбы и их доходы от земли и скота, Жозеф Риве довел свое стадо женщин домой и принялся всех их устраивать у себя на ночь.

Так как места было очень мало, их разместили по двое. Риве на этот раз должен был спать в

мастерской на стружках. Жена его разделила кровать с золовкой, а в комнате рядом поместились вместе Фернанда и Рафаэль. Луизу и Флору устроили в кухне на разостланном на полу матраце, а Роза одна заняла темный чуланчик под лестницей, у самого входа на тесные антресоли, где на эту ночь решено было уложить причастницу.

Когда девочка возвратилась домой, на нее посыпался град поцелуев. Каждой из женщин непременно хотелось ее приласкать. Здесь сказалась та потребность нежных излияний, та профессиональная привычка к ласкам, которая побудила всех их целовать в вагоне уток. Каждая сажала девочку к себе на колени, гладила ее тонкие светлые волосы, сжимала ее в объятиях в приливе внезапной страстной нежности. Девочка, тихая, вся проникнутая благочестием и словно сосредоточенная в себе после отпущения грехов, подчинялась всему терпеливо и серьезно.

За день все утомились и спать легли рано, вскоре после обеда. Безграничная тишина полей, почти благоговейная, окутала деревушку, строгая, проникновенная, всеобъемлющая тишина, простирающаяся до самых звезд. Девушки, привыкшие к шумным вечерам публичного дома, чувствовали себя взволнованными этим безмолвным покоем заснувшей деревни. Они дрожали, но не от холода, а от ощущения одиночества, рождавшегося в беспокойных потревоженных сердцах.

Как только они улеглись по двое в постель, они прижались друг к другу, словно ища защиты от чар этого тихого и глубокого сна земли. Роза-Кляча, одна в своем темном чуланчике, отвыкшая спать, никого не обнимая, почувствовала себя во власти какого-то смутного и тяжелого волнения. Она ворочалась без сна на своей постели, как вдруг из-за деревянной перегородки у самого изголовья ей послышались слабые всхлипывания, словно плакал ребенок. В испуге она тихо позвала, и ей ответил детский голос, прерываемый рыданиями. Это девочка, спавшая всегда в комнате матери, плакала от страха на тесных антресолях.

Роза, обрадованная, встала и тихонько, чтобы никого не разбудить, пошла за девочкой. Она уложила ее с собой в теплую постель, обняла, прижала к груди, баюкая и лаская с исступленной нежностью, пока, успокоившись сама, не заснула. И до утра причастница спала так, припав лицом к голой груди проститутки.



В пять часов маленький церковный колокол, изо всех сил трезвоня к утренней молитве, раз-

будил наших дам, которые привыкли долго спать по утрам, отдыхая от ночных трудов.

В деревне все уже были на ногах. Крестьянки с озабоченным видом ходили из дома в дом, оживленно разговаривая, неся со всяческими предосторожностями короткие кисейные платица, накрахмаленные так, что они казались картонными, или огромные восковые свечи с шелковым бантом, украшенным золотой бахромой посередине и с углублением внизу, указывающим место для руки. Солнце стояло уже высоко и заливало своими лучами небо, ровная синева которого только у горизонта хранила еще розоватый оттенок, слабый след зари. Куры целыми выводками прохаживались перед домами, и то тут, то там черный петух с блестящей шеей поднимал голову, увенчанную пурпуровым гребнем, хлопал крыльями и бросал в воздух свой трубный клич, подхватываемый другими петухами.

Подъезжали повозки из соседних селений, высаживая у дверей домиков рослых нормандок в темных платьях с косынками, перевязанными накрест и заколотыми на груди старинными серебряными брошками. У мужчин под синими блузами были надеты новые сюртуки или старые костюмы зеленого сукна, полы которых выглядывали внизу.

Когда лошадей поставили в конюшни, во всю длину дороги выстроился двойной ряд деревенских фур, тележек, кабриолетов, тильбюри, шарабанов, экипажей всех видов и возрастов, уткнувшихся в землю передком или опрокинутых назад, оглоблями кверху.

Дом столяра кипел суетой как улей. Дамы в нижних юбках и ночных кофтах, с распущенными по плечам волосами, короткими и жидкими, будто потускневшими и измызганными от употребления, были заняты одеванием ребенка.

Девочка стояла не шевелясь на столе, а мадам Телье руководила действиями своего летучего отряда. Причастницу умыли, причесали, одели и с помощью множества булавок уложили, как следует, складки на ее платье, закололи чересчур широкий в талии лиф, придали изящество всему наряду. Затем, когда все было закончено, предмет всех этих забот усадили на стул, наказав ей сидеть смирно, не двигаясь, и взволнованная компания женщин, в свою очередь, побежала одеваться.

В маленькой церкви заблаговестили. Жидкий звон ее убогого колокола, поднимаясь, таял в воздухе, подобно тому как слишком слабый человеческий голос быстро теряется в беспредельной синеве.

Причастники выходили из домов и направлялись к общественному зданию, в котором помещались две школы и мэрия. Это здание находилось в одном конце деревни, а «дом божий» – в другом.

Родственники, разодетые по-праздничному родители со смущенным видом и неловкими движениями людей, вечно согнутых над работой, шли за своими малышами. Девочки тонули в облаках белоснежного тюля, напоминавшего сбитые сливки, а маленькие мужчины с густо напмаженными головами, похожие на гарсонов из кафе в миниатюре, шагали, широко расставляя ноги, чтобы как-нибудь не запачкать свои черные брюки.

Для семьи считалось почетом, если ребенка окружало много родственников, прибывших издалека, и потому торжество столяра было полным. За Констанцей двигался весь отряд Телье во главе с хозяйкой: отец под руку с сестрой, мать рядом с Рафаэлью, Фернанда – с Розой, а за ними оба Насоса. Шествовали величественно, как штаб в полной парадной форме.

Эффект в деревне получился потрясающий.

В школе девочки выстроились в ряд под сенью чепца своей наставницы-монахини, а мальчики – под предводительством учителя, красивого и представительного мужчины, и, затянув гимн, все двинулись к церкви.

Мальчики двойной шеренгой шли впереди, между двумя рядами распряженных экипажей; девочки в таком же порядке следовали за ними. И так как все крестьяне почтительно уступали дорогу этим дамам, приехавшим из города, то они шли сразу за детьми, еще более удлиняя двойную процессию, по трое слева и по трое справа, в своих ослепляющих, как фейерверк, туалетах.

Их появление в церкви взбудоражило все население. Люди оборачивались, теснились, толкали друг друга, чтобы посмотреть на них. Самые набожные женщины начали разговаривать почти громко, оторопев при виде этих дам, туалеты которых сверкали ярче, чем облачение певчих. Мэр

уступил им свою скамью, первую справа от клироса, и мадам Телье уселась на ней со своей невесткой, Фернандой и Рафаэлью. Роза-Кляча и Насосы вместе со столяром заняли вторую скамейку.

Клирос был полон детьми, стоявшими на коленях, девочки с одной стороны, мальчики – с другой. Длинные свечи, которые они держали в руках, походили на наклоненные во все стороны копыя.

Трое мужчин, стоя перед аналоем, пели во весь голос. Они бесконечно растягивали звучные латинские слова, провозглашали «Аминь» с бесконечным «а-а», а ему вторила труба монотонной тягучей нотой, рычанием, исходящим из широкого зева этого медного инструмента.

Высокий детский голос подавал реплики певчим, и время от времени священник в четырехугольной шапочке, сидевший в кресле, поднимался со своего места, бормотал что-то и снова садился, а трое певчих продолжали петь, устремив глаза в толстую книгу, лежавшую перед ними открытой на деревянной подставке в виде орла с распростертыми крыльями.

Потом наступило молчание. Молящиеся все разом опустили на колени, и появился священник, старый, почтенный, с седыми волосами, склоненный над чашей со святыми дарами, которую он держал в левой руке. Перед ним шли два причетника в красном одеянии, а позади толпа певчих в грубых башмаках, которая разместилась затем по обе стороны алтаря.

Среди глубокого молчания зазвенел колокольчик. Служба началась. Священник медленно ходил перед золотой дарохранительницей, преклонял колена, монотонно тянул своим разбитым, дрожащим старческим голосом вступительные молитвы. Как только он умолк, загремели разом и хор и труба; подпевали и мужчины в церкви, но тише, со смирением, как подобает простым прихожанам.

Но вот из всех уст и сердец вознеслось к небу «Kyrie Eleison».²⁰ С древних сводов, сотрясенных этим взрывом голосов, посыпалась пыль и обломки сгнившего дерева. Солнце, накалявшее шиферную кровлю, превращало тесную церковку в настоящее пекло. И от сильного волнения, тревожного ожидания, близости неизреченного таинства, сжимались сердца детей, теснилось дыхание в груди у их матерей.

Священник, некоторое время сидевший, поднялся к алтарю и, обнажив голову с серебряными волосами, дрожащими руками приступил к совершению таинства. Он повернулся к своей пастве и, простирая к ней руки, возгласил: «Orate, fratres!» – «Молитесь, братья!» Все стали молиться. Старый священник шептал теперь едва слышно таинственные, дивные слова; колокольчик звенел не переставая; толпа, простертая ниц, призывала бога; дети изнемогали от безмерного, томительного напряжения.

В эти-то минуты Роза, которая сидела, закрыв лицо руками, вдруг вспомнила свою мать, церковь в родной деревне, первое причастие. Ей показалось, что вернулся тот день, когда она, такая маленькая, тонула в своем белом платье; она заплакала. Сначала она плакала тихо, слезы медленно катились из-под ресниц, но под наплывом воспоминаний ее волнение возросло, у нее перехватило горло, сердце сильно забилося, и она зарыдала. Вынув платок, она утирала глаза, затыкала себе рот и нос, чтобы не плакать громко. Напрасно. Какой-то хрип вырвался из ее горла, и ему ответили два глубоких, раздирающих вздоха, это обе ее соседки, склоненные рядом, Луиза и Флора, под влиянием таких же далеких воспоминаний вздыхали, заливаясь слезами.

Слезы заразительны: скоро и Мадам почувствовала влагу под ресницами и, повернувшись к золотке, увидела, что плачет вся скамейка.

Священник приготовлял святыне дары. Дети уже без мыслей, в каком-то трепете благочестия припали к плитам пола. И в толпе там и сям женщины, матери или сестры причастников, переживая вместе с ними их острое волнение, потрясенные к тому же видом этих красивых коленопреклоненных дам, судорожно всхлипывавших, утирали слезы клетчатými ситцевыми платками и прижимали левую руку к сильно бьющемуся сердцу.

Как искра зажигает созревшую ниву, так в одно мгновение рыдания Розы и ее подруг заразили всю толпу. Мужчины, женщины, старики, молодые парни в новых блузах – все сразу зарыда-

²⁰ Одно из церковных песнопений, акафист.

ли, и казалось — над головами их витает что-то нездешнее, разлита чья-то душа, веет дивное дыхание существа невидимого и всемогущего.

Но вот на клиросе раздался короткий тихий удар: это монахиня, постучав по молитвеннику, дала знак приступить к причастию. И дети, трепеща в религиозном экстазе, приблизились к священному аналою.

Весь ряд встал на колени. Старый священник, держа в руках серебряную позолоченную дароносицу, проходил перед ними, подавая каждому двумя пальцами священную облатку, тело Христово, искупление мира. Дети, сильно побледнев, закрыв глаза, открывали рот с судорожным усилием, с нервными гримасами; и длинная пелена, протянутая под их подбородками, колыхалась, как текущая вода.

Вдруг словно порыв безумия пронесся по церкви, рокот толпы в экстазе, буря рыданий и заглушённых криков. Это промчалось, как ветер, как вихрь, клонящий к земле целые леса. И священник с облаткой в руке стоял неподвижно, парализованный волнением, мысленно твердя: «Это Бог, Бог среди нас, он явил себя, сошел на мой призыв к своему коленопреклоненному народу!» И он зашептал, не находя слов от волнения, бессвязные молитвы, мольбы души, страстно рвущейся к небу.

Он закончил обряд причащения в порыве такого религиозного исступления, что у него подкашивались ноги, и, вкусив наконец и сам крови своего господя, он погрузился в пылкую благодарственную молитву.

За его спиной толпа понемногу успокаивалась. Голоса певчих, которым белое облачение придавало какое-то величие, звучали теперь не так уверенно, смягченные волнением. И даже труба точно охрипла, как будто и она рыдала вместе с людьми.

Но вот священник, подняв руки, дал певчим знак замолчать и, пройдя между двумя рядами причастников, погруженных в блаженный экстаз, подошел к самой решетке клироса.

Прихожане уже усаживались, шумно двигая стульями, и все усиленно сморкались. Но, когда священник повернулся к ним, все смолкло, и он заговорил, очень тихо, запинаясь, глухим голосом:

— Дорогие мои братья, дорогие сестры, дети мои, от всего сердца благодарю вас! Вы только что дали мне испытать величайшую радость в моей жизни. Я почувствовал присутствие Бога, сошедшего к нам на мой призыв. Он пришел. Он был тут, — это Он переполнял ваши сердца, исторгая слезы из ваших глаз. Я самый старый священник в епархии, и сегодня я также и самый счастливый. Чудо совершилось среди нас, истинное, великое чудо! В тот миг, когда Иисус Христос впервые вошел в тела этих детей, святой дух, небесный голубь слетел на вас, дыхание Господне осенило вас, овладело вами, склонило вас, как тростник под ветром.

Потом, повернувшись к двум скамьям, занятым гостями столяра, он прибавил уже более внятно:

— Особенно благодарю вас, дорогие сестры, прибывшие издалека, ибо ваше присутствие среди нас, ваша явная вера и столь пламенное благочестие послужили благим примером для всех. Вы — назидание для всего моего прихода; ваше волнение согрело сердца; не будь вас, этот великий день, быть может, не стал бы таким поистине божественным. Иногда достаточно бывает одной избранной овцы, чтобы Господь сошел на всю паству.

Голос его задрожал. Он прибавил еще:

— Милость Господня да будет с вами. Аминь.

И поднялся к алтарю, чтобы закончить службу.

Все заторопились уходить. Даже дети засуетились, утомленные долгим душевным напряжением. К тому же они проголодались, и родители их понемногу расходились, не дожидаясь последнего чтения Евангелия, так как им нужно было закончить приготовления к обеду.

У выхода началась давка, шумная толкотня, нестройный хор крикливых голосов с певучим нормандским акцентом. Толпа выстроилась в два ряда, и, когда появлялись дети, каждая семья бросалась к своему ребенку.

Констанцу окружили, обхватили, целуя, все женщины их дома. Особенно Роза никак не могла от нее оторваться. Наконец она взяла ее за одну руку, г-жа Телье — за другую: Рафаэль и Фернанда приподняли ее длинную кисейную юбку, чтобы она не волочилась по пыли; Луиза и Флора

замыкали шествие вместе с г-жой Риве; и девочка, задумчивая, проникнутая мыслью о боге, которого она несла в себе, пошла домой, окруженная этим почетным эскортом.

Парадный обед был подан в мастерской на длинных досках, положенных на козлы.

В открытую на улицу дверь врывалось сюда все ликование деревни. Повсюду шел пир. Через каждое окно виднелись сидящие за столом по-праздничному принаряженные люди, и из домов слышались крики хмельного веселья. Крестьяне без пиджаков, в одних жилетах, пили стаканами чистый сидр; в каждой такой компании из двух семей, обедавших в этот день вместе, сидело по двое детей, тут – две девочки, там – два мальчика.

Порой в душном полуденном зное проезжал, подскакивая, шарабан, и человек в блузе, правивший старой лошадежкой, бросал завистливый взгляд на все это пиршество, выставленное напоказ.

В доме столяра веселье носило оттенок сдержанности – след пережитых утром волнений. Один только Риве был в ударе и пил без меры. Г-жа Телье каждую минуту поглядывала на часы: чтобы не потерять два дня подряд, им необходимо было выехать поездом в 3 часа 55 минут, который к вечеру доставил бы их в Фекан.

Столяр из кожи лез, чтобы отвлечь ее внимание в другую сторону и удержать гостей до завтра; но Мадам не поддавалась, для нее дело было прежде всего.

Как только выпили кофе, она приказала своим девицам собираться поживее. Затем обратилась к брату:

– А ты сейчас же иди запрягать, – и сама пошла закончить последние сборы в путь.

Когда она снова сошла вниз, ее поджидала здесь золовка, чтобы переговорить о девочке. Произошел длинный разговор, но ничего не было решено. Крестьянка хитрила, прикидываясь расстроганной, а г-жа Телье, держа племянницу на коленях, ограничивалась неопределенными обещаниями, не желая ничем себя связывать: она позаботится о девочке, время терпит, и они ведь не в последний раз видятся.

Однако повозка все не подъезжала, и девушки не сходили вниз. Наверху слышался хохот, какая-то возня, крики, хлопанье в ладоши. Наконец жена столяра пошла в конюшню посмотреть, готов ли экипаж, а Мадам тем временем поднялась наверх.

Риве, совсем пьяный и наполовину раздетый, безуспешно пытался овладеть Розой, которая умирала от смеха. Оба Насоса держали его за руки и старались усмирить, возмущенные этой сценой после утренней церемонии, а Рафаэль и Фернанда, наоборот, подстрекали его и, держась за бока, хохотали до упаду. При каждой неудачной попытке пьяного они выпускали пронзительные крики. Столяр в бешенстве, весь растерзанный, багрово-красный, делал яростные усилия вырваться из рук двух вцепившихся в него женщин и изо всей силы тянул к себе за юбку Розу, бормоча:

– Так ты не хочешь, потаскуха?

Мадам, исполнившись негодования, бросилась к брату, схватила его за плечи и вытолкнула за дверь с такой силой, что он стукнулся о стену.

Минуту спустя они услышали, как он во дворе поливает себе голову водой. И когда он появился в повозке, то был уже совершенно спокоен.

Двинулись в путь, как накануне, и белая лошадка снова побежала своей бодрой, танцующей рысью.

Под жаркими лучами солнца веселье, утихшее было во время обеда, возобновилось. Девушек забавляла теперь даже тряска в телеге, они нарочно толкали стулья соседок и поминутно хохотали. Неудачное покушение Риве привело их в веселое настроение.

Нестерпимо яркий свет заливал поля – свет, от которого рябило в глазах. Колеса поднимали два вихря пыли, долго еще кружившиеся на дороге позади телеги.

Неожиданно Фернанда, любившая музыку, стала упрашивать Розу спеть. Та весело затянула песенку «Толстый кюре из Медона». Но Мадам тотчас велела ей замолчать, находя эту песенку малоподходящей для такого дня. Она предложила:

– Спой-ка нам лучше что-нибудь из Беранже.

Роза подумала с минуту, выбирая, потом своим испитым голосом запела «Бабушку»:

Старушка под хмельком призналась,
Качая дряхлой головой:
«Как молодежь-то увивалась
В былые дни за мной!..
Уж пожить умела я!..
Где ты, юность знойная,
Ручка моя белая,
Ножка моя стройная?»

И хор девушек во главе с Мадам подхватил:

«Уж пожить умела я!..
Где ты, юность знойная,
Ручка моя белая,
Ножка моя стройная?»

– Вот это здорово! – объявил Риве, возбужденный ритмом песни.
Роза продолжала:

«Как, бабушка, ты позволяла?» –
«Э, детки, красоте своей
В пятнадцать лет я цену знала
И не спала ночей».

Все хором заорали припев; а Риве притопывал ногой по оглобле и отбивал такт вожжами на спине своей лошадки, которая, как будто и ее подзадорила песня, пустилась вскачь бурным галопом, так что дамы свалились все в кучу, одна на другую, на дно телеги.

Они поднялись, хохоча как сумасшедшие. И снова песня, выкрикиваемая во все горло, зазвучала в полях, под жгучим небом, среди зреющих хлебов, под бешеным бег лошадки, которая, к великой радости путешественниц, всякий раз, как грянет припев, закусив удила, отхватывала сто метров галопом.

Местами какой-нибудь каменотес, работавший на дороге, поднимал голову и смотрел сквозь свою проволочную сетку на эту словно взбесившуюся орущую повозку, мчавшуюся мимо в облаке пыли.

Когда приехали на станцию, столяр расчувствовался:

– Как жаль, что вы уезжаете, мы бы славно повеселились!

Мадам ответила рассудительно:

– Всеу свое время, нельзя же вечно веселиться.

Тут Риве осенила блестящая мысль.

– Знаете что, – сказал он, – я побываю у вас в Фекане в будущем месяце. – И хитро посмотрел на Розу масляным игривым взглядом.

– Что же, – промолвила Мадам, – приезжай, если хочешь, но глупостей делать я тебе не позволю. Надо быть благоразумным.

Он промолчал и, так как в это время раздался уже свисток паровоза, принялся на прощание целоваться со всеми. Когда дошла очередь до Розы, он жадно потянулся к ее рту, но она, смеясь сжатыми губами, всякий раз быстро отворачивалась. Не выпуская ее из объятий, он, однако, не мог с ней справиться, так как ему мешал длинный кнут, который он держал в руке и которым во время этих бесплодных усилий он отчаянно размахивал за спиной девушки.

– Пассажиры на Руан, занимайте места! – крикнул кондуктор.

Они вошли в вагон.

Раздался тонкий свисток; ему тотчас ответил могучий гудок паровоза, с шумом выплунувшего первую струю пара, и колеса с видимым усилием завертелись.

Риве, выйдя из вокзала, побежал к барьеру, чтобы еще раз взглянуть на Розу. И, когда вагон, набитый этим живым товаром, проходил мимо, столяр защелкал своим кнутом и приплясывая, запел во все горло:

«Уж пожить умела я!..
Где ты, юность знойная,
Ручка моя белая,
Ножка моя стройная?»

Потом он долго смотрел, как удаляется белый платочек, которым ему махали из окна.

ГЛАВА III

Они спали до самого приезда мирным сном праведниц. И когда, приехав, вошли в дом по-свежевшие, отдохнувшие, готовые приступить к своим ежевечерним обязанностям, у Мадам невольно вырвалось:

– Я и то уж соскучилась по дому.

Они наскоро поужинали, потом, надев свой боевой наряд, стали поджидать обычных гостей. И зажженный вновь фонарь, похожий на лампаду перед Мадонной, возвестил прохожим, что стадо вернулось в овчарню.

Новость в одно мгновение распространилась по городу, неизвестно как, неизвестно через кого. Г-н Филипп, сын банкира, простер даже свою любезность до того, что известил через посыльного г-на Турнево, узника своей семьи.

У рыбосола, как всегда по воскресеньям, обедало несколько родственников, и они сидели за кофе, когда пришел человек с письмом. Турнево в сильном волнении вскрыл конверт и побледнел: в письме были написаны карандашом следующие несколько слов: «Груз трески отыскался. Судно вошло в гавань. Выгодное для вас дело. Приходите скорей!»

Он порылся в карманах, дал двадцать сантимов на чай посыльному и, внезапно покраснев до ушей, сказал:

– Мне необходимо отлучиться.

При этом он протянул жене лаконическую и таинственную записку. Затем он позвонил и сказал пришедшей на звонок служанке:

– Пальто и шляпу, живей!

Едва он очутился на улице, как пустился бегом, насвистывая песенку, и дорога показалась ему вдвое длиннее – так велико было его нетерпение.

Заведение Телье имело праздничный вид. В нижнем этаже громкие голоса матросов производили оглушительный шум. Луиза и Флора не знали, кому раньше отвечать, пили то с одним, то с другим, более чем когда-либо оправдывая свою кличку Насосы. Их звали одновременно со всех сторон; они не успевали всех удовлетворить, и им предстояла трудная ночь.

Общество верхнего этажа к девяти часам было уже в полном сборе. Г-н Вас, член коммерческого суда, всеми признанный, но платонический воздыхатель Мадам, шептался с нею в уголке, и оба улыбались так, как будто уже готовы были заключить какое-то соглашение. На коленях у господина Пулена, бывшего мэра, сидела верхом Роза и, пригнувшись к самому его лицу, водила своими коротенькими руками по белым бакенбардам этого почтенного человека. Из-под высоко вздернутой желтой шелковой юбки виднелась голая ляжка, резко выделяясь на черном сукне брюк. Красный чулок был стянут голубой подвязкой, подарком коммивояжера.

Длинная Фернанда растянулась на диване, положив обе ноги на живот г-ну Пемпесу, сборщику податей, а грудью прижимаясь к жилету молодого Филиппа, которого она обняла за шею правой рукой, а левой держала папиросу.

Рафаэль, видимо, вела какие-то переговоры со страховым агентом Дюпюи и закончила их следующими словами:

– Ладно, миленький, сегодня вечером я согласна.

Потом, быстро сделав в одиночку тур вальса по салону, прокричала:

– Сегодня – все, что захотите!

Дверь распахнулась, и влетел г-н Турнево. Его встретили восторженными криками:

– Да здравствует Турнево!..

И Рафаэль, все еще кружившаяся, бросилась к нему на шею. Он схватил ее мощным объятием, не говоря ни слова, поднял с земли как перышко, прошел через весь зал к двери в глубине и под гром аплодисментов скрылся со своей живой ношей на лестнице, ведущей в спальню.

Роза, которая разжигала бывшего мэра, непрерывно целуя его и дергая при этом за бакенбарды, чтобы голова его держалась прямо, воспользовалась случаем и сказала:

– Давай сделаем, как они.

Старичок встал, одернул жилет и пошел за девушкой, шаря в кармане, где у него лежали деньги.

Когда Фернанда и Мадам остались одни с четырьмя мужчинами, Филипп воскликнул:

– Я ставлю шампанское! Мадам Телье, велите подать три бутылки.

Фернанда, прижимаясь к нему, шепнула ему на ухо:

– Поиграй, а мы потанцуем, хорошо?

Он поднялся и, сев за древний спинет,²¹ дремавший в углу, стал извлекать из его кряхтящего нутра звуки вальса, хриплые, плачущие. Длинная Фернанда обняла сборщика податей. Мадам склонилась в объятиях г-на Васа, и обе пары закружились, обмениваясь поцелуями. Г-н Вас, когда-то танцевавший в высшем свете, манерничал, а Мадам смотрела на него влюбленным взглядом – взглядом, говорящим «да», стыдливое и более сладостное, чем «да», сказанное вслух.

Фредерик принес шампанское. Когда хлопнула первая пробка, Филипп заиграл ритурнель кадрили.

Обе пары танцевали ее чинно, на светский лад, жеманно кланяясь и приседая.

Потанцевав, стали пить. Появился Турнево, удовлетворенный, веселый, сияющий. Он во всеуслышание объявил:

– Не знаю, что случилось с Рафаэлью, но она сегодня просто совершенство!

Ему подали бокал, и он залпом осушил его, бормоча:

– Черт побери, какая роскошь!

Филипп заиграл вдруг веселую польку, и Турнево пустился плясать с Прекрасной еврейкой, держа ее в воздухе и не давая коснуться ногами пола. Пемпес и Вас возобновили танцы с новым усердием. Время от времени то та, то другая пара останавливалась у камина, чтобы жадно осушить бокал шипучего вина. Казалось, танцам не будет конца. Вдруг из-за двери выглянула Роза со свечой в руке. Она была в одной рубашке и ночных туфлях, с распущенными волосами, вся красная, возбужденная.

– Я тоже хочу танцевать! – закричала она.

Рафаэль спросила:

– А твой старичок?

Роза расхохоталась:

– Он? Да он уже спит, он всегда сразу засыпает.

Она подхватила Дюпюи, сидевшего без пары на диване, и полька началась снова.

Но бутылки опустели.

– Плачу еще за одну, – заявил Турнево.

– Я за другую, – откликнулся Вас.

– И я, – добавил Дюпюи.

Все захлопали в ладоши.

Получился настоящий бал. Время от времени даже Луиза и Флора прибегали снизу и делали быстро тур вальса, а в это время их клиенты выходили из себя. Потанцевав, они убегали обратно в кабачок с сердцем, полным досады.

В полночь все еще танцевали. Иногда одна из девушек исчезала, и когда ее искали для виза-

²¹ Старинный инструмент с клавишами, прототип фортепиано.

ви, то вдруг оказывалось, что нет также кого-нибудь из мужчин.

– Откуда вы? – шутливо спросил Филипп в ту минуту, когда Пемпес входил с Фернандой.

– Мы ходили смотреть, как спит господин Пулен, – отвечал сборщик податей.

Этот ответ имел громадный успех. И все по очереди отправлялись наверх «смотреть, как спит господин Пулен» вместе с одной из девиц, которые в этот вечер были необыкновенно покладисты. Мадам смотрела на все сквозь пальцы. Она подолгу совещалась в уголку с Вас, словно улаживая последние детали какого-то уже решенного дела.

Наконец в час ночи оба женатых гостя, Турнево и Пемпес, объявили, что уходят, и спросили счет. С них взяли только за шампанское, да и то по шести франков за бутылку вместо обычных десяти. И, когда они удивились такой щедрости, Мадам ответила, сияя:

– Ведь не каждый день праздник.

БУАТЕЛЬ

Дядюшка Буатель, Антуан, выполнял во всей округе самые грязные работы. Всякий раз, как нужно было убрать кучу навоза, вычистить сточную трубу, канаву, выгребную яму или какую-нибудь грязную дыру, посылали за Буателем.

Он приходил со своими орудиями золотаря, в измазанных грязью деревянных башмаках и принимался за работу, все время жалуясь на свое ремесло. Когда же его спрашивали, зачем он занимается таким отвратительным делом, он отвечал с покорностью судьбе:

– Что поделаешь, детей-то кормить надо! А эта работа выгоднее всякой другой.

Действительно, у Буателя было четырнадцать человек детей. Если у него осведомлялись об их участии, он с равнодушным видом говорил:

– Дома осталось только восемь. Один – в солдатах, а пятеро уже поженились.

Когда же кто-нибудь спрашивал, удачно ли они женились, Буатель с живостью отвечал:

– Я им не перечил! Ни в чем не перечил! Женились как хотели. Никогда не надо мешать людям выбирать по сердцу, а то это плохо кончается. Вот, к примеру, я: если я теперь копаюсь в грязи, так это потому, что мне родители поперек дороги встали. А не будь этого – вышел бы из меня такой же рабочий, как другие.

Вот как случилось, что родители встали Буателю поперек дороги.

В то время он отбывал военную службу в Гавре. Был он не глупее да и не умнее других, но несколько простоват. В свободные часы он больше всего любил гулять по набережной, где расположены лавки продавцов птиц. Один или с кем-либо из земляков он медленно прохаживался перед клетками, где попугаи с берегов Амазонки, желтоголовые с зелеными спинками, сенегальские попугаи, серые с красным, огромные арапы,²² которым яркое оперение, хохолки и султаны придают вид птиц, выращенных в теплице, – попугаи всех величин, словно расписанные тщательно и искусно каким-то божественным миниатюристом, и маленькие, совсем маленькие прыгающие птички – красные, желтые, синие, пестрые, – сливают свои крики с шумом порта, внося в суматоху разгрузки судов, толпы и экипажей буйный, пронзительный, пискливый, оглушающий гам какого-то далекого сказочного леса.

Буатель останавливался, тараща глаза, разинув рот, смеясь от восторга, перед пленниками – какаду, которые кивали своими белыми или желтыми хохолками при виде ярко-красных штанов солдата и блестящей медной бляхи на его поясе. Когда ему попадалась говорящая птица, он задавал ей вопросы. И если в этот день птица была расположена отвечать и болтала с ним, то он до самого вечера оставался весел и доволен. Глядеть на обезьян тоже доставляло ему невыразимое наслаждение, и возможность держать этих животных дома, как держат кошек и собак, казалась ему наибольшей роскошью, доступной богатым людям. Эта страсть, влечение ко всему экзотическому, была у него в крови, как бывает в крови у людей влечение к охоте, к медицине, к деятельности священника. Всякий раз, как открывались двери казармы, он не мог устоять, чтобы не пойти

²² Арапа – вест-индский попугай.

на пристань, словно его влекла туда непреодолимая сила.

Как-то раз, остановившись чуть не в экстазе перед громадным арапа, который раздувал свои перья и то наклонялся, то выпрямлялся, как бы отвешивая придворные поклоны, принятые в царстве попугаев, Буатель увидел, как отворилась дверь кабачка рядом с лавкой продавца птиц и оттуда появилась молодая негритянка в красном шелковом платке на голове, она выметала из заведения на улицу пробки и песок.

Внимание Буателя тотчас же разделилось между птицей и женщиной, и трудно сказать, которую из двух он созерцал с большим изумлением и восторгом.

Негритянка, выбросив из кабачка сор, подняла глаза и, в свою очередь, – замерла на месте, совершенно ослепленная красотой солдатского мундира. Она стояла перед Буателем с метлой в руках, словно отдавая ему честь, а попугай все кланялся. Так прошло несколько минут, и солдат, смущенный этим вниманием, удалился – медленно, чтобы его уход не показался отступлением.

Но он пришел снова. Почти каждый день проходил он мимо «Кафе колоний» и часто видел через окно молоденькую чернокожую служанку, подававшую матросам пиво или водку. Нередко она, заметив его, выходила на улицу. Еще ни разу не обменявшись и словом, они скоро стали улыбаться друг другу как знакомые. И сердце Буателя трепетало всякий раз, когда вдруг блеснет ему между темными губами девушки ослепительный ряд зубов. Наконец однажды он вошел в кабачок и очень удивился, услышав, что негритянка говорит по-французски, как все. Бутылка лимонада, из которой она согласилась выпить стакан, осталась сладостным воспоминанием в душе солдата. И у него вошло в привычку приходить в этот портовый кабачок и попивать там всякие сладкие напитки, доступные его карману.

Для него было праздником, счастьем, о котором он потом постоянно думал, глядеть на черную руку маленькой служанки, когда она наливала его стакан, в то время как зубы ее смеялись, еще белее сияющие, чем глаза. Через два месяца знакомства они уже были настоящими друзьями, и Буатель, сперва удивленный тем, что у этой негритянки такие же понятия обо всем, как у порядочных девушек его родины, что она почитает труд, бережливость, религию и нравственность, полюбил ее за это еще больше, пленился ею до того, что решил жениться.

Он сказал ей об этом, и девушка запрыгала от радости. У нее было немного денег, оставленных торговкой устрицами, которая приютила ее, когда ее высадил на набережную Гавра один американский капитан. Этот капитан нашел ее, ребенка лет шести, в трюме своего корабля, между тюками хлопка, через несколько часов после отплытия из Нью-Йорка. Прибыв в Гавр, он предоставил попечению жалостливой торговки устрицами этого черного зверька, неизвестно кем и как подкинутого на его судно. Когда торговка умерла, молодая негритянка поступила служанкой в «Кафе колоний».

Антуан Буатель предупредил ее:

– Мы поженимся, если родители согласятся. Я против их воли никогда не пойду, так и знай, никогда! Как только попаду домой, я закину им на этот счет словечко-другое.

На следующей же неделе, получив суточный отпуск, он отправился к родителям на маленькую ферму в Туртвиле близ Ивето.

Дождавшись конца обеда, того часа, когда кофе с рюмочкой водки открывает сердца, он сказал старикам, что встретил девушку, до такой степени отвечающую всем его вкусам, что уж, конечно, более подходящей ему не найти во всем мире.

Услышав об этом, старики сразу насторожились и захотели узнать подробности. Сын рассказал все, умолчав только о цвете кожи своей избранницы. Она – служанка, не богата, но работающая, бережливая, опрятная девушка, рассудительная и хорошего поведения. Все это стоит больше, чем богатство в руках плохой хозяйки. Впрочем, у нее есть кое-какие деньги, оставленные ей женщиной, которая ее воспитала. Порядочная сумма, почти маленькое приданое: полторы тысячи франков в сберегательной кассе.

Старики, побежденные всеми этими доводами и, кроме того, доверявшие суждению сына, понемногу сдавались, когда Антуан дошел до щекотливого пункта. Он сказал с несколько принужденным смехом:

– Вот одно только вам, может быть, не понравится: она не совсем белая.

Но родители не понимали, и ему пришлось долго, со множеством предосторожностей, чтобы их не испугать, объяснять, что девушка принадлежит к темной расе, представителей которой они видели только на лубочных картинках.

Тогда ими овладела тревога, смущение, страх, словно речь шла о союзе с самим дьяволом.

Мать спросила:

– Черная? А очень ли она черна? Неужто вся как есть?

Антуан ответил:

– Ну, известное дело, вся, вот так же, как ты – вся белая.

Отец тоже осведомился:

– Черная? Что же, она такая же черная, как чугун?

– Нет, пожалуй, малость посветлее. Хоть она и черная, да в этом ничего противного нет. Ведь вот у господина кюре ряса черная, да ничуть не хуже его белого стихаря.

Отец продолжал:

– А что, в их краях есть и почернее ее?

– Ну, конечно, есть! – убежденно воскликнул сын.

Но старик покачал головой:

– Все же это, должно быть, противно.

– Ничуть не противнее, чем что-нибудь другое. К этому скоро привыкаешь.

Мать спросила:

– А что, белья она не пачкает, такая кожа?

– Не больше, чем твоя. Ведь это – ее цвет!

Наконец, после целого ряда вопросов, было решено, что родители, раньше чем дать согласие, посмотрят девушку и что Антуан, служба которого кончалась через месяц, привезет ее на ферму, а они, рассмотрев ее как следует и потолковав, решат, не чересчур ли она темна, чтобы войти в семью Буатель.

Тогда Антуан объявил, что в воскресенье, 22 мая, в день его освобождения от службы, он приедет в Туртвиль со своей милой.

Для этого визита к родителям возлюбленного негритянка надела свой самый красивый и яркий наряд, в котором преобладали цвета белый, красный и синий, так что она казалась увешанной флагами в честь какого-нибудь национального праздника.

На вокзале при отъезде из Гавра на нее глядели во все глаза, и Буатель был очень горд тем, что ведет под руку особу, которая привлекает всеобщее внимание. Затем в вагоне третьего класса, где негритянка уселась рядом с ним, она вызвала среди крестьян такое удивление, что пассажиры соседних отделений влезали на лавки, чтобы взглянуть на нее через деревянные перегородки, разделявшие пополам эту набитую людьми коробку. Какой-то ребенок, увидев ее, заплакал от страха, другой – уткнулся лицом в передник матери.

Тем не менее все шло хорошо, пока они не доехали до своей станции. Тут, когда поезд замедлил ход, приближаясь к Ивето, Антуан почувствовал беспокойство, как на смотре, когда он не знал «солдатской словесности». Высунувшись из окна, он издали заметил отца, который держал под уздцы лошадь, запряженную в тележку; увидел и мать у самой решетки, за которой толпились любопытные.

Он вышел из вагона первый, подал руку своей подруге и, вытянувшись, как будто сопровождал генерала, направился к родителям.

Увидев под руку с сыном эту черную, пестро разодетую даму, мать была так ошеломлена, что не могла слова вымолвить, а отец с трудом удерживал лошадь, которая то и дело вставала на дыбы, испугавшись сначала паровоза, потом негритянки. Но Антуан, охваченный вдруг искренней радостью при виде своих стариков, бросился к ним с открытыми объятиями, расцеловал мать, расцеловал отца, не обращая внимания на испуганную лошадь, затем повернулся к своей спутнице, на которую прохожие, остановившись, глазели с изумлением, и объявил:

– Ну, вот она! Говорил ведь я вам, что на первый взгляд она чуточку страшновата, но, когда узнаешь ее поближе, то, ей-богу, нет ничего милее ее на свете. Поздоровайтесь же с ней, а то она робеет.

Тогда старуха Буатель, и сама смущенная до потери сознания, сделала что-то вроде реверанса, а отец снял шапку, пробормотав: «Желаю вам доброго здоровья». Затем, не медля более, все влезли в тележку – женщины позади на сиденьях, на которых их подбрасывало при каждом ухабе, а мужчины – впереди на козлах.

Никто не начинал разговора. Антуан в беспокойстве насвистывал солдатскую песню, отец погонял лошаденку, а мать украдкой бросала пытливые взгляды на негритянку, у которой лоб и скулы блестели на солнце, как хорошо начищенный сапог.

Желая поскорее прервать тягостное молчание, Антуан обернулся со словами:

– Что же это вы не разговариваете?

– погоди, дай срок, – отвечала старуха.

Он продолжал:

– Ну-ка, расскажи госте историю о восьми яйцах твоей курицы.

Это был знаменитый в семье анекдот. И так как мать от сильного смущения все еще молчала, Антуан, заливаясь смехом, сам принялся рассказывать эту достопамятную историю. Отец, знавший ее наизусть, просиял при первых же словах. Вслед за ним развеселилась и жена, а негритянка в самом смешном месте рассказа разразилась вдруг таким громким, неудержимым, раскатистым смехом, что лошадь, испугавшись, минуту-другую неслась галопом.

Знакомство завязалось. Начался разговор.

Как только они приехали на ферму и все вылезли из повозки, Антуан повел свою подругу в дом, чтобы она сняла нарядное платье, которое могла бы испачкать, стряпая одно вкусное кушанье собственного изобретения (они надеялись подкупить им стариков). Затем он вызвал родителей за дверь и с бьющимся сердцем спросил:

– Ну как? Что вы скажете?

Отец молчал. Мать, более смелая, объявила:

– Больно уж она черна! Нет, право, уж чересчур... У меня просто все нутро переворачивается!

– Привыкнете!... – уверял Антуан.

– Пожалуй. Да только не сразу.

Они вошли в дом, и старушка умилилась, видя, как негритянка стряпает. Еще бодрая, не смотря на свой возраст, она и сама, подоткнув юбку, принялась помогать девушке.

Обед был вкусный, продолжительный, веселый. Когда он кончился и все вышли прогуляться, Антуан отвел отца в сторону:

– Ну как, отец, что ты скажешь?

Крестьянин по обыкновению увернулся от прямого ответа:

– Не знаю, что и сказать. Спроси у матери.

Тогда Антуан догнал мать и, задержав ее позади всех, спросил:

– Что же, мама, как ты думаешь?

– Право, сынок, уж очень она черная! Будь она хоть чуточку посветлее, я бы не противилась. А то уж слишком... Настоящий сатана!

Зная упрямство старухи, сын больше не настаивал, и в душе его поднялась целая буря печали. Он спрашивал себя, что же теперь делать, что бы такое придумать, и удивлялся, почему негритянка не покорила его родных сразу, как пленила его самого. Все четверо шли медленно через колосившиеся поля, и разговор постепенно замирал. Когда они проходили мимо изгороди какой-нибудь фермы, обитатели ее выходили за ворота, мальчишки карабкались на пригорки, все спешили на дорогу, чтобы увидеть «арапку, которую привез сын Буателей». Издали было видно, как люди бежали через поле, словно на бой барабана, возвещающий о какой-нибудь живой диковинке. Старики Буатель, смущенные этим любопытством, вызываемым всюду их появлением, шагали все торопливее, вдвоем, оставив далеко позади сына и его спутницу, которая тем временем спрашивала у него, какого мнения о ней родители. Антуан, запинаясь, ответил, что они еще ничего не решили.

На деревенской площади из домов высыпал взбудораженный народ, и перед этой все растущей толпой старики Буатель отступили, бросились бежать домой, между тем как Антуан, задыха-

ясь от возмущения, величественно шествовал под руку со своей дамой под изумленными взглядами толпы.

Он понимал, что все кончено, что надежды больше нет и ему не жениться на своей негритянке. Она тоже это поняла. И, подходя к ферме, оба заплакали.

Возвратившись на ферму, негритянка снова переделалась, чтобы помочь по хозяйству матери Антуана. Она ходила за старухой повсюду – в хлев, в погреб, на птичник, выполняя самую тяжелую работу и беспрестанно повторяя: «Давайте-ка, мадам Буатель, я это сделаю», так что к вечеру мать, тронутая, но по-прежнему непреклонная, сказала сыну:

– А она славная девушка! Жаль, что такая черная, но, право, уж слишком черна! Я бы никак не могла привыкнуть... Пускай уезжает – уж больно черна!

И Антуан сказал своей возлюбленной:

– Она ни за что не хочет, говорит, что ты слишком черная. Придется тебе ехать обратно. Я тебя отвезу на станцию. Но это ничего, ты не горюй! Я еще с ними потолкую, когда ты уедешь.

Он проводил девушку на вокзал, все еще стараясь внушить ей надежду, поцеловал и усадил в поезд, а потом долго смотрел ему вслед распухшими от слез глазами.

Сколько он ни умолял стариков, они не дали согласия.

Рассказав эту историю, уже известную всей округе, Антуан Буатель неизменно добавлял:

– С той самой поры у меня уже ни к чему душа не лежала, ни к чему! Никакое ремесло мне не нравилось, вот я и стал тем, чем видите, – золотарем.

Ему возражали:

– Однако вы все же женились.

– Да, женился. И не могу сказать, чтобы жена мне была не мила, раз я с ней прижил четырнадцать человек детей. Но это не то, совсем, совсем другое! Та, первая, негритянка моя, бывало, лишь взглянет – и я не помню себя от счастья!

ИСТОРИЯ СЛУЖАНКИ С ФЕРМЫ

ГЛАВА I

Так как была прекрасная погода, то на ферме пообедали быстрее обычного, и все ушли в поле.

Служанка Роза осталась одна в просторной кухне, где еще тлел огонь в очаге под котелком с горячей водой. Время от времени она черпала из котелка воду и не спеша мыла посуду, заглядываясь на два светлых квадрата, которые солнце через окно рисовало на длинном столе, обнаруживая в них все изъязны стекол.

Три дерзкие курицы бродили под стульями, подбирая крошки. Сквозь полуоткрытую дверь в кухню проникали запахи птичника, теплые и кислые испарения хлева. В знойной полуденной тишине слышалось пение петухов.

Девушка вытерла стол, вычистила очаг, расставила тарелки на высоком поставце, стоявшем в глубине кухни рядом с созвучно тикавшими деревянными часами. Окончив работу, она вздохнула: голова у нее слегка кружилась, в груди была какая-то тяжесть, причина которой была ей непонятна.

Она обвела взглядом почерневшие глиняные стены, закоптелые балки потолка с висевшей на них паутиной, сушеные селедки, связки луковиц. Потом села, чувствуя, что ее мутит от застарелого запаха, поднимавшегося в этот жаркий день от утоптанного земляного пола, пропитанного всякой всячиной, постоянно проливавшейся на него. К этому еще примешивался резкий запах молока, отстаивавшегося в соседней комнате, в холодильнике.

Несмотря на слабость, Роза хотела по обыкновению приняться за шитье, но силы ей изменили, и она вышла на порог подышать свежим воздухом.

Здесь, под лаской жарких лучей солнца, она почувствовала, как сладкая истома проникает ей в сердце и разливается по всему телу.

От навозной кучи, лежавшей недалеко от двери, все время шел легкий пар, сиявший на солн-

це. В навозе копошились куры; ложась на него грудью, они скребли одной лапкой, ища червяков. Среди них гордо красовался петух. Каждую минуту он выбирал какую-нибудь из них и начинал вертеться вокруг нее со слабым призывным криком. Курица с небрежным видом поднималась и спокойно принимала его, сгибая лапки и поддерживая его крыльями, потом отряхала перышки, с которых летела пыль, и снова ложилась на навоз, в то время как петух заливался, возвещая о своей очередной победе. И из всех дворов откликались другие петухи, как бы посылая друг другу с фермы на ферму вызов на состязание в любви.

Служанка рассеянно смотрела на них. Потом подняла глаза, и ее ослепил блеск яблонь в цвету, совершенно белых, как напудренные головы.

Вдруг мимо нее галопом пронесся ошалевший от веселья жеребенок. Он дважды обежал канавы, обсаженные деревьями, потом остановился как вкопанный и повернул голову, словно удивляясь тому, что он один.

Девушку тоже вдруг охватило желание побегать, потребность двигаться – и в то же время ей хотелось лечь, вытянуться и подремать на воздухе, теплом и неподвижном. Она в нерешительности сделала несколько шагов, закрыв глаза, отдаваясь ощущению животного блаженства. Потом лениво направилась к курятнику собрать яйца. Их оказалось тринадцать штук; она подобрала их, отнесла в дом и спрятала в буфет. От запаха в кухне ей снова стало не по себе, и она вышла посидеть на траве.

Двор фермы, окруженный деревьями, казалось, спал. Высокая трава, в которой огоньками блестели желтые одуванчики, была сочного зеленого цвета – ярко-зеленого цвета весны. Яблони отбрасывали к своему подножию круглую тень, и соломенные крыши строений, из которых росли ирисы с листьями, похожими на сабли, слабо дымились, как будто сырость конюшен и амбаров испарялась сквозь солому.

Служанка вошла под навес, куда ставили телеги и повозки. Тут, на дне канавы, была зеленая ложбинка, где густо росли и благоухали фиалки, а над откосом вдаль виднелось поле – широкая равнина, на которой росли хлеба, с разбросанными там и сям кучами деревьев. Работавшие в поле люди казались издали совсем маленькими, как куклы, а белые лошади – игрушечными лошадками, тащившими детский плужок, за которым шел человек ростом с палец.

Девушка принесла из сарая сноп соломы и бросила в ложбинку, чтобы сесть на него. Но сидеть было неудобно, и она развязала сноп, раскидала солому и легла на спину, подложив руки под голову и вытянув ноги.

Медленно закрыла она глаза, убаюканная сладкой истомой. Она уже совсем засыпала, как вдруг почувствовала, что чьи-то руки обхватили ей грудь, и живо вскочила. Это был Жак, работник на ферме, рослый и статный пикардиец, с некоторых пор ухаживавший за нею. Сегодня он работал в овчарне и, увидев, что Роза прилегла в тени, подкрался к ней на цыпочках, затаив дыхание. Глаза его блестели, в волосах застряли соломинки.

Он сделал попытку поцеловать ее, но девушка, такая же сильная, как он, дала ему пощечину, и он притворно попросил прощения. Они уселись рядом и стали болтать как добрые друзья. Поговорили о погоде, благоприятной для жатвы, о том, что год обещает быть урожайным, что хозяин их славный малый; потом – о соседях, обо всех окрестных местах, о себе самих, о своей деревне, вспомнили свою юность, родителей, с которыми они расстались надолго, может быть, навсегда. Роза, думая об этом, растрогалась, а Жак, поглощенный одной неотвязной мыслью, придвигался все ближе, прижимался к ней, весь дрожа от нахлынувшего желания.

Она промолвила:

– Давно уж я не видалась с матерью! Как-никак, а тяжело жить в разлуке со своими.

И ее задумчивый взгляд, устремленный куда-то вдаль, казалось, проникал через пространство, ища там, далеко на севере, покинутую ею деревушку.

Жак неожиданно схватил ее за шею и снова поцеловал. Но она ударила его кулаком прямо в лицо с такой силой, что у него из носу потекла кровь. Он встал и прислонился головой к стволу дерева. Тогда Розе стало его жалко, и, подойдя, она спросила:

– Больно тебе?

Но он засмеялся. Нет, это пустяки, а кровь пошла оттого, что она ударила его как раз посере-

дине носа.

Глядя на нее с восхищением, он пробормотал: «Ну и здоровая девка!»

В нем росло уважение, какая-то новая, особенная нежность, похожая на начало настоящей любви к этой рослой девушке, такой здоровой и сильной.

Когда кровь перестала течь, он предложил Розе пройти, боясь, что ему снова придется испытать силу ее кулака, если они останутся сидеть рядом. Но она сама взяла его под руку, как делают обрученные, прогуливаясь вечером по улице, и сказала:

– Нехорошо с твоей стороны, Жак, так мало уважать меня.

Он запротестовал. Он вовсе не мало уважает ее, он просто влюблен – вот и все.

– Значит, ты хочешь на мне жениться? – спросила она.

Жак промолчал и, когда девушка рассеянно загляделась вдаль, стал посматривать на нее сбоку. Щеки у нее были круглые и румяные, губы полные, под ситцевой кофтой выступала пышная грудь, а шея, почти обнаженная, была усеяна капельками пота. Он почувствовал, что его снова охватывает желание, и шепнул ей на ухо:

– Конечно, хочу!

Тогда она обвила руками его шею и так поцеловала, что у них обоих захватило дыхание.

С этой минуты началась между ними обычная любовная игра: они возились по углам, назначали друг другу свидания при свете луны за копной сена и до синяков жали под столом друг другу ноги грубыми башмаками, подбитыми гвоздями.

Но мало-помалу Роза, видимо, надоела Жаку. Он стал избегать ее, почти не разговаривал с нею, не искал больше встреч наедине. Тогда ее охватили сомнения и глубокая тоска, а через некоторое время она заметила, что беременна.

Сначала она была ошеломлена, потом ее обуяла злоба, усиливавшаяся с каждым днем, так как Жак старательно избегал ее и ей никак не удавалось увидеться с ним.

Наконец однажды ночью, когда все на ферме уже спали, она тихонько вышла в одной юбке, босиком, пробежала через двор и открыла дверь в конюшню, где Жак ночевал на соломе в большом ящике над стойлами. Услышав ее шаги, он притворился, что храпит, но она взобралась к нему наверх и, опустившись подле него на колени, стала трясти его до тех пор, пока он не поднялся.

Когда он сел, спрашивая: «Чего тебе нужно?» – она произнесла сквозь стиснутые зубы, дрожа от ярости:

– Мне нужно... мне нужно, чтобы ты на мне женился, как обещал.

Он засмеялся:

– Вот еще! Если бы жениться на всех девушках, с которыми грешил, то что бы это получилось?

Но Роза вцепилась ему в горло, повалила навзничь, так что он не мог высвободиться из ее бешеных объятий, и стала душить, крича ему в самое лицо:

– Я беременна, слышишь ты? Беременна!

Жак хрипел, с трудом переводя дыхание. И они долго так оставались неподвижными среди черного безмолвия ночи, нарушаемого лишь похрустыванием соломы, которую лошадь вытаскивала из кормушки и затем медленно пережевывала.

Когда Жак понял, что она сильнее его, он пробормотал:

– Ладно, женюсь, коли так вышло.

Но она больше не верила его обещаниям.

– Ты сейчас же попросишь священника сделать оглашение!

Он ответил:

– Сейчас же.

– Побожись!

Одно мгновение он колебался, потом, видимо, на что-то решившись, сказал:

– Ей-богу!

Тогда она разжала пальцы и, не промолвив больше ни слова, вышла.

Прошло несколько дней, а ей все не удавалось с ним поговорить. Конюшня теперь по ночам

всегда оказывалась запертой на ключ, а стучать Роза не смела, боясь скандала.

Однажды утром к завтраку пришел новый работник. Она спросила:

– А разве Жак ушел?

– Ну да! – ответил тот. – Я поступил на его место.

Роза задрожала так сильно, что не могла снять котелка. Когда все ушли на работу, она поднялась к себе в комнату и зарыдала, уткнувшись лицом в подушку, чтобы никто не услышал ее плача.

Днем она, стараясь не возбуждать подозрений, попробовала разузнать кое-что. Но она до того была поглощена мыслью о своем несчастье, что ей казалось, будто все, кого она спрашивает, злорадно посмеиваются. Ей удалось узнать только одно – что Жак навсегда покинул эти места.

ГЛАВА II

С тех пор началась для нее жизнь, полная непрерывных мучений. Она работала машинально, не вникая в то, что делает, с одной неотвязной мыслью в голове: «Что, если узнают?»

Этот вечный страх настолько лишил ее способности рассуждать, что она даже не искала средств избежать скандала, который, как она чувствовала, надвигался все ближе с каждым днем, неотвратно, неизбежно, как смерть.

Каждое утро она вставала раньше всех и с настойчивостью отчаяния пыталась разглядеть свою фигуру в осколке зеркала, перед которым обычно причесывалась, спрашивая себя с мучительной тревогой, не заметят ли это сегодня.

Днем она поминутно отрывалась от работы и смотрела сверху на свой живот, проверяя, не слишком ли заметно он поднимается под передником.

Прошло несколько месяцев. Она почти не разговаривала и, когда к ней обращались с каким-нибудь вопросом, не понимала, терялась; глаза ее смотрели с тупым испугом, руки тряслись, так что хозяин говорил ей:

– Бедняжка, ты что-то поглупела с некоторых пор!

В церкви она пряталась где-нибудь за колонной и не решалась больше ходить к исповеди, страшась встречи со священником, которому она приписывала сверхъестественную способность читать в сердцах.

За столом взгляды работников пугали ее теперь чуть не до обморока, и ей постоянно казалось, что ее тайна известна пастуху, хитрому, не по летам развитому малому, который не отрываясь глядел на нее исподтишка своими сверкающими глазами.

Однажды утром почтальон вручил ей письмо. Она никогда в жизни еще не получала писем и была так потрясена, что ей даже пришлось сесть. Может быть, это от него?

Но она не умела читать и в тревоге, вся дрожа, глядела на эту бумагу, испещренную чернильными знаками. Она сунула ее в карман, не смея доверить кому-либо свою тайну; во время работы она часто останавливалась и подолгу вглядывалась в равномерно расположенные строчки, заканчивавшиеся подписью, с какой-то смутной надеждой, что, быть может, ей вдруг откроется их смысл.

Наконец, сходя с ума от нетерпения и беспокойства, она отправилась к школьному учителю. Тот усадил ее и прочел вслух:

«Дорогая дочь, настоящим письмом извещаю тебя, что я со всем плоха. Наши сосед, мэтр Дантю, взялся написать тебе, чтобы ты приехала, если можешь.

За твою любящую мать

Сезар Дантю, помощник мэра».



Роза ушла, не сказав ни слова, но, как только она осталась одна, ноги у нее подкосились, и она села на краю дороги; так она просидела до вечера.

Вернувшись, она рассказала фермеру о своем горе, и он отпустил ее на столько времени, сколько ей понадобится, обещав поручить ее работу поденщице и взять ее обратно, когда она вернется.

Мать ее была уже в агонии и умерла в самый день приезда дочери. А на следующий день Роза родила семимесячного ребенка, крошечный жуткий скелет, до того худой, что на него нельзя было смотреть без содрогания. Его жалкие ручонки, костлявые, как клешни краба, сводило мучительной судорогой, словно от постоянной боли.

Тем не менее он выжил.

Роза говорила всем, что она замужем, но не имеет возможности возиться с малышом. Она оставила его у соседей, которые обещали о нем заботиться.

Она возвратилась на ферму.

Но теперь в ее наболевшем сердце занялась заря неизведанной доселе любви к жалкому маленькому существу, оставленному там, в деревне. И любовь эта стала для нее новым страданием, страданием ежечасным, ежеминутным, оттого что она была разлучена со своим ребенком.

Больше всего ее мучило безумное желание целовать его, сжимать в своих объятиях, ощущать своим телом теплоту маленького тельца. Она не спала по ночам. Она думала о нем целые дни напролет, а вечерами, окончив работу, усаживалась перед очагом и неподвижно смотрела на огонь, как человек, мысли которого далеко.

О ней уже начали судачить, сыпались шуточки насчет возлюбленного, которого она, видно, завела: у нее спрашивали, красив ли он, высок ли ростом, когда будет свадьба, когда крестины. И часто она убегала, чтобы поплакать вдали от людских глаз, так как эти вопросы вонзались ей в тело, как булавки.

Чтобы уклониться от всех этих насмешек, она начала работать как бешеная и, постоянно думая о своем ребенке, стала искать способы накопить для него побольше денег.

Она решила работать так усердно, чтобы фермер был вынужден прибавить ей жалованье.

И мало-помалу она забрала в свои руки всю работу по хозяйству, заставила отпустить вторую служанку, которая стала лишней, с тех пор как Роза работала за двоих, сэкономила на хлебе, масле, свечах, на зерне, которое, по ее мнению, слишком щедро сыпали курам, на корме для скота, которым также распоряжались недостаточно бережливо. Она тряслась над хозяйским грошом, как над своим собственным, и так как она умела сбывать по дорогой цене продукты фермы и разоблачать плутни крестьян, предлагавших свои продукты, то теперь ей одной поручались все закупки и продажи. Она распоряжалась работниками, выдавала провизию и в короткое время стала незаменима. Она так хорошо за всем наблюдала, что ферма под ее управлением стала процветать. За две

мили вокруг все говорили о «служанке дядюшки Валлена», и сам фермер твердил повсюду:

– Эта девушка – сущий клад.

Однако время шло, а жалованье оставалось все то же.

Ее напряженный труд принимался как нечто совершенно естественное со стороны всякой преданной служанки, как простое доказательство ее добросовестности. И она уже с некоторой горечью говорила себе, что фермер благодаря ей загребает каждый месяц лишних пятьдесят, а то и сто экю,²³ а ей продолжает платить все те же 240 франков в год, ни больше ни меньше.

Она решила просить прибавки. Три раза приходила она за этим к хозяину, но, очутившись перед ним, начинала говорить о чем-нибудь другом. Ей было как-то совестно просить денег, как будто в этом было что-то постыдное.

Наконец однажды, когда фермер один завтракал в кухне, она смущенно сказала ему, что ей нужно о чем-то с ним поговорить. Он с удивлением поднял голову и, держа в одной руке нож острием вверх, а в другой – кусок хлеба, пристально поглядел на служанку.

Она смутилась от его взгляда и неожиданно для себя самой попросила отпустить ее на неделю домой, так как ей будто бы нездоровилось.

Он сразу согласился. Потом, в свою очередь, чем-то смущенный, прибавил:

– Мне и самому надо бы с тобой потолковать кое о чем, но это уж когда ты вернешься.

ГЛАВА III

Ребенку было уже около восьми месяцев. Она даже не узнала его. Он был теперь весь розовый, толстощекий, пухленький, похожий на живой комочек сала. Он спокойно, с видимым удовольствием, шевелил пальчиками, на которых образовались как бы пухлые подушечки. Роза накинулась на него жадно, как зверь на добычу, и прижала его к себе так крепко, что он заорал от испуга. Тогда она и сама принялась плакать, оттого что мальчик не узнавал ее и тянулся ручонками к своей кормилице, как только замечал ту.

Но на следующий день он уже привык к лицу матери и улыбался ей. Она уносила его в поле, бегала с ним как сумасшедшая, высоко поднимая его на руках, садилась в тени под деревьями. Впервые в жизни она изливала свою душу другому существу, рассказывала ничего не смыслящему ребенку о своих огорчениях, работе, тревогах, надеждах и беспрестанно надоедала ему бурными, неистовыми ласками.

Ей доставляло бесконечную радость тискать его в объятиях, мыть, одевать. Она чувствовала себя счастливой даже оттого, что могла менять его грязные пеленки, словно эти интимные заботы утверждали за ней ее материнские права. Она подолгу смотрела на него, все как бы удивляясь, что он принадлежит ей, и повторяла вполголоса, подбрасывая его на руках:

– Это мой сыночек, мой сыночек.

Возвращаясь на ферму, она плакала всю дорогу; как только она приехала, хозяин тотчас же позвал ее к себе в комнату. Она пошла туда, очень удивленная и взволнованная, сама не зная отчего.

– Садись вот тут, – сказал он ей.

Роза повиновалась, и несколько мгновений они сидели рядом, оба смущенные, неподвижно сложив руки, не зная, куда их девать, и по крестьянской привычке избегая глядеть друг другу в лицо.

Фермер, веселый и упрямый сорокапятилетний толстяк, уже два раза овдовевший, испытывал явное стеснение, для него необычное.

Наконец он решился и со смущенным видом, немного запинаясь, заговорил, устремив глаза куда-то далеко в поле:

– А что, Роза, тебе никогда не приходило в голову, что пора тебе обзавестись своим домом?

Роза побледнела как смерть. Так как она ничего не отвечала, фермер продолжал:

– Ты славная девушка, честная, работающая и бережливая. Такая жена-клад для мужа.

²³ Экю – монета в 5 франков.

Она продолжала сидеть все так же неподвижно, с испугом в глазах, даже не пытаясь понять, в чем дело. Мысли вихрем кружились у нее в голове, как перед приближением какой-то страшной опасности.

Он подождал с минуту, потом снова заговорил:

– Видишь ли, ферме не годится быть без хозяйки, хотя бы даже при такой служанке, как ты.

Он замолчал, не зная, что еще сказать. А Роза смотрела на него с ужасом, как человек, который очутился лицом к лицу с убийцей и готов бежать при малейшем его движении.

Наконец, подождав еще несколько минут, он спросил:

– Ну так как же? Согласна?

Она отозвалась с бессмысленным видом:

– На что, хозяин?

Тогда он нетерпеливо крикнул:

– Да выйти за меня, черт возьми!

Она вскочила, но сразу же снова упала на стул как подкошенная и застыла, не двигаясь, как человек, сраженный большим несчастьем. Фермер наконец вышел из себя:

– Ну что же? Чего тебе еще нужно?

Она усталилась на него, как безумная, потом вдруг глаза ее наполнились слезами, и она повторила два раза, задыхаясь:

– Я не могу! Я не могу!

– Да почему? – недоумевал фермер. – Полно, не будь душой! Даю тебе время до завтрашнего дня, чтобы подумать об этом.

И он поспешил уйти, очень довольный, что покончил с этим делом, сильно его затруднявшим, и не сомневаясь, что завтра служанка примет его предложение, являющееся для нее совершенно неожиданным счастьем, для него же – очень выгодной сделкой, так как этим он навсегда связывал с собой женщину, которая несомненно должна была принести ему больше, чем самая богатая невеста в округе.

К тому же здесь не могло быть и речи о неравном браке, так как в деревне все более или менее равны: фермер трудится наравне с работником, работник, в свою очередь, становится часто хозяином, а служанки сплошь и рядом переходят на положение хозяек, и это ничуть не меняет ни образа жизни их, ни привычек.

В эту ночь Роза не ложилась. Она сидела на своей постели до того подавленная, что даже не имела сил плакать. Она словно оцепенела, не ощущала своего тела, а в голове мелькали только какие-то обрывки мыслей, как будто искрошенные одним из тех инструментов, которые употребляют чесальщики при расческе шерсти для матрацев.

Минутами только ей удавалось связать эти обрывки, и тогда ее охватывал ужас перед тем, что могло произойти.

Этот ужас все возрастал, и всякий раз, как в тишине уснувшего дома большие часы в кухне медленно начинали бить, Роза обливалась холодным потом. Она теряла голову, кошмарные видения проходили перед ней. Свеча погасла. Тогда начался уже настоящий бред, тот бред, в который впадает житель деревни, когда чувствует, что его настигает судьба: безумная потребность бежать, скрыться, спастись от несчастья, как корабль спасается от бури.

Где-то закричала сова. Роза вздрогнула, поднялась, провела руками по лицу, по волосам, ощупала себя, как безумная, потом походкой лунатика сошла вниз. Очутившись во дворе, она поползла по земле, боясь, как бы ее не заметил какой-нибудь ночной бродяга, так как луна, уже близкая к закату, ярко освещала поля.

Вместо того чтобы открыть калитку, она перелезла через насыпь и, выйдя в поле, бросилась бежать. Она неслась вперед стремительным, упругим шагом и по временам бессознательно испускала пронзительный крик. Ее огромная тень, ложившаяся у ее ног на землю, бежала рядом. Порой какая-нибудь ночная птица кружила над ее головой. Собаки на фермах, услышав ее шаги, заливались лаем, одна из них, перескочив ров, бросилась за ней, пытаясь укусить ее, но Роза обернулась и так закричала, что собака в страхе убежала назад, забила в свою конуру и затихла.

Иногда попадался навстречу заячий выводок, резвившийся в поле, но, когда приближалась

эта неистовая бегущая женщина, походившая на Диану, охваченную безумием, пугливые зверьки разбегались. Зайчата с матерью сразу исчезали, прикорнув в какой-нибудь борозде, самец удирал со всех ног, и подчас эта скачущая тень с длинными торчащими ушами вырисовывалась при свете заходившей луны, которая плавала уже на самом краю неба и освещала равнину косыми лучами, словно огромный фонарь, поставленный на землю у горизонта.

Звезды гасли в глубине неба. Зашебетали первые птицы. Наступал день. Девушка задыхалась, выбившись из сил. И когда солнечные лучи пронизали пурпур утренней зари, она остановилась.

Ее распухшие ноги отказывались служить. Но вдруг она увидела болото, большое болото, стоячая вода которого казалась кровавой под багряными лучами рождающегося дня. Прихрамывая, мелкими шажками, держась рукой за сердце, Роза направилась к нему, чтобы опустить ноги в воду.

Она села на траву, сняла грубые запыленные башмаки, стащила чулки и погрузила до колен свои посиневшие ноги в неподвижную воду, в которой по временам лопались пузырьки.

Приятная свежесть разлилась по всему ее телу, от пяток до шеи. И вдруг, в то время как она пристально смотрела на это глубокое болото, у нее закружилась голова, и ей страстно захотелось погрузиться в него совсем. Кончились бы все ее страдания, кончились бы навсегда. В ту минуту она не думала больше о своем ребенке. Она жаждала покоя, полного отдыха, сна без пробуждения.

Она встала и, подняв руки, сделала два шага вперед. Она ушла теперь в воду по пояс и уже торопливее двинулась было дальше, как вдруг острая боль в лодыжках, как от укола, заставила ее выскочить, и она отчаянно вскрикнула, увидев, что ее ноги от колен до ступней покрыты длинными черными пиявками, которые, впившись в тело, сосали ее кровь и раздувались. Она боялась до них дотронуться и выла от ужаса. Ее отчаянные вопли привлекли крестьянина, проезжавшего поблизости в телеге. Он оторвал пиявок одну за другой, приложил к ранкам траву и отвез Розу в своей тележке обратно на ферму ее хозяина.

Две недели она пролежала в постели, потом однажды утром, когда она в первый раз поднялась и сидела у дверей перед домом, хозяин вдруг вырос перед ней.

– Ну что? – спросил он. – Дело решено, не так ли?

Она сперва ничего не отвечала; потом, так как он продолжал стоять перед нею, пронизывая ее упрямым взглядом, она с трудом произнесла:

– Нет, хозяин, я не могу.

Он вдруг вспылал:

– Не можешь? Это почему же?

Она заплакала, повторяя:

– Не могу.

Фермер, пристально поглядев на нее, крикнул ей прямо в лицо:

– Стало быть, у тебя есть любовник?

Она прошептала, дрожа от стыда:

– Может быть, и так.

Фермер, красный как мак, запинаясь от гнева:

– А, так ты признаешься, подлая? А кто он такой, что за птица? Какой-нибудь оборванец? Нищий, бродяга, дышающий с голоду. Кто он такой, говори!

Роза молчала.

– Ага, ты не хочешь? Ну, так я сам тебе скажу: это Жан Бодю.

Она вскрикнула:

– Нет, нет, не он!

– Тогда Пьер Мартен.

– Да нет же, хозяин!

Он вне себя называл одного за другим всех окрестных парней, а Роза, удрученная, ежеминутно утирая глаза уголком синего фартука, все повторяла: «нет».

Но он продолжал допытываться с присущим ему упрямством грубого человека, бередил это сердце, чтобы узнать его тайну, подобно тому как охотничья собака целый день разрывает нору,

чтобы достать зверя, которого она чувствует там, в глубине.

Вдруг он воскликнул:

– Ах, черт возьми! Да ведь это Жак, прошлогодний работник! Недаром говорили, что он с тобой все шепчется и что вы дали друг другу слово пожениться.

У Розы захватило дух. Вся кровь бросилась ей в лицо, слезы сразу иссякли. Они высохли на ее щеках, как капли воды на раскаленном железе.

Она закричала:

– Нет, нет, не он, не он!

– Наверное не он? – спросил хитрый крестьянин, нюхом почуявший правду.

Роза торопливо ответила:

– Клянусь вам, клянусь...

Она искала, чем бы поклясться так, чтобы не назвать что-нибудь священное. Но фермер перебил ее:

– А между тем он бегал за тобой по всем углам и за столом пожирал тебя глазами. Дала ты ему слово, говори?

На этот раз она посмотрела хозяину прямо в лицо:

– Нет, никогда, никогда, и, видит бог, если бы он пришел теперь свататься, я не пошла бы за него.

Она сказала это так искренно, что уверенность фермера поколебалась. Он возразил, как бы говоря сам с собой:

– Но в чем же тогда дело? Греха с тобой никакого не случилось – это было бы известно. А раз дело обошлось без беды, то из-за этого никакая девушка не станет отказывать своему хозяину. Нет, тут все-таки что-то нечисто.

Роза ничего не отвечала: ее душили страх и тоска.

Фермер снова спросил:

– Так ты, значит, не хочешь?

Она вздохнула:

– Я не могу, хозяин.

Тогда он круто повернулся и ушел.

Она решила, что теперь от него отделалась, и остальную часть дня провела почти спокойно, но чувствовала себя такой измученной и разбитой, как будто ее заставили вместо старой белой лошади фермера ворочать молотилку от самой зари.

Она легла, как только освободилась, и сразу заснула.

Среди ночи ее разбудило прикосновение чьих-то рук, шаривших по ее постели. Она в ужасе вскочила, но тотчас узнала голос хозяина, говорившего:

– Не пугайся, Роза, это я, – пришел потолковать с тобой.

Сначала она была в недоумении, но, когда он попытался залезть к ней под одеяло, она поняла, чего ему надо, и вся задрожала при мысли, что она одна в темноте, еще полусонная, совсем голая лежит в постели рядом с этим мужчиной, который хочет ею овладеть. Она, понятно, не уступала, но сопротивлялась вяло; ей приходилось бороться с собственным инстинктом, всегда властным у бесхитростных существ, а слабая воля, свойственная инертным и мягким натурам, была ей плохой защитой. Она отворачивала голову то в одну, то в другую сторону, чтобы уклониться от поцелуев фермера, рот которого искал ее губ, и под одеялом тело ее слегка извивалось, обессиленное борьбой. Фермер, охмелев от желания, становился все грубее. Он резким движением сорвал с нее одеяло, и тогда она почувствовала, что не может больше сопротивляться. Со стыдливостью страуса она закрыла лицо руками и перестала защищаться.

Фермер провел с нею всю ночь. Он пришел и на следующий вечер и с тех пор приходил постоянно.

Они стали жить как муж и жена.

Однажды утром он сказал ей:

– Я попросил священника сделать оглашение. В будущем месяце мы обвенчаемся.

Роза ничего не ответила. Что она могла сказать? Она больше не сопротивлялась. Что ей было

делать?

ГЛАВА IV

Они поженились. Теперь Роза чувствовала себя точно брошенной в глубокую яму с отвесными стенами, из которой ей никогда не выбраться. Ей чудилось, что всевозможные беды висят над ее головой, как громадные скалы, готовые обрушиться при первом случае. На мужа она смотрела как на человека, которого она обокрала и который рано или поздно об этом узнает. Она думала и о своем ребенке, источнике всех ее страданий, но в то же время и всего ее счастья на земле.

Два раза в год она ездила навещать его и возвращалась всякий раз все более печальной.

Но мало-помалу привычка усыпила тревогу, успокоила сердце. Роза стала увереннее, только где-то в глубине души все еще жил смутный страх. Годы шли. Ребенку минуло уже шесть лет. Роза была теперь почти счастлива. Но неожиданно фермер почему-то сделался мрачным.

Уже два или три года его как будто грызло какое-то беспокойство, мучила тайная забота. Это было похоже на душевную болезнь, которая постепенно усиливалась. После обеда он долго продолжал сидеть за столом, опустив голову на руки, глубоко печальный, сменяемый тоской. Он стал выражаться более резко, порою даже грубо. Казалось, что он затаил что-то в душе против жены – так сурово, почти гневно говорил он с ней иногда.

Как-то раз мальчик соседки пришел за яйцами. Занятая каким-то спешным делом, Роза недостаточно ласково обошлась с ним. Неожиданно перед ней появился муж и сказал обычным для него теперь злым тоном:

– Если бы это был твой ребенок, ты бы не так обошлась с ним.

Роза, остолбенев, не нашла что ответить, потом вошла в дом. Все прежние страхи ожили в ее душе.

За обедом муж не говорил с нею, не глядел на нее; ей казалось, что он ее ненавидит, презирает, что он, по-видимому, что-то узнал.

Совершенно растерявшись, она не решилась остаться с ним наедине после обеда и, убежав из дому, направилась в церковь. Наступал вечер. В маленьком храме было уже совсем темно, и только около клироса слышались в тишине чьи-то шаги, это сторож заправлял на ночь лампаду перед дарохранительницей. Ее дрожащий огонек, терявшийся во мраке свода, показался Розе как бы последним прибежищем, и, устремив на него глаза, она упала на колени.

Звякнула цепочка, и лампада поднялась вверх. Затем равномерно застучали по каменному полу деревянные башмаки, зашуршала волочившаяся веревка, и жидкий звон колокола, призывающий к вечерней молитве, понесся сквозь сгущавшийся туман.

Когда сторож выходил, Роза подошла к нему.

– Господин кюре дома? – спросила она.

Он ответил:

– Наверно, дома. Он всегда обедает, когда звонят к вечерне.

Тогда она с трепетом открыла калитку, ведущую в церковный двор.

Священник как раз собирался обедать. Он тотчас усадил ее.

– Да, да, знаю. Ваш муж уже говорил со мною о том, что привело вас сюда.

Бедная женщина чуть не потеряла сознания. Священник продолжал:

– Что поделаешь, дитя мое!

Он торопливо глотал суп, и капли падали с ложки на его закаленную сутану, выпиравшую на животе.

Роза не смела больше ни говорить, ни просить, ни умолять. Она поднялась. Священник сказал:

– Не падайте духом.

Она вышла.

Машинально, не сознавая, что делает, она направилась домой. В ее отсутствие все работники уже ушли, и муж один ожидал ее. Она рухнула к его ногам и, заливаясь слезами, простонала:

– За что ты сердишься на меня?

Он закричал, пересыпая свои слова проклятиями:

– Да за то, что у меня нет детей, черт побери! Женятся не для того, чтобы оставаться вдвоем до самой смерти. Вот за что! Когда корова не приносит телят, она ничего не стоит. Когда у бабы нет ребят, ей тоже грош цена!

Роза плакала, все повторяя:

– Разве я виновата в этом? Разве я виновата?

Тогда он немного смягчился и прибавил:

– Я не говорю, что ты виновата, но ведь от этого не легче.

ГЛАВА V

С этого дня у Розы была только одна мысль – иметь ребенка, второго ребенка. О своем желании она говорила со всеми.

Одна из соседок указала средство: нужно давать мужу каждый вечер стакан воды со щепоткой золы. Фермер согласился. Но средство не помогло.

Они подумали: «Быть может, есть какие-нибудь тайные средства?» – и стали всех расспрашивать. Им указали на пастуха, который жил в десяти милях от фермы, и в один прекрасный день мэтр Валлен заложил свою бричку и отправился к нему за советом.

Пастух вручил ему хлеб, на котором сделал какие-то знаки; хлеб этот был замешен на травах, и оба, муж и жена, должны были съесть от него по кусочку ночью до и после супружеских ласк.

Но хлеб был съеден весь без остатка, а результатов не получилось никаких.

Один учитель познакомил их с тайнами любви, приемами, неизвестными жителям деревни и обещающими, по его словам, верный успех. Но и это не помогло им.

Священник посоветовал сходить в Фекан на поклонение святым мощам. Роза отправилась в монастырь вместе с толпой богомольцев и, распростершись ниц, присоединила свою мольбу к бесхитростным мольбам всех этих крестьянских сердец. Она молила того, к кому взывали все, сделать ее еще раз матерью.

Но все было напрасно. Тогда она решила, что бог карает ее за ее первый грех, и безграничная скорбь овладела ею.

Она чахла от горя. Муж ее тоже старел, снедаемый бесплодным ожиданием. О нем говорили: «Он извелся от досады».

Тогда между ними вспыхнула вражда. Он ругал ее, бил, с утра до вечера ссорился с ней, а ночью в постели, задыхаясь от злобы, бросал ей в лицо оскорбительные, гнусные ругательства.

Наконец однажды ночью, не зная, что бы такое еще придумать, чтобы сильнее ее обидеть, он приказал ей встать с постели, выйти во двор и до утра стоять там под дождем. Так как Роза не послушалась, он схватил ее за горло и принялся бить кулаками по лицу. Она не крикнула, не шевельнулась. Окончательно выйдя из себя, он наступил ей коленями на живот и, стиснув зубы, обезумев от ярости, стал избивать ее. Тогда, в мгновенном приступе отчаянного возмущения, она бешеным толчком отбросила его к стене, села в постели и изменившимся голосом прохрипела:

– У меня-то есть ребенок! Да, у меня есть! От Жака – ты помнишь Жака? Он обещал на мне жениться и сбежал.

Муж стоял ошеломленный, в таком же смятении, как она. Он пробормотал:

– Что ты говоришь? Что ты говоришь?

Тогда она зарыдала, бормоча сквозь слезы:

– Потому я и не хотела за тебя выходить. Именно потому. Не могла же я тебе рассказать! Ты прогнал бы меня, и я осталась бы со своим малышом без куска хлеба. У тебя нет детей; ты не знаешь, ты не знаешь!

Фермер со все возрастающим изумлением машинально повторял:

– Так у тебя есть ребенок? Есть ребенок?

Она продолжала, всхлипывая:

– Ты взял меня силой, ты сам это отлично знаешь. А я... я вовсе не хотела выходить за тебя.

Он встал, зажег свечу и стал ходить по комнате, заложив руки за спину. Роза все плакала, упав на постель. Вдруг муж остановился перед ней:

– Так, значит, это я виноват, что у нас нет детей?

Роза не отвечала. Он снова зашагал по комнате. Потом остановился опять и спросил:

– А сколько лет твоему малышу?

Она прошептала:

– Скоро минет шесть.

Он еще раз спросил:

– Почему ж ты до сих пор не сказала мне об этом?

Она простонала:

– Да разве я могла!

Он постоял не двигаясь, потом сказал:

– Ну ладно, вставай.

Роза с трудом стала подниматься. Когда она встала, прислонясь к стене, ее муж вдруг засмеялся громко, весело, как в былые счастливые дни. Видя, что она поражена, он сказал:

– Что ж, придется нам за ним съездить, за этим твоим ребенком, раз уж своих у нас нет.

Роза так испугалась, что, наверно, убежала бы, если бы ее не покинули силы. А фермер потирал руки, бормоча:

– Я ведь как раз хотел взять приемыша – вот и нашелся, вот и нашелся! Я просил священника присмотреть для нас какого-нибудь сиротку.

Продолжая смеяться, он расцеловал в обе щеки заплаканную, оторопевшую жену и крикнул ей громко, точно она была глуха:

– Пойдем-ка, мать, посмотрим, не осталось ли супу. Я готов съесть целый горшок.

Она надела юбку, оба сошли вниз, и пока она, стоя на коленях, разводила огонь, он, сияя, ходил большими шагами по кухне и все повторял:

– Ей-богу, я рад! И не то чтобы на словах, я и в самом деле доволен, очень, очень доволен!

В СЕМЬЕ

Трамвай, шедший в Нейи, только что миновал Ворота Майо и несся теперь по широкой дороге, выходявшей к Сене. Паровичок, прицепленный к вагону, гудел, чтобы устранить препятствия со своего пути, плевался паром и пыхтел, как человек, который задыхается от бега. Его поршни производили шум, словно быстро движущиеся железные ноги.

Душный зной угасающего летнего дня навис над дорогой, от которой, несмотря на отсутствие малейшего ветерка, поднималась белая меловая пыль. Густая, едкая и горячая, она липла к влажной коже, засыпала глаза, проникала в легкие.

Люди, ища прохлады, выходили на порог своих домов.

Окна в вагоне были спущены, и занавески колыхались от быстрого движения. Внутри было лишь несколько человек, в такие жаркие дни люди предпочитают ездить на империале или на открытых площадках. Тут были толстые дамы из предместья в безвкусных нарядах, мещанки, напыщенной важностью заменявшие врожденное изящество, которого они были лишены, и мужчины, уставшие от своих канцелярий, с желтыми лицами, со сгорбленными спинами и неровными плечами – результатом постоянной работы за письменным столом в согнутом положении. Их беспокойные и грустные лица говорили еще и о домашних заботах, о вечной нужде в деньгах, об окончательно похороненных былых надеждах, так как все они принадлежали к армии придавленных жизнью людей, кое-как прозябающих в убогих оштукатуренных домишках с одной грядкой вместо сада, среди свалочных мест, окружающих Париж.

У самой двери вагона маленький толстый человечек с одутловатым лицом и животом, свисающим между раздвинутых колен, весь в черном, с орденом в петлице, разговаривал с высоким, худым, неряшливого вида мужчиной в очень грязном костюме из белого тика и в потрепанной соломенной шляпе. Первый говорил медленно, так сильно запинаясь, что временами он казался заи-

кой. Это был господин Караван, чиновник морского министерства. Второй, служивший когда-то врачом на торговом судне, обосновался после жизни, полной приключений, на площади Курбева, где применял к нищему населению еще сохранившиеся у него смутные остатки медицинских познаний. Фамилия его была Шене, и он требовал, чтобы его называли доктором. Относительно его нравственности ходили разные слухи.

Караван вел обычное существование чиновника. В продолжение тридцати лет он каждое утро неизменно отправлялся в свою канцелярию одной и той же дорогой, встречая в тот же час на том же месте одних и тех же людей, направлявшихся по своим делам. И вечером, возвращаясь домой той же дорогой, он снова встречал те же самые лица, которые с годами старели у него на глазах.

Каждый день, купив на углу предместья Сент-Оноре газету за один су и затем еще две булочки, он входил в здание министерства, как преступник в тюрьму, и быстро поднимался в свою канцелярию, с сердцем, бьющимся от тревоги, в вечном ожидании выговора за какую-нибудь оплошность, которую он, может быть, совершил.



Ничто никогда не нарушало однообразного течения его жизни, так как господина Каравана ничто не интересовало, кроме того, что касалось его канцелярии, всяких повышений и наград по службе. Как в министерстве, так и в кругу своей семьи (он женился на бесприданнице, дочери одного из сослуживцев) он говорил всегда только о служебных делах. Все мысли, все надежды, все мечты его души, как бы атрофированной ежедневной притупляющей работой, были связаны с министерством, в котором он служил. Одно только обстоятельство постоянно ущемляло его чиновничье самолюбие: зачем допускают морских комиссаров («жестянщиков», как их называли за серебряные галуны) на должности начальников и их помощников? И каждый вечер за обедом он горячо доказывал жене, разделявшей его негодование, что во всех отношениях нелепо предоставлять места в Париже людям, чье дело – плавать на море.

Он состарился, не заметив, как прошла жизнь. После учения в коллеже сразу началась служ-

ба, и школьных надзирателей, которых он прежде боялся, сменили теперь начальники, перед которыми он испытывал трепет. У порога кабинетов этих властелинов он начинал дрожать с головы до ног. Этим вечным страхом объяснялись его неловкие манеры, смиренный вид и какое-то нервное заикание.

Он знал Париж не больше, чем слепой нищий, которого собака его каждый день приводит к одному и тому же месту. И когда он читал в своей грошовой газетке о каких-либо происшествиях и скандалах, он их воспринимал как фантастические сказки, придуманные только для развлечения мелких чиновников. Сторонник порядка, реакционер, не принадлежащий ни к какой определенной партии, враг всяких «новшеств», он всегда пропускал статьи о политических событиях, которые, впрочем, газетка всегда искажала в угоду тем, кто за это платил. Каждый вечер, проезжая по Елисейским полям, он смотрел на шумную толпу гуляющих и непрерывный поток экипажей, как смотрит чужестранец, путешествующий по дальним, незнакомым краям.

В этом году исполнилось тридцать лет его службы, и к 1 января он получил орден Почетного легиона, которым учреждения военного ведомства вознаграждают за долгий угнетающий труд (это называется «за беспорочную службу») несчастных каторжников, прикованных к зеленым папкам. Неожиданное отличие внушило Каравану новое, высокое мнение о своих способностях и совершенно изменило его привычки и облик. Он перестал носить цветные панталоны и пестрые жилеты, заменив их черными брюками и длинным сюртуком, на котором лучше выделялась его чрезмерно широкая орденская ленточка. Из законного чувства приличия, уважения к национальному ордену, к которому он теперь принадлежал, он стал бриться каждое утро, старательно чистить ногти, менял белье каждые два дня и постепенно превращался в другого Каравана, приливанного, величественного и снисходительного.

У себя дома он при всяком удобном случае старался вернуть слова «мой орден». Его обуяла такая спесь, что он не мог больше спокойно видеть какой бы то ни было знак отличия в петличках у других. Особенно выводили его из себя иностранные ордена; он утверждал, что их не следовало бы разрешать носить во Франции. Больше всего его раздражал доктор Шене, которого он каждый вечер встречал в трамвае с какой-нибудь ленточкой в петлице – то белой, то голубой, то оранжевой, то зеленой.

Встречаясь, эти двое людей всю дорогу, от Триумфальной арки до Нейи, разговаривали всегда об одном и том же. И сегодня, как всегда, они коснулись прежде всего местных злоупотреблений, причем оба возмущались тем, что мэр Нейи смотрит на все это сквозь пальцы. Потом, как это неизменно бывает при встрече с врачом, Караван завел разговор о болезнях, рассчитывая таким путем незаметно для доктора выудить у него несколько бесплатных советов, а то и получить целую консультацию. К тому же с некоторых пор его беспокоило здоровье матери: с нею часто случались длительные обмороки, а она, несмотря на то что ей было девяносто лет, и слышать не хотела о лечении.

Ее преклонный возраст умилял Каравана. Он беспрестанно спрашивал «доктора» Шене:

– Часто вам приходилось видеть, чтобы люди доживали до таких лет?

И при этом он весело потирал руки, радуясь, быть может, не столько тому, что старушка зажила на земле, сколько мысли, что долгая жизнь матери служит как бы залогом его собственного долголетия. Он продолжал:

– Да, в нашей семье живут долго. Вот и я уверен, что доживу до глубокой старости, если только со мной не произойдет какой-нибудь несчастный случай.

Во взгляде лекаря выразилось сожаление. С минуту он разглядывал багровую физиономию собеседника, его толстую шею, живот, свисавший на дряблые и жирные ноги, на всю его апоплексическую полноту старого расслабленного чиновника. Потом, сдвинув на затылок свою грязноватую соломенную шляпу, прикрывавшую ему голову, сказал со смешком:

– Не будьте так уверены, мой милый! Ваша мать – сухарь, а вы – налитая бочка.

Караван, расстроенный, замолчал.

Между тем трамвай подошел к станции. Собеседники вышли, и Шене предложил зайти выпить стаканчик вермута в находившееся поблизости кафе «Глоб», постоянными посетителями которого они оба были. Хозяин, их приятель, протянул им два пальца, которые они по очереди по-

жали над уставленной бутылками стойкой. Потом они подошли к трем любителям домино, засевшим тут с полудня. Обменялись дружескими приветствиями и неизбежным «что новенького?», после чего игроки продолжали прерванную партию. Затем вновь пришедшие пожелали им доброго вечера. Те, не поднимая головы, протянули им на прощание руки, и оба приятеля пошли каждый к себе домой обедать.

Караван жил неподалеку от площади Курбеуа в трехэтажном домике, нижний этаж которого был занят парикмахерской.

Две спальни, столовая и кухня составляли всю квартиру, в которой ветхие стулья перекочевывали по мере надобности из комнаты в комнату. Чистке и уборке этой квартиры госпожа Караван посвящала все свое время, между тем как ее двенадцатилетняя дочь Мария-Луиза и девятилетний сын Филипп-Огюст носились вдоль уличных канав вместе с мальчишками всего квартала.

В комнате над спальней Караван поместил свою мать, которая славилась скупостью во всем околотке. Так как она к тому же была очень худа, то соседи острили, что господь бог применил к ней ее собственные правила строгой бережливости. Она всегда бывала в дурном настроении, и у нее не проходило дня без ссор и взрывов бешеного гнева. Из своего окна она ругала соседей, выходявших на порог, уличных торговков, метельщиков и мальчишек, которые в отместку бегали за нею, когда она выходила на улицу, крича ей издали: «Старуха-грязнуха!»

Молоденькая служанка-нормандка, невероятно бестолковая, помогала по хозяйству и ночевала наверху у старухи – на всякий случай, чтобы не оставлять ее одну.

Когда Караван вернулся домой, жена его, одержимая хронической страстью наводить чистоту, полировала куском фланели красное дерево стульев, разбросанных по пустым комнатам. Она постоянно ходила в нитяных перчатках, носила на голове украшенный разноцветными лентами чепец, который то и дело съезжал на одно ухо, и твердила всякий раз, как ее заставляли с воском или щеткой, за утюгом или стиркой:

– Я не богата, у меня все очень скромно, но единственная моя роскошь – это чистота, и эта роскошь не уступает всякой другой.

Обладая твердым практическим умом, она во всем руководила мужем. Каждый вечер за столом, а потом в постели они подолгу разговаривали о служебных делах, и, несмотря на то что она была на двадцать лет моложе мужа, он поверял ей все, как своему духовнику, и во всем следовал ее советам.

Она и в молодости не отличалась красотой, а теперь – маленькая и сухощавая – была и вовсе уродлива. Благодаря неумению одеваться ее скудные женские прелести, которые мог бы выгодно оттенить хорошо подобранный костюм, всегда оставались незаметными. Юбки ее постоянно сползали набок; она часто почесывалась, не обращая внимания на то, где находится, и не стесняясь присутствующих. Это была нелепая привычка, граничившая с нервным тиком.

Единственным украшением, которое она себе позволяла, было обилие шелковых лент на вычурных чепчиках, которые она обычно носила дома.

Увидев мужа, она поднялась и, целуя его в бакенбарды, спросила:

– Ну как, мой друг, ты не забыл о Потене?

(Это было поручение, которое он обещал выполнить.) Но Караван упал на стул как сраженный: он опять забыл – уже в четвертый раз!

– Нет, это какой-то рок, – воскликнул он, – это какой-то рок! Ведь я думаю об этом весь день, а как наступает вечер, опять забываю!

Видя, что он удручен, жена его утешила:

– Ну ты вспомнишь об этом завтра, вот и все. Как в министерстве? Ничего нового?

– Есть большая новость: еще один «жестянщик» назначен помощником начальника.

Госпожа Караван сделалась серьезной:

– В каком отделе?

– В отделе заграничных закупок.

Она рассердилась:

– Значит, на место Рамона, то самое, на которое я рассчитывала для тебя! А как же Рамой? В отставку?

Муж пробормотал:

– Да, в отставку.

Она окончательно рассвирепела, и чепец ее съехал на плечо:

– Ну с этим, видно, придется кончать, в этой дыре тебе больше нечего делать! А как зовут твоего комиссара?

– Бонассо.

Она взяла морской ежегодник, который всегда держала под рукой, и, отыскав фамилию Бонассо, прочла: «Бонассо. Тулон. Родился в 1851 г. Младший помощник комиссара в 1871 г. С 1875 г. – помощник комиссара».

– А в плавании он когда-нибудь был, этот комиссар?

Ее вопрос развеселил Каравана. У него даже живот затрясся от смеха:

– Как Бален, совсем как его начальник Бален.

И, смеясь еще громче, он повторил старую шутку, которую в министерстве все находили замечательно остроумной:

– Их можно посылать ревизовать морскую станцию Пуандю-Жур только сухопутным путем; их даже на речном пароходике укачает.

Но жена, как будто не слыша, продолжала оставаться серьезной. В раздумье почесывая подбородок, она пробормотала:

– Если бы только иметь какого-нибудь знакомого депутата! Когда в Палате узнают обо всем, что здесь происходит, министр сразу вылетит...

Конец фразы заглушили крики, раздавшиеся на лестнице. Это Мария-Луиза и Филипп-Огюст возвращались с улицы, угощая друг друга на каждой ступеньке оплеухами и пинками. Мать яростно устремилась к ним навстречу и, схватив обоих за руки, втолкнула их в комнату, наградив изрядными подзатыльниками.

Увидев отца, дети тотчас бросились к нему. Он нежно и долго обнимал их, потом сел, усадил обоих к себе на колени и стал болтать с ними.

Филипп-Огюст был скверный мальчишка, растрепанный, грязный с головы до ног, с лицом кретина. Мария-Луиза уже напоминала мать, говорила так же, как она, повторяя ее слова, копируя даже ее жесты. Она тоже спросила:

– Что нового в министерстве?

Отец весело отвечал:

– Твой приятель Рамон, который каждый месяц у нас обедает, расстанется с нами, дочурка. На его место назначили нового помощника начальника.

Мария-Луиза посмотрела на отца и сказала сочувственным тоном не по летам взрослого ребенка:

– Значит, еще один перешел тебе дорогу.

Отец перестал смеяться и ничего не ответил. Потом, желая переменить разговор, обратился к жене, которая теперь протирала окна:

– А как там мамаша у себя? Здорова?

Г-жа Караван перестала работать, обернулась, поправила свой чепец, уже совсем было сползший на затылок, и дрожащими губами произнесла:

– Ах да, послушай-ка, что я тебе скажу про твою мать! Хорошую штуку она мне устроила! Представь себе, приходит к нам госпожа Лебоден, жена парикмахера, занять у меня коробку крахмала; меня не было дома, и твоя мать выгнала ее вон, обозвав при этом «попрошайкой». Ну и отчитала же я старуху! Она сделала вид, что не слышит, как всегда, когда ей говорят правду. Но поверь, она не более глуха, чем я. Все это одно притворство: недаром же она сразу, не говоря ни слова, ушла к себе наверх.

Караван смущенно молчал. В это время вбежала служанка и объявила, что обед подан. Тогда, желая позвать мать, Караван взял палку от метлы, всегда стоявшую в углу, и трижды постучал ею в потолок.

Все прошли в столовую, и госпожа Караван-младшая в ожидании свекрови стала разливать суп. Но старуха не приходила, и суп стыл. Тогда все потихоньку начали есть. Когда тарелки опу-

стели, они подождали еще. Разозленная госпожа Караван накинулась на мужа:

– Ты знаешь, что она это нарочно делает! А ты всегда за нее заступаешься.

Муж в сильном замешательстве, очутившись между двух огней, послал Марию-Луизу за бабушкой и стал ждать в неподвижной позе, не поднимая глаз, в то время как жена сердито постукивала концом ножа о ножку своей рюмки.

Вдруг дверь распахнулась, и в комнату вбежала девочка, бледная, едва переводя дух. Она быстро проговорила:

– Бабушка лежит на полу.

Караван сразу вскочил и, бросив салфетку на стол, устремился наверх. По лестнице громко застучали его тяжелые и быстрые шаги. Жена же, подозревая, что это просто злобная хитрость со стороны свекрови, не торопясь, пошла вслед за ним, презрительно пожимая плечами.

Старуха лежала ничком, распростертая во всю длину на полу посреди комнаты, и, когда сын повернул ее, они увидели ее неподвижное, высохшее лицо, с желтой и сморщенной, словно дубленой, кожей. Глаза ее были закрыты, зубы стиснуты, все худое тело казалось окостеневшим.

Караван, стоя подле нее на коленях, жалобно бормотал:

– Мама, бедная моя мама!

Но госпожа Караван-младшая, поглядев на нее с минуту, объявила:

– Пустое, у нее снова обморок, вот и все! И это только для того, чтобы помешать нам обедать, уверяю тебя.

Тело перенесли на кровать, раздели донага, и все – Караван, его жена, служанка – принялись растирать его. Но, несмотря на все их усилия, старуха не приходила в сознание. Тогда послали Розалию за «доктором» Шене. Он жил на набережной, около Сюренна. Это было далеко, и ждать пришлось долго. Он явился и, осмотрев, ощупав, выслушав старуху, объявил:

– Это конец.

Караван с судорожными рыданиями припал к телу матери. Он порывисто целовал ее застывшие черты, плача обильными слезами, которые крупными каплями падали на мертвое лицо.

Госпожа Караван-младшая, стоя позади мужа, в приступе подобающей случаю скорби испускала слабые стоны и усиленно терла глаза.

Караван с опухшим лицом, с растрепанными жидкими волосами, уродливый в своем искреннем горе, вдруг поднялся:

– Доктор, вы уверены?... Вы вполне уверены?...

Лекарь быстро подошел и, трогая труп с профессиональной ловкостью торговца, показывающего свой товар, сказал:

– Извольте, дорогой мой, посмотрите на глаза.

Он приподнял веко, и под пальцем показался глаз старухи, ничуть не изменившийся; разве только зрачок казался немного расширенным. Караван почувствовал удар в самое сердце, и ужас пронзил его до мозга костей. Шене поднял скрюченную руку, с усилием разогнул пальцы и сказал сердито, как бы бросая в лицо противнику:

– Взгляните-ка на эту руку. Я в таких случаях никогда не ошибаюсь, уж будьте покойны.

Караван снова припал к трупу, почти с воем, меж тем как его жена, не переставая всхлипывать, делала все необходимое. Она придвинула ночной столик и, покрыв его салфеткой, поставила на него четыре свечи, которые зажгла. Затем достала из-за зеркала над камином воткнутую там веточку букса и положила ее между свечами в тарелку, налив туда простой воды, так как освященной у нее не было. Подумав с минуту, она бросила в тарелку щепотку соли, вообразив, должно быть, что совершает этим нечто вроде освящения.

Проделав все церемонии, которыми принято обставлять смерть, она стала у кровати. Шене, помогавший ей в этих приготовлениях, сказал тихонько:

– Надо увести Каравана.

Она кивнула головой в знак согласия и, подойдя к мужу, который все еще плакал, стоя на коленях, подняла его за руку, а Шене подхватил его с другой стороны.

Сначала они усадили его на стул, и жена стала успокаивать, целуя в лоб. Лекарь, в свою очередь, приводил разные доводы, рекомендуя твердость, мужество, покорность судьбе – все то, что

трудно сохранить, когда на нас внезапно обрушивается подобное несчастье. Затем они снова взяли его под руки и увели из комнаты.

Он заливался слезами, как большой ребенок, судорожно всхлипывая, весь ослабев, свесив руки, шатаясь. Он спускался по лестнице, машинально волоча ноги, не сознавая, что делает.

Его усадили за стол в кресло, в котором он обычно сидел, перед почти пустой тарелкой, с ложкой, плававшей в остатках супа. Он сидел, не двигаясь, устремив глаза на свою рюмку, совершенно отупев.

Госпожа Караван в углу беседовала с доктором, расспрашивала относительно всяких формальностей, просила практических указаний. Наконец Шене, все время как будто ожидавший чего-то, взял свою шляпу и, сказав, что он еще не обедал, стал раскланиваться. Но госпожа Караван воскликнула:

– Как, вы еще не пообедали? Так останьтесь же, доктор, останьтесь! Мы накормим вас тем, что есть. Вы понимаете, конечно, что мы теперь все равно немного съедим.

Доктор отказывался с извинениями. Но она его не отпускала:

– Да право же, останьтесь. Большое счастье в такие минуты иметь около себя друзей. И, кроме того, может быть, удастся уговорить моего мужа немного подкрепиться: ему теперь так необходимо набраться сил.

Доктор поклонился и снова положил свою шляпу на стул.

– В таком случае я остаюсь, сударыня.

Она отдала распоряжения потерявшей голову Розалии, потом села к столу, чтобы, по ее словам, «сделать вид, что ест, и составить компанию доктору».

Снова принялись за остывший суп. Шене попросил вторую тарелку. После супа подали блюдо рубцов «по-лионски», распространявшее ароматный запах лука. Их решила съесть и госпожа Караван.

– Они превосходны! – сказал доктор.

Она улыбнулась:

– Не правда ли? – Затем обратилась к мужу: – Съешь и ты немножко, мой бедный Адольф, хотя бы только для того, чтобы желудок не был пуст. Подумай, ведь тебе предстоит еще целая ночь!

Он протянул свою тарелку так же послушно, как лег бы в постель, если бы ему это велели, готовый выполнить все беспрекословно, и без рассуждений принялся за еду.

Доктор три раза сам накладывал себе в тарелку, а госпожа Караван время от времени поддевала на вилку большой кусок и съедала его с деланной рассеянностью.

Когда появились макароны, доктор пробормотал:

– Черт возьми, хорошая штука!..

На этот раз госпожа Караван положила всем. Она наполнила даже блюдечки, в которых ковырялись дети, предоставленные самим себе; они пили неразбавленное вино и уже толкали друг друга под столом ногами.

Доктор Шене вспомнил, что макароны – это итальянское блюдо – очень любил Россини. И вдруг он воскликнул:

– Пойдите! Да ведь тут получается рифма. Ею можно начать стихотворение:

Маэстро Россини

Любил макарони.

Его никто не слушал. Госпожа Караван вдруг задумалась. Она взвешивала все возможные последствия события; а в это время муж ее катал шарики из хлеба, клал их затем на скатерть и пристально, с тупым видом глядел на них. Испытывая мучительную жажду, он беспрестанно подносил ко рту свой наполненный вином стакан. Его рассудок, уже расстроенный неожиданным потрясением и горем, заволокло туманом, и все кружилось в его голове, отяжелевшей от начавшегося утомительного процесса пищеварения.

Впрочем, доктор тоже лил в себя, как в бочку, и заметно пьянел. Даже г-жа Караван под влиянием

янием реакции, которая следует за всяким нервным потрясением, была возбуждена, растеряна и, несмотря на то что пила одну только воду, чувствовала, что в голове у нее все путается.

Шене стал рассказывать разные истории о покойниках, казавшиеся ему особенно забавными. В этом парижском предместье, заселенном провинциалами, наталкиваешься на свойственное крестьянину равнодушие к умершим, будь то даже родной отец или мать: на какое-то неуважение, бессознательную жестокость, столь обычную в деревне и столь редкую в Париже. Доктор говорил:

– Вот хотя бы на прошлой неделе – зовут меня на улицу Пюто. Прихожу и вижу: больной умер, а у его кровати родные преспокойно допивают бутылку анисовки, купленную накануне, чтобы удовлетворить прихоть умирающего.

Но госпожа Караван, занятая мыслями о предстоящем наследстве, не слушала, а опустошенный мозг ее мужа не воспринимал ничего.

Подали кофе, сваренное покрепче для поддержания бодрости. С каждой чашкой, приправленной коньяком, все ярче алели щеки и мешались последние мысли в уже отуманенных головах. Потом доктор, схватив вдруг бутылку с коньяком, налил всем, «чтобы прополоскать глотку». И, не разговаривая, осоловев от приятной теплоты, вызываемой перевариванием пищи, невольно проникшись тем ощущением животного наслаждения, которое вызывает алкоголь после еды, они медленно прихлебывали подслащенный коньяк, образовавший на дне чашек желтоватый сироп.

Дети заснули, и Розалия их уложила. Караван из бессознательной потребности забыться, свойственной всем несчастным, несколько раз подливал себе коньяку, и в его мутных глазах появился блеск.

Доктор наконец поднялся и, взяв своего приятеля под руку, сказал:

– Давайте пройдемся. Вам будет полезно немного проветриться. Когда у человека неприятности, ему не следует сидеть на одном месте.

Караван послушно надел шляпу, взял трость и вышел с доктором. Рука об руку при блеске звезд они зашагали по направлению к Сене.

Теплая ночь была напоена благоуханием, так как все окрестные сады в это время года были полны цветов, и их ароматы, дремавшие днем, казалось, пробуждались с наступлением вечера и разносились в сумраке, смешиваясь с легким дыханием ветра.

Широкая улица с двумя рядами газовых фонарей, тянувшимися до самой Триумфальной арки, была нема и пустынна. Но там, вдали, в красноватом тумане, шумел Париж. Шум его походил на непрерывный грохот, и как бы в ответ по временам, издали, в полях, свистел поезд, мчавшийся на всех парах к Парижу или уносившийся через провинцию к океану.

В первый момент от свежего воздуха, неожиданно ударившего в лицо им обоим, доктор чуть не потерял равновесие, а у Каравана усилилось головокружение, которое появлялось у него после обеда. Он шел как во сне, с онемевшим, словно парализованным рассудком, не ощущая больше острой боли, в каком-то душевном оцепении, не дававшем ему страдать; он испытывал даже какое-то облегчение, которое еще усиливалось от теплого дыхания ночи. Дойдя до моста, они свернули направо, и река дохнула им в лицо свежестью. Она текла, грустная и спокойная, перед стеной высоких тополей, и звезды, казалось, плыли по воде, колеблемые течением. Тонкий беловатый туман, колыхавшийся над откосом противоположного берега, вливал в легкие влажный воздух. Караван вдруг остановился, пораженный этим запахом реки, расшевелившим в его душе воспоминания далекого прошлого.

Он вдруг снова увидел свою мать такой, какой она была когда-то, во времена его детства. Вот она на коленях у их дома, там, в Пикардии, стирает в ручейке, бегущем через сад, белье, сложенное в тазу тут же, подле нее. Он слышал стук ее валька среди мирной деревенской тишины, ее голос, звавший его:

– Альфред, принеси мне мыло.

Он вспомнил: тогда так же, как сейчас, пахло рекой, такой же вставал туман над влажной землей – тот болотный пар, вкус которого он не забыл до сих пор и снова ощутил сегодня, как раз в тот самый вечер, когда мать его умерла. Он остановился, застыв в новом приливе неистового отчаяния. Словно молния озарила вдруг всю глубину его несчастья. Это коснувшееся его мимолетное дуновение ввергло его в черную бездну беспросветной скорби. Он чувствовал, что сердце у

него разрывается при мысли о вечной разлуке. Жизнь его раскололась надвое: вся молодость исчезла с этой смертью. С прошлым все кончено. Рассеялись все воспоминания юности; не с кем будет больше говорить о давнишнем, о людях, которых он знал когда-то, о родных местах, о себе самом, об интимной стороне его прежней жизни. Половина его души перестала существовать. Теперь была очередь за второй половиной.

И вот перед ним промелькнули образы прошлого. Он снова видел маму молодой, в ее поношенных платьях, которые она носила так долго, что они казались неотделимыми от ее тела. Он вспоминал тысячу забытых подробностей: стершиеся было в памяти выражения ее лица, ее жесты, интонации, привычки, ее причуды, вспышки гнева, морщины на ее лице, движения ее худых пальцев, все знакомые позы, которых он никогда больше не увидит.

И, цепляясь за доктора, он выпускал стоны. Его слабые ноги дрожали, все его грузное тело тряслось от рыданий, и он шептал:

– Мама, бедная мама, бедная мама!..

Но его спутник, все еще пьяный, мечтавший закончить вечер в одном из тех мест, которые он тайно посещал, и тяготившийся этим острым приступом горя, усадил его у берега на траву и почти тотчас же ушел под предлогом, что ему нужно навестить больного.

Караван плакал долго. Потом, когда слезы его иссякли, когда вся боль, можно сказать, вылилась вместе с ними, он снова почувствовал облегчение, покой, внезапное умиротворение.

Взошла луна. Она заливала небосклон своим мягким светом. По высоким прямым тополям скользили серебряные блики, и туман над равниной казался колеблющейся снежной пеленой. Река, по которой звезды теперь уже не плыли, была словно покрыта перламутром и продолжала течь, сверкая зыбью. Воздух был теплый, ветерок доносил благоухание. Сон земли был исполнен неги, и Караван впивал эту сладость ночи. Он дышал глубоко и, казалось, ощущал, как проникает в него до самой глубины свежесть, спокойствие, неземная отрада.

Он, однако, боролся с этим охватившим его чувством блаженства, мысленно повторяя: «Мама, бедная мама!» Он пытался заплакать, считая это как бы долгом порядочного человека, но слез больше не было; и не было больше печали в тех мыслях, которые только что заставляли его так сильно рыдать.

Тогда он поднялся, чтобы идти домой. Он шел медленно, среди равнодушного покоя безмятежной природы, с сердцем, умиротворенным против его воли.

Дойдя до моста, он увидел фонарь последнего отходящего трамвая, а за ним – освещенные окна кафе «Глоб». Тогда у него явилась потребность рассказать кому-нибудь о своем несчастье, вызвать сочувствие и интерес к себе. Он сделал печальное лицо, распахнул дверь кафе и подошел к стойке, за которой, как всегда, восседал хозяин. Он рассчитывал произвести эффект, ожидал, что все встанут, подойдут к нему с протянутыми руками: «Что такое с вами?»

Но никто не обратил внимания на его расстроенный вид. Тогда он облокотился на стойку и, сжимая лоб руками, пробормотал: «О, боже мой, боже мой!..»

Хозяин посмотрел на него:

– Вы нездоровы, господин Караван?

Он отвечал:

– Нет, мой друг, у меня только что умерла мать.

Тот рассеянно бросил: «А!» – и, так как в эту минуту в глубине кафе кто-то из посетителей крикнул: «Кружку пива!», он отозвался громовым голосом: «Сейчас!» – и бросился туда, оставив ошеломленного Каравана.

За тем же столом, за которым он видел их перед обедом, трое любителей домино, неподвижные и сосредоточенные, все еще продолжали свою игру. Караван подошел к ним, ища сочувствия. Так как никто из них, видимо, его не замечал, он решился заговорить:

– У меня только что случилось большое несчастье, – сказал он.

Все трое одновременно подняли головы, не отрывая глаз от костяшек, которые они держали в руках.

– Неужели? А что такое?

– Умерла моя мать.

Один пробормотал: «Ах, черт возьми!» – с тем притворно огорченным видом, за которым скрывается равнодушие. Другой, не находя что сказать, покачал головой и издал какой-то печальный свист. Третий снова принялся за игру, как бы выражая своим видом: «Только всего!»

Караван ожидал каких-нибудь слов, что называется, «идущих от сердца». После такого приема он удалился, негодуя на равнодушие этих людей к горю друга, хотя горе это сейчас уже настолько притупилось, что он почти не чувствовал его больше. И он вышел из кафе. Жена в ночной рубашке дожидалась его на низком стуле у открытого окна, все еще занятая мыслями о наследстве.

– Раздевайся, – сказала она. – Мы поговорим, когда ляжем в постель.

Он поднял голову и указал глазами на потолок:

– Но... там наверху... никого нет.

– Извини, пожалуйста. Розалия около нее, а в три часа ты ее сменишь, после того как поспишь немного.

Он все-таки остался в кальсонах, чтобы быть готовым на всякий случай, обвязал голову платком и последовал за женой, уже скользнувшей под одеяло.

Некоторое время они молча сидели рядом на постели. Она о чем-то размышляла.

Даже в эти часы ее чепчик был украшен розовым бантом; и по непреодолимой привычке всех чепцов, которые она носила, он немного сползал на одно ухо.

Вдруг она повернулась к мужу:

– Скажи, ты не знаешь, твоя мать составила завешание?

Он ответил запинаясь:

– Нет... не... не думаю... Нет, вероятно, не составила.

Госпожа Караван посмотрела мужу в глаза и сказала тихо и злобно:

– Это гнусность, понимаешь! Десять лет мы из кожи лезли, заботясь о ней, держали ее у себя, кормили. Небось твоя сестрица не стала бы столько делать для нее! Да и я бы не стала, если б знала, как меня за это отблагодарят. Это позор для ее памяти! Ты скажешь, что она платила за себя? Это верно. Но за заботы детей не платят деньгами – за них вознаграждают после смерти в завещании. Вот как поступают порядочные люди. А что я получила за мои труды и хлопоты? Нет, это мерзко, прямо-таки мерзко!

Караван растерянно повторял:

– Но, дорогая... дорогая... прошу тебя... умоляю...

В конце концов она успокоилась и уже обычным тоном сказала:

– Завтра утром нужно будет известить твою сестру.

Он подскочил:

– Да, правда, я не подумал об этом! Как только рассветет, пошлю телеграмму.

Но она как человек, уже заранее все обдумавший, остановила его:

– Нет, отправь ее между десятью и одиннадцатью часами, чтобы у нас было время управиться до ее приезда. Из Шарантона сюда ехать часа два, не больше. Мы скажем ей, что ты совсем потерял голову. Если послать телеграмму с утра, то мы не успеем все устроить.

Но тут Караван ударил себя по лбу и сказал робким голосом, каким он всегда говорил о своем начальстве, так как самая мысль о нем приводила его в трепет:

– Нужно также дать знать и в министерство.

Жена возразила:

– К чему? В таких случаях забывчивость прощается. Не предупреждай заранее, послушайся меня. Твой начальник ничего не сможет сказать, и ты поставишь его в затруднительное положение.

– Это верно, – согласился муж. – И разозлится же он, когда увидит, что я не пришел! Да, ты права, это замечательная мысль... Когда я потом объясню ему, что у меня умерла мать, он вынужден будет молчать.

И чиновник, заранее восхищенный этой забавной проделкой, потирал руки, представляя себе физиономию своего начальника. А наверху в это время лежало тело старухи, рядом с заснувшей служанкой.

Госпожа Караван имела озабоченный вид, словно поглощенная какой-то мыслью, которую ей трудно было высказать. Наконец она решилась.

– Твоя мать ведь подарила тебе свои часы, не правда ли, ту девушку с бильбоке?

Караван порылся в памяти и ответил:

– Да, да, она мне говорила, но это было давным-давно, когда она только приехала сюда. Она сказала: «Вот эти часы достанутся тебе, если ты будешь хорошенько заботиться обо мне».

Госпожа Караван, успокоенная, просияла:

– Ну тогда, знаешь что, надо за ними сходить, иначе, когда твоя сестра придет, она помешает нам их взять.

Но муж колебался:

– Ты думаешь?...

Она рассердилась.

– Конечно, думаю. Никто не увидит и не услышит, а когда они будут здесь – они наши. И то же самое с комодом, который стоит у нее в комнате, – тот, что с мраморной доской. Она мне его подарила как-то в добрую минуту. Заодно мы снесем и его вниз.

Караван слушал с нерешительным видом:

– Но знаешь, милая, это большая ответственность.

Она в ярости повернулась к нему:

– Ах вот как! Ты, видно, никогда не переменишься. Ты скорее позволишь своим детям умереть с голоду, чем пошевелишь пальцем. Раз она мне подарила этот комод, значит, он наш, ведь так? А если это не понравится твоей сестре, пусть она поговорит со мной. Плевать я хочу на нее. Ну вставай, и сейчас же перенесем сюда все, что твоя мать нам подарила.

Покорный, дрожащий, Караван встал с постели и хотел было надеть брюки, но жена не позволила ему:

– Не стоит одеваться, иди в кальсонах, этого достаточно. Я тоже пойду так, как есть.

И оба в ночных туалетах бесшумно поднялись по лестнице, осторожно открыли дверь и вошли в комнату, где четыре свечи, горевшие над тарелкой и освященной веткой букса, казалось, одни охраняли суровый покой умершей. Розалия, раскинувшись в кресле, вытянув ноги и скрестив руки на животе, склонив набок голову, с открытым ртом, спала, тихо похрапывая.



Караван взял часы. Это была одна из аляповатых вещей, которые оставило нам во множестве искусство времен Империи. Девушка из золоченой бронзы, с головой, украшенной цветами, держала в руке бильбоке, шарик которого служил маятником.

– Дай это мне, – сказала госпожа Караван, – а ты возьми мраморную доску с комода.

Он повиновался и, пытаясь, с трудом взвалил доску себе на плечо.

Супруги двинулись обратно. В дверях муж нагнулся и стал спускаться вниз, сотрясая лестницу, а жена, пятясь задом, одной рукой освещала ему путь, а другой придерживала под мышкой часы.

Очутившись у себя в комнате, она испустила глубокий вздох.

– Главное сделано, – сказала она, – теперь пойдем за остальным.

Но ящики комода были доверху полны разным скарбом старухи.

Все это нужно было куда-нибудь уложить.

Госпожа Караван нашла выход из положения:

– Пойди-ка принеси сосновый сундук, что стоит в передней. Его можно поставить здесь, он не стоит и сорока су.

И, когда сундук был принесен, началось перекалывание. Они вынимали вещь за вещь: манжеты, воротнички, рубашки, чепцы – все убогие наряды старухи, лежавшей тут же, за их спинами, и укладывали их в деревянный сундук в строгом порядке, так, чтобы обмануть госпожу Бро (дочь покойной), которая должна была приехать на следующий день.

Уложив все, они снесли вниз сначала ящики, а потом и самый комод, держа его с двух сторон. Оба долго выбирали, куда лучше всего его поставить. Решили – в спальне, в простенке между окнами, напротив кровати.

Как только комод был водворен на место, госпожа Караван наполнила его своим собственным бельем. Часы поставили на камине в столовой. Супруги проверили получившийся эффект. Оба пришли в восторг.

– Отлично выглядят, – сказала жена.

Муж подтвердил:

– Да, отлично.

Потом они улеглись, и г-жа Караван потушила свечу. Скоро на обоих этажах все погрузилось в сон.

Было уже совсем светло, когда Караван проснулся. В голове у него стоял туман, и о вчерашнем событии он вспомнил только спустя несколько минут. Это воспоминание больно ударило его в сердце, и он вскочил с постели, снова расстроенный, готовый заплакать.

Он торопливо поднялся наверх в комнату матери, где Розалия все еще спала в той самой позе, в какой заснула накануне, ни разу не проснувшись за всю ночь. Он отослал ее вниз, так как ей пора было приниматься за работу, заменил догоревшие свечи новыми и стал смотреть на мать. В голове его проходили те мнимо глубокие мысли, религиозные и философские банальности, которые посещают ограниченный ум перед лицом смерти.

Но жена позвала его – и он сошел вниз. Госпожа Караван записала все, что нужно было сделать этим утром, и подала мужу список, который привел его в ужас.

Он прочел:

- 1) Заявить в мэрию.
- 2) Вызвать врача, чтобы он засвидетельствовал смерть.
- 3) Заказать гроб.
- 4) Сходить в церковь.
- 5) В бюро похоронных процессий.
- 6) В типографию – заказать извещения.
- 7) К нотариусу.
- 8) На телеграф – известить родственников.

К этому еще множество мелких поручений. Он взял шляпу и вышел.

Между тем весть о смерти распространилась, и соседки стали приходить поглядеть на покойницу.

В нижнем этаже, у парикмахера, из-за этого даже произошла сцена между мужем и женой, в то время как он брил одного посетителя.

Жена, вязавшая чулок, пробормотала:

– Вот еще одной не стало. И скряга же была, немного таких найдется. По правде сказать, я не очень-то ее любила. А все-таки надо будет сходить посмотреть на нее.

Муж, намыливая подбородок клиенту, проворчал:

– Вот еще фантазия! Только женщины и способны на это. Мало того что надоедают вам всю жизнь, даже после смерти не могут оставить в покое.

Но жена, не смущаясь, возразила:

– Нет, не выдержу, пойду. Мне это с утра не дает покоя. Если мне ее не придется увидеть, то я, верно, стану думать об этом всю жизнь. А вот посмотрю на нее хорошенько, чтобы запомнить лицо, и тогда успокоюсь.

Брадобрей пожал плечами и обратился к господину, которому скоблил щеку:

– Ну скажите, пожалуйста, какие только мысли не приходят в голову этим проклятым бабам! Вот уж не стал бы я для развлечения ходить смотреть мертвецов.

Но жена, услышав его слова, ответила все так же спокойно:

– Ничего не поделаешь, ничего не поделаешь.

И, положив свое вязанье на прилавок, пошла в верхний этаж. Там уже были две соседки, беседовавшие о событии с г-жой Караван, которая рассказывала им всякие подробности.

Все отправились в комнату умершей. Четыре женщины вошли на цыпочках одна за другой, окропили одеяло соленой водой из тарелки, опустили на колени, перекрестились, шепча молитву, потом, встав, расширенными глазами, полуоткрыв рты, долго созерцали труп, в то время как невестка покойной, закрыв лицо платком, делала вид, что отчаянно рыдает.

Повернувшись, чтобы выйти, она заметила Марию-Луизу и Филиппа-Огюста в одних рубашонках, с любопытством выглядывавших из-за дверей. Сразу забыв о своей притворной печали,

она набросилась на них, замахнувшись рукой, крича сердито:

– Марш отсюда, сорванцы!

Десять минут спустя, придя наверх с новой партией соседок, снова побрызгав веткой на тело свекрови, помолившись, поплавав, проделав все, что полагается, она увидела, что дети опять стоят тут же, позади нее. Для очистки совести она дала им по шлепку, но в дальнейшем уже больше не обращала на них внимания. И при каждом приходе посетителей оба малыша неизменно присутствовали, так же, как взрослые, становились в уголке на колени и в точности повторяли все, что у них на глазах проделывала мать.

После полудня толпа любопытных поредела. Скоро совсем перестали приходить. Госпожа Караван, возвратившись к себе, занялась приготовлениями к похоронам. Мертвая осталась одна.

Окно в комнате было открыто. В него проникала палящая жара и клубы пыли. Пламя четырех свечей колебалось рядом с неподвижным телом. А по одеялу, по лицу с закрытыми глазами, по вытянутым рукам ползали мухи, улетали, опять прилетали, прохаживались, не переставая навещать старуху в ожидании, когда наступит их час.

Мария-Луиза и Филипп-Огюст ушли на улицу побегать. Их тотчас окружили товарищи, главным образом девочки, которые быстрее развиваются и раньше догадываются о всех тайнах жизни. Они расспрашивали, как взрослые:

– У тебя умерла бабушка?

– Да, вчера вечером.

– А какие они бывают, покойники?

И Мария-Луиза объясняла, рассказывала о свечах, о ветке, о лице. Тогда в детях пробудилось любопытство, и они попросили свести и их также посмотреть на покойницу.

Мария-Луиза тут же организовала первую экскурсию из пяти девочек и двух мальчиков – самых взрослых и самых отважных из всех. Она заставила их снять башмаки, для того чтобы никто их не заметил. Компания прокралась в дом и шмыгнула наверх проворно и неслышно, как стая мышей.

В комнате Мария-Луиза, подражая матери, выполнила весь церемониал. Она торжественно ввела своих товарищей, опустилась на колени, перекрестилась, пошептала губами, встала, побрызгала постель, и, в то время как дети, сбившись в кучу, подходили со страхом, любопытством и восхищением посмотреть на лицо и руки умершей, она вдруг принялась притворно всхлипывать, закрыв глаза платком. Потом, сразу утешившись при мысли о тех, кто ожидал снаружи, она убежала; уведя всех, она привела тотчас же вторую группу, потом третью. Детвора всего околотка, вплоть до маленьких нищих в лохмотьях, сбежалась на это новое развлечение. И девочка всякий раз копировала в совершенстве все кривляния матери.

В конце концов она устала. Детей отвлекла другая игра – они убежали. И старая бабушка осталась одна, окончательно забытая всеми.

Сумерки наполнили комнату, и дрожащее пламя свечей играло светлыми бликами на сухом морщинистом лице.

Около восьми часов Караван поднялся наверх, закрыл окно и переменял свечи. Он входил теперь спокойно, уже привыкнув смотреть на труп, как будто он лежал здесь целые месяцы. Он даже обратил внимание на то, что до сих пор совсем не заметно тления, и сказал об этом жене, когда они сажались обедать. Жена ответила:

– Да ведь она суха, точно дерево, и год пролежала бы.

Суп съели в полном молчании. Дети, которые весь день носились на свободе, усталые, дремали на стульях, и никто не говорил ни слова.

Вдруг лампа начала гаснуть. Госпожа Караван сейчас же подняла фитиль, но лампа гулко затрещала, захрипела и потухла. Забыли купить керосину! Идти в лавку значило задержать обед. Стали искать свечей. Но их не было больше, кроме тех, которые горели наверху на ночном столике.

Госпожа Караван, скорая на решения, тотчас послала Марию-Луизу взять оттуда две свечи. И все стали ждать в темноте.

Сначала явственно слышались шаги девочки, поднимавшейся по лестнице. Потом на не-

сколько секунд наступила тишина, и вдруг девочка поспешно спустилась вниз.

Она появилась в дверях, перепуганная, еще более взволнованная, чем накануне, когда она возвестила о несчастье, и прошептала, задыхаясь:

– Ой, папа, бабушка одевается!

Караван вскочил так стремительно, что стул отлетел к стене. Он пролепетал:

– Что? Что ты говоришь?

Но Мария-Луиза, захлебываясь от волнения, все твердила:

– Ба... ба... бабушка одевается, она идет сюда!

Караван как безумный бросился вверх по лестнице, за ним – ошеломленная жена. Но у двери на третьем этаже он остановился, дрожа от страха, не решаясь войти. Что его ждет там?

Госпожа Караван, более смелая, повернула ручку двери и вошла.

В комнате, казалось, стало еще темнее. И посредине шевелилась высокая худая фигура. Старуха была на ногах!

Проснувшись от летаргического сна, она, даже еще не вполне придя в сознание, повернулась набок и, приподнявшись на локте, задула три свечи из тех, что горели у ее смертного ложа. Затем, набравшись сил, она встала и хотела достать свою одежду. Сначала исчезновение комода ее озадачило, но мало-помалу она разыскала свои вещи в деревянном сундуке и спокойно оделась. После этого она выпила воду из тарелки, засунула ветку снова за зеркало, расставила стулья по местам и собиралась сойти вниз, когда перед ней появились сын и невестка.

Со слезами на глазах Караван бросился к ней, схватил ее за руки, поцеловал. Жена, стоя за ним, повторяла с лицемерным видом:

– Какое счастье! Какое счастье!

Но старуха, ничуть не растроганная, как будто даже ничего не понимала, неподвижная, как статуя, с ледяным взглядом, спросила только:

– Скоро будет обед?

Караван пролепетал, совсем растерявшись:

– Да, да, мама, мы ждали тебя.

С непривычной услужливостью он взял ее под руку, а госпожа Караван-младшая схватила свечу, чтобы осветить им, и, пятясь перед ними, стала шаг за шагом спускаться с лестницы, совершенно так же, как спускалась прошлой ночью впереди мужа, несшего мраморную доску. Дойдя до второго этажа, она чуть не столкнулась с людьми, которые поднимались наверх. Это были приехавшие из Шарантона госпожа Бро с мужем. Госпожа Бро, высокая, толстая, с большим, словно от водянки раздувшимся животом, заставлявшим ее откидывать назад туловище, в ужасе раскрыла глаза, готовая бежать.

Муж ее, сапожник, социалист, маленький человек, заросший волосами чуть не до самых глаз и сильно напоминавший обезьяну, равнодушно буркнул:

– Вот как. Она воскресла?

Узнав их, госпожа Караван стала делать им отчаянные знаки. Потом громко воскликнула:

– Ах, это вы? Какая приятная неожиданность!

Но ошеломленная госпожа Бро ничего не могла понять. Она ответила вполголоса:

– Да ведь мы приехали из-за вашей телеграммы, мы думали – все кончено.

Стоявший сзади муж щипал ее, чтобы заставить ее замолчать. Он заметил, ехидно усмехаясь в свою густую бороду:

– С вашей стороны было очень любезно пригласить нас. Вот мы сейчас же и приехали!

Это был намек на давнишнюю вражду между двумя семействами.

Старуха в это время сошла уже на последние ступеньки. Зять живо бросился ей навстречу и потерялся о ее щеки своим заросшим шерстью лицом, крича ей на ухо, так как она была глуха:

– Ну, как, мамаша, все в порядке? Все таким же молодцом, а?

Госпожа Бро, увидев живой и здоровой ту, кого она ожидала застать мертвой, так оторопела, что не решалась даже обнять мать. Ее огромный живот загородил всю площадку, мешая остальным пройти вперед.

Старуха беспокойно и подозрительно, но все еще не говоря ни слова, оглядывала всех вокруг

себя. Взгляд ее маленьких серых глаз, жесткий и пытливый, останавливался то на одном, то на другом, и в нем ясно читались мысли, неприятно смущавшие детей.

Караван сказал в виде пояснения:

– Она немножко прихворнула, но теперь она поправилась, совсем поправилась – не так ли, матушка?

Старуха, двинувшись дальше, ответила слабым голосом, словно доносящимся издалека:

– Это был просто обморок. Я все слышала.

Наступило смущенное молчание. Все прошли в столовую.

Потом принялись за обед, состряпанный в несколько минут.

Один лишь Бро сохранял свой апломб. Лицо его, похожее на лицо злой гориллы, подергивалось гримасами. Он отпускал двусмысленные словечки, явно смущавшие всех.

В передней поминутно звонил колокольчик, и растерянная Розалия вызывала Каравана, который спешил туда, бросив салфетку. Его шурин даже осведомился, не приемный ли день у него сегодня. Тот пробормотал в ответ:

– Нет, так, все по разным делам, всякие мелочи.

Потом принесли пакет. Караван рассеянно вскрыл его, и оттуда выглянули извещения с черной каймой. Покраснев до ушей, он снова завернул пачку карточек и сунул ее в карман. Впрочем, его мать этого не заметила: она пристально смотрела на свои часы, золоченое бильбоке которых покачивалось на камине. И тягостное смущение все нарастало среди ледяного молчания.

Наконец старуха повернула к дочери свое сморщенное лицо ведьмы и со злорадным огоньком в глазах сказала:

– В понедельник привези твою дочурку, я хочу ее повидать.

Госпожа Бро, просияв, воскликнула:

– Хорошо, мама!

А госпожа Караван-младшая побледнела и с досады чуть не лишилась чувств.

Мужчины между тем постепенно разговорились. По какому-то поводу между ними завязался спор о политике; Бро защищал идеи революционеров и коммунистов, бесновался, глаза его на волосатом лице сверкали, он выкрикивал:

– Собственность, милостивый государь, – это обкрадывание рабочего народа. Земля принадлежит всем. Наследство – это постыдная гнусность!

Но тут он вдруг смущенно запнулся, как человек, спохватившийся, что сказал глупость. Затем, уже более мягко, он прибавил:

– Впрочем, сейчас не время спорить об этом.

Дверь отворилась. Появился доктор Шене. В первую минуту он растерялся, но затем быстро овладел собой и подошел к старухе:

– А, мамаша! Сегодня вы уже молодцом? О, я это предвидел, поверьте! Вот только сейчас, поднимаясь по лестнице, я говорил себе: «Держу пари, что старушка наша уже на ногах». – И он легонько похлопал ее по спине. – Она крепка, как Новый мост. Она еще нас переживет, вот увидите.

Он уселся, взял кофе, который ему предложили, и тотчас же вмешался в разговор обоих мужчин, поддерживая Бро, так как он и сам принимал некоторое участие в Коммуне.

Старуха, почувствовав усталость, захотела уйти. Караван поспешил к ней. Она пристально посмотрела ему в глаза и сказала:

– Сейчас же отнеси наверх мой комод и часы.

Затем, после того как он, заикаясь, пролепетал: «Хорошо, мама», – она взяла под руку дочь и вышла с нею.

Супруги Караван остались на месте, растерянные, безмолвные и оглушенные обрушившимся на них ужасным несчастьем, между тем как Бро потирал руки, прихлебывая свой кофе.

Вдруг госпожа Караван, обезумев от гнева, накинулась на него с воплями:

– Вы – вор, мошенник, негодяй, я плюю в вашу гнусную рожу, я вам... я вас...

Она задыхалась, не находя слов. А он, посмеиваясь, пил кофе.

Тут как раз вернулась его жена, и госпожа Караван набросилась теперь на невестку. Обе

женщины – одна с огромным, страшным животом, другая худая, эпилептического вида, с трясущимися руками, не своим голосом крича во все горло, – осыпали друг друга градом ругательств.

Вмешались Шене и Бро, и последний, подталкивая свою половину за плечи, выводил ее из комнаты, крича:

– Перестань, дура, ты уж слишком разошлась.

Слышно было, как они на улице, удаляясь, все еще перебранивались.

Доктор Шене тоже ретировался.

Супруги остались наедине.

Тогда, обливаясь холодным потом, Караван упал на стул, шепча:

– Что же я скажу теперь своему начальнику?

ПОЕЗДКА ЗА ГОРОД

Позавтракать в окрестностях Парижа в день имении г-жи Дюфур, которую звали Петронилла, было решено уже за пять месяцев вперед. А так как этой увеселительной поездки ожидали с нетерпением, то в это утро все поднялись спозаранку.

Г-н Дюфур, заняв у молочника его повозку, правил лошадью собственноручно. Двухколесная тележка была очень чистенькая; у нее имелся верх, поддерживаемый четырьмя железными прутьями, и к нему прикреплялись занавески, но их приподняли, чтобы любоваться пейзажем. Только одна задняя занавеска развевалась по ветру, как знамя. Жена, сидя рядом с мужем, так и сияла в шелковом платье невиданного вишневого цвета. За нею на двух стульях поместились старая бабушка и молоденькая девушка. Виднелась, кроме того, желтая шевелюра какого-то малого: сидеть ему было не на чем, и он растянулся на дне тележки, так что высывалась одна его голова.

Проехав по проспекту Елисейских полей и миновав линию укреплений у ворот Майо, принялись разглядывать окружающую местность:

Когда доехали до моста в Нельи, г-н Дюфур сказал:

– Вот наконец и деревня!

И по этому сигналу жена его стала восхищаться природой.

На круглой площадке Курбеуа они пришли в восторг от широты горизонта. Направо был Аржантей с подымавшейся ввысь колокольной; над ним виднелись холмы Саннуа и Оржемонская мельница. Налево в ясном утреннем небе вырисовывался акведук Марли, еще дальше можно было разглядеть Сен-Жерменскую террасу; прямо против них, за цепью холмов, взрытая земля указывала на местоположение нового Кормельского форта. А совсем уж вдаль, очень далеко, за равнинами и деревнями, виднелась темная зелень лесов.

Солнце начинало припекать; пыль то и дело попадала в глаза. По сторонам дороги развертывалась голая, грязная, зловонная равнина. Здесь словно побывала проказа, опустошив ее, обглодав и самые дома – скелетообразные остовы полуразрушенных и покинутых зданий или недостроенные из-за невыплаты денег подрядчикам лачуги, простиравшие к небу четыре стены без крыши.

Там и сям из бесплодной земли вырастали длинные фабричные трубы; то была единственная растительность этих гнилых полей, по которым весенний ветерок разносил аромат керосина и угля с примесью некоего другого, еще менее приятного запаха.

Наконец вторично переехали через Сену, и на мосту все пришли в восторг. Река искрилась и сверкала; над нею подымалась легкая дымка испарений, поглощаемых солнцем; ощущался сладостный покой, благотворная свежесть; можно было наконец подышать более чистым воздухом, не впитавшим в себя черного дыма фабрик и миазмов свалок.

Прохожий сообщил, что эта местность называется Безонс.

Экипаж остановился, и г-н Дюфур принялся читать заманчивую вывеску харчевни: «Ресторан Пулена, вареная и жареная рыба, отдельные кабинеты для компаний, беседки и качели».

– Ну, как, госпожа Дюфур, устраивает это тебя? Решай!

Жена, в свою очередь, прочитала: «Ресторан Пулена, вареная и жареная рыба, отдельные кабинеты для компаний, беседки и качели». Затем она внимательно оглядела дом.

То был деревенский трактир, весь белый, построенный у самой дороги. Сквозь растворенные

двери виднелся блестящий цинковый прилавок, перед которым стояли двое одетых по-праздничному рабочих.

Наконец г-жа Дюфур решилась.

– Здесь хорошо, – сказала она, – и к тому же отсюда красивый вид.

Экипаж въехал на широкую, обсаженную высокими деревьями лужайку позади трактира, отделенную от Сены лишь береговой полосой.

Все слезли с тележки. Муж соскочил первым и раскрыл объятия, чтобы принять жену. Подножка, прикрепленная на двух железных прутьях, была помещена очень низко; чтобы до нее дотянуться, г-же Дюфур пришлось показать нижнюю часть ноги, первоначальная стройность которой теперь исчезла под наплывом жира, наполнившего с ляжек.

Деревня уже начала приводить г-на Дюфура в игривое настроение: он проворно ущипнул супругу за икры и, взяв ее под мышки, грузно опустил на землю, точно огромный тюк.

Она похлопала руками по шелковому платью, чтобы стряхнуть пыль, и огляделась вокруг.

Это была женщина лет тридцати шести, дородная, цветущая, приятная на вид. Ей было трудно дышать от слишком туго затянутого корсета; колышущаяся масса ее необъятной груди, стиснутая шнуровкой, подымалась до самого двойного подбородка.

За нею, опершись рукою о плечо отца, легко спрыгнула девушка. Желтоволосый малый стал одною ногой на колесо, вылез сам и помог г-ну Дюфуру выгрузить бабушку.

После этого распрягли лошадь и привязали ее к дереву, а тележка упала на передок, уткнувшись оглоблями в землю. Мужчины, сняв сюртуки и вымыв руки в ведре с водою, присоединились к дамам, уже разместившимся на качелях.

М-ль Дюфур пробовала качаться стоя, одна, но ей не удавалось придать качелям достаточный размах. Это была красивая девушка лет восемнадцати-двадцати, одна из тех женщин, при встрече с которыми на улице вас словно хлестнет внезапное желание, оставив до самой ночи в каком-то смутном беспокойстве и чувственном возбуждении. Она была высокая, с тонкой талией и широкими бедрами, с очень смуглой кожей, с огромными глазами и черными как смоль волосами. Платье отчетливо обрисовывало тугие округлости ее тела, и их еще более подчеркивали движения бедер, которые она напрягала, чтобы раскачаться. Ее вытянутые руки держались за веревки над головой, и грудь плавно вздымалась при всяком толчке, который она давала качелям. Шляпа, сорванная порывом ветра, упала позади нее. Качели мало-помалу приобрели размах, открывая при каждом подъеме ее стройные ноги до колен и овевая лица обоих улыбавшихся мужчин дуновением ее юбок, пьянящим сильнее винных паров.

Сидя на других качелях, г-жа Дюфур монотонно и непрерывно стонала:

– Сиприен, подтолкни меня! Подтолкни же меня, Сиприен!

Наконец муж подошел к ней, засучив рукава, словно для нелегкой работы, и с бесконечным трудом помог ей раскачаться.

Вцепившись руками в веревки, вытянув ноги, чтобы не задевать за землю, она наслаждалась убаюкивающим движением качелей. Формы ее непрерывно трепетали от толчков, как желе на блюде.

Но размах качелей увеличивался, у нее начинала кружиться голова, и ей стало боязно. Опускаясь, она всякий раз издавала пронзительные крики, так что сбежались окрестные мальчишки, и она смутно видела перед собою, над садовой изгородью, их шаловливые лица, гримасничавшие от смеха.

Подошла служанка, и ей заказали завтрак.

– Жареной рыбы из Сены, тушеного кролика, салат и десерт, – солидно произнесла г-жа Дюфур.

– Принесите два литра столового вина и бутылку бордо, – сказал ее муж.

– Есть будем на траве, – добавила девушка.

Бабушка, умилившись при виде трактирного кота, преследовала его уже минут десять, бесплодно расточая ему самые сладкие ласкательные названия. Животное, может быть, и польщенное таким вниманием, держалось на близком расстоянии от протянутой руки старушки, но не давало ей к себе прикоснуться и спокойно обходило все деревья, о которые терлось, задрав хвост и слегка

урча от удовольствия.

– Смотрите! – закричал вдруг желтоволосый малый, слонявшийся по всем углам. – Вот это лодки так лодки!

И все пошли поглядеть. В небольшом деревянном сарае были подвешены два великолепных ялика для речного спорта, стройных и изящно отделанных, точно роскошная мебель. Длинные, узкие, блестящие, они были подобны двум высоким, стройным девушкам; они возбуждали желание скользить по воде в чудный, тихий вечер или в ясное летнее утро, проноситься мимо цветущих берегов, где деревья купают ветви в воде, где в непрерывной дрожи шелестят камыши и откуда, словно голубые молнии, вылетают проворные зимородки.

Семейство почтительно любовалось яликами.

– О да! Это действительно лодки, – степенно подтвердил г-н Дюфур.

И он стал подробно разбирать их достоинства с видом знатока. По его словам, в молодые годы он тоже занимался речным спортом, а с эдакой штукой в руке – и он делал движение, будто гребет веслами, – ему на все было наплевать. В свое время на гонках в Жуанвиле он побил не одного англичанина. И он стал острить словом «дамы», которым называют уключины, удерживающие весла, говоря, что гребцы-любители недаром никогда не выезжают без «дам». Разглагольствуя, он приходил в азарт и упорно предлагал побиться об заклад, что с такой лодкой он, не торопясь, отмахает шесть миль в час.

– Кушанье подано, – сказала служанка, показавшись в дверях.

Все заторопились, но тут оказалось, что на лучшем месте, которое г-жа Дюфур мысленно облюбовала, уже завтракали два молодых человека. То были несомненно владельцы яликов, ибо они были одеты в костюмы гребцов.

Они развалились на стульях полулежа. Лица их почернели от загара, грудь была прикрыта лишь тонким белым бумажным трико, а руки, сильные и мускулистые, как у кузнецов, были обнажены. Эти дюжие молодцы рисовались своей силой, но во всех их движениях была все же та упругая грация, которая приобретается физическими упражнениями и столь отлична от телесных уродств, налагаемых на рабочего тяжелым однообразным трудом.

Они быстро обменялись улыбкой при виде матери и переглянулись, заметив дочь.

– Уступим место, – сказал один из них. – Это даст нам возможность познакомиться.

Другой тотчас же поднялся и, держа в руке свой наполовину красный, наполовину черный берет, рыцарски предложил уступить дамам единственное место в саду, где не было солнечных лучей. Предложение приняли, рассыпавшись в извинениях, и семейство расположилось на траве без стола и стульев, чтобы придать завтраку еще более сельский характер.

Оба молодых человека перенесли свои приборы на несколько шагов в сторону и продолжали завтракать. Их обнаженные руки, которые все время были на виду, несколько стесняли девушку. Она даже подчеркнуто отворачивала голову и как будто не замечала их. Но г-жа Дюфур, более смелая, побуждаемая чисто женским любопытством, – оно, может быть, было и желанием, – все время поглядывала на них, вероятно, не без сожаления думая о скрытой уродливости своего мужа.

Она расселась на траве, подогнув ноги на манер портных, и то и дело ерзала на месте, утверждая, что к ней куда-то заползли муравьи. Г-н Дюфур, пришедший в дурное расположение духа от присутствия и любезности посторонних, старался усесться поудобнее, что ему так и не удавалось, а молодой человек с желтыми волосами молча ел за четверых.

– Какая чудная погода, сударь, – сказала толстая дама, обращаясь к одному из гребцов. Ей хотелось быть полюбезнее в благодарность за место, которое они уступили.

– Да, сударыня, – ответил он. – Вы часто ездите за город?

– О нет! Только раза два в году, чтобы подышать свежим воздухом. А вы, сударь?

– Я езжу сюда ночевать каждый вечер.

– Ах! Должно быть, это очень приятно?

– Еще бы, сударыня!

И он принялся описывать на поэтический лад свою каждодневную жизнь, чтобы сердца этих горожан, лишенных зелени, изголодавшихся по прогулкам в полях, сильнее забились той глупой любовью к природе, которая весь год томит их за конторками лавок.

Девушка, растроганная рассказом, подняла глаза и взглянула на лодочника. Г-н Дюфур разомкнул уста.

– Вот это жизнь, – сказал он и прибавил, обращаясь к жене: – Не хочешь ли еще кусочек кролика, милая?

– Нет, благодарю, мой друг.

Она снова обернулась к молодым людям и, указывая на их обнаженные руки, спросила:

– Неужели вам никогда не холодно так?

Они рассмеялись и повергли в ужас все семейство рассказами о своих невероятно утомительных поездках, о купании в испарине, о плавании среди ночных туманов; при этом они с силой колотили себя в грудь, чтобы показать, какой она издает звук.

– О, у вас действительно крепкий и здоровый вид, – сказал муж, не решаясь больше говорить о том времени, когда он побивал англичан.

Теперь девушка искоса разглядывала их. Желтоволосый малый, поперхнувшись, страшно закашлялся и забрызгал вином шелковое вишневое платье хозяйки, чем привел ее в негодование; она велела принести воды, чтобы замыть пятна.

Тем временем жара становилась нестерпимой. Сверкающая река казалась охваченной пламенем, а винные пары туманили головы.

Г-н Дюфур, которого одолела сильная икота, расстегнул жилет и верхнюю пуговицу брюк, а его жена, изнемогая от удушья, потихоньку распустила лиф своего платья. Приказчик весело потряхивал льняной гривой, то и дело подливая себе вина. Бабушка, чувствуя себя охмелевшей, держалась чрезвычайно прямо и с большим достоинством. Что касается молодой девушки, то по ней ничего нельзя было заметить; только глаза ее как-то неопределенно поблескивали, а румянец на смуглой коже щек стал еще более густым.

Кофе их доконал. Затеяли пение, и каждый пропел свой куплет, которому остальные бешено аплодировали. Затем с трудом поднялись на ноги; женщины, немного осовелые, едва переводили дух, а г-н Дюфур и желтоволосый малый, окончательно опьяневшие, занялись гимнастическими упражнениями. Тяжелые, вялые, с багровыми физиономиями, они неуклюже свисали с колец, не имея силы подтянуться на руках; их рубашки поминутно грозили вылезти из брюк и уподобиться знаменам, развевающимся на ветру.

Между тем лодочники спустили свои ялики на воду и вернулись, любезно предлагая дамам прокатиться по реке.

– Дюфур, ты разрешаешь? Прошу тебя! – воскликнула жена.

Он посмотрел на нее пьяными глазами, ничего не понимая.

Один из гребцов подошел к нему с двумя удочками в руке. Надежда поймать пескаря, заветная мечта каждого лавочника, засветилась в тусклых глазах простака; он разрешил все, о чем его просили, и расположился в тени, под мостом, свесив ноги над рекою, рядом с желтоволосым малым, который тут же и заснул. Один из гребцов пожертвовал собою: он взял в свою лодку мамашу.

– В лесок на остров англичан! – крикнул он, удаляясь.

Другой ялик поплыл медленное. Гребец так загляделся на свою спутницу, что уже ни о чем не думал, и им овладело волнение, парализовавшее его силы.

Девушка, сидя на скамье рулевого, отдавалась сладостному ощущению прогулки по воде. Она чувствовала полную неспособность размышлять, покой всего тела, томное забытие, как бы растущее опьянение. Она раздумянилась, и дыхание ее стало прерывистым. Под влиянием винного дурмана, усиливаемого струившимися вокруг дуновениями жары, ей стало казаться, что береговые деревья кланяются на ее пути. Смутная жажда ласк, брожение крови разливались по ее телу, возбужденному зноем этого дня; в то же время ее смущало, что здесь, на воде, среди этой местности, где пожар небес словно истребил все живое, она очутилась наедине с любующимся ею молодым человеком, чьи глаза как бы осыпали поцелуями ее кожу, чье желание обжигало ее, как солнечные лучи.

Они не способны были вести разговор и глядели по сторонам, отчего их волнение еще более возрастало. Наконец, сделав над собой усилие, он спросил, как ее зовут.

– Анриетта, – сказала она.

– Какое совпадение! Меня зовут Анри! – ответил он.

Звук голосов несколько успокоил их: они заинтересовались берегом. Другой ялик остановился и, казалось, поджидал их. Гребец крикнул:

– Мы присоединимся к вам в лесу, а пока поедem к Робинзону: моей даме хочется пить.

После этого он налег на весла и стал так быстро удаляться, что скоро скрылся из виду.

Непрерывный рокот, уже некоторое время смутно доносившийся издали, стал стремительно нарастать. Самая река как будто содрогалась, словно этот глухой шум исходил из ее глубин.

– Что это за гул? – спросила Анриетта.

То было падение воды в шлюзе, пересекавшем реку у мыса острова. Анри старался объяснить, но вдруг среди этого грохота их слух поразило пение птицы, долетевшее как будто очень издалека.

– Скажите! – промолвил он. – Соловьи запели днем, значит, самки уже сидят на яйцах.

Соловей! Она никогда не слыхала его пения, и мысль услышать его вызвала в ее сердце нежные, поэтические образы. Соловей! Ведь это невидимый свидетель любовных свиданий, которого призывала на своем балконе Джульетта; это небесная музыка, звучащая в лад с поцелуями людей; это вечный вдохновитель всех томных романсов, раскрывающих лазоревые идеалы перед бедными сердечками растроганных девочек!

Она сейчас услышит соловья!

– Давайте не будем шуметь, – сказал ее спутник, – мы можем причалить и посидеть совсем около него.

Ялик неслышно скользил по воде. Показались деревья острова, берега которого были такие пологие, что глаз проникал в самую гущу заросли. Причалили, привязали лодку, и Анриетта, опираясь на руку Анри, стала пробираться с ним между ветвями.

– Наклонитесь, – сказал он.

Она нагнулась, и сквозь перепуганную чащу ветвей, листвы и камышей они проникли в убежище, которое невозможно было бы найти, не зная о нем; молодой человек, смеясь, называл его своим «отдельным кабинетом».

Как раз над их головами, на одном из деревьев, которые укрывали их, заливался соловей. Он сыпал трелями и руладами, его сильные вибрирующие ноты наполняли все пространство и словно терялись за горизонтом, раскатываясь вдоль реки и уносясь вдаль, по полям, в знойной тишине, нависшей над равниной.

Они сидели рядом и молчали, боясь спугнуть птицу. Рука Анри медленно охватила талию Анриетты и сжала ее нежным объятием. Она, не сердясь, отвела эту дерзкую руку и отводила снова, когда та приближалась опять; впрочем, девушка не испытывала никакого смущения от этой ласки, как будто совершенно естественной и которую она так же естественно отстраняла.

Она слушала соловьиное пение, замирая от восторга. В ней пробуждалась бесконечная жажда счастья; всем ее существом овладевали внезапные порывы нежности, словно откровения неземной поэзии. Нервы ее так ослабли и сердце так размягчилось, что она заплакала, сама не зная почему. Теперь молодой человек прижимал ее к себе, и она уже его не отстраняла, потому что просто не думала об этом.

Внезапно соловей умолк. Голос в отдалении крикнул:

– Анриетта!

– Не отвечайте, – сказал он шепотом, – вы спугнете птицу.

Но она и не думала отвечать.

Так они продолжали сидеть некоторое время.

Вероятно, и г-жа Дюфур была где-то неподалеку, потому что время от времени смутно слышались легкие вскрикивания толстой дамы, с которою, видимо, заигрывал другой лодочник.

Молодая девушка продолжала плакать; она испытывала какое-то удивительное сладостное чувство и ощущала на своей разгоряченной коже незнакомые ей щекочущие уколы. Голова Анри покоилась на ее плече, и вдруг он поцеловал ее в губы. В ней вспыхнуло страшное возмущение, и, желая отстраниться, она откинулась на спину. Но он упал на нее всем телом. Он долго преследо-

вал ускользавший от него рот, наконец настиг и прильнул к нему. Тогда и сама она, обезумев от бурного желания, прижимая его к своей груди, вернула поцелуй, и все ее сопротивление сломилось, словно раздавленное чрезмерной тяжестью.

Все было спокойно вокруг. Соловей запел снова. Сначала он испустил три пронзительные ноты, походившие на любовный призыв, затем, после минутного молчания, ослабевшим голосом начал выводить медленные модуляции.

Пронесся нежный ветерок, зашуршав листвой, и в чаще ветвей раздались два страстных вдоха, которые слились с пением соловья, с легким шорохом леса.

Соловьем словно овладело опьянение, и голос его, постепенно усиливаясь, как разгорающийся пожар, как все нарастающая страсть, казалось, вторил граду поцелуев под деревом. Затем его упоенное пение перешло в неистовство. Временами он долго замирал на одной ноте, как бы захлебываясь мелодией.

Иногда он немного отдыхал, испуская лишь два-три легких протяжных звука и заканчивая их высокой пронзительной нотой. Или же переходил на бешеный темп с переливами гамм, с вибрациями, с каскадами отрывистых нот, подобных песне безумной любви, завершающейся победными кликами.

Но вот он умолк, прислушиваясь к раздавшемуся внизу стону, такому глубокому, что его можно было бы принять за прощальный стон души. Звук этот длился несколько мгновений и завершился рыданием.

Покидая свое зеленое ложе, оба они были страшно бледны. Голубое небо казалось им померкшим; пламенное солнце в их глазах погасло; они ясно ощущали одиночество и безмолвие. Они быстро шли рядом, не разговаривая, не прикасаясь друг к другу, словно стали непримиримыми врагами, словно тела их испытывали взаимное отвращение, а души – взаимную ненависть.

Время от времени Анриетта звала:

– Мама!

Под одним из кустов поднялась суматоха. Анри показалось, что он видел, как белую юбку поспешно опустили на жирную икру, и вот появилась необъятная дама, немного сконфуженная, еще более раскрасневшаяся, с сильно блестящими глазами, с бурно волнуемой грудью и, пожалуй, слишком близко держась к своему спутнику. Последний, вероятно, навидался немало забавного: по лицу его против воли пробегали внезапные усмешки.

Г-жа Дюфур нежно взяла его под руку, и обе парочки пошли к лодкам. Анри, все так же безмолвно шедший впереди рядом с девушкой, как будто услышал заглушённый звук долгого поцелуя.

Наконец вернулись в Безонс.

Протрезвившийся г-н Дюфур начинал терять терпение. Желтоволосый малый закусывал перед отъездом. Тележка стояла запряженная во дворе, а бабушка, уже усевшаяся в нее, была вне себя от отчаяния и страха: ночь застанет их на равнине, а ведь окрестности Парижа небезопасны.

Обменялись рукопожатиями, и семейство Дюфур уехало.

– До свидания! – кричали лодочники.

Ответом им были вздох и скатившаяся слеза.

Два месяца спустя, проходя по улице Мартир, Анри прочитал на одной двери: *Дюфур, скобяная торговля*.

Он вошел.

Толстая дама пышно цвела за прилавком. Друг друга узнали тотчас же, и после обмена множеством любезностей он спросил:

– А как поживает мадемуазель Анриетта?

– Прекрасно, благодарю вас, она замужем.

– Ах!..

Волнение душило его; он продолжал:

– А... за кем?

– Да за тем молодым человеком, который, помните, тогда сопровождал нас: он будет преем-

ником в нашем деле.

– Вот что!..

Он собрался уходить, глубоко опечалившись, сам не зная почему.

Г-жа Дюфур окликнула его.

– А как поживает ваш приятель? – застенчиво спросила она.

– Прекрасно.

– Поклонитесь ему от нас, не забудьте; а если ему случится проходить мимо, скажите, чтобы он зашел повидаться...

Она густо покраснела и прибавила:

– Это доставит мне большое удовольствие; так и скажите ему.

– Непременно. Прощайте!

– Нет... до скорого свидания!

Год спустя, как-то в воскресенье, когда было очень жарко, Анри припомнил вдруг все подробности этого приключения, припомнил так ярко и заманчиво, что один вернулся в их лесной приют.

Войдя туда, он изумился. Там была она. С грустным видом сидела она на траве, а рядом с нею, по-прежнему без пиджака, спал, как сурок, ее муж, желтоволосый молодой человек.

Увидев Анри, она побледнела, и он испугался, не стало бы ей дурно. Затем они начали разговаривать так непринужденно, словно ничего между ними не произошло.

Но когда он сказал ей, что очень любит это местечко и часто приезжает сюда по воскресеньям отдохнуть и предаться воспоминаниям, она посмотрела ему в глаза долгим взглядом.

– А я об этом думаю каждый вечер.

– Ну, голубушка, – сказал, зевая, проснувшийся муж, – нам словно бы пора и домой.

ПАПА СИМОНА

Только что пробило двенадцать. Дверь школы растворилась, и мальчуганы, теснясь и толкаясь, бросились на улицу. Но вместо того чтобы сразу же рассыпаться и идти домой к обеду, как обычно, они остановились в нескольких шагах от школы, собрались в кучки и начали перешептываться.

Дело в том, что нынче утром впервые пришел в школу Симон, сын Бланшотты.

Все они слышали у себя дома разговоры о Бланшотте. Хотя на людях ее встречали приветливо, но их матери между собой говорили о ней с презрительным сожалением, которое усвоили и дети, хотя и не понимали, в чем дело.

Симона они совсем не знали: он никогда не выходил из дому и не бегал вместе с ними по улицам деревни или на берегу реки. За это они его недолюбливали. И теперь с некоторым злорадством, хотя не без удивления, они выслушали и повторяли друг другу слова, сказанные одним большим парнем, лет четырнадцати-пятнадцати, который так хитро подмигивал, что, верно, был хорошо осведомлен в таких делах.

– Знаете... насчет Симона... ну, так у него нет папы.

И вот на пороге школы появился сын Бланшотты.

Ему было лет семь или восемь. Это был бледненький, опрятно одетый мальчик, от застенчивости почти неуклюжий.

Он уже направился было домой к матери, но товарищи, все еще перешептываясь и поглядывая на него лукавыми глазами озорников, затеявших нехорошую проделку, мало-помалу обступили его и наконец замкнули в тесное кольцо. Он остановился, удивленный и смущенный, не понимая, что собираются с ним сделать. Парень, принесший новость и гордый достигнутым успехом, спросил:

– Эй, ты! Как тебя зовут?

Он отвечал:

– Симон.

– Симон, а дальше? – продолжал тот.

Окончательно смутившись, ребенок повторил:

– Симон.

Парнишка крикнул ему:

– Человека зовут Симоном и как-нибудь еще... Это не имя – просто Симон.

Мальчик, сдерживая слезы, повторил в третий раз:

– Меня зовут Симон.

Шалуны расхохотались. Торжествующий парень повысил голос:

– Сами видите, у него нет папы!

Наступила тишина. Дети были поражены таким исключительным, невероятным, из ряда вон выходящим обстоятельством – у мальчика нет папы!

Он казался им неким феноменом, существом противоестественным, и в душе их росло то презрение, доселе им непонятное, которое их матери питали к Бланшотте.

Симон же прислонился к дереву, чтобы не упасть. Он чувствовал, что его сразило непоправимое несчастье. Он искал слов, чтобы объясниться, опровергнуть ужасное обвинение, будто у него нет папы, – и не мог.

Побелев, как полотно, он наконец осмелел и крикнул:

– Неправда, у меня есть папа!

– А где же он?

Симон замолчал: этого он не знал.

Ребята смеялись и были крайне возбуждены: дети полей, близкие к природе, они следовали тому жестокому инстинкту, который побуждает кур на птичьем дворе заклевывать свою раненую товарку. Симон вдруг заметил маленького соседа, сына вдовы, который тоже всегда бывал только с матерью.

– А ты? – сказал он. – Ведь у тебя тоже нет папы!

– Вот еще, – отвечал мальчик, – у меня папа есть.

– Где же он? – возразил Симон.

– Он умер! – объявил мальчик с гордостью. – Мой папа на кладбище.

Среди ребят пронесся одобрительный шепот, как будто бы то обстоятельство, что отец умер и похоронен на кладбище, подняло в их глазах товарища и окончательно унизило другого, у которого вовсе не было папы. И эти озорники, отцами которых по большей части были грубияны, пьяницы, воры, дубасившие своих жен, сбились в кучу, все более и более суживая круг; казалось, что они, законные дети, хотели сообща задушить незаконного.

Вдруг один из них, стоявший рядом с Симоном, насмешливо показал ему язык и крикнул:

– Нет папы! Нет папы!

Симон обеими руками вцепился ему в волосы, укусил его в щеку, стал пинать его ногами. Произошла страшная свалка. Дерущихся разняли, и Симон очутился на земле, избитый, в синяках, в изодранной блузе, посреди хлопающих в ладоши сорванцов. Когда он поднялся, машинально отряхивая курточку, всю в пыли, кто-то крикнул ему:

– Пойди-ка, пожалуйся своему папе.

Тут в сердце его словно что-то оборвалось. Они были сильнее, они избили его, и ему нечего было им ответить: ведь он хорошо знал, что это правда, что у него действительно нет папы. Из гордости он несколько секунд боролся с душившими его слезами. Но у него перехватило дыхание, и он беззвучно заплакал, содрогаясь всем телом от сильных рыданий.

Среди его врагов поднялось жестокое ликование; подобно веселящимся страшным дикарям, они взялись за руки и начали плясать вокруг него, повторяя, как припев:

– Нет папы! Нет папы!

Вдруг Симон перестал рыдать. В нем вспыхнула ярость. Схватив валявшиеся камни, он изо всей силы стал швырять ими в своих мучителей. Он попал в двоих или троих, и они с криком пустились бежать. У мальчика был такой грозный вид, что всех остальных охватил страх. Трусливые, как труслива всякая толпа перед доведенным до иступления человеком, они бросились врассыпную.

Когда ребенок, у которого не было отца, остался один, он пустился бежать в поле в нем про-

будилось одно воспоминание, и оно натолкнуло его на великое решение. Он задумал утопиться в реке.

Он вспомнил, как неделю тому назад один бедняк, живший подаянием, бросился в воду, потому что у него больше не было ни гроша. Симон видел, как утопленника вытаскивали из воды, и этот бедняга, обычно казавшийся ему жалким, грязным, некрасивым, порастил его своим умиротворенным лицом, бледными щеками, длинной мокрой бородой и открытыми, такими спокойными глазами. Стоявшие кругом говорили: «Он умер». Кто-то добавил: «Теперь он счастлив». Подобно этому горемыке, у которого не было денег, Симон тоже решил утопиться, потому что у него не было отца.

Он подошел к самой воде и стал глядеть, как она бежит. Юркие рыбки резвились в прозрачном ее течении; по временам они выпрыгивали из воды и ловили мошкарку, летавшую над поверхностью реки. Мальчик перестал плакать и с любопытством следил за их проделками. Но как во время затишья, наступившего среди бури, вдруг проносятся мгновенные сильные порывы ветра, от которых трещат деревья, так у него норою с острой болью снова мелькала мысль: «Я утоплюсь, у меня нет папы».

Вокруг было так тихо, так хорошо. Солнце мягко пригревало траву. Река блестела, как зеркало. Минутами Симон ощущал полное блаженство, ту истому, которая следует за слезами, и тогда у него появлялось желание заснуть тут же в траве, на солнышке.

У самых его ног прыгнула маленькая зеленая лягушка. Он попытался ее поймать. Она ускользнула. Он погнался за ней и три раза ее упустил. Наконец поймал ее за задние лапки и рассмеялся, глядя на усилия, которые она делала, чтобы освободиться. Она поджимала свои длинные ноги, затем быстрым движением внезапно вытягивала их, выпрямив, как палки, и колотила по воздуху передними лапками, как руками, выпучив круглые глаза с золотой каймой. Это напомнило ему одну игрушку из узких деревянных дощечек, сколоченных в форме зигзага, которые подобным же движением заставляли маневрировать прикрепленных сверху солдатиков. Тут он вспомнил о доме, о матери, его охватила печаль, и он снова заплакал. По его телу пробегала дрожь; он стал на колени и начал читать молитвы, как перед сном. Но закончить их не смог: на него опять нахлынули рыдания, такие частые, такие сильные, что овладели им всецело. Он уже ни о чем не думал, ничего больше не видел вокруг себя и только плакал.

Вдруг на его плечо легла тяжелая рука, и чей-то бас спросил:

– Что тебя так огорчило, мальчик?

Симон обернулся. На него добродушно глядел высокий рабочий с черными курчавыми волосами и бородой. Мальчик со слезами на глазах ответил дрожащим голосом:

– Они меня побили... потому что... у меня... у меня... нет... папы... нет папы...

– Как такое? – сказал рабочий, улыбнувшись. – У всякого есть папа.

Горестно всхлипывая, ребенок с усилием ответил:

– У меня... у меня... его нет!

Рабочий сделался серьезным: он узнал сына Бланшотты; он уже кое-что слышал о ней, хотя и был новым человеком в этой местности.

– Ну, мальчуган, – сказал он, – успокойся, и пойдем к маме. Тебе раздобудут... папу.

Они отправились в путь. Взрослый держал маленького за руку и продолжал улыбаться: он не прочь был повидать эту Бланшотту. Как говорили, она была одной из самых красивых девушек в округе, и в глубине его сознания, может быть, таилась мысль, что молодая женщина, согрешив однажды, пожалуй, не прочь будет согрешить и в другой раз.

Они подошли к белому, опрятному домику.

– Здесь, – сказал мальчик и крикнул: – Мама!

Показалась женщина, и рабочий перестал улыбаться. Он сразу понял, что не пошутишь с этой высокой бледной девушкой, сурово остановившейся в дверях, словно охраняя от мужчины порог того дома, где она уже была обманута другим. Смущенный, держа фуражку к руке, он приговорил:

– Вот, сударыня, я привел вашего мальчика, он заблудился у реки.

Но Симон бросился на шею матери, снова заливаясь слезами:

– Нет, мама, я хотел утопиться, потому что другие дети меня побили... побили... за то, что у меня нет папы.

Яркая краска залила щеки женщины. Уязвленная до глубины души, она горячо обняла свое дитя, и слезы брызнули из ее глаз. Вздолбанный и тронутый, мужчина стоял перед нею, не зная, как ему уйти. И вдруг Симон подбежал к нему и спросил:

– Хотите быть моим папой?

Наступило глубокое молчание. Бланшотта, онемевшая, мучимая стыдом, оперлась о стену, прижав к сердцу руки. Ребенок, видя, что ему не отвечают, продолжал:

– Если не захотите, я опять пойду топиться.

Рабочий, желая обратить дело в шутку, ответил со смехом:

– Ну, конечно, я согласен.

– Как же тебя зовут? – спросил ребенок. – Я должен сказать другим, если они спросят твое имя.

– Филипп, – ответил тот.

Симон секунду помолчал, чтобы хорошенько запомнить это имя, и, протянув рабочему руки, сказал, совсем уже утешившись:

– Так, значит, Филипп, ты мой папа.

Подняв ребенка с земли, тот порывисто поцеловал его в обе щеки и поспешно удалился большими шагами.

На следующий день мальчика встретили в школе злобным смехом; но когда при выходе тот же парень захотел возобновить вчерашнюю сцену, Симон бросил ему в лицо, как камень, следующие слова:

– Моего папу зовут Филиппом.

Со всех сторон раздались злорадные вопли:

– Филипп?... Какой Филипп?... Что еще за Филипп?... Откуда он взялся, твой Филипп?

Симон не отвечал; непоколебимый в своей вере, он вызывающе глядел на них, приготовившись скорее вытерпеть любые муки, только не бежать. Школьный учитель выручил его, и он вернулся к матери.

В течение трех месяцев Филипп, высокий рабочий, частенько проходил мимо дома Бланшотты, а иной раз, набравшись храбрости, заговаривал с нею, когда заставлял ее за шитьем у окна. Она отвечала ему вежливо, но была всегда серьезна, не принимала с ним шутливого тона и не впускала его к себе в дом. Но он, самонадеянный, как все мужчины, впрочем, вообразил, что, разговаривая с ним, она несколько раздумывалась.

Однако подорванную репутацию так трудно восстановить, и она так непрочна, что, несмотря на всю недоверчивую сдержанность Бланшотты, в селе уже начались пересуды.

Что касается Симона, он очень полюбил своего нового папу и почти каждый вечер по окончании трудового дня шел с ним гулять. Он прилежно посещал школу и проходил мимо своих товарищей с независимым видом, никогда не отвечая им ни слова.

Но однажды тот парнишка, который первый на него напал, объявил ему:

– Ты соврал, у тебя нет папы, которого зовут Филиппом.

– Почему это? – спросил Симон, страшно взволновавшись.

– А потому... Будь у тебя отец, он был бы мужем твоей мамы.

Симон был озадачен справедливостью этого рассуждения; тем не менее он ответил:

– А все-таки он мой папа.

– Все может быть, – сказал парень со злобной усмешкой, – только это не настоящий папа.

Малыш Бланшотты опустил голову и в раздумье направился к кузнице дяди Луазона, где работал Филипп.

Кузница стояла под густыми деревьями. В ней было очень темно; только красное пламя огромного горна освещало яркими отсветами пятерых кузнецов; своими обнаженными руками они производили ужасный грохот, ударяя по наковальням. Стоя среди огня, словно какие-то демоны, они не сводили глаз с истязаемого ими раскаленного железа, и их мысль тяжеловесно поднималась и опускалась вместе с молотом.

Симон вошел никем не замеченный и, подойдя к своему другу, тихонько дернул его за рукав. Тот обернулся. Работа разом остановилась, мужчины внимательно поглядели на мальчика. И среди необычной тишины раздался голосок Симона:

– Послушай, Филипп, мне сейчас сын Мишоды сказал, что ты не настоящий мой папа.

– А почему? – спросил рабочий.

Ребенок ответил со всей наивностью:

– Потому что ты не муж мамы.

Никто не засмеялся. Филипп продолжал стоять, опершись лбом на свои большие руки, которые он скрестил поверх рукоятки молота, поставленного на наковальню. Он задумался. Четыре товарища смотрели на него, а Симон, такой маленький среди этих великанов, с тревогой ожидал. И вдруг один из кузнецов, словно отвечая на мысль всех присутствующих, сказал Филиппу:

– А ведь что ни говори, Бланшотта хорошая, славная девушка, работающая и скромная, хоть и случилась с ней беда; она может быть достойной женой для честного человека.

– Это правда, – подтвердили остальные трое.

Первый рабочий продолжал:

– Разве эта девушка виновата, что согрешила? Ведь ей пообещали жениться, а сколько других, которых теперь все уважают, так же поступали в свое время. Уж это я доподлинно знаю.

– Это правда, – хором отозвались трое мужчин.

Тот продолжал:

– А сколько она потрудилась, бедняга, ни от кого не имея помощи, чтобы ей воспитать своего парнишку, и сколько она слез пролила с тех пор, как никуда, кроме церкви, не выходит, – это одному богу известно.

– И это правда, – сказали остальные.

Послышался шум мехов, которыми раздували пламя в горне. Филипп нагнулся к Симону:

– Пойди скажи маме, что я приду сегодня вечером потолковать с нею.

Он проводил ребенка из кузницы, вернулся к своей работе, и пять молотов сразу, все вместе, упали на наковальню. И кузнецы ковали железо до ночи, сильные, возбужденные, радостные, словно сами их молоты были довольны. Но подобно тому как большой соборный колокол в праздничные дни звучит громче перезвона других колоколов, так молот Филиппа ежесекундно падал на наковальню с оглушающим шумом, покрывая грохот остальных. И Филипп ковал с горящими глазами, со страстью, стоя среди сыпавшихся искр.

Небо было усеяно звездами, когда кузнец постучался в дверь к Бланшотте. Он надел свою воскресную блузу, чистую рубаху и расчесал бороду. Молодая женщина показалась на пороге и огорченно сказала:

– Нехорошо приходить, господин Филипп, когда уже наступила ночь.

Он хотел ответить, но запнулся и остановился в смущении.

– Ведь вы сами понимаете, – продолжала она, – не годится, если про меня опять начнут болтать.

Тогда он сказал вдруг:

– Что за беда, если вы согласитесь быть моей женой!

Ответа не последовало, но в полумраке комнаты послышался словно шум упавшего тела. Филипп поспешно вошел. Симон, уже лежавший в своей кроватке, различил звук поцелуя и несколько слов, которые его мать прошептала чуть слышно. Затем он внезапно почувствовал, как друг приподнял его и, держа на своих вытянутых геркулесовских руках, крикнул:

– Скажи им, своим товарищам, что твой папа – это кузнец Филипп Реми и что он надерет уши всякому, кто тебя обидит!

На следующий день перед началом урока, когда все ученики собрались, маленький Симон встал бледный, с дрожащими губами.

– Мой папа, – сказал он звонким голосом, – кузнец Филипп Реми, и он обещал надрать уши всякому, кто меня обидит.

На этот раз никто уже не засмеялся, потому что все хорошо знали кузнца Филиппа Реми. Это был такой папа, которым каждый мог бы гордиться.

ПОДРУГА ПОЛЯ

Ресторан Грийона, этот фаланстер любителей гребного спорта, понемногу пустел. У входа стоял громкий гомон восклицаний и окликов; рослые молодцы в белом трико жестикулировали, держа весла на плечах.

Женщины в светлых весенних нарядах осторожно входили в ялики и, усаживаясь на корме, оправляли платья; хозяин заведения, здоровенный рыжебородый малый, известный силач, подавал руку красоткам, удерживая в равновесии утлые суденышки.

Гребцы, с обнаженными руками и выпяченной грудью, усаживались в свою очередь, стараясь обратить на себя внимание публики – разодетых по-праздничному буржуа, рабочих и солдат, которые, облокотясь о перила моста, любовались этим зрелищем.

Лодки одна за другою отчаливали от пристани. Гребцы равномерным движением нагибались вперед, затем откидывались назад, и от толчка длинных изогнутых весел быстрые ялики скользили по реке, все удалялись, все уменьшались и исчезали наконец под железнодорожным мостом, направляясь к Лягушатне.

Осталась только одна парочка. Молодой человек, еще безбородый, тонкий, с бледным лицом, держал за талию свою любовницу, маленькую, худенькую брюнетку с ужимками стрекозы; порою они обменивались глубоким взглядом.

Хозяин закричал:

– Ну, господин Поль, поторапливайтесь!

И они подошли ближе.

Из всех клиентов ресторана г-н Поль пользовался наибольшей любовью и уважением. Он расплачивался щедро и аккуратно, тогда как другим приходилось часто и долго напоминать, а то они и вовсе исчезали, не расплатившись. Кроме того, он представлял для заведения своего рода живую рекламу, так как отец его был сенатором. Иногда какой-нибудь посторонний посетитель спрашивал:

– Кто такой этот юнец, который так льнет к своей девице?

И кто-либо из завсегдатаев отвечал вполголоса с важным и таинственным видом:

– Это Поль Барон, знаете, сын сенатора.

– Бедняга! Завяз по уши! – неизменно вырывалось у собеседника.

Тетка Грийон, ловкая женщина, понимавшая толк в торговле, называла молодого человека и его подругу «своими двумя голубками» и делала вид, что растрогана этой любовью, выгодной для ее заведения.

Парочка подходила тихими шагами; ялик *Мадлена* был готов; прежде чем сесть в него, они поцеловались, вызвав смех среди публики, собравшейся на мосту. Взявшись за весла, г-н Поль тоже отправился к Лягушатне.

Когда они приехали туда, было уже около трех часов, и большое плавучее кафе кишмя кишело народом.

Огромный плот под просмоленной крышей на деревянных столбах соединен с очаровательным островом Круасси двумя мостиками: один из них приводит в самый центр этого плавучего заведения, а другой соединяет конец его с крошечным островком, по прозвищу «Цветочный горшок», где растет одно-единственное дерево; оттуда этот мостик доходит до суши близ конторы купален.

Г-н Поль привязал лодку у помоста кафе, перебрался через перила, взял на руки и перенес свою любовницу, и они уселись за столом друг против друга.

По другую сторону реки, на берегу, вытянулась в ряд длинная вереница экипажей. Тут стояли тяжелые фиакры – огромные кузова на продавленных рессорах, – запряженные клячей с понурой шеей и разбитыми ногами. Тут стояли изящные кареты щеголей, стройные и тонкие, покачивавшиеся на узких колесах; у их лошадей были сухие, сильные ноги, крутая шея, удила в белоснежной пене, а чопорный ливрейный кучер, выпрямив голову, подпираемую высоким воротником, держал натянутые вожжи, упирая бич о колено.

Весь берег реки был усеян людьми, которые шли то семьями, то компаниями, то парами, то в одиночку. Они срывали по дороге травинки, спускались к воде, снова подымались на дорогу и, дойдя до одного и того же места, останавливались в ожидании перевозчика. Тяжелый паром беспрестанно передвигался с одного берега на другой, выгружая пассажиров на остров.

Рукав реки, прозванный «Мертвым», на который выходит эта плавучая пристань с кафе, казалось, спал – такое слабое было в нем течение. Целые флотилии яликов, гичек, душегубок, челноков, байдарок, лодок самых разнообразных форм и названий скользили по неподвижной воде, скреживаясь, смешиваясь, сцепляясь между собой; порой они внезапно останавливались от резкого движения рук, а затем снова неслись, повинувшись порывистому напряжению мускулов, и повторно скользили, подобно длинным желтым или красным рыбам.

Прибывали все новые и новые лодки: одни из Шату направлялись вверх по реке, другие из Буживаля – вниз по течению; от одной лодки к другой по воде летели смех, призывы, вопросы и перебранка. Под знойными лучами жаркого дня катающиеся щеголяли загорелым телом и выпуклыми мускулами, а на корме лодок, словно причудливые плавучие цветы, распускались шелковые зонтики – красные, голубые, зеленые и желтые.

В небе пылало июльское солнце; весь воздух, казалось, пропитан был жгучим весельем; ни малейшее дуновение ветерка не нарушало покоя листвы ив и тополей.

В резком освещении уступами вздымались укрепленные откосы неизбежного, отовсюду видневшегося Мон-Валерьяна; с правой же стороны восхитительный берег Лувесьена загибался полукругом, вместе с поворотом реки, и там, сквозь мощную, темную зелень больших садов, кое-где виднелись белые стены загородных дач.

Перед входом в Лягушатню, под гигантскими деревьями, которые превращают этот уголок острова в самый очаровательный парк в мире, прохаживалась толпа гуляющих. Женщины, желто-волосые, широкозадые проститутки, с чрезмерно выступающими грудями, с наштукатуренными лицами, с подведенными глазами, с кроваво-красными губами, затянутые и зашнурованные, в вычурных платьях, волочили по свежему газону кричащие, безвкусные наряды; а рядом с ними позировали молодые люди в костюмах, скопированных с модной картинки, в светлых перчатках, лакированных ботинках, с тоненькими тросточками и с моноклями, подчеркивавшими всю глупость их улыбок.

Остров сужается как раз у Лягушатни, а на другом берегу, где тоже работает паром, все время подвозящий народ из Круасси, несется, как бурный поток, быстрый рукав реки, полный водоворотов, омутов, пены. На том берегу был лагерь понтонеров в артиллерийской форме, и солдаты, сидя рядышком на длинном бревне, поглядывали, как течет мимо них вода.

В плавучем заведении царили страшный гам и толкотня. За деревянными столиками, где от пролитых напитков образовались липкие ручейки, у недопитых стаканов сидели полупьяные люди. Вся эта толпа кричала, пела, горланила. Мужчины, сдвинув шляпы на затылок, раскрасневшись, с блестящими пьяным блеском глазами, размахивали руками и галдели из животной потребности шума. Женщины в поисках добычи на предстоящий вечер пока угощались за чужой счет напитками, а в свободном пространстве между столами околачивались обычные посетители этого заведения – отряд гребцов, любителей скандальных танцев, и их подруги в коротких фланелевых юбках.

Один из них неистовствовал у пианино, словно играя руками и ногами; четыре пары отхватывали кадрили, а на них глядели элегантные и корректные молодые люди, которые, пожалуй, могли бы казаться вполне порядочными, если бы в них не проглядывало несмываемое клеймо порока.

Здесь можно вдыхать испарения жизненной накипи, всего изощренного распутства, всей плесени парижского общества; здесь можно встретить вперемежку мелких приказчиков, дрянных актеров, журналистов третьего разбора, отданных под опеку дворян, мелких биржевых плутов, кутил с замаранной репутацией, старых истасканных волокит; здесь подозрительная толчея всех сомнительных личностей, наполовину известных, наполовину забытых, наполовину еще встречаемых поклонами, наполовину уже окончательно ошельмованных – жуликов, мошенников, сводников, авантюристов с манерами, полными достоинства, с тем видом хвастливой храбрости,

который словно говорит: «Первого, кто назовет меня негодяем, я пришибу на месте».

Это место все пропиталось скотством, от него разит гнусностью и рыночным ухажерством. Самцы и самки здесь стоят друг друга. Здесь носится в воздухе запах любви, и здесь вызывают на дуэль ни за что ни про что – ради того, чтобы поддержать прогнившую репутацию, хотя удары шпаги и пушечные пули разрушают ее лишь еще более.

Некоторые окрестные жители проводят здесь из любопытства каждое воскресенье; ежегодно здесь появляется несколько юношей, совсем еще молодых, жаждущих пройти науку жизни. Порою сюда случайно заходят с прогулки; иногда здесь запутывается и какой-нибудь наивный человек.

Это место по праву носит название Лягушатни: рядом с крытым плотом, на котором пьют и едят, и близ самого «Цветочного горшка» устроено купанье. Те из женщин, которые обладают достаточной округленностью форм, приходят сюда, чтобы выставить свой товар в обнаженном виде и залучить клиента. Другие же с напускным презрением – хотя они подбиты ватой, подперты пружинами, выпрямлены здесь, подправлены там, – пренебрежительно глядят, как барахтаются в воде их сестры.

На маленькой платформе толпятся пловцы, бросающиеся в реку вниз головой. Длинные, как жерди, или круглые, как тыква, или узловатые, как ветка маслины, то согнутые вперед, то откинутае назад из-за выпяченного живота, но все неизменно безобразные, они прыгают в воду, обдавая брызгами посетителей кафе.

Несмотря на огромные, склонившиеся над плавучим домом деревья и на близость воды, удушливая жара наполняла это место. Испарения пролитых ликеров смешивались в этом пекле с запахом человеческих тел и острых духов, которыми пропитана кожа продавщиц любви. Сквозь все эти разнообразные запахи пробивался легкий аромат рисовой пудры; порою он исчезал, но постоянно появлялся снова, словно чья-то скрытая рука потрясала в воздухе невидимой пуховкой.

Самое интересное зрелище было на реке, где непрерывное шныряние лодок взад и вперед привлекало все взоры. Подруги лодочников сидели, небрежно откинувшись на спинку скамьи, напротив своих самцов с их не знавшими устали руками, и презрительно оглядывали бродящих по острову искательниц дарового обеда.

По временам какая-нибудь лодка, разогнавшись, проносилась с большой скоростью мимо; приятели гребцов, уже высадившиеся на сушу, приветствовали ее криками, и вся публика, внезапно охваченная безумием, подымала дикий вой.

На излучине реки, со стороны Шату, то и дело показывались новые лодки. Они приближались, увеличивались в размерах, и, когда становилось возможным узнать лица сидящих в них, раздавались новые выкрики.

Вниз по течению медленно плыла покрытая тентом лодка, которой управляли четыре женщины. На веслах сидела маленькая, худая, поблекшая, одетая юнгой; волосы ее были зачесаны под клеенчатую матросскую шляпу. Напротив нее находилась белобрысая толстуха, одетая мужчиной, в белом фланелевом пиджаке; разлегшись на дне лодки, задрав ноги и положив их на скамью по бокам той, которая гребла, она курила папиросу, и при каждом взмахе весел ее груди и живот колыхались, встряхиваемые толчком лодки. На корме под тентом сидели, обнявшись за талию, две красивые, высокие, стройные девушки, блондинка и брюнетка, не сводившие глаз со своих спутниц.

По Лягушатне пронесся крик:

– А вот и Лесбос!

Разразился бешеный гвалт, началась ужасная давка; стаканы летели на пол, люди влезали на столы, все, обезумев от шума, орали:

– Лесбос! Лесбос! Лесбос!

Крик раскатывался по всему кафе, становился нечленораздельным, превращался в какое-то ужасающее завывание и внезапно, как бы с новым порывом, подымался ввысь, взлетая над равниной, внедряясь в густую листву огромных деревьев, разносясь к далеким холмам, поднимаясь к самому солнцу.

Женщина, сидевшая на веслах, при виде такой овации перестала грести. Белобрысая толсту-

ха, лежавшая на дне лодки, небрежно повернула голову, приподнявшись на локте, а обе красивые девушки на корме, смеясь, стали раскланиваться с толпой.

Вопли удвоились, от них задрожало все плавучее кафе. Мужчины приподымали шляпы, женщины махали платками, и все эти голоса, визгливые или густые, кричали:

– Лесбос! Лесбос!

Вся эта толпа, этот сброд развратников, словно приветствовала своего вождя; так эскадра салютует пушечными выстрелами проплывающему мимо ее фронта адмиральскому кораблю.

Многочисленная флотилия лодок, в свою очередь, встретила громкими кликами челнок с женщинами, и он, возобновив свой сонный ход, пристал к мосткам немного ниже.

В противоположность другим г-н Поль вынул из кармана ключ и изо всех сил свистел в него. Его любовница, возбужденная, побледневшая, схватила его за руку, чтобы заставить замолчать, и глядела на него с бешенством в глазах. А он, казалось, выходил из себя: им овладела ревность мужчины, глубокий, инстинктивный, неудержимо-бешеный гнев. Губы его тряслись от негодования, и он бормотал:

– Какой позор! Утопить бы их, как сук, с камнем на шее.

Но Мадлена вспылила; ее крикливый голосок стал свистящим, и она затараторила, словно говоря в собственную защиту:

– А тебе-то что? Разве они не вольны делать, что им хочется, если это никого не касается? Убирайся к черту со своей моралью, не суйся куда не просят...

Он перебил ее:

– Это дело полиции, и я добьюсь, что их упрячут в Сен-Лазар!²⁴

Она подскочила:

– Ты?

– Да, я! А пока я запрещаю тебе с ними разговаривать, слышишь? Запрещаю!

Она пожала плечами и, внезапно успокоившись, заявила:

– Вот что, мой милый, я буду делать что захочу; а если тебе не нравится, можешь убираться на все четыре стороны, хоть сейчас. Я тебе не жена ведь? Ну так и помалкивай.

Он не ответил; они сидели друг против друга, стиснув зубы и порывисто дыша.

На противоположном конце обширного помоста кафе торжественно появились четыре женщины. Впереди шли две переодетые мужчинами; одна худая, похожая на мальчугана со старообразным лицом, с желтыми тенями на висках; другую распирало от жира в ее белом фланелевом костюме, и, выпятив круп в широких брюках, с огромными ляжками и вогнутыми внутрь коленками, она раскачивалась, как откормленная гусыня. За ними следовали две их подруги; толпа лодочников подходила позвать им руки.

Они вчетвером нанимали небольшую дачку на берегу реки и жили там, как две семьи.

Их разврат был на виду у всех, как бы официально признан, всем очевиден. О нем говорили как о чем-то естественном и даже возбуждавшем симпатию к ним; при этом шушукались о странных историях, о драмах, порожденных свирепой женской ревностью, и о тайных посещениях их дачки женщинами, пользующимися известностью, актрисами.

Возмущенный этими скандальными слухами, один из соседей сообщил о них жандармскому управлению, и бригадир в сопровождении солдата явился для производства дознания. Задача была щекотливая: ничего ведь, собственно, нельзя было поставить в вину этим женщинам, проституцией они не занимались. Бригадир оказался в крайне затруднительном положении, тем более что даже приблизительно не был знаком с природой подозреваемого преступления; он произвел допрос более или менее наугад и написал пространный рапорт с заключением о невиновности обвиняемых.

Над этим рапортом смеялись вплоть до самого Сен-Жерменского предместья.

Они шли по Лягушатне медленным шагом, словно королевы, и казалось, гордились своей известностью, радовались устремленным на них взглядам, сознавали свое превосходство над этой толпой, над этой чернью, над этим плебсом.

²⁴ Сен-Лазар – тюрьма для проституток в Париже.

Мадлена и ее любовник следили за их приближением, и в ее глазах зажегся огонек.

Когда первые две приблизились к их столу, Мадлена крикнула:

– Полина!

Толстуха обернулась и остановилась, держа под руку своего маленького юнгу женского пола.

– Каково! Мадлена... Подойди, поговорим, дорогая.

Поль судорожно стиснул пальцами руку любовницы, но она сказала:

– Знаешь что, милый, можешь проваливать на все четыре стороны.

Тон ее был таков, что он промолчал и остался один.

Три женщины, остановившись, заговорили вполголоса. Радостные улыбки мелькали на их губах, они оживленно болтали, и Полина время от времени исподтишка поглядывала на Поля с насмешливой и злой улыбкой.

Под конец он не выдержал; порывисто поднявшись, он подбежал к ним и, дрожа всем телом, схватил Мадлену за плечи.

– Идем, я требую, – сказал он, – я запретил тебе разговаривать с этими шлюхами.

Но Полина возвысила голос и стала ругаться, пустив в ход весь словарь базарной торговли. Кругом них смеялись, подходили поближе, подымались на цыпочки, чтобы лучше видеть. Он стоял, онемев под этим градом зловонной брани; ему казалось, что слова, вылетающие из ее рта и сыпавшиеся на него, пачкали его, как нечистоты; желая избежать надвигавшегося скандала, он отошел назад, на прежнее место, и облокотился на перила лицом к реке, повернувшись спиной к трем женщинам-победительницам.

Там он и остался, глядя на реку и смахивая порою поспешным движением пальца, словно срывая, слезу, набегавшую ему на глаза.

Дело в том, что он полюбил безумною любовью, сам не зная почему, вопреки своему тонкому вкусу, вопреки своему разуму, вопреки даже собственной воле. Он упал в пропасть этой любви, как падают в яму, полную жидкой грязи. Нежный и утонченный от природы, он мечтал о связи изысканной, идеальной и страстной, а его захватила, пленила, овладела им целиком с ног до головы, душою его и телом, эта женщина-стрекоза, глупая, как все девки, глупая выводящей из терпения глупостью, некрасивая, худая и сварливая. Он подчинился этим женским чарам, загадочным и всемогущим, этой таинственной силе, этой изумительной власти, неведомо откуда берущейся, порожденной бесом плоти и повергающей самого разумного человека к ногам первой попавшейся девки, хотя бы ничто в ней и не могло объяснить ее рокового и непреодолимого господства.

Он чувствовал, что там, за его спиной, готовится какая-то гадость. Долетавший смех терзал ему сердце. Что ему делать? Он прекрасно знал это, но сделать этого не мог.

Он пристально глядел на противоположный берег, где какой-то человек неподвижно сидел у своих удочек.

Вдруг резким движением рыболов вытащил из реки серебряную рыбку, извивавшуюся на конце лесы. Пытаясь высвободить крючок, он выворачивал его, но напрасно; тогда он дернул в нетерпении и вырвал всю окровавленную глотку рыбы вместе с внутренностями. Поль содрогнулся, как будто растерзали его самого; ему представилось, что крючок – это его любовь, что если придется ее вырывать, то все из его груди точно так же будет выдернуто глубоко впившимся в него загнутым кусочком железа, и что лесу держит Мадлена.

Чья-то рука легла ему на плечо; он вздрогнул и обернулся: рядом с ним стояла его любовница. Она тоже облокотилась о перила и молча стала глядеть на реку.

Он думал о том, что ему следовало бы сказать ей, и ничего не мог придумать. Он не мог даже разобраться в своих переживаниях; он сознавал только радость от ее близости, от ее возвращения и позорное малодушное чувство, желание все простить, все дозволить, лишь бы она его не покидала.

Спустя несколько минут он спросил ее вкрадчивым, мягким голосом:

– Не хочешь ли уехать отсюда? На лодке будет лучше.

Она отвечала:

– Да, котик.

Он помог ей спуститься в ялик, поддерживая ее, пожимая ей руки, растроганный до глубины души и все еще со слезами на глазах. Она с улыбкой взглянула на него, и они поцеловались снова.

Они медленно поплыли вверх по реке вдоль берега, обсаженного ивами, поросшего травой, погруженного в теплую тишину послеполуденной поры.

Когда они вернулись к ресторану Грийона, было около шести часов. Оставив свой ялик, они отправились пешком, по направлению к Безонсу, по лугам, вдоль ряда высоких тополей, окаймляющих берег реки.

Густая трава, готовая к косовице, пестрела цветами. Солнце, клонившееся к закату, разостлало поверх нее скатерть рыжеватого света; в смягченной жаре угасавшего дня реющие благоухания трав смешивались с влажным запахом реки, насыщали воздух нежной истомой, легкой радостью, какою-то дымкой блаженства.

Мягкая полудрема овладевала сердцами, которые как бы приобщались к этому тихому сиянию вечера, этому смутному и таинственному трепету разлитой вокруг жизни, этой меланхолической поэзии, проникающей все, точно излучаемой растениями и всем окружающим, расцветающей и открывающейся восприятию людей в этот час тихого раздумья.

Он чувствовал все это, но она этого не понимала. Они шли рядом, и вдруг, словно устав от молчания, она завела пронзительным и фальшивым голосом какую-то уличную песенку, затасканный мотив, резко нарушивший глубокую и ясную гармонию вечера.

Он взглянул на нее и ощутил между нею и собой непроходимую пропасть. Мадлена сбивала зонтиком травинки, склонив голову и разглядывая свои ноги; она все пела и пела, растягивая ноты, пробуя выводить рулады, дерзая запускать трели.

Так, значит, ее маленький, узкий лобик, столь им любимый, был пуст, совершенно пуст! Значит, за ним не было ничего, кроме этой шарманочной музыки, а мысли, которые там случайно складывались, были подобны этой музыке! Она ничего в нем не понимала; они были более отдалены друг от друга, чем если бы жили врозь. Значит, его поцелуи никогда не проникали глубже ее губ?

Но тут она подняла на него глаза и еще раз улыбнулась ему. Это взволновало его до мозга костей, и, раскрыв объятия, он страстно обнял ее с новым приливом любви.

Так как он мял ей платье, она высвободилась наконец, промолвив в утешение:

– Право же, я очень тебя люблю, котик!

Но он обнял ее за талию и, обезумев, увлек ее бегом за собою; он осыпал поцелуями ее щеки, висок, шею, прыгая от радости. Запыхавшись, они упали под кустом, пылавшим в лучах заходящего солнца, и соединились, не успев даже перевести дух, хотя она не могла понять причину его возбуждения.

Они возвращались, держась за руки, как вдруг сквозь деревья увидели на реке лодку с четырьмя женщинами. Толстая Полина тоже заметила их и привстала, посылая воздушные поцелуи Мадлене.

– До вечера! – крикнула она.

Мадлена тоже ответила:

– До вечера!

Полю показалось, что сердце его вдруг оледенело.

Они вернулись пообедать.

Они поместились в беседке на берегу реки и молча принялись за еду. Когда стемнело, им принесли свечу в стеклянном шаре, освещавшую их слабым мерцающим светом; из большой залы второго этажа то и дело долетали крики гребцов.

Когда подали десерт, Поль, нежно взяв руку Мадлены, сказал ей:

– Я очень устал, голубка; если ты не против, мы ляжем пораньше.

Но она поняла его хитрость и взглянула на него с тем загадочным, коварным выражением, которое так внезапно появляется в глубине женских глаз. Затем, помолчав, ответила:

– Ложись, если хочешь, а я обещала пойти на бал в Лягушатню.

На его лице появилась жалкая улыбка, одна из тех улыбок, которыми скрывают самые ужасные страдания, и он сказал ласково и опечаленно:

– Будь так добра, останемся вместе.

Она отрицательно покачала головой, не открывая рта.

– Прошу тебя, моя козочка, – настаивал он.

Она резко оборвала его:

– Ты помнишь, что я сказала. Если недоволен – скатертью дорога. Никто тебя не удерживает.

А я обещала – и пойду.

Он положил локти на стол, подпер голову руками и застыл в этой позе, отдавшись печальным думам.

Гребцы спустились вниз, продолжая орать. Они отъезжали на своих яликах, направляясь на бал в Лягушатню.

Мадлена сказала Полю:

– Если ты не едешь, – решай скорей; я попрошу одного из этих господ отвезти меня.

Поль встал.

– Едем! – промолвил он.

И они отправились в путь.

Ночь была темная, полная звезд; в воздухе веяло жаркое дыхание, тяжелое дуновение, насыщенное зноем, брожением, какими-то зародышами жизни, которые словно пропитывали собою ветер и замедляли его. Оно струилось по лицам теплою лаской, заставляя учащенной дышать, даже задохнуться – до того оно было густым и тяжелым.

Ялики пускались в путь, прикрепив на носу венецианские фонари. Самых лодок нельзя было различить; виднелись только эти маленькие разноцветные огоньки, проворные и пляшущие, похожие на обезумевших светляков; в темноте со всех сторон раздавались перекликавшиеся голоса.

Ялик молодой четы медленно скользил по воде.

Порою, когда мимо них, разогнавшись, проносилась лодка, они различали на миг белую спину гребца, озаренную светом его фонаря.

Обогнув излучину реки, они увидели в отдалении Лягушатню. Заведение было по-праздничному украшено жирандолями, гирляндами цветных плошек, гроздьями огней. По Сене медленно плыло несколько больших плотов, изображавших купола, пирамиды, сложные сооружения из разноцветных огней. Фестоны пламени тянулись до самой воды; красный или синий фонарь, водруженный там и сям на конце невидимого длинного удилища, казался огромной колеблющейся звездой.

Вся эта иллюминация распространяла сияние вокруг кафе и освещала снизу доверху высокие деревья, растущие по берегу; на густо-черном фоне полей и неба их стволы выделялись светло-серым, а листья зеленовато-молочным тоном.

Оркестр, состоящий из пяти музыкантов предместья, рассыпал вдаль звуки жидкой трактирной танцевальной музыки, которая снова побудила Мадлену запеть.

Она пожелала войти немедленно. Полю хотелось сперва погулять по острову, но ему пришлось уступить.

Публика несколько отсеклась. Оставались почти одни только гребцы да несколько буржуа и молодых людей в сопровождении проституток. Распорядитель и хозяин этого притона был полон величия в своем помятом фраке; потрепанная физиономия этого старого торговца дешевыми развлечениями мелькала повсюду.

Ни толстой Полины, ни ее спутниц не было, и Поль вздохнул с облегчением.

Танцы начались: парочки одна против другой неистово плясали, подкидывая ноги до самого носа своих визави.

Самки с развинченными бедрами скакали, задирая юбки и показывая нижнее белье. Их ноги с непостижимой легкостью подымались выше голов; они раскачивали животами, дрыгали задом, трясли грудями, распространяя вокруг себя едкий запах вспотевших женщин.

Самцы приседали к земле, как жабы, с непристойными жестами, извивались, отвратительно гримасничая, ходили колесом на руках или же, пытаясь вызвать смех, кривлялись и пародировали грациозные позы.

Толстая служанка и два гарсона разносили напитки.

В этом плавучем кафе, покрытом только крышей, не было ни одной стены, которая отделяла бы его от внешнего мира, и эта разнузданная пляска развертывалась перед лицом мирной ночи и усыпанного звездами неба.

Внезапно Мон-Валерьен напротив осветился, словно позади него вспыхнул пожар. Свет ширился, становился отчетливей, охватывая мало-помалу все небо и образуя громадный светящийся круг бледного, белого сияния. Потом появилось и стало расти что-то красное, пламенно-красное, подобное раскаленному металлу на наковальне. Словно вылезая из земли, оно стало медленно отливаться в шар, и вскоре, отделившись от горизонта, тихо поднялась в пространство луна. По мере того как она восходила, ее пурпуровый оттенок бледнел, переходил в яркий светло-желтый цвет, а самое светило уменьшалось.

Поль давно уже глядел на него, поглощенный этим зрелищем, позабыв о любовнице. Когда он оглянулся, она исчезла.

Он стал искать ее, но не мог найти. Он оглядывал тревожным взглядом столики, бродя между ними, расспрашивая то того, то другого. Никто ее не видел.

Так он блуждал, терзаемый тревогой, пока один из гарсонов не сказал ему:

– Вы ищете госпожу Мадлену? Она только что вышла вместе с госпожой Полиной.

И в то же мгновение Поль увидел на противоположном конце кафе юнгу и двух красивых девушек; обнявшись все трое, они следили за ним и перешептывались.



Он все понял и, как безумный, бросился на остров.

Сначала он побежал по направлению к Шату; но, достигнув равнины, повернул обратно и стал осматривать густую лесную чашу, растерянно рыская повсюду и время от времени останавливаясь, чтобы прислушаться.

Жабы оглашали простор своими короткими металлическими нотами. Со стороны Буживаля, смягченное расстоянием, доносилось пение какой-то неведомой птицы. Луна изливала на широкие лужайки мягкое сияние, словно ватную дымку. Проникая сквозь листву, лунный свет струился по серебристой коре тополей, обдавал сверкающими брызгами трепещущие вершины высоких деревьев. Опьяняющая поэзия летнего вечера овладевала Полем против его воли, вплеталась в его безумную тревогу, с жестокой иронией томила ему сердце; в его мягкой созерцательной душе она

доводила до бешенства жажду идеальной любви и страстных излияний на груди обожаемой, верной женщины.

Задыхаясь от судорожных, разрывающих сердце слез, он был вынужден остановиться.

Когда этот приступ миновал, он пошел дальше.

И вдруг его словно ударили ножом в грудь: там, позади куста, кто-то целовался. Он бросился туда; это была парочка влюбленных, силуэты которых поспешно удалились при его появлении, обнявшись и слившись в бесконечном поцелуе.

Он не решался позвать, зная наперед, что Мадлена не ответит, и в то же время он боялся на них натолкнуться.

Ритурнели кадрили с раздирающим уши соло на корнете, фальшивый визг флейты, пронзительные неистовства скрипок терзали ему нервы, обостряли его муки. Бешеная нестройная музыка разносилась под деревьями, то ослабевая, то усиливаясь с мимолетным порывом ветра.

Внезапно ему пришла мысль: а вдруг она возвратилась? Ну да! Конечно, она вернулась! Почему бы нет? Он беспричинно, самым глупым образом потерял голову, поддавшись своим страхам, власти нелепых подозрений.

И под влиянием той странной успокоенности, которая порою прерывает припадки величайшего отчаяния, он вернулся на бал.

Быстрым взглядом он окинул залу. Ее там не было. Он обошел столики и неожиданно столкнулся лицом к лицу с тремя женщинами. Очевидно, у него была отчаянная и смешная физиономия, так как они, все трое, разразились хохотом.

Он бросился бежать, снова попал на остров и, задыхаясь, ринулся сквозь заросли кустов и деревьев. Затем он стал прислушиваться и слушал долго, так как в ушах у него звенело; но вот наконец ему показалось, что он слышит в некотором отдалении хорошо знакомый ему пронзительный смешок, и он стал потихоньку, крадучись, пробираться, осторожно раздвигая ветви; сердце билось так сильно, что он едва дышал.

Два голоса шептали слова, разобрать которые он еще не мог. Затем они умолкли.

Его охватило сильнейшее желание ничего больше не видеть, не знать, навсегда бежать прочь от этой яростной, терзавшей его страсти. Он готов был вернуться в Шату, сесть на поезд и больше не возвращаться, никогда больше не видеть Мадлену. Но вдруг ее образ овладел им: он мысленно представил себе, как она просыпается утром в их теплой постели, как она, ласкаясь, обнимая его, прижимается к нему, – и волосы ее распущены, спутались на лбу, глаза еще смежены, а губы раскрыты для первого поцелуя; внезапное воспоминание об этой утренней ласке охватило его безумным сожалением и диким желанием.

Заговорили снова; он приблизился, пригнувшись к земле. Затем под ветвями, совсем рядом с ним, пронесся легкий вскрик. Вскрик! Одно из тех восклицаний любви, которые он так хорошо знал в часы их любовных безумств. Он продолжал пробираться вперед, как бы против своей воли, неудержимо притягиваемый, сам не сознавая, что он делает... И он увидел их.

О! Если бы с нею был мужчина, другой мужчина! Но это! Это! Он чувствовал, что самая их гнусность связывает ему руки. И он стоял, уничтоженный, потрясенный, словно открыл вдруг дорогой ему и обезображенный труп, противоестественное преступление, чудовищную, омерзительную профанацию.

В его мыслях невольно промелькнуло воспоминание о маленькой рыбке и о том, что он почувствовал, когда у нее выдирали внутренности... Но тут Мадлена прошептала: «Полина!» – тем самым страстным тоном, каким она, бывало, говорила: «Поль!» Сердце его сжалось такой острой болью, что он стремглав бросился бежать.

Он налетел на два дерева, споткнулся о какой-то корень, упал, снова пустился бежать и вдруг очутился на берегу реки, у быстрого ее протока, озаренного луною. Бурное течение образовывало ряд больших водоворотов, где играл лунный свет. Высокий берег обрывом навис над водою, отбрасывая у своего подножия широкую, темную полосу тени, где слышались всплески воды.

На другом берегу в ярком освещении громоздились дачные постройки Круасси.

Поль увидел все это, как во сне, как сквозь дымку воспоминания; он ни о чем не думал, ни-

чего не понимал, и все решительно, даже самое его существование, представлялось ему смутным, далеким, забытым, конченным.

Перед ним была река. Понимал ли он то, что делал? Хотел ли умереть? Он был как помешанный. Но все же он повернулся лицом к острову, к Ней, и в тишине ночного воздуха, где все еще упорно раздавались заглушённые плясовые мотивы трактира, он испустил отчаянным, нечеловеческим голосом страшный вопль:

– Мадлена!

Его раздирающий призыв пронёсся по беспредельному безмолвию неба, раскатился по всей местности.

Затем страшным прыжком, прыжком зверя, он бросился в реку. Вода брызнула, расступившись, снова сомкнулась, и на том месте, где он исчез, появился ряд больших кругов, расходившихся до противоположного берега, сверкая переливами света.

Обе женщины услышали этот крик. Мадлена вскочила.

– Это Поль!

В душе ее зародилось подозрение.

– Он утопился, – сказала она.

И она бросилась к реке, где ее догнала толстая Полина.

Тяжелая лодка, в которой сидели два человека, кружилась на одном и том же месте. Один из лодочников греб, другой погружал в воду длинный багор и, казалось, что-то искал. Полина окликнула его:

– Что вы делаете? Что случилось?

Незнакомый голос отвечал:

– Только что утонул какой-то человек.

Обе женщины прижались друг к другу и растерянно следили за движениями лодки. Музыка Лягушатни все еще буйствовала в отдалении, как бы аккомпанируя движениям мрачных рыболовов; река, скрывавшая теперь в своих глубинах труп человека, струилась в лунном блеске.

Поиски затягивались. Ужасное ожидание бросало Мадлену в дрожь. Наконец, по прошествии по меньшей мере получаса, один из лодочников сказал:

– Я его зацепил!

И он медленно-медленно стал вытягивать длинный багор. На поверхности воды появилось что-то большое. Другой лодочник бросил весла, и оба они общими силами, подтягивая безжизненную массу, перекинули ее через борт внутрь лодки.

Затем они направились к берегу, отыскивая освещенное и пологое место. В тот момент, когда они пристали, подошли и женщины.

Увидев Поля, Мадлена в ужасе отшатнулась. При свете месяца он казался уже позеленевшим; рот, нос, глаза, одежда – все было полно ила. Сжатые и окоченевшие пальцы были отвратительны. Все тело было покрыто чем-то вроде жидкой черноватой слизи. Лицо словно опухло, с волос, залепленных илом, стекала грязная вода.

Мужчины рассматривали труп.

– Ты его знаешь? – спросил один.

Другой, паромщик из Круасси, колебался:

– Сдается мне, я где-то видел это лицо; только в таком виде сразу не разберешь.

Затем он вдруг воскликнул:

– Да это господин Поль!

– Кто такой господин Поль? – спросил его товарищ.

Первый заговорил снова:

– Господин Поль Барон, сын сенатора, тот молодчик, который так был влюблен.

Другой добавил философским тоном:

– Ну, теперь конец его веселью; а жалко все же, особенно когда человек богат!

Мадлена рыдала, упав на землю. Полина подошла к телу и спросила:

– А он наверно умер? Окончательно?

Лодочники пожали плечами.

– Еще бы! Столько времени прошло!

Потом один из них спросил:

– Ведь он жил у Грийона?

– Да, – отвечал другой, – надо отвезти его туда, нам заплатят.

Они снова вошли в лодку и отчалили, медленно удаляясь: течение было слишком быстрое. Вскоре женщины уже не могли их видеть с того места, где стояли, но им долго еще были слышны равномерные удары весел по воде.

Полина обняла бедную, заплаканную Мадлену, лаская ее, целуя и утешая:

– Ну, что же делать? Ведь это не твоя вина, не правда ли? Разве помешаешь человеку делать глупости? Он сам этого захотел. Тем хуже для него в конце концов!

И она подняла Мадлену с земли.

– Пойдем, дорогая, пойдем ночевать к нам, на дачу: тебе нельзя возвращаться к Грийону сегодня вечером.

Она поцеловала ее снова.

– Вот увидишь, мы тебя вылечим, – сказала она.

Мадлена встала и, все еще плача, но уже не так громко, склонила голову на плечо Полины, словно укрывшись в более интимное и надежное чувство, более близкое, внушающее больше доверия. И она удалилась медленными шагами.

ВЕСНОЮ

Когда наступают первые погожие дни, когда земля пробуждается, начиная вновь зеленеть, когда душистый, теплый воздух ласкает нам кожу, вливаясь в грудь и словно проникая до самого сердца, в нас просыпается смутная жажда бесконечного счастья, желание бегать, идти куда глаза глядят, искать приключений, упиваться весной.

Минувшая зима была очень суровой, а потому эта потребность обновления и расцвета овладела мною в мае, как хмель; я чувствовал прилив сил, бьющих через край.

Проснувшись однажды поутру, я увидел в окно над соседними домами бесконечный голубой покров небес, залитый пламенем солнца. Канарейки в подвешенных к окнам клетках щебетали, надсаживая горло; горничные во всех этажах распевали песни; с улицы подымался веселый гул. Я вышел в праздничном настроении, чтобы пойти, куда вздумается.

Встречные прохожие улыбались; всюду в теплом сиянии вернувшейся весны носилось словно дуновение счастья. Казалось, над городом веял легкий ветерок любви; молодые женщины проходили мимо меня в утренних туалетах, с какою-то затаенной нежностью во взглядах, с более мягкой грацией в походке, и мое сердце переполнялось волнением.

Сам не зная как и почему, я очутился на берегу Сены. Пароходы быстро неслись по направлению к Сюрену, и во мне пробудилось непреодолимое желание погулять по лесу.

Палуба речного пароходика была полна пассажиров. Ведь первый солнечный день побуждает людей против воли выйти из дому, побуждает их двигаться, ходить взад и вперед, заговаривать с соседями.

Сидевшая рядом со мной молодая особа, по-видимому, работница, обладала чисто парижской грацией. У нее была прелестная белокурая головка с вьющимися на висках волосами, словно с завитыми лучами солнца; эти волосы спускались за ушами, сбегая до затылка, развевались по ветру, а ниже превращались в пушок, такой тонкий, легкий, золотистый, что его едва можно было различить; он возбуждал неудержимое желание осыпать его бесконечными поцелуями.

Под влиянием моего пристального взгляда она повернула ко мне голову, потом опустила глаза; легкая складка, зарождающаяся улыбка, чуть углубила уголки ее рта, и здесь оказался тот же шелковистый и светлый пушок, чуть позолоченный солнцем.

Спокойная река постепенно расширялась. В воздухе разлита была теплая тишина. Соседка подняла глаза и, так как я продолжал на нее глядеть, теперь уже улыбнулась открыто. Она была очаровательна, и в ее ускользающем взгляде я уловил множество вещей, дотоле мне неизвестных. Я увидел в нем неведомые глубины, очарование нежности, всю ту поэзию, о которой мы мечтаем,

все счастье, которого ищем неустанно. И мной овладело безумное желание раскрыть объятия и унести ее куда-нибудь, чтобы наедине шептать ей на ухо сладкую мелодию слов любви.

Я уже собирался заговорить с нею, но кто-то тронул меня за плечо. Я с удивлением обернулся и увидел незнакомого мне мужчину самой заурядной внешности, ни старого, ни молодого, глядевшего на меня с грустным видом.

– Мне хотелось бы сказать вам кое-что, – промолвил он.

Я сделал гримасу, которую он, вероятно, заметил, потому что добавил:

– Это очень важно.

Я встал и последовал за ним на противоположный конец парохода.

– Сударь, – начал он, – когда наступает зима с холодами, дождем и снегом, доктор ежедневно повторяет вам: «Держите ноги в тепле, остерегайтесь простуды, насморка, бронхита, плеврита». И вы принимаете целый ряд предосторожностей: вы носите фуфайки, теплые пальто, ботинки на толстой подошве, хотя это и не всегда избавляет вас от двухмесячного пребывания в постели. Когда же наступает весна с ее зеленью и цветами, с ее теплым, расслабляющим ветром, с испарениями полей, вливающими в нас смутное волнение, беспричинную умиленность, – в эту пору не найдется никого, кто бы сказал вам: «Берегитесь любви, сударь! Она повсюду притаилась в засаде, она подстерегает вас на каждом углу; ее силки расставлены, оружие отточено, козни приготовлены. Остерегайтесь любви!.. Остерегайтесь любви! Она гораздо опаснее всех насморков, бронхитов, плевритов! Она не дает пощады и толкает всех на непоправимые безумства». Да, сударь, я заявляю, что правительству следовало бы ежегодно вывешивать на стенах большие афиши с такими словами: «Возвращение весны. Граждане Франции, берегитесь любви!» – точь-в-точь как пишут на дверях домов: «Берегитесь, окрашено!» Ну, а так как правительство этого не делает, то я вместо него говорю вам: берегитесь любви! Она готова подловить вас, и мой долг вас предостеречь, как в России предостерегают прохожего, у которого начинает замерзать нос.

Я стоял в полном недоумении перед этим странным субъектом, а затем ответил ему с видом оскорбленного достоинства:

– Знаете, сударь, мне кажется, что вы вмешиваетесь в то, что вас совсем не касается.

Он сделал резкое движение и отвечал:

– Ах, сударь, сударь! Когда я вижу, что человек тонет в опасном месте, неужели же я должен дать ему погибнуть? Да вот, послушайте мою историю, и вы поймете, почему я позволил себе с вами заговорить.

Это случилось в прошлом году, приблизительно в такое же время. Но сперва я должен вам сказать, сударь, что служу в Морском министерстве, где наши начальники, флотские чиновники, слишком уж принимают всерьез свои галуны офицеров от пера и чернильницы и потому обращаются с нашим братом, как с марсовыми матросами. Ах, если бы все начальники были штатскими! Впрочем, я уклоняюсь в сторону. Из окна моего отдела я видел маленький уголок синего-пресинего неба; по нему проносились ласточки, и у меня являлось желание пуститься в пляс среди своих черных папок.

Жажда свободы до такой степени овладела мною, что, преодолевая отвращение, я направился к своей обезьяне. То был маленький злющий старикашка, вечно раздраженный. Я сказался больным. Он взглянул на меня и крикнул:

– Я вам не верю, сударь; впрочем, можете убраться! Неужели вы воображаете, что какой-нибудь отдел может работать с чиновниками вроде вас?

Однако я улетучился и дошел до Сены. Была такая же погода, как сегодня; я сел на пароходик и решил прокатиться до Сен-Клу.

Ах, сударь! Уж лучше бы начальник не дал мне разрешения уйти!

Я словно оживал под лучами солнца. Все умиляло меня: и пароход, и река, и деревья, и дома, и мои соседи – словом, все. Мне так и хотелось кого-нибудь поцеловать, все равно кого: любовь готовила мне свой капкан.

У Трокадеро на пароход взойшла девушка с небольшим свертком в руке и села против меня.

Она была хорошенькая, о да, сударь; но удивительно, до чего женщины кажутся вам лучше в хорошую погоду, ранней весной; в них есть что-то пьянящее, какая-то прелесть, что-то такое осо-

бенное, чего я не сумею вам выразить. Это как вино, когда его пьешь после сыра.

Я смотрел на нее, и она поглядывала на меня, но лишь время от времени, точь-в-точь как сейчас ваша соседка. Мы долго таким образом переглядывались, и мне показалось, что мы уже достаточно знакомы, чтобы завязать беседу. Я заговорил с нею. Она ответила. Она была чрезвычайнойно мила, безусловно мила. Я, сударь мой, прямо-таки пьянел от нее!

Она сошла в Сен-Клу, и я последовал за ней. Она шла сдать заказ. Когда она появилась снова, пароход только что отчалил. Я пошел рядом с нею; мягкость воздуха заставляла нас обоих глубоко вздыхать.

– Как хорошо теперь в лесу! – сказал я ей.

Она отвечала:

– О да!

– Не хотите ли пройтись по лесу, мадемуазель?

Она окинула меня быстрым взглядом исподлобья, словно определяя мне цену, и после минутного колебания согласилась. Под листвой, еще жидковатой, высокая, густая, ярко-зеленая, как бы покрытая лаком трава была залита солнечным светом и кишела маленькими букашками, и они тоже любили друг друга. Повсюду раздавалось пение птиц. Спутница моя пустилась бежать, прыгая, резвясь, опьяненная воздухом и ароматом полей. А я бежал за нею и тоже прыгал, как она. До чего порою бываешь глуп, сударь!

Потом она принялась во всю глотку распевать оперные арии, песню Мюзетты!²⁵ Какой поэтичной тогда мне казалась эта песня Мюзетты!.. Я готов был расплакаться. О, вот эта-то вся ерунда и кружит нам голову; послушайте меня, никогда не сходите с женщиной, которая распевает в поле, особенно если она поет песню Мюзетты!

Скоро она устала и села на зеленый откос. Я уселся у ее ног, взял ее ручки, маленькие ручки, испещренные уколами иголки, и это растрогало меня. Я говорил себе: «Вот они, святые знаки труда!» Ах, сударь, сударь! Знаете ли вы, что означают эти святые знаки труда? Они говорят о всех сплетнях мастерской, о нашептываемых на ухо непристойностях, о душе, замаранной похабными рассказами, об утраченной девственности, о дурацких пересудах, о вульгарности каждодневных привычек, о всей узости представлений, свойственных женщинам из простонародья и царящих в голове тех, кто на кончиках пальцев носит эти священные знаки труда.

Затем мы долго глядели друг другу в глаза.

О, этот женский взгляд! Какую силу он имеет! Как он волнует, пленяет, захватывает, властвует! Каким кажется глубоким, полным обещаний, полным бесконечности! Это называется заглянуть друг другу в душу! О сударь, какой это вздор! Если бы действительно можно было заглянуть в душу, люди были бы умнее, будьте уверены!

Словом, я был безумно влюблен. Я хотел заключить ее в объятия.

– Лапы прочь! – сказала она.

Тогда я стал перед нею на колени и раскрыл ей всю душу; я высказал ей всю ту нежность, от которой задышался. Она, видимо, удивилась перемене в моем поведении и искоса бросила на меня взгляд, словно соображая: «Ах, вот как, значит, можно тобою играть; ну, посмотрим!»

В любви, сударь, мы всегда наивны, а женщины расчетливы.

Я, без сомнения, тогда же мог бы овладеть ею; позднее я понял свою глупость, но в то время я искал не тела; мне нужны были нежность, идеал. Я сентиментальничал, хотя мог куда лучше использовать время.

Когда ей надоели мои объяснения в любви, она поднялась, и мы вернулись в Сен-Клу. Расстался я с нею только в Париже. На обратном пути у нее был такой грустный вид, что я пустился в расспросы.

– Я думаю о том, – ответила она, – что такие дни, как нынешний, нечасто встречаются в жизни.

Сердце у меня забилося так сильно, что грудь готова была разорваться.

²⁵ Песня Мюзетты. – Возможно, имеется в виду популярная песня «Мюзетта», написанная французским поэтом Шарлем Кольмансом в 1846 году.

Мы свиделись с нею в следующее воскресенье, затем в следующее и во все другие воскресенья. Я возил ее в Буживаль, Сен-Жермен, Мэзон-Лафит, Пуасси, всюду, где разворачиваются любовные похождения пригородов.

А негодница эта, в свою очередь, разыгрывала со мною комедию страсти.

Кончилось тем, что я совершенно потерял голову и через три месяца на ней женился.

Что вы хотите, сударь? Я был чиновник, одинокий, без семьи, посоветоваться мне было не с кем! Я говорил себе, что жизнь с женою будет отрадна! Вот я и женился на этой женщине!

А теперь она поносит меня с утра до вечера, ничего не понимает, ничего не знает, трещит без умолку, нещадно горланит песенку Мюзетты (о, эта песенка Мюзетты, что за пытка!), сцепляется с угольщиком, поверяет привратнице интимные подробности нашей семейной жизни, выкладывает соседней прислуге секреты брачного ложа, унижает мужа в глазах всех лавочников, а голова ее набита такими глупыми рассказами, такими идиотскими верованиями, такими нелепыми взглядами и такими невероятными предрассудками, что я, сударь, просто плачу с отчаяния всякий раз, когда разговариваю с нею.

Он замолчал, задыхаясь, разволновавшись до крайности. Я глядел на него, охваченный жалостью к этому наивному бедняге, и уже собрался ему что-то ответить, как вдруг пароход остановился. Мы приехали в Сен-Клу.

Женщина, смутившая меня, поднялась, чтобы сойти на берег. Она прошла мимо меня, бросив мне искоса взгляд с лукавой усмешкой на губах, с одной из тех усмешек, которые могут свести человека с ума; затем она соскочила на пристань.

Я бросился было за нею, но мой сосед схватил меня за рукав. Резким движением я вырвался, но он вцепился в фалды моего сюртука и, оттаскивая меня назад, повторял таким громким голосом, что все стали оборачиваться:

— Нет, вы не пойдете!

Вокруг нас раздался смех, и я остановился взбешенный, не решаясь устроить скандал и оказаться в смешном положении.

Пароход отчалил.

Оставшись одна на пристани, женщина разочарованно глядела, как я удаляюсь, а мой докучливый спутник шептал мне на ухо, потирая руки:

— Как-никак я оказал вам сейчас большую услугу!

ПЛАКАЛЬЩИЦЫ

Пятеро друзей кончали обедать; все это были светские люди, пожилые, богатые; трое из них были женаты, двое остались холостяками. Так они собирались каждый месяц в память своей молодости, а после обеда беседовали, засиживаясь часов до двух ночи. Оставшись близкими друзьями и находя удовольствие в общении друг с другом, они считали, что эти вечера, пожалуй, лучшее в их жизни. Они болтали обо всем том, что занимает и забавляет парижан, и их разговор, как, впрочем, большинство салонных разговоров, состоял из пересказа прочитанных утром газет.

Всех веселее из них был Жозеф де Бардон, холостяк, наслаждавшийся парижской жизнью на самый полный и изысканный лад. Он не был ни кутилой, ни развратником, а просто любопытным и еще молодым жуиром: ему едва минуло сорок лет. Светский человек в самом широком и самом симпатичном смысле этого слова, он был наделен блестящим, но не слишком глубоким умом, разнообразными, хотя и без подлинной эрудиции знаниями, способностью быстро схватывать мысль, не вникая в ее сущность; из всех своих наблюдений и переживаний, из всего того, что он видел, встречал и находил, он извлекал анекдоты для комического и в то же время философского романа, а также юмористические замечания; все это создало ему в городе репутацию блестящего ума.

Он был главным оратором на этих обедах. У него всякий раз была наготове своя собственная история. Ее уже ожидали, и он начинал рассказывать, не дожидаясь просьбы.

Опершись локтями о стол, покуривая сигару, оставив у тарелки недопитую рюмку коньяка, несколько отяжелев в атмосфере табачного дыма и аромата горячего кофе, он, казалось, чувство-

вал себя совсем по-домашнему, как это бывает с некоторыми существами в иных местах и в иные минуты – например, с набожной женщиной в часовне или с золотой рыбкой в аквариуме.

Между двумя затяжками он объявил:

– Не так давно со мной случилось странное приключение.

Все почти в один голос попросили:

– Расскажите.

Он продолжал:

– С удовольствием. Вы знаете, я часто брожу по Парижу, как гуляют коллекционеры безделушек, разглядывающие витрины. Только я высматриваю зрелища, людей, все то, что проходит мимо меня и что происходит вокруг.

Итак, в середине сентября – погода в то время была чудная – я как-то после полудня вышел из дома, еще не зная, куда мне пойти. Всегда испытываешь в этих случаях смутное желание сделать визит какой-нибудь хорошенькой женщине. Роешься в своей галерее знакомых дам, мысленно сравниваешь их, взвешиваешь интерес, какой каждая из них тебе внушает, или обаяние, каким каждая из них тебя чарует; наконец выбираешь то, что привлекает тебя в данную минуту. Но вот беда: если солнце светит ярко, а погода теплая, никакого желания делать визиты уже нет.

Солнце ярко светило, и погода была теплая; я закурил сигару и попросту отправился погулять по внешним бульварам. Гулял я без определенной цели; по дороге мне пришло в голову пойти до Монмартрского кладбища и побродить там.

Я очень люблю кладбища: они успокаивают, навевают меланхолическое настроение, а в нем я нуждаюсь. Кроме того, там есть добрые друзья, с которыми больше уже не увидишься, и время от времени я захожу к ним.

Как раз с Монмартрским кладбищем у меня связано одно сердечное воспоминание: там лежит моя любовница, которая когда-то изрядно меня мучила и волновала; воспоминание об этой очаровательной женщине вызывает во мне скорбь и в то же время сожаления... сожаления самого разнообразного свойства... И вот я хожу помечтать на ее могиле... Для нее-то все уже кончено.

Я люблю кладбища и потому, что это гигантские, невероятно населенные города. Подумайте, сколько мертвецов помещается на таком небольшом пространстве, сколько поколений парижан навсегда поселилось там – вековыми троглодитами в своих маленьких пещерах, в ямках, прикрытых камнем или отмеченных крестом, – тогда как дураки живые занимают столько места и производят такой шум.

Кроме того, на кладбищах встречаются памятники почти столь же интересные, как в музеях. Гробница Кавеньяка,²⁶ признаюсь, напомнила мне, хотя я и не делаю такого сравнения, одно из лучших произведений Жана Гужона.²⁷ Надгробное изваяние Луи де Брезе,²⁸ покоящегося в подземной капелле Руанского собора; все так называемое современное реалистическое искусство произошло отсюда, господа! Этот мертвый Луи де Брезе более правдив, более страшен, более напоминает бездыханное тело, еще сведенное предсмертной судорогой, чем все вымученные трупы, уродливо изображаемые на современных гробницах.

Впрочем, на Монмартрском кладбище можно еще восхищаться памятником над могилой Бодена,²⁹ не лишенным известного величия, а также памятником Теофилю Готье³⁰ и памятником

²⁶ Кавеньяк. – На Монмартрском кладбище похоронены в одной могиле республиканец Годфруа Кавеньяк (1801–1845) и его младший брат, генерал Луи-Эжен Кавеньяк (1802–1857), известный организатор расстрела участников июньского рабочего восстания 1848 года.

²⁷ Жан Гужон – французский скульптор и архитектор (род. в 1510 г., дата смерти не установлена).

²⁸ Луи де Брезе. – Имеется в виду Луи II де Брезе, сенешаль (главный судья) в Нормандии, умерший в 1531 году.

²⁹ Боден (1811–1851) – французский республиканец, героически погибший на баррикадах в дни декабрьского переворота, открывшего путь к установлению Второй империи.

³⁰ Теофиль Готье (1811–1872) – французский поэт-романтик.

Мюрже,³¹ на котором я на днях видел один-единственный жалкий веночек из желтых бессмертников; кем только он возложен? Не последней ли гризеткой, уже совсем дряхлой и, быть может, служащей привратницей по соседству? Это хорошенькая статуэтка работы Милле,³² но разрушающаяся от запущенности и грязи. Вот и воспевай после этого молодость, о Мюрже!

Итак, я пошел на Монмартрское кладбище, и вдруг мною овладела грусть – правда, не очень мучительная, а такая, которая, когда неплохо себя чувствуешь, заставляет подумать: «Нельзя сказать, чтобы это было очень веселое место, но ведь мое время еще не пришло...»

Впечатление осени, теплой сырости, пропитанной запахом гниющих листьев, и ослабевшее, утомленное, вялое солнце еще больше усиливали и поэтизировали чувство одиночества и неизбежного конца, как бы присущее этому месту, где пахнет тлением.

Я шел тихим шагом по кладбищенским улицам, где соседи уже не навещают друг друга, уже не спят вместе и не читают газет. И я принялся рассматривать надгробные надписи. А это, поверьте, забавнейшее занятие на свете. Ни Лабиш,³³ ни Мельяк³⁴ никогда не могли так рассмешить меня, как комизм надгробной прозы. Ах, насколько удачнее всех творений Поль де Кока³⁵ развлекают вас эти мраморные плиты и кресты, на которых родственники усопших излили свои горести, свои пожелания счастья отошедшему в другой мир и надежды – вот шутники! – на скорое свидание.

Но особенно люблю я на этом кладбище заброшенную его часть, уединенную, поросшую большими тисовыми деревьями и кипарисами, старый квартал давнишних покойников; он уже вскоре превратится в новый квартал, и там вырубят зеленые деревья, вскормленные человеческими трупами, чтобы разместить рядами под мраморными плитами свежих покойников.

Побродив там достаточно долго, чтобы проветрить свои мысли, я понял, что скоро соскучусь и что пора отнести к последнему ложу моей подруги дань верной любви. Сердце мое невольно сжалось, когда я подошел к ее могиле. Бедняжка моя дорогая, она была такая милая, такая влюбленная, такая беленькая, такая свежая... а теперь... если бы вскрыть могилу...

Перегнувшись через железную решетку, я тихонько поведал ей мою скорбь, которую она, без сомнения, не услышала, и уже собрался было уходить, как вдруг увидел какую-то женщину в глубоком трауре, преклонившую колени на соседней могиле. Из-под ее приподнятой креповой вуали виднелась хорошенькая белокурая головка, а волосы, разделенные посередине пробором, казались, были освещены лучами зари в ночном мраке ее головного убора. Я задержался.

Вероятно, она страдала от глубокого горя. Закрыв глаза руками, стоя неподвижно, как статуя, она отдалась раздумьям, целиком ушла в сожаление о прошлом. Перебирая, как четки, в тени сомкнутых ресниц мучительный ряд воспоминаний, она казалась покойницей, думающей о покойнике. И вдруг я догадался, что она сейчас заплачет; я догадался об этом по слабому движению ее спины, похожему на трепет листьев ивы под дуновением ветерка. Сначала она плакала тихонько, затем громче, и ее шея и плечи стали быстро подергиваться. И вдруг она открыла глаза. Они были полны слез и прелестны, эти обезумевшие глаза, которыми она обвела вокруг себя, словно пробудившись от дурного сна. Она увидела, что я смотрю на нее, по-видимому, застыдилась и снова закрыла лицо руками. Рыдания ее сделались судорожными, и голова медленно склонилась на мрамор. Она приникла к нему лбом, а ее вуаль разостлалась по белым углам дорогой ее сердцу гробницы, как новый траурный убор. Затем я услышал стон: она опустилась наземь, прильнув щекою к плите, и замерла в неподвижности, потеряв сознание.

Я бросился к ней, хлопал по ее ладоням, дул на веки, читая в то же время простую надгроб-

³¹ Мюрже (1822–1861) – французский романист, автор «Сцен из жизни богемы».

³² Милле (1819–1891) – речь идет о французском скульпторе Эме Милле.

³³ Лабиш (1815–1888) – французский водевилист.

³⁴ Мельяк (1831–1897) – французский драматург, многие пьесы которого написаны им в соавторстве с Лабишем.

³⁵ Поль де Кок (1794–1871) – французский романист.

ную надпись: «Здесь покоится Луи Каррель, капитан морской пехоты, убитый неприятелем в Тонкине.³⁶ Молитесь за него».

Смерть произошла всего несколько месяцев тому назад. Тронутый до слез, я удвоил свои заботы. Они увенчались успехом: она пришла в себя. У меня был растроганный вид; к тому же я недурен собою, и мне всего сорок лет. По первому ее взгляду я понял, что она будет любезна со мной и благодарна. Так и случилось, причем она снова расплакалась; из ее стесненной груди вырывался отрывками рассказ о смерти офицера, павшего в Тонкине после года брачной жизни, а брак их был по любви, потому что, потеряв отца и мать, она обладала лишь тем приданым, какое требовалось военным уставом.

Я утешал ее, ободрял, помогал ей встать и поднял ее. Затем я сказал ей:

– Не оставайтесь здесь. Идемте.

Она прошептала:

– Я не в состоянии идти.

– Я помогу вам.

– Благодарю вас, вы так добры! Вы тоже пришли сюда оплакивать умершего?

– Да, сударыня.

– Умершую?

– Да, сударыня.

– Вашу жену?

– Подругу.

– Можно любить подругу так же, как жену; для страсти нет закона.

– Да, сударыня.

И вот мы отправились вместе, она опиралась на меня, и я почти нес ее по дорожкам кладбища. Когда мы вышли из ворот, она прошептала в изнеможении:

– Боюсь, что мне сейчас будет дурно.

– Не зайти ли нам куда-нибудь? Может быть, вы что-нибудь выпьете?

– Хорошо, сударь.

Я увидел ресторан, один из тех ресторанов, куда друзья покойника заходят, чтобы отпраздновать окончание тягостной повинности. Мы вошли. Я предложил ей чашку горячего чая, который, казалось, оживил ее. На губах ее заиграла бледная улыбка. Она заговорила о себе. Так грустно, так грустно быть одинокой в жизни, совсем одинокой у себя дома, ни днем ни ночью не иметь никого, кому можно было бы отдать свою любовь, доверие, дружбу!

Все это казалось вполне искренним. Все это звучало очень мило в ее устах. Я растрогался. Она была молода, пожалуй, лет двадцати. Я сделал ей несколько комплиментов, и она приняла их благосклонно. Затем, так как становилось уже поздно, я предложил проводить ее домой в экипаже. Она согласилась; в фиакре мы сидели так близко, плечо к плечу, что теплота наших тел смешивалась, проникая сквозь одежду, а это ведь – одно из самых волнующих ощущений.

Когда экипаж остановился у ее дома, она промолвила:

– Я, кажется, не в силах подняться одна по лестнице: ведь я живу на пятом этаже. Вы были так добры со мной; не проводите ли меня еще до квартиры?

Я поспешил согласиться. Она стала медленно подыматься, сильно задыхаясь. Дойдя до своей двери, она сказала:

– Зайдите хоть на минуту, чтобы я могла вас поблагодарить.

И я зашел, еще бы!

Обстановка ее квартиры была скромная, даже бедноватая, но простая и со вкусом.

Мы уселись рядом на маленьком диванчике, и она снова заговорила о своем одиночестве.

Она позвонила горничной, чтобы угостить меня чем-нибудь. Горничная не явилась. Я был в восхищении, поняв, что эта горничная бывала только по утрам – что называется, приходящая прислуга.

³⁶...убитый неприятелем в Тонкине... – намек на военные действия Франции в 1883–1885 гг. в связи с оккупацией Тонкина.

Она сняла шляпу. Она в самом деле была очаровательна; ее ясные глаза были устремлены на меня, так прямо устремлены и так ясны, что мною овладело страшное искушение. И я поддался ему. Я схватил ее в свои объятия и стал целовать ей глаза, которые внезапно закрылись, целовать... целовать... целовать... без конца.

Она отбивалась, отталкивая меня и повторяя:

– Перестаньте... перестаньте... когда вы кончите?

Какой смысл придавала она этому слову? В подобных случаях слово «кончать» может иметь по меньшей мере два смысла. Чтобы она умолкла, я перешел от глаз к губам и придал слову «кончать» тот смысл, который предпочитал. Она противилась не слишком упорно, и когда мы снова взглянули друг на друга после этого оскорбления, нанесенного памяти убитого в Тонкине капитана, у нее был томный, растроганный и покорный судьбе вид, вполне рассеявший мои опасения.

Тогда я повел себя галантно, предупредительно и признательно. И после новой беседы, длившейся около часа, я спросил ее:

– Где вы обедаете?

– В маленьком ресторане по соседству.

– Одна?

– Конечно.

– Не хотите ли пообедать со мной?

– А где?

– В хорошем ресторане на бульваре.

Она слегка противилась. Я настаивал, она уступила, оправдываясь сама перед собой:

– Я так... так скучаю! – А затем добавила: – Мне надо переодеться в более светлое платье.

И она ушла в спальню.

Когда она оттуда вышла, одетая в полутраур, она была очаровательна – тонкая, стройная, в сером, совсем простом платье. Очевидно, у нее была форма кладбищенская и форма городская.

Обед был самый дружеский. Она выпила шампанского, разгорячилась, оживилась, и я вернулся с нею вместе на ее квартиру.

Эта связь, заключенная на могилах, длилась недели три.

Но ведь все надоедает, а особенно женщины. Я расстался с нею под предлогом неотложного путешествия. Я был весьма щедр при разлуке, за что она была мне очень благодарна. И она взяла с меня слово, заставила поклясться, что по возвращении я опять приду к ней: по-видимому, она действительно немного привязалась ко мне.

Я погнался за новыми любовными приключениями, и, пожалуй, с месяц желание увидеть вновь мою кладбищенскую возлюбленную не овладевало мною настолько, чтобы я ему поддался. Впрочем, я ее не забывал... Воспоминание о ней преследовало меня, как тайна, как психологическая загадка, как один из тех необъяснимых вопросов, которые не дают нам покоя.

Не знаю почему, но однажды мне пришлось в голову, что я найду ее на Монмартрском кладбище, и я отправился туда снова.

Я долго прогуливался там, но не встретил никого, кроме обычных посетителей, тех, кто еще не окончательно порвал связь со своими покойниками. На мраморной могиле капитана, убитого в Тонкине, не было ни плакальщицы, ни цветов, ни венков.

Но когда я бродил по другому кварталу этого огромного города мертвых, я вдруг увидел в конце узкой аллеи крестов какую-то чету в глубоком трауре – мужчину и даму, направлявшихся мне навстречу. О, изумление! Когда они приблизились, я узнал даму. То была она!

Она увидела меня, вспыхнула и, когда я задел ее, проходя мимо, сделала мне чуть уловимый знак, бросила едва заметный взгляд, означавший: «Не узнавайте меня», но, казалось, говоривший также: «Зайди опять повидаться, мой любимый».

Мужчина был вполне приличен, изящен, шикарен: офицер ордена Почетного легиона, лет около пятидесяти.

И он поддерживал ее точно так же, как поддерживал я, когда мы покидали кладбище.



Я уходил в глубоком изумлении, ломая себе голову над тем, что увидел: к какой породе существ принадлежала эта могильная охотница? Была ли это просто девица легкого поведения, изобретательная проститутка, ловившая на могилах опечаленных мужчин, тоскующих о женщине – жене или любовнице – и все еще волнуемых воспоминаниями прошлых ласк? Была ли она единственной в своем роде? Или их много? Особая ли это профессия? Служит ли кладбище таким же местом ловли как и тротуар? Плакальщицы! Или же ей одной пришла в голову эта блестящая, глубоко философская мысль – эксплуатировать тоску по минувшей любви, которая пробуждается с новой силой в этих печальных местах?

И мне очень захотелось узнать, чьей вдовой она была в этот день.

ИЗБАВИЛАСЬ

ГЛАВА I

Молодая маркиза де Реннедон влетела, словно пуля, пронизавшая стекло, и, не успев еще заговорить, начала смеяться, смеяться до слез, точь-в-точь как месяц тому назад, когда объявила своей подруге, что изменила маркизу из мести – только из мести, и только один раз, потому что он, право, чересчур уж глуп и ревнив.

Баронесса де Гранжери бросила на канапе книгу, которую читала, и с любопытством смотрела на Анкету, заранее смеясь.

Наконец она спросила:

– Ну, что еще набедокурила?

– О, дорогая... дорогая... Это так смешно... так смешно... Представь себе... я избавилась... избавилась... избавилась!

– Как избавилась?

– Так, избавилась.

– Отчего?

– От мужа, дорогая, избавилась! Я освобождена! Я свободна! Свободна! Свободна!

– Как свободна? В каком отношении?

– В каком! Развод! Да, развод! Я могу получить развод!

– Ты развелась?

– Да нет еще, какая ты глупая! Ведь за три часа нельзя развестись. Но у меня есть доказательства... доказательства... доказательства, что он мне изменяет... его застали с поличным... по-

думай только... застали с поличным... он в моих руках...

– О, расскажи! Значит, он тебе изменял?

– Да... то есть, как сказать... и да и нет. Не знаю. Но у меня есть доказательства, а это самое главное.

– Как же тебе это удалось?

– Как удалось?... А вот как! О, я повела дело ловко, очень ловко! За последние три месяца он сделался невыносим, совершенно невыносим, груб, дерзок, деспотичен – словом, отвратителен! Я решила: так больше продолжаться не может – нужно развестись. Но как? Это было не легко. Я пыталась устроить, чтобы он побил меня. Но на это он не шел. Он только ссорился со мной с утра до вечера, заставлял меня выезжать, когда я не желала, и оставаться дома, когда мне хотелось обедать в гостях; он целыми неделями отравлял мне жизнь, но все-таки не бил меня.

Тогда я попыталась узнать, не завел ли он себе любовницу. И что же – так оно и оказалось, но, отправляясь к ней, он принимал множество предосторожностей. Застичь их вместе было совершенно невозможно. Попробуй-ка догадаться, что я сделала?

– Не могу.

– О, никогда и не догадаешься! Я упросила брата достать мне фотографию этой женщины.

– Любовницы твоего мужа?

– Да. Жаку это обошлось в пятнадцать луидоров – стоимость вечера с семи часов до двенадцати, включая обед; в общем, по три луидора в час. А карточку он получил даром, в виде премии.

– По-моему, он мог бы добыть ее и дешевле, с помощью какой-нибудь уловки и без... без... необходимости получить в придачу оригинал.

– О, она хорошенькая! Жаку это было отнюдь не противно. И, кроме того, мне нужно было узнать разные подробности о ее талии, груди, коже, ну, и о многом другом.

– Не понимаю.

– Сейчас поймешь. Узнав все, что мне было нужно, я отправилась к одному... как бы это сказать... к одному деловому человеку... Знаешь... к одному из тех, кто занимается понемножку всякими делами... какими угодно... К агенту... но... по разным... изобличениям... к одному из тех... из тех... Ну, сама понимаешь.

– Да, приблизительно. Что же ты ему сказала?

– Я показала ему карточку Клариссы (ее зовут Кларисса) и заявила: «Сударь, мне нужна горничная, похожая вот на эту особу. Я хочу, чтобы она была хорошенькая, элегантная, ловкая и опрятная. Я заплачу ей, сколько потребуется. Пусть это мне обойдется хоть в десять тысяч франков – не беда. Понадобится она мне не больше чем на три месяца».

Ну и удивился же этот человек! Он спросил:

– Вам нужна горничная безукоризненного поведения?

Я покраснела и пробормотала:

– Да, в смысле честности.

– А... в смысле нравственности? – продолжал он.

Я не посмела ответить. Я только покачала головой, в знак отрицания. Но вдруг сообразила, какое у него могло возникнуть подозрение, и, очертя голову, крикнула:

– Сударь... это для моего мужа... Он мне изменяет... изменяет где-то на стороне... а я хочу... я хочу, чтобы он изменял мне дома... Понимаете? Я хочу его поймать.

Человек расхохотался. И по его взгляду я поняла, что он проникся ко мне уважением. Он даже нашел, что я очень изобретательна. Держу пари, что в эту минуту ему хотелось пожать мне руку.

Он сказал:

– Через неделю, сударыня, я подберу то, что вам нужно. Если не подойдет одна, отыщем другую. За успех я ручаюсь. Вы заплатите мне только после благополучного окончания дела. Итак, это портрет любовницы вашего супруга?

– Да, сударь!

– Красивая особа и вовсе не такая худая, как кажется. А какие духи?

Я не поняла и переспросила:

– Что значит – какие духи?

Он улыбнулся:

– Духи, мадам, – весьма существенное обстоятельство в деле соблазна мужчины: запах рождает в нем бессознательные воспоминания, побуждающие его к действию; запах вызывает смутные сопоставления, томит и волнует, напоминая о привычных наслаждениях. Хорошо бы также узнать, какие блюда подаются к столу, когда ваш муж обедает с этой дамой. Вы можете заказать те же самые к ужину в тот вечер, когда решите захватить его. О мадам, он у нас в руках! Он у нас в руках!

Я ушла в полном восхищении. Действительно, мне посчастливилось напасть на очень смысленного человека.

ГЛАВА II

Три дня спустя ко мне явилась высокая, смуглая и очень красивая девушка, скромного и в то же время вызывающего вида – особа явно опытная. Со мной она держалась вполне прилично. Хотя рошенько не зная, кто она, я называла ее «мадемуазель», но она заявила: «Мадам, называйте меня просто Розой». Мы вступили в разговор.

– Итак, Роза, вам известно, для чего вас пригласили сюда?

– Вполне, мадам.

– Очень хорошо, милая... И это... вам не особенно неприятно?

– Мадам, я уж восьмой развод устраиваю; я привыкла.

– В таком случае – великолепно. А много вам для этого понадобится времени?

– Мадам, это всецело зависит от темперамента вашего супруга. Побыв с мсье минут пять наедине, я отвечу вам совершенно точно.

– Вы сейчас увидите его, милая. Но предупреждаю вас: он далеко не красив.

– Это для меня безразлично, мадам. Я разводила и совсем безобразных. Но позвольте спросить, узнали вы уже относительно духов?

– Да, милая Роза: вербена.

– Тем лучше, я очень люблю этот запах! Может быть, мадам, вы сообщите мне также, какое белье носит любовница мсье – шелковое?

– Нет, дитя мое, батистовое с кружевами.

– Так эта особа не лишена вкуса! Шелковым бельем теперь уже никого не удивишь.

– Вы совершенно правы.

– Итак, мадам, я приступаю к своим обязанностям.

Действительно, она немедленно приступила к своим обязанностям, как будто всю жизнь только этим и занималась.

Через час вернулся муж. Роза даже глаз на него не подняла, зато он прямо уставился на нее. Вербеной от нее уже так и разило. Минут через пять она вышла из комнаты.

Он тотчас же спросил меня:

– Что это за девушка?

– Это... моя новая горничная.

– Где вы ее нашли?

– Ее прислала ко мне баронесса де Гранжери с самыми лучшими рекомендациями.

– А! Она довольно хорошенькая.

– Вы находите?

– Да... для горничной, конечно.

Я была в восторге. Я чувствовала, что он клюнул.

В тот же вечер Роза сказала мне:

– Теперь могу вам обещать, мадам, что это больше двух недель не протянется. Мсье очень податлив.

– А, вы уже произвели опыт?

– Нет еще, мадам, но это видно с первого взгляда. Он уже не прочь обнять меня, проходя

мимо.

- Он ничего вам не говорил?
- Нет, мадам, он только спросил, как мое имя... чтобы услышать мой голос.
- Отлично, милая Роза. Действуйте же как можно скорее.
- Не беспокойтесь, мадам. Я буду сопротивляться лишь столько, сколько нужно, чтобы не сбавить себе цену.

Через неделю муж уже почти перестал выходить из дому. Он целый день слонялся по комнатам; весьма показательно для его намерений было и то, что он больше не мешал мне выезжать. И я пропадала целыми днями... чтобы... чтобы предоставить ему свободу.

На девятый день Роза, раздевая меня, скромно сказала:

- Сегодня утром, мадам, все устроилось.

Я была немного удивлена, даже чуточку взволнована, не самым событием, а скорее тем, как она мне об этом сообщила. Я прошептала:

- И... и... все хорошо?

– О! Очень хорошо, мадам. Уже три дня, как мсье сделался крайне настойчивым, но я не хотела уступить слишком быстро. Соболаговолите, мадам, назначить время, когда вам угодно будет... установить... факт...

- Отлично, моя милая... Назначим хотя бы четверг.

– Пусть будет в четверг, мадам. А до тех пор, чтобы раззадорить мсье, я не позволю ему ничего.

- Вы уверены, что это удастся?

– О да, мадам, вполне уверена. Я сумею так разжечь мсье, что все случится именно в тот самый час, который вы соболаговолите мне указать.

- Назначим, милая Роза, на пять часов.

- Пусть будет в пять, мадам. А где?

- Ну... В моей спальне.

- Хорошо. В вашей спальне, мадам.

Теперь ты понимаешь, дорогая, что я сделала? Прежде всего позвала папу и маму, потом моего дядюшку д'Орвлена, председателя суда, и, кроме того, господина Рапле, судью, друга моего мужа. Я не предупредила их о том, что собираюсь им показать. Я попросила всех подойти на цыпочках, потихоньку, к дверям моей спальни. Подождала до пяти, ровно до пяти... О, как билось у меня сердце! Я позвала и привратника, чтобы было одним свидетелем больше. И потом... потом... когда часы начали бить – трах! – я настежь распахнула дверь... Ха! ха! ха!.. Роман был в самом разгаре... в самом разгаре... дорогая. Какое у моего супруга было лицо!.. Какое лицо! Если бы ты только видела его лицо!.. А он еще повернулся к нам... болван!.. Ах, до чего же он был смешон... Я хохотала, хохотала... А папа так разъярился, что готов был броситься на него!.. Привратник же, верный слуга, помогал ему одеваться... при нас, при нас... Как он пристегивал подтяжки... вот была умора! Зато Роза оказалась на высоте! На высоте совершенства! Она расплакалась, превосходно расплакалась! Этой девушке цены нет... Если тебе когда-нибудь понадобится, имей ее в виду!

И вот я здесь... Я сейчас же прибежала рассказать тебе обо всем... сейчас же. Я свободна! Да здравствует развод!

И она завертелась посреди гостиной, а баронесса задумчиво и недовольно сказала:

- Почему же ты меня не пригласила посмотреть?

ВЕРЕВОЧКА

Гарри Алису

По всем дорогам шли крестьяне с женами, направляясь в местечко Годервиль: был базарный день. Мужчины шли неторопливым шагом, наклоняясь вперед всем телом при каждом движении

длинных кривых ног, изуродованных грубой работой: тяжестью плуга, заставляющей одновременно поднимать левое плечо и изгибать туловище, жатвой хлеба, при которой нужно раздвигать колени, чтобы найти крепкий упор, – всем медлительным и тяжелым деревенским трудом. Их синие блузы, накрахмаленные, блестящие, как будто лакированные, украшенные у ворота и у кисти незатейливой белой вышивкой, раздувались вокруг костлявого туловища и были похожи на шары, готовые улететь, из которых торчали голова, две руки и две ноги.

Крестьяне тащили на веревке корову или теленка. А жены, идя позади, подгоняли животных свежесрезанной веткой. В другой руке они несли большие корзины, откуда выглядывали головы цыплят или уток. Шагали они более мелко и торопливо, чем мужчины, укутав тощий и прямой стан плохонькой узкой шалью, заколотой булавкой на плоской груди, и туго повязав голову белым платком, поверх которого был надет еще и чепец.

Иной раз проезжал шарабан, влекомый лошадежкой, бежавшей неровной рысью, от чего забавно подпрыгивали двое мужчин, сидевших рядом, и женщина в глубине повозки, державшаяся за ее край, чтобы ослабить резкие толчки на ухабах.

На площади Годервиля была давка, толчея сбившихся в кучу людей и животных. Рога быков, высокие войлочные шляпы богатых крестьян и чепцы крестьянок возвышались над толпой. Крикливые, пронзительные, визгливые голоса сливались в сплошной дикий гам, из которого временами выделялся громкий хохот, вырывающийся из могучей груди подвыпившего поселанина, или протяжное мычание коровы, привязанной к забору.

Все это пахло стойлом, молоком и навозом, сеном и потом, издавало кислый, отвратительный запах скотины и человека, свойственный деревенским жителям.

Дядюшка Ошкорн из Бреоте только что пришел в Годервиль и направился к площади, как вдруг заметил на земле маленькую веревочку. Дядюшка Ошкорн, бережливый, как все нормандцы, подумал: стоит подобрать то, что может пригодиться. И он нагнулся с трудом, так как страдал ревматизмом. Он поднял с земли обрывок тонкой веревки и уже собрался аккуратно свернуть ее, когда увидел шорника Маландена – тот стоял на пороге своего дома и смотрел на него. Когда-то они повздорили из-за недоузка и с тех пор оставались не в ладах, так как оба были злопамятны. Ошкорну стало немного стыдно, что враг увидел его за таким делом – копающегося в грязи из-за обрывка веревки. Он поскорей сунул свою находку под блузу, потом в карман штанов; потом сделал вид, будто ищет на земле что-то, – и пошел к рынку, вытянув шею и скрючившись от боли.

Он тотчас же затерялся в крикливой и медлительной толпе, разгоряченной нескончаемым торгом. Крестьяне щупали коров, уходили, возвращались неуверенные, опасаясь попасть впросак, не имея духа решиться, зорко следя за продавцом, упорно стараясь разглядеть хитрость в человеке и изъян в животном.

Женщины поставили возле себя большие корзины и вынули из них птиц, которые лежали теперь на земле, распростертые, со связанными лапками, с ярко-красными гребешками, и испуганно глядели на людей.

Крестьянки выслушивали предложения с холодными, бесстрастными лицами и не спускали цену; или вдруг, решив уступить, кричали вслед медленно удалявшемуся покупателю:

– Ладно, дядюшка Антим! Берите.

Площадь понемногу опустела, и в двенадцать часов, когда отзвонил колокол, призывающий вознести молитву богородице, все, кому было далеко до дому, разошлись по трактирам.

У Журдена большая зала была полна обедающих, а широкий двор полон экипажей всех сортов – телег, кабриолетов, шарабанов, одноколок, диковинных повозок, желтых от навоза, изуродованных, залатанных, поднимавших к небу, как две руки, свои оглобли или уткнувшихся носом в землю с поднятым вверх задком.

Как раз против стола, за которым разместились посетители, ярким пламенем пылал огонь в огромном камине, обдавая жаром спины сидевших справа. Над очагом поворачивались три вертела с насаженными на них цыплятами, голубями и бараньими окороками; чудесный запах жаркого и мясного сока, стекавшего с подрумяненной кожи, возбуждал всеобщую веселость и наполнял рот слюной.

Вся аристократия плуга обедала здесь, у дядюшки Журдена, трактирщика и барышника, лов-

кача, у которого водились деньжонки.

Блюда сменялись одно другим и опустошались так же, как и кувшины желтого сидра. Каждый рассказывал о своих делах, покупках и продажах. Спрашивали друг друга об урожае. Погода была хороша для овощей, хотя и сыровата для хлебов.

Вдруг во дворе, перед домом, забил барабан. Все тотчас же вскочили, за исключением нескольких равнодушных, и бросились к дверям и окнам – с набитыми ртами и с салфетками в руках.

Кончив барабанить, глашатай прокричал отрывистым голосом, невпопад разделяя фразы:

– Доводится до сведения жителей Годервиля и вообще всех лиц, присутствовавших на базаре, что сегодня утром был потерян, по дороге в Безвиль, между девятью и десятью часами, бумажник черной кожи, содержащий пятьсот франков и деловые бумаги. Просят немедленно доставить находку в мэрию или гражданину Ульбреку из Манневиля. Вознаграждение – двадцать франков.

Потом этот человек ушел. Издали еще раз слабо донесся звук барабана и заглушённый голос глашатая.

Все принялись толковать об этом событии, обсуждая, удастся или не удастся дядюшке Ульбреку получить обратно свой бумажник.

Обед кончился.

Допивали кофе, когда на пороге появился жандармский чин.

Он спросил:

– Здесь гражданин Ошкорн из Бресте?

Ошкорн, далеко сидевший за столом, отозвался:

– Здесь.

Полицейский чин продолжал:

– Гражданин Ошкорн! Не угодно ли вам последовать за мной в мэрию? Господин мэр хочет с вами поговорить.

Крестьянин, удивленный, встревоженный, одним духом опрокинул рюмку, встал и, еще больше согнувшись, чем утром, – так как первые шаги после отдыха всегда тяжелы, – собрался в путь.

– Я здесь, я здесь, – повторил он и пошел за жандармом.

Мэр ждал его, сидя в кресле. Это был местный нотариус, человек тучный, важный, выражавшийся напыщенно.

– Дядюшка Ошкорн! – сказал он. – Сегодня утром видели, как вы подняли на Безвильской дороге бумажник, оброненный Ульбреком из Манневиля.

Крестьянин с недоумением смотрел на мэра, испуганный уже одним подозрением, павшим на него неизвестно по какой причине.

– Что? Я поднял этот бумажник?

– Да, именно вы.

– Ей-богу, я и знать о нем не знаю.

– Вас видели.

– Меня видели? Да кто же это меня видел?

– Шорник Маланден.

Тут старик припомнил, понял и, красный от гнева, вскричал:

– А, он меня видел, скотина! Он видел, как я поднял эту веревочку? Вот она, господин мэр.

И, пошарив в кармане, вытащил обрывок веревки.

Но мэр недоверчиво покачал головой.

– Вы меня не убедите, дядюшка Ошкорн, будто Маланден, человек, достойный доверия, принял эту бечевку за бумажник.

Крестьянин в бешенстве поднял руку и, сплюнув в сторону, чтобы подтвердить свою честность, повторил:

– Да ведь это сущая правда, вот как перед Богом, господин мэр! Клянусь спасением моей души. Я правду говорю.

Мэр продолжал:

– Мало того, подняв этот предмет, вы еще долго искали в грязи, не выпала ли оттуда какая-нибудь монета.

Бедняга задыхался от негодования и страха.

– И скажут же!.. И скажут же!.. Чего только не наплетут, чтобы опорочить честного человека! И скажут же!..

Но как он ни протестовал, ему не верили. Ему дали очную ставку с шорником Маланденом – тот возобновил и подтвердил свое показание. Они ругались битый час. Дядюшку Ошкорна обыскали по его просьбе. И ничего не нашли.

Наконец мэр, в полном недоумении, отпустил его, предупредив, что передаст дело прокурору и будет ждать распоряжений.

Новость быстро распространилась. При выходе из мэрии старика окружили, стали расспрашивать с серьезным или насмешливым любопытством, в котором, однако, не было ни малейшего возмущения. Он принялся рассказывать историю с веревкой. Ему не верили. Над ним смеялись.

Он шел, его поминутно останавливали, он и сам останавливал знакомых, без конца повторяя свой рассказ и свои заверения, выворачивая карманы, чтобы доказать, что у него ничего нет.

Ему говорили:

– Ладно уж, старый плут!

Он негодовал, горячился, выходил из себя, в отчаянии, что ему не верят, не зная, что делать, и без конца возвращался к своему рассказу.

Стемнело. Надо было ехать домой. Он пустился в путь с тремя соседями, которым показал место, где подобрал веревку; и всю дорогу только и говорил о своей беде.

Вечером он обошел деревню Бресте, чтобы всем рассказать об этом. И всюду встречал недоверие.

Целую ночь он промучился.

На другой день, около часу пополудни, Мариус Помель, работник дядюшки Бретона, фермера из Имовиля, вручил бумажник с его содержимым Ульбреку из Манневиля.

Парень утверждал, что нашел бумажник на дороге, но, не умея читать, отнес его домой и отдал своему хозяину.

Новость облетела окрестности. Дядюшка Ошкорн узнал об этом. Он тотчас отправился по деревне и снова принялся излагать свою историю, на этот раз вместе с ее концом. Он торжествовал.

– Что мне обидно было, так это не самое обвинение, понимаете ли, а напраслина. Нет ничего хуже, если на тебя возведут напраслину.

Весь день он толковал о своем злоключении; он рассказывал о нем на дорогах прохожим, в кабачке – посетителям, а в воскресенье – прихожанам, выходявшим из церкви. Останавливал даже незнакомых. Он как будто успокоился, и все-таки ему было не по себе, хотя он и не знал, отчего именно. Его слушали со скрытой насмешкой. Его слова, казалось, не убеждали. Ему чудилось, что люди за его спиной перешептываются.

Во вторник на следующей неделе он отправился на базар в Годервиль только для того, чтобы рассказать свою историю.

Маланден, стоя на пороге своего дома, увидел его и засмеялся. Почему?

Ошкорн заговорил было с одним фермером из Крикетто, но тот не дал ему кончить и, хлопнув собеседника по животу, крикнул ему прямо в лицо:

– Ладно, хитрая бестия! – и повернулся к нему спиной.

Дядюшка Ошкорн оторопел от изумления, и беспокойство его усилилось. Почему его назвали «хитрой бестией»?

Сидя за столом в трактире Журдена, он снова принялся объяснять, как было дело.

Барышник из Монтевиля крикнул ему:

– Знаем, знаем мы, старый пройдоха, что это была за веревочка!

Ошкорн пробормотал:

– Да ведь его нашли, бумажник-то этот!

Но тот не унимался:

– Помалкивай, папаша, один нашел, другой вернул. Никто ничего знать не знает, все шито-крыто.

Крестьянин остолбенел. Наконец он понял. Его обвиняли в том, что он отослал бумажник с приятелем, с сообщником.

Он попытался возражать. Но за столом поднялся хохот.

Не дообедав, он ушел, провожаемый насмешками.

Он вернулся домой, охваченный стыдом и гневом, задыхаясь от бешенства, в полной растерянности, особенно удрученный тем, что, как хитрый нормандец, он, в сущности, был способен сделать то, в чем его обвиняли, и даже похвастать этим как новой проделкой. Он смутно ощущал, что не сумеет доказать свою невиновность, раз свойственное ему плутовство всем известно. И все же он был глубоко уязвлен несправедливым подозрением.

И он снова принялся рассказывать свою историю, каждый день удлиняя рассказ, каждый раз прибавляя новые доводы, заверения все более решительные, клятвы все более торжественные, которые он придумывал, измышлял в часы одиночества, потому что ум его был целиком занят историей с веревкой. И чем сложнее были его оправдания и тоньше доказательства, тем меньше ему верили.

– Лгуны всегда так изворачиваются, – говорили у него за спиной.

Он это чувствовал и бесился, изнемогая от бесплодных усилий.

Он заметно стал чахнуть.

Шутники, чтобы позабавиться, заставляли его теперь рассказывать про «веревочку», как заставляют солдата, побывавшего на войне, рассказывать о сражении, в котором он участвовал. Его подорванные душевные силы угасали.

В конце декабря он слег.

Дядюшка Ошкорн умер в первых числах января. И даже в предсмертном бреду доказывал он свою невиновность:

– Веревочка!.. Веревочка!.. Да вот она, господин мэр.

ПРИЗНАНИЕ

Полуденное солнце потоками льется на поля. Волнистые, раскинулись они меж купами деревьев, обступивших фермы; спелая рожь, желтеющая пшеница, светло-зеленый овес и темно-зеленый клевер одевают длинным полосатым покрывом, струистым и мягким, нагое чрево земли.

На вершине бугра в ряд, как солдаты, вытянулись бесконечной вереницей коровы; лежа или стоя, они жуют жвачку и щиплют клевер на широком, как озеро, поле, прищурив под ярким солнцем огромные глаза.

Две женщины, мать с дочерью, вразвалку идут, одна за другой, по узкой, протоптанной в хлебах тропинке к этому стаду коров.

Обе несут по два оцинкованных ведра на обруче от бочки, держа их далеко от себя, и при каждом шаге женщин солнце, ударяя в металл, бросает слепящий белый отсвет.

Они не разговаривают. Они идут доить коров. Приходят, ставят наземь ведра, направляются к первым двум коровам и поднимают их пинком деревянного башмака в бок.

Коровы медленно встают, сначала на передние ноги, затем с трудом приподымают широкий зад, который кажется еще тяжелей от огромного белого, грузно свисающего вымени.

Тетка Маливуар и ее дочь, опустившись на колени под самым брюхом коров, тянут сильным движением пальцев набухший сосок, и всякий раз, как они его сжимают, в ведро падает тоненькая струйка молока. Чуть желтоватая пена поднимается по краям, и женщины переходят от коровы к корове, до конца их длинного ряда.

Подойв одну корову, они переводят ее на новый клочок пастбища, с не ощипанной еще травой.

Затем отправляются в обратный путь более медленным шагом, нагруженные ведрами, полными молока; мать впереди, дочь позади.

Но вдруг дочь, разом остановившись, поставила свою ногу, села и расплакалась.

Тетка Маливуар, не слыша за собой шагов, обернулась и от удивления застыла на месте.

– Что с тобой? – спросила она.

И дочь Селеста, рослая, рыжая, с огненными волосами, с огненно-красными щеками, вся в веснушках, как будто огонь брызгами попал ей на лицо, когда она причесывалась однажды на солнышке, пролепетала, тихонько всхлипывая, как побитый ребенок:

– Невмоготу мне больше таскать молоко.

Подозрительно взглянув на нее, мать повторила:

– Да что с тобой?

Селеста повалилась на землю между ведрами и, закрывая лицо фартуком, ответила:

– Очень уж тянет. Невтерпеж!

Мать в третий раз спросила:

– Да что с тобой, говори!

Дочь простонала:

– Боюсь, беременна я!

И зарыдала.

Тут и старуха поставила ведра, до того опешив, что не нашлась что сказать. Наконец, запинаясь, она проговорила:

– Ты... ты... Ты беременна, мерзавка? Ты что, сдурела?

Маливуары были богатые фермеры, люди с большим достатком, степенные, уважаемые, хитрые и влиятельные.

Селеста пробормотала:

– Да нет, боюсь, что вправду.

Мать ошеломленно смотрела, как дочь лежит перед ней и плачет, и вдруг закричала:

– Так ты беременна? Ты беременна? Где ж ты это нагуляла, шлюха?

Селеста, вздрагивая от волнения, прошептала:

– Думается мне, в повозке у Полита.

Старуха старалась понять, угадать, узнать, наконец, кто же виновник такого несчастья. Если это парень богатый и у людей в почете, то, умеючи, можно все уладить, и тогда это еще полбеды: такие дела случаются с девушками, Селеста не первая и не последняя. Но все-таки неприятно: пройдет дурная слава, а ведь они у всех на виду. Она спросила:

– Кто ж это с тобой сделал, потаскуха?...

И Селеста, решившись все рассказать, шепотом произнесла:

– Да, наверно, Полит.

Тут тетка Маливуар в ярости бросилась на дочь и принялась колотить ее с таким остервенением, что потеряла с головы чепец. Она била ее кулаком по голове, по спине, куда попало, и Селеста, растянувшись во всю длину меж двумя ведрами, которые немножко ее защищали, прикрывала только лицо ладонями.

Коровы от удивления бросили щипать траву и, повернувшись, смотрели на них большими выпуклыми глазами. Крайняя замычала, вытянув морду по направлению к женщинам.

Тетка Маливуар устала бить, запыхалась и, приходя понемногу в себя, попыталась разобратся в том, что произошло:

– Полит! Матерь божья, да как же это приключилось? Как ты могла? С кучером дилижанса? Ты что, рехнулась? Не иначе как он тебя приворожил, прощелыга!

Селеста, все еще уткнувшись лицом в пыль, тихонько сказала:

– Я не платила за проезд.

И старая нормандка все поняла.

Каждую неделю, по средам и субботам, Селеста возила в городок продукты с фермы: птицу, сливки и яйца.

Она отправлялась в семь утра с двумя большими корзинами: в одной – молочные продукты, в другой – птица; выходила на большую дорогу и дожидалась там почтовой кареты из Ивето.

Поставив корзины наземь, Селеста садилась на край канавы; куры с коротким острым клювом, утки с широким плоским носом, просунув головы сквозь ивовые прутья, тарасили круглые,

глупые и удивленные глаза.

Подкидывая задок в такт неровной рысце белой клячи, вскоре подъезжал неуклюжий рыдван, нечто вроде желтого сундука с крышкой из черной кожи. И кучер Полит, веселый, здоровенный малый, с брюшком, хотя и молодой, до того опаленный солнцем, истеганный ветрами, вымоченный ливнями и покрасневший от водки, что лицо и шея стали у него кирпичного цвета, кричал еще издали, пощелкивая кнутом:

– Здравствуйте, мамзель Селеста! Как здоровье? Как живете?

Она протягивала ему одну за другой корзины, он ставил их на империял. Затем Селеста задирала ногу, чтобы вскарабкаться на высокую повозку, и показывала толстые икры, обтянутые синими чулками.

И всякий раз Полит отпускал одну и ту же шутку:

– Смотри-ка, они не похудели.

И Селеста смеялась, находя это забавным.

Затем раздавалось: «Но-о-о, Малютка!» – и тощая лошадь трогалась в путь.

Селеста, достав кошелек из глубокого кармана, медленно извлекала десять су – шесть за себя и четыре за корзины – и через плечо передавала их Политу. Тот брал, говоря:

– Ну как, забавляться-то еще не сегодня будем?

И он хохотал от всей души, повернувшись всем туловищем, чтоб удобнее было на нее смотреть.

Она с болью в сердце отдавала всякий раз полфранка за три километра пути. А когда у нее не случалось медяков, она страдала еще больше, никак не решаясь разменять серебряную монету.

И как-то раз, платя ему, она сказала:

– А ведь с меня, как я постоянно езжу, вам бы не надо брать больше шести су, а?

Он засмеялся:

– Шесть су, красавица? Нет, вы стоите дороже, право.

Она настаивала:

– Для вас это не составило б и двух франков в месяц.

Настегивая свою клячу, он закричал:

– Идет, я парень сговорчивый, я уступлю вам, а мне чтоб за это была забава!

Она простодушно спросила:

– Про что это вы говорите?

Его это так рассмешило, что он даже закашлялся от хохота.

– Забава, черт возьми, и есть забава. Ну какая бывает забава у девки с парнем, когда они пляшут вдвоем, только без музыки?

Она поняла и, покраснев, заявила:

– Такая забава не по мне, господин Полит.

Но он не смутился и повторил, все больше и больше потешаясь:

– Не миновать вам этой забавы, какая бывает у девки с парнем.

И с той поры всякий раз, как она ему платила, он завел привычку спрашивать:

– Ну как, забавляться-то еще не сегодня будем?

Теперь и она тоже отвечала шуткой:

– Сегодня нет, господин Полит, а уж в субботу непременно.

И он кричал, смеясь, как всегда:

– Ладно, красавица, в субботу, значит.

Все же про себя она прикидывала, что за два года поездок с Политом она переплатила добрых сорок восемь франков, а в деревне сорок восемь франков на дороге не валяются; она подсчитала также, что еще через два года это встанет ей около ста франков.

И как-то раз, в весенний день, когда они ехали одни и он по обыкновению спросил ее: «Ну как, забавляться-то еще не сегодня будем?» – она ответила:

– Как вам будет угодно, господин Полит.

Он нисколько не удивился и, перешагнув через заднюю скамейку, довольный, пробормотал:

– Ну вот и хорошо. Я ведь знал, что так и будет.

Старая белая кобыла поплелась таким медленным шагом, что казалось, она топчется на месте, глухая к окрику, который время от времени доносился из повозки: «Но-о-о, Малютка! Но-о-о, Малютка!»

Три месяца спустя Селеста заметила, что она беременна.

Все это она плачущим голосом рассказала матери, и старуха, побелев от гнева, спросила:

– Сколько же ты выгадала?

Селеста ответила:

– За четыре месяца восемь франков наверняка.

Тут бешенство крестьянки прорвалось, она бросилась на дочь и опять начала ее так бить, что у самой дух занялся. Потом, придя немного в себя, спросила:

– Ты сказала ему, что беременна?

– Ясное дело, не сказала.

– Почему не сказала?

– Да он опять бы заставил меня платить.

Старуха задумалась, потом, взявшись за ведра, проговорила:

– Ну ладно, вставай и постарайся дойти.

И, помолчав, добавила:

– Смотри, ничего ему не говори, пока сам не заметит, чтоб нам этим попользоваться до седьмого, а то и до девятого месяца.

Селеста поднялась, все еще плача, растрепанная, с распухшим лицом, и продолжала путь тяжелым шагом.

– Ясное дело, ничего не скажу, – буркнула она.

СОЧЕЛЬНИК

Уже не помню точно, в каком это было году. Целый месяц я охотился с увлечением, с дикой радостью, с тем пылом, который вносишь в новые страсти.

Я жил в Нормандии, у одного холостого родственника, Жюля де Банневиль, в его родовом замке, наедине с ним, с его служанкой, лакеем и сторожем. Ветхое, окруженное стонущими елями здание в центре длинных дубовых аллей, по которым носился ветер; замок казался давно покинутым. В коридоре, где ветер гулял, как в аллеях парка, висели портреты всех тех людей, которые некогда церемонно принимали благородных соседей в этих комнатах, ныне запертых и заставленных одною старинной мебелью.

Что касается нас, то мы просто сбежали в кухню, где только и можно было жить, в огромную кухню, темные закоулки которой освещались, лишь когда в огромный камин подбрасывали новую охапку дров. Каждый вечер мы сладко дремали у камина, перед которым дымились наши промокшие сапоги, а свернувшиеся кольцом у наших ног охотничьи собаки лаяли во сне, снова видя охоту; затем мы поднимались наверх в нашу комнату.

То была единственная комната, все стены и потолок которой были из-за мышей тщательно оштукатурены. Но, выбеленная известью, она оставалась голой, и по стенам ее висели лишь ружья, арапники и охотничьи рога; стуча зубами от холода, мы забирались в постели, стоявшие по обе стороны этого сибирского жилища.

На расстоянии одного лье от замка отвесный берег обрывался в море; от мощного дыхания океана днем и ночью стонали высокие согнутые деревья, как бы с плачем скрипели крыши и флюгера, и трещало все почтенное здание, наполняясь ветром сквозь поредевшие черепицы, сквозь широкие, как пропасть, каминные, сквозь не закрывавшиеся больше окна.

В тот день стоял ужасный мороз. Наступил вечер. Мы собирались усестись за стол перед высоким камином, где на ярком огне жарилась заячья спинка и две куропатки, издававшие вкусный запах.

Мой кузен поднял голову.

– Не жарко будет сегодня спать, – сказал он.

Я равнодушно ответил:

– Да, но зато завтра утром на прудах будут утки.

Служанка, накрывавшая на одном конце стола нам, а на другом – слугам, спросила:

– Знают ли господа, что сегодня сочельник?

Разумеется, мы не знали, потому что почти никогда не заглядывали в календарь. Товарищ мой сказал:

– Значит, сегодня будет ночная месса. Так вот почему весь день звонили!

Служанка отвечала:

– И да и нет, сударь; звонили также потому, что умер дядя Фурнель.

Дядя Фурнель, старый пастух, был местной знаменитостью. Ему исполнилось девяносто шесть лет от роду, и он никогда не хворал до того самого времени, когда месяц тому назад простудился, свалившись темной ночью в болото. На другой день он слег и с тех пор уже находился при смерти.

Кузен обратился ко мне:

– Если хочешь, пойдем сейчас навестим этих бедных людей.

Он разумел семью старика – его пятидесятивосьмилетнего внука и пятидесятисемилетнюю жену внука. Промежуточное поколение давно уже умерло. Они ютились в жалкой лачуге, при въезде в деревню, направо.

Не знаю почему, но мысль о Рождестве в этой глуши расположила нас к болтовне. Мы наперебой рассказывали друг другу всякие истории о прежних сочельниках, о наших приключениях в эту безумную ночь, о былых успехах у женщин и о пробуждениях на следующий день – пробуждениях вдвоем, сопровождавшихся удивлением по сему поводу и рискованными неожиданностями.

Таким образом, обед наш затянулся. Покончив с ним, мы выкурили множество трубок и, охваченные веселостью отшельников, веселой общительностью, внезапно возникающей между двумя закадычными друзьями, продолжали без умолку говорить, перебирая в беседе самые задушевные воспоминания, которыми делятся в часы такой близости.

Служанка, давно уже оставившая нас, появилась снова:

– Сударь, я ухожу на мессу.

– Уже?

– Четверть двенадцатого.

– Не пойти ли нам в церковь? – спросил Жюль. – Рождественская месса очень любопытна в деревне.

Я согласился, и мы отправились, закутавшись в меховые охотничьи куртки.

Сильный мороз колот лицо, и от него слезились глаза. Воздух был такой студеной, что перехватывало дыхание и пересыхало в горле. Глубокое, ясное и суровое небо было усеяно звездами; они словно побледнели от мороза и мерцали не как огоньки, а словно сверкающие льдинки, словно блестящие хрусталики. Вдали, по звонкой, сухой и гулкой, как медь, земле звенели крестьянские сабо, а кругом повсюду звякали маленькие деревенские колокола, посылая свои жидкие и словно тоже зябкие звуки в стынущий простор ночи.

В деревне не спали. Пели петухи, обманутые всеми этими звуками, а проходя мимо хлебов, можно было слышать, как шевелились животные, разбуженные этим гулом жизни.

Приближаясь к деревне, Жюль вспомнил о Фурнелях.

– Вот их лачуга, – сказал он, – войдем!

Он стучал долго, но напрасно. Наконец нас увидела соседка, вышедшая из дому, чтобы идти в церковь.

– Они пошли к заутрене, господа, помолиться за старика.

– Так мы увидим их при выходе из церкви, – сказал мне Жюль.

Заходящая луна серпом выделялась на краю горизонта среди бесконечной россыпи сверкающих зерен, с маху брошенных в пространство. А по черной равнине двигались дрожащие огоньки, направляясь отовсюду к без умолку звонившей остроконечной колокольне. По фермам, обса-

женным деревьями, по темным долинам – всюду мелькали эти огоньки, почти задевая землю. То были фонари из коровьего рога. С ними шли крестьяне впереди своих жен, одетых в белые чепцы и в широкие черные накидки, в сопровождении проснувшихся ребят, которые держали их за руки.

Сквозь открытую дверь церкви виднелся освещенный амвон. Гирлянда дешевых свечей освещала середину церкви, а в левом ее приделе пухлый восковой младенец Иисус, лежа на настоящей соломе, среди еловых ветвей, выставял напоказ свою розовую, жеманную наготу.

Служба началась. Крестьяне, склонив головы, и женщины, стоя на коленях, молились. Эти простые люди, поднявшись в холодную ночь, растроганно глядели на грубо раскрашенное изображение и складывали руки, с наивной робостью взирая на убогую роскошь этого детского представления.

Холодный воздух колебал пламя свечей. Жюль сказал мне:

– Выйдем отсюда! На дворе все-таки лучше.

Направившись домой по пустынной дороге, пока коленопреклоненные крестьяне набожно дрожали в церкви, мы снова предались своим воспоминаниям и говорили так долго, что служба уже окончилась, когда мы пришли обратно в деревню.

Тоненькая полоска света тянулась из-под двери Фурнелей.

– Они бодрствуют над покойником, – сказал мой кузен. – Зайдем же наконец к этим беднягам, это порадует их.

В очаге догорало несколько головешек. Темная комната, засаленные стены которой лоснились, а балки, источенные червями, почернели от времени, была полна удушливого запаха жареной кровяной колбасы. На большом столе, из-под которого, подобно огромному животу, выпячивался хлебный ларь, горела свеча в витом железном подсвечнике; едкий дым от нагоревшего грибом фитиля поднимался к потолку. Фурнели, муж и жена, разговлялись наедине.

Угрюмые, с удрученным видом и отупелыми крестьянскими лицами, они сосредоточенно ели, не произнося ни слова. На единственной тарелке, стоявшей между ними, лежал большой кусок кровяной колбасы, распространяя зловонный пар. Время от времени концом ножа они отрезали от нее кружок, клали его на хлеб и принимались медленно жевать.

Когда стакан мужа пустел, жена брала кувшин и наполняла его сидром.

При нашем появлении они встали, усадили нас, предложили «последовать их примеру», а после нашего отказа снова принялись за еду.

Помолчав несколько минут, мой кузен спросил:

– Так, значит, Антим, дед ваш умер?

– Да, сударь, только что кончился.

Молчание возобновилось. Жена из вежливости сняла со свечи нагар. Тогда, чтобы сказать что-нибудь, я прибавил:

– Он был очень стар.

Его пятидесятисемилетняя внучка ответила:

– О, его время прошло, ему здесь больше нечего было делать!

Мне захотелось взглянуть на труп столетнего старика, и я попросил, чтобы мне его показали.

Крестьяне, до той минуты спокойные, неожиданно взволновались. Они вопросительно и обеспокоенно взглянули друг на друга и ничего не ответили.

Мой родственник, видя их смущение, настаивал.

Тогда муж спросил подозрительно и угрюмо:

– А на что вам это?

– Ни на что, – ответил Жюль. – Но ведь так всегда делается; почему вы не хотите показать его нам?

Крестьянин пожал плечами:

– Да я не отказываю, только в такое время это неудобно.

Множество догадок мелькнуло у каждого из нас. И так как внуки покойника по-прежнему не двигались и продолжали сидеть друг против друга, опутив глаза, с теми деревянными недовольными лицами, которые словно говорят: «Проваливайте-ка вы отсюда», – Жюль сказал решительно:

– Ну, ну, Антим, вставайте и проводите нас в комнату старика.

Но крестьянин, хотя и покоряясь, хмуро ответил:

– Не стоит беспокоиться, его там уже нет, сударь.

– Где же он в таком случае?

Жена перебила мужа:

– Я вам скажу. Мы положили его до завтра в хлебный ларь; больше нам некуда было его деть.

Сняв тарелку с колбасой, она подняла крышку со стола, нагнулась со свечой, чтобы осветить внутренность огромного ящика, и в глубине его мы увидели что-то серое, какой-то длинный сверток, из одного конца которого высывалось худое лицо с включенными седыми волосами, а из другого – две босых ноги.

То был старик, весь высохший, с закрытыми глазами, закутанный в свой пастушеский плащ и спавший последним сном среди старых черных корок хлеба, таких же столетних, как и он сам.

Его внуки разговлялись над ним!

Жюль, возмущенный, дрожа от гнева, закричал:

– Да почему же вы не оставили его на его кровати, мужичье вы эдакое?

Тогда женщина расплакалась и быстро заговорила:

– Я все вам скажу, сударь; у нас только одна кровать в доме. Раньше мы спали на ней вместе с ним: ведь нас было всего трое. Когда он заболел, мы стали спать на земле, а в такие холода, как сейчас, это тяжело. Ну, а когда он помер, мы так и сказали себе: раз он теперь больше не страдает, зачем оставлять его в постели? Мы отлично можем убрать его до завтра в ларь, а сами ляжем на кровать, потому что ночь будет холодная! Не можем же мы спать с покойником, господа!..

Мой кузен, вне себя от негодования, быстро вышел, хлопнув дверью, а я последовал за ним, смеясь до упаду.

МАДЕМУАЗЕЛЬ ФИФИ

Майор, граф фон Фарльсберг, командующий прусским отрядом, дочитывал принесенную ему почту. Он сидел в широком ковровом кресле, задрав ноги на изящную мраморную доску камина, где его шпоры – граф пребывал в замке Ювиль уже три месяца – продолбили пару заметных, углублявшихся с каждым днем выбоин.

Чашка кофе дымилась на круглом столике, мозаичная доска которого была залита ликерами, прожжена сигарами, изрезана перочинным ножом: кончив иной раз чинить карандаш, офицер-завоеватель от нечего делать принимался царапать на драгоценной мебели цифры и рисунки.

Прочитав письма и просмотрев немецкие газеты, поданные обозным почтальоном, граф встал, подбросил в камин три или четыре толстых, еще сырых полена – эти господа понемногу вырубали парк на дрова – и подошел к окну.

Дождь лил потоками; то был нормандский дождь, словно изливаемый разъяренной рукою, дождь косой, плотный, как завеса, дождь, подобный стене из наклонных полос, хлещущий, брызжащий грязью, все затопляющий, – настоящий дождь окрестностей Руана, этого ночного горшка Франции.

Офицер долго смотрел на залитые водой лужайки и вдаль – на вздувшуюся и выступившую из берегов Андель; он барабанил пальцами по стеклу, выстукивая какой-то рейнский вальс, как вдруг шум за спиной заставил его обернуться: пришел его помощник, барон фон Кельвейнгштейн, чин которого соответствовал нашему чину капитана.

Майор был огромного роста, широкоплечий, с длинною веерообразною бородою, ниспадавшей на его грудь, подобно скатерти; вся его рослая торжественная фигура вызывала представление о павлине, о павлине военном, распустившем хвост под подбородком. У него были голубые, холодные и спокойные глаза, шрам на щеке от сабельного удара, полученного во время войны с Австрией, и он слыл не только храбрым офицером, но и хорошим человеком.

Капитан, маленький, краснолицый, с большим, туго перетянутым животом, коротко подстригал свою рыжую бороду; при известном освещении она приобретала пламенные отливы, и то-

гда казалось, что лицо его натерто фосфором. У него не хватало двух зубов, выбитых в ночь кутежа, — как это вышло, он хорошенько не помнил, — и он, шепелявя, выплевывал слова, которые не всегда можно было понять. На макушке у него была плешь, вроде монашеской тонзуры; руно коротких курчавившихся волос, золотистых и блестящих, обрамляло этот кружок обнаженной плоти.

Командир пожал ему руку и одним духом выпил чашку кофе (шестую за это утро), выслушивая рапорт своего подчиненного о происшествиях по службе; затем они подошли к окну и признались друг другу, что им невесело. Майор, человек спокойный, имевший семью на родине, приспособлялся ко всему, но капитан, отъявленный кутила, завсегдатай притонов и отчаянный бабник, приходил в бешенство от вынужденного трехмесячного целомудрия на этой захолустной стоянке.

Кто-то тихонько постучал в дверь, и командир крикнул: «Войдите!» На пороге показался один из их солдат-автоматов; его появление означало, что завтрак подан.

В столовой они застали трех младших офицеров: лейтенанта Отто фон Гросслинга и двух младших лейтенантов, Фрица Шейнаубурга и маркиза Вильгельма фон Эйрик, маленького блондина, надменного и грубого с мужчинами, жестокого с побежденными и вспылчивого как порох.

С минуты вступления во Францию товарищи звали его не иначе, как Мадемуазель Фифи. Этим прозвищем он был обязан своей кокетливой внешности, тонкому, словно перетянтому корсетом стану, бледному лицу с едва пробивавшимися усиками, а также усвоенной им привычке употреблять ежеминутно, дабы выразить наивысшее презрение к людям и вещам, французские слова «fi». «Fi donc»,³⁷ которые он произносил с легким присвистом.

Столовая в замке Ювиль представляла собою длинную, царственно пышную комнату; ее старинные зеркала, все в звездообразных трещинах от пуль, и высокие фландрские шпалеры по стенам, искромсанные ударами сабли и кое-где свисавшие лохмотьями, свидетельствовали о занятиях Мадемуазель Фифи в часы досуга.

Три фамильных портрета на стенах — воин, облаченный в броню, кардинал и председатель суда — курили теперь длинные фарфоровые трубки, а благородная дама в узком корсаже надменно выставляла из рамы со стершейся позолотой огромные нарисованные углем усы.

Завтрак офицеров проходил почти безмолвно. Обезображенная и полутемная от ливня комната наводила уныние своим видом завоеванного места, а ее старый дубовый паркет был покрыт грязью, как пол в кабаке.

Окончив еду и перейдя к вину и курению, они, как повелось каждый день, принялись жаловаться на скуку. Бутылки с коньяком и ликерами переходили из рук в руки; развалившись на стульях, офицеры непрестанно отхлебывали маленькими глотками вино, не выпуская изо рта длинных изогнутых трубок с фаянсовым яйцом на конце, пестро расписанных, словно для соблазна готтентотов.

Как только стаканы опорожнялись, офицеры с покорным и усталым видом наполняли их снова. Но Мадемуазель Фифи при этом всякий раз разбивал свой стакан, и солдат немедленно подавал ему другой.

Едкий табачный туман заволакивал их, и они, казалось, все глубже погружались в сонливый и печальный хмель, в угрюмое опьянение людей, которым нечего делать.

Но вдруг барон вскочил. Дрожа от бешенства, он выкрикнул:

— Черт побери! Так не может продолжаться! Надо, наконец, что-нибудь придумать!

Лейтенант Отто и младший лейтенант Фриц, оба с типичными немецкими лицами, неподвижными и глубокомысленными, спросили в один голос:

— Что же, капитан?

Он с минуту подумал, потом сказал:

— Что? Если командир разрешит, надо устроить пирушку!

Майор вынул изо рта трубку:

³⁷ Французские междометия, выражающие укоризну, недовольство, презрение, отвращение.

– Какую пирушку, капитан?

Барон подошел к нему:

– Я беру все хлопоты на себя, господин майор. «Слушаюсь» будет отправлен мною в Руан и привезет с собою дам; я знаю, где их раздобыть. Приготовят ужин, все у нас для этого есть, и мы, по крайней мере, проведем славный вечерок.

Граф фон Фарльсберг улыбнулся, пожимая плечами:

– Вы с ума сошли, друг мой.

Но офицеры вскочили со своих мест, окружили командира и взмолились:

– Разрешите капитану, начальник! Здесь так уныло.

Наконец майор уступил, сказав: «Ну хорошо», – и барон тотчас же послал за «Слушаюсь». То был старый унтер-офицер; он никогда не улыбался, но фанатически выполнял все приказания начальства, каковы бы они ни были.

Вытянувшись, он бесстрастно выслушал указание барона, затем вышел, и пять минут спустя четверка лошадей уже мчала под проливным дождем огромную обозную повозку с натянутым над нею в виде свода брезентом.

Тотчас все словно пробудилось: вялые фигуры выпрямились, лица оживились, и все принялись болтать. Хотя ливень продолжался с тем же неистовством, майор объявил, что стало светлее, а лейтенант Отто уверенно утверждал, что небо сейчас прояснится. Сам Мадемуазель Фифи, казалось, не мог усидеть на месте. Он вставал и садился снова. Его светлые, жесткие глаза искали, что бы такое разбить. Вдруг, остановившись взглядом на усатой даме, молодой блондин вынул револьвер.

– Ты этого не увидишь, – сказал он и, не вставая с места, прицелился. Две пули одна за другой пробили глаза на портрете. Затем он крикнул:

– Заложим мину!

И разговоры вмиг смолкли, словно вниманием всех присутствующих овладел какой-то новый и захватывающий интерес.

Мина была его выдумкой, его способом разрушения, его любимой забавой.

Покидая замок, его владелец, граф Фернан д'Амуа д'Ювиль, не успел ни захватить с собою, ни спрятать ничего, кроме серебра, замурованного в углублении одной стены. А так как он был богат и любил искусство, то большая гостиная, выходившая в столовую, представляла собою до поспешного бегства хозяина настоящую галерею музея.

По стенам висели дорогие полотна, рисунки и акварели. На столиках и шкафах, на этажерках и в изящных витринах было множество безделушек: китайские вазы, статуэтки, фигурки из саксонского фарфора, китайские уроды, старая слоновая кость и венецианское стекло населяли огромную комнату своею драгоценною и причудливою толпой.

Теперь от всего этого не осталось почти ничего. Не то чтобы вещи были разграблены – майор граф фон Фарльсберг этого никогда не допустил бы, – но Мадемуазель Фифи время от времени закладывал мину, и в такие дни все офицеры действительно веселились вовсю в течение нескольких минут.

Маленький маркиз пошел в гостиную на поиски того, что ему было нужно. Он принес крошечный чайник из китайского фарфора – семьи «розовых», – насыпал в него порошу, осторожно ввел через носик длинный кусок трута, поджег его и бегом отнес эту адскую машину в соседнюю комнату.

Затем он мгновенно вернулся и запер за собою дверь. Все немцы ожидали стоя, с улыбкою детского любопытства на лицах, и, как только взрыв потряс стены замка, толпою бросились в гостиную.

Мадемуазель Фифи, войдя первым, неистово захлопал в ладоши при виде терракотовой Венеры, у которой наконец-то отвалилась голова; каждый подбирал куски фарфора, удивляясь странной форме изломов, причиненных взрывом, рассматривая новые повреждения и споря о некоторых как о результате предыдущих взрывов; майор же окидывал отеческим взглядом огромный зал, разрушенный, словно по воле Нерона, этой картечью и усеянный обломками произведений искусства. Он вышел первым, благодушно заявив:

– На этот раз очень удачно.

Но в столовую, где было сильно накурено, ворвался такой столб дыма, что стало трудно дышать. Майор распахнул окно; офицеры, вернувшиеся допивать последние рюмки коньяку, тоже подошли к окну.

Комната наполнилась влажным воздухом, который принес с собою облако водяной пыли, оседавшей на бородах. Офицеры смотрели на высокие деревья, поникшие под ливнем, на широкую долину, помрачневшую от низких черных туч, и на далекую церковную колокольню, высившуюся серой стрелой под проливным дождем.

Как только пришли пруссаки, на этой колокольне больше не звонили. Это было, впрочем, единственное сопротивление, встреченное завоевателями в этом крае. Кюре ничуть не отказывался принимать на постой и кормить прусских солдат; он даже не раз соглашался распить бутылочку пива или бордо с неприятельским командиром, часто прибегавшим к его благосклонному посредничеству; но нечего было и просить его хоть раз ударить в колокол: он скорее дал бы себя расстрелять. Это был его личный способ протеста против нашествия, протеста молчанием, мирного и единственного протеста, который, по его словам, приличествовал священнику, носителю кротости, а не вражды. На десять лье в округе все восхваляли твердость и геройство аббата Шантавуана, посмеявшегося утвердить народный траур упорным безмолвием своей церкви.

Вся деревня, воодушевленная этим сопротивлением, готова была до конца поддерживать своего пастыря, идти на все: подобный молчаливый протест она считала спасением народной чести. Крестьянам казалось, что они оказали не меньшие услуги родине, чем Бельфор и Страсбург, что они подали одинаковый пример патриотизма и имя их деревушки обессмертится; впрочем, помимо этого, они ни в чем не отказывали пруссакам-победителям.

Начальник и офицеры смеялись над этим безобидным мужеством, но так как во всей местности к ним относились предупредительно и с покорностью, то они охотно мирились с таким молчаливым выражением патриотизма.

Один только маленький маркиз Вильгельм во что бы то ни стало хотел добиться, чтобы колокол зазвонил. Он злился на дипломатическую снисходительность своего начальника и ежедневно умолял его позволить один раз, один только разик просто забавы ради прозвонить «дин-дон-дон». Он просил об этом с грацией кошки, с вкрадчивостью женщины, нежным голосом отуманенной желанием любовницы; но майор не уступал, и Мадемуазель Фифи, для своего утешения, закладывал мины в замке Ювиль.

Несколько минут все пятеро стояли группой у окна, вдыхая влажный воздух. Наконец лейтенант Фриц, грубо рассмеявшись, сказал:

– Этим дефицитом выпал дурной фрема для их прокулки.

Затем каждый отправился по своим делам, а у капитана оказалось множество хлопот по приготовлению обеда.

Встретившись снова вечером, они не могли не рассмеяться, взглянув друг на друга: все напонадлись, надушились, принарядились и были ослепительны, как в дни больших парадов. Волосы майора казались уже не столь седыми, как утром, а капитан побрился, оставив только усы, плававшие у него под носом.

Несмотря на дождь, окно оставили открытым; то и дело кто-нибудь подходил к нему и прислушивался. В десять минут седьмого барон сообщил об отдаленном стуке колес. Все бросились к окну, и вскоре на двор влетел огромный фургон, запряженный четверкою быстро мчавшихся лошадей; они были забрызганы грязью до самой спины, дымились от пота и храпели.

И на крыльцо взошли пять женщин, пять красивых девушек, тщательно отобранных товарищем капитана, к которому «Слушаюсь» ходил с визитною карточкою своего офицера.

Они не заставили себя просить, зная наперед, что им хорошо заплатят; за три месяца они успели ознакомиться с пруссаками и примирились с ними, как и с положением вещей вообще. «Этого требует наше ремесло», – убеждали они себя по дороге, без сомнения, стараясь заглушить тайные укоры каких-то остатков совести.

Тотчас же вошли в столовую. При свете она казалась еще мрачнее в своем плачевном разгроме, а стол, уставленный яствами, дорогой посудой и серебром, найденным в стене, где его

спрятал владелец замка, придавал комнате вид таверны, где после грабежа ужинают бандиты. Капитан, весь сияя, тотчас же завладел женщинами как привычным своим достоянием: он осматривал их, обнимал, обнюхивал, определял их ценность как жриц веселья, а когда трое молодых людей захотели выбрать себе по даме, он властно остановил их, намереваясь произвести раздел самолично, по чинам, по всей справедливости, чтобы ничем не нарушить иерархии.

Во избежание всяких споров, пререканий и подозрений в пристрастии, он выстроил их в ряд по росту и обратился к самой высокой, словно командуя:

– Твое имя?

– Памела, – отвечала та, стараясь говорить громче.

И он провозгласил:

– Номер первый, Памела, присуждается командующему.

Обняв затем вторую, блондинку, в знак присвоения, он предложил толстую Аманду лейтенанту Отто; Еву по прозвищу Томат – младшему лейтенанту Фрицу; а самую маленькую из всех, еврейку Рашель, молоденькую брюнетку, с черными, как чернильные пятна, глазами, со вздернутым носиком, не подтверждавшим правила о том, что все евреи горбоносы, – самому молодому из офицеров, хрупкому маркизу Вильгельму фон Эйрик.

Все женщины, впрочем, были красивые и полные; они мало отличались друг от друга лицом, а по причине ежедневных занятий любовью и общей жизни в публичном доме походили одна на другую манерами и цветом кожи.

Трое молодых людей хотели было тотчас же увести своих женщин наверх, под предлогом дать им умыться и почиститься; но капитан мудро воспротивился этому, утверждая, что они достаточно опрятны, чтобы сесть за стол, и что те офицеры, которые пойдут с ними наверх, захотят, пожалуй, спустившись, поменяться дамами, чем расстроят остальные пары. Его житейская опытность одержала верх. Ограничились многочисленными поцелуями, поцелуями ожидания.

Вдруг Рашель чуть не задохнулась, закашлявшись до слез и выпуская дым из ноздрей. Маркиз под предлогом поцелуя впустил ей в рот струю табачного дыма. Она не рассердилась, не сказала ни слова, но пристально взглянула на своего обладателя, и в глубине ее черных глаз вспыхнул гнев.

Сели за стол. Сам командующий был, казалось, в восторге; направо от себя он посадил Памелу, налево Блондинку и объявил, развертывая салфетку:

– Вам пришла в голову восхитительная мысль, капитан.

Лейтенанты Отто и Фриц, державшиеся отменно вежливо, словно рядом с ними были светские дамы, стесняли этим своих соседок; но барон фон Кельвейнгштейн, чувствуя себя в своей сфере, сиял, сыпал двусмысленными остротами и со своей шапкой огненно-рыжих волос казался объатым пламенем. Он любезничал на рейнско-французском языке, и его кабацкие комплименты, выплунутые сквозь отверстие двух выбитых зубов, долетали к девицам с брызгами слюны.

Девушки, впрочем, ничего не понимали, и сознание их как будто пробудилось лишь в тот момент, когда барон стал из-рыгать похабные слова и непристойности, искажаемые вдобавок его произношением. Тогда они начали хохотать, как безумные, приваливаясь на животы соседям и повторяя выражения барона, которые тот намеренно коверкал, чтобы заставить их говорить сальности. И девицы сыпали ими в изобилии. Опытаев от первых бутылок вина и снова став самими собой, войдя в привычную роль, они целовали направо и налево усы, щипали руки, выпускали пронзительные крики и пили из всех стаканов, распевая французские куплеты и обрывки немецких песен, усвоенные ими в ежедневном общении с неприятелем.

Вскоре и мужчины, опьяненные этим столь доступным их обонянию и осязанию женским телом, обезумели, принялись реветь, бить посуду, в то время как солдаты, стоявшие за каждым стулом, бесстрастно прислуживали им.

Только один майор хранил известную сдержанность.

Мадемуазель Фифи взял Рашель к себе на колени. Приходя в возбуждение, хотя и оставаясь холодным, он то начинал безумно целовать черные завитки волос у ее затылка, вдыхая между платьем и кожей неясную теплоту ее тела и его запах, то, охваченный звериным неистовством, потребностью разрушения, яростно щипал ее сквозь одежду, так что она вскрикивала. Нередко так-

же, держа ее в объятиях и сжимая, словно стремясь слиться с нею, он подолгу впивался губами в свежий рот еврейки и целовал ее до того, что дух захватывало; и вдруг в одну из таких минут он укусил девушку так глубоко, что струйка крови побежала по ее подбородку, стекая за корсаж.

Еще раз взглянула она в глаза офицеру и, отирая кровь, пробормотала:

– За это расплачиваются.

Он расхохотался жестоким смехом.

– Я заплачу, – сказал он.

Подали десерт. Начали разливать шампанское. Командующий поднялся и тем же тоном, каким провозгласил бы тост за здоровье императрицы Августы, сказал:

– За наших дам!

И начались тосты, галантные тосты солдафонов, пьяниц, вперемешку с циничными шутками, казавшимися еще грубее из-за незнания языка.

Офицеры вставали один за другим, пытаясь блеснуть остроумием, стараясь быть забавными, а женщины, пьяные вдрызг, с блуждающим взглядом, с отвиснувшими губами, каждый раз неистово аплодировали.

Капитан, желая придать оргии праздничный и галантный характер, снова поднял бокал и воскликнул:

– За наши победы над сердцами!

Тогда лейтенант Отто, напоминавший собою шварцвальдского медведя, встал, возбужденный, упившийся, и в порыве патриотизма крикнул:

– За наши победы над Францией!

Как ни пьяны были женщины, однако они разом умолкли, а Рашель, дрожа, обернулась:

– Ну, знаешь, видала я французов, в присутствии которых ты не посмел бы сказать этого!

Но маленький маркиз, продолжая держать ее на коленях, захохотал, развеселившись от вина:

– Ха-ха-ха! Я таких не видывал. Стоит нам только появиться, как они улепетывают со всех ног!

Взбешенная девушка крикнула ему прямо в лицо:

– Лжешь, негодяй!

Мгновение он пристально смотрел на нее своими светлыми глазами, как смотрел на картины, холст которых продырявливал выстрелами из револьвера, затем рассмеялся:

– Вот как! Ну, давай потолкуем об этом, красавица! Да разве мы были бы здесь, будь они храбрее?

Он оживился:

– Мы их господа! Франция – наша!

Рывком Рашель соскользнула с его колен и опустилась на свой стул. Он встал, протянул бокал над столом и повторил:

– Нам принадлежит вся Франция, все французы, все леса, поля и все дома Франции!

Остальные, совершенно пьяные, охваченные военным энтузиазмом, энтузиазмом скотов, подняли свои бокалы с ревом: «Да здравствует Пруссия!» – и залпом их осушили.

Девушки, вынужденные молчать, перепуганные, не протестовали. Молчала и Рашель, не имея сил ответить.

Маркиз поставил на голову еврейке наполненный снова бокал шампанского.

– Нам, – крикнул он, – принадлежат и все женщины Франции!

Рашель вскочила так быстро, что бокал опрокинулся; словно совершая крещение, он пролил желтое вино на ее черные волосы и, упав на пол, разбился. Ее губы дрожали; она с вызовом смотрела на офицера, продолжавшего смеяться, и, задыхаясь от гнева, пролепетала:

– Нет, врешь, это уж нет; женщины Франции никогда не будут вашими!

Он сел, чтобы вдоволь посмеяться, и, подражая парижскому произношению, сказал:

– Она прелестна, прелестна! Но для чего же ты здесь, моя крошка?

Ошеломленная, она сначала умолкла и в овладевшем ею волнении не осознала его слов, но затем, поняв, что он говорил, бросила ему негодуя и яростно:

– Я! Я! Да я не женщина, я – шлюха, а это то самое, что и нужно пруссакам.

Не успела она договорить, как он со всего размаху дал ей пощечину; но в ту минуту, когда он снова занес руку, она, обезумев от ярости, схватила со стола десертный ножичек с серебряным лезвием и так быстро, что никто не успел заметить, всадила его офицеру прямо в шею, у той самой впадинки, где начинается грудь.

Какое-то недоговоренное слово застряло у него в горле, и он остался с разинутым ртом и с ужасающим выражением глаз.

У всех вырвался рев, и все в смятении вскочили; Рашель швырнула стул под ноги лейтенанту Отто, так что он растянулся во весь рост, подбежала к окну, распахнула его и, прежде чем ее успели догнать, прыгнула в темноту, где не переставал лить дождь.

Две минуты спустя Мадемуазель Фифи был мертв. Фриц и Отто обнажили сабли и хотели зарубить женщин, валявшихся у них в ногах. Майору едва удалось помешать этой бойне, и он приказал запереть в отдельную комнату четырех обезумевших женщин под охраной двух часовых; затем он привел свой отряд в боевую готовность и организовал преследование беглянки, в полной уверенности, что ее поймают.

Пятьдесят человек, напуганные угрозами, были отправлены в парк; двести других обыскивали леса и все дома в долине.

Стол, с которого мгновенно все убрали, служил теперь смертным ложем, а четверо протрезвевших неумолимых офицеров с суровыми лицами воинов при исполнении обязанностей стояли у окон, стараясь проникнуть взглядом во мрак.

Страшный ливень продолжался. Тьму наполняло непрерывное хлюпанье, реюший шорох всей той воды, которая струится с неба, сбегает по земле, падает каплями и брызжет кругом.

Вдруг раздался выстрел, затем издалека другой, и в течение четырех часов время от времени слышались то близкие, то отдаленные выстрелы, сигналы сбора, непонятные слова, выкрикиваемые хриплыми голосами и звучавшие призывом.

К утру все вернулись. Двое солдат было убито, и трое других ранено их товарищами в пылу охоты и в сумятице ночной погони.

Рашель не нашли.

Тогда пруссаки решили нагнать страху на жителей, перевернули вверх дном все дома, изъездили, обыскивали, перевернули всю местность. Еврейка не оставила, казалось, ни малейшего следа на своем пути.

Когда об этом было доложено генералу, он приказал потушить дело, чтобы не давать дурного примера армии, и наложил дисциплинарное взыскание на майора, а тот, в свою очередь, взгрел своих подчиненных. «Воюют не для того, чтобы развлекаться и ласкать публичных девок», – сказал генерал. И граф фон Фарльсберг в крайнем раздражении решил выместить все это на округе.

Так как ему нужен был какой-нибудь предлог, чтобы без стеснения приступить к репрессиям, он призвал кюре и приказал ему звонить в колокол на похоронах маркиза фон Эйрик.

Вопреки всякому ожиданию, священник на этот раз оказался послушным, покорным, полным предупредительности. И когда тело Мадемуазель Фифи, которое несли солдаты и впереди которого, вокруг и сзади шли солдаты с заряженными ружьями, – когда оно покинуло замок Ювиль, направляясь на кладбище, с колокольни впервые раздался похоронный звон, причем колокол звучал как-то весело, словно его ласкала дружеская рука.

Он звонил и вечером, и на другой день, и стал звонить ежедневно; он трезвонил, сколько от него требовали. Порою он даже начинал одиноко покачиваться ночью и тихонько издавал во мраке два-три звука, точно проснулся неизвестно зачем и был охвачен странной веселостью. Тогда местные крестьяне решили, что он заколдован, и уже никто, кроме кюре и пономаря, не приближался к колокольне.

А там, наверху, в тоске и одиночестве, жила несчастная девушка, принимавшая тайком пищу от этих двух людей.

Она оставалась на колокольне вплоть до ухода немецких войск. Затем однажды вечером кюре попросил шарабан у булочника и сам отвез свою пленницу до ворот Руана. Приехав туда, священник поцеловал ее; она вышла из экипажа и быстро добралась пешком до публичного дома, хозяйка которого считала ее умершей.

Спустя некоторое время ее взял оттуда один патриот, чуждый предрассудков, полубивший ее за этот прекрасный поступок; затем, позднее, полюбив ее уже ради нее самой, он женился на ней и сделал из нее даму не хуже многих других.

ГОСПОЖА БАТИСТ

Войдя в пассажирский зал вокзала в Лубэне, я первым делом взглянул на часы. До прихода скорого поезда из Парижа надо было ждать два часа десять минут.

Я вдруг почувствовал такую усталость, как будто прошел с десятков лье пешком; я оглянулся вокруг, словно надеясь прочесть на стенах о каком-нибудь способе убить время, а затем снова вышел и остановился у подъезда вокзала, напряженно стараясь придумать, чем бы мне заняться.

Улица, похожая на обсаженный тощими акациями бульвар, тянувшаяся между двумя рядами домов, разнокалиберных домов маленького городка, взбиралась на что-то вроде холма; в самом конце ее виднелись деревья, словно она заканчивалась парком.

Время от времени дорогу перебегала кошка, осторожно перепрыгивая через сточные канавки. Собачонка наскоро обнюхивала подножия деревьев, отыскивая кухонные отбросы. Людей я не видел.

Мною овладело мрачное отчаяние. Что делать? Что делать? Я уже представлял себе нескончаемое и неизбежное сидение в маленьком железнодорожном кафе перед стаканом пива, которое невозможно пить, с местной газетой в руках, которую невозможно читать, как вдруг увидел похоронную процессию: она сворачивала из переулочка на ту улицу, где я находился.

Зрелище траурного шествия доставило мне облегчение. Я мог убить по крайней мере десять минут.

Но вскоре внимание мое удвоилось. Покойника сопровождали всего-навсего восемь мужчин; один из них плакал, остальные дружески беседовали между собою. Священник не участвовал в похоронах. Я подумал: «Это гражданские похороны», – но потом решил, что в таком городе, как Лубэн, вероятно, нашлось бы не менее сотни свободомыслящих и они почти бы своим долгом устроить манифестацию. Что же это тогда? Быстрота, с которой двигалась процессия, ясно, однако, говорила о том, что усопшего хоронили безо всякой торжественности и, следовательно, без церковного обряда.

Моя праздная любопытствующая мысль пустилась в самые сложные предположения; но так как погребальная колесница проезжала мимо, то мне пришла в голову шальная идея – пойти следом за восемью мужчинами. Это заняло бы меня на добрый час времени, и я с печальным видом пустился в путь за другими провожавшими.

Двое мужчин, шедших последними, с удивлением оглянулись и стали шептаться. Они, конечно, спрашивали друг друга, местный ли я житель. Затем они обратились за советом к двум, шедшим впереди, и те, в свою очередь, принялись меня разглядывать. Это пытливое внимание стало стеснять меня; желая положить ему конец, я подошел к моим соседям и, поклонившись им, сказал:

– Прошу извинить, господа, если я прерываю вашу беседу. Но, увидев гражданские похороны, я поспешил присоединиться к ним, не зная даже хорошенько, кто усопший, которого вы провожаете.

Один из мужчин произнес:

– Это – усопшая.

Я удивился и спросил:

– Но ведь это все же гражданские похороны, не правда ли?

Другой господин, очевидно, жаждал объяснить мне, в чем дело.

– И да, и нет, – сказал он. – Духовенство отказало нам в церковном погребении.

На этот раз у меня вырвалось изумление: «Ах!» Я совсем уже ничего не понимал.

Мой обязательный сосед заговорил вполголоса:

– О, это целая история. Молодая женщина кончила жизнь самоубийством – вот почему и нельзя было добиться, чтобы ее похоронили по религиозному обряду. Вон там, впереди, ее муж –

видите, тот, что плачет.

После некоторого колебания я сказал:

– Вы очень удивили и заинтересовали меня, сударь. Не будет ли нескромностью попросить вас поведать мне эту историю? Но если это вам неприятно, считайте, что я ни о чем не просил.

Господин дружески взял меня под руку.

– Ничуть, ничуть, – ответил он. – Давайте только немного отстанем. Я расскажу вам эту историю; она очень печальна. У нас еще много времени, пока доберемся до кладбища; деревья его, видите, вон там, вверху, а подъем очень крут.

И он начал:

– Представьте себе, эта молодая женщина, госпожа Поль Амо, была дочерью богатейшего из местных купцов, господина Фонтанеля. Совсем ребенком – ей было всего одиннадцать лет – с нею случилось страшное происшествие: ее изнасиловал лакей. Она едва не умерла, изувеченная этим негодяем, а его изблещило собственное зверство. Начался ужасный процесс, и тут открылось, что маленькая мученица целых три месяца была жертвою гнусности этого животного. Его приговорили к бессрочным каторжным работам.

Девочка росла, заклеянная бесчестьем, одинокая, без подруг, едва достаиваясь ласки со стороны взрослых; те как будто боялись замарать губы, целуя ее в лоб.

Она сделалась каким-то чудищем и диковинкой для всего города. «Знаете, это маленькая Фонтанель», – говорили шепотом. На улице все оборачивались, когда она проходила. Не удавалось даже найти няньку, которая водила бы ее гулять: прислуга других семей сторонилась этой служанки, точно девочка распространяла заразу, переходившую на всякого, кто к ней приближался.

Жалко было видеть эту бедную крошку на главной улице, куда ежедневно после полудня сходились играть малыши. Она пребывала в полном одиночестве и, стоя возле няньки, печально смотрела на забавлявшихся детей. Иногда, уступая непреодолимому желанию присоединиться к ним, она робко делала шаг вперед и, боязливо двигаясь, украдкой подходила к какой-нибудь группе, словно сознавая, что она недостойна их. И тотчас со всех скамеек вскакивали матери, няньки, тетки, схватывали за руку порученных их надзору девочек и грубо уводили их. Маленькая Фонтанель оставалась одна, растерянная, ничего не понимая; сердце ее разрывалось от горя, и она начинала плакать. Затем она подбегала к няньке и, рыдая, прятала лицо в ее фартук.

Она подросла, и дело пошло еще хуже. Молодых девушек отдаляли от нее, как от зачумленной. Подумайте только, что этой юной особе уже нечего было узнавать, нечего; «что она не имела больше права на символический померанцевый цветок; что она, еще и читать не научившись, проникла в ту ужасную тайну, на которую матери, трепеща, едва смеют намекнуть дочерям в самый вечер свадьбы».

Когда она проходила по улице в сопровождении гувернантки, с нее не спускали глаз, словно из непрестанной боязни какого-нибудь нового и ужасного приключения; когда она проходила по улице, всегда потупив глаза под гнетом таинственного позора, вечно ощущаемого ею, другие молодые девушки, менее наивные, чем принято думать, перешептывались, лукаво поглядывая на нее, втихомолку пересмеивались и быстро отворачивали головы с рассеянным видом, если случайно она взглядывала на них.

Ей едва кланялись. Только немногие мужчины при встрече с нею приподнимали шляпу. Матери делали вид, что не видят ее. Несколько уличных мальчишек прозвали ее «госпожою Батист» – по имени лакея, который ее опозорил и погубил.

Никто не знал тайных мук ее души, потому что она совсем не говорила и никогда не смеялась. Для самих ее родителей, казалось, было стеснительно ее присутствие, и они как будто всегда сердились на нее за какую-то ее непоправимую ошибку. Честный человек не подаст ведь с охотой руки освобожденному каторжнику, хотя бы то был его сын? Господин и госпожа Фонтанель смотрели на свою дочь, как смотрели бы на сына, вернувшегося с каторги.

Она была хорошенькая, бледная, высокая, тонкая, изящная. Она мне очень пришлась бы по вкусу, сударь, не будь этого обстоятельства.

Года полтора тому назад, когда к нам назначили нового супрефекта, с ним приехал его личный секретарь, чудаковатый малый, который, по-видимому, основательно пожил в Латинском квартале.

Он увидел мадемуазель Фонтанель и влюбился в нее. Ему рассказали все. Он ограничился ответом:

– Ба, это как раз гарантия на будущее. Я уж предпочитаю, чтобы это случилось до, нежели после. С такой женой я буду спать спокойно.

Он начал ухаживать за нею, попросил ее руки и женился. Затем, человек с характером, он, как ни в чем не бывало, сделал свадебные визиты. Некоторые ответили им, другие воздержались. Но в конце концов все стало забываться, и молодая женщина заняла свое место в обществе.



Надо вам сказать, что перед мужем она благоговела, как перед Богом. Подумайте, ведь он возвратил ей честь, создал ей равное со всеми положение, он не побоялся ничего и пренебрег общественным мнением, пошел навстречу оскорблениям – словом, совершил мужественный поступок, на который бы немногие отважились. И она полюбила его восторженной и мучительной страстью.

Она забеременела. Когда об этом стало известно, самые щепетильные особы раскрыли перед нею свои двери, словно материнство очистило ее. Это смешно, но это так...

Все шло как нельзя лучше, но вот на днях у нас случился местный храмовой праздник. Префект, окруженный чиновниками и властями, председательствовал на конкурсе хоровых обществ; когда он закончил свою речь, началась раздача наград, и его личный секретарь Поль Амо вручал медаль каждому, имевшему на нее право.

Вы знаете, что такие дела никогда не обходятся без зависти и соперничества, из-за которых люди теряют чувство меры.

Все городские дамы находились там и сидели на эстраде.

Подошел, в свою очередь, регент города Мормильона. Его хоровой кружок был удостоен медали второй степени. Нельзя же всем присуждать первую степень, не правда ли?

Когда секретарь вручил ему знак отличия, этот человек, представьте себе, бросил медаль ему в лицо и крикнул:

– Можешь приберечь ее для Батиста! Ты должен даже наградить его медалью первой степени, как и меня!

На торжестве присутствовала масса народу, раздался смех. Люди жестоки и неделикатны; все взоры устремились на несчастную женщину.

О сударь, видели ли вы когда-нибудь, как сходит с ума женщина? Нет? А вот мы присутствовали при этом зрелище! Она трижды вставала и снова падала на стул, точно желая бежать и видя, что не сможет пройти сквозь окружающую толпу.

Чей-то голос из публики крикнул еще раз:

– Эй, госпожа Батист!

Поднялся невообразимый гвалт, в котором слились насмешки и возгласы негодования.

Всех охватило волнение, суматоха; все головы задвигались; передавали друг другу прозвище; тянулись, чтобы видеть выражение лица несчастной женщины; мужья поднимали на руки жен, чтобы показать ее; спрашивали друг у друга: «Которая? Та, в голубом?» Мальчишки кричали попетушиному; оглушительные взрывы хохота раздавались то здесь, то там.

Она не двигалась, растерявшись, продолжая сидеть на своем праздничном кресле, словно ее выставили напоказ перед всей публикой. Она не могла ни исчезнуть, ни пошевелиться, ни спрятать лицо. Ее глаза быстро мигали, словно их слепил яркий свет, и она тяжело дышала, как взбирающаяся на гору лошадь.

Сердце надрывалось при взгляде на нее.

Господин Амо схватил грубияна за горло, и они покатались по земле, среди ужасающего шума.

Торжество было прервано.

Час спустя, когда супруги Амо возвращались домой, молодая женщина, не проронившая ни слова с момента оскорбления, но охваченная с головы до ног дрожью, словно какая-то пружина привела в сотрясение все ее нервы, вдруг перепрыгнула через перила моста, и, не успев муж удержать ее, как она уже была в реке.

Под сводами моста было очень глубоко. Прошло два часа, прежде чем удалось ее вытащить. Разумеется, она была мертва.

Рассказчик умолк, затем прибавил:

– Быть может, это и лучшее, что ей оставалось сделать в ее положении. Есть вещи, которых не загладишь ничем.

Вы понимаете теперь, почему духовенство закрыло перед нею двери церкви. О, если бы похороны были по религиозному обряду, пришел бы весь город! Но, понимаете, когда к старой истории прибавилось еще самоубийство, семейные люди воздержались; трудно к тому же у нас сопровождать похороны без священника.

Мы входили в ворота кладбища. Сильно взволнованный, я дождался минуты, когда гроб опустили в могилу, и затем подошел и крепко пожал руку несчастному молодому человеку, продолжавшему рыдать.

Он с удивлением взглянул на меня сквозь слезы и произнес:

– Благодарю вас, сударь.

И я уже не жалел о том, что последовал за этим похоронным шествием.

РЖАВЧИНА

У него в жизни была только одна неутолимая страсть – охота. Он охотился ежедневно, с утра до вечера, с неистовым увлечением. Он охотился зимой и летом, весной и осенью; охотился по болотам, когда закон воспрещал полевую и лесную охоту; охотился с ружьем, со сворой, с легавыми, с гончими, в засаде, с зеркалом, с хорьками. Он только и говорил что об охоте, бредил охотой и повторял беспрестанно:

– Как, должно быть, несчастен человек, который не любит охоты!

Ему стукнуло пятьдесят лет, однако он был здоров, свеж, хотя и лыс, немного тучен, но силен; он подбривал снизу усы, обнажая губы и оставляя свободным весь рот, чтобы легче было

трубить в рожок.

В округе его звали просто по имени: господином Гектором. Именовался же он бароном Гектором Гонтраном де Кутелье.

Он жил среди лесов, в маленькой, доставшейся ему по наследству усадьбе, и, несмотря на знакомство со всею аристократией департамента и встречи со всеми ее мужскими представителями на охотничьих сборах, был частым гостем только в одной семье – у Курвилей, своих милых соседей, связанных вековой дружбой с его родом.

В этом доме его любили, ласкали, баловали, и он говаривал:

– Не будь я охотником, я хотел бы навсегда остаться у вас.

Господин де Курвиль был его другом и товарищем с детства. Дворянин и сельский хозяин, он спокойно жил с женою, дочерью и зятем, господином Дарнето, который под предлогом занятий историей не делал ровно ничего.

Барон де Кутелье часто обедал у своих друзей особенно потому, что любил рассказывать им о своих охотничьих приключениях. У него был огромный запас историй о собаках и хорьках, и он говорил о них как о замечательных, хорошо ему знакомых существах. Он раскрывал их мысли и намерения, разбирал и пояснял их.

– Когда Медор увидел, что коростель заставляет его бегать понапрасну, он сказал себе: «Погоди же, голубчик, мы еще посмеемся». И, сделав мне знак стать в углу клеверного поля, он стал искать наискось, с намеренным шумом раздвигая траву, чтобы загнать дичь в угол, откуда она не могла бы уже ускользнуть. Все случилось, как он предвидел: коростель в один миг очутился на краю поля. Но дальше ему уже некуда деться, его заметят. «Попался, – сказал он себе, – дело дрянь!» И притаился. Тогда Медор делает стойку, поглядывая на меня; я подаю ему знак, он гонит. Брру!.. коростель взлетает... я прикладываюсь... бац!.., он падает, и Медор приносит его мне, махая хвостом и словно спрашивая: «Ну как? Чисто сделано, господин Гектор?»

Курвиль, Дарнето и обе женщины хохотали до упаду над этими живописными рассказами, в которые барон вкладывал всю душу. Он оживлялся, размахивал руками, двигался всем телом, а описывая смерть дичи, смеялся оглушительным смехом и всегда спрашивал в виде заключения:

– Недурная история?

Едва только заговаривали о другом, он переставал слушать, отсаживался в сторону и насвистывал, подражая охотничьему рожку. И когда в промежутке между двумя фразами наступало молчание, в эти минуты внезапной тишины вдруг раздавался охотничий сигнал: «Тон-тон, тон-тэн, тон-тэн»; это напевал барон, раздувая щеки, словно трубил в рожок. Он жил только для охоты и старился, не замечая, не видя этого. Как-то вдруг у него сделался приступ ревматизма, уложивший его на два месяца в постель. Он чуть не умер с горя и тоски. Так как женской прислуги у него не было, а кушанье готовил ему старый слуга, он не мог добиться ни горячих припарок, ни всех тех мелких услуг, которые необходимы больным. Сиделкой у него был доезжачий, и этот оруженосец, скучая наравне с хозяином, день и ночь спал в кресле, в то время как барон выходил из себя и ругался на все лады, лежа в постели.

Дамы де Курвиль приезжали иногда навестить барона, и это были для него часы покоя и блаженства. Они готовили ему лекарственную настойку, поддерживали в камине огонь, устраивали восхитительные завтраки у его постели, и, когда они уезжали, он бормотал:

– Черт возьми! Вам следовало бы сюда совсем переселиться.

И они хохотали от всей души.

Он поправился, снова стал охотиться по болотам, и ему случилось однажды вечером зайти к своим друзьям; но прежней живости и веселости у него уже не было. Его мучила неотступная мысль – боязнь, что боли вернутся до открытия охоты. Когда он прощался и когда дамы закутывали его в шаль и повязывали ему шею фуляром – что он позволил сделать в первый раз за всю жизнь, – он прошептал с отчаянием в голосе:

– Если это снова начнется, то я конченный человек.

Когда он ушел, госпожа Дарнето сказала матери:

– Нужно женить барона!

Все всплеснули руками. Как они не подумали до сих пор об этом? Весь вечер перебирали знакомых вдов, и выбор остановился на одной женщине лет сорока, г-же Берте Вилер, еще красивой, достаточно богатой, здоровой и с отличным характером.

Ее пригласили провести месяц в замке. Ей было скучно дома, и она приехала. Она была подвижна и весела; господин Кутелье понравился ей сразу. Он забавлял ее, как живая игрушка, и она целыми часами лукаво выпрашивала его о чувствах кроликов, о кознях лисиц. Он с полной серьезностью различал несходные повадки разных животных и приписывал им хитрые планы и рассуждения, словно близко знакомым людям.

Внимание, которое она ему оказывала, восхищало его, и однажды вечером в знак особого уважения он пригласил ее с собой на охоту, чего никогда еще не делал ни для одной женщины. Приглашение это показалось ей таким забавным, что она приняла его. Сборы на охоту превратились в праздник: все приняло участие в этом, каждый что-нибудь предлагал, и она появилась наконец, одетая под амазонку, в сапогах, в мужских штанах, в короткой юбке, в бархатной куртке, слишком узкой для ее груди, и в егерской фуражке.

Барон чувствовал себя до того взволнованным, как будто отправлялся охотиться в первый раз. Он объяснял ей во всех подробностях направление ветра, различные стойки собак, способ стрелять по дичи; затем выпустил ее в поле, следуя за ней по пятам с заботливостью кормилицы, наблюдающей за первыми шагами своего питомца.

Медор напал на след, пополз, сделал стойку, поднял лапу. Барон, стоя за своей ученицей, дрожал, как лист, и лепетал:

– Внимание, внимание, куро... куро... куропатки!

Не успел он сказать, как сильный шум поднялся с земли – бррр, бррр, брр! – и выводок жирных птиц взлетел на воздух, хлопая крыльями.

Госпожа Вилер, растерявшись, зажмурилась, выпустила два заряда, отступила на шаг из-за отдачи ружья, и когда снова овладела собой, то увидела, что барон пляшет, как безумный, а Медор несет в зубах двух куропаток.

С этого дня господин Кутелье влюбился в нее.

– Какая женщина! – говорил он, возводя глаза к небу.

Теперь он стал приходить каждый вечер, чтобы поболтать об охоте. Однажды господин де Курвиль, провожая его домой и слушая восторженные восклицания по поводу новой приятельницы, неожиданно спросил:

– Почему бы вам на ней не жениться?

Барон был поражен.

– Я?.. мне?.. жениться на ней?.. но... но... в самом деле...

И он умолк. Затем, торопливо пожав руку своего спутника, пробормотал: «До свидания, друг мой», – и исчез в темноте, размашисто шагая.

Три дня он не показывался. Когда же пришел опять, то совсем побледнел от долгих раздумий и был серьезнее обыкновенного. Отведя в сторону господина де Курвиля, он сказал:

– У вас тогда была великолепная мысль. Постарайтесь расположить госпожу Вилер в мою пользу. Черт возьми, такая женщина, можно сказать, создана для меня. Мы будем с ней охотиться круглый год.

Господин де Курвиль, уверенный в том, что отказа не встретится, отвечал:

– Делайте предложение немедленно, друг мой. Хотите, я возьму это на себя?

Но барон внезапно смутился и пробормотал:

– Нет... нет... мне придется сперва совершить одно маленькое путешествие... маленькое путешествие в Париж. Как только вернусь, я сообщу вам окончательный ответ.

Никаких других объяснений от него нельзя было добиться, и он уехал на следующий день.

Поездка длилась долго. Прошла неделя, другая, третья, а господин де Кутелье не возвращался. Супруги Курвиль, удивленные, обеспокоенные, не знали, что и сказать своей приятельнице; они уже предупредили ее о намерениях барона. Через день к нему посылали на дом за вестями, но никому из его слуг ничего не было известно.

Однажды вечером, когда госпожа Вилер пела, аккомпанируя себе на рояле, в комнату с великой таинственностью вошла няня, вызвала господина де Курвиля и сказала ему шепотом, что его спрашивает один господин. То был барон, постаревший, изменившийся, в дорожном костюме. Едва завидев своего друга, он схватил его за руку и сказал усталым голосом:

– Я только что приехал, мой дорогой, и прибежал к вам, я больше не могу ждать.

Затем он замялся, видимо, смущенный:

– Я хотел вам сказать... тотчас же... что с этим... что с этим делом... ну, вы знаете... ничего не вышло...

Господин де Курвиль ошеломленно смотрел на него.

– Как? Ничего не вышло? Почему?

– О, не спрашивайте меня, пожалуйста, мне слишком больно говорить об этом, но будьте уверены, что я поступаю... как честный человек. Я не могу... Я не имею права, понимаете, не имею права жениться на этой даме. Я подожду, пока она уедет, и тогда приду к вам; видеть ее для меня слишком мучительно. Прощайте.

И он убежал.

Вся семья обсуждала его слова, спорила, строила тысячи предположений. Пришли к заключению, что в жизни барона была какая-то тайна, быть может, незаконные дети, а то и старая связь. Словом, дело было, по-видимому, серьезное; во избежание затруднительных осложнений госпожу Вилер осторожно предупредили, и она как приехала, так и уехала вдовой.

Прошло еще три месяца. Однажды вечером, плотно пообедав, немного выпив и закулив в обществе господина де Курвиля трубку, господин де Кутелье сказал ему:

– Если бы вы знали, как часто я вспоминаю о вашей приятельнице, вам бы стало меня жалко.

Тот, несколько задетый поведением барона в этом деле, высказался не без горячности:

– Черт возьми, друг мой, когда в жизни человека есть тайны, не заходят так далеко, как зашли вы. Могли же ведь вы в конце концов предвидеть причины своего отступления!

Барон, смутившись, перестал курить.

– И да, и нет. Словом, я не ожидал того, что случилось.

Господин де Курвиль раздраженно возразил:

– Все надо предвидеть.

Но господин де Кутелье, вглядываясь в темноту, чтобы увериться, что их никто не слышит, сказал шепотом:

– Я отлично понимаю, что обидел вас, и расскажу вам всю правду, чтобы заслужить прощение. Вот уже двадцать лет, друг мой, как я живу только охотой. Я люблю только охоту, как вы знаете, и занимаюсь только ею. В ту минуту, когда я должен был принять на себя обязательства по отношению к этой даме, одно сомнение взяло меня, одна беспокойная мысль. С тех пор как я отвык от... от... любви, что ли, я не был уверен, способен ли... способен ли я... вы понимаете... Подумайте-ка, вот уже ровно шестнадцать лет, как я... как я... как я... в последний раз... ну да это ясно. Здесь, в нашем краю, это не так легко... не так легко... вы согласитесь с этим; к тому же у меня были другие дела. Я предпочитаю стрелять из ружья. Короче говоря, в ту минуту, когда я должен был связать себя обязательствами перед мзром и священником насчет... насчет того... что вам известно... я испугался. Я сказал себе: «Дьяволищина! а что, если... что, если вдруг... осечка?» Честный человек никогда не нарушает принятых на себя обязательств, а ведь я брал на себя священные обязательства по отношению к этой особе. Словом, для очистки совести я решил поехать на неделю в Париж.



Неделя кончается – и ничего, ровно ничего! И не потому, чтобы я не пытался. Я брал все, что было самого лучшего и во всевозможных вкусах. Уверяю вас, они делали все, что могли...

Да... уж, конечно, они ничего не упустили... Но что поделаешь? Они всегда отступались... ни с чем... ни с чем... ни с чем...

Я подождал еще две недели, затем три недели, продолжая надеяться. Я проглотил в ресторанах множество острых блюд, чем окончательно расстроил себе желудок... и... и... ничего... всегда – ничего!

Вы понимаете, что при таких обстоятельствах, ясно все это установив, мне ничего не оставалось, как только... только... отступить... Что я и сделал...

Господин де Курвиль напрягал все силы, чтобы не расхохотаться. Он значительно пожал руку барону, промолвив: «Мне очень жаль вас», – и проводил его полдороги. Затем, очутившись наедине с женой, он рассказал ей все это, задыхаясь от смеха. Но госпожа де Курвиль не смеялась; она слушала внимательно и, когда муж кончил, ответила ему с глубокой серьезностью:

– Барон – глупец, друг мой, он просто испугался. Я напишу Берте, чтобы она приезжала, и поскорее.

А когда господин де Курвиль сослался на длительные и безуспешные опыты своего друга, она сказала:

– Пустяки! Если только муж любит жену, понимаете, это... возвращается.

И господин де Курвиль, сам немного сконфузившись, не ответил ничего.

МАРРОКА

Друг мой, ты просил сообщать тебе о моих впечатлениях, о случающихся со мною происшествиях и, главное, о моих любовных историях в этой африканской стране, так давно меня привле-

кавшей. Ты заранее от души смеялся над моими будущими, по твоему выражению, черными утехами, и тебе уже представлялось, как я возвращаюсь домой в сопровождении громадной черной женщины, одетой в яркие ткани и с желтым фуляром на голове.

Конечно, очередь негритянок еще придет: я уже видел нескольких, и они внушали мне желание окунуться в эти чернила. Но для начала я напал на нечто лучшее и исключительно своеобразное.

Ты писал в последнем письме: «Если я знаю, как в данной стране любят, я сумею описать эту страну, хотя никогда ее и не видел». Знай же, что здесь любят неистово. Начиная с первых дней чувствуешь какой-то огненный трепет, какой-то подъем, внезапное напряжение желаний, какую-то истому, целиком охватывающую тело; и все это до крайности возбуждает наши любовные силы и все способности физических ощущений – от простого соприкосновения рук до той невыразимо властной потребности, которая заставляет нас совершать столько глупостей.

Разберемся в этом как следует. Не знаю, может ли существовать под этим небом то, что вы называете слиянием сердец, слиянием душ, сентиментальным идеализмом, наконец платонизмом, я в этом сомневаюсь. Но другая любовь, любовь чувственная, имеющая в себе нечто хорошее, и немало хорошего, в этом климате поистине страшна. Жара, это постоянно разжигающее вас пламя воздуха, эти удушливые порывы южного ветра, эти потоки огня, льющиеся из великой пустыни, которая так близка, этот тяжелый сирокко, более опустошительный, более иссушающий, чем пламя, этот вечный пожар всего материка, сожженного до самых камней огромным, всепожирающим солнцем, воспаляют кровь, приводят в бешенство плоть, превращают человека в зверя.

Но подхожу к моей истории. Ничего не рассказываю тебе о первых днях моего пребывания в Алжире. Побывав в Боне, Константине, Бискре и Сетифе, я приехал в Буджию через ущелья Шабе и по несравненной дороге через кабилские леса; дорога эта вьется над морем по извилинам гористого склона, на высоте двухсот метров, вплоть до восхитительного залива Буджии, столь же прекрасного, как Неаполитанский залив, как заливы Аяччо и Дуарнене, красивейшие из всех, мною виденных. Я исключаю из этого сравнения лишь невероятный залив Порто на западном берегу Корсики, опоясанный красным гранитом, с возвышающимися посреди него фантастическими окровавленными каменными великанами, именуемыми «Каланш де Пиана».

Не успеешь обогнуть огромный залив с его мирно спящей водой, как уже издалека, еще очень издалека, замечаешь Буджию. Город построен на крутых склонах высокой, увенчанной лесом горы. Это – белое пятно на зеленом склоне, похожее, пожалуй, на пену свергающегося в море водопада.

Едва я вступил в этот маленький очаровательный городок, как понял, что останусь в нем надолго. Со всех сторон взор ограничен громадным кругом крючковых, зубчатых, рогатых, причудливых вершин, замкнутых так тесно, что едва видно открытое море, и залив становится похожим на озеро. Голубая вода с молочным отливом восхитительно прозрачна, а лазурное небо, такой густой лазури, словно покрытое двойным слоем краски, простирает над нею свою изумительную красоту. Они словно любят друг друга, взаимно отражая свои отсветы.

Буджия – город развалин. На пристани, подъезжая к нему, встречаешь такую великолепную руину, что ее можно принять за оперную декорацию. Это древние сарацинские ворота, сплошь заросшие плющом. И в прилегающих горных лесах повсюду тоже развалины – части римских стен, обломки сарацинских памятников, остатки арабских построек.

Я снял в верхнем городе маленький мавританский домик. Ты знаешь эти жилища, их описывали так часто. Окон наружу у них нет, и они освещаются сверху донизу внутренним двором. Во втором этаже помещается большая прохладная зала, в которой проводят время днем, а наверху – терраса, где проводят ночи.

Я тотчас же усвоил привычки жарких стран, то есть стал делать после завтрака сиесту. Это удушливо-знойный час в Африке, час, когда нечем дышать, когда улицы, долины и бесконечные, ослепительные дороги пустынные, когда все спят или, по крайней мере, пытаются спать, оставляя на себе как можно меньше одежды.

В моей зале с колоннами арабской архитектуры я поставил большой мягкий диван, покрытый ковром из Джебель-Амура. Я ложился на него приблизительно в костюме Гасана, но не мог

отдыхать, так как был измучен своим воздержанием.

О друг мой, в этой стране есть две казни, которых не желаю тебе узнать: отсутствие воды и отсутствие женщин. Какая ужаснее? Не знаю. В пустыне можно пойти на всякую подлость из-за стакана чистой холодной воды. А чего только не сделаешь в ином прибрежном городе ради красивой, здоровой девушки? В Африке нет недостатка в девушках! Напротив, они там в изобилии; но, если продолжить сравнение, они так же вредоносны и гниlostны, как илистая вода источников Сахары.

И вот однажды, более обычного истомленный, я попытался задремать, но тщетно. Ноги мои дрожали, словно их кололо изнутри; беспокойная тоска заставляла меня то и дело вертеться с боку на бок по коврам. Наконец, не в силах выносить долее, я встал и вышел.

Это было в июле, в палящий послеполуденный час. Мостовые были так раскалены, что на них можно было печь хлеб; рубашка, моментально взмокавшая, прилипала к телу; весь горизонт был затянут легким белым паром, тем горячим дыханием сирокко, которое подобно осязаемому зною.

Я спустился к морю и, огибая порт, пошел по берегу, вдоль небольшой бухты, где выстроены купальни. Крутые горы, поросшие кустарником и высокими ароматными травами с крепким запахом, кольцеобразно окружают бухту, где вдоль всего берега мокнут в воде большие темные скалы.

Кругом никого; все замерло; ни крика животных, ни шума крыльев птицы, ни малейшего звука, ни даже всплеска воды – так неподвижно было море, казалось, оцепеневшее под солнцем. И мне чудилось, что в раскаленном воздухе я улавливаю гудение огня.

Внезапно за одной из этих скал, до половины тонувших в молчаливом море, я услышал легкий шорох и, обернувшись, увидел, по грудь в воде, высокую голую девушку; она купалась и в этот знойный час, конечно, считала себя в полном одиночестве. Лицо ее было обращено к морю, и она тихо подпрыгивала, не замечая меня.

Ничего не могло быть удивительнее зрелища этой красивой женщины в прозрачной, как стекло, воде, под ослепительными лучами солнца. Она была необыкновенно хороша, эта женщина, высокая и сложенная, как статуя.

Вдруг она обернулась, вскрикнула и, то вплавь, то шагая, мгновенно скрылась за скалою.

Она должна выйти оттуда, поэтому я сел на берегу и стал ее ожидать. И вот она осторожно высунула из-за скалы голову с массою тяжелых черных волос, кое-как закрученных узлом. У нее был большой рот с вывороченными, как валики, губами, громадные бесстыдные глаза, а все ее тело, слегка потемневшее от здешнего климата, казалось выточенным из старинной слоновой кости, упругим и нежным, телом белой расы, опаленным солнцем негров.

Она крикнула мне:

– Проходите!

В ее звучном голосе, немного грубоватом, как вся ее особа, слышались гортанные ноты. Я не шевелился.

Она прибавила:

– Нехорошо оставаться здесь, сударь.

Звук «р» в ее устах перекачивался, как грохочущая телега. Тем не менее я не двинулся. Голова исчезла.

Прошло десять минут, и сначала волосы, затем лоб, затем глаза показались вновь, медленно и осторожно: так делают дети, играющие в прятки, желая взглянуть на того, кто их ищет.

Но на этот раз у нее было гневное выражение, и она крикнула:

– Из-за вас я захвораю! Я не выйду, пока вы будете там сидеть!

Тогда я поднялся и ушел, неоднократно оглядываясь.

Убедившись, что я достаточно далеко, она вылезла из воды, полусогнувшись, держась ко мне боком, и исчезла в углублении скалы, за повешенной юбкой.

На другой день я вернулся. Она снова была в воде, но на этот раз в полном купальном костюме. Она засмеялась, показывая мне свои сверкающие зубы.

Неделю спустя мы были друзьями. А еще через неделю наша дружба стала еще теснее.

Ее звали Маррока; наверно, это было какое-нибудь прозвище, и она произносила его, точно в нем было пятнадцать «р». Дочь испанских колонистов, она вышла замуж за некоего француза по фамилии Понтабез. Ее муж был чиновником на государственной службе. Я так никогда и не узнал хорошенько, какую именно должность он занимал. Я убедился в том, что он очень занятой человек, и далее не расспрашивал.

Переменив час своего купания, она стала ежедневно приходить после моего завтрака – совершать сиесту в моем доме. И что это была за сиеста! Если бы только так отдыхали!

Она действительно была очаровательной женщиной, немного животного типа, но все же великолепной. Ее глаза, казалось, всегда блестели страстью; полуоткрытый рот, острые зубы, самая улыбка ее таили в себе нечто дико-чувственное, а странные груди, удлиненные и прямые, острые, как груши, упругие, словно на стальных пружинах, придавали телу нечто животное, превращали ее в какое-то низшее и великолепное существо, предназначенное для распутства, и пробуждали во мне мысль о тех непристойных божествах древности, которые открыто расточали свободные ласки на траве под листвой.

Никогда еще ни одна женщина не носила в своих чреслах такого неутолимого желания. Ее страстные ласки и объятия, сопровождавшиеся воплями, скрежетом зубов, судорогами и укусами, почти тотчас же завершались сном, глубоким, как смерть. Но она внезапно пробуждалась в моих руках и опять готова была к любви, и грудь ее взбухла в жажде поцелуев.

Ум ее к тому же был прост, как дважды два четыре, а звонкий смех заменял ей мысль.

Инстинктивно гордясь своею красотой, она питала отвращение даже к самым легким покровам и расхаживала, бегала и прыгала по моему дому с бессознательным и смелым бесстыдством. Пресытись наконец любовью, измученная воплями и движениями, она засыпала крепким и мирным сном возле меня на диване; от душливой жары на ее потемневшей коже проступали крошечные капельки пота, а ее руки, закинутые под голову, и все сокровенные складки ее тела выделяли тот звериный запах, который так привлекает самцов.

Иной раз она приходила вечером, когда муж ее был где-то на работе. И мы располагались на террасе, чуть прикрываясь легкими и развевающимися восточными тканями.

Когда в полнолуние громадная яркая луна тропических стран стояла на небе, освещая город и залив с его полукругом гор, мы видели вокруг себя, на всех других террасах, как бы целую армию распластавшихся безмолвных призраков, которые иногда вставали, переменили место и укладывались снова в томной теплоте отдыхающего неба.

Невзирая на ясность африканских вечеров, Маррока упорно ложилась спать голою под яркими лучами луны; она несколько не беспокоилась о всех тех людях, которые могли нас видеть, и часто, презирая мои мольбы и опасения, выпускала среди ночного мрака протяжные трепетные крики, в ответ на которые вдали раздавался вой собак.

Однажды вечером, когда я дремал под необъятным небосводом, сплошь усыпанным звездами, она стала на колени возле меня на ковре и, приблизив к моему рту свои большие вывороченные губы, сказала:

– Ты должен прийти ночевать ко мне.

Я не понял.

– Как это-к тебе?

– Ну да. Когда муж уйдет, ты придешь спать на его место.

Я не мог удержаться и расхохотался.

– К чему это, раз ты приходишь сюда?

Она продолжала, говоря мне прямо в рот, обжигая меня своим горячим дыханием до самого горла и увлажняя мои усы:

– Чтобы у меня сохранилась память о тебе.

И «р» слова сохранилось, еще долго с шумом потока звучало в скалах.

Я никак не мог постичь ее мысль. Она обвила руками мою шею.

– Когда тебе вскоре придется уехать, – сказала она, – я не раз буду думать об этом. И, прильнув к мужу, буду представлять, что это ты.

Все «ррре», «ррри», «ррра» казались в ее устах раскатами близкой грозы.

Тронутый, да и развеселившись, я прошептал:

– Но ты сумасшедшая. Я предпочитаю ночевать дома.

У меня действительно нет ни малейшей склонности к свиданиям под супружеской кровлей – это мышеловка, в которую постоянно попадают дураки. Но она просила, умоляла и даже плакала, прибавляя:

– Ты посмотришь, как я буду тебя любить.

«Посмотришь» прозвучало наподобие грохота барабана, бьющего тревогу.

Ее желание показалось мне таким странным, что я не мог его ничем объяснить; затем, поразмыслив, я решил, что здесь примешалась какая-то глубокая ненависть к мужу, одно из тех тайных возмездий женщины, которая с наслаждением обманывает ненавистного человека и хочет вдобавок насмеяться над ним в его собственном доме, среди его обстановки, в его постели.

Я спросил ее:

– Твой муж дурно обращается с тобой?

Она рассердилась.

– О нет, он очень добр.

– Но ты его не любишь?

Она вскинула на меня громадные изумленные глаза.

– Нет, напротив, я его очень люблю, очень, очень, но не так, как тебя, мое сердце.

Я совсем уже ничего не понимал, и, пока старался что-либо угадать, она запечатлела на моих губах один из тех поцелуев, силу которых отлично знала, прошептав затем:

– Ты придешь, не правда ли?

Однако я не соглашался. Тогда она немедленно оделась и ушла.

Восемь дней она не показывалась. На девятый появилась и, с важностью остановившись на пороге моей комнаты, спросила:

– Придешь ли ты сегодня вечером ко мне спать? Если нет, я уйду.

Восемь дней – это много, мой друг, а в Африке эти восемь дней стоят целого месяца. «Да!» – крикнул я, протянул к ней руки, и она бросилась в мои объятия.

Вечером она ждала меня на соседней улице и привела к себе.

Они жили близ пристани, в маленьком, низеньком домике. Я прошел сначала через кухню, где супруги обедали, и вошел в комнату, выбеленную известью, чистую, с фотографическими карточками родственников на стенах и с букетами бумажных цветов под стеклянными колпаками. Маррока казалась обезумевшей от радости; она прыгала, повторяя:

– Вот ты и у нас, вот ты и у себя.

Я действительно расположился, как у себя. Признаюсь, я был немного смущен, даже неспокоен. Видя, что я не решаюсь в чужой квартире расстаться с некоторой принадлежностью моей одежды, без которой застигнутый врасплох мужчина становится столь же смешным, сколь и неловким, неспособным к какому бы то ни было действию, она вырвала у меня силой и унесла в соседнюю комнату вместе с ворохом остальной моей одежды и эти ножны моего мужества.

Наконец обычная уверенность вернулась ко мне, и я изо всех сил старался доказать это Марроке, так что спустя два часа мы еще и не помышляли об отдыхе, как вдруг громкие удары в дверь заставили нас вздрогнуть, и громовой мужской голос прокричал:

– Маррока, это я!

Она вскочила.

– Мой муж! Живо, прячься под кровать!

Я растерянно искал свои штаны; но она, задыхаясь, толкала меня:

– Иди же, иди!

Я распластался на полу и скользнул, не говоря ни слова, под ту кровать, на которой мне было так хорошо.

Она прошла на кухню. Я слышал, как она отперла шкаф, заперла его, затем вернулась, принеся с собой какой-то предмет, которого я не видел, но который она живо куда-то сунула, и, так как муж терял терпение, она ответила ему громко и спокойно: «Не могу найти спичек», – а затем

вдруг: «Нашла, отпирраю!». И отперла дверь.

Мужчина вошел. Я видел только его ноги, огромные ноги. Если все остальное было пропорционально, он, должно быть, был великаном.

Я услышал поцелуй, шлепок по голому телу, смех; затем он сказал с марсельским выговором:

– Я забыл дома кошелек, и пришлось воротиться. Я думал, что ты уже спишь крепким сном.

Он подошел к комоду и долго искал в нем то, что ему было нужно; затем, когда Маррока легла на кровать, словно подкошенная усталостью, он подошел к ней и, без сомнения, попытался ее приласкать, так как она в раздраженной фразе выпалила в него картечью гневных «р».

Ноги его были так близко от меня, что мною овладело сумасбродное, глупое, необъяснимое искушение – тихонько дотронуться до них. Но я воздержался.

Потерпев неудачу в своих планах, он рассердился.

– Ты злющая сегодня, – сказал он.

Но примирился с этим:

– До свидания, крошка.

Снова раздался звонкий поцелуй; затем огромные ноги повернулись, блеснули передо мною крупными шляпками гвоздей, перешли в соседнюю комнату, и дверь на улицу захлопнулась.

Я был спасен. Смиранный, жалкий, я медленно вылез из своего убежища, и пока Маррока, по-прежнему голая, плясала вокруг меня джигу, раскатисто смеясь и хлопая в ладоши, я тяжело упал на стул. Но тотчас же так и подпрыгнул: подо мной оказалось что-то холодное, и так как я был одет не лучше моей сообщницы, то вздрогнул от этого прикосновения. Я обернулся. Что же? Я сел на небольшой топорик для колки дров, острый, как нож. Как он попал сюда? Я не заметил его, когда входил.

Маррока, увидев мой прыжок, задохнулась от хохота; она вскрикивала, кашляла, схватившись обеими руками за живот.

Я находил эту веселость непристойной, неуместной. Мы глупо рисковали жизнью, у меня еще до сих пор бегали мурашки по спине, и ее безумный смех немного задевал меня.

– А что, если бы я попался на глаза твоему мужу? – спросил я.

– Опасаться было нечего, – отвечала она.

– Как опасаться было нечего! Уж очень ты смела! Стоило ему только нагнуться, и он бы увидел меня.

Она перестала смеяться; она только улыбалась, глядя на меня громадными неподвижными глазами, в которых зарождались новые желания.

– Он не нагнулся бы.

Я настаивал:

– Сколько угодно! Урони он свою шляпу, ему пришлось бы ее поднять, и тогда... хорош бы я был в этом костюме!

Она положила мне на плечи свои сильные округлые руки и, понижая голос, словно говоря мне: «Я обожаю тебя», – прошептала:

– Тогда он и не встал бы.

Я не понял.

– Почему же это?

Лукаво подмигнув, она протянула руку к стулу, на который я было сел, и ее вытянутый па-лец, складка у рта, полуоткрытые губы и острые зубы, блестящие и хищные, – все указывало мне на маленький, сверкавший лезвием топорик для колки дров.

Она сделала движение, словно собираясь его взять, затем, привлекая меня вплотную к себе левою рукой и прижавшись бедром к моему бедру, сделала правой рукой быстрое движение, как бы обезглавливая человека, стоявшего перед нею на коленях!..

Вот, мой дорогой, как понимают здесь супружеский долг, любовь и гостеприимство!

ПОЛЕНО

Гостиная была маленькая, сплошь затянутая темными обоями и чуть благоухавшая. Яркий

огонь пылал в широком камине, а единственная лампа, стоявшая на углу каминной доски под абажуром из старинных кружев, озаряла мягким светом лица двух собеседников.

Она – хозяйка дома, седая старушка, одна из тех очаровательных старушек без единой морщины на лице, с атласной, как тонкая бумага, и душистой кожей, пропитанной эссенциями, тонкие ароматы которых благодаря постоянным омовениям ввелись сквозь эпидерму в самую плоть; целуя руку такой старушки, чувствуешь легкое благоухание, точно кто-то открыл коробку с пудрой из флорентийского ириса.

Он – старый друг, оставшийся холостяком, еженедельный гость, добрый товарищ на жизненном пути. Но и только.

На минуту они замолчали, и оба глядели на огонь, о чем-то мечтая, отдаваясь той паузе дружеского молчания, когда людям вовсе не надо говорить, когда им и так хорошо друг подле друга.

Внезапно обрушилась большущая головня, целый пень, ошестинившийся пылающими корнями. Перепрыгнув через решетку и вывалившись на пол гостиной, она покатила по ковру, разбрасывая огненные искры.

Старушка вскочила с легким криком, словно собираясь бежать, но ее друг ударом сапога откинул обратно в камин огромное обуглившееся полено и затоптал угольки, рассыпавшиеся кругом.

Когда все было кончено и распространился сильный запах гари, мужчина снова сел против своей приятельницы и взглянул на нее, улыбаясь.

– Вот почему я так и не женился, – сказал он, указывая на водворенную в камин головню.

Она взглянула на него в удивлении – тем любопытствующим взглядом желающей все узнать немолодой женщины, в котором сквозит обдуманное, сложное и нередко коварное любопытство. И спросила:

– Как это?

Он отвечал:

– О, это целая история, довольно грустная и гадкая!

Мои старые товарищи не раз удивлялись охлаждению, наступившему вдруг между Жюльеном, одним из моих лучших друзей, и мною. Они не могли понять, каким образом два закадычных, неразлучных друга сразу сделались почти чужими. Так вот какова тайна нашего расхождения.

Он и я в былые времена жили вместе. Мы никогда не расставались, и нас связывала такая крепкая дружба, что, казалось, ничто не в силах было ее разорвать.

Однажды вечером, придя домой, он объявил мне, что женится.

Я получил удар прямо в сердце: он меня словно обокрал или предал. Когда один из друзей женится, то дружбе конец, навсегда конец. Ревнивая любовь женщины, подозрительная, беспокойная и плотская любовь, не терпит прямодушной, бодрой привязанности, той доверчивой привязанности и ума и сердца, какая существует между двумя мужчинами.

Видите ли, сударыня, какова бы ни была любовь, соединяющая мужчину и женщину, они умом и душою всегда чужды друг другу; они остаются воюющими сторонами; они принадлежат к разной породе; тут всегда нужно, чтобы был укротитель и укрощаемый, господин и раб; и так бывает то с одним, то с другим – они никогда не могут быть равны. Они стискивают друг другу трепещущие страстью руки, но никогда не пожмут их широким, сильным и честным рукопожатием, которое словно открывает и обнажает сердца в порыве искренней, смелой и мужественной привязанности. Мудрым людям, вместо того чтобы вступить в брак и производить для утешения старости детей, которые их покинут, лучше было бы подыскать доброго, надежного друга и стариться вместе с ним в той общности умственных интересов, какая возможна только между двумя мужчинами.

Словом, друг мой Жюльен женился. Его жена была хорошенькая, очаровательная маленькая кудрявая блондинка, живая и пухленькая; казалось, она обожала его.

Сначала я ходил к ним редко, боясь помешать их нежностям, чувствуя себя среди них лишним. Но они старались завлечь меня к себе, беспрестанно звали меня и, по-видимому, любили.

Мало-помалу я поддался тихой прелести этой общей жизни, нередко обедал у них и нередко,

возвратившись домой ночью, мечтал последовать примеру Жюльена – тоже найти себе жену, так как мой пустой дом казался мне теперь очень печальным.

Они, по-видимому, обожали друг друга и никогда не расставались. Однажды вечером Жюльен написал мне, прося прийти к обеду. Я отправился.

– Милый мой, – сказал он, – мне необходимо отлучиться по делу сейчас же после обеда. Я не вернусь раньше одиннадцати, но ровно в одиннадцать буду дома. Я рассчитываю, что ты посидишь с Бертой.

Молодая женщина улыбнулась.

– Это я придумала послать за вами, – сказала она.

Я пожал ей руку.

– Как вы милы!

И почувствовал, что она пожимает мне пальцы дружески и длительно. Но я не придавал этому значения. Сели за стол, и ровно в восемь Жюльен нас покинул.

Как только он ушел, между его женой и мной сразу же возникло чувство какого-то странного стеснения. Мы никогда еще не оставались одни, и, несмотря на возраставшую с каждым днем близость, очутиться наедине было для нас совершенной новостью. Я заговорил сначала о чем-то неопределенном, о тех ничего не значащих пустяках, которыми обычно заполняют минуты затруднительного молчания. Она не отвечала, сидя против меня у другого угла камина, с опущенной головой и блуждающим взглядом, вытянув к огню ногу и погрузившись, казалось, в раздумье. Когда банальные темы иссякли, я умолк. Удивительно, до чего иногда трудно бывает найти, о чем говорить. И затем я снова почувствовал в воздухе нечто неосоздаваемое и невыразимое, некое таинственное веяние, которое предупреждает нас о тайных умыслах, добрых или злых, питаемых к нам другими лицами.

Некоторое время тянулось это томительное молчание. Затем Берта сказала:

– Подбросьте в камин полено, мой друг, видите, он гаснет.

Я открыл ящик для дров – он стоял, совершенно как у вас, – достал полено, самое толстое полено, и поставил его стоймя на другие поленья, почти уже сгоревшие.

Молчание возобновилось.

Через несколько минут полено запылало так сильно, что жар стал жечь нам лица. Молодая женщина взглянула на меня, и выражение ее глаз показалось мне каким-то особенным.

– Теперь здесь чересчур жарко, – сказала она, – перейдемте туда, на диван.

И вот мы сели на диван.

Вдруг, глядя мне прямо в глаза, она спросила:

– Что бы вы сделали, если бы женщина сказала вам, что она вас любит?

Совершенно опешив, я ответил:

– Право, это случай непредвиденный, а затем все зависело бы от того, какова эта женщина.

Она засмеялась сухим, нервным, дрожащим смехом, тем фальшивым смехом, от которого, кажется, должно разбиться тонкое стекло, и прибавила:

– Мужчины никогда не бывают ни смелыми, ни хитрыми.

Помолчав, она спросила снова:

– Вы когда-нибудь бывали влюблены, господин Поль?

Я признался, что бывал влюблен.

– Расскажите, как это было, – попросила она.

Я рассказал ей какую-то историю. Она слушала внимательно, то и дело выражая неодобрение и презрение, и вдруг сказала:

– Нет, вы ничего не понимаете в любви. Чтобы любовь была настоящей, она, по-моему, должна перевернуть сердце, мучительно скрутить нервы, опустошить мозг, она должна быть – как бы выразиться? – полна опасностей, даже ужасна, почти преступна, почти святотатственна; она должна быть чем-то вроде предательства; я хочу сказать, что она должна попирать священные преграды, законы, братские узы; когда любовь покойна, лишена опасностей, законна, разве это настоящая любовь?

Я не знал, что отвечать, а про себя философски воскликнул: «О, женская душа, ты вся

здесь!»

Говоря все это, она напустила на себя лицемерный вид равнодушной недотроги и, откинувшись на подушки, вытянулась и легла, положив мне на плечо голову, так что платье немного приподнялось, позволяя видеть красный шелковый чулок, вспыхивавший по временам в отблесках камина.

Немного погодя она сказала:

– Я вам внушаю страх?

Я протестовал. Она совсем оперлась о мою грудь и, не глядя на меня, произнесла:

– А если бы я вам сказала, что люблю вас, что бы вы тогда сделали?

И не успел я ответить, как ее руки охватили мою шею, притянули мою голову и губы ее прижались к моим губам.

Ах, моя дорогая, ручаюсь вам, что в ту минуту мне было далеко не весело! Как, обманывать Жюльена? Сделаться любовником этой маленькой, испорченной и хитрой распутницы, без сомнения, страшно чувственной, которой уже недостаточно мужа? Беспреданно изменять, всегда обманывать, играть в любовь единственно ради прелести запретного плода, ради бравирования опасностью, ради поругания дружбы! Нет, это мне совершенно не подходило. Но что делать? Уподобиться Иосифу? Глупейшая и вдобавок очень трудная роль, потому что эта женщина обезумела в своем вероломстве, горела отвагой, трепетала от страсти и неистовства. О, пусть тот, кто никогда не чувствовал на своих губах глубокого поцелуя женщины, готовый отдаться, бросит в меня первый камень!..

... Словом, еще минута... вы понимаете, не так ли... еще минута, и... я бы... то есть она бы... Виноват, это случилось бы, или, вернее, должно было бы случиться, как вдруг страшный шум заставил нас вскочить на ноги.

Горящее полено, да, сударыня, полено ринулось из камина, опрокинув лопатку и каминную решетку, покатилося, как огненный ураган, подожгло ковер и упало под кресло, которое неминуемо должно было загореться.

Я бросился, как безумный, а пока водворял в камин спасительную головню, дверь внезапно отворилась. Вошел Жюльен, весь сияя.

– Я свободен! – воскликнул он. – Дело кончилось двумя часами раньше!

Да, мой друг, если бы не это полено, я был бы застигнут на месте преступления. Можете представить себе последствия!

Понятно, я принял меры, чтобы никогда больше не попадать в такое положение, никогда, никогда! Затем я заметил, что Жюльен становится ко мне холоден. Жена, очевидно, подкапывалась под нашу дружбу; мало-помалу он отдалил меня от себя, и мы перестали видеться.

Я не женился. Теперь это не должно вас удивлять.

МОЩИ

Господину аббату

Луи д'Эннемар в г. Суассоне

Дорогой аббат!

Итак, свадьба моя с твоею кузиной расстроилась, и притом самым глупым образом, из-за нехорошей шутки, которую я невольно сыграл с моею невестой.

Очутившись в затруднительном положении, прибегаю к твоей помощи, мой старый друг, потому что ты можешь вызволить меня из беды. Я буду тебе за это благодарен по гроб жизни.

Ты знаешь Жильберту, или, скорее, думаешь, что знаешь, – можно ли вообще знать женщин? Все их мнения, верования и мысли полны таких неожиданностей! Все это у них одни увертки, хитрости, непредвиденные, неуловимые доводы, логика наизнанку, а также упорство, которое кажется непреклонным и вдруг исчезает потому только, что какая-то птичка прилетела и села на выступ окна.

Не мне извещать тебя, что твоя кузина, воспитанная белыми или черными монахинями горо-

да Нанси, до крайности религиозна.

Тебе это лучше известно, чем мне. Но ты, без сомнения, не знаешь, что она восторженна во всем, как и в своем благочестии. Она увлекается, как листок, несомый ветром, и в то же время она в большей степени, чем кто бы то ни было, женщина или, вернее, молодая девушка, способная мгновенно растрогаться или рассердиться, вмиг вспыхнуть любовью или ненавистью и так же быстро остыть; к тому же она красива... как ты знаешь, и до того очаровательна, что нельзя и выразить... Но этого ты не узнаешь никогда.

Итак, мы были помолвлены; я обожал ее, как обожаю и до сих пор. Она тоже, по-видимому, любила меня.

Однажды вечером я получил телеграмму, вызывавшую меня в Кельн к больному на консультацию, за которой могла последовать серьезная и трудная операция. Так как я должен был ехать на другой день, то побежал проститься с Жильбертой и объяснить ей, почему я не смогу прийти обедать к моим будущим тестю и теще в среду, а приду только в пятницу, в день возвращения. Ох, берегись пятниц, уверяю тебя: это зловещие дни!

Когда я заговорил об отъезде, то заметил в ее глазах слезинки, но когда сказал о скором возвращении, она тотчас же захлопала в ладоши и воскликнула:

– Какое счастье! Привезите мне что-нибудь оттуда, какой-нибудь пустяк, просто что-нибудь на память, но только вещицу, выбранную для меня. Вы должны угадать, что доставит мне всего больше удовольствия, слышите? Я увижу, есть ли у вас воображение.

Она с минуту подумала, затем сказала:

– Я запрещаю вам тратить на это более двадцати франков. Мне хочется, сударь, чтобы меня тронуло ваше желание, ваша изобретательность, а вовсе не цена.

Затем, снова помолчав, она вполголоса сказала, опуская глаза:

– Если это вам обойдется недорого и если будет остроумно и тонко, я... я вас поцелую.

На другой день я был уже в Кельне. Дело касалось несчастного случая, ужасного случая, повергшего в отчаяние целую семью. Ампутация была необходима немедленно. Мне отвели помещение, где я жил почти взаперти; кругом я только и видел заплаканных людей, и это действовало на меня отупляюще, я оперировал умиравшего, который чуть не скончался у меня под ножом; я провел возле него две ночи, а затем, как только увидел некоторые шансы на выздоровление, приказал отвезти себя на вокзал.

Я ошибся временем, и мне предстояло целый час дожидаться. Я стал бродить по улицам, все еще думая о моем бедном больном, как вдруг ко мне подошел какой-то субъект.

Я не говорю по-немецки, а он не знал французского языка. Наконец я понял, что он предлагал мне мощи. Мысль о вещице на память для Жильберты пронизала мне сердце; я вспомнил ее фанатическую набожность. Вот мой подарок и найден! Я пошел за торговцем в магазин предметов церковного обихода и выбрал там «неполюшой кусочек останков отиннадцати тысяч тефственниц».

Мнимые мощи были заключены в восхитительную коробочку под старинное серебро, которая окончательно и решила мой выбор. Я положил вещицу в карман и сел в поезд. Приехав домой, я захотел еще раз взглянуть на свою покупку. Достал ее... Коробочка оказалась открытой, и мощи потерялись! Я как следует обшарил карман, вывернул его, но крошечная косточка, с половину булавки, исчезла.

Как тебе известно, дорогой аббат, особенно пылкой верой я не отличаюсь; у тебя хватает великодушия и дружбы относиться к моей холодности терпимо и не настаивать – в ожидании будущего, как ты говоришь; но уже в мощи, продаваемые торговцами благочестия, я, безусловно, не верю, и ты разделяешь мои решительные сомнения на этот счет. Итак, потеря этого крошечного кусочка бараньей косточки меня несколько не опечалила; я без труда раздобыл точно такой же и тщательно приклеил его внутри моего сокровища.

И я отправился к невесте.

Едва увидев меня, она бросилась ко мне навстречу, робея и смеясь:

– Что же вы мне привезли?

Я притворился, что забыл об этом, она не поверила. Я заставил ее просить, даже умолять, и

когда увидел, что она умирает от любопытства, подал ей священный медальон. Она замерла в порыве радости.

– Мощи! О, мощи!

И страстно поцеловала коробочку. Мне стало стыдно за свой обман.

Но вдруг ею овладело беспокойство, тотчас же перешедшее в ужасную тревогу. Глядя мне прямо в глаза, она спросила:

– А вы уверены в том, что они настоящие?

– Совершенно уверен.

– Почему?

Я попался. Признаться, что косточка была куплена у уличного торговца, значило погубить себя. Что же сказать? Безумная мысль пронеслась у меня в мозгу, и я ответил, понизив голос, с таинственной интонацией:

– Я украл их для вас.

Она взглянула на меня огромными глазами, изумленными и полными восторга.

– О, вы украли их!.. Где же?

– В соборе, из раки с останками одиннадцати тысяч девственниц, – сказал я.

Сердце ее сильно билось; от счастья она была почти без чувств и пролепетала:

– О, вы сделали это... ради меня... Расскажите же... расскажите мне все!

Все было кончено, отступить я не мог. Я сочинил фантастическую историю с точными и захватывающими подробностями. Я дал сто франков сторожу, чтобы осмотреть собор одному; раку в это время ремонтировали; но я попал в тот самый час, когда рабочие и причт завтракали; приподняв какую-то створку, которую я затем тотчас же тщательно приладил на место, я успел выхватить оттуда (о, совсем крошечную!) косточку из множества других (я говорю «множества», думая о том, сколько же должно быть останков у одиннадцати тысяч скелетов девственниц). Затем я отправился к ювелиру и купил достойную оправу для мощей.

Я не отказал себе в удовольствии упомянуть ей мимоходом, что медальон обошелся мне в пятьсот франков.

Но она и не думала об этом; она слушала меня трепеща, в экстазе. Она прошептала: «Как я вас люблю!» – и упала в мои объятия.

Заметь: я совершил из-за нее кощунство – я украл; я осквернил церковь. Осквернил раку; осквернил и украл святые мощи. За это она обожала меня, находила меня нежным, идеальным, божественным. Такова женщина, дорогой аббат, такова вся женщина.

В течение двух месяцев я был самым восхитительным из всех женихов. Она устроила нечто вроде великолепной часовни, чтобы водворить там частицу котлетной косточки, побудившую меня, как она верила, пойти на такое дивное преступление во имя любви; и она ежедневно замирала в восторге перед ней утром и вечером.

Я просил ее хранить тайну, боясь, как я говорил, что меня могут арестовать, осудить, выдать Германии. Она сдержала слово.

Но вот в начале лета ее охватило безумное желание увидеть место моего подвига. Она так долго и так усердно упрашивала отца (не открывая ему тайной причины), что он повез ее в Кельн, скрыв от меня, по желанию дочери, эту поездку.

Мне нечего тебе говорить, что внутрь собора я и не заходил. Я не знаю, где находится гробница (если она только существует) одиннадцати тысяч девственниц. Увы! По-видимому, гробница эта неприступна.

Неделю спустя я получил от нее десять строк, возвращавших мне слово, и объяснительное письмо от отца, задним числом посвященного в тайну.

При виде раки она сразу поняла мой обман, мою ложь, но в то же время и мою истинную невиновность. Когда она спросила у хранителя мощей, не было ли тут когда-нибудь кражи, тот расхохотался, доказывая всю неосуществимость подобного покушения.

И вот с той минуты, когда оказалось, что я не совершил взлома в священном месте, не погрузил богохульственной руки в чтимые останки, я более не был достоин моей белокурой и утонченной невесты.

Мне отказали от дома. Тщетно я просил, молил; ничто не могло растрогать набожную красавицу.

С горя я заболел.

На прошлой неделе ее кухня, которая одновременно приходится кухней и тебе, госпожа д'Арвиль, попросила меня зайти к ней.

Я могу быть прощен на следующих условиях. Я должен привезти мощи какой-нибудь девственницы или мученицы, но настоящие, доподлинные, засвидетельствованные нашим святейшим отцом папой.

Я готов сойти с ума от затруднений и беспокойства.

В Рим я поеду, если нужно. Но не могу же я явиться к папе и рассказать ему о своем дурацком приключении. Да я и сомневаюсь, чтобы подлинные мощи доверялись частным лицам.

Не можешь ли ты дать мне рекомендацию к кому-либо из кардиналов или хотя бы к кому-нибудь из французских прелатов, владеющих останками какой-либо святой? И нет ли у тебя самого в твоих коллекциях требуемого драгоценного предмета?

Спаси меня, дорогой аббат, и я обещаю тебе обратиться десятью годами раньше!

Госпожа д'Арвиль горячо принимает все это к сердцу, и она сказала мне:

– Бедной Жильберте никогда не выйти замуж.

Мой старый товарищ, неужели ты допустишь, чтобы твоя кухня умерла жертвой глупой проделки? Умоляю тебя, помешай ей стать одиннадцать тысяч первой девственницей.

Прости меня, я недостойный человек; но я обнимаю и люблю тебя от всего сердца.

Твой старый друг

Анри Фонталь.

КРОВАТЬ

Однажды прошлым летом, в знойный послеполуденный час, огромный аукционный зал, казалось, погрузился в дремоту, и оценщики объявляли о покупках умирающими голосами. В углу одного из залов второго этажа лежала куча старинных церковных облачений.

Там были торжественные мантии и очаровательные ризы с вышитыми вокруг символических букв на пожелтелом шелковом фоне гирляндами, который стал кремовым из белого, каким был когда-то.

Присутствовало несколько барышников, двое или трое мужчин с грязными бородами и дородная толстобрюхая женщина, одна из так называемых торговек нарядами, а на самом деле советчица и укрывательница запретной любви, торгующая столько же молодым и старым человеческим телом, сколько новыми и старыми тряпками.

Стали продавать прелестную ризу эпохи Людовика XV, красивую, как платье маркизы, хорошо сохранившуюся, с гирляндой ландышей вокруг креста, с длинными голубыми ирисами, поднимавшимися до самого подножия священной эмблемы, и венками роз по углам. Купив ризу, я заметил, что она еще хранит чуть слышное благоухание, словно пропитавшись ладаном или, вернее, еще тая в себе легкие и сладостные ароматы былого, которые кажутся уже не запахом, а воспоминанием о запахе, душою испарившихся благовоний.

Придя домой, я хотел накрыть ею маленький стул той же восхитительной эпохи, но, примеряя ее, ощутил вдруг под пальцами шуршание бумаги. Когда я подпорол подкладку, к моим ногам упало несколько писем. Они пожелтели от времени, а выцветшие чернила казались ржавчиной. На сложенном по-старинному листе было начертано тонким почерком:

«Господину аббату д'Аржансэ».

В первых трех письмах просто назначались свидания. А вот четвертое:

Друг мой, я больна, совсем изнемогаю и не встаю с постели. Дождь стучит мне в стекла, и, лежа в тепле согревающих меня пуховиков, я лениво мечтаю. Со мною одна книга, которую я люблю и которую как будто отчасти написала я сама. Назвать ли вам ее заглавие? Нет. Вы станете

бранить меня. Почитав, я отдаюсь думам, и мне хочется вам кое о чем рассказать.

Под спину мне подложили подушки; они поддерживают меня, и я, сидя, пишу вам на том маленьком пюпитре, который вы мне подарили.

Так как я три дня не покидаю своей кровати, то о кровати я и думаю, продолжая возвращаться к ней мыслью даже во сне.

Кровать, друг мой, – это вся наша жизнь. На ней рождают, на ней любят, на ней умирают.

Если бы я обладала пером господина де Кребийльона, я написала бы историю какой-нибудь кровати. Сколько потрясающих, ужасных приключений, но зато сколько приключений красивых и нежных! Сколько назидательных уроков можно извлечь из нее, сколько поучительных рассказов для всех!

Вы знаете мою кровать, друг мой. Вы никогда не сможете представить себе, сколько всего открыла я в ней за эти три дня и как возросла моя любовь к ней. Она кажется мне обитаемой, посещаемой, если можно так выразиться, вереницею людей, о которых я и не подозреваю, но которые тем не менее оставили в ней нечто от самих себя.

О, я не понимаю тех, кто покупает кровати новые, кровати без воспоминаний! Моя, наша кровать, такая старая, такая подержанная и просторная, должна хранить память о стольких жизнях – от рождения до могилы. Подумайте об этом, друг мой, подумайте обо всем; вспомните, сколько поколений прошло между этими четырьмя колонками, под этим балдахином, вышитым фигурками, натянутым над нашими головами и столько всего перевидавшим. Чему только не был он свидетелем за три века, пока он там!

Вот распростертая молодая женщина. Время от времени у нее вырывается вздох, потом она стонет; ее окружают старики, родные; и вот на свет появляется маленькое, скрюченное, сморщенное существо, мяукающее, как котенок. Так начинается человеческая жизнь. Она, молодая мать, чувствует себя страдающе-радостной; она замирает от счастья при первом крике ребенка и задыхается, и протягивает к нему руки; и все вокруг плачут от радости, потому что этот маленький комочек живого тела, отделившийся от нее, – это продолжение семьи, продолжение крови, сердца и души стариков, которые с трепетом глядят на него.

Вот впервые двое любящих очутились телом к телу в этой скинии жизни. Они трепещут, но, охваченные восторгом, сладостно упоены своей близостью, и уста их постепенно сближаются. Их соединяет поцелуй, божественный поцелуй – дверь в земной рай, поцелуй, который поет о людских наслаждениях, сулит их всегда, возвещая их и предвосхищая. И кровать колыхается, как взволнованное море, вгибается и рокошет, и сама кажется одушевленной, радостной, ибо на ней свершается пьянящее таинство любви. Что может быть в нашем мире слаще, совершеннее этих объятий, сливающихся воедино два существа и дарующих в этот момент каждому из них одну и ту же мысль, одно и то же ожидание, одну и ту же безумную радость, которая сходит на них, как всепожирающее небесное пламя!

Помните ли стихи, которые вы мне читали в прошлом году, стихи какого-то старого поэта, не знаю чьи, может быть, нежного Ронсара?

Если ляжем на кровать
И сплетемся, – нам под стать
Все восторги, как бывалым
Тем любовникам, чья страсть
Перепробует – и всласть –
Сто затей под одеялом.

Мне хотелось бы вышить эти стихи на балдахине моей кровати, с которого Пирам и Тисба без устали глядят на меня своими вытканными глазами.

А вспомните о смерти, друг мой, о всех тех, кто испустил последний вздох на этой кровати. Ведь она также и могила конченных надежд, все закрывающая дверь, после того как она была вратами, отверзающими мир. Сколько воплей, сколько страха, страданий, ужасного отчаяния, предсмертных стонов, простертых к былому рук, навеки смолкших призывов счастья, сколько судорог,

хрипов, гримас, перекошенных ртов, закатившихся глаз видела эта кровать, где я вам пишу, сколько их видела она за три века, в течение которых простирала над людьми свой кров!

Кровать, вдумайтесь в это, – символ жизни; я догадалась об этом только три дня назад. Нет ничего более значительного, чем наша кровать.

И не является ли сон лучшим из мгновений нашей жизни?

Но здесь также страдают! Ложе – прибежище больных, место страданий износившейся плоти.

Кровать – это человек. Господь наш Иисус Христос, дабы доказать, что в нем не было ничего человеческого, никогда, кажется, не нуждался в кровати. Он родился на соломе и умер на кресте, предоставив слабым существам, вроде нас, это ложе изнеженности и отдыха.

Сколько еще других мыслей пришло мне в голову! Но некогда их записывать, да разве все их вспомнишь! И потом, я уже так устала, что хочу вытащить подушки из-за спины, протянуться всем телом и уснуть.

Приходите навестить меня завтра в три часа; быть может, я буду лучше себя чувствовать и смогу вам это доказать.

Прощайте, друг мой, вот вам для поцелуя мои руки: вот вам также и губы.

СУМАСШЕДШИЙ?

Сумасшедший ли я? Или только ревную? Не знаю, но я страдал жестоко. Я совершил безумный поступок, акт яростного безумия. Это так; но душившая меня ревность, но восторженная, преданная и поруганная любовь, но отвратительная боль, которую я испытываю, – разве всего этого недостаточно, чтобы побудить нас совершать преступления и безумства, хотя бы мы и не были на самом деле преступниками ни сердцем, ни умом?

О, я страдал, страдал, страдал – долго, мучительно, ужасно. Я любил эту женщину с неистовой страстью... И, однако, верно ли это? Любил ли я ее? Нет, нет, нет! Она овладела моей душой и телом, захватила меня, связала. Я был и остался ее вещью, ее игрушкой. Я принадлежу ее улыбке, ее губам, ее взгляду, линиям ее тела, овалу ее лица; я задыхаюсь под игом ее внешности, но она, обладательница этой внешности, душа этого тела, мне ненавистна, гнусна, и я всегда ее ненавижу, презирал и гнушался ею. Потому что она вероломна, похотлива, нечиста, порочна; она женщина погибели, чувственное и лживое животное, у которого нет души, у которого никогда нет мысли, подобной вольному, животворящему воздуху; она человек-зверь, и хуже того: она лишь утроба, чудо нежной и округлой плоти, в котором живет Бесчестие.

Первое время нашей связи было странно и упоительно. В ее вечно раскрытых объятиях я исходил яростью ненасытного желания. Ее глаза, как бы вызывая во мне жажду, заставляли меня раскрывать рот. В полдень они были серые, в сумерки – зеленоватые и на восходе солнца – голубые. Я не безумец: клянусь, что у них были эти три цвета.



В часы любви они были синие, изнемогающие, с расширенными зрачками. Из ее судорожно трепетавших губ высовывался порою розовый, влажный кончик языка, дрожавший, как жало змеи, а ее тяжелые веки медленно поднимались, открывая жгучий и замирающий взгляд, сводивший меня с ума.

Сжимая ее в объятиях, я вглядывался в ее глаза и дрожал, томясь желанием убить этого зверя и необходимостью обладать ею непрерывно.

Когда она ходила по моей комнате, то каждый ее шаг потрясал мое сердце, а когда она начала раздеваться, сбрасывала платье и появлялась, бесстыдная и сияющая, из волн белья, падавшего у ее ног, я ощущал во всех членах, в руках и ногах, в тяжело дышавшей груди бесконечную и подлую порабощенность.

В один прекрасный день я увидел, что она пресытилась мною. Я заметил это по ее глазам при пробуждении. Склонившись над нею, я каждое утро с нетерпением ждал ее первого взгляда. Я ожидал его, полный злобы, ненависти, презрения к этому спящему зверю, невольником которого я был. Но когда показывалась бледная лазурь ее зрачков, льющаяся, как вода, еще томная, еще усталая, еще измученная от недавних ласк, во мне мгновенно вспыхивало пламя, безудержно обостряя мой пыл. В этот же день, когда она раскрыла глаза, из-под ресниц на меня глянул угрюмый и безразличный взгляд, и в нем больше не было желания.

О, я увидел, почувствовал, узнал, тотчас же понял этот взгляд! Все было кончено, кончено навсегда. И доказательства этого попадались мне каждый час, каждое мгновение.

Когда я призывал ее объятиями и губами, она скучающе отворачивалась, шепча: «Оставьте же меня!» или: «Вы мне противны!» или: «Неужели мне никогда не будет покоя!»

Тогда я стал ревнивым. Но ревнивым, как собака, хитрым, недоверчивым, скрытным. Я отлично знал, что она скоро опять возьмется за старое, что на смену мне явится другой и зажжет ее чувства.

Я ревновал бешено; но я не сошел с ума, нет, конечно, нет.

Я ждал; о, я шпионил за нею, она не обманула бы меня; но она по-прежнему была холодная, сонливая. Порою она говорила: «Мужчины внушают мне отвращение». И это была правда.

Тогда я стал ее ревновать к ней самой; ревновать к ее безразличию, ревновать к одиночеству

ее ночей; ревновать к ее жестам, к ее мыслям, которые всегда казались мне бесчестными, ревновать ко всему, о чем я догадывался. И когда я порой замечал у нее по утрам тот влажный взор, который бывал когда-то после наших пылких ночей, словно какое-то вожделение опять всколыхнуло ее душу и возбудило ее желания, я задыхался от гнева, дрожал от негодования, от неутолимой жажды задушить ее, придавить коленом и, сдавливая ей горло, заставить покаяться во всех постыдных тайнах ее души.

Сумасшедший ли я? Нет.

Но вот однажды вечером я почувствовал, что она счастлива. Я почувствовал, что какая-то новая страсть трепетала в ней. Я был в этом уверен, непоколебимо уверен. Она вздрагивала, как после моих объятий; ее глаза горели, руки были горячие, от всего ее трепетавшего тела исходил тот любовный хмель, который доводил меня до безумия.

Я притворялся, что ничего не замечаю, но внимание мое опутало ее как сетью.

Тем не менее я ничего не открыл.

Я ждал неделю, месяц, несколько месяцев. Она расцветала непонятной страстью и замирала в блаженстве неуловимой ласки.

И вдруг я догадался! Я не сумасшедший! Клянусь, что я не сумасшедший!

Как это высказать? Как заставить себя понять? Как выразить эту отвратительную и непостижимую вещь?

Вот каким образом все стало мне известно.

Однажды вечером, как я сказал, вернувшись домой после длинной прогулки верхом, она упала на низкий стул против меня; ее щеки пылали, сердце сильно колотилось, взор был изнемогающий, и она едва держалась на ногах. Я знал ее такую! Она любила! Я не мог ошибиться!

Теряя голову и чтобы больше не смотреть на нее, я отвернулся к окошку и увидел лакея, отводившего под уздцы в конюшню ее сильного коня, вздымавшегося на дыбы.

Она также провожала взглядом горячего, рвавшегося жеребца. А когда он исчез, она сразу же заснула.

Я продумал всю ночь, и мне показалось, что я проникаю в тайны, которых никогда не подозревал. Кто сможет измерить когда-нибудь всю извращенность женской чувственности? Кто поймет женщин, их невероятные капризы, странное утоление ими самых странных фантазий?

Каждое утро с рассвета она галопом носилась по долинам и лесам, и каждый раз возвращалась истомленная, словно после неистовств любви.

Я понял! Я ревновал ее теперь к сильному, быстрому жеребцу; ревновал к ветру, ласкавшему ей лицо, когда она мчалась в безумном галопе; ревновал к листьям, целовавшим на лету ее уши; к каплям солнца, падавшим ей на лоб сквозь ветки деревьев; ревновал к седлу, на котором она сидела, плотно прижавшись к нему бедром.

Все это делало ее счастливой, возбуждало, насыщало, истомляло и затем возвращало ее мне бесчувственной и почти в обмороке.

Я решил отомстить. Я стал кроток и полон внимания к ней. Я подавал ей руку, когда она соскакивала на землю, возвращаясь после своих необузданных поездок. Бешеный конь бросался на меня; она похлопывала его по выгнутой шее, целовала трепетавшие ноздри, не отирая после этого губ; и аромат ее тела, всегда в поту, как после жаркой постели, смешивался в моем обонянии с острым звериным запахом животного.

Я ждал своего часа. Каждое утро она проезжала по одной и той же тропинке в молодой березовой роще, уходившей в лес.

Я вышел до рассвета, с веревкою в руке и парой спрятанных на груди пистолетов, словно собираясь драться на дуэли.

Я бегом направился к ее излюбленной тропинке, натянул веревку между двумя деревьями и спрятался в траве.

Припав ухом к земле, я услышал его далекий галоп, затем вдали увидел и его самого, несшегося во весь опор под листвой, как бы в конце какого-то свода. Нет, я не ошибся: это было то самое! Она казалась вне себя от радости, кровь прилила к ее щекам, во взоре было безумие; нервы ее трепетали в одиноком и неистовом наслаждении от стремительной быстроты скачки.

Животное зацепилось за мою преграду передними ногами и рухнуло на землю, ломая себе кости. Ее же я подхватил на руки. Я так силен, что могу поднять и вола. Затем, когда я спустил ее на землю, то приблизился к нему – а он глядел на нас, – и в ту минуту, когда он попытался укусить меня, я вложил ему в ухо пистолет, и застрелил его... как мужчину.

Но тут я тоже упал – лицо мое рассекли два удара хлыста, и когда она снова бросилась на меня, я выпустил второй заряд ей в живот. Сумасшедший ли я, скажите?

ПРОБУЖДЕНИЕ

Вот уже три года, как она вышла замуж и не покидала долины Сирэ, где у ее мужа были две прядильни. Она жила спокойно, счастливо, без детей, в своем домике, спрятавшемся под деревьями и прозванном рабочими «замком».

Муж, господин Вассер, гораздо старше ее, был очень добр. Она любила его, и никогда ни одно преступное желание не проникало в ее сердце. Мать ее приезжала каждое лето в Сирэ, а затем возвращалась обратно в Париж на зиму, когда начинали падать листья.

Каждую осень Жанна немного кашляла. Узкая долина, по которой змеилась речка, погружалась в туман на целых пять месяцев. Сначала над лугами носило легкий пар, отчего долина становилась похожей на большой пруд с выплывавшими из него крышами домов. Затем это белое облако, поднимаясь подобно морскому приливу, охватывало все, превращало долину в страну призраков, обитатели которой скользили, как тени, не узнавая в десяти шагах друг друга. Окутанные туманом деревья высились, заплесневев от сырости.

Но те, кому случалось проходить по соседним холмам и смотреть на белое углубление долины, видели, как из тумана, скопившегося на уровне холмов, высились две высоких трубы фабрик господина Вассера, и из них день и ночь поднимались к небу две змеи черного дыма.

Только одно это и указывало, что в этой впадине, казалось, заполненной облаком ваты, все-таки жили люди.

И вот в этом году, когда наступил октябрь, доктор посоветовал молодой женщине провести зиму у матери в Париже: климат долины становился опасным для ее легких.

Она уехала.

Первые месяцы она беспрестанно думала о покинутом доме, к которому уже так привыкла, где она любила свою обстановку и спокойное течение дней. Но мало-помалу она сжилась с новой жизнью и вошла во вкус праздников, обедов, вечеров и танцев.

В ее манерах до сих пор сохранялось что-то девичье, что-то неопределенное и сонливое – немного вялая походка, немного усталая улыбка. Теперь же она стала оживленной, веселой, всегда готовой к всевозможным удовольствиям. Мужчины ухаживали за нею. Она забавлялась их болтовнёю, играла их поклонением, чувствуя себя способной противостоять им и немного разочарованной в любви, какой узнала ее в брачной жизни.

Мысль отдать свое тело грубым ласкам этих бородатых существ заставляла ее хохотать от жалости и слегка вздрагивать от отвращения. Она с изумлением спрашивала себя, как могли женщины соглашаться на эти унижительные сближения с посторонними мужчинами, если их и без того принуждали к этому мужья. Она любила бы своего супруга гораздо нежнее, если бы они жили как двое друзей, ограничиваясь целомудренными поцелуями, этими ласками душ.

Но ее немало забавляли комплименты, загоравшиеся в глазах и не разделяемые ею желания, прямые нападения, нашептываемые на ухо любовные признания после тонкого обеда, когда переходят из столовой в гостиную. Эти слова, произносимые так тихо, что их приходилось скорее угадывать, оставляли ее плоть холодной, а сердце спокойным и щекотали лишь ее бессознательное кокетство, но от них в ее душе загоралось пламя удовлетворения, расцветала на губах улыбка, блеснул ее взгляд, трепетала ее женская душа, принимающая поклонение как должное.

Она любила беседы с глазу на глаз, в сумерках, у камина, когда в гостиной уже темнеет и мужчина делается настойчивым, лепечет, дрожит и падает на колени. Для нее было изысканною и новою радостью чувствовать эту страсть, которая ее не задевала, говорить «нет» головой и губами, отнимать руки, вставать и хладнокровно звонить, приказывая зажечь лампы, и видеть, как тот, кто

дрожал у ее ног, поднимается в смущении и ярости, заслышав шаги лакея.

Она умела смеяться сухим смешком, замораживавшим пыльные речи, знала жесткие слова, которые, как струя ледяной воды, обрушивались на жаркие уверения, знала интонации, заставлявшие человека, без памяти влюбленного в нее, думать о самоубийстве.

Двое молодых людей преследовали ее особенно упорно. Они ничем не походили друг на друга.

Один из них, господин Поль Перонель, был вполне светский молодой человек, любезный и смелый, человек удачи, умеющий ждать и выбирать подходящий момент.

Другой, господин д'Авансель, подходя к ней, трепетал, едва осмеливался признаться ей в любви, но следовал за нею как тень, выражая отчаявшееся желание безумными взглядами и упорством своего присутствия возле нее.

Первого она прозвала «Капитан Фракас», а второго «Верный барашек» и превратила его в конце концов в своего раба, ходившего за нею по пятам и прислуживавшего ей точь-в-точь как слуга.

Она расхохоталась бы, если бы ей сказали, что она сможет полюбить его.

А между тем она его полюбила, но по-особому. Видя его постоянно, она привыкла к его голосу, к его движениям, ко всем его манерам, как привыкают к тем, вблизи кого постоянно живут.

Часто в сновидениях его образ посещал ее; она видела его таким, каким он был в жизни; мягким, деликатным, смиренно-страстным; она пробуждалась, преследуемая воспоминанием об этих снах, как бы продолжая слушать его и чувствовать около себя. Однажды ночью (быть может, у нее была лихорадка) она увидела себя с ним наедине, в маленькой рощице, где они сидели на траве.

Он говорил чарующие слова, сжимая и целуя ей руки. Она чувствовала теплоту его кожи, его дыхание и ласково гладила его волосы.

Во сне бываешь совсем иным, чем в жизни. Она ощущала в себе огромную нежность к нему, спокойную и глубокую нежность и была счастлива тем, что прикасается к его лбу и находится возле него.

Мало-помалу он обнимал ее, целовал ей щеки и глаза, и она ничуть не пыталась избежать этого, затем их губы встретились. Она отдалась.

Это был миг (в жизни не бывает таких восторгов) сверхострого и сверхчеловеческого счастья, идеального и чувственного, пьянящего, незабываемого.

Она проснулась дрожа, взволнованная, и не могла заснуть, настолько чувствовала себя опьяненной и все еще в его объятиях.

Когда она снова увидела его, не ведающего о том, какое он вызвал волнение, она почувствовала, что краснеет, и пока он робко говорил ей о своей любви, она все время вспоминала, не будучи в силах избавиться от этого, сладостные объятия своего сна.

Она полюбила его, полюбила странную любовью, утонченную и чувственную, создавшейся, главным образом, из воспоминаний об этом сне, и в то же время боялась пойти навстречу пробудившемуся в ее душе желанию.

Наконец он заметил это. И она призналась ему во всем, вплоть до того, как боялась его поцелуев. Она взяла с него клятву, что он будет ее уважать.

И он уважал ее. Они проводили вместе долгие часы в восторгах возвышенной любви, когда сливаются только души, и затем расставались, распаленные, измученные, обессиленные.

Иногда губы их соединялись, и, закрыв глаза, они вкушали эту долгую, но целомудренную ласку.

Она поняла, что не сможет противиться долго, и, не желая пасть, написала мужу, что собирается вернуться к нему и возобновить свою спокойную, уединенную жизнь.

Он отвечал превосходным письмом, отговаривая ее возвращаться в разгар зимы, чтобы не подвергнуть себя резкой перемене климата, ледяным туманам долины.

Она была подавлена и негодовала на этого доверчивого человека, не понимавшего, не почувствовавшего борьбы в ее сердце.

Февраль был ясный и теплый, и хотя она теперь избегала долго оставаться наедине с «Верным барашком», но порою соглашалась совершить с ним в сумерках прогулку в карете вокруг озера.

В этот вечер, казалось, пробудились все соки земли – так теплы были дуновения воздуха. Маленькая карета ехала шагом; спускалась ночь; прижавшись друг к другу, они сплели руки. «Кончено, кончено, я погибла», – твердила она себе, чувствуя, как в ней поднималось желание, властная потребность того последнего объятия, которое она так полно испытала во сне. Их губы ежеминутно искали друг друга, сливались и размыкались, чтобы тотчас же встретиться вновь.

Он не посмел проводить ее к ней и оставил ее, обезумевшую и изнемогавшую, у дверей.

Господин Поль Перонель ждал ее в маленькой неосвещенной гостиной.

Дотронувшись до ее руки, он почувствовал, что ее сжигала лихорадка. Он заговорил вполголоса, нежно и любезно, баюкая эту истомленную душу прелестью любовных признаний. Она слушала его в какой-то галлюцинации, не отвечая, мечтая о том, другом, думая, что слышит другого, представляла себе, что это он близ нее. Она видела лишь его, помнила, что на свете существует только он один, и когда ее слух затрепетал при этих трех словах: «Я люблю вас», – то их говорил и целовал ее пальцы тот другой. Это он сжимал ее грудь, как только что в карете, это он осыпал ее губы победными поцелуями, это его она обнимала, стискивала, призывала всем порывом своего сердца, всем неистовым пылом своего тела.

Когда она пробудилась от этого сна, у нее вырвался ужасный крик.

«Капитан Фракас», стоя на коленях перед нею, страстно благодарил ее, покрывая поцелуями ее распустившиеся волосы. Она закричала:

– Уходите, уходите, уходите!

И так как он не понимал и пытался снова обнять ее талию, она вырвалась, лепеча:

– Вы низкий человек, я вас ненавижу, вы меня обокрали, уходите!

Он встал, ошеломленный, взял шляпу и вышел.

На другой день она вернулась в долину Сирэ. Изумленный муж упрекнул ее в упрямстве.

– Я не могла дольше жить вдали от тебя, – сказала она.

Он нашел, что она изменилась, стала более печальной, чем прежде, и спросил:

– Что с тобою? У тебя несчастный вид. Чего бы тебе хотелось?

Она ответила:

– Ничего. В жизни хороши только сны.

«Верный барашек» приехал навестить ее на следующее лето.

Она встретила его без волнения и без сожаления, поняв вдруг, что никогда его не любила, кроме одного мига во сне, от которого ее так грубо пробудил Поль Перонель.

А молодой человек, по-прежнему продолжавший обожать ее, думал, возвращаясь домой: «Женщины – поистине причудливые, сложные и необъяснимые существа».

ХИТРОСТЬ

Старый доктор и молодая его пациентка болтали у камина. Она чувствовала лишь одно из тех легких недомоганий, какие нередки у хорошеньких женщин, – небольшое малокровие, нервы, намек на усталость, на ту усталость, которую испытывают иногда молодожены к концу первого месяца брака, если женятся по любви.

Лежа на шезлонге, она говорила:

– Нет, доктор, я никогда не пойму, как может женщина обманывать мужа. Я допускаю даже, что она может не любить его и совершенно не считаться со своими обещаниями и клятвами! Но как посмеешь отдаться другому человеку? Как скрыть это от глаз света? Как можно любить среди лжи и измены?

Доктор улыбался:

– Ну, это нетрудно. Уверю вас, об этих мелочах вовсе и не думают, когда охватывает желание пасть. Я уверен даже, что женщина созревает для настоящей любви, только пройдя через всю интимность и все отрицательные стороны брака, который, по выражению одного знаменитого че-

ловека, не что иное, как обмен дурными настроениями днем и дурными запахами ночью. Это очень верно. Женщина может полюбить страстно, лишь побывав замужем. Если бы я посмел сравнить ее с домом, я бы сказал, что в нем можно жить лишь после того, как муж осушит там штукатушку. Что же касается умения притворяться, то женщинам этого не занимать. Самые недалекие из них бывают изумительны и гениально выпутываются из труднейших положений.

Но молодая женщина, казалось, не верила...

– Нет, доктор, женщины только потом соображают, что следовало бы им сделать в опасных обстоятельствах, и, разумеется, способны терять голову гораздо более, чем мужчины.

Доктор развел руками.

– Только потом, говорите вы? Это у нас, у мужчин, вдохновение является только потом. Но вы!.. Да вот я расскажу вам маленькое происшествие, случившееся с одной из моих пациенток, которой я мог бы, как говорится, дать причастие без исповеди.

Это случилось в одном провинциальном городе.

Однажды вечером, когда я спал тем глубоким и тяжелым первым сном, от которого так трудно пробудиться, мне показалось в каком-то неотчетливом сновидении, что на всех городских колокольнях бьют в набат.

Я сразу проснулся: это звонил, и отчаянно, колокольчик у моей входной двери. Так как слуга не отзывался, я тоже дернул шнурок, висевший у кровати; вскоре захлопали дверями, шум шагов нарушил тишину спавшего дома, и появился Жан, держа в руке записку, гласившую: «Госпожа Лельевр убедительно просит господина доктора Симеона пожаловать к ней немедленно».

Несколько секунд я размышлял, но решил: «Что-нибудь вроде нервов, какой-нибудь каприз, какая-нибудь ерунда, нет, я слишком утомлен». И я ответил: «Чувствуя сильное нездоровье, доктор Симеон просит госпожу Лельевр позвать к себе его коллегу, господина Бонне».

Затем я положил записку в конверт, отдал ее и снова заснул. Полчаса спустя колокольчик с улицы затрезвонил снова, и Жан доложил:

– Там кто-то опять, не то мужчина, не то женщина – не разберу, уж очень закутан, – желает видеть вас, сударь, и немедленно. Говорит, что дело касается жизни двух людей.

Я приподнялся:

– Пусть войдут.

Я ждал, сидя в постели.

Появился какой-то черный призрак, который тотчас по выходе Жана из комнаты открыл свое лицо. То была госпожа Берта Лельевр, молоденькая женщина, три года назад вышедшая замуж за крупного местного торговца, про которого пошла молва, что он женился на самой красивой девушке во всей округе.

Она была ужасно бледна, лицо ее подергивалось, как у человека, теряющего разум, руки дрожали; два раза собиралась она заговорить, но ни один звук не вылетал из ее рта. Наконец она пролепетала:

– Скорее, доктор... скорей... Едемте... Мой... мой... любовник умер у меня в спальне...

Она замолчала, задышавшись, затем добавила:

– А муж... должен сейчас... вернуться из клуба...

Я вскочил с постели, не подумав даже, что был в одной рубашке, и оделся в несколько секунд. Затем я спросил:

– Это вы сами только что приходили?

Окаменев от ужаса и стоя неподвижно, как статуя, она прошептала:

– Нет... это моя служанка... Она знает...

Затем, помолчав, прибавила:

– Я оставалась... подле него.

Вопль ужасной боли вырвался вдруг из ее уст, затем удушье сжало ей горло, и она заплакала, отчаянно и судорожно рыдая минуту или две; но слезы внезапно остановились, иссякли, словно осушенные внутренним огнем, и, снова став трагически спокойной, она сказала:

– Поедемте скорей!

Я был готов, но воскликнул:

– Черт возьми, я не приказал заложить карету!

Она отвечала:

– У меня его карета. Она дожидалась его.

Она снова закутала себе все лицо. Мы поехали.

Очутившись рядом со мной во мраке экипажа, она резко схватила меня за руку, сжала ее своими тонкими пальцами и пролепетала запинаясь, словно ей мешали говорить перебои разрывающегося сердца:

– О, если бы вы знали, если бы вы знали, как я страдаю! Я любила его, любила без памяти, как сумасшедшая, шесть месяцев.

Я спросил:

– Проснулся ли кто-нибудь у вас в доме?

Она отвечала:

– Никто, за исключением Розы; ей все известно.

Остановились у подъезда; в доме действительно все спали; мы вошли без шума, открыв дверь запасным ключом, и поднялись по лестнице на цыпочках. Служанка, растерянная, сидела на верхней ступеньке; возле нее, на полу, стояла зажженная свеча, она побоялась остаться возле покойника.

Я вошел в комнату. Все в ней было вверх дном, как после драки. Измятая, разваленная и неприбранная постель оставалась открытой и, казалось, кого-то ждала; одна простыня свесилась на ковер; мокрые салфетки, которыми молодому человеку терли виски, валялись на полу около таза и стакана. Запах уксуса, смешанный с духами Любэна, вызывал тошноту уже на пороге комнаты.

Вытянувшись во весь рост, на спине, посреди комнаты лежал труп.

Я подошел, взглянул, потрогал его, открыл ему глаза, пощупал пульс; затем, обернувшись к обеим женщинам, дрожавшим, словно они замерзали, сказал:

– Помогите мне перенести его на кровать.

И его тихо положили туда. После этого я выслушал сердце, приблизил зеркало ко рту и прошептал:

– Все кончено, давайте поскорее оденем его.

Это было ужасное зрелище!

Я брал одну за другой его руки и ноги, словно члены тела огромной куклы, и натягивал на них одежду, подаваемую мне женщинами. Мы надели на него носки, кальсоны, брюки, жилет, затем сюртук; стоило немало труда просунуть его руки в рукава.

Когда надо было застегивать башмаки, обе женщины опустили на колени, а я светил им; ноги немного опухли, и обувь их было невероятно трудно. Не найдя крючка, женщины вынули из своих волос шпильки.

Когда это страшное одевание было закончено, я взглянул на нашу работу и сказал:

– Надо его немного причесать.

Горничная принесла щетку и гребенку своей госпожи; но так как руки у нее дрожали и она произвольными движениями вырывала длинные спутанные пряди волос, то госпожа Лельевр выхватила у нее гребень и нежно пригладила прическу, словно лаская ее. Она сделала заново пробор, расчесала щеткой бороду, затем не спеша намотала на палец усы, как, без сомнения, привыкла делать ему, живому, в минуту любовной близости.

И вдруг, выронив из рук гребень и щетку, она схватила неподвижную голову своего любовника и долго с отчаянием смотрела на это мертвое лицо, которое ей больше не улыбалось; затем, упав на мертвеца, она крепко обняла его и стала неистово целовать. Поцелуи сыпались на его сомкнутый рот, на потухшие глаза, на виски, на лоб... Затем, прикинувшись к его уху, словно он еще мог ее слышать и словно собираясь шепнуть слово, рождающее самые пылкие объятия, она раз десять повторила раздирающим голосом:

– Прощай, любимый!

Часы пробили полночь.

Я вздрогнул:

– Черт возьми! Полночь – это время, когда запирается клуб. Задело, сударыня, поживее!

Она поднялась. Я приказал:

– Отнесем его в гостиную!

Мы подняли его втроем и перенесли; затем я посадил его на диван и зажег канделябры.

Наружная дверь отворилась и тяжело захлопнулась. То был он, уже! Я крикнул:

– Роза, принесите мне поскорее салфетки и таз и приберите спальню; скорей, скорей, ради бога! Господин Лельевр возвращается.

Я слышал, как шаги поднимались по лестнице, приближались. Руки в темноте шарили по стеклам. Тогда я крикнул:

– Сюда, мой друг, у нас тут несчастье!

Ошеломленный муж появился на пороге с сигарой во рту.

– Что такое? Что случилось? Что тут происходит? – спросил он.

Я подошел к нему.

– Друг мой, вы застаете нас в большом затруднении. Я засиделся, болтая с вашей женой и нашим другом, который привез меня в своей карете. Вдруг он сразу как-то сник и вот уже два часа, невзирая на все наши заботы, остается без сознания. Мне не хотелось звать других. Помогите же мне вынести его; я займусь им, когда он будет у себя.

Муж, удивленный, но без малейшего недоверия, снял шляпу, затем взял под мышки своего соперника, отныне уже безопасного. Я впрягся между его ног, как лошадь в оглобли, и мы спустились по лестнице, освещаемой женою.

Когда мы были в дверях, я поставил труп на ноги и заговорил с ним, подбадривая его, чтобы обмануть кучера:

– Ну же, дорогой друг, это пустяки; вы уже чувствуете себя лучше, не так ли? Мужайтесь, ну же, мужайтесь, еще маленькое усилие – и все будет кончено.

Чувствуя, что он сейчас упадет, что он выскальзывает у меня из рук, я сильно толкнул его плечом и таким образом продвинул его вперед, просунул в карету, куда затем вошел и сам.

Муж, обеспокоенный, спрашивал меня:

– Как вы думаете, это серьезно?

Я, улыбаясь, отвечал: «Нет» – и взглянул на жену.

Взяв под руку своего законного мужа, она пристально смотрела в темную глубину кареты.

Я пожал им руки и приказал кучеру ехать. Всю дорогу мертвец наваливался мне на правое плечо.

Когда мы приехали к нему, я объявил, что он по дороге потерял сознание. Я помог внести его в комнату, а затем констатировал смерть; мне пришлось разыграть целую новую комедию перед растерявшейся семьей. Наконец я добрался до своей постели, проклиная всех влюбленных на свете.

Доктор умолк, продолжая улыбаться.

Молодая женщина недовольно спросила:

– Зачем рассказали вы мне эту ужасную историю?

Он любезно поклонился:

– Чтобы при случае предложить вам свои услуги.

ВЕРХОМ

Бедные люди жили, перебиваясь кое-как, на скромное жалованье мужа. У них родилось двое детей, и стесненное положение первого времени превратилось в бедность, смиренную, скрытую и стыдливую бедность дворянской семьи, желающей, несмотря ни на что, сохранить известное общественное положение.

Гектор де Гриблен получил образование в провинции, в отцовском поместье, под руководством старого аббата. Жили там небогато, но все же внешне старались поддерживать приличный тон.

Затем, когда он достиг двадцати лет, ему приискали место, и он поступил в Морское министерство на полуторатысячный оклад. И на этом подводном камне он потерпел крушение, подобно всем тем, кто не подготовлен заблаговременно к жестокой жизненной борьбе, кто видит жизнь, как в тумане, кто незнаком ни со средствами успеха, ни со способами сопротивления, подобно всем тем, в ком не были развиты с детства особые дарования, или личные способности, или суровая энергия в борьбе, подобно всем тем, кому не вручили ни оружия войны, ни орудия труда.

Первые три года его службы были ужасны.

Разыскав некоторых друзей своей семьи, старых, отставших от жизни и тоже небогатых людей, которые проживали на дворянских улицах, на печальных улицах Сен-Жерменского предместья, он составил себе круг знакомых.

Чуждые современности, смиренные и гордые, эти обедневшие аристократы ютились в верхних этажах уснувших домов. Снизу доверху эти здания были населены титулованными жильцами, но деньги были, казалось, такою же редкостью во втором этаже, как и в седьмом.

Вечные предрассудки, заботы о своем общественном положении, боязнь уронить свое достоинство неотвязно преследовали эти семьи, некогда блестящие, теперь же разоренные из-за бездеятельности мужчин. В этом мирке Гектор де Гриблен встретил девушку, благородную и бедную, как он сам, и женился на ней.

За четыре года у них родилось двое детей.

В течение четырех следующих лет эта семья, измученная нуждой, не знала иных развлечений, кроме прогулок в Елисейские поля по воскресеньям и одного-двух вечеров зимою в театре по даровым билетам, предложенным кем-нибудь из сослуживцев.

Но вот однажды весной чиновнику была поручена начальником дополнительная работа, и он получил дополнительное вознаграждение в сумме трехсот франков.

Принеся эти деньги домой, он сказал жене:

– Дорогая Анриетта, мы должны разрешить себе какое-нибудь удовольствие, ну хоть прогулку за город с детьми.

После длинных обсуждений было решено отправиться в деревню завтракать.

– Ну один раз куда ни шло! – воскликнул Гектор. – Мы найдем брэк для тебя, детей и няни, а я возьму в манеже лошадь. Мне это будет очень полезно.

Всю неделю только и говорили о предполагаемой прогулке.

Каждый вечер Гектор, вернувшись со службы, брал старшего сына, сажал его к себе верхом на колено и говорил, высоко подбрасывая его:

– Вот как твой папа поскачет галопом на прогулке в воскресенье.

И мальчуган целый день садился верхом на стулья и возил их кругом по зале, крича:

– Это папа на лошадке.

Даже служанка смотрела на барина с восхищением при мысли, что он будет сопровождать верхом их коляску; и в течение каждого обеда она слушала его рассуждения о верховой езде, рассказы о прежних его подвигах в доме отца. О, он прошел хорошую школу, и раз уже сидит на лошади, то ничего не боится, ровно ничего!

Он повторял жене, потирая руки:

– Если бы мне дали лошадь немного погорячее, я был бы в восторге. Ты увидишь, как я поскачу, и если хочешь, мы вернемся через Елисейские поля ко времени разъезда из леса. Так как у нас будет вполне приличный вид, то я не прочь встретить кого-нибудь из министерства. Ничто так не вызывает уважения у начальства.

В назначенный день экипаж и верховая лошадь одновременно были поданы к подъезду. Гектор тотчас же спустился вниз, чтобы осмотреть своего коня. Он приказал подшить к брюкам штрипки и помахивал хлыстиком, купленным накануне.

Он поднял и ощупал одну за другой все четыре ноги животного, потрогал шею, круп, подколенки, испытующе провел рукой по бокам, открыл лошади рот, осмотрел зубы, определил возраст и, так как вся семья сошла вниз, прочел им маленькую теоретическую и практическую лекцию о лошадях вообще и, в частности, об этой, которую он признал отличной.

Когда все уселись в экипаж, он осмотрел подпругу, а затем, поднявшись на одно стремя, грохнулся на спину лошади, которая запрыгала под его тяжестью и чуть не сбросила всадника.

Взволнованный Гектор пытался ее успокоить:

– Ну, ну, тихо, милая, тихо.

Когда наконец лошадь успокоилась, а к седоку возвратился его апломб, Гектор произнес:

– Готовы?

Все ответили в один голос:

– Да.

Тогда он скомандовал:

– В дорогу!

И кавалькада двинулась.

Все взгляды были обращены на Гектора. Он ездил по-английски, преувеличенно подсакивая. Не успев опуститься на седло, он уже подпрыгивал вновь, точно желая взлететь в воздух. Часто казалось, что он вот-вот упадет на шею лошади; он ехал, уставившись в одну точку, с искаженным лицом и побледневшими щеками.

Жена его, держа одного из детей на коленях, и няня, у которой находился другой, беспрестанно повторяли:

– Смотрите на папу, смотрите на папу!

И оба мальчика, опьяненные движением, весельем и свежим воздухом, пронзительно визжали. Лошадь, испуганная этими криками, помчалась наконец галопом, и пока всадник старался ее остановить, шляпа его слетела на землю. Кучеру пришлось слезать за ней с козел, и когда Гектор получил ее от него, он крикнул жене:

– Не давай детям так кричать, а то лошадь меня понесет!

Завтракали на траве, в роще Везине, провизией, привезенной в корзинах.

Хотя кучер и заботился о всех трех лошадях, но Гектор вставал каждую минуту, чтобы посмотреть, не нуждается ли в чем-нибудь его конь, гладил его по шее, кормил хлебом, пирожками и сахаром.

– Это бедовый скакун, – заявил он жене. – Первое время он меня даже несколько порастряс, но ты видела, как скоро я оправился; он почуял хозяина и теперь больше дурить не будет.

Как и было решено, возвращались Елисейскими полями.

Широкая аллея кишмя кишела экипажами. Гуляющих по обеим сторонам было так много, что казалось – от Триумфальной арки до площади Согласия развевались две черные длинные ленты. Потоки солнца изливались на всю эту толпу, играя на лакированных колясках, на металлических частях упряжи, на ручках дверец.

Это скопище людей, экипажей и животных было как будто охвачено каким-то безумием движения, опьянением жизнью. А вдали, в золотой дымке, высился обелиск.

Как только лошадь Гектора миновала Триумфальную арку, она снова загорячилась и помчалась крупной рысью среди экипажей по направлению к конюшне, несмотря на все попытки всадника удержать ее.

Коляска оставалась теперь уже далеко-далеко позади, и вот у Дворца промышленности, увидев перед собою свободное пространство, лошадь повернула направо и понеслась галопом.

Какая-то старуха в переднике спокойным шагом переходила через дорогу; она оказалась как раз на пути Гектора, скакавшего во всю прыть. Не имея сил остановить лошадь, он стал кричать изо всей мочи:

– Эй! Эй! Берегись!

Старуха, должно быть, была глуха; она спокойно продолжала свой путь до той самой минуты, пока лошадь, летевшая, как локомотив, не ударила ее грудью и не отбросила на десять шагов в сторону, так что старуха трижды перекувырнулась с задравшимися юбками.

Послышались голоса:

– Остановите его!

Обезумевший Гектор вцепился в гриву лошади и вопил:

– Помогите!

От страшного толчка он, как мяч, перелетел через голову лошади и упал прямо в объятия полицейского, бросившегося ему навстречу.

В один миг вокруг него образовалась кучка разъяренных людей, жестикулирующих и вопящих. Один старый господин, с большим круглым орденом и длинными белыми усами, особенно казался вне себя. Он повторял:

– Черт побери, когда человек так неловок, он должен сидеть у себя дома. Нельзя же давить людей на улице, если не умеешь управлять лошадью!

Подошли четверо мужчин, несших старуху. Она казалась мертвой; лицо у нее было желтое, а сбившийся на сторону чепчик стал серым от пыли.

– Несите эту женщину в аптеку, – приказал старый господин, – а мы пойдем к полицейскому комиссару.

Гектор зашагал между двумя полицейскими. Третий вел его лошадь. Толпа следовала за ними, и вдруг появился брэк. Жена бросилась к мужу, няня потеряла голову, а малыши принялись пищать. Он объяснил, что скоро вернется, что сбил с ног какую-то женщину, что это пустяки. Перепуганная семья уехала.

Объяснение у комиссара было короткое. Гектор назвал свое имя и сказал, что он чиновник Морского министерства; затем стали ждать известий о пострадавшей. Полицейский, посланный справиться, вернулся. Она пришла в себя, но жаловалась на страшные боли, по ее словам, где-то внутри. Это была поденщица, шестидесяти пяти лет, и звали ее госпожой Симон.

Узнав, что она жива, Гектор ободрился и обещал уплатить издержки за ее лечение. Затем он побежал к аптекарю.

Шумная толпа обступила дверь. Старуха, бессильно свесив руки, с оступевшим лицом, стонала, полулежа в кресле. Два доктора продолжали осматривать ее. Перелома нигде не нашли, но опасались какого-нибудь внутреннего повреждения.

Гектор обратился к ней:

– Вам очень больно?

– О да!

– Где же?

– В животе у меня словно огнем жжет.

Один из докторов подошел к Гектору.

– Это вы, сударь, виновник несчастья?

– Да.

– Нужно бы отправить эту женщину в лечебницу; я знаю такую, где ее поместят за шесть франков в день. Если хотите, я об этом позабочусь.

Гектор с восторгом согласился и вернулся домой успокоенный.

Жена ждала его в слезах.

Он утешил ее:

– Ничего, этой Симон уже лучше, через три дня все пройдет; я отправил ее в лечебницу, ничего!

Ничего!

На следующий день, возвращаясь со службы, он зашел узнать о здоровье госпожи Симон. Он застал ее в ту минуту, когда она с довольным видом ела жирный бульон.

– Ну что? – спросил он.

– Ох, сударь, ничуть не легче! Я так думаю: дело мое кончено. Нисколько не лучше.

Доктор объявил, что нужно подождать: может случиться осложнение.

Гектор дождался два дня, затем опять зашел в больницу. У старухи был свежий цвет лица и ясные глаза, но, увидев его, она застонала:

– Совсем не могу двигаться, сударь, совсем не могу. Уж, видно, такой я и останусь до смерти.

Холод пробрал Гектора до мозга костей. Он спросил мнение доктора. Тот только развел руками.

– Что поделаешь, сударь, я уж и сам не знаю. Она орет, когда пытаются ее поднять. Нельзя

даже передвинуть ее кресло, чтобы она не начала отчаянно кричать. Я должен верить тому, что она говорит, сударь; не могу же я влезть в нее. Пока не увижу ее на ногах, я не имею права подозревать с ее стороны обмана.

Старуха слушала, не шевелясь, лукаво поглядывая на них.

Прошла неделя, другая, затем месяц. Госпожа Симон не покидала своего кресла. Она ела с утра до ночи, жирела, весело болтала с другими больными и, казалось, привыкла к неподвижности, словно это был справедливо заслуженный ею отдых за пятьдесят лет беготни вниз и вверх по лестницам, выколачивания матрасов, таскания углей с одного этажа на другой, работы метлой и щеткой.

Гектор в отчаянии стал приходить каждый день; он заставлял ее каждый день спокойной и счастливой, и она неизменно заявляла:

– Не могу двинуться, сударь, не могу.

Каждый вечер госпожа де Граблен спрашивала, снедаемая волнением:

– Ну как госпожа Симон?

И каждый раз он отвечал, убитый отчаянием:

– Никакой перемены, совершенно никакой!

Няню рассчитали, так как платить ей жалованье было уже слишком трудно. Стали еще более экономить, все наградные деньги были истрачены целиком.

Тогда Гектор созвал на консилиум четырех медицинских знаменитостей, и они собрались вокруг старухи. Она позволила им исследовать ее, трогать, щупать и лукаво поглядывала на них.

– Нужно заставить ее пройтись, – сказал один из врачей.

Она закричала:

– Никак не могу, хорошие мои господа, не могу!

Тогда они схватили ее, приподняли и протащили несколько шагов; но она вырвалась у них из рук и рухнула на пол, испуская такие ужасные крики, что ее отнесли обратно в кресло с бесконечными предосторожностями.

Врачи высказывались сдержанно, однако засвидетельствовали ее неспособность к труду.

Когда Гектор принес эту новость жене, она упала на стул, пролепетав:

– Уж лучше было бы взять ее сюда к нам, это обошлось бы дешевле.

Он так и привскочил:

– Сюда, к нам? О чем ты думаешь?

Но она, покорясь судьбе, ответила со слезами на глазах:

– Что же поделать, мой друг, ведь это не моя вина.

СЛОВА ЛЮБВИ

Дорогой мой толстый петушок! Ты мне не пишешь, я тебя совсем не вижу, и ты никак не соберешься прийти. Разве ты разлюбил меня? За что же? Чем я провинилась? Скажи мне, умоляю тебя, моя любовь! А я тебя так люблю, так люблю, так люблю! Мне хотелось бы, чтобы ты вечно был со мною и чтобы я целый день могла тебя целовать и называть тебя, сердце мое, любимый мой котик, всеми нежными именами, какие только придут в голову. Я обожаю, обожаю, обожаю тебя, мой чудный петушок!

Твоя курочка Софи.

Понедельник.

Дорогая, ты, вероятно, ровно ничего не поймешь из того, что я намерен сказать тебе. Все равно. Если письмо мое случайно попадет на глаза какой-нибудь другой женщине, оно послужит ей, быть может, на пользу.

Если бы ты была глуха и нема, я, без сомнения, любил бы тебя долго-долго. Несчастье в том, что ты говоришь – вот и все. Один поэт сказал:

Ты в лучшие часы, снося смычок мой ярый,
Была лишь скрипкою, банальной и простой,
И, точно ария в пустой груди гитары,
Моя жила мечта в твоей душе пустой.

В любви, видишь ли, всегда поют мечты; но для того, чтобы мечты пели, их нельзя прерывать. А когда между двумя поцелуями говорят, то всегда прерывают пьянящую мечту, создаваемую душою, – если только не произносят слова возвышенные; но возвышенные слова не рождаются в маленьких головках хорошеньких девушек.

Ты ничего не понимаешь, не правда ли? Тем лучше. Я продолжаю. Ты, несомненно, одна из самых прелестных, одна из самых очаровательных женщин, которых я только когда-либо встречал.

Есть ли на свете глаза, в которых было бы столько грезы, как в твоих, столько неведомых обещаний, столько бесконечной любви? Не думаю. Когда твой рот улыбается и пухлые губки открывают блестящие зубы, то кажется, что из этого очаровательного рта вот-вот польется невыразимая музыка, нечто неправдоподобно сладостное, нежное до рыданий.

А в эту минуту ты спокойно называешь меня: «Мой обожаемый жирный кролик». И мне кажется вдруг, что я проникаю в твою головку, вижу, как движется твоя маленькая душа маленькой хорошенькой женщины, прехорошенькой женщины, но... и это, понимаешь ли, меня страшно угнетает... Я предпочел бы лучше этого не видеть.

Ты по-прежнему ничего не понимаешь, не так ли? Я на это и рассчитывал.

Помнишь ли, как ты пришла ко мне в первый раз? Ты вошла внезапно, внося с собою аромат фиалок, веявший от твоих юбок; мы молча долгим взглядом смотрели друг на друга, потом обнялись, как безумные... а потом... потом до следующего утра уже не говорили.

Но когда мы расставались, наши руки дрожали, а глаза говорили то, то... чего нельзя выразить ни на одном языке.

По крайней мере, я так полагал. И, покидая меня, ты чуть слышно прошептала: «До скорого свидания!» Вот все, что ты сказала, но ты никогда не сможешь себе представить ни того, какую дымку мечты ты оставила во мне, ни того, что я предвидел и что, мне казалось, угадывал в твоей мысли.

Понимаешь ли, бедное дитя мое, для мужчин неглупых, сколько-нибудь утонченных, сколько-нибудь выдающихся, любовь – инструмент столь сложный, что малейший пустяк его расстраивает. Вы, женщины, когда любите, не замечаете смешной стороны некоторых вещей, а чудовищность или смехотворность иных выражений ускользает от вас.

Почему слово, уместное в устах маленькой брюнетки, звучит совершенно фальшиво и смешно в устах полной блондинки? Почему шаловливый жест одной не подходит другой? Почему некоторые ласки прелестны, когда они исходят от одной женщины, и только стеснительны для нас со стороны другой? Почему? Потому, что во всем, но главным образом в любви, нужна полная гармония, совершенное соответствие жестов, голоса, слов, изъятий нежности – с внешностью той женщины, которая движется, говорит, выражает что-либо, с ее возрастом, станом, цветом ее волос, характером ее красоты.

Тридцатипятилетняя женщина, сохранившая в этом возрасте сильных и бурных страстей хоть сколько-нибудь той ласковой шаловливости, которою отмечена была любовь ее юности, и не понимающая, что она должна выражаться иначе, смотреть иначе, целовать иначе, что она должна быть Дидоной, а не Джульеттой, неминуемо отвратит от себя девять любовников из десяти, если бы даже они и не подозревали причины своего ухода.

Понимаешь ли ты? Нет? Я так и думал.

С того самого дня, как ты, словно из крана, начала выливать на меня поток твоих нежностей, для меня было все кончено, мой друг.

Случалось, поцелуй наш длился пять минут – бесконечный, страстный поцелуй, один из тех поцелуев, когда закрываешь глаза, словно боясь, чтобы он не ускользнул, спугнутый взглядом, ко-

гда хочешь сохранить его целиком в отуманившейся душе, которую он опустошает. Затем, когда наши губы отрывались друг от друга, ты говорила, звонко смеясь: «До чего вкусно, жирный мой песик!» В такую минуту я готов был тебя побить!

Ведь ты наделяла меня последовательно всеми именами животных и овощей, которые знала благодаря *Домашней хозяйке, Образцовому Садовнику и Основам естественной истории для младших классов*. Но все это еще ничего.

Любовные ласки, если в них вдуматься, грубы, животны и даже хуже того. Мюссе сказал:

Еще я помню их – мгновенья спазмы страстной –
Пыланье мускулов, безмолвье диких ласк,
Самозабвение, зубов свирепый ласк...
Коль не божественны те миги, то ужасны –

или смешны!.. О бедное дитя, какой гений насмешки, какой извращенный дух мог подсказать тебе твои слова... в последнее мгновение?

Они все в моей памяти; но из любви к тебе я не повторяю их.

А кроме того, тебе, право, недоставало такта, и ты ухитрялась вставить восторженное «люблю тебя» при некоторых столь неподходящих обстоятельствах, что я должен был сдерживать безумное желание расхохотаться. Бывают минуты, когда слова «люблю тебя» настолько неуместны, что становятся почти неприличными, запомни это хорошенько.

Но ведь ты меня не понимаешь.

Многие женщины тоже не поймут меня и назовут дураком. Впрочем, это не важно. Голодные едят с жадностью, но люди с утонченным вкусом требовательны, и часто пустяк способен вызвать у них непреодолимое отвращение. В любви то же, что и в гастрономии.

Не могу понять одного: как это некоторые женщины, знающие весь непреодолимый соблазн прозрачных и узорчатых шелковых чулок, все пленительное обаяние полутонов, все волшебство драгоценных кружев, скрытых в глубине интимных одежд, всю волнующую прелесть тайной роскоши изысканного белья и всех утонченных выдумок женского изящества, – как они не понимают того непреодолимого отвращения, которое внушают нам неуместные или глупые нежности?

Грубое слово иногда делает чудеса, подстегивает тело, заставляет сердце встrepенуться. Эти слова в часы битвы допустимы. Разве слово Камбронна не возвышенно? Все, что вовремя, не коробит. Но надо уметь также помолчать и в известные минуты избегать выражений в духе Поль де Кока.

И я целую тебя со всею страстью, но при условии, что ты не скажешь ни слова.

Ренэ.

ПАРИЖСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Найдется ли на свете чувство более острое, чем женское любопытство? О, узнать, увидеть, потрогать то, о чем мечталось! Чего только не сделает женщина ради этого! Когда ее нетерпеливое любопытство задето, она пойдет на какое угодно безумие, на какую угодно неосторожность, проявит какую угодно смелость, не отступит ни перед чем. Я говорю о настоящих женщинах, о женщинах, ум которых представляет собою ящик с тройным дном; с виду это ум рассудительный и холодный, но три его потайных отделения наполнены: первое – вечно возбужденным женским беспокойством, второе – притворством под маской прямодушия, притворством, свойственным ханжам, полным софистики и весьма опасным; и, наконец, последнее – очаровательной наглостью, прелестным плутовством, восхитительным вероломством – всеми теми извращенными свойствами, которые толкают на самоубийство глупо доверчивых влюбленных и восхищают остальных мужчин.

Женщина, приключение которой я хочу рассказать, была до того времени скучно добродетельной провинциалочкой. Ее внешне спокойная жизнь проходила в семье, делясь между занятым мужем и двумя детьми, которым она была примерною матерью. Но сердце ее трепетало неудовле-

творенным любопытством, жаждой неизвестного. Она беспрестанно грезил о Париже и с жадностью читала великосветские журналы. От описаний празднеств, туалетов, развлечений ее желания разгорались все больше и больше, но особенно таинственно волновали ее «отголоски», полные намеков, полуприкрытых искусными фразами, за которыми угадывались широкие просторы преступных и губительных наслаждений.

Издали Париж представлялся ей в каком-то апофеозе великолепной и порочной роскоши. И в долгие ночи, отдаваясь мечтам под мерное храпение мужа, который, повязав фуляром голову, спал на спине рядом с нею, она грезил о знаменитостях, чьи имена, как яркие звезды на темном небе, появлялись на первых страницах газет; она рисовала себе их безумную жизнь, полную постоянного разврата, сладострастных античных оргий и такой сложной и утонченной чувственности, что она даже не могла себе представить.

Парижские бульвары казались ей какими-то безднами человеческих страстей, а дома вдоль этих бульваров, несомненно, скрывали необычайные любовные тайны.

Между тем она чувствовала, что стареет. Она старела, ничего не узнав о жизни, кроме тех правильных, до отвращения однообразных и пошлых занятий, которые создают, как принято говорить, семейное счастье. Она была еще красива, потому что сохранилась в этой покойной обстановке, как зимний плод в запертом шкафу: но ее точили, снedaли и будоражили тайные страсти. Она спрашивала себя: неужели ей так и придется умереть, не изведав всех этих проклятых упоений, не бросившись с головой хоть раз – один только раз! – в этот водоворот парижского сладострастия?

С большою настойчивостью подготовила она поездку в Париж, нашла предлог, добилась приглашения от парижских родственников и, так как муж не мог сопровождать ей, уехала одна.

Тотчас по приезде она придумала такие поводы, которые позволяли бы ей в случае надобности отлучиться из дому дня на два, или, вернее, на две ночи, если б это понадобилось: она встретила, по ее словам, друзей, живших в окрестностях Парижа.

И она принялась за поиски. Она обегала бульвары, но не увидела ничего, кроме бродячего и зарегистрированного полицией порока. Она испытующе заглядывала в большие кафе, внимательно прочитывала переписку в «Фигаро», отдававшуюся в ее душе каждое утро как звон набата призывом к любви.

Но ничто не наводило ее на след грандиозных оргий в мире художников и актрис; ничто не раскрывало перед нею храмов распутства, которые рисовались ей запечатленными магическим словом, как пещера «Тысячи и одной ночи» или как римские катакомбы, где скрытно свершались когда-то таинства преследуемой религии.

Ее родственники, мелкие буржуа, не могли познакомить ее ни с кем из тех знаменитостей, чьи имена жужжали в ее мозгу, и, отчаявшись, она думала уже об отъезде, как вдруг на помощь ей подоспел случай.

Однажды, проходя по улице Шоссе д'Антен, она остановилась у витрины магазина с японскими вещами, расписанными столь ярко, что они веселили глаз. Она рассматривала комические фигурки из слоновой кости, высокие вазы с пламенеющей эмалью, причудливую бронзу, как вдруг внутри магазина увидела хозяина, почтительнейше показывавшего какому-то толстому, маленькому, лысому человечку с небритым подбородком большого пузатого фарфорового уроды – уникальную вещь, по его словам.

И в конце каждой фразы торговца звенело, как призыв рога, имя любителя, знаменитое имя. Остальные покупатели – молодые женщины, изящные господа – взглядывали искоса и быстро, но вполне благопристойно и с видимым почтением на прославленного писателя, увлеченно рассматривавшего фарфорового уроды. Они были безобразны оба, безобразны, как два родных брата.



Торговец говорил:

– Только вам, господин Жан Варен, я уступлю эту вещь за тысячу франков; ровно столько я сам за нее дал. Для всех прочих цена будет тысяча пятьсот; но я особенно дорожу покупателями из мира художников и писателей, и для них у меня особые цены. Они все у меня покупают, господин Варен. Вчера господин Бюснах купил большой старинный кубок. На днях я продал пару подсвечников в этом роде – не правда ли, как они хороши? – господину Александру Дюма. Знаете, если бы эту вещицу, которую вы держите в руках, увидел господин Золя, то она была бы уже продана, господин Варен!

Писатель колебался в нерешительности: вещь его соблазняла, но он думал о цене; на взгляды окружающих он не обращал никакого внимания словно был один в пустыне.

Она вошла в магазин, трепеща, глядя на писателя с неприличной пристальностью и даже не спрашивая себя красив ли он, молод ли, изящен ли. Это был Жан Варен, сам Жан Варен!

После долгой борьбы и скорбной нерешительности он поставил фигуру обратно на стол.

– Нет, это чересчур дорого, – сказал он.

Торговец удвоил свое красноречие:

– Вы говорите – дорого, господин Жан Варен? Да за это не жалко две тысячи выложить, как одно су.

Писатель, не отрывая взгляда от уroda с эмалевыми глазами, печально возразил:

– Я не говорю, что вещь не стоит этих денег, но для меня это дорого.

Тут, охваченная вдруг безумной смелостью, она выступила вперед:

– А сколько вы возьмете с меня за этого человечка?

Торговец с удивлением ответил:

– Тысячу пятьсот франков, сударыня.

– Я беру его.

Писатель, до этого даже не заметивший ее, вдруг обернулся. Прищулив глаза, он окинул ее с головы до ног взглядом наблюдателя, а потом в качестве знатока оценил ее во всех подробностях.

Возбужденная, загоревшаяся внезапно вспыхнувшим пламенем, до тех пор дремавшим в ней, она была очаровательна. Да к тому же женщина, покупающая мимоходом вещицу за полторы тысячи франков, не первая встреча.

Вдруг она ощутила порыв восхитительной совестливости и, обернувшись к нему, сказала дрожащим голосом:

– Простите, сударь, я, должно быть, чересчур поспешила, вы, быть может, еще не сказали последнего слова.

Он поклонился:

– Я сказал его, сударыня.

Но она взволнованно отвечала:

– Словом, сударь, если сегодня или позже вам захочется изменить решение, то эта вещица

принадлежит вам. Я только потому ее и купила, что она вам понравилась.

Он улыбнулся, явно польщенный.

– Откуда же вы меня знаете? – спросил он.

Тогда она заговорила о своем преклонении перед ним, назвала его произведения, стала даже красноречивой.

Чтобы удобнее было разговаривать, он облокотился на какой-то шкаф и, пронизывая ее острым взглядом, старался понять, что она собой представляет.

Время от времени владелец магазина, обрадованный этой живой рекламой, кричал с другого конца лавки, когда входили новые покупатели:

– А вот взгляните, господин Жан Варен, разве это не прелестно?

И тогда все головы поднимались, и она дрожала от удовольствия, что ее видят в непринужденной беседе со знаменитостью.

Наконец, совсем опьянев, она решилась на крайнюю дерзость, подобно генералу, приказывающему идти на приступ.

– Сударь, – сказала она, – сделайте мне большое, очень большое удовольствие. Разрешите мне поднести вам этого уroda на память о женщине, страстно вам поклоняющейся и которая виделась с вами всего десять минут.

Он отказался. Она настаивала. Он противился, забавляясь и смеясь от всего сердца.

Тогда она сказала прямо:

– Ну в таком случае я тотчас же отвезу его к вам. Где вы живете?

Он отказался сообщить свой адрес, но она узнала его от торговца и, заплатив за покупку, бросилась к фиакру. Писатель побежал за нею вдогонку, не желая, чтобы у присутствующих создалось впечатление, что он принимает подарок от незнакомого лица. Он настиг ее, когда она садилась в экипаж, бросился за ней и почти упал на нее – так его подбросило тронувшимся фиакром: затем уселся рядом с нею, весьма раздосадованный.

Сколько он ни упрасивал, ни настаивал, она оставалась непреклонной. Когда они были у его подъезда, она изложила ему свои условия.

– Я согласна, – сказала она, – не оставлять у вас этой вещи, если вы сегодня будете исполнять все мои желания.

Это показалось ему настолько забавным, что он согласился.

Она спросила:

– Что вы делаете обычно в этот час?

Поколебавшись, он сказал:

– Прогуливаюсь.

Тогда решительным тоном она приказала:

– В Лес!

И они поехали.

Она потребовала, чтобы он называл ей по именам всех известных, в особенности же – доступных женщин, со всеми интимными деталями их жизни, привычек, обстановки и пороков.

Вечерело.

– Что вы обычно делаете в это время? – спросила она.

Он ответил смеясь:

– Пью абсент.

И она с полной серьезностью сказала:

– В таком случае поедemте пить абсент.

Они вошли в одно из известных кафе на Больших бульварах, где он часто бывал и где встретил нескольких собратьев по перу. Он всех их представил ей. Она была без ума от радости. И в ее голове беспрестанно раздавалось: «Наконец-то, наконец!»

Время бежало: она спросила:

– В этом часу вы, вероятно, обедаете?

Он отвечал:

– Да, сударыня.

– В таком случае пойдемте обедать, сударь.

Выходя из ресторана «Биньон», она сказала:

– Что вы делаете по вечерам?

Он пристально взглянул на нее.

– Смотря по обстоятельствам; иногда я отправляюсь в театр.

– Отлично, сударь, поедemте в театр.

Они пошли в Водевиль, где благодаря ему им предложили бесплатные места, и – о верх славы! – весь зал видел ее рядом с ним, в креслах балкона.

Когда представление кончилось, он галантно поцеловал ей руку:

– Мне остается поблагодарить вас, сударыня, за восхитительный день...

Она прервала его:

– А что вы обычно делаете ночью?

– Но... но... я возвращаюсь домой.

Она нервно засмеялась.

– Ну что ж, сударь, поедemте к вам домой.

И больше они не разговаривали. Порою она дрожала с головы до ног, желая и бежать и остаться, но все же твердо решив в глубине души идти до конца.

На лестнице она цеплялась за перила, так сильно возрастало ее волнение, а он шел вперед, отдуваясь, с восковой спичкой в руке.

Очутившись в комнате, она быстро разделась, скользнула в постель, не говоря ни слова, и ждала, прижавшись к стене.

Но она была неопытна, как только возможно для законной жены провинциального нотариуса, а он был требовательнее трехбунчужного паши. Они не поняли друг друга, совершенно не поняли.

И он уснул. Ночь проходила, и тишину ее нарушало лишь тикание стенных часов; неподвижно лежа, она думала о своих супружеских ночах и с отчаянием смотрела на этого спавшего рядом с нею на спине, под желтым светом китайского фонарика, маленького, шарообразного человечка, чей круглый живот выпячивался из-под простыни, словно надутый газом баллон. Он храпел, как органная труба, с протяжным фырканием и смешным клокотанием в горле. Два десятка волос, утомленные за день своим приглаженным положением на голом черепе, который они должны были прикрывать, воспользовались теперь его сном и топорщились во все стороны. Струйка слюны стекала из угла его полуоткрытого рта.

Наконец сквозь опущенные занавески чуть проглянул рассвет. Она встала, бесшумно оделась и уже приоткрыла дверь, но скрипнула задвижкой, и он проснулся, протирая глаза.

Несколько секунд он не мог прийти в себя; затем, припомнив все случившееся, спросил:

– Как, вы уходите?

Она стояла, смущенная, и прошептала:

– Да, уже утро.

Он сел на постели.

– Послушайте, – сказал он, – я тоже хочу вас кое о чем спросить.

Она молчала, и он продолжал:

– Вы крайне удивили меня вчера. Будьте откровенны, признайтесь, зачем вы все это предделали? Я ничего не понимаю.

Она тихонько подошла к нему, краснея, как молоденькая девушка.

– Я хотела узнать... порок... ну, и... ну, и это совсем не забавно!

Она выбежала из комнаты, спустилась с лестницы и бросилась на улицу.

Целая армия метельщиков подметала тротуары и мостовые, сбрасывая с них весь сор в сточные канавы. Одинаковым размеренным движением, напоминавшим движение косцов в поле, они гнали сор и грязь полукругом перед собою. Проходя улицу за улицей, она видела вновь и вновь, как они движутся тем же автоматическим движением, словно паяцы, заведенные одною пружиной.

Ей показалось, что и в ее душе сейчас вымели нечто, сбросили в сточную канаву, в канали-

зационную трубу все ее экзальтированные мечты.

Она вернулась домой, запыхавшись, озябнув и не ощущая в сознании ничего, кроме этого движения щеток, подметающих Париж по утрам.

И как только она очутилась в комнате, она зарыдала.

НОЧЬ ПОД РОЖДЕСТВО

– Сочельник! Сочельник! Ну нет, я не стану справлять сочельник!

Толстяк Анри Тамиле произнес это таким разъяренным голосом, словно ему предлагали что-нибудь позорное.

Присутствующие, смеясь, воскликнули:

– Почему ты приходишь в такую ярость?

– Потому, – отвечал он, – что сочельник сыграл со мной сквернейшую шутку и у меня остался непобедимый ужас к глупому веселью этой дурацкой ночи.

– Но в чем же дело?

– В чем дело? Вы хотите знать? Ну так слушайте.

Помните, какой был мороз два года тому назад в эту пору? Нищим хоть помирай было на улице. Сена замерзла; тротуары леденили ноги сквозь подошвы ботинок; казалось, весь мир готов был погибнуть.

У меня была начата тогда большая работа, и я отказался от всех приглашений на сочельник, предпочитая провести ночь за письменным столом. Пообедав в одиночестве, я тотчас же принялся за дело. Но вот, часов около десяти вечера, мысль о разлившемся по всему Парижу веселье, уличный шум, несмотря ни на что доносившийся до меня, слышные за стеной приготовления к ужину у моих соседей – все это стало действовать мне на нервы. Я ничего уже не соображал, писал глупости и понял, что надо отказаться от надежды сделать что-либо путное в эту ночь.

Некоторое время я ходил по комнате и то садился, то вставал. Я испытывал таинственное влияние уличного веселья, это было очевидно; оставалось покориться ему.

Я позвонил служанке и сказал:

– Анжела, купите что-нибудь для ужина на двоих: устриц, холодную куропатку, креветок, ветчины, пирожных. Возьмите две бутылки шампанского; накройте на стол и ложитесь спать.

Она исполнила приказание, хотя и не без удивления. Когда все было готово, я надел пальто и вышел.

Оставалось решить самый главный вопрос: с кем буду я встречать сочельник? Мои приятельницы уже были приглашены в разные места: чтобы залучить какую-нибудь из них, надо было позаботиться об этом заранее. Тогда мне пришло в голову сделать заодно и доброе дело. Я сказал себе: «Париж полон бедных и прекрасных девушек, у которых нет куска хлеба; они бродят по городу в поисках великодушного мужчины. Стану-ка я рождественским провидением одной из этих обездоленных. Пойду поброжу, загляну в увеселительные места, расспрошу, поищу и выберу по своему вкусу».

И я пустился бродить по городу.

Разумеется, я встретил много множество бедных девушек, искавших приключения, но они были так безобразны, что могли вызвать несварение желудка, или так худы, что замерзли бы, остановившись на улице.

Вы знаете мою слабость: я люблю женщин упитанных. Чем они плотней, тем привлекательней. Великанша сводит меня с ума.

Вдруг против театра Варьете я увидел профиль в моем вкусе. Голова, затем два возвышения – очень красивой груди, а ниже – восхитительного живота, живота жирной гусыни. Задрожав, я прошептал: «Черт возьми, какая красotka!» Оставалось только увидеть ее лицо.

Лицо женщины – сладкое блюдо; остальное... это жаркое.

Я ускорил шаги, нагнал эту прогуливавшуюся женщину и под газовым фонарем обернулся.

Она была восхитительна – совсем еще молодая, смуглая, с большими черными глазами.

Я пригласил ее, и она согласилась без колебаний.

Спустя четверть часа мы сидели за столом в моей комнате.

– Ах, как здесь хорошо! – сказала она, входя.

И оглянулась вокруг, радуясь, что нашла ужин и приют в эту морозную ночь. Она была восхитительна: так красива, что я удивился, и так толста, что навек пленила мое сердце.

Она сняла пальто и шляпу, села за стол и принялась есть; но, казалось, она была не в ударе, и порой ее немного бледное лицо дергалось, словно она страдала от тайного горя.

Я спросил:

– У тебя какие-нибудь неприятности?

Она ответила:

– Ба, забудем обо всем!

И начала пить. Она осушала залпом свой бокал шампанского, снова наполняла и опорожняла, и так без конца.

Вскоре слабый румянец выступил у нее на щеках, и она стала хохотать.

Я уже боготворил ее, целовал и убеждался, что она не была ни глупа, ни вульгарна, ни груба, подобно уличным женщинам. Я пытался было узнать, как она живет, но она ответила:

– Милый мой, это уже тебя не касается!

Увы! Всего час спустя...

Наконец настало время ложиться в постель, и, пока я убирал со стола, стоявшего у камина, она быстро разделась и скользнула под одеяло.

Соседи за стеной шумели ужасно, смеясь и распевая, как полоумные, и я говорил себе: «Я сделал вполне правильно, отправившись на поиски за этой красоткой; все равно я не мог бы работать».

Глубокий вздох заставил меня обернуться. Я спросил:

– Что с тобою, моя кошечка?

Она не отвечала, но продолжала болезненно вздыхать, словно ужасно страдала.

Я продолжал:

– Или ты нездорова?

И вдруг она испустила крик, пронзительный крик.

Я бросился к ней со свечой в руке.

Лицо ее было искажено болью, она ломала руки, задыхалась, а из ее горла вырывались хриплые, глухие стоны, от которых замирало сердце.

Я спрашивал, растерявшись:

– Но что же с тобою? Скажи, что с тобою?

Не отвечая, она принялась выть.

Соседи сразу умолкли, прислушиваясь к тому, что происходило у меня.

Я повторял:

– Где у тебя болит? Скажи, где у тебя болит?

Она пролепетала:

– Ох, живот, живот!

Я вмиг откинул одеяло и увидел...

Друзья мои, она рожала!

Тут я потерял голову; я бросился к стене и, колотя в нее изо всех сил кулаками, заорал:

– Помогите, помогите!

Дверь отворилась, и в мою комнату вбежала целая толпа: мужчины во фраках, женщины в бальных платьях, пьерро, турки, мушкетеры. Это нашествие так ошеломило меня, что я не мог им объяснить, в чем дело.

Они же думали, что случилось какое-нибудь несчастье, быть может, преступление, и тоже ничего не понимали.

Наконец я выговорил:

– Дело в том... дело в том, что... эта... эта женщина... рожает...

Тогда все стали ее осматривать, высказывать свои мнения. Какой-то капуцин притяжал на

особенную опытность в этих делах и хотел помочь природе.

Они были пьяны в стельку. Я решил, что они убьют ее, и бросился в чем был на лестницу, за старым доктором, жившим на соседней улице.

Когда я вернулся с доктором, весь дом был на ногах; на лестнице зажгли газ, квартиранты со всех этажей наводняли мою квартиру; четверо грузчиков сидели за столом, допивая мое шампанское и доедая мои кровати.

При виде меня раздался громовой рев. Молочница поднесла мне на салфетке отвратительный комок сморщенного, съезжившегося мяса, стонавший и мяукавший, как кошка, и объявила:

– Девочка!

Доктор осмотрел роженицу, признал ее положение опасным, так как роды произошли тотчас после ужина, и ушел, сказав, что немедленно пришлет ко мне сиделку и кормилицу.

Обе женщины прибыли через час и принесли сверток с медикаментами.

Я провел ночь в кресле и был слишком потрясен, чтобы раздумывать о последствиях.

Утром доктор вернулся. Он нашел больную в довольно плохом состоянии.

– Ваша супруга, сударь... – начал он.

Я прервал его:

– Это не моя супруга.

Он продолжал:

– Ну все равно, ваша любовница.

И он перечислил все заботы, которые были ей необходимы, – уход, лекарства.

Что было делать? Отправить эту несчастную в больницу? Я прослыл бы за негодяя во всем доме, во всем квартале.

Я оставил ее у себя. Шесть недель пролежала она в моей постели.

Ребенок? Я отослал его к крестьянам в Пуасси. Мне приходится ежемесячно платить за него пятьдесят франков. Заплатив раз, я принужден теперь платить за него до моей смерти.

А впоследствии он будет считать меня своим отцом.

В довершение всех несчастий, когда эта девушка выздоровела... она полюбила меня... безумно полюбила, негодяйка!

– Ну и что же?

– Ну она исхудала, как приبلудная кошка, и я выкинул ее за дверь. Теперь этот скелет поджидает меня на улицах, прячется при моем появлении, а вечером, когда я выхожу, останавливает меня, чтобы поцеловать мне руку, и в конце концов бесит меня до неистовства.

Вот почему я никогда больше не буду справлять сочельник.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ

– Госпожа Бондеруа?

– Да, госпожа Бондеруа.

– Может ли это быть?

– У-ве-ряю вас!

– Госпожа Бондеруа, та самая пожилая дама в кружевных чепцах, ханжа и святоша? Та почтенная госпожа Бондеруа, у которой мелкие накладные кудряшки словно приклеены к черепу?

– Она самая.

– Послушайте, да вы с ума сошли!

– Кля-нусь вам!

– В таком случае не расскажете ли все подробно?

– Извольте. При жизни господина Бондеруа, бывшего нотариуса, госпожа Бондеруа пользовалась, говорят, писцами своего мужа для некоторых особых услуг. Это одна из тех почтенных буржуазных дам, каких много: с тайными пороками и непоколебимыми принципами. Она любила красивых юношей; что может быть естественнее? Разве мы не любим красивых девушек?

Когда папаша Бондеруа скончался, вдова его зажила жизнью тихой и безупречной рантьерши. Она усердно посещала церковь, презрительно говорила о своих ближних и не подавала ника-

кого повода говорить о себе самой.

Затем она состарилась и превратилась в ту чопорную, прокисшую и злобную мешанку, которую вы знаете.

И вот в прошлый четверг случилось невероятное приключение.

Друг мой, Жан д'Англемар, как вам известно, драгунский капитан, и он живет в казарме в предместье Ла Риветт.

Придя как-то утром в свою часть, он узнал, что два его солдата самым безобразным образом подрались. У воинской чести свои суровые законы. Дело кончилось дуэлью. После нее солдаты помирились и, опрошенные капитаном, рассказали ему о причинах своей ссоры. Они дрались из-за госпожи Бондеруа.

– О!

– Да, друг мой, из-за госпожи Бондеруа! Но предоставлю слово кавалеристу Сибалю.

– Вот какое дело, капитан. Года полтора тому назад прогуливаюсь я по главной улице, часов в шесть или в семь вечера; вдруг подходит ко мне какая-то женщина. И спрашивает меня так же просто, как попросила бы указать ей дорогу:

– Военный, не хотите ли честно зарабатывать десять франков в неделю?

Я чистосердечно отвечаю:

– К вашим услугам, сударыня.

Тогда она говорит мне:

– Вы застанете меня дома завтра в полдень. Я – госпожа Бондеруа и живу на улице Траншэ, дом номер шесть.

– Непременно приду, сударыня, будьте покойны.

После этого она оставляет меня и с довольным видом произносит:

– Очень вам благодарна, господин военный.

– Это я должен благодарить вас, сударыня.

Случай этот не давал мне покоя до следующего дня.

В полдень звоню у ее двери.

Отпирает мне она сама. А на голове у нее целая куча ленточек.

– Поспешим, – говорит она мне, – а то прислуга скоро должна вернуться.

Я отвечаю:

– За мною дело не станет. Что прикажете делать?

Она смеется и отвечает:

– А сам-то не понимаешь, толстый плут?

Но я все еще не понимал, капитан, честное слово.

Тогда она садится рядом со мной и говорит:

– Если ты хоть слово скажешь об этом, я засажу тебя в тюрьму. Побожись, что будешь молчать.

Я побожился, как она хотела. Но все еще ничего не понимал. Пот выступил у меня на лбу, и я снял каску, где у меня лежал носовой платок. Она берет этот платок и вытирает мне виски. Затем вдруг обнимает меня и шепчет на ухо:

– Значит, хочешь?

Я отвечаю:

– Я согласен исполнить все, что вы желаете, сударыня; для этого я и пришел.

Тогда она мне ясно дала понять, чего ей хотелось. А уразумев, в чем дело, я положил каску на стол и доказал ей, что драгуны никогда не отступают, капитан.

Не очень-то большое удовольствие я получил от этого: особа была не первой молодости. Но нельзя быть слишком разборчивым: монетки переппадают не часто. И потом, есть семья, которую надо поддерживать. Я так и сказал себе: «Тут будет сто су для отца».

Отбыв свою повинность, капитан, я собрался восвояси. Понятно, ей хотелось, чтобы я не уходил так скоро. Но я сказал:

– У всего своя цена, сударыня. Рюмочка стоит два су, а две рюмочки – четыре су.

Она отлично поняла, что я прав, и сунула мне в руку маленький наполеондор в десять франков. Не очень-то подходящая эта монетка: в кармане она болтается, а если штаны неважно сшиты, ее находишь в сапогах, а то и совсем не находишь.

Я рассматриваю эту желтую облатку, думая об этом, а она смотрит на меня, краснеет и спрашивает – ее обмануло выражение моего лица:

– Что же, по-твоему, этого мало?

Я отвечаю:

– Не совсем так, сударыня, только если вам все равно, я предпочел бы две монеты по пяти франков.

Она дала мне их, и я ушел.



И вот это тянется уже полтора года, капитан. Я хожу к ней каждый вторник вечером, когда вы разрешаете мне отпуск. Так она и предпочитает, потому что ее прислуга уже спит.

Но вот на прошлой неделе я расклеился, и пришлось мне понюхать госпиталя. Наступает вторник, выйти нельзя, и я прямо-таки грызу себе ногти из-за этих десяти кружочков к которым уже привык.

Мне думалось: «Если к ней никто не пойдет я пропал Она наверно, возьмет себе артиллерию». И это взбудоражило меня.

Тогда я попросил позвать Помеля, моего земляка, и рассказал ему обо всем деле:

– Ты получишь сто су, и мне сто су, ладно?

Он соглашается и уходит. Я все ему объяснил как следует. Он стучит; она отпирает и дает ему войти, не посмотрев ему в лицо и не заметив, что это другой.

Вы понимаете, господин капитан, все драгуны похожи друг на друга, когда они в касках.

Но вдруг она обнаруживает это превращение и сердито спрашивает:

– Кто вы такой? Что вам надо? Я вас не знаю.

Тогда Помель объясняется. Выкладывает, что я нездоров и прислал его в качестве заместителя.

Она смотрит на него, также заставляет побожиться в сохранении тайны, затем соглашается

принять его; сами понимаете, Помель тоже ведь недурен собой.

Но когда этот негодяй вернулся, он не пожелал отдать мне мои сто су. Будь они для меня, я ничего бы не сказал, но ведь это отцовские деньги, и тут уж было не до шуток.

Я ему говорю:

– Поступки твои неприличны для драгуна; ты позоришь мундир.

А он замахнулся на меня, господин капитан, говоря, что за такую тяжелую повинность надо получать вдвое.

Каждый судит по-своему, не так ли? Тогда нечего было ему соглашаться. Я и ткнул его кулаком в нос. Остальное вы знаете.

Капитан д'Англемар смеялся до слез, рассказывая мне эту историю. Но и он взял с меня клятву сохранить тайну, за которую ручался солдатам.

– Главное, не выдавайте меня; храните все это про себя, обещаете?

– О, не бойтесь. Но как же, в конце концов, все это уладилось?

– Как? Держу пари, не угадаете... Мамаша Бондеруа оставила обоих драгун, назначив каждому особый день. Таким образом все остались довольны.

– О, она очень добрая, очень добрая!

– А старикам родителям обеспечено пропитание. И нравственность не пострадала.

ВАЛЬДШНЕП

Престарелый барон де Раво в течение сорока лет слыл королем охотников в своей округе. Но последние пять-шесть лет паралич ног приковал его к креслу; он мог стрелять только голубей из окна гостиной или с высокого крыльца своего дома.

Остальное время он читал.

Это был приятный собеседник, сохранивший немалый запас остроумия прошлого века. Он обожал шаловливые анекдоты, а также рассказы о подлинных происшествиях, случившихся с окружающими его людьми. Не успевал приятель войти к нему, как барон уже спрашивал:

– Ну, что нового?

Выпытывать он умел не хуже судебного следователя.

В солнечные дни барон приказывал катать себя перед домом в широком кресле, вполне заменявшем ему кровать. Слуга, находившийся позади него, держал ружья, заряжал их и подавал своему господину; другой слуга, сидевший в кустах, выпускал голубей – через неравные промежутки времени, чтобы барон не знал об этом заранее и был все время настороже.

С утра до вечера стрелял он быстрых птиц, приходя в отчаяние, если случалось промахнуться, и смеясь до слез, когда подстреленный голубь падал отвесно или вдруг начинал смешно кувыркаться в воздухе. Тогда барон оборачивался к слуге, заряжавшему ружья, и говорил, задыхаясь от радости:

– Этот готов! Ты видел, Жозеф, как он падал?

И Жозеф неизменно отвечал:

– О, господин барон им спуску не дает!

Осенью, в сезон охоты, он, как и встарь, приглашал к себе друзей и любил прислушиваться к ружейным выстрелам, раздававшимся вдали. Он вел им счет и бывал счастлив, когда они учащались. А вечером требовал от каждого охотника правдивого рассказа о проведенном дне.

И за обедом они просиживали у барона часа по три, рассказывая об охоте.

Необыкновенные и невероятные были те приключения, которыми охотники тешили свой хвастливый нрав. Некоторые рассказы были не новы и повторялись ежегодно. История кролика, по которому маленький виконт де Бурриль дал промах в собственной прихожей, ежегодно заставляла охотников все также умирать со смеху. Каждые пять минут новый оратор говорил:

– Слышу: «Бирр! Бирр!» – и великолепный выводок взлетает в десяти шагах от меня. Я целюсь: «Пиф! Паф!» И на моих глазах они падают дождем, настоящим дождем. Целых семь штук!

И все, удивляясь, но доверяя друг другу, приходили в восторг.

В доме существовал один старый обычай, называвшийся «рассказом вальдшнепа».

Во время пролета вальдшнепа – короля дичи – за обедом ежедневно совершалась одна и та же церемония.

Барон обожал эту несравненную птицу, и у него подавали ее всякий вечер; при этом каждый гость съедал по целой птице, но их головки принято было оставлять на блюде.

И вот барон, священнодействуя, словно епископ, приказывал подать тарелку с жиром и старательно вымазывал им драгоценные головки, держа их за кончик тонкой иглы, служившей им клювом. Возле него ставили зажженную свечку, и все умолкали в напряженном ожидании.

Затем он брал одну из приготовленных таким образом головок, насаживал ее на булавку, втыкал булавку в пробку, придавая всему этому равновесие с помощью тоненьких палочек, положенных крест-накрест, и осторожно водружал это приспособление – нечто вроде турникета – на горлышко бутылки.

Гости громко считали хором:

– Раз, два, три!

И толчком пальца барон заставлял быстро вертеться эту игрушку.

Тот из гостей, на которого, остановившись, указывал длинный острый клюв вальдшнепа, становился обладателем всех головок – изысканного блюда, возбуждавшего зависть соседей. Он брал их одну за другой и поджаривал на свечке. Жир трещал, зарумянившаяся кожа дымилась, и избранник судьбы грыз жирную головку, держа ее за клюв и шумно выражая свое удовольствие.

И каждый раз обедавшие поднимали бокалы и пили за его здоровье.

Покончив с последней головкой, избранник должен был по повелению барона рассказать какую-нибудь историю, чтобы ею вознаградить лишенных лакомого блюда.

Вот некоторые из этих рассказов.

ЭТА СВИНЬЯ МОРЕН

М. Удино

ГЛАВА I

– Друг мой, постой, – сказал я Лябарбу, – ты только что опять произнес: «Эта свинья Морен». Почему, черт возьми, я ни разу не слышал, чтобы, говоря о Морене, не называли его свиньей?

Лябарб, ныне депутат, вытарашил на меня глаза:

– Как, ты не знаешь истории Морена, и ты из Ля-Рошели?

Я признался, что не знаю истории Морена. Тогда Лябарб потер руки и начал рассказ.

– Ты ведь знал Морена и помнишь его большой галантерейный магазин на набережной Ля-Рошели?

– Да, помню.

– Отлично. Так вот в 1862 или 1863 годах Морен отправился на две недели в Париж, может быть, ради удовольствия или ради некоторых походов, но под предлогом застаться новым товаром. Ты знаешь, что значит для провинциального торговца провести две недели в Париже. От этого огонь зажигается в крови. Каждый вечер какие-нибудь зрелища, мимолетные знакомства с женщинами, непрерывное возбуждение ума. Тут теряют рассудок. Ничего уже не видят, кроме танцовщиц в трико, декольтированных актрис, полных икр, пышных плеч, и все это – стоит только руку протянуть, а между тем нельзя, невозможно прикоснуться. Едва удастся разок-другой отвесть какого-нибудь блюда попроще. И приходится уезжать все еще раззадоренному, с возбужденным сердцем, с непреодолимой жадой поцелуев, которые только пощекотали вам губы.

Морен находился именно в таком состоянии, когда взял билет до Ля-Рошели на экспресс, отходивший в восемь сорок вечера. Взмолванный и полный сожаления, прохаживался он по большому вестибюлю Орлеанской железной дороги и вдруг остановился как вкопанный при виде молодой женщины, целовавшей старую даму. Она приподняла вуалетку, и Морен в восхищении пробормотал:

– Черт возьми, какая красавица!

Простившись со старушкой, она вошла в зал ожидания, и Морен последовал за нею; затем она прошла на платформу, и Морен снова последовал за нею; потом она вошла в пустое купе, и Морен опять-таки последовал за нею.

С экспрессом ехало мало пассажиров. Паровоз свистнул, поезд тронулся. Они были одни.

Морен пожирал ее глазами. На вид ей было лет девятнадцать-двадцать; это была белокурая, рослая, со смелыми манерами молодая особа. Укутав ноги дорожным пледом, она вытянулась на диванчике, собираясь спать.

Морен спрашивал себя: «Кто она?» – и тысячи предположений, тысячи планов мелькали в его голове. Он говорил себе: «Столько ходит рассказов о приключениях на железных дорогах. Быть может, и мне предстоит одно из таких приключений. Кто знает? Удача приходит так внезапно. Быть может, достаточно только быть смелым. Ведь сказал же Дантон: „Дерзайте, дерзайте, всегда дерзайте“? Если не Дантон, так Мирабо. В конце концов это неважно. Да, но у меня-то как раз не хватает смелости, вот в чем загвоздка! О! Если бы знать, если бы можно было читать в чужой душе! Держу пари, что мы ежедневно, не подозревая, проходим мимо блестящих случаев. А ведь ей было бы достаточно сделать всего лишь движение, намекнув, что она только и ждет...»

И он принялся строить планы, которые могли бы привести его к победе. Он представлял себе начало знакомства в рыцарском духе: мелкие услуги, которые он окажет спутнице, живой, любезный разговор, который закончится объяснением, а оно, в свою очередь... тем самым, что ты имеешь в виду.

Между тем ночь проходила, а очаровательная девушка продолжала спать, пока Морен обдумывал, как произойдет ее падение. Рассвело, и вскоре солнце бросило с далекого горизонта первый луч, длинный и яркий, на спокойное лицо спящей.

Она проснулась, села, взглянула в окно на просторы полей, затем на Морена и улыбнулась улыбкой счастливой женщины – ласково и весело. Морен вздрогнул. Сомнений быть не могло, улыбка предназначалась ему; она была тем скромным приглашением, тем желанным знаком, которого он так долго ждал. Эта улыбка означала: «До чего вы глупы, до чего вы наивны, какой вы простофиля, если торчите, как пень, на своем месте со вчерашнего вечера. Взгляните-ка на меня: разве я вам не нравлюсь? А вы сидите всю ночь наедине с хорошенькой женщиной, как дурак, не осмеливаясь ни на что».

Она продолжала улыбаться, глядя на него, начала даже смеяться, а он растерянно подыскивал подходящую фразу, старался придумать подходящий комплимент или хоть несколько слов, все равно каких. Но ничего не находил, ровно ничего. Тогда с дерзостью труса он подумал: «Будь что будет – рискну». И вдруг, не говоря ни слова, ринулся вперед, простирая руки и алчно выпятив губы, схватил ее в объятия.

Одним прыжком девушка вскочила, испуская вопли ужаса, крича: «Помогите!» Она распахнула дверцу купе, звала на помощь и, перепуганная до безумия, пыталась выпрыгнуть, в то время как ошалевший Морен, уверенный, что она выбросится на рельсы, удерживал ее за юбку и восклицал, заикаясь:

– Сударыня... О! Сударыня!

Поезд замедлил ход и остановился. Двое служащих бросились на отчаянные призывы молодой женщины, которая упала к ним на руки, пролепетав:

– Этот человек хотел... хотел... меня... меня...

И она лишилась чувств.

Поезд находился на станции Мозе. Дежурный жандарм арестовал Морена.

Когда жертва его грубой выходки пришла в себя, она дала показания. Власти составили протокол. И несчастный торговец только к вечеру добрался домой; его привлекли к ответственности за оскорбление нравственности в общественном месте.

ГЛАВА II

В то время я был главным редактором газеты «Светоч Шаранты» и виделся с Мореном каж-

дый вечер в Коммерческом кафе.

На следующее утро после своего приключения он пришел ко мне, не зная, что делать. Я не скрыл от него своего мнения:

– Ты просто свинья. Так себя не ведут.

Он плакал; жена его побила; он уже видел, как торговля его приходит в упадок, обесчещенное имя забрасывают грязью, а возмущенные друзья перестают ему кланяться. В конце концов мне стало жаль Морена, и я позвал своего сотрудника Риве, веселого и находчивого малого, чтобы узнать его мнение на этот счет. Он посоветовал мне переговорить с прокурором – одним из моих друзей. Я отправил Морена домой, а сам пошел к этому чиновнику.

Я узнал, что оскорбленная девушка – мадемуазель Анриетта Боннель, ездившая в Париж за дипломом учительницы; у нее не было в живых ни отца, ни матери, и она проводила каникулы у дяди и тетки, скромных буржуа в Мозе.

Положение Морена осложнялось тем, что дядя подал в суд. Прокурорский надзор соглашался прекратить дело, если жалоба будет взята обратно. Этого-то и следовало добиться.

Я возвратился к Морену и застал его в постели, больного от волнения и горя. Жена, костлявая, рослая, разбитная баба, ругала его непрерывно. Она провела меня в комнату, крича мне прямо в лицо:

– Пришли полюбоваться на эту свинью Морена? Вот он, голубчик!

И она стала перед кроватью, подбоченившись. Я объяснил положение вещей, и Морен взмолился, чтобы я разыскал эту семью. Поручение было щекотливое, тем не менее я взялся его исполнить. Бедняга не переставал твердить:

– Уверю тебя, что я ни разу не поцеловал ее, ни разу. Клянусь тебе!

Я ответил:

– Это не меняет дела, все равно ты свинья.

Затем я взял тысячу франков, которые он передал мне для расходов по моему усмотрению.

Однако, не решаясь отправиться один к родственникам девушки, я попросил Риве сопроводить меня. Он согласился при условии, что мы выедем немедленно, так как на другой день вечером у него было спешное дело в Ля-Рошели.

Два часа спустя мы звонили у двери деревенского домика. Нам открыла красивая девушка. Вероятно, это была она. Я тихонько сказал Риве:

– Черт возьми, я начинаю понимать Морена!

Дядя, господин Тоннеле, оказавшийся как раз подписчиком «Светоча» и нашим горячим политическим единомышленником, принял нас с распростертыми объятиями, приветствовал, радостно жал руки в восторге от того, что видит у себя редакторов своей газеты. Риве шепнул мне на ухо:

– Я думаю, что дело этой свиньи Морена нам удастся уладить.

Племянница удалилась, и я приступил к щекотливому вопросу. Я намекнул на возможность скандала и указал на неминуемый ущерб, который причинила бы девушке огласка подобного дела: никто ведь не поверит, что все ограничилось только поцелуем.

Дядюшка, очевидно, колебался, но ничего не мог решить без ведома жены, которая должна была вернуться только поздно вечером. Внезапно он воскликнул с торжеством:

– Пойдите, мне пришла в голову превосходная мысль: я оставлю вас у себя. Вы оба у меня пообедаете и переночуете, а когда приедет жена, я надеюсь, мы поладим.



Риве сначала воспротивился, но желание вызволить из беды эту свинью Морена заставило и его согласиться принять приглашение.

Дядя встал, сияя, позвал племянницу и предложил нам погулять по его владениям, прибавив:
– Серьезные дела-на вечер.

Риве завел с ним разговор о политике. Я же очутился вскоре в нескольких шагах позади них рядом с девушкой. Она поистине была очаровательна, да очаровательна!

С бесконечными предосторожностями я заговорил с нею о ее приключении, намереваясь обеспечить себе союзницу.

Но она ничуть не казалась смущенной и слушала меня с таким видом, словно все это ее очень забавляло.

Я говорил ей:

– Подумайте, мадемуазель, о всех неприятностях, которые вас ожидают! Вам придется предстать перед судом, выносить лукавые взгляды, говорить перед всеми этими людьми, рассказывать публично о печальной сцене в вагоне. Между нами, не лучше ли было бы вам вообще не поднимать шума, осадить этого шалопаю, не зовя служащих, и просто-напросто перейти в другое купе?

Она рассмеялась:

– Вы правы! Но что поделаешь? Я испугалась; а с перепуга уже не до рассуждений! Когда я поняла все происшедшее, я очень пожалела о том, что закричала, но было уже поздно. Подумайте только, что этот болван набросился на меня, словно иступленный, не сказав ни слова, и лицо у него было, как у сумасшедшего. Я даже не знала, что ему от меня нужно.

Она смотрела мне прямо в глаза, не смущаясь, не робея. Я сказал себе: «Ну и бойкая же особа! Становится понятно, почему эта свинья Морен мог ошибиться».

Я отвечал шутя:

– Послушайте, мадемуазель, вы должны признать, что он заслуживает извинения: невозможно же, в конце концов, находиться наедине с такой красивой девушкой, как вы, не испытывая совершенно законного желания поцеловать ее.

Она рассмеялась еще громче, сверкнув зубами.

– Между желанием и поступком, сударь, должно найтись место и уважению.

Фраза звучала смешно и не совсем вразумительно. Внезапно я спросил:

– Ну хорошо, а если бы я вас поцеловал сейчас, что бы вы сделали?

Она остановилась, смерила меня взглядом с головы до ног, затем сказала спокойно:

– О, вы – это другое дело!

Я хорошо знал, черт побери, что это другое дело, так как меня во всей округе звали не иначе, как «красавец Лябарб», и мне было в то время тридцать лет. Но я спросил:

– Почему же?

Она пожала плечами и ответила:

– Очень просто! Потому что вы не так глупы, как он. – Затем прибавила, быстро взглянув на меня: – И не так безобразны.

Не успела она отстраниться, как я влепил ей в щеку звонкий поцелуй. Она отскочила в сторону, но было уже поздно. Затем сказала:

– Ну, вы тоже не стесняетесь! Советую только не возобновлять этой шутки!

Я принял смиренный вид и сказал вполголоса:

– Ах, мадемуазель, я лично от души желаю предстать перед судом по тому же делу, что и Морен.

Тогда она спросила:

– Почему?

Я перестал смеяться и взглянул ей прямо в глаза.

– Потому, что вы одна из самых красивых женщин. Потому, что для меня стало бы патентом, титулом, славой то обстоятельство, что я пытался вас взять силой. Потому, что, увидев вас, все бы говорили: «Ну, на этот раз Лябарб не добился того, чего добивается обычно, но тем не менее ему повезло».

Она снова от души рассмеялась:

– Ну и чудак же вы!

Не успела она произнести слово «чудак», как я уже держал ее в объятиях, осыпая жадными поцелуями ее волосы, лоб, глаза, рот, щеки, все лицо, каждое местечко, которое она невольно оставляла открытым, стараясь защитить остальные.

В конце концов она вырвалась красная и оскорбленная.

– Вы грубиян, сударь, и заставляете меня раскаиваться в том, что я вас слушала.

Я схватил ее руку и, несколько смутившись, шептал:

– Простите, простите, мадемуазель. Я вас оскорбил, я был груб! Но что я мог поделать? Если бы вы знали!..

И тщетно старался придумать какое-нибудь извинение.

Немного помолчав, она сказала:

– Мне нечего знать, сударь!

Но я уже нашелся и воскликнул:

– Мадемуазель, вот уж год, как я люблю вас!

Она была искренне изумлена и подняла на меня глаза. Я продолжал:

– Да, мадемуазель, послушайте меня! Я не знаю Морена, и мне нет до него никакого дела. Пусть его отдадут под суд и посадят в тюрьму; мне это совершенно безразлично. Я увидел вас здесь год тому назад; вы стояли вон там, у решетки. Взглянув на вас, я был потрясен, и с тех пор ваш образ не покидал меня. Верьте или не верьте – все равно. Я нашел вас очаровательной; воспоминание о вас завладело мною; мне захотелось снова увидеться с вами, и вот я здесь под предлогом уладить дело этой скотины Морена. Обстоятельства заставили меня перейти границу; простите, умоляю вас, простите!

Она старалась прочитать правду в моем взгляде, готовая снова рассмеяться, и прошептала:

– Выдумщик!

Я поднял руку и произнес искренним тоном (думаю даже, что говорил вполне искренне):

– Клянусь вам, я не лгу.

Она сказала просто:

– Рассказывайте!

Мы были одни, совсем одни; Риве с дядей исчезли в извилинах аллеи, и я принялся объясняться ей в любви пространно и нежно, пожимая и осыпая поцелуями ее руки. Она слушала мое признание, как нечто приятное и новое, не зная хорошенько, верить мне или нет.

В конце концов я действительно почувствовал волнение и поверил в то, что говорил; я был

бледен, задышался, вздрагивал, а моя рука между тем тихонько обняла ее за талию.

Я нашептывал ей в кудряшки над ухом. Она совсем замерла, отдавшись мечтам.

Потом ее рука встретилась с моей и пожала ее; я медленно, но все сильнее и сильнее трепетной рукой сжимал ее стан; она больше не сопротивлялась, я коснулся губами ее щеки, и вдруг ее уста встретились с моими. То был долгий-долгий поцелуй; и он длился бы еще дольше, если бы в нескольких шагах за собою я не услышал: «Гм-гм».

Она бросилась в чашу. Я обернулся и увидел Риве, подходившего ко мне.

Остановившись посреди дороги, он сказал серьезно:

– Ну-ну! Так-то ты улаживаешь дело этой свиньи Морена?

Я отвечал самодовольно:

– Каждый делает, что может. А как дядя? От него добился ты чего-нибудь? За племянницу я отвечаю.

– С дядей я был менее счастлив, – объявил Риве.

Я взял его под руку, и мы вернулись в дом.

ГЛАВА III

За обедом я окончательно потерял голову. Я сидел рядом с нею, и наши руки беспрестанно встречались под столом; ногой я пожимал ее ножку; наши взгляды то и дело встречались.

Затем мы совершили прогулку при луне, и я нашептывал ей все нежные слова, какие мне подсказывало сердце. Я прижимал ее к себе, целуя поминутно, не отрывая своих губ от ее влажного рта. Впереди нас о чем-то спорили дядя и Риве. Их тени степенно следовали за ними по песку дорожек.

Вернулись домой. Вскоре телеграфист принес депешу: тетка извещала, что приедет только завтра утром, в семь часов, с первым поездом.

Дядя сказал:

– Ну, Анриетта, проводи гостей в их комнаты.

Пожав руку старику, мы поднялись наверх. Сначала она проводила нас в спальню Риве, и он шепнул мне:

– Небось не повела нас раньше в твою комнату.

Потом она проводила меня до моей постели. Как только она осталась со мной наедине, я снова схватил ее в объятия, стремясь затуманить ее рассудок и сломить сопротивление. Но она убежала, как только почувствовала, что слабеет.

Я лег в постель крайне рассерженный, крайне взволнованный, крайне смущенный, зная, что не усну всю ночь, и припоминал, не совершил ли я какой-либо неловкости, как вдруг в мою дверь тихонько постучались.

Я спросил:

– Кто там?

Еле слышный голос ответил:

– Я.

Наскоро одевшись, я открыл дверь: вошла она.

– Я забыла спросить вас, – сказала она, – что вы пьете по утрам: шоколад, чай или кофе?

Я бурно обнял ее, осыпая неистовыми ласками, и бессвязно повторял:

– Я пью... пью... пью...

Но она выскользнула из моих рук, задула свечу и исчезла.

Я остался один, в темноте, разъяренный, ища спички и не находя их. Отыскав их наконец и почти обезумев, я вышел в коридор с подсвечником в руке.

Что мне было делать? Я не рассуждал больше; я шел с тем, чтобы найти Анриетту; я ее желал. И, не думая ни о чем, я сделал несколько шагов. Но вдруг меня осенила мысль: «А если я попаду к дяде? Что мне ему сказать?» Я остановился; голова была пуста, сердце сильно билось. Через несколько секунд я нашел ответ: «Черт возьми! Да скажу, что искал комнату Риве, чтобы поговорить с ним о неотложном деле».

И я стал осматривать двери, стараясь угадать, какая из них ведет к ней. Но никаких признаков, которые бы могли помочь мне, не находил. Наугад я повернул ручку одной из дверей. Открыл, вошел... Анриетта, сидя на постели, растерянно смотрела на меня.

Тогда я тихонько запер дверь на задвижку и, подойдя к ней на цыпочках, сказал:

– Я забыл попросить вас, мадемуазель, дать мне что-нибудь почитать.

Она отбивалась, но вскоре я открыл книгу, которую искал. Не скажу ее заглавия. То был поистине самый чудный роман и самая божественная поэма.

Едва я перевернул первую страницу, она предоставила мне читать сколько угодно; я перелистал столько глав, что наши свечи совсем догорели.

Когда, поблагодарив ее, я возвращался в свою комнату, крадучись волчьим шагом, меня остановила чья-то сильная рука, и голос – то был голос Риве – прошептал у меня над ухом:

– Так ты все еще не уладил дела этой свиньи Морена?

В семь часов утра она сама принесла мне чашку шоколада. Я никогда не пил такого. Этим шоколадом можно было упиваться без конца, так он был мягок, бархатист, ароматен, так опьянял. Я не в силах был оторвать губ от прелестных краев ее чашки.

Едва девушка вышла, как появился Риве. Он казался немного взволнованным и раздраженным, как человек, не спавший всю ночь, и сказал мне угрюмо:

– Знаешь, если ты будешь продолжать в том же духе, ты испортишь дело этой свиньи Морена.

В восемь часов приехала тетка. Обсуждение дела длилось недолго. Было решено, что эти славные люди возьмут свою жалобу обратно, а я оставлю пятьсот франков в пользу местных бедняков.

Тут хозяева стали удерживать нас еще на день. Предложили даже устроить прогулку для осмотра развалин. Анриетта за спиной родных кивала мне головой: «Да, да, оставайтесь же!» Я согласился, но Риве упрямо настаивал на отъезде.

Я отвел его в сторону, просил, умолял, твердил ему:

– Послушай, Риве, голубчик, сделай это для меня!

Но он был словно вне себя и повторял мне прямо в лицо:

– С меня достаточно, слышишь ты, вполне достаточно дела этой свиньи Морена!

Я принужден был уехать вместе с ним. Это была одна из самых тяжелых минут моей жизни. Я охотно согласился бы улаживать это дело всю жизнь.

В вагоне, после крепких немых прощальных рукопожатий, я сказал Риве:

– Ты просто скотина!

Он отвечал:

– Милый мой, ты начинаешь меня дьявольски раздражать.

Подъезжая к редакции «Светоча», я увидел ожидавшую нас толпу... И чуть только нас заметили, поднялся крик:

– Ну как, удалось вам уладить дело этой свиньи Морена?

Вся Ля-Рошель была взволнована происшедшим. Риве, дурное настроение которого рассеялось в дороге, едва удерживался от смеха, заявляя:

– Да, все уладилось благодаря Лябарбу.

И мы отправились к Морену.

Он лежал в кресле, с горчичниками на ногах и холодным компрессом на голове, изнемогая от мучительной тревоги. Он непрерывно кашлял чуть слышным кашлем умирающего, и никто не знал, откуда это у него взялось. Жена бросала на него взоры тигрицы, готовой его растерзать.

Увидев нас, Морен задрожал, его руки и колени затряслись. Я сообщил:

– Все улажено, пакостник; не вздумай только начинать сначала.

Он встал, задыхаясь, взял обе мои руки, поцеловал их, как руки какого-нибудь принца, заплакал, чуть не потерял сознание, обнял Риве и даже жену, которая, однако, одним толчком отшвырнула его в кресло.

Морен никогда уже не оправился от этой истории; пережитое им волнение оказалось чересчур сильным.

Во всей округе его называли теперь не иначе, как «эта свинья Морен», и прозвище вонзалось в него, словно острие шпаги, всякий раз, как он его слышал.

Когда на улице какой-нибудь мальчишка кричал: «Свинья», – Морен невольно оборачивался. Друзья изводили его жестокими насмешками, спрашивая всякий раз, когда ели окорок:

– Это не твой?

Он умер два года спустя.

Что касается меня, то, выставя свою кандидатуру в депутаты в 1875 году, я отправился однажды с деловым визитом к новому нотариусу в Туссер, к мэтру Бельонкю. Меня встретила высокая, красивая, пышная женщина.

– Не узнаете? – спросила она.

Я пробормотал:

– Нет... не узнаю... сударыня.

– Анриетта Боннель.

– Ах!

И я почувствовал, что бледнею.

А она была совершенно спокойна и улыбалась, поглядывая на меня.

Как только она оставила меня наедине с мужем, он взял меня за руки и так крепко пожал их, что чуть не раздавил.

– Уж давно, сударь, я хочу повидать вас. Моя жена мне столько о вас говорила. Я знаю... да, знаю, при каких прискорбных обстоятельствах вы с нею познакомились, и знаю также, как безупречно, деликатно, тактично и самоотверженно вели вы себя в деле... – Он запнулся, а затем прибавил, понизив голос, точно произнося непристойность: –... в деле этой свиньи Морена.

СТРАХ

Ж. – К. Гюисмансу

После обеда все поднялись на палубу. Перед нами расстилось Средиземное море, и на всей его поверхности, отливавшей муаром при свете полной, спокойной луны, не было ни малейшей зыби. Огромный пароход скользил по зеркальной глади моря, выбрасывая в небо, усеянное звездами, длинную полосу черного дыма, а вода позади нас, совершенно белая, взбудораженная быстрым ходом тяжелого судна и взбаламученная его винтом, пенилась и точно извивалась, сверкая так, что ее можно было принять за кипящий лунный свет.

Мы – нас было шесть-восемь человек, – молчаливо любуясь, смотрели в сторону далекой Африки, куда лежал наш путь. Капитан, куривший сигару, внезапно вернулся к разговору, происходившему во время обеда.

– Да, в этот день я натерпелся страха. Мой корабль шесть часов оставался под ударами моря на скале, вонзившейся в его чрево. К счастью, перед наступлением вечера мы были подобраны английским угольщиком, заметившим нас.

Тут в первый раз вступил в беседу высокий, опаленный загаром мужчина сурового вида, один из тех людей, которые, чувствуется, изъездили среди беспрестанных опасностей огромные неизведанные страны и чьи спокойные глаза словно хранят в своей глубине отблеск необычайных картин природы, виденных ими, – один из тех людей, которые кажутся закаленными храбрецами.

– Вы говорите, капитан, что натерпелись страха; я этому не верю. Вы ошибаетесь в определении и в испытанном вами чувстве. Энергичный человек никогда не испытывает страха перед лицом неминуемой опасности. Он бывает взволнован, возбужден, встревожен, но страх – нечто совсем другое.

Капитан отвечал, смеясь:

– Черт возьми! Могу вас все-таки уверить, что я натерпелся именно страха.

Тогда человек с бронзовым лицом медленно возразил:

– Позвольте мне объясниться! Страх (а испытывать страх могут и самые храбрые люди) –

это нечто чудовищное, это какой-то распад души, какая-то дикая судорога мысли и сердца, одно воспоминание о которой внушает тоскливый трепет. Но если человек храбр, он не испытывает этого чувства ни перед нападением, ни перед неминуемой смертью, ни перед любой известной нам опасностью; это чувство возникает скорее среди необыкновенной обстановки, под действием некоторых таинственных влияний, перед лицом смутной, неопределенной угрозы. Настоящий страх есть как бы воспоминание призрачных ужасов отдаленного прошлого. Человек, который верит в привидения и вообразит ночью перед собой призрак, должен испытывать страх во всей его безграничной кошмарной чудовищности.

Я узнал страх среди бела дня лет десять тому назад. И я пережил его вновь прошлой зимой, в одну из декабрьских ночей.

А между тем я испытал много случайностей, много приключений, казавшихся смертельными. Я часто сражался. Я был замертво брошен грабителями. В Америке меня как инсургента приговорили к повешению; я был сброшен в море с корабельной палубы у берегов Китая. Всякий раз, когда я считал себя погибшим, я покорялся этому немедленно, без слезливости и даже без сожаления.

Но страх – это не то.

Я познал его в Африке. А между тем страх – дитя Севера; солнце рассеивает его, как туман. Заметьте это, господа. У восточных народов жизнь не ценится ни во что; человек покоряется смерти тотчас же; там ночи светлы и свободны от легенд, а души свободны от мрачных тревог, неотвязно преследующих людей в холодных странах. На Востоке можно испытать панический ужас, но страх там неизвестен.

Так вот что случилось со мною однажды в Африке.

Я пересекал большие песчаные холмы на юге Уаргла. Это одна из удивительных стран в мире, где повсюду сплошной песок, ровный песок безграничных берегов океана. Так вот представьте себе океан, превратившийся в песок в минуту урагана; вообразите немую бурю, с неподвижными волнами из желтой пыли. Эти волны высоки, как горы, неровны, разнообразны; они вздымаются, как разъяренные валы, но они еще выше и словно изборозжены переливами муара. Южное губительное солнце льет неумолимые отвесные лучи на это бушующее, немое и неподвижное море. Надо карабкаться на эти валы золотого праха, спускаться, снова карабкаться, карабкаться без конца, без отдыха, нигде не встречая тени. Лошади храпят, утопают по колена и скользят, спускаясь со склонов этих изумительных холмов.

Я был вдвоем с товарищем, в сопровождении восьми спаги и четырех верблюдов с их жожами. Мы не разговаривали, томимые зноем, усталостью и иссохнув от жажды, как сама эта знойная пустыня. Вдруг кто-то вскрикнул, все остановились, и мы замерли в неподвижности, поглощенные необъяснимым явлением, которое знакомо путешествуящим в этих затерянных странах.

Где-то невдалеке от нас, в неопределенном направлении, бил барабан, таинственный барабан джун; он бил отчетливо, то громче, то слабее, останавливаясь порою, а затем возобновляя свою фантастическую дробь.

Арабы испуганно переглянулись, и один сказал на своем наречии: «Среди нас смерть». И вот внезапно мой товарищ, мой друг, почти мой брат, упал с лошади головой вперед, пораженный солнечным ударом.

И в течение двух часов, пока я тщетно старался вернуть его к жизни, этот неуловимый барабан все время наполнял мой слух своим однообразным, перемежающимся и непонятным боем; и я чувствовал, что в этой яме, залитой пожаром солнечных лучей, среди четырех стен песка, рядом с этим дорогим мне трупом меня до мозга костей пронизывает страх, настоящий страх, отвратительный страх, в то время как неведомое эхо продолжало доносить до нас, находившихся за двести лье от какой бы то ни было французской деревни, частый бой барабана.

В этот день я понял, что значит испытывать страх; но еще лучше я постиг это в другой раз...

Капитан прервал рассказчика:

– Извините, сударь, но как же насчет барабана?... Что же это было?

Путешественник отвечал:

– Не знаю. И никто не знает. Офицеры, застигнутые этим странным шумом, обычно прини-

мают его за эхо, непомерно усиленное, увеличенное и умноженное волнистым расположением холмов, градом песчинок, уносимых ветром и ударяющихся о пучки высохшей травы, так как не раз было замечено, что явление это происходит вблизи невысокой растительности, сожженной солнцем и жесткой, как пергамент.

Этот барабан, следовательно, не что иное, как звуковой мираж. Вот и все. Но об этом мне стало известно лишь позже.

Перехожу ко второму случаю.

Это было прошлой зимой в одном из лесов северо-восточной Франции. Ночь наступила двумя часами раньше обычного, так темно было небо. Моим проводником был крестьянин, шедший рядом со мною по узенькой тропинке, под сводом сосен, в которых выл разбушевавшийся ветер. В просвете между вершинами деревьев я видел мчавшиеся смятенные, разорванные облака, словно бежавшие от чего-то ужасного. Иногда при более сильном порыве ветра весь лес наклонялся в одну сторону со страдальческим стоном, и холод пронизывал меня, несмотря на быстрый шаг и толстую одежду.

Мы должны были ужинать и ночевать у одного лесничего, дом которого был уже недалеко. Я отправлялся туда на охоту.

Мой проводник поднимал время от времени голову и бормотал: «Ужасная погода!» Затем он заговорил о людях, к которым мы шли. Два года тому назад отец убил браконьера и с тех пор по-мрачнел, словно его терзало какое-то воспоминание. Двое женатых сыновей жили с ним.

Тьма была глубокая. Я ничего не видел ни впереди, ни вокруг себя, а ветви деревьев, раскачиваемых ветром, наполняли ночь немолчным гулом. Наконец я увидел огонек, а мой товарищ вскоре наткнулся на дверь. В ответ раздались пронзительные крики женщин. Затем мужской голос, какой-то сдавленный голос, спросил: «Кто там?» Проводник назвал себя. Мы вошли. Я увидел забываемую картину.

Пожилой мужчина с седыми волосами и безумным взглядом ожидал нас, стоя среди кухни и держа заряженное ружье, в то время как двое здоровенных парней, вооруженных топорами, сторожили дверь. В темных углах комнаты я различил двух женщин, стоявших на коленях лицом к стене.

Мы объяснили, кто мы такие. Старик отставил ружье к стене и велел приготовить мне комнату, но так как женщины не шевельнулись, он сказал мне резко:

– Видите ли, сударь, сегодня ночью исполнится два года с тех пор, как я убил человека. В прошлом году он приходил за мною и звал меня. Я ожидаю его и нынче вечером.

И он прибавил тоном, заставившим меня улыбнуться:

– Вот почему нам сегодня не по себе.

Я ободрил его, насколько мог, радуясь тому, что пришел именно в этот вечер и был свидетелем этого суеверного ужаса. Я рассказал несколько историй, мне удалось успокоить почти всех.

У очага, уткнувшись носом в лапы, спала полуслепая лохматая собака, одна из тех собак, которые напоминают нам знакомых людей.

Снаружи буря ожесточенно билась в стены домика, а сквозь узкий квадрат стекла, нечто вроде потайного окошечка, устроенного рядом с дверью, я увидел при свете ярких молний растрепанные деревья, качаемые ветром.

Я чувствовал, что, несмотря на все мои усилия, глубокий ужас продолжает сковывать этих людей и всякий раз, когда я переставал говорить, их слух ловил отдаленные звуки. Утомившись зрелищем этого бессмысленного страха, я собирался уже спросить, где мне спать, как вдруг старший лесничий вскочил одним прыжком со стула и опять схватился за ружье, растерянно бормоча:

– Вот он! Вот он! Я слышу!

Женщины опять упали на колени по углам, закрыв лицо руками, а сыновья вновь взяли за топоры. Я пытался было успокоить их, но уснувшая собака внезапно пробудилась и, подняв морду, вытянув шею, глядя на огонь полуслепыми глазами, издала тот зловещий вой, который так часто приводит в трепет путников по вечерам, среди полей. Теперь все глаза были устремлены на собаку; поднявшись на ноги, она сначала оставалась неподвижной, словно при виде какого-то призрака, и была навстречу чему-то незримому, неведомому, но, без сомнения, страшному, так как

вся шерсть на ней поднялась дыбом. Лесничий, совсем помертвев, воскликнул:

– Она его чуёт! Она его чуёт! Она была здесь, когда я его убил.

Обеспамятевшие женщины завывали, вторя собаке.

У меня невольно мороз пробежал по спине. Вид этого животного, в этом месте, в этот час, среди этих обезумевших людей, был страшен.

Целый час собака выла, не двигаясь с места, выла, словно в тоске наваждения, и страх, чудовищный страх вторгался мне в душу. Страх перед чем? Сам не знаю. Просто страх – вот и все.

Мы сидели, не шевелясь, мертвенно-бледные, в ожидании ужасного события, напрягая слух, задыхаясь от сердцебиения, вздрагивая с головы до ног при малейшем шорохе. А собака принялась теперь ходить вокруг комнаты, обнюхивая стены и не переставая выть. Животное положительно сводило нас с ума! Крестьянин, мой проводник, бросился к ней в припадке ярости и страха и, открыв дверь, выходящую на дворик, вышвырнул собаку наружу.

Она тотчас же смолкла, а мы погрузились в еще более жуткую тишину. И вдруг мы все одновременно вздрогнули: кто-то крался вдоль стены дома, обращенной к лесу; затем он прошел мимо двери, которую, казалось, нащупывал неверною рукой; потом ничего не было слышно минуты две, которые довели нас почти до безумия; затем он вернулся, по-прежнему слегка касаясь стены; он легонько царапался, как царапаются ногтями дети; затем вдруг в окошечке показалась голова, совершенно белая, с глазами, горевшими, как у дикого зверя. И изо рта ее вырвался неясный жалобный звук.

В кухне раздался страшный грохот. Старик лесничий выстрелил. И тотчас оба сына бросились вперед и загородили окошко, поставив стоямя к нему большой стол и придвинув буфет.

Клянусь, что при звуке ружейного выстрела, которого я никак не ожидал, я ощутил в сердце, в душе и во всем теле такое отчаяние, что едва не лишился чувств и был чуть жив от ужаса.

Мы пробыли так до зари, не имея сил двинуться с места или выговорить слово; нас точно свела судорога какого-то необъяснимого безумия.

Баррикады перед дверью осмелились разобрать только тогда, когда сквозь щелку ставня забрезжил тусклый дневной свет.

У стены за дверью лежала старая собака; ее горло было пробито пулею.

Она выбралась из двора, прорыв отверстие под изгородью.

Человек с бронзовым лицом смолк, затем прибавил:

– В ту ночь мне не угрожала никакая опасность, но я охотнее пережил бы еще раз часы, когда я подвергался самой лютой опасности, чем одно это мгновение выстрела в бородатое лицо, показавшееся в окошечке.

НОРМАНДСКАЯ ШУТКА

А. де Жуэнвиллю

Процессия двигалась по выбитой дороге, под сенью высоких деревьев, росших по откосам, на которых были разбросаны фермы. Впереди шли новобрачные, за ними родственники, далее гости, наконец, местные бедняки; мальчишки носились вокруг процессии, как мухи, протискивались в ее ряды, влезали на деревья, чтобы лучше видеть.

Новобрачный Жан Патю, красивый малый и самый богатый фермер в округе, был прежде всего завзятым охотником, он забывал всякое благоразумие ради удовлетворения этой страсти и тратил кучу денег на собак, сторожей, хорьков и ружья.

За новобрачной, Розали Руссель, настойчиво ухаживали все окрестные женихи, так как находили ее привлекательной и знали, что за нею хорошее приданое; она выбрала Патю, быть может, потому, что он нравился ей больше других, а скорее всего, как и подобало рассудительной нормандке, потому, что у него было больше денег.

Когда они обогнули высокий забор мужниной фермы, раздалось сорок ружейных выстрелов, но стрелков не было видно: они спрятались в канавах. При этом грохоте мужчинами овладела бурная веселость, и они стали тяжело приплясывать в своих праздничных одеждах, а новобрач-

ный, оставив жену, бросился к слуге, которого заметил за деревом, выхватил у него ружье и выстрелил сам, резвясь, как жеребенок.

Затем процессия возобновила свой путь, следуя мимо яблонь, уже отягощенных плодами, по нескошенной траве, среди телят, которые таращили огромные глаза, медленно поднимались и стояли, вытянув морды к проходившим.

Приближаясь к дому, где ждал обед, мужчины становились серьезнее. Одни из них, побогаче, нарядились в блестящие шелковые цилиндры, казавшиеся чем-то чужеземным в этом месте; на других были старые широкополые шляпы с длинным ворсом, словно сделанные из кротовых шкур; самые бедные были в картузах.

У всех женщин были шали, наброшенные на спину, концы которых они церемонно поддерживали руками. Эти шали были пестрого, красного и огненного цвета, и их яркость, казалось, приводила в изумление черных кур на навозных кучах, уток в лужах и голубей на соломенных крышах.

Вся зелень деревни, зелень травы и деревьев словно стремилась не уступать этому пламенеющему пурпуру, и оба цвета, соприкасаясь друг с другом, становились еще ослепительнее под лучами полуденного солнца.

Там, где кончался свод яблоневых ветвей, стояла как бы в ожидании большая ферма. Из раскрытых окон и дверей валил пар, густой запах съестного шел из всех отверстий обширного здания, от самих его стен.

Вереница приглашенных змеей вилась по двору. Передние, дойдя до крыльца, разрывали цепь, разбредались, между тем как в распахнутые настежь ворота продолжали входить все новые и новые. Канавы были теперь усеяны мальчишками и любопытными из бедняков; ружейные выстрелы не прекращались, раздаваясь со всех сторон сразу, оставляя в воздухе пороховой дым и запах, пьянящий, как абсент.

У входа женщины стряхивали пыль с платьев, развязывали длинные яркие ленты шляп, снимали шали, перекидывали их через руку и входили в дом, чтобы окончательно освободиться там от этих украшений.

Стол был накрыт в большой кухне, которая могла вместить человек сто.

За обед сели в два часа. В восемь часов вечера еще ели. Мужчины, в расстегнутых жилетах, без сюртуков, с покрасневшими лицами, поглощали яства, как бездонные бочки. Желтый, прозрачный, золотистый сидр весело искрился в больших стаканах наряду с кроваво-темным вином.

Между каждым блюдом, по нормандскому обычаю, делали передышку, пропуская стаканчик водки, вливавшей огонь в жилы и дурь в головы.

Время от времени кто-нибудь из гостей, наевшись до отвала, выходил под ближайшие деревья и, облегчившись, возвращался к столу с новым аппетитом.

Фермерши, багровые, еле дышавшие, в раздутых наподобие пузырей лифах, перетянутые корсетами, из стыдливости не решались выходить из-за стола, хотя их подпирало сверху и снизу. Но одна из них, которой стало совсем невмочь, вышла, и за ней последовали все остальные. Они возвратились повеселев, готовые опять хохотать. И тут-то начались тяжеловесные шутки.

Через стол перелетали залпы сальностей – все по поводу брачной ночи. Весь арсенал крестьянского остроумия был пущен в ход. Лет сто одни и те же непристойности неизменно служат в подобных случаях и, несмотря на свою общеизвестность, по-прежнему возбуждают среди гостей взрывы хохота.

Один седовласый старик провозгласил: «Кому в Мезидон, пожалуйста в карету!» И последовали вопли веселья.

На конце стола четыре парня, соседи, готовили новобрачным шутки и, видимо, придумали что-то удачное, до того они топали ногами, перешептываясь.

Один из них, воспользовавшись минутой тишины, вдруг крикнул:

– Уж и потешатся сегодня ночью браконьеры, да еще при такой луне!.. Ведь ты, Жан, не этой луной любоваться будешь?

Новобрачный быстро обернулся:

– Пусть попробуют только сунуться!

Но тот расхохотался:

– Чего ж им не прийти, ты ведь небось ради них не бросишь своего дела!

Весь стол задрожал от смеха. Затрясся пол, зазвенели стаканы.

Новобрачный пришел в ярость при мысли, что его свадьбой могут воспользоваться, чтобы браконьерствовать на его земле.

– Говорю тебе: пусть только сунутся!

Тут хлынул целый ливень двусмысленных шуток, заставивших слегка покраснеть новобрачную, трепетавшую от ожидания.

Наконец, когда выпито было несколько бочонков водки, все пошли спать; молодые отправились в свою комнату, находившуюся, как все комнаты на фермах, в нижнем этаже, а так как в ней было немного жарко, они отворили окно и закрыли ставни. Маленькая безвкусная лампа, подарок отца молодой, горела на комод; постель готова была принять новую чету, вовсе не стремившуюся обставлять свои первые объятия буржуазным церемониалом горожан.

Молодая женщина уже сняла головной убор и платье и, оставшись в нижней юбке, снимала башмаки, в то время как Жан докуривал сигару, искоса поглядывая на свою подругу.

Он следил за нею масляным взглядом, скорее похотливым, чем нежным, потому что не столько любил, сколько желал ее, и вдруг резким движением сбросил с себя одежду, словно собираясь приняться за работу.

Она развязала ботинки и теперь снимала чулки; обращаясь к нему на «ты», как к другу детства, она сказала:

– Спрячься на минуту за занавеску, пока я не лягу в постель.

Он сделал было вид, что не хочет, затем пошел с лукавым видом и скрылся за занавеской, высунув, однако, голову. Она смеялась, хотела завязать ему глаза, и они играли так, любовно и весело, без притворной стыдливости и стеснения.

Чтобы покончить с этим, он уступил; тогда она мгновенно развязала последнюю юбку, которая, скользнув вдоль ее ног, упала плоским кругом на пол. Она оставила ее на полу и, перешагнув через нее, в развевающейся рубашке нырнула в постель; пружины взвизгнули под ее тяжестью.

Он тотчас же подошел, тоже уже разувшись, в одних брюках, и нагнулся к жене, ища ее губ, которые она прятала от него в подушку; но в этот миг вдали раздался выстрел, как ему показалось, в направлении леса Ране.

Он выпрямился, встревоженный, с бьющимся сердцем, и, подбежав к окну, распахнул ставень.

Полная луна заливала двор желтым светом. Тени от яблонь лежали черными пятнами у подножия стволов, а вдали блестели поля спелых хлебов.

В ту минуту как Жан высунулся из окна, вслушиваясь во все ночные звуки, две голых руки обвилились вокруг его шеи, и жена, увлекая его в глубь комнаты, прошептала:

– Брось, что тебе до этого, пойдем.

Он обернулся, схватил ее, сжал в объятиях, ощущая ее тело сквозь тонкое полотно рубашки, и, подняв ее своими сильными руками, понес к их ложу.

В ту минуту, как он опустил ее на постель, осевшую под тяжестью, опять раздался выстрел, на этот раз ближе.

Тогда Жан закричал, весь дрожа от бурной злобы:

– Черт возьми! Они думают, что я не выйду из-за тебя?... погоди же, погоди!

Он обулся и снял со стены ружье, всегда висевшее на уровне его руки; испуганная жена цеплялась с мольбой за его колени, но он живо высвободился, подбежал к окну и выпрыгнул во двор.

Она ждала час, другой, до рассвета. Муж не возвращался. Тогда, потеряв голову, она созвала людей, рассказала им, как рассердился Жан и как погнался за браконьерами.

Тотчас же слуги, возчики, парни – все отправились на поиски хозяина.

Его нашли в двух лье от фермы, связанного с головы до ног, полумертвого от ярости, со сломанным ружьем, в вывороченных наизнанку брюках, с тремя мертвыми зайцами вокруг шеи и с запиской на груди: «Кто уходит на охоту, теряет свое место».

Впоследствии, рассказывая о своей брачной ночи, он прибавлял:

– Да уж что говорить, славная это была шутка! Они, негодные, словили меня в силки, как кролика, и накинули мне на голову мешок. Но берегись, если я когда-нибудь до них доберусь! Вот как забавляются на свадьбах в Нормандии.

САБО

Леону Фонтэну

Старый кюре бубнил последние слова проповеди над белыми чепцами крестьянок и лохматыми или припوماженными головами крестьян. Огромные корзины фермерш, пришедших на мессу издалека, стояли на полу рядом с ними; в тяжелом зное июльского дня от всей этой толпы несло запахом скотины, запахом стада. Крики петухов долетали в открытую дверь вместе с мычанием коров, лежавших на соседнем поле. Временами поток воздуха, напоенный ароматом полей, врывается под портал церкви и, взметая мимоходом длинные ленты женских чепцов, колебал легкое желтое пламя восковых свечей на алтаре.

– Да будет воля Божья, аминь! – произнес священник.

Он умолк, открыл книгу и начал, как делал это каждую неделю, сообщать своей пастве о разных мелких делах и нуждах общины. Кюре был седой старик, ведавший приходом уже почти сорок лет, и проповедь служила ему поводом для более тесного общения с прихожанами.

Он продолжал:

– Поручаю вашим молитвам Дезире Валена, который тяжело болен, а также Помель, которая все еще не может оправиться от родов.

Тут он запнулся и начал искать клочки бумаги, заложенные в требник. Найдя наконец два из них, он продолжал:

– Не следует парням и девушкам по вечерам гулять на кладбище, а то мне придется обратиться к сторожу. Господин Сезэр Омон ищет в служанки честную девушку.

Он подумал еще несколько секунд, затем сказал:

– Это все, братия. Да пребудет с вами благодать Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

И он сошел с кафедры, чтобы закончить мессу.

Когда супруги Маланден вернулись в свою хижину, стоявшую на краю деревни Саблиер, по дороге в Фурвиль, отец, сухой, морщинистый старый крестьянин, сел за стол и сказал, пока жена его снимала с огня котелок, а дочь Аделаида брала из буфета стаканы и тарелки:

– Оно, пожалуй, и неплохо бы поступить к господину Омону, особенно раз он вдов; невестка его не любит, он одинокий и с деньгами. Может, нам послать к нему Аделаиду?

Жена поставила на стол котелок, совершенно черный от копоти, сняла с него крышку и принялась раздумывать, а тем временем к потолку вместе с запахом капусты поднимались клубы пара.

Муж продолжал:

– У него деньги есть – это уж я верно знаю. Но только тут надо бойкой быть, а в Аделаиде этого ни на волос нет.

Но жена промолвила:

– Можно все же попытаться.

И, обращаясь к дочери, глуповатой с виду девке, желтоволосой, с толстыми, румяными, как яблоки, щеками, она крикнула:

– Слушай, дура! Ступай к дяде Омону, скажи, что хочешь наняться к нему в прислуги и что будешь делать все, что он прикажет.

Дочь придурковато ухмыльнулась и ничего не ответила. Затем все трое принялись за еду.

Минут через десять отец продолжал:

– Слушай-ка, дочка, постарайся понять, что я тебе скажу...

И он медленно и подробно развил перед нею целый план поведения, предвидя все ничтожнейшие мелочи, чтобы подготовить ее к победе над этим старым вдовцом, не ладившим с семьей.

Мать перестала есть и вся обратилась в слух; она сидела с вилкой в руке и поочередно пере-

водила взгляд с мужа на дочь, молчаливо и сосредоточенно следя за наставлениями.

Аделаида сидела неподвижно, с блуждающим, неопределенным взглядом, послушная и тупая.

Едва кончился обед, как мать велела ей надеть чепец, и они вместе отправились к господину Сезэру Омону. Он жил в кирпичном флигеле, примыкавшем к хозяйственным строениям, где помещался его фермер. Ведь он уже перестал заниматься хозяйством и жил на ренту.

Ему было лет пятьдесят пять; он был толст, весел и ворчлив, как богатый человек. Он смеялся и кричал так, что дрожали стены, пил стаканами водку и сидр и, несмотря на свой возраст, все еще слыл пылким мужчиной.

Он любил гулять по полям, заложив руки за спину, оставляя глубокие следы своих сабо на жирной земле, и наблюдал за всходами хлеба или за цветением сурепицы спокойно, неторопливо, глазом любителя, которого теперь все это – хоть и любимое им – уже не касается.

Про него говорили:

– Он что погода: не каждый день бывает хорошим.

Он принял женщин, сидя за столом, навалившись на него животом и допивая кофе. Откинувшись от стола, он спросил:

– Вы зачем?

Заговорила мать:

– Вот привела вам дочку нашу Аделаиду. Сегодня утром кюре говорил, что вам нужна служанка.

Дядя Омон взглянул на девушку и отрывисто спросил:

– А сколько лет этой козе?

– Двадцать один исполнится на святого Михаила, господин Омон.

– Ладно; кладу ей пятнадцать франков в месяц и харчи. Буду ждать ее завтра утром, пусть приготовит мне завтрак.

И он отпустил их.

На другой день Аделаида приступила к исполнению своих обязанностей и усердно работала, не говоря ни слова, как дома, у родителей.

Часов в девять утра, когда она мыла окна в кухне, господин Омон окликнул ее:

– Аделаида!

Она прибежала:

– Я здесь, сударь.

Как только она предстала перед ним, смущенная, с беспомощно повисшими красными руками, он объявил:

– Слушай-ка хорошенько, чтобы впредь между нами не было недоразумений. Ты моя служанка – и все тут. Поняла? Мы не будем на ночь ставить рядом свои сабо.

– Да, хозяин.

– Каждому свое место, девушка: тебе – кухня, мне – зала. Исключая это, у тебя все будет одинаково со мною. Согласна?

– Согласна, хозяин.

– Ну, хорошо, иди работай.

И она вернулась к своему делу.

В полдень она накрыла хозяину в маленькой зале, оклеенной обоями, а когда суп был на столе, пошла ему доложить:

– Кушать подано, хозяин.

Он вошел, сел, оглянулся, развернул салфетку, поколебался с минуту, затем громовым голосом рявкнул:

– Аделаида!

Она прибежала в испуге. Он кричал, словно собирался убить ее.

– Черт возьми, а ты? Где же твое место?

– Но... хозяин...

Он продолжал рычать:

– Я не могу есть один, черт возьми; садись за стол или убирайся вон, если не желаешь. Тащи себе стакан и тарелку.

Еле живая от страха, она принесла еще прибор, бормоча:

– Я здесь, хозяин.

И села против него.

Тогда он развеселился: чокался, хлопал по столу, рассказывал истории, которые она слушала, опустив глаза, не смея произнести ни слова.

Время от времени она вставала и уходила за хлебом, за сидром, за тарелками.

Когда она принесла кофе и поставила перед ним всего одну чашку, он снова рассердился и ворчал:

– Ну а тебе?

– Я его совсем не пью, хозяин.

– Почему же ты его совсем не пьешь?

– Потому что совсем его не люблю.

Тут он разразился вновь:

– А я не люблю пить кофе один, черт возьми! Если ты не хочешь пить со мною, то сию же минуту убирайся вон, черт возьми! Неси чашку, да поживее!

Она принесла чашку, опять уселась, отведала черной жидкости, поморщилась, но под свирепым взглядом хозяина выпила все до капли. Затем ей пришлось пропустить одну рюмку водки колом, вторую – соколом и третью – мелкой пташечкой.

Тогда господин Омон отпустил ее.

– Ступай мой посуду, ты славная девушка.

То же повторилось за обедом. Потом она должна была составить ему партию в домино; наконец он отослал ее спать.

– Ступай ложись, я тоже сейчас лягу.

Она добралась до своей комнаты, до мансарды под крышей. Помолилась, разделась и юркнула под одеяло.

Но вдруг она вскочила в испуге. Стены сотрясались от неистового крика:

– Аделаида!

Она отворила дверь и ответила с чердака:

– Я здесь, хозяин.

– Где это здесь?

– Да в постели уже, хозяин.

Тогда он заревел:

– Сойдешь ли ты или нет, черт возьми! Я не могу спать один, черт возьми, а если ты не хочешь, так убирайся вон, черт возьми!

Тогда она крикнула сверху, в полном испуге, ища свечу:

– Сию минуту, хозяин!

И он услышал, как ее маленькие сабо, надетые на босу ногу, застучали по сосновой лестнице; когда она дошла до последних ступенек, он взял ее за руку, и как только она сняла и поставила перед дверью свои узкие деревянные башмаки рядом с огромными сабо хозяина, он втолкнул ее в спальню, ворча:

– Да поворачивайся же, черт возьми!

А она все твердила, сама не понимая своих слов:

– Сию минуту, сию минуту, хозяин.

Полгода спустя, когда она как-то в воскресенье пришла навестить родителей, отец с любопытством посмотрел на нее и спросил:

– А ты не беременна?

Она стояла, тупо поглядывая на свой живот и повторяя:

– Нет... не знаю...

Тогда, чтобы добиться правды, он спросил:

– Скажи-ка, не приходилось ли вам как-нибудь вечером ставить свои башмаки рядом?

– Как же, я их уже в первый вечер поставила, а потом и в другие.

– Так, значит, ты брюхата, толстая бочка!

Она расплакалась, лепеча:

– Да разве я знала? Разве я знала?

Отец Маланден, поглядывая на нее смысленными глазами и с видом полного удовлетворения, старался поймать ее на слове. Он спросил:

– Чего это ты не знала?

Она проговорила сквозь слезы:

– Разве я знала, что с этого бывают дети!

Вошла мать. Муж сказал, не сердясь:

– Она у нас беременна.

Но жена вспылила, возмущившись по инстинкту, и стала во всю глотку поносить рыдавшую девушку, обзывая ее «дурой» и «потаскухой».

Старик приказал ей замолчать. И, надевая фуражку, чтобы пойти поговорить о делах с дя-дюшкой Сезэром Омоном, заметил:

– Она, оказывается, еще глупее, чем я думал. Она и не знала, что делает, дуреха!

В следующее воскресенье, после проповеди, старый кюре сделал оглашение о предстоящей свадьбе господина Онюфра-Сезэра Омона с Селестой-Аделаидой Маланден.

ПЛЕТЕЛЬЩИЦА СТУЛЬЕВ

Леону Энник

Обед по случаю открытия охоты у маркиза де Бертан подходил к концу. Одиннадцать охотников, восемь молодых женщин и местный врач сидели за большим, ярко освещенным столом, уставленным цветами и фруктами.

Заговорили о любви, и тут поднялся спор, вечный спор о том, можно ли по-настоящему любить несколько раз в жизни или только однажды? Приводились примеры людей, у которых была только одна великая любовь; рассказывали также и о людях, любивших сильно и часто. Мужчины вообще утверждали, что страсть, как и болезнь, может поразить человека несколько раз и поразить насмерть, если перед нею возникает какое-нибудь препятствие. Против такого взгляда трудно было спорить, однако женщины, подкреплявшие свои мнения больше поэзией, нежели фактами, утверждали, что любовь, великая любовь, может выпасть смертному только однажды, что эта любовь подобна удару молнии и что сердце, тронутое ею, бывает настолько опустошено, разгромлено, испепелено, что никакое другое сильное чувство и даже никакая мечта о любви уже не могут возродиться в нем.

Маркиз, человек, много любивший, горячо оспаривал этот взгляд.

– А я утверждаю, что можно любить не раз – со всей страстью и от всей души. Вы приводите мне в пример людей, покончивших с собою из-за любви, и видите в этом доказательство невозможности новой страсти. Я отвечу вам, что если бы они не имели глупости покончить с собой – что отняло у них всякую возможность рецидива, они бы выздоровели и любили бы вновь, опять и опять, до самой своей естественной смерти. Про любовников можно сказать то же, что про пьяниц. Кто пил – будет пить, кто любил – будет любить. Это – дело темперамента.

Третьейским судьей избрали доктора, старого парижского врача, удалившегося в деревню, и попросили его высказаться. Но по этому вопросу у него не было определенного мнения.

– Это дело темперамента, как сказал маркиз; я же лично знал одну страсть, длившуюся непрерывно пятьдесят пять лет и окончившуюся только со смертью.

Маркиза захлопала в ладоши.

– Как это прекрасно! И какое блаженство быть любимым таким образом! Какое счастье прожить пятьдесят пять лет окруженным такой неустанной и проникновенной любовью! Как должен быть счастлив и благословлять жизнь тот, кого так любили!

Доктор улыбнулся:

– Вы действительно, сударыня, не ошиблись: любимым был мужчина. Вы его знаете, это господин Шуке, деревенский аптекарь. Что же касается женщины, то вы также знали ее: это старая плетельщица соломенных стульев, приходившая в замок раз в год. Но постараюсь говорить яснее.

Восторг женщин умерился, а их лица, выражавшие отвращение, как бы говорили: «фи!» – словно любовь должна разить только утонченные и изысканные существа, единственно достойные внимания порядочных людей.

Доктор продолжал:

– Месяца три тому назад меня позвали к этой старушке, к ее смертному ложу. Она приехала накануне в повозке, служившей ей домом и запряженной клячей, которую вы знаете, в сопровождении двух громадных черных собак – ее друзей и стражей. Кюре уже находился у нее. Она попросила нас быть ее душеприказчиками и, чтобы мы уяснили себе смысл ее последней воли, рассказала нам всю свою жизнь. Я не знаю ничего более необычайного и потрясающего.

Отец ее был плетельщиком стульев, и мать также была плетельщицей. Ей никогда не приходилось жить в доме, неподвижно стоявшем на земле.

Девочкой она бегала где попало, в рубище, грязная, запущенная. Ее родители останавливались где-нибудь у околицы, на краю рва; повозку отпрягали, лошадь паслась; собака спала, положив морду на лапы; девочка валялась в траве, пока отец и мать под тенью придорожных вязов чинили старые стулья со всей деревни. В этом походном жилище никто не разговаривал. Обменявшись несколькими необходимыми словами, чтобы решить, кто обойдет дома с обычным криком: «Стулья чинить, стулья плести!» – начинали сучить соломой, сидя рядом или друг против друга. Когда девочка отходила слишком далеко или затевала игру с каким-нибудь деревенским мальчишкой, гневный голос отца призывал ее обратно:

– Иди сюда сию же минуту, беспутная!

То были единственные нежные слова, которые она слышала.

Когда девочка подросла, ее стали посылать по домам за сбором дырявых стульев. Тогда у нее завязались кое-где знакомства с мальчиками, но в этих случаях родители ее новых друзей грубо призывали своих ребят:

– Сейчас же иди сюда, сорванец! Чтобы я не видела тебя болтающим с этой босячкой!..

Мальчики часто бросали в нее камнями.

Когда хозяйки давали ей несколько су, она тщательно их припрятывала.

Однажды – ей было тогда одиннадцать лет, – будучи в здешних краях, она встретила за кладбищем маленького Шуке, который плакал, потому что товарищ отнял у него два су. Эти слезы маленького буржуа глубоко потрясли ее: он принадлежал к тому кругу детей, которые, по мнению, сложившемуся в бедной головке обездоленной девочки, должны быть всегда довольны и счастливы. Она подошла к нему и, узнав причину горя, сунула ему в руку все свои сбережения – семь су, которые он, конечно, и взял, отирая слезы. Тогда, обесумев от радости, она осмелилась поцеловать его. Он был занят разглядыванием монет и не протестовал. Видя, что ее не бьют и не отталкивают, она поцеловала его еще раз и обняла его крепко, от всего сердца. Затем она убежала.

Что происходило в этой несчастной голове? Привязалась ли эта бедняжка к малышу за то, что пожертвовала ему все свое богатство, или за то, что отдала ему свой первый поцелуй любви? Это всегда тайна, будь то дети или взрослые.

Целые месяцы мечтала она впоследствии об этом уголке кладбища и о мальчике. В надежде увидеть его снова она обкрадывала родителей, стараясь пожить хотя бы одним су то здесь, то там, на починке стульев или на покупке провизии. Когда она вернулась в эти места, у нее было накоплено уже два франка, но ей удавалось видеть чистенького маленького аптекаря только издали, за окнами отцовской аптеки, между красным стеклянным шаром и банкой с солитером.

Она полюбила его за это еще больше, так как была увлечена, взволнована, восхищена великолепием цветной воды, ореолом сверкающего хрусталя.

Она бережно хранила в себе это воспоминание и, встретив мальчика через год, когда он иг-

рала в шарики с товарищами позади школы, бросилась к нему, обняла его и поцеловала с таким неистовством, что он заревел от испуга. Чтобы утешить его, она отдала ему свои деньги: три франка двадцать сантимов, целое состояние, на которое он глядел, вытаращив глаза.

Он взял деньги и позволил ласкать себя, сколько ей было угодно.

В течение четырех лет она отдавала ему все свои сбережения, которые он старательно прятал в карман, соглашаясь за это на ее поцелуй. Раз это были тридцать су, раз – два франка, раз – всего двенадцать су (она плакала от горя и унижения, но год выдался плохой), а в последний раз – пять франков – огромная круглая монета, при виде которой он удовлетворенно засмеялся.

Она только о нем и думала; он тоже с некоторым нетерпением ждал, когда она вернется, а завидя ее, бежал ей навстречу, и сердце девочки начинало сильно биться.

Затем он исчез. Его отдали в коллеж. Она узнала об этом из осторожных расспросов. Тогда она прибегнула к бесконечным уловкам, чтобы изменить маршрут родителей и заставить их проходить по этим местам во время летних каникул. Это удалось ей, но после целого года всяческих ухищрений. Итак, она не видела его уже два года и едва узнала при встрече: до того он изменился, вырос, похорошел и стал таким важным в мундирчике с золотыми пуговицами. Он сделал вид, что не замечает ее, и гордо прошел мимо.

Девочка проплакала два дня, и с тех пор для нее начались бесконечные страдания.

Она приезжала ежегодно. Она проходила мимо него, не смея ему поклониться, а он не удостоивал ее взглядом. Она любила его безумно. Она сказала мне:

– Это был единственный человек, существовавший для меня на земле, господин доктор; я даже не знаю, жили ли на свете другие люди.

Родители ее умерли. Она продолжала их ремесло, но вместо одной собаки завела себе двух страшных псов, которых все боялись.

Однажды, возвращаясь в эту деревню, где осталось навек ее сердце, она увидела молодую женщину, выходящую из аптеки Шукке под руку с тем, кого она любила. Это была его жена. Он был женат.

В тот же вечер она бросилась в пруд, что на площади мэрии.

Пьяный ночной гуляка вытащил ее и отнес в аптеку. Молодой Шукке сошел вниз в халате, чтобы помочь ей, и, словно не узнавая ее, раздел ее, растер и сурово сказал:

– Вы сумасшедшая! Нельзя делать такие глупости!

Этого было достаточно, чтобы исцелить ее. Он говорил с ней! Она была надолго счастлива.

Он ничего не пожелал взять в награду за свои хлопоты, хотя она упорно хотела заплатить.

Так протекла вся ее жизнь. Она плела солому, думая о Шукке. Ежегодно видела его сквозь окна аптеки. Привыкла покупать у него запасы домашних лекарств. Таким образом, видела его вблизи, говорила с ним и по-прежнему давала ему деньги.

Как я уже сказал, она умерла нынешней весной. Поведав мне эту грустную историю, она просила передать тому, кого она так терпеливо любила, все свои сбережения, накопленные в течение жизни: ведь она работала лишь ради него, ради него одного, голодая даже, по ее словам, чтобы только откладывать и быть уверенной в том, что он вспомнит о ней хоть раз после ее смерти.

Она передала мне две тысячи триста двадцать семь франков. Когда она испустила последний вздох, я оставил двадцать семь франков господину кюре на погребение, а остальную сумму унес.

На другой день я отправился к супругам Шукке. Они кончали завтракать, сидя друг против друга, толстые, красные, пропитанные запахом аптеки, важные и довольные.

Меня усадили и предложили вишневой наливки; я выпил и растроганно начал говорить, в уверенности, что они сейчас прослезятся.

Как только Шукке понял, что его любила эта бродяжка, эта плетельщица стульев, эта нищенка, он вскочил от негодования, словно она его лишила доброго имени, чести, уважения порядочных людей, чего-то священного, что ему дороже жизни.

Жена, возмущенная не меньше его, повторяла: «Негодяйка! Негодяйка! Негодяйка!...» – не находя иных слов.

Он встал и заходил крупными шагами позади стола; греческая шапочка его съехала на одно ухо. Он бормотал:

– Мыслимое ли это дело, доктор? Какое ужасное положение для мужчины! Что теперь делать? О! Если бы я знал об этом при ее жизни, я просил бы жандармов арестовать ее и засадить в тюрьму. И уж она бы оттуда не вышла, ручаюсь вам!

Я был ошеломлен результатом своей благочестивой миссии. Я не знал, что говорить, что делать. Но поручение нужно было выполнить до конца. Я сказал:

– Она завещала передать вам ее сбережения – две тысячи триста франков. Но так как все, что я сообщил, по-видимому, вам крайне неприятно, то лучше, быть может, отдать эти деньги бедным?

Супруги взглянули на меня, оцепенев от удивления.

Я вынул из кармана жалкие деньги – в монетах всех стран и всевозможной чеканки, золотые вперемешку с медными, и спросил:

– Как же вы решаете?

Первою заговорила госпожа Шук:

– Но если такова была последняя воля этой женщины... мне кажется, неудобно было бы отказать.

Муж, слегка смущенный, заметил:

– Во всяком случае, на эти деньги мы можем купить что-нибудь для наших детей.

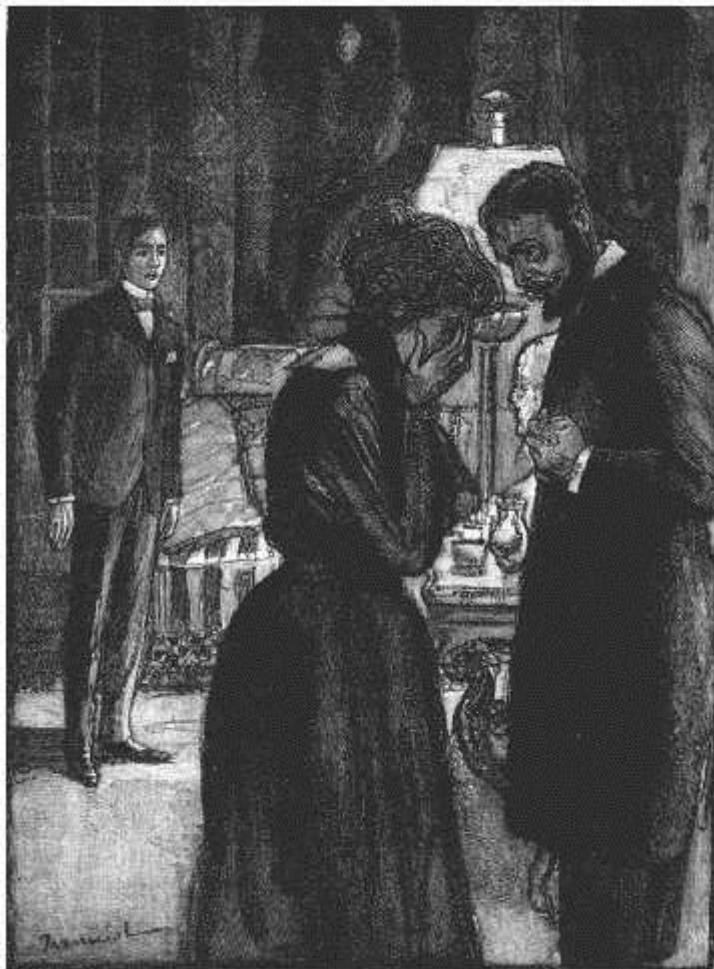
Я сказал сухо:

– Как вам будет угодно.

Он продолжал:

– Так давайте, если уж она вам это поручила; мы найдем способ употребить эту сумму на какое-нибудь доброе дело.

Я отдал деньги, раскланялся и ушел.



На другой день Шук явился ко мне и без обиняков сказал:

– Но эта... эта женщина оставила здесь свою повозку. Что вы намерены с нею сделать?

– Ничего, забирайте ее, если хотите.

– Отлично, это мне очень кстати, я сделаю из нее сторожку для огорода.

Он хотел уйти. Я позвал его:

– Она оставила еще старую клячу и двух собак. Нужны они вам?

Он удивился:

– Ну вот еще, что я с ними буду делать? Располагайте ими по своему усмотрению.

И он рассмеялся. Затем протянул мне руку, а я пожал ее. Что поделаешь? Врачу и аптекарю, живущим в одном месте, нельзя ссориться.

Собак я оставил себе. Священник, у которого был большой двор, взял лошадь. Повозка служит Шуке сторожкой, на деньги же он купил пять облигаций железных дорог.

Вот единственная глубокая любовь, которую я встретил за всю мою жизнь.

Доктор умолк.

Маркиза, глаза которой были полны слез, вздохнула:

– Да, одни только женщины и умеют любить!

ЗАВЕЩАНИЕ

Полю Эрвье

Я знал этого высокого молодого человека по имени Рене де Бурневаль. Он был любезен, хотя и немного грустен, казался разочарованным во всем и большим скептиком, последователем того скептицизма, который судит точно и колко и с особенной меткостью умеет заклеить краткой репликой светское лицемерие. Он часто повторял:

– Честных людей нет; во всяком случае, они честны только по сравнению с негодяями.

У него было два брата, господа де Курсиль, с которыми он никогда не видался. Из-за разных фамилий братьев я считал их сводными. Мне говорили несколько раз, что в этой семье произошла какая-то странная история, но не рассказывали подробностей.

Де Бурневаль очень понравился мне, и мы вскоре подружились. Однажды вечером, обедая у него с ним наедине, я случайно спросил:

– Вы от первого или от второго брака вашей матушки?

Он слегка побледнел, затем покраснел и несколько секунд молчал в явном смущении. Потом улыбнулся своей особенной, меланхолической, кроткой улыбкой и сказал:

– Друг мой, если вам будет не скучно, я расскажу вам некоторые необычайные подробности относительно моего происхождения. Я считаю вас разумным человеком и не боюсь, что от этого пострадает наша дружба; если же ей и придется пострадать, то я не стану насильно удерживать вас в числе моих друзей.

Моя мать, госпожа де Курсиль, была несчастная, застенчивая женщина, на которой ее муж женился по расчету. Вся жизнь ее была сплошной мукой. Ее любящая, робкая и деликатная душа чувствовала только беспрерывную грубость со стороны человека, который должен был стать моим отцом, – одного из тех мужланов, которых называют деревенскими дворянами. Не прошло и месяца после свадьбы, а он уже жил со служанкой. Сверх того, его любовницами были жены и дочери его фермеров, что отнюдь не мешало ему иметь двух сыновей от жены; со мною следовало бы считать трех. Мать постоянно молчала и жила в этом вечно шумном доме как мышка, притаившаяся под мебелью. Незаметная, поблекшая, трепещущая, она поднимала на людей светлый, беспокойный, вечно бегающий взгляд, взгляд существа, испуганного и томимого постоянным страхом. Между тем она была прелестна, исключительно прелестна: волосы у нее были какие-то боязливо-белокурые, с пепельным оттенком; они словно немного выпвели под влиянием непрерывного страха.

В числе приятелей господина де Курсиль, постоянно посещавших замок, был один отставной кавалерийский офицер, вдовец, человек нежный и порывистый, способный внушать страх, готовый на самые энергичные решения, – господин де Бурневаль, имя которого я и ношу. Это был высокий худой мужчина с длинными черными усами. Я очень похож на него. Он много читал и со-

вершенно не разделял убеждений, свойственных людям его класса. Его прабабка была подругой Жан-Жака Руссо, и он, казалось, унаследовал кое-что от этой связи своего предка. Он прекрасно знал «Общественный договор», «Новую Элоизу» и все другие философские сочинения, исподволь подготовлявшие будущий переворот в наших древних обычаях, в наших предрассудках, наших устарелых законах и в нашей глупой морали.

Он, по-видимому, горячо полюбил мою мать и был любим ею. Эта связь оставалась настолько скрытой, что никто о ней и не подозревал. Несчастливая, покинутая, печальная женщина безумно привязалась к нему и переняла весь образ его мыслей, его теорию свободного чувства и независимой любви; но она была до того робка, что никогда не смела высказаться вслух, и все это накапливалось, собиралось и оставалось под спудом в ее сердце, которое так и не открылось ни разу.

Мои братья относились к ней сурово, подобно отцу, никогда не выказывали ей ласки и обращались с нею почти как с прислугой, привыкнув к тому, что в доме она ничего не значит.

Из ее сыновей я один действительно любил ее и был любим ею.

Она умерла. Мне в то время было восемнадцать лет. Должен прибавить, чтобы вам стало понятно последующее, что муж ее был взят под опеку, что имуществом своим она владела раздельно, и, таким образом, благодаря ухищрениям закона и просвещенной преданности нотариуса, мать моя сохранила право завещать свое состояние по личному усмотрению.

Мы были извещены, что у нотариуса имеется завещание, и получили приглашение присутствовать при его вскрытии.

Помню все, как если бы это происходило вчера. Сцена, вызванная посмертным бунтом умершей, этим криком свободы, этим замогильным протестом со стороны мученицы, загубленной нашими нравами и бросавшей отчаянный призыв к независимости из своего заколоченного гроба, была грандиозна, трагична, нелепа и захватывающа.

Человек, считавшийся моим отцом, толстый сангвиник, напоминавший мясника, и братья, двое рослых малых двадцати и двадцати двух лет, спокойно ожидали, сидя на стульях. Господин де Бурневаль, также приглашенный присутствовать при вскрытии завещания, вошел и стал позади меня. В наглухо застегнутом сюртуке, очень бледный, он нервно покусывал седеющие усы. Конечно, он предвидел то, что должно было произойти.

Нотариус запер дверь на двойной поворот ключа и приступил к чтению, вскрыв при нас запечатанный красным сургучом конверт, содержания которого он не знал.

Здесь мой друг умолк, встал, отыскал в письменном столе старую бумагу, развернул ее, поцеловал долгим поцелуем и продолжал:

– Вот завещание моей дорогой матери: «Я, нижеподписавшаяся Анна-Катерина-Женевьева-Матильда де Круалюс, законная супруга Жана-Леопольда-Жозефа-Гонтранаде Курсиль, находясь в здравом уме и твердой памяти, выражаю здесь свою последнюю волю.

Прошу прощения у Господа Бога и у дорогого сына моего Рене в том, что собираюсь совершить. Я считаю моего ребенка достаточно великодушным, чтобы понять и простить меня. Я страдала всю свою жизнь. Муж женился на мне по расчету, он презирал меня, угнетал и беспрестанно изменял мне.

Я прощаю ему, но я не обязана ему ничем.

Старшие сыновья совсем не любили меня, не проявляли ко мне ласки, едва считали своей матерью. При жизни я была для них тем, чем должна была быть; после смерти у меня нет по отношению к ним никаких обязательств. Узы крови ничто без постоянной, священной, ежедневной привязанности. Неблагодарный сын хуже чужого; это преступник, так как сын не имеет права быть равнодушным к матери.

Я всегда трепетала перед людьми, перед их несправедливыми законами, перед их бесчеловечными обычаями, перед их бесчестными предрассудками. Перед лицом Бога я больше ничего не боюсь. Умирая, я сбрасываю с себя постыдное лицемерие; я осмеливаюсь высказать свою мысль, признать и засвидетельствовать тайну моего сердца.

Итак, всю ту часть моего состояния, которой я имею право располагать по закону, я остав-

ляю в распоряжении моего возлюбленного Пьера-Жерме-Симона де Бурневаль с тем, чтобы впоследствии она перешла к нашему дорогому сыну Рене.

(Эта воля, помимо настоящего завещания, изложена подробнее в особом нотариальном акте.)

И перед лицом Всевышнего Судии, который слышит меня, я объявляю, что прокляла бы небо и все существующее, если бы не встретила глубокой, преданной, нежной и непоколебимой привязанности в лице моего возлюбленного, если бы не поняла в его объятиях, что творец создал людей для того, чтобы любить, поддерживать, утешать друг друга и плакать вместе в горькие минуты жизни.

Два моих старших сына – дети господина де Курсиль, и только один Рене обязан жизнью господину де Бурневаль. Молю владыку людей и людских судеб помочь отцу и сыну стать выше общественных предрассудков, любить всю жизнь друг друга и по-прежнему любить меня за гробом.

Таковы моя последняя мысль и мое последнее желание.

Матильда де Круалюс».

Господин де Курсиль встал.

– Это – завещание сумасшедшей! – воскликнул он.

Тогда господин де Бурневаль сделал шаг вперед и произнес громким и отчетливым голосом:

– Я, Симон де Бурневаль, заявляю, что в этой бумаге содержится только святая истина. Я готов подтвердить ее перед кем угодно и даже доказать ее имеющимися у меня письмами.

Тогда господин де Курсиль двинулся к нему. Я думал, что между ними произойдет схватка. Они стояли лицом к лицу, оба одинаково высокие, один толстый, другой худой, и оба дрожали от негодования. Муж моей матери невнятно выговорил:

– Вы негодай!

Господин де Бурневаль ответил все так же громко и резко:

– Мы встретимся с вами в другом месте, сударь. Я уже давно дал бы вам пощечину и вызвал вас на дуэль, если бы при жизни несчастной женщины, которой вы причинили столько страданий, не дорожил прежде всего ее покоем.

И он обернулся ко мне:

– Вы – мой сын. Хотите следовать за мной? Я не имею права уводить вас, но сделаю это, если вы согласны.

Я молча пожал ему руку. Мы вышли вместе. Разумеется, я почти лишился рассудка.

Два дня спустя господин де Бурневаль убил на дуэли господина де Курсиль. Братья мои, боясь страшного скандала, молчали. Половину состояния, оставленного мне матерью, я им уступил, и они его приняли.

Я стал носить имя моего настоящего отца, отказавшись от того, которое предоставлял мне закон и которое не было моим.

Господин де Бурневаль умер пять лет тому назад. Я до сих пор не могу утешиться после этой утраты.

Он поднялся, прошелся по комнате и, став передо мной, сказал:

– Так вот, я утверждаю, что завещание моей матери – это лучший, честнейший и величайший поступок, на который способна женщина. Не так ли?

Я протянул ему обе руки:

– Разумеется, друг мой.

СЫН

Рене Мезруа

Два старых приятеля гуляли по расцветшему саду, где веселая весна пробуждала новую жизнь.

Один из них был сенатор, другой – член Французской академии, люди солидные, полные мудрых, но несколько торжественно излагаемых мыслей, люди заслуженные и известные.

Сначала они поболтали о политике, обмениваясь мыслями не об идеях, а о людях; ведь в этом вопросе на первом месте всегда стоят личности, а не разум. Затем они перебрали ряд воспоминаний и умолкли, продолжая идти рядом, размякнув от теплоты весеннего воздуха.

Большая клумба левкоев изливала сладкий и нежный запах; множество цветов всех видов и оттенков примешивали свое благоухание к легкому ветерку, а ракитник, покрытый желтыми гроздьями цветов, рассеивал по воздуху тонкую пыль – золотой дым, пахнувший медом и разносящий кругом, как ласкающую пудру парфюмера, свои благоуханные семена.

Сенатор остановился, вдохнул плодоносное летучее облако, взглянув на сиявшее, подобно солнцу, влюбленное дерево, чьи семена разлетались вокруг, и сказал:

– Подумать только, что эти еле приметные благоухающие пылинки послужат зачатками новой жизни на расстоянии сотен лье отсюда, пробудят трепет в волокнах и соках женских деревьев и произведут новые создания, рождающиеся из семени, подобно нам, смертным, которых, как и нас, всегда будут сменять другие, однородные существа!

Затем, остановившись перед сияющим ракитником, жиз-неносный аромат которого выделялся с каждым колебанием воздуха, господин сенатор прибавил:

– Ах, друг мой, если бы вам пришлось сосчитать своих детей, вы очутились бы в чертовском затруднении. А вот это существо рождает их легко, бросает без угрызений совести и нимало не заботится о них.

Академик заметил:

– Мы поступаем так же, мой друг.

Сенатор возразил:

– Да, не отрицаю, иногда мы бросаем их, но, по крайней мере, сознаем это, и в этом наше преимущество.

Но собеседник покачал головой:

– Нет, я не то хочу сказать; видите ли, дорогой мой, не найдется мужчины, у которого не было бы неведомых ему детей, так называемых детей от неизвестного отца, созданных им, подобно тому, как создает это дерево, – почти бессознательно.

Если бы пришлось счесть всех женщин, которыми мы обладали, то мы очутились бы – не правда ли? – в не меньшем затруднении, чем этот ракитник, случись ему перечислить свое потомство.

С восемнадцати и до сорока лет, если включить в счет все случайные встречи, все мимолетные связи, можно допустить, что у нас были... близкие отношения с двумя– или тремястами женщин.

Ну так уверены ли вы, друг мой, что вы не оплодотворили хотя бы одну из множества этих женщин и что у вас где-нибудь на улице или на каторге нет шалопая-сына, обкрадывающего и убивающего честных людей, то есть нас с вами, что у вас нет дочери, живущей в каком-либо притоне или – если ей повезло и она была покинута матерью – служащей кухаркой в какой-нибудь семье?

Подумайте также о том, что почти все женщины, именуемые нами публичными, имеют по одному, а то и по два ребенка, отца которых они не знают и которые были зачаты случайно, во время объятий, оплачиваемых десятью-двадцатью франками. Во всяком ремесле ведется счет прибылей и убытков. Эти отпрыски составляют убыток в профессии их матерей. Кто их отцы? Вы, я, мы все так называемые порядочные люди! Это результаты наших бесшабашных дружеских обещаний, наших веселых вечеров, тех часов, когда сытая плоть влечет нас к случайным связям.

Воры, бродяги – словом, все отверженные люди, в конце концов, – наши дети. И еще наше счастье, что не они наши отцы, потому что ведь эти негодяи, в свою очередь, производят на свет детей!

Послушайте, лично у меня на совести очень скверная история, которую я вам расскажу. Для меня это источник непрестанных угрызений совести и, больше того, источник вечных сомнений и постоянной неуверенности, которые порою жестоко терзают меня.

Мне было двадцать пять лет, когда я с одним из моих приятелей, ныне видным чиновником, предпринял путешествие пешком по Бретани.

После двух-трех недель непрерывной ходьбы, посетив Кот дю Нор и часть Финистера, мы прибыли в Дуарнене, оттуда в один переход достигли пустынного мыса Раз, переправившись через бухту Трепассе, и ночевали в какой-то деревушке, название которой кончалось на «-оф»; когда настало утро, странное утомление удержало моего товарища в постели. Я говорю о постели по привычке, потому что на этот раз ложе наше состояло всего из двух вязанок соломы.

Хворать в таком месте невозможно. Поэтому я принудил его встать, и к четырем или пяти часам вечера мы пришли в Одиерн.

На другой день ему стало немного лучше; мы снова пустились в путь; но дорогою он почувствовал сильное недомогание, и мы еле-еле добрались до Пон-Лаббе.

Там, по крайней мере, мы отыскивали трактир. Мой приятель слег, и доктор, вызванный из Кемпера, определил у него сильную лихорадку, хотя и не мог еще выяснить ее характер.

Знаете ли вы Пон-Лаббе? Нет? Ну, так это наиболее бретонский городок из всей этой бретоннейшей Бретани, которая тянется от мыса Раз до Морбигана, края, представляющего собою квинтэссенцию бретонских нравов, легенд и обычаев. Этот уголок нашей страны еще и поныне почти не изменился. Я говорю еще и поныне, так как езжу теперь туда, увы, ежегодно.

Старый замок купает подножия своих башен в волнах огромного печального-печального озера, над которым носятся дикие птицы. Из него вытекает река, по которой небольшие суда могут подниматься до самого города. По узким улицам со старинными домами расхаживают мужчины в широкополых шляпах, вышитых жилетах и четырех куртках, надетых одна на другую: первая из них, величиною с ладонь, едва прикрывает их лопатки, а последняя спускается до самых штанов.

У девушек, высоких, красивых, свежих, грудь стиснута суконным жилетом в виде кирасы, не позволяющим даже рассмотреть их сильные шеи; они убирают волосы особым образом: на висках два пестро вышитых круга обрамляют лицо, стягивают волосы, которые падают волной назад, а затем подбираются на макушке головы под особый чепец, нередко затканый золотом или серебром.

Служанке нашего трактира было не более восемнадцати лет; ее голубые, светло-голубые глаза были пронизаны двумя черными точками зрачков, а мелкие частые зубы, которые она, смеясь, беспрестанно показывала, казалось, были созданы для того, чтобы дробить гранит.

Она не знала ни слова по-французски и, как большинство ее земляков, говорила только по-бретонски.

Друг мой не поправлялся, и, хотя у него не обнаружилось никакой болезни, врач пока запрещал ему продолжать путешествие, предписывая полный покой. Итак, я проводил целые дни у его постели, а маленькая служанка ежеминутно входила в нашу комнату, принося то обед для меня, то питье для больного.

Я слегка поддразнивал ее, что, по-видимому, ей нравилось, но мы, конечно, не разговаривали, так как не понимали друг друга.

Но вот однажды ночью, поздно засидевшись у постели больного, пробираясь в свою комнату, я встретился с молодой девушкой, идущей к себе. Это было как раз против моей открытой двери, и вдруг, не думая о том, что я делаю, скорее в шутку, чем всерьез, я обхватил ее талию и, прежде чем она опомнилась от изумления, втолкнул ее к себе и запер дверь. Она глядела на меня в испуге, обезумев от ужаса, не смея кричать из боязни скандала, из страха, сначала, по-видимому, перед хозяевами, а затем, быть может, и перед своим отцом.

Я сделал это смеха ради, но, когда она очутилась в моей комнате, меня охватило желание обладать ею. Это была долгая и молчаливая борьба, борьба телом к телу, на манер атлетов; наши руки были вытянуты, судорожно сжаты, перекручены, по коже струился пот. О, она упорно защищалась; иногда мы наталкивались на перегородку, на стул или на какую-нибудь другую мебель; тогда, не разжимая объятий, мы замирали на несколько секунд, в страхе, как бы наш шум не разбудил кого-нибудь, а затем возобновляли свою ожесточенную борьбу: я нападал, она защищалась.

Наконец она упала в изнеможении; я овладел ею грубо, тут же на полу.

Едва встав, она кинулась к двери, отперла задвижку и убежала.

В следующие дни я едва видел ее. Она не позволяла мне приблизиться к себе. Когда мой то-

варищ выздоровел и мы могли продолжать свое путешествие, накануне моего отъезда, в полночь, она пришла, босая, в одной рубашке, в мою комнату, куда я только что удалился.

Она бросилась ко мне, страстно обняла и затем до рассвета целовала меня, ласкала, плача, рыдая, доказывая мне свою любовь и отчаяние всеми средствами, которыми располагает женщина, не знающая ни слова на нашем языке.

Через неделю я уже позабыл об этом приключении, столь обыкновенном и частом в путешествиях; обычно ведь трактирные служанки и обречены на то, чтобы так развлекать путешественников.

Тридцать лет я не вспоминал об этом случае и не возвращался в Пон-Лаббе.

В 1876 году я вернулся туда случайно, во время прогулки по Бретани, когда я собирал материал для своей книги и хотел хорошенько проникнуться пейзажами этой страны.

Ничто, казалось, не изменилось. Замок по-прежнему купал свои сероватые стены в водах озера при въезде в городок; и трактир был тот же, хотя и отделанный, подновленный, более отвечающий современным вкусам. При входе меня встретили две молодые бретонки лет по восемнадцать, свежие и миленькие, облеченные в броню своих суконных жилетов, в чепцах, расшитых серебром, с большими вышитыми кругами, закрывающими уши.

Было около шести часов вечера. Я сел за стол в ожидании обеда, и так как хозяин во что бы то ни стало захотел подавать мне самолично, какая-то роковая случайность заставила меня спросить:

– Знали ли вы прежних хозяев этого дома? Я провел здесь несколько дней лет тридцать тому назад. Я говорю вам о далеком прошлом.

Он отвечал:

– Это были мои родители, сударь.

Тогда я рассказал, при каких обстоятельствах я останавливался тут и как был задержан болезнью товарища. Он не дал мне окончить:

– О, отлично помню. Мне в то время было лет пятнадцать или шестнадцать. Ваша спальня была в глубине, а ваш друг спал в той комнате, где живу теперь я; она выходит на улицу.

Только тогда живо вспомнилась мне молоденькая служанка. Я спросил:

– А не помните ли вы хорошенькую служаночку, жившую тогда у вашего отца; если память мне не изменила, у нее были чудесные голубые глаза и белые зубы?

Он сказал:

– Да, сударь, она умерла от родов вскоре после вашего отъезда.

И, протягивая руку по направлению к двору, где убирал навоз какой-то худощавый и хромо́й человек, он прибавил:

– Вот ее сын.

Я засмеялся.

– Ну, он неказист и совсем не похож на мать. Он, без сомнения, в отца.

Трактирщик сказал:

– Возможно, но кто его отец, так и осталось неизвестным. Она умерла, не сказав этого, а здесь никто не знал ее любовника. Все были прямо-таки поражены, когда выяснилось, что она беременна. Никто не хотел верить этому.

Меня охватила неприятная дрожь, и я испытал словно какое-то тягостное прикосновение к сердцу, как бывает в предчувствии большого горя. Я взглянул на человека во дворе. Он только что зачерпнул воды для лошадей и нес, прихрамывая, два ведра, мучительно припадая на более короткую ногу. Он был в лохмотьях и отвратительно грязен; его длинные желтые волосы так сбились, что спадали ему на щеки наподобие веревок.

Трактирщик прибавил:

– Он ни на что не годен, его оставили в доме из жалости. Быть может, он вышел бы и лучше, если бы воспитывался, как все. Но что прикажете, сударь? Ни отца, ни матери, ни денег! Мои родители жалели ребенка, но, понятно, он был им не родной.

Я промолчал.

Я лег спать в своей прежней комнате и всю ночь думал об этом ужасном конюхе, повторяя:

«А что, однако, если это мой сын? Неужели же я мог убить эту девушку и породить такое существо?» В конце концов, ведь это было возможно!

Я решил поговорить с этим человеком и узнать точно день его рождения. Разница в двух месяцах рассеяла бы мои сомнения.

На другой день я позвал его. Но он также ни слова не говорил по-французски. Вдобавок у него был такой вид, как будто он вообще ничего не понимал. Он совершенно не знал, сколько ему лет, когда одна из служанок спросила его об этом по моей просьбе. Он стоял передо мной с идиотским видом, мял шляпу своими отвратительными узловатыми лапами и бессмысленно смеялся, но в уголках его глаз и губ было что-то от смеха матери.

Подоспевший хозяин отыскал метрику несчастного. Он родился восемь месяцев и двадцать шесть дней спустя после моего пребывания в Пон-Лаббе, так как я хорошо помнил, что проехал в Лориан пятнадцатого августа. В бумаге была пометка: «Отец неизвестен». Мать звали Жанной Керрадек.

Сердце мое теперь учащенно билось. Я не мог больше говорить, до того я задыхался; я смотрел на этого зверя, длинные желтые волосы которого казались грязнее подстилки для скота; смущенный моим взглядом оборванец перестал смеяться, отвернулся и поспешил уйти.

Весь день бродил я вдоль речки, горестно размышляя. Но к чему было размышлять? Я ничего не мог решить. В течение нескольких часов взвешивал я все доводы за и против моего отцовства, мучая себя бесплодными предположениями и снова возвращаясь к той же ужасной неуверенности или к еще более ужасному убеждению, что этот человек был моим сыном.

Я не мог обедать и ушел в свою комнату. Мне долго не удавалось заснуть; наконец сон пришел; это был сон, полный невыносимых видений. Я видел этого неряху, смеявшегося мне в лицо и называвшего меня «папой», затем он превратился в собаку, кусал меня за икры, и, куда бы я ни убегал, он всюду следовал за мной, но, вместо того, чтобы лаять, осыпал меня бранью; потом он появился перед моими коллегами по академии, собравшимися, чтобы решить вопрос, был ли я его отцом, один из них восклицал: «Это не подлежит сомнению! Взгляните же, как он похож на него». В самом деле, я замечал, что это чудовище было похоже на меня. Я проснулся с этой мыслью, плотно засевшей у меня в голове, с безумным желанием снова увидеть этого человека и решить, действительно ли мы похожи друг на друга.

Я догнал его, когда он шел к мессе (было воскресенье), и дал ему сто су, боязливо взглянув на него. Он снова противно засмеялся, взял деньги и, опять смущенный моим взглядом, убежал, пробурчав непонятное слово, которое, наверное, должно было означать «благодарю».

День прошел для меня в такой же тоске, как и накануне. К вечеру я позвал трактирщика и, прибегая к ловкости и хитрости, сказал ему со множеством предосторожностей, что заинтересовался этим несчастным существом, столь заброшенным всеми и всего лишенным, и что мне хотелось бы что-нибудь для него сделать.

Но хозяин возразил:

– Ах, бросьте эту мысль, сударь, он ни к чему не годен, и вы не оберетесь с ним неприятностей. Я заставляю его чистить конюшню, и это единственное, на что он способен. За это я его кормлю, а спит он вместе с лошадьми. Больше ему ничего и не надо. Если у вас есть старые штаны, отдайте их ему, но уже через неделю они превратятся в лохмотья.

Я не настаивал, решив подумать.

Калека вернулся к вечеру вдребезги пьяным, чуть не устроил пожар в доме, заступом покалечил лошадь и в довершение всего уснул в грязи под дождем, по милости моих щедрот.

На другой день меня попросили не давать ему больше денег. Водка делала его безумным, и едва только в кармане у него заводились два су, он их пропивал. Трактирщик прибавил: «Давать ему деньги – значит желать ему смерти». У конюха их никогда не было, совершенно никогда, если не считать нескольких сантимов, брошенных ему путешественниками, и он не знал иного назначения для этого металла, кроме кабака.

После этого разговора я стал проводить целые часы в своей комнате, с открытой книгой в руках, притворяясь, будто читаю, на самом же деле только и разглядывая это животное – моего сына! моего сына! – и стремясь отыскать в нем какое-нибудь сходство с собой. В конце концов

мне почудилось что-то общее в линиях лба и в основании носа, и вскоре я был убежден в существовании сходства между нами, которое не бросалось в глаза только из-за костюма и отвратительной гривы этого человека.

Но я не мог оставаться более, не возбуждая подозрения, и уехал с сокрушенным сердцем, оставив трактирщику немного денег, чтобы несколько скрасить тяжелую жизнь его конюха.

И вот уже шесть лет, как я живу с этой мыслью, в этой ужасной неуверенности, с этим отвратительным сомнением. И ежегодно неодолимая сила влечет меня снова в Пон-Лаббе. Каждый год я сам осуждаю себя на пытку – смотреть, как это животное шлепает по навозу, воображать, что он на меня похож, изыскивать – и постоянно бесплодно – способы быть ему полезным. И каждый год я возвращаюсь оттуда еще более измученный сомнениями и тревогой.

Я попробовал было его обучать. Он – безнадежный идиот.

Я пытался несколько облегчить ему жизнь. Он неисправимый пьяница и пропивает все, что ему дают; кроме того, он очень хорошо умеет продавать свое новое платье, чтобы раздобыть себе водки.

Я попробовал разжалобить его хозяина с тем, чтобы он проявлял больше заботы о своем конюхе, и постоянно предлагал ему для этого денег. Трактирщик в конце концов весьма разумно ответил мне:

– Все, что бы вы ни сделали для него, сударь, приведет лишь к его гибели. С ним нужно обращаться, как с арестантом. Как только у него бывает свободное время или заведутся деньги, он становится опасным. Если вы желаете делать добро, то поищите – в покинутых детях нет недостатка, – но выберите такого, который оправдал бы ваши заботы.

Что было сказать на это?

Если бы я допустил, чтобы те сомнения, которые меня терзали, сделались подозрительными в глазах окружающих, этот кретин, разумеется, употребил бы всю свою хитрость, чтобы эксплуатировать меня, осрамить и погубить. Он кричал бы мне «папа», как в моем кошмаре.

И я признался себе в том, что убил мать и погубил это чахлое существо, конюшенную личинку, выросшую и сформировавшуюся на навозе, этого человека, который, будучи воспитан, как другие, стал бы не хуже их.

Вы и представить себе не можете того странного, смутного и невыносимого чувства, которое я испытываю перед ним, думая о том, что он плоть от плоти моей, что он связан со мной тесными узами, соединяющими сына с отцом, что, в силу ужасных законов наследственности, он является мной по тысяче причин и что у него со мной те же зародыши болезней, те же ферменты страстей.

Меня непрестанно мучает болезненная, неутолимая потребность видеть его, а его вид заставляет меня невыразимо страдать; из своего окна в гостинице я целыми часами смотрю, как он переворачивает и возит конский навоз, и твержу себе:

– Это мой сын!

И порою я испытываю нестерпимое желание поцеловать его. Но я никогда даже не дотронулся до его грязной руки.

Академик умолк, а его собеседник, политический деятель, прошептал:

– Да, действительно, мы должны бы немного больше интересоваться детьми, у которых нет отцов.

Промчался порыв ветра, ракичник шевельнул своими желтыми гроздьями и окутал тонким и благоуханным облаком обоих стариков, вдохнувших его всей грудью.

И сенатор добавил:

– А все-таки хорошо иметь двадцать пять лет и производить детей... даже таких.

ЧУЖЕЗЕМНАЯ ДУША

ГЛАВА I

Публики в игорном зале было немного: в тот день в Эксе, в театре нового казино, впервые шла комедия Анри Мельяка. Однако за четырьмя игорными столами, по сторонам крупье, уже

теснились привычным кругом, стоя или сидя, мужчины и женщины – неумомимые игроки, завсегдатаи рулетки. В остальной части зала было тихо: пустовали длинные диваны, прижавшиеся к стенам, низкие кресла по углам, стулья с уже потускневшими кожаными сиденьями. Первый салон также был безлюден. По нему ходил взад и вперед, заложив руки за спину, украшенный цепью служитель, тот благосклонный служитель, на котором лежит обязанность распознавать сомнительных лиц, пытающихся проникнуть в игорный зал, не будучи представленными администрацией, которая удостоверяет добропорядочность игроков.

Слышен был негромкий, но непрерывный звон монет: то звенел, разливаясь по четырем столам, золотой поток, поток луидоров, заглушавший своим звоном тихие, пока еще несмелые и спокойные людские голоса.

В дверях игорного зала показался высокий человек, стройный, довольно молодой. Он держал себя с непринужденностью, свойственной людям, чья юность протекла в элегантной и богатой парижской светской среде. Голова его немного облысела на макушке, но уцелевшие русые волосы мягко кудрявились на висках, а над губой изящно закруглялись красивые усы с завитыми кончиками. В его светло-голубых приветливых глазах мелькала насмешливость, а смелая, любезная и элегантно-высокомерная осанка говорила о том, что он не был ни выскочкой, недавно пробравшимся в светское общество, ни одним из тех подозрительных завсегдатаев казино, которые рыщут по миру в поисках легкой наживы.

В то мгновение, когда он собирался откинуть портьеру над дверью, которая вела в игорный зал, к нему подошел служитель.

– Не будете ли вы любезны напомнить мне ваше имя, сударь? – вежливо спросил он.

– Робер Мариоль, – ответил немедля новоприбывший. – Я записался сегодня.

– Благодарю вас, сударь.

Мариоль вошел в игорный зал, отыскивая кого-то взглядом.

Его окликнул чей-то голос, и невысокий, полный, безукоризненно одетый мужчина лет сорока подошел к нему с протянутыми руками. На нем был так называемый *смокинг* – странная куртка, которую ввел в моду принц-кутила³⁸ и которая напоминает одежду юноши в день первого причастия.

Мариоль взял его руки, пожал их и сказал, улыбаясь:

– Здравствуйте, дорогой Люсетт.

Граф де Люсетт, добродушный, богатый и беспечный холостяк, изо дня в день, из года в год ездил туда же, куда ездили все люди его круга, делал то же, что делали все, говорил то же, что говорили все, и благодаря своему незлобивому уму был желанным посетителем светских салонов.

– Ну, как сердце? – с подчеркнутым интересом спросил он у Мариоля.

– О, хорошо, все кончено.

– Совсем?

– Да.

– Ты приехал в Экс, чтобы окончательно выздороветь?

– Вот именно. Мне нужно подышать другим воздухом.

– Это верно: в том воздухе, которым человек дышал, будучи влюбленным, всегда может сохраниться опасный микроб любви.

– Нет, милый мой; больше нет ни малейшей опасности. Но я прожил с ней три года. Мне приходится менять свои привычки, а для этого нет ничего лучше путешествия.

– Ты приехал сегодня утром?

– Да.

– И пробудешь здесь некоторое время?

– Пока не соскучусь.

– О, ты не соскучишься: здесь забавно, даже очень забавно.

И Люсетт набросал ему картину жизни в Эксе. Он очертил этот город – город ванн и казино,

³⁸ Принц-кутила. – Имеется в виду принц Уэльский (1841–1910), будущий английский король Эдуард VII, славившийся своими кутежами в Париже в 70-80-х годах.

медицины и развлечений, город, где, съехавшись со всего света, мирно общаются друг с другом монархи, лишившиеся трона, и сомнительные богачи, для которых не нашлось места в тюрьмах. Он описал со свойственным ему юмором это единственное в своем роде смешение светских дам и продажных женщин: те и другие обедают за смежными столами, громко судачат друг о друге, а часом позже играют за одним и тем же игорным столом. Он остроумно обрисовал подозрительно непринужденные отношения, непостижимое благодушие людей, которые обычно совершенно неприступны, но, решив повеселиться в этом маленьком савойском городке, не брезгают никаким знакомством. Монархи, будущие или уже свергнутые, высочества, князья, великие или маленькие, – дядя, двоюродные братья, шурины или свояки королей, – высокопоставленные представительницы французской или международной аристократии, которые всячески подчеркивают неизмеримое расстояние, отделяющее их от простых буржуа, и которые зимою в Канне образуют непроницаемо-замкнутые аристократические группы, куда могут проложить себе доступ лишь английское лицемерие или огромные состояния американских и еврейских богачей, – все они с наступлением летней жары устремляются в шумные казино Экса, словно одержимые единственным желанием отвести душу, отказавшись от излишней разборчивости в знакомствах.

Граф де Люсетт рассказывал обо всем этом веселым, пренебрежительным тоном благовоспитанного светского человека, который, знакомя вас с каким-нибудь притоном, прекрасно себя там чувствует, подсмеивается над самим собою так же, как и над другими, и стущает краски, чтобы усилить впечатление. Благодаря бакенбардам, подстриженным на уровне ушей, его небольшое жирное бритое лицо казалось еще круглее. С присущей ему веселой, оживленной, слегка искусственной мимикой аристократических салонных остроумцев граф де Люсетт приводил факты, называл женские имена, добродушно рассказывал пикантные эпизоды – любовные или игорные.

Мариоль слушал его, улыбаясь и порой одобрительно кивая головой, как будто наслаждался этим легкомысленным, а на самом деле заранее подготовленным рассказом. Но какая-то печальная, тщетно отгоняемая мысль, казалось, заволакивала и омрачала его голубые глаза.

Друг его умолк; наступило молчание.

– А ты знаешь последнюю гадость, которую она мне сделала? – спросил Мариоль, казалось, забывший и про Экс, и про всех тех, о ком рассказывал Люсетт.

– Какую гадость? Кто? – удивленно спросил тот.

– Анриетта.

– А! Твоя бывшая возлюбленная?

– Да.

– Нет, не знаю. Расскажи.

– Она упростила меня дать взаймы денег одной торговке подержанными вещами, а сама устраивала у нее свидания.

Люсетт расхохотался: проделка показалась ему очаровательной.

– Да, – продолжал Мариоль, – она разжалобила меня, выдав эту сводню за свою кузину. К тому же сочинила целую историю об обольщении, о брошенном ребенке, оставшемся на руках бедной кузины, – словом, целый роман, глупейший роман, какой только и могла сочинить девица легкого поведения, достойная дочка привратника.

Люсетт продолжал смеяться:

– И ты поверил?

– Признаться, да.

– Странно! Такой человек, как ты, выросший на коленях у папаши Мариоля, хитрейшего из людей.

Мариоль слегка пожал плечами, как человек, полный презрения к себе, а может быть, и к другим.

– В делах с женщинами самые проницательные люди оказываются дураками, – сказал он как бы про себя.

– Милый мой, когда их любят, они обычно становятся дрянными.

– Это, пожалуй, слишком сильно сказано.

– Нет. Но зато когда они сами любят, это ангелы, правда, ангелы, у которых наготове когти,

серная кислота и анонимные письма, порой неотвязно прицепившиеся ангелы, но все-таки ангелы – в смысле верности, самоотверженности, преданности... Во всяком случае, вся эта история порядком помучила тебя, хотя твоя Анриетта оказалась, кажется, непостоянной.

– Да. Но именно ее измены и подготовили мое выздоровление. Теперь я исцелился от нее.

– По-настоящему?

– По-настоящему. Три раза – это уж слишком.

– Так, значит, ты и третий раз изобличаешь ее в неверности?

– Да.

– Когда ты написал мне третьего дня, прося занять для тебя номер в гостинице, ты только что накрыл ее?

– Да.

– Значит, ты совсем недавно узнал о ее неверности?

– Ну да. Четыре дня тому назад.

– Черт возьми! Смотри, как бы болезнь не вернулась снова.

– О нет. Я ручаюсь за себя.

И Мариоль, чтобы отвести душу, рассказал Люсетту всю историю своей связи, как будто он хотел отогнать, выбросить из памяти и сердца мучившие его воспоминания, события, подробности.

Его отец, бывший сначала депутатом, затем министром, наконец, директором большого политико-финансового банка *Объединение промышленных городов* и наживший на этой последней должности крупное состояние, оставил Мариолу, своему единственному сыну, более пятисот тысяч франков ренты и дал ему перед смертью совет: жить, ничего не делая, и презирать всех других. Это был старый ловкий финансист, прожженный делец, убежденный скептик; он рано открыл своему наследнику глаза на все людские проделки.

Воспитанный под его руководством, посвященный в махинации богачей и власть имущих, Робер стал одним из тех светских молодых людей, которым в тридцать лет кажется, что в жизни для них нет уже ничего неизведанного.

Он был одарен тонким умом и насмешливой проницательностью, обостряемой врожденной прямоотой его характера. Он плыл по течению жизни, избегая забот и наслаждаясь всеми удовольствиями, встречавшимися на пути. Не имея семьи – мать его умерла спустя несколько месяцев после его рождения, – не зная пылких страстей и неудержимых увлечений, он долгое время ни к чему не испытывал особой склонности. Его привлекали только удовольствия светской жизни, клуб, многочисленные парижские развлечения, да, кроме того, он чувствовал известный интерес к картинам и другим предметам искусства. Этот интерес зародился в нем сначала благодаря тому, что один из его друзей был коллекционером и сам он инстинктивно любил вещи редкие и тонкой работы, а затем потому, что ему надо было обставить и убрать красивый, только что купленный дом на улице Монтеня, и, наконец, потому, что ему нечего было делать. Затратив некоторое время и довольно крупную сумму денег, он стал одним из тех, кого называют просвещенными любителями, одним из тех, которые слынут знатоками, потому что богаты, и которые создают модных живописцев, потому что оплачивают их. Подобно стольким другим, купив множество картин и ценных безделушек, он завоевал себе право на самостоятельное мнение в области искусства; с ним стали считаться и советоваться; поощряя модные течения и не умея оценить истинный талант, он стал одним из тех, из-за кого Дворец промышленности ежегодно наводняется ремесленнической живописью, которую награждают медалями, чтобы затем протолкнуть ее в галереи любителей-коллекционеров.

Вскоре он охладел к искусству, убедившись, что и в этой области, как и во всех прочих, царит общее заблуждение, что настоящих знатоков нет и что вкусы в искусстве меняются вместе с модой, точь-в-точь как и в туалетах.

Он становился все равнодушнее, все скептичнее. Как истый парижанин, достигший тридцати пяти лет, иными словами, ставший почти уже старым холостяком, он замкнулся в круг обычных развлечений мужчин его возраста. Он обдуманно строил свою жизнь, отчетливо в ней разбирался, трезво взвешивал, какое место уделить в ней каждому отдельному развлечению – игре, лошадям,

светским отношениям и прочему.

Он с удовольствием бывал в обществе, охотно обедал вне дома, а вечера, от десяти до часу, проводил в излюбленных салонах, где чувствовал себя как дома. Везде его принимали с большой охотой, его приходу радовались, за ним ухаживали, потому что он был богат, остроумен и внушал симпатию.

Истый француз, представитель того старинного племени, любезного и насмешливого, презирающего все, что его не волнует, невежественного во всем, что не кажется ему забавным, уделяющего внимание лишь некоторым вещам, некоторым людям, даже некоторым кварталам Парижа, Мариоль считал, что жизнь в конечном счете не стоит особенных хлопот и что лучше над ней смеяться, чем от нее плакать.

Тогда-то он и встретил однажды за ужином любовницу одного из своих друзей. Она сразу понравилась Мариолу: в ней было какое-то внутреннее очарование, неприметное, но ощутительное. Сядя с ней рядом за стол, вы сначала почти не обращали на нее внимания, но, поговорив с ней какой-нибудь час, уже чувствовал себя под обаянием ее прелести. Это была красивая тоненькая женщина, неяркая, вся в каких-то полутонах, сдержанная, с мягкими и скромными манерами; в тех высших слоях полусвета, где она вращалась, она играла роль скромной хозяйки дома.

Почти неизвестная в прославленном кругу куртизанок высшего полета, она всегда была чьей-нибудь открыто признанной любовницей и держалась в тени, в роскошной и благоуханной тени. Ловкая женщина, она была из тех, которые умеют усладить домашними радостями жизнь богатого и кутящего холостяка и которые, пока им не встретился наивный возлюбленный, обреченный жениться на них, сохраняют особую специальность; продают за дорогую цену богатым и праздным людям видимость семейного очага.

Робер Мариоль увлекся ею, начал ухаживать за нею, как за светской дамой, осмелился признаться в своих чувствах, писал о своей любви. Зная, что он богат, она поддалась не сразу, потом уступила его настояниям, придав их отношениям форму лжеадюльтера, подобно тому как ее отношения с другим ее любовником имели вид лжесупружеского счастья. Когда она уверилась в том, что сумела привязать к себе Мариоля, у нее появились угрызения совести: она объявила ему, что должна порвать с одним из них. Если Мариоль хочет, она останется с ним. Он был в восторге от ее выбора и ответил, что берет ее.

Тогда она очень ловко, без истории и ссор, рассталась с тем, кто оплачивал ее уютную благосклонность. Жизнь ее оставалась по-прежнему спокойной. Даже оба соперника и те сохранили добрые отношения; в течение нескольких недель они, правда, холодно сторонились друг друга, но однажды обменялись рукопожатием и стали снова друзьями.

С тех пор Мариоль жил на два дома: в одном были собраны картины, редкая мебель, бронза и тысячи дорогих вещей, в другом ждала его красивая женщина, всегда готовая встретить его, развлечь улыбкой, словами любви, ласками. Ему понравился этот второй дом, где он нашел приют своей праздности, и он постепенно перенес туда свою жизнь. Он привык обедать там – сначала время от времени, потом чаще, потом каждый вечер. Он принимал там друзей, устроил несколько вечеринок, причем его подруга выполняла роль хозяйки дома со скромным изяществом, наполнявшим Мариоля гордостью. Близ нее он вкушал редкое наслаждение – иметь нечто вроде рабыни, служащей ему своей любовью: прелестной, послушной, преданной рабыни, которую он оплачивал. Она в совершенстве выполняла роль мнимой жены, и Мариоль так привязался к ней и был так счастлив с нею, что, только застав ее, совершенно неожиданно для себя, на месте преступления, смог поверить в ее измену.

Последовала дуэль. Мариоль был легко ранен и вернулся к прежнему образу жизни. Через два месяца – они показались ему невыносимы – Мариоль встретил Анриетту как-то утром на улице. Она подошла к нему, покраснев от смелости и робости.

– Я люблю вас, – сказала она. – Если я изменила вам, так это потому, что я девка. Но вы это и сами знали. Я хочу сказать, что тут было увлечение. У кого их не бывает! Разве вы всегда оставались мне верны, когда я была вашей любовницей? Разве у вас ни разу не было любовного свидания с какой-нибудь прежней подругой – признайтесь! Нет, не говорите ничего: мне ведь вы платили, а это – совсем другое дело.

Объяснение их длилось два часа. Они ходили взад и вперед по тротуару, от одной улицы до другой.

Мариоль говорил жестко, гневно, страстно; она вся сжалась, смиренная, трогательная. Она плакала, не обращая внимания на прохожих, не вытирая глаз, плакала настоящими слезами: она по-своему любила его, эта куртизанка.

Мариоль, растроганный, принялся утешать ее, пришел навестить на другой день – и она снова стала его любовницей. «Ба! – говорил он, желая оправдать себя в собственных глазах. – В конце концов, это моя содержанка, и только».

Однако он несколько изменил образ жизни, принимал в своей второй квартире лишь немногих избранных друзей, в том числе графа де Люсетта, и зажил с любовницей более замкнутой и более уединенной жизнью.

И тогда она окончательно завоевала его своими чарами, милой заботливостью, лукавым, бойким остроумием, берегаемым, казалось, для него одного, даже чтением вслух – она читала ему по вечерам, когда они оставались одни. Мало-помалу часы, проводимые наедине с нею, начали казаться ему приятнее почти всех тех развлечений, которые забавляли его раньше. Но вдруг однажды утром перехваченное Мариолем у горничной письмо открыло ему имя нового соперника.

Он подумал, что было бы наивно и смешно затевать вторую дуэль из-за этой распутницы, и попросту бросил ее. Но он два года прожил в постоянной близости этого нежащего тела, он томился по своим уже сложившимся привычкам, по ее особенным поцелуям, которые не мог ни забыть, ни заменить поцелуями других женщин, – и в течение трех месяцев ночи его были беспокойны, дни тревожны.

Она прислала ему письмо; он оставил его без ответа. Второе письмо взволновало его. Она каялась в своей вине, приводя смягчающие обстоятельства, и просила у него, как милости, чтобы он изредка навещал ее, хотя бы только как друг.

После полуторамесячного сопротивления он уступил ее просьбам. Спустя несколько дней они снова зажили вместе.

Так прошел еще год. Затем к Мариолю явилась однажды старуха, торговавшая подержанными вещами, которой он несколько раз оказывал денежную помощь по ходатайству Анриетты. Женщины рассорились, и старая сводня пришла к Мариолю единственно затем, чтобы из мести сообщить ему, что Анриетта превратила ее дом в место своих свиданий.

Тут Мариоль окончательно возмутился. Он был так взбешен, что почувствовал себя исцеленным – как будто его сердечная рана сразу зарубцевалась. Он решил отныне иметь дело с женщинами лишь на правах господина, который оплачивает их и которого ничто не волнует. Желая переменить местопребывание и образ жизни, он уехал из Парижа.

Он выбрал Экс, потому что там находился его друг граф де Люсетт, и, встретившись с графом, тотчас рассказал ему эту тяжелую историю; тот, впрочем, уже знал ее почти всю по частям. Однако он с чуть насмешливым любопытством выслушал Мариоля до конца. Потом, глядя ему прямо в глаза, спросил:

- Через сколько же времени ты снова возьмешь ее?
- О! Никогда.
- Молчи уж лучше.
- Никогда.
- Шутник ты, право! Ведь ты всего полчаса здесь, а только о ней и говоришь.
- Прости, пожалуйста, я говорю о себе, как говорят все.
- Да, но в связи с нею.
- Точно так же, как я говорил бы о себе в связи с каким-нибудь путешествием, если бы возвратился из Китая или Японии; это еще не доказывало бы, что я собираюсь туда вернуться.
- Это доказывает, что ты думаешь о ней.
- О, только по вечерам.
- Ого! Самое опасное время.
- Но утром, когда я просыпаюсь, я в восторге, в полном восторге, что порвал с ней. За целый день я ни разу не подумаю о ней, как будто ее и на свете нет. Правда, с наступлением сумерек в

моей душе всплывают воспоминания, кое-какие интимные воспоминания, и от них становится чуть грустно. Но я так презираю ее, что между нами все кончено.

Их внимание отвлекла хлынувшая в зал толпа. Кончился спектакль; зрители, которые привыкли ложиться рано, расходились по своим гостиницам и виллам, а привыкшие ложиться поздно двинулись толпами в игорные залы. Одна за другой появились кокотки, старые кокотки пляжей и казино, из Биаррица, из Дьеппа, из Монте-Карло, легендарные подстерегательницы счастливых игроков – сестры Делабарб, Розали Дюрдан, высокая Мари Боннфуа, – в охотничьих костюмах и шляпках, выдававшихся над головами толпы наподобие видных издали маяков. Вокруг них теснились мужчины – высокие, низкорослые, толстые, худые, – и на каждом из них, то вплотную прильнув к костлявой спине, то выпукло обрисовывая жирные формы, красовалось все то же смехотворное одеяние, изобретенное, как говорят, наследником английского престола.

Появились в зале и светские женщины, представительницы высшего общества, его избранных кругов, сопровождаемые свитой кавалеров: княгиня де Герш, маркиза Эпилати, леди Уормсбери, английская красавица, одна из любимых подруг принца Уэльского, знатока женщин, – и ее соперница, белокурая американка миссис Филдс.

И сразу же, несмотря на то что шум шагов и голосов все усиливался, звон золота на столах стал таким громким, что его ясный, неумолкающий металлический звук начал покрывать гул толпы.

Мариоль смотрел на прибывающих, узнавал знакомые лица и, претендуя на роль эксперта в оценке женской красоты, спорил с Люсеттом о том, о чем случалось спорить любому светскому человеку. Появилась еще одна дама, брюнетка, одна из тех жгучих брюнеток, которые встречаются только на Востоке; над ее лбом и висками вздымалась густая копна черных волос, словно венец из ночного мрака. Среднего роста, с тонкой талией, с полной грудью, она шла гибкой походкой, с задорно-веселым и в то же время лениво-небрежным видом, как вызывающе красивая завоевательница сердец.

– Вот эта недурна! – сказал Мариоль.

– Могу представить тебя в любое время! – отвечал Люсетт.

– Кто это?

– Графиня Мосска, румынка.

– Странно, – продолжал Мариоль, – я никогда особенно не увлекался брюнетками.

– Да ну! Почему же?

– Не знаю, не подвернулось такой брюнетки, что ли. А потом, мне больше нравятся шатенки и блондинки.

– Они крашенные, эти блондинки.

– Да нет же, мой милый.

– Вот именно крашенные, мой друг. Или по крайней мере их так много и красятся они так искусно, что их не отличишь от настоящих блондинок и самые большие знатоки часто попадают впросак. Найти настоящую блондинку так же трудно, как купить художественную безделушку, которая не оказалась бы поддельной; никогда не знаешь в точности, кого обнимаешь.

– Да нет же, совсем нет. В блондинках есть та прелесть, какой не найти у брюнеток. Затылок, например. Что может быть красивее, чем тот легкий пушок первых коротких волос, золотистых или каштановых, которые отливают красным деревом, на фоне белой шеи, постепенно переходящей в плечо? В брюнетках есть какая-то жесткость; они воительницы любви. Посмотри на эту: она кажется амазонкой кокетства. Помнишь медлительную походку и нежные позы Анриетты?

– Еще бы. Она хорошо знала свое ремесло.

Подумав с минуту, Мариоль добавил:

– А все-таки, будь она такая подлая или я чуть-чуть подлее, из нас вышла бы неразлучная пара.

Несколько мужчин, завидя их, подошли, протягивая руки. Только и слышалось: «Здравствуйте, Мариоль!», «Ба! И вы здесь?», «Как поживаете?», «Когда приехали?», «Так и вам, значит, случается выезжать из Парижа?»

Мариоль пожимал руки направо и налево и отвечал, улыбаясь, что чувствует себя превос-

ходно и что приехал в Экс повеселиться.

Один из собеседников, маркиз Пимперани, знатный разорившийся итальянец, вечно кочующий по курортам, спросил у него:

– Вы знакомы с княгиней де Герш?

– Да. Я езжу к ней на охоту и даже иногда у нее обедаю.

– Так подойдите к ней: она пригласит вас принять участие в нашей завтрашней прогулке.

Княгиня была маленькая худая женщина, почти всегда одетая несколько на мужской лад: она носила суконные плотно облегающие жакеты и не стеснявшие движений юбки, удобные для женщины, которая любит пешеходные прогулки, охоту, верховую езду. Княгиня беседовала с миссис Филдс. Вокруг них теснилась, подобно отряду телохранителей, группа мужчин.

Увидев Мариоля, княгиня дружески протянула ему руку.

– А! Здравствуйте, господин Мариоль, – сказала она. – Так и вы приехали в Экс?

Она тут же представила его прекрасной американке, ясное лицо которой, обрамленное золотыми волосами, улыбалось всегда одной и той же улыбкой. Это было не то легкое облако, которое как бы ореолом окружает лица некоторых английских красавиц, а солнечно-сияющая масса волос, напоминающая созревшую на девственной почве жатву. Слава о миссис Филдс гремела во всех столицах мира.

Они разговорились. Княгиня никогда не играла. Она приходила в казино посмотреть на игру в качестве простой зрительницы. Осенью, на псовой охоте, она схватила ревматизм и проходила в Эксе серьезный курс лечения. Знатного рода, окруженная избранным обществом, она довела до крайности свою любовь к лошадям и спорту. Ничто в мире, кроме этого, не занимало, не интересовало, не волновало ее. Ей было лет тридцать, у нее была некрасивая, но привлекательная, несколько мальчишеская внешность, нежные и в то же время задорные синие глаза, красивые каштановые волосы; худая, гибкая, элегантная, мускулистая, она ездила верхом наравне с мужчинами, скакала по лесам, охотилась на зверя, задавала праздники, устраивала фейерверки и, казалось, не помышляла о романах. Муж княгини, депутат одного из округов Турени, где у него было великолепное имение, предоставил жене полную свободу и занимался почти исключительно историческими изысканиями.

Он был уже дважды премирован Французской академией. Ссылки на собранную им коллекцию рукописей встречались в трудах специалистов всех европейских стран.

– Вы приехали лечиться? – спросила княгиня у Мариоля.

– Нет, княгиня.

– Так, значит, поразвлекся?

– Только для этого.

– Это лучше. Не хотите ли принять участие в нашей прогулке: мы едем завтра в Ла-Шамботт?

– С наслаждением.

– Ну, так будьте завтра в десять часов, после утренних ванн, у Отеля Королей: там назначен сборный пункт.

Мариоль поблагодарил княгиню, в восторге от приглашения, которое давало ему возможность более тесно сблизиться с тем миром, куда он только еще вступал.

Тут к ним подсели маленькая маркиза Эпилати и высокая леди Уормсбери, эта professional beauty,³⁹ – обе они прогуливались до этого вокруг игорных столов, отваживаясь время от времени поставить несколько луидоров через посредство кого-нибудь из своих кавалеров. И все дамы занялись кишевшей кругом публикой, главным образом куртизанками. Мужчины называли их имена, сообщали вполголоса различные подробности, рассказывали шепотом скабрзные эпизоды. Очень развеселила всю компанию история, касавшаяся Розали Дюрдан, но рассказ графа де Люсетта о последнем походе старшей из сестер Делабарб накануне вечером в гостинице показался слишком вольным, несмотря на все искусство рассказчика.

Княгиня, не забывавшая о своем здоровье, сказала вдруг:

³⁹ Патентованная красавица (англ.)

– Уже поздно. Пойдемте выпьем по чашке чая и вернемся домой.

Она встала и, окруженная своей свитой, прошла в длинную стеклянную галерею между двумя парками, в которых днем били фонтаны, а вечером жгли фейерверки. Галерея представляла собой огромное кафе, ресторан, где завтракали и обедали те, кого раздражал общий стол гостиниц и кто не стеснялся в деньгах.

Там, за чашками с дымящимся чаем, тон и содержание разговора резко изменились. Собеседники как будто вернулись к какой-то прежней, прерванной ими непринужденно-светской беседе, привычной, вечно возобновляемой и словно указывавшей на существование своеобразного франкмасонского союза, к которому принадлежали все эти женщины, столь различные по происхождению, все эти мужчины, представители столь несхожих народов, но принадлежащие – те и другие – к единому высшему и не имеющему отечества классу. Вокруг них кишела толпа, вульгарная, банальная, суетливая, толпа мелких или обиденных людей – пусть даже богатых, пусть известных. Но они уже не сливались с этой толпой! Они уже не интересовались ею, не видели ее! Они только что порвали с нею, незаметно отделились от нее и, усевшись во- круг ресторанного столика, образовали свой замкнутый круг, как будто это было в аристократическом салоне.

Теперь они беседовали о людях своего круга – об отсутствующих, – о французах, русских, итальянцах, англичанах, немцах. Казалось, они знали их, как родных братьев или соседок по кварталу, ибо мелькавшие в их беседе имена, по большей части незнакомые Мариолу, видимо, были всем хорошо известны.

Он с любопытством слушал этот разговор. Для него была несколько непривычна окружавшая его среда, среда немногочисленного племени аристократов, не связанного никакими границами, того избранного интернационального high life'a,⁴⁰ члены которого знают, узнают и находят друг друга всюду: в Париже, Канне, Лондоне, Вене, Петербурге; той касты, которая зиждется на происхождении, воспитании, на традициях элегантно- роскоши, на одинаковом представлении об аристократической жизни, на браках и которую в особенности укрепляют придворные связи и дружеские отношения между отдельными монархами, что ставит членов этой касты выше весьма распространенного и пошлого предрассудка национальности.

И только тот или другой акцент, отличавший речь отдельных собеседников, свидетельствовал, что язык, которым они пользовались в том или ином городе, где им приходилось бывать, они изучали в различных странах.

Княгиня и сидевший с ней рядом Мариоль вскоре перестали принимать участие в общем разговоре и перешли на другую тему. Желая понравиться княгине, Мариоль расхваливал охоты в ее владениях, ее выдающиеся способности в верховой езде, ее неутомимость в псовой охоте. Его слова задели в ней самую чувствительную струнку, и в ее глазах и голосе проглянуло то особое благорасположение, которое появляется у страстно увлекающихся людей, если собеседник льстит их мании. Затем они заговорили о путешествиях, о море, о горах, об Альпах. Особенно много хвалили окрестности Экса.

– Завтрашняя экскурсия будет чудесна, – сказала княгиня. – Не буду ее вам описывать: вы увидите сами эти места.

Потом, в знак того, что Мариолу удалось завоевать ее симпатию, она добавила:

– Знаете что? Садитесь завтра в мою коляску. Там будет, кроме вас, одна очаровательная женщина, румынка графиня Мосска.

– Она только что была в игорном зале, не правда ли? – спросил Мариоль.

– Да. С ней был ее отец – такой высокий старик с усами и седой бородкой.

Княгиня рассказала ему о некоторых обстоятельствах жизни этой молодой женщины, обра- щавшей на себя в Эксе всеобщее внимание своей красотой. Она была вдова графа Мосска, коро- левского конюшего, убитого на дуэли из-за какой-то карточной ссоры. Это произошло всего пол- тора года назад. С тех пор графиня все время путешествовала: говорили, что она покинула Бухарест, чтобы прийти в себя от глубокого горя.

– И что ж, она пришла в себя? – спросил с чуть заметной иронией Мариоль.

⁴⁰ Высшего общества (англ.).

– Кажется, да, – ответила с улыбкой княгиня.

Затем она поднялась с места: лечебный режим требовал соблюдения правильного образа жизни. После ее ухода вышел из казино и Мариоль: ему хотелось пройтись перед сном по парку.

Время, проведенное в приятном обществе этих изящных женщин, оживило, развеселило, утешило его. Он ясно чувствовал, как среди этих людей, принявших его столь приветливо, испаряется остаток его печали; и он принялся думать о них, как это бывает, когда покидаешь людей интересных и малознакомых.

Он долго бродил по аллеям парка жаркой, душной ночью, одной из тех ночей, что в летние месяцы превращают этот затерянный в глубине долины городок в настоящую баню. Но по мере того как в уме Мариоля бледнели непосредственные впечатления от тех женщин, с которыми он недавно сидел рядом, им снова завладевало ощущение одиночества, пробуждавшееся в нем каждый вечер после разрыва с Анриеттой. Никто уже не ждал его в спальне – и мрак казался ему безграничным, а земля безлюдной. Он испытывал и смутную потребность в женской любви, и ясную потребность в женских ласках, которые властвуют над мужчинами, прожившими долгое время в интимной близости с какой-нибудь одной женщиной. Как он сказал графу де Люсетту, его увлекали до вечера от этих переживаний сначала веселость утренних часов – то чувство, похожее на чувство неопределенной надежды, которое ежедневно пробуждается вместе с нами в нашем сердце, – потом волнения жизни, ее прикосновения, ее мелкие, облекающие заботы. Но каждый вечер, в те же часы, кризис возобновлялся, и в нем смешивались воспоминания, желания, враждебность, вновь возгоравшееся чувство гнева против этой негодяйки, из-за которой он столько страдал и страдает до сих пор. Все же он поздравлял себя с тем, что бросил ее, и, как бы желая укрепить себя, ободрить, убедить себя в том, что не следует жалеть о ней, повторял:

– Черт возьми, как хорошо, что все это кончено!

Не торопясь, он вернулся в гостиницу, прошел в свою комнату, лег и почти тотчас уснул, утомленный путешествием и дневными впечатлениями.

ГЛАВА II

Робер Мариоль проснулся рано: его разбудило начавшееся в гостинице движение. Маркиза была поднята, и солнечные лучи лились сквозь оконные стекла таким потоком, что комната с ее светлыми стенами и белыми занавесками казалась чашей, наполненной ослепительным светом. Мариоль не утерпел и встал.

Одевшись, он вышел из комнаты и пошел по узкому коридору, где перед дверями стояли, словно охраняя их, свежеччищенные тувельки, ботинки и сапоги. Эти куски кожи, то изящные, то грубые, рассказывали о жизни, о быте, о степени элегантности и о социальном положении того, той или тех, кто еще лежал в постели за стеной. Мариоль, полный утренней бодрости и веселости, с улыбкой думал об этом. Два одиноко стоящих изящных башмачка вызвали в нем желание войти в дверь, а мимо толстых, усеянных гвоздями подошв он проходил с презрением, угадывая за дверями храп туриста. Вдруг Мариоль увидел нечто вроде сундука, скрытого занавесками и занимавшего почти всю ширину коридора; сундук несли двое запыхавшихся савояров. В первую минуту ему почудилось, что произошел несчастный случай; сердце его слегка сжалось, как если бы он встретил на улице крытые носилки. Потом он вспомнил, что находится на курорте, где некоторых больных несут прямо из постели принимать предписанные им ванны, а затем приносят обратно. Ему еще два раза пришлось останавливаться на лестнице, давая дорогу таким же носилкам, и он понял, откуда несут...